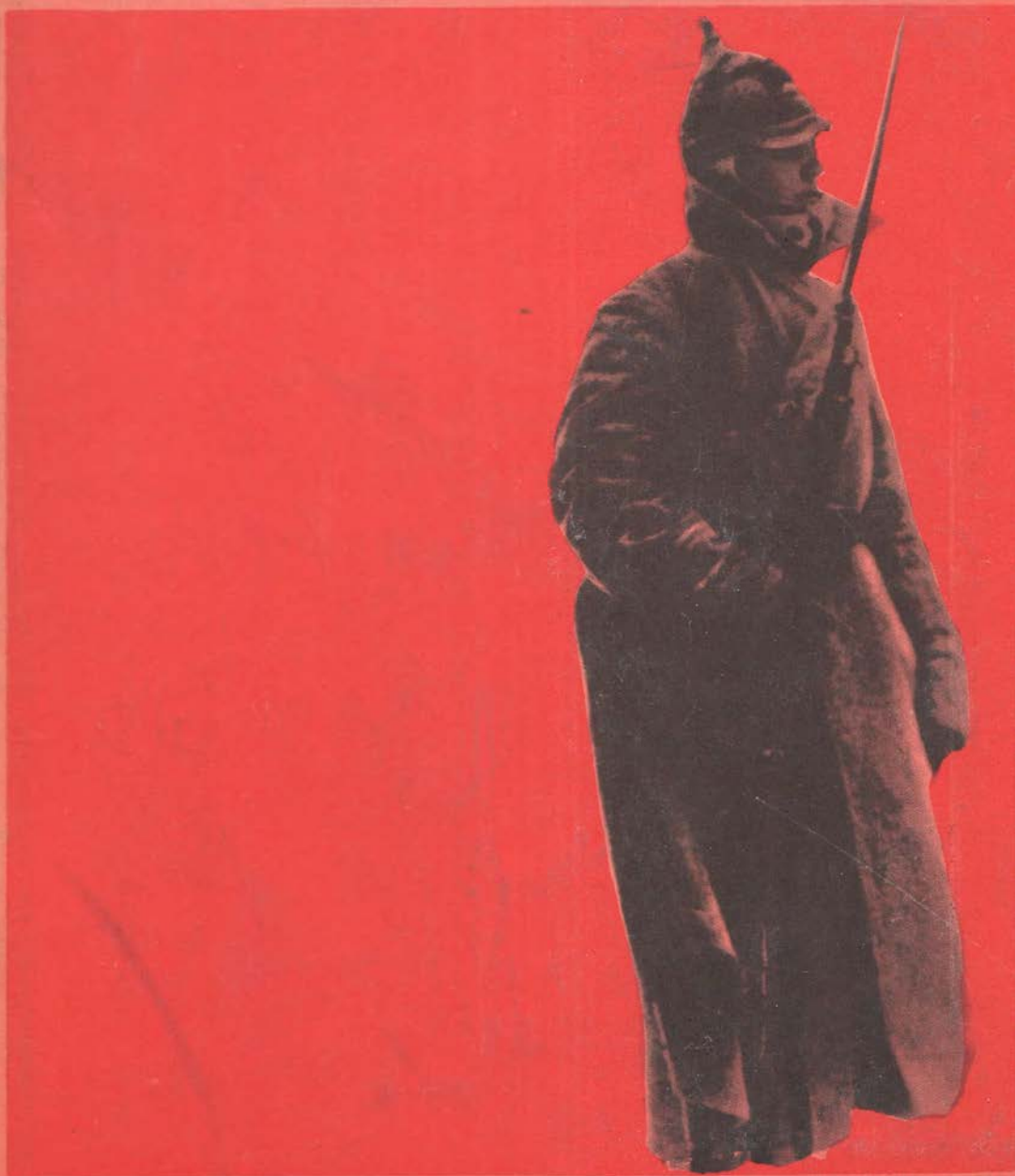


# ПРОМЕТЕЙ

5





**Биографии. Статьи.  
Портреты.**

В. Вадуро.	«Подвиг честного человека» . . . . .	8
В. Порудоминский.	Страницы из жизни В. И. Даля . . . . .	52
Р. Орлова.	Дело, проигранное заранее . . . . .	68
А. Харьковский.	Японский поэт Василий Ерошенко . . . . .	76
В. Милотин.	Силы неисчислимы . . . . .	90 ★
<b>С. С. Дзержинская.</b>	Дзержинский на фронте . . . . .	104 ★

**История  
и иллюстрациях.**

С. Н. Рейпольский.	«Особые знамена Революции» . . . . .	112 ★
К. Бутина.	Красноармейские рукописные журналы . . . . .	182 ★

**Ионски. Находки.  
гипотезы.**

В. В. Зеленин, М. М. Сумарокова.	Легенды и действительность . . . . .	124 ★
-------------------------------------	--------------------------------------	-------



И. Птушкина.	Герцен и Севастьянов . . . . .	138
А. Штекли.	Смерть Коперника . . . . .	145
В. И. Буганов.	Московские «бунтари» 1662 года . . . . .	157
Н. Пирумова.	М. Бакунин или С. Нечаев . . . . .	168
Вл. Сандлер.	Четыре года следом за Грином . . . . .	190
Иракий Андроников.	Тетрадь Василия Завелейского . . . . .	208

Дневники.  
Воспоминания.

К. К. Рокоссовский.	Сто дней (От Днепра до Вислы) . . . . .	232 ★
В. С. Чероков.	Ладожцы . . . . .	252 ★
С. М. Штеменко.	Поездка в Тегеран . . . . .	264 ★
И. Ф. Журухин.	Партбилет № 1050173 . . . . .	270 ★
Г. Д. Пласков.	Под грохот канонады . . . . .	276 ★
Р. Я. Малиновский.	Испанские встречи . . . . .	288 ★
Лев Зильбер.	Записки военного врача . . . . .	296 ★
Н. А. Белевцева.	Часы и дни . . . . .	310

# Историко-биографический альманах серии „Жизнь замечательных людей“

<b>Т. Лишина.</b>	«Так начинают жить стихом...» . . . . .	321
<b>Забывшие страницы</b>		
Н. Ф. Андреев.	Нечто о Н. В. Гоголе . . . . .	333
С. А. Розанова.	Забывшие воспоминания о Герцене . . . . .	339
<b>Письма. Документы.</b>		
М. М. Штерн.	Эмиль Золя в «Вестнике Европы» . . . . .	343
<b>А. Алов.</b>	По мандату Ленина . . . . .	345
А. П. Купайгородская.	Листовки гражданской войны . . . . .	347 ★
<b>Исторические очерки.</b>		
О. Орлик.	Русские на баррикадах Парижа в 1830 году . . . . .	353
А. Зимин.	Федор Карпов, русский гуманист XVI века . . . . .	364
М. Коган.	«Неладно что-то в Датском королевстве» . . . . .	371

Редакционная  
коллегия:

М. П. Алексеев  
И. Л. Андроников  
Д. С. Данин  
Б. И. Жутовский

**И. С. Исаков**

П. Л. Капица  
Б. М. Кедров  
Н. И. Конрад  
Ю. Н. Коротков (редактор)  
Д. М. Кукин  
Ф. Н. Петров  
А. А. Сидоров  
К. М. Симонов  
С. Д. Сказкин  
С. С. Смирнов  
К. И. Чуковский

Литературное  
наследство.

Евгений Шварц. Тетрадь № 1 . . . . . 380

Повести. Рассказы.

Николай Чуковский. Каторжник . . . . . 387

Мысли о биографии.

Андре Моруа. Современная биография . . . . . 394

Александр Гладков. На полях книги Андре Моруа «Типы биографий» . . . 394

Библиографический  
листок.

Константин Симонов. О воспоминаниях адмирала Н. Г. Кузнецова . . . . . 414 ★

Н. Часовникова. Семья Ульяновых . . . . . 415

Е. Филатова. Новая работа о Герцене . . . . . 418

Л. Слезкин. «Гражданин должен знать положение вещей...» . . . 420

Н. В. Наумова. Канун грозных лет . . . . . 421

Д. Урюнов. Шекспир в России . . . . . 422

Издательство  
ЦК ВЛКСМ  
„Молодая гвардия“

Москва  
1968

<b>С. Маркиш.</b>	От веры к религии . . . . .	424
<b>Т. Орнатская.</b>	Итальянское издание русских народных песен . . .	427
<b>Смесь.</b>		
<b>М. Арлазоров.</b>	Пилот первого вертолета . . . . .	429
<b>Томас Пейн.</b>	Новые известия об Александре Великом . . . . .	434
<b>М. С. Альтман.</b>	Этюды о романе Достоевского «Бесы» . . . . .	442
<b>А. Левандовский.</b>	Там, где жил Неподкупный... . . . . .	448
<b>Е. С. Смирнова-Чикина.</b>	Гоголь и студенты . . . . .	454
<b>Ю. Погосов.</b>	Атуэй . . . . .	456
<b>И. Халифман.</b>	Г. Кондратьев и Г. Кандратьев . . . . .	462
<b>А. Леонидов, С. Тюляев.</b>	Храм Кайласа-Натха в Элуре . . . . .	466
<b>Б. Чельшев.</b>	Рояль Антона Рубинштейна . . . . .	472
<b>И. Игги.</b>	Мой Светлов . . . . .	474

Редактор-составитель М. Брухнов  
Художник А. Троянко  
Худож. редактор А. Косаргин  
Техн. редактор Л. Курлыкова

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
ЦЕНТРА «ПЕДАГОГИКА»

Вечный огонь. Символом бессмертия и славы пылает он над могилой Неизвестного солдата у кремлевской стены, на Марсовом поле в Ленинграде, на Малаховом кургане в Севастополе, перед богатырской статуей матроса на набережной Одессы. Негасимо горит он на священной земле Сталинграда, Бреста, Киева. В его трепетном сиянии — отблеск великих сражений и миллионов подвигов. Всмотритесь, и вы разглядите в нем зарницы Перекопа и отсвет алого знамени над поверженным рейхстагом. Он вечен, этот огонь героизма и мужества. Поколения будут передавать его из рук в руки, как драгоценную эстафету, как жаркий факел Прометея. Пятьдесят лет шагают в боевом строю рожденные Октябрем Советские Вооруженные Силы. Позади невероятные испытания и беспримерные битвы. Все вынес советский солдат. И мир славит его — героя, отстоявшего завоевания революции и спасшего народы Европы от фашистского рабства. Вспомним те трудные и славные годы. Перед нами пройдут люди нашей армии — и рядовые бойцы и видные военачальники. Разные люди. Но их объединяет одно — пламя подвига, которое зажгла в их сердцах ленинская партия и которое они пронесли сквозь все невзгоды и бури.

**Дважды Герой Советского  
Союза генерал армии  
П. И. Батов**





В. Вацуро  
(Ленинград)

# «Подвиг честного человека»

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1. Мысли разных лиц

В альманахе «Северные Цветы» на 1828 год мы обнаруживаем неподписанные «Отрывки из писем, мысли и замечания» и без труда узнаем их автора.

Нам памятны эти пушкинские наблюдения и афоризмы. Разрозненные, не связанные единой темой, внешне случайные, — как будто брошенные на бумагу в минуту досуга или под влиянием мимолетного впечатления. Здесь нашли себе место и рассуждение о женщинах — ценительницах искусства, и насмешка над нелепостью сравнения безукоризненного сонета с дурной поэмой, и невеселое размышление над младенческим состоянием русской словесности. Но внешняя свобода и даже небрежность таких отрывочных заметок обманчивы.

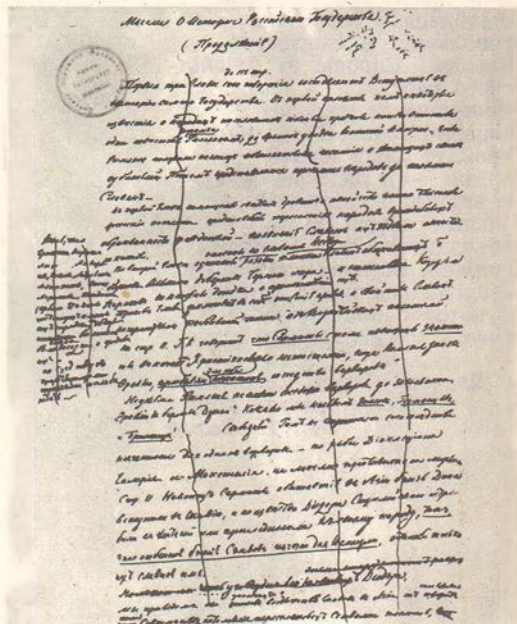
В них нет ни сюжетной заинтересованности новеллы, ни завораживающего ритма стиха, ни блестящего и подчас парадок-

Глава из книги: В. Вацуро, М. Гиллельсон, «Сквозь «умственные плотины», выходящей в издательстве «Книга».



Н. М. Карамзин.

Автограф рукописи «Мысли об  
Истории Российского Государства».



кального остроумия анекдота — ничего такого, что могло бы сразу остановить на себе рассеянное внимание. В них есть только мысль или частное наблюдение, обличенное в свободную и иногда даже внешне небрежную форму. Тем самым и мысль и словесное ее выражение берут на себя двойную нагрузку. Если мысль или наблюдение лишены пронизательности и глубины, если небрежность формы есть просто небрежность, а не непринужденность и изящество стиля большого мастера, тогда сентенции и афоризмы становятся ложнозначительными и смешными.

«Мысли и замечания» требуют особого искусства, они всегда побежденная трудность, и не потому ли так любил их изощренные философы-стилисты предшествовавших столетий, которым было что сказать и вторые знали, как это сделать.

Некто в подобном роде писал и дядя Пушкина — Василий Львович, но у него не всегда получалось. Вяземский сказал однажды ему: «Вы должны быть вечно благодарны Шаликову: он вам подал мысль написать мысли». Василий Львович не понял затаенной иронии. Шаликова подозревали в полном отсутствии мыслей; а в афоризмах Василия Львовича, кажется, была только одна мысль — написать их, и та внушенная Шаликовым.

Пушкин хотел в предисловии с добродушной насмешкой сослаться на пример дяди. «Поутру сварили ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философски рассудил, что его огорчила безделица, и написал: нас огорчают иногда сущие безделицы. ...Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постель. На другой день послал он их журналисту, который учтиво его благодарил, и дядя мой имел удовольствие перечитывать свои мысли напечатанные».

От предисловия, впрочем, Пушкин отказался. Дядя его, без сомнения, узнал себя в портрете, а обижать старика было незачем. С предисловием вместе пропала для читателя и тонкость иронической игры, ибо Пушкин предлагал ему действительно мысли, причем такие, глубина которых не распознается с первого взгляда. Но об этом пойдет речь далее, а сейчас перевернем несколько страниц, пока в поле нашего зрения не попадет эпиграмма на старинного неприятеля Пушкина — М. С. Воронцова «Не знаю где, но не у нас...», оборванная в конце в расчете, что знающий читатель вспомнит оконча-

ние сам. Эпиграмма подписана: «А. Пушкин».

Это требует объяснения, ибо редок и необычен случай, когда автор статьи, не считая нужным подписывать весь текст, подписывает автоцитату.

Чтобы понять, зачем это понадобилось, нужно вспомнить, как печатались произведения Пушкина в конце 1820-х годов.

Нам известно, что после 1826 года Пушкин, освобожденный от общей цензуры, попадает под эгиду «высочайшего цензора». Имея в виду это обстоятельство, обратимся к мемуарным источникам по истории «Северных Цветов». Среди них есть один, который содержит сведения об анонимных статьях Пушкина. Это очень точные и авторитетные воспоминания барона Андрея Ивановича Дельвига. А. И. Дельвиг был двоюродным братом издателя альманаха — лицейского товарища Пушкина А. А. Дельвига — и имел близкое касательство к делам редакции. Автор мемуаров рассказывает, что «все стихотворения свои Пушкин доставлял Дельвигу, от которого они были отсылаемы шефу жандармов генерал-адъютанту Бенкендорфу, а им представлялись на высочайшее усмотрение. Само собою разумеется, что старались посылать к Бенкендорфу по несколько стихотворений зараз, чтобы не часто утруждать августейшего цензора. Стихотворения, назначенные к напечатанию в «Северных Цветах» на 1828 год, были в октябре уже просмотрены императором, и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение «Череп», которое, однако же, непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске «Северных Цветов». Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением «Череп» букву «Я», сказав: «Никто не усумнится, что Я — Я». Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что «Череп» написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин печатает без его цензуры. Между тем, по нежеланию беспокоить часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.».

В рассказе Дельвига есть несколько важных для нас свидетельств, которые можно подтвердить и другими документами. Первое — утверждение, что все выходившие из-под пера Пушкина, вплоть до мелких стихотворений, проходило «высочайшую цензуру». Второе — что Николай I следил, чтобы Пушкин ничего не

печатал без его ведома. Наконец, третье и, быть может, самое важное, что Пушкин по тем или иным мотивам пытается в некоторых случаях ускользнуть из-под августейшей опеки, печатая стихи под анаграммой. Что заставляло Пушкина поступать таким образом, этот вопрос мы пока оставим в стороне, приняв на первый случай объяснение Дельвига.

Мемуары Дельвига вплотную подвели нас к анонимной статье Пушкина, но объяснения ее не дали. Не хватает какого-то одного, совсем небольшого, промежуточного звена, чтобы цепь рассуждения замкнулась.

Таким звеном оказывается письмо О. М. Сомова к К. С. Сербиновичу от 1 декабря 1827 года.

К. С. Сербинович был цензором «Северных Цветов». Его корреспондент, Орест Михайлович Сомов, известный в свое время критик, прозаик и поэт, близкий знакомый Дельвига, был в это время негласным секретарем дельвиговских изданий. Отправляя в цензуру статьи и стихи для альманахов, он сопровождал их деловыми записками; Сербинович же, человек крайне аккуратный, сохранял их. Так составилась во многих отношениях небезытересная коллекция писем, одно из которых непосредственно касается интересующей нас статьи.

«Милостивый государь Константин Степанович! — пишет Сомов. — Вчерашний день я два раза был у вас, но не имел удовольствия найти вас дома и потому решил оставить у вас статьи, мною приведенные: недоконченную мною повесть или отрывок «Гайдамак», которой окончание непременно доставлю вам дня чрез два, и «Мысли» разных лиц, без подписи, в кои с именем одни только стихи Пушкина. Стихи сии, равно как и самую сию статью, отдавал я г. Фон-Фоку, а он представлял их А. Х. Бенкендорфу, для рассмотрения кем все стихи Пушкина рассматриваются».

Если мы представим себе, о чем, собственно, идет речь, мы остановимся в недоумении перед странной фразеологией письма Сомова.

«Мысли» разных лиц, без подписи. Все это истинная правда. Здесь есть афоризм Стерна, анекдот о Тредиаковском, цитаты из Паскаля, Вольтера, Шамфора, Карамзина, Байрона и ссылка на Ансело. Не хочет ли Сомов сказать, что эти «лица» и являются фактическими авторами статьи?

«В кои с именем одни только стихи Пушкина». С дипломатической тонкостью

Сомов наводит своего корреспондента на мысль, что вся машина политической полиции приведена в действие из-за эпиграммы «Не знаю где, но не у нас...» — единственного пушкинского отрывка во всей статье. Читая письмо, невозможно понять его иначе, хотя Сомов не произносит ни одного слова лжи. «Стихи сии, равно как и самую сию статью», Сомов посылал в III отделение, именно стихи и статью, стихи Пушкина и статью «разных лиц», в которую эти стихи включены как цитата, с полагающейся в таких случаях ссылкой на автора.

Именно так понял дело Фон-Фок, именно так понял и Бенкендорф, которому предстояло отправить эпиграмму «Не знаю где, но не у нас...» на просмотр тому, кто в силу собственного соизволения являлся цензором стихов (опять стихов!) Пушкина.

И заметим, что Сомов в точности исполняет предписание, отправляя стихи вместе со статьей. Произведения Пушкина в руках у соответствующих высших должностных лиц. Они могут принимать эти сочинения за не пушкинские, если им будет угодно.

Сохранилась рукопись этой статьи — та самая, которую посылал Бенкендорфу Сомов. Это автограф Пушкина, беловой, без помарок, написанный почти каллиграфически. Бенкендорф был, видимо, плохой текстолог и не уловил в этих ровных обезличенных строках характерных примет пушкинского почерка.

При взгляде на автограф разъясняется до конца и смысл несколько загадочных для нас слов Сомова: «отправлял стихи и статью». Дело в том, что в тексте статьи стихов Пушкина нет. Они написаны на отдельном листке. В том месте статьи, где они должны были появиться, сделана карандашная пометка рукой Сомова: «следуют стихи».

Итак, стихи Пушкина и чужая статья. «А. Х. Бенкендорф сказал, — заключает Сомов, — что для сих маленьких стишков не стоит утруждать [государя] и [императора] и что они могут быть пропущены с одобрения цензуры»<sup>1</sup>.

С одобрения цензора Сербиновича «стихи вместе со статьей» и появились в «Северных Цветах» за 1828 год.

Нам предстоит прочитать внимательно текст статьи и попытаться понять, зачем понадобился весь этот рискованный маскарад. Но прежде вернемся к мемуарам Дельвига и внесем в них одно уточнение.

<sup>1</sup> ЦГИАЛ, ф. 1661, оп. 1, ед. 1521, л. 5—5 об.

«Нежелание беспокоить» высочайшего цензора из-за одного-двух стихотворений было естественным и хорошо объясняло, скажем, анаграмму под «Черепом». Но статья, о которой идет речь, была передана Бенкендорфу где-то в конце ноября; 30 ноября Сомов привозит ее Сербиновичу в первый раз. В октябре, если верить Дельвигу, Николай I просмотрел все стихи Пушкина для «Северных Цветов». Если неудобно было досылать дополнительно большое стихотворение, то вдвойне неудобно было беспокоить царя из-за одной эпиграммы, к тому же оборванной по середине.

Очевидно, по каким-то причинам Пушкин действительно хотел увидеть свои «мысли» в печати.

## 2. Отрывок из уничтоженных записок

«Мысли и замечания» Пушкина хранят следы яростных журнальных полемик. Почти каждая фраза их имеет свою историю и предысторию. Это сгусток литературной и гражданской жизни пушкинского времени. Современники легко разгадывали намеки, где нужно подставляли имена. Потом споры забылись, люди умерли, имена исчезли. «Мысли» окутались легким холодком академического бесстрастия. Неискушенный читатель, не привыкший заглядывать в комментарий, быть может, пробежит иной из афоризмов со снисхождением, как неудачную, но протективную шутку гения.

«Милостивый государь! Вы не знаете правописания и пишете обыкновенно без смысла. Обращаюсь к вас с покорнейшею просьбою: не выдавайте себя за представителя образованной публики и решителя споров трех литератур. С истинным почтением и проч.»

Это о журналисте Николае Алексеевиче Полевом, тогдашнем литературном враге Пушкина.

В замечании о путешественнике Ансело — намеки на роман Булгарина, второго врага Пушкина, и на запрещенную цензурой комедию «Горе от ума».

Фраза о хорошем сонете — отзвук давнего спора с Кюхельбекером.

Правительство не любило литературных споров — они легко приобретали нежелательный политический оттенок. Уже одно это могло побудить Пушкина соблюдать при напечатании статьи некоторую осторожность.

Но он сделал нечто большее. Он включил в статью отрывки из записок, начатых

им еще в 1821 году, когда у него впервые явилась мысль написать автобиографию. С тех пор накопилось немало впечатлений и заметок о лицах и событиях; время от времени Пушкин набрасывал их начерно, а потом отвлекался надолго. В Михайловском невольный досуг располагал его собрать все воедино. Записки были историей — и не одного частного человека. Лица, с которыми виделся Пушкин, друзья его, короткие знакомые, уже стали или становились на глазах историческими личностями; других ждала, быть может, судьба необыкновенная.

Он пишет записки в течение всего ноября 1824 года и продолжает их еще и в 1825 году. К сентябрю уже какая-то часть вчерне готова; Пушкин сообщает Катенину: «Пишу свои *mémoires*, то есть переписываю на бело скучную, сбивчивую черновую тетрадь».

В конце года он узнает о выступлении 14 декабря, об арестах причастных и подозреваемых в принадлежности к тайным обществам. О некоторых из этих людей он упоминал в своих мемуарах. Необходимо было уничтожить компрометирующие бумаги. Записки «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». Пушкин бросает их в огонь.

Он уничтожил, однако, не все, и в состав «Отрывков из писем, мыслей и замечаний» включил сохранный им отрывок о Карамзине. Перечитаем его — так, как он напечатан в «Северных Цветах».

«Появление Истории Государства Российского (как и надлежало быть) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экз[емпляров] разошлись в один месяц, чего не ожидал и сам Карамзин. Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени нигде ни о чем ином не говорили. Признаюсь, ничего нельзя вообразить глупее светских суждений, которые удалось мне слышать; они были в состоянии отучить хоть кого от охоты к славе. Одна дама (впрочем, очень милая), при мне открыв вторую часть, прочла вслух: Владимир усыновил Святополка, однако ж не любил его... «Однако! зачем не но? однако! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина?» В журналах его не критиковали: у нас никто не в состоянии исследовать, оценить огромное создание Карамзина. К... бросился на предисловие. Н., молодой человек, умный и пылкий, разобрал пре-

дисловие (предисловие!). М. в письме к В. пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян; т. е. требовал от истории как истории, а чего-то другого. Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия словом Карамзина; зато почти никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Примечания к Русской истории свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно заключен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Многие забывали, что Карамзин печатал свою Историю в России. Повторяю, что История Государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

Таков этот отрывок. Прочитав его внимательно, мы можем заметить, что он содержит многое такое, о чем Пушкин не говорит прямо, предоставляя читателю догадываться самому. За инициалами имен и намеками скрываются какие-то не вполне понятные нынешнему читателю события и лица. И самый смысл отрывка и желание Пушкина непременно его напечатать остаются не до конца ясными.

От кого и почему Пушкин защищает Карамзина? Что значат слова: «Карамзин печатал свою Историю в России»? Кто эти М., Н., В.? Какое отношение к ним имеет «дама», высказавшая суждение, приведенное в образце «глупости»? Почему все это нужно было печатать, и непременно в это время и в альманахе «Северные Цветы»? Наконец, в чем был «подвиг честного человека»?

Мы попытаемся ответить на эти вопросы. Но для этого нужно, чтобы читатель запаса терпением для необходимых разысканий, отрешился от распространенного предубеждения против комментария и отважно спустился «в темные лабиринты истории».

### 3. Первые читатели и критики «Истории Государства Российского»

Воспоминания о Карамзине переносят нас в обстановку 1818 года. 2 февраля этого года на полках книжных лавок появляются первые восемь томов «Истории Государства Российского».

Двенадцать лет назад прославленный автор чувствительных повестей, вызывавших слезы у экзальтированных читателей, издал журналов с невиданным по тому времени числом подписчиков, писатель, породивший бесконечную вереницу подражателей и ожесточенных противников, — Николай Михайлович Карамзин добровольно отказался от литературной деятельности во имя занятий русской историей и скрылся в уединенной тиши рабочего кабинета.

Все предшествующие его труды были лишь прологом, предуготовлением к этому последнему его труду, который он считал делом своей жизни.

Он читает десятки и сотни книг и манускриптов, сличает, делает выписки; дни его проходят в архивах, в университетской библиотеке, в сводчатых тесных комнатах монастырских книгохранилищ. Попечитель Московского университета Михаил Никитич Муравьев, тогда товарищ министра народного просвещения, исхлопотал ему звание придворного историографа. Меньше всего, впрочем, он был при дворе.

Несколько ближайших его друзей, несколько молодых энтузиастов, помогавших ему в занятиях, составляли его аудиторию. Карамзин охотно говорил о том, что его занимало, — а занимала его в это время история, и только она. Рассказывая, он одушевлялся — глаза загорались, голос, обычно громкий и звучный, становился взволнованным, герои русского средневековья оживали перед слушателями. Иногда по вечерам он читал друзьям отрывки (писал он утром). Слухи о рождавшейся «Истории» российской расходились по обеим столицам. Ее ждали.

Когда восемь томов ее вышли в свет, то, по словам Пушкина, «3000 экземпляров разошлись в один месяц». Это совершенно точно. К концу февраля уже нельзя было найти ни одного экземпляра. «Сбыл с рук последние экземпляры моей Истории, — сообщал Карамзин 28 февраля, — и дня через два буду свободен от книжных хлопот. Это у нас дело беспримерное, в 25 дней продано 3 тысячи экз.»<sup>1</sup>. 11 марта он пишет другу своему И. И. Дмитриеву, что сверх трех тысяч проданных у него требовали еще шесть-

<sup>1</sup> М. П. Погодин, Н. М. Карамзин... Ч. II. Спб., 1866, стр. 197. Далее в тексте — Погодин и стр.

сот. «Наша публика почтила меня выше моего достоинства»<sup>1</sup>.

«С жадностью и со вниманием» читает первые восемь томов «Истории» Карамзина большой Пушкин. В марте он начинает выходить и сразу же попадает в атмосферу городских толков о новом творении Карамзина. Толки были самыми различными.

Завседатая Английского клуба в Петербурге высказывались в том смысле, что Карамзин не сказал ничего нового. «Странно слушать суждения клубистов о сем бессмертном и для русских неоцененном творении», — записал в дневник 23 марта будущий денабрист Николай Тургенев.

В журнале «Сын Отечества» появился фельетон «Московский бродяга», где рассказывалось о критиках Карамзина в салоне некоей московской дамы под вымышленным именем «Евфразия» — «златоустая», «красноречивая». Здесь собрались ученые мужи, светские ветреники, друзья и враги талантов.

Разговор зашел об «Истории» — и страсти вспыхнули, все заговорили одновременно, осуждали печать, длинные выписки, подробности, посвящение. Один из самых жарких противников произнес речь, доказывая, что «славный писатель русский не умеет писать на русском языке, что самовольное перо его смешало старый язык с новым, книжный с разговорным, высокий с простым, что, наконец, книга, без искусства, порядна и ясности написанная, недостойна имени Истории». Другие превозносили книгу как величайшее творение, единственное в мире. Рассказывали об одном скромном человеке, который объявил за тайну, что «наш историк защищает пользу деспотизма: несчастный принял единовластие в смысле самовластия, не поняв слова и не обдумав мысли автора». Наконец, «Клеант» заключил, что быстрый ход книги доказывает успехи просвещения и что истинный талант восторжествует в глазах общего мнения<sup>2</sup>.

Это хроника городских толков, написанная по свежим следам. Она совпадает во многом с пушкинскими воспоминаниями.

Пушкин тоже рассказывает о салоне, где выносились вердикты «светских людей» «Истории Государства Российского». Представителем грозного ареопага оказалась дама, «впрочем очень милая», осудившая своим нелепым приговором фразу о Владимире и Святополке.

Современники были уверены, что этот пушкинский пассаж почти памфлетен, и даже называли имя «дамы». Вяземский



Е. И. Голицына. Портрет работы Грасси (Пушкинский дом АН СССР).

вспоминал, что это едва ли не передача слов княгини Евдокии Ивановны Голицыной, известной тогда красавицы и хозяйки салона, где бывали А. И. Тургенев, сам Вяземский и Пушкин, все трое увлеченные хозяйкой. В свое время Пушкин посвятил ей несколько стихотворений и даже послал оду «Вольность», хотя княгиня была известна своей строгой монархической ортодоксией. Княгиня жила свободно, была в разъезде с мужем, и вечера у нее продолжались до поздней ночи, отчего она и была прозвана «Princesse Minuit», «Princesse Nocturne» — полуночной княгиней. Она часто общалась с Карамзинными, но историограф ее не любил за

<sup>1</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866, стр. 235. Далее в тексте стр.; все ссылки на письма к Дмитриеву по этому изд.

<sup>2</sup> [В. Измайлов]. Московский бродяга. «Сын Отечества», 1818, № 23 (8 июня), стр. 153—158. См.: В. То м а ш е в с к и й, Пушкин. Книга первая (1813—1824). Изд. АН СССР, М. — Л., 1956, стр. 223.

безапелляционность суждений и называл Пифией. Пушкин познакомился с ней в декабре 1817 года в доме Карамзиных; «...Пушкин ...у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: жлет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви, — писал Карамзин Вяземскому. — Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию: от ее трезубца пышет не огнем, а холодом»<sup>1</sup>.

Пушкин пародировал суждение Пифии в своем отрывке. Но тогда, в 1818 году, он не склонен был относиться к ее суждениям пренебрежительно. Выйдя из своего невольного заточения, он всякий день посещал ее салон; она говорила о молодом поэте как о «малом предобром и преумном»; лишь к концу года увлечение его начало проходить. Затем оно сменится легким подтруниванием над политическими мнениями очаровательной хозяйки светского салона, но это произойдет только через пять или шесть лет. Отзыв же княгини о Карамзине, странный сам по себе, отражал, хотя и в искаженном виде, очень серьезный литературный и общественный спор и потому не был столь уж «глуп», как могло бы показаться с первого взгляда.

Дело в том, что к моменту выхода «Истории» Карамзин в сознании читателей был все еще автором «Бедной Лизы» и «Писем русского путешественника». Его литературные противники привыкли рисовать его «чувствительным путешественником», проливающим слезы без всякого на то повода, просто от полноты чувств. Вокруг стилистических новшеств Карамзина разгорались ожесточенные споры, памятные всякому, кто был так или иначе причастен к литературной жизни или просто читал русские журналы. Писателя упрекали в отказе от исконных форм русского языка, в злоупотреблении галлицизмами; проза его на слух ревнителей старины казалась изысканной и жеманной.

В этом была доля истины; но разные партии, ожесточенно сражавшиеся против реформ Карамзина, делали отсюда разные выводы. Одни боялись идей чуждых и крамольных, французской революционной заразы, которую принес с собой этот европейски образованный путешественник по чужим землям, посетивший Францию в ее предгрозовые дни в 1789 году. Другие, поднимая знамя патриотизма, национального духа, видели в литературной работе Карамзина отказ от высокой гражданственности поэзии, стремление удалить-

ся от народной трибуны на площади «под сень струй», к домашнему камельку, к тесному кружку родных и друзей, так же, как и он, любящих интимные рассказы и склонных награждать рассказчика слезой умиления.

Когда в первой половине апреля 1816 года было объявлено о выходе «Истории Государства Российского», многие

<sup>1</sup> Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826. (Из Остафьевского архива.) Спб., 1897, стр. 43. Далее в тексте только стр.; все письма Карамзина к Вяземскому по этому изд.

Профиль М. Ф. Орлова, автопортрет, профили других лиц. Рисунок А. С. Пушкина.



ее отнесли к известию серьезно. Пушкин откликнулся шутливой эпиграммой:

«Послушайте: я сказку вам начну  
Про Игоря и про его жену,  
Про Новгород и Царство Золотое,  
А может быть про Грозного царя...»  
— И, бабушка, затеяла пустое!  
Докончи нам «Илью-богатыря».

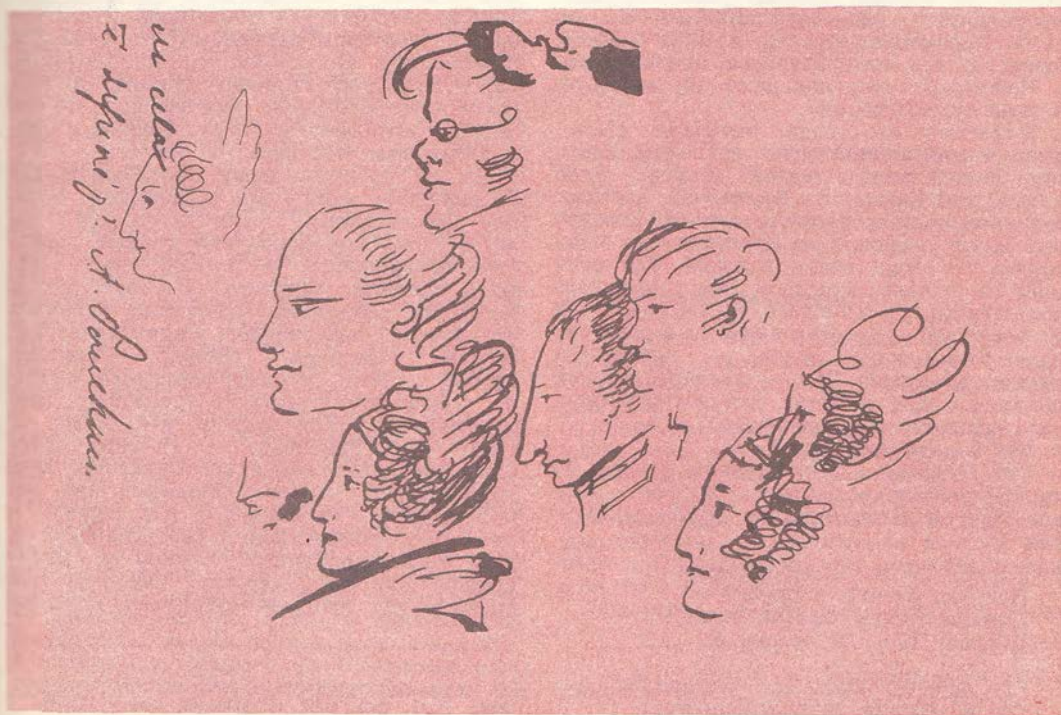
Пушкин намекал здесь на то, что напечатанное в 1795 году начало стихотворной сказки «Илья Муромец» так и осталось без продолжения.

Когда же через несколько лет читатели получили в руки первые восемь томов карамзинской «Истории», они смогли вочию убедиться, что это вовсе не галант-

ная безделка и не сентиментальная пастораль. Карамзин рассказывал события строгим и точным языком хрониста, даже чуть-чуть архаизируя; лишь в единичных случаях по излюбленным словам и оборотам можно было узнать автора «Бедной Лизы». Публика была несколько сбита с толку. Упрекать Карамзина за манерность и «чувствительность», конечно, не приходилось, но ощущение чужеродности языка оставалось. Так воспринимали «Историю» в салоне «Евфразии», так читала ее и петербургская «полуночная княгиня».

И так же подошли к ней «несколько остряков», за ужином написавших пародию на российского Ливия. Остряки же эти были люди весьма примечательные.

П. А. Вяземский (вверху),  
внизу, слева — Пестель,  
справа — Трубецкой и Рылеев,  
внизу повторяется профиль  
Ф. Вяземской. Рисунок  
А. С. Пушкина. 1826 г.





#### 4. Незазванные пародисты

«Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина, рассказывает Пушкин. В печатном тексте «Северных Цветов» он более ничего не добавляет. В «Записках» он приводит отрывки из этой своеобразной пародии: «Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, — конечно, были очень смешны». Никаких других сведений об этой пародии у нас нет.

Письменного закрепления она не получила и осталась глухим намеком на устные дискуссии вокруг карамзинской «Истории».

Однако мы можем сделать попытку реконструкции если не самого текста пародии, то обстановки и среды, в которой она возникла. Вчитываясь в крошечные цитаты, сохраненные Пушкиным, мы обратим внимание на некоторые детали.

Во-первых, авторы, создавшие свою пародию на веселой литературной пирушке, иронизируют над «чувствительным стилем» Карамзина-писателя и явно принадлежат к его литературным противникам.

Во-вторых, они нападают на монархический дух «Истории».

В-третьих, это люди, читавшие «Историю» очень внимательно и, по-видимому, под определенным углом зрения. Дело в том, что фраза о Бруте не пародия в точном смысле слова, а цитата, и взята она почти дословно из шестого тома «Истории» — тома очень важного, где речь идет о начале русского самодержавного государства. «Редко основатели монархий славятся нежной чувствительностью, — писал Карамзин об Иване III, — и твердость, необходимая для великих дел государственных, граничит с суровостью»<sup>1</sup>.

Кто же эти «остряки»?

Так Пушкин называл своих друзей по литературному обществу «Зеленая лампа», где он часто бывал в 1818—1820 годах.

Горишь ли ты, лампада наша,  
Подруга бдений и пиров?  
Кипишь ли ты, златая чаша,  
В рюках веселых остряков?

Где дружбы знали мы блаженство,  
Где в колпаке за круглый стол

Садилось милое равенство,  
Где своенравный производол  
Менял бутылки, разговоры,  
Рассказы, песни шалуна  
И разгорались наши споры  
От искр и шуток и вина?

Эти споры «между лафитом и клико» как потом скажет Пушкин в десятой главе «Онегина», нередко несли с собой «мятежную науку» будущих декабристов. «Зеленая лампа» была связана с декабристским Союзом Благоденствия. Мы знаем, что молодые вольнодумцы-лампысты серьезно интересовались «Историей». Но мы не знаем ни одной пародии лампыстов на Карамзина, и нам не известно, чтоб кто-нибудь из них выступал против историографа. Попытаемся поэтому подобрать другую, более вероятную кандидатуру.

Участником общества была хорошо знакома фигура Павла Александровича Катенина. Молодой, но уже заслуженный офицер, прошедший сквозь кровопролитные сражения 1812 года, страстный театрал, как и лампысты, редкий эрудит, знаток истории, театра, литературы, Катенин был сам поэтом и драматургом. Его собственные произведения и переводы вызвали полемику и насмешки: Катенин был литератором даровитым, но тяжелым и несколько архаичным. Катенин вспыхивал и грозил противникам дуэлью. Он был желчен и болезненно самолюбив. Это не мешало ему быть иной раз тонким и проницательным критиком; в застольных беседах он поражал своих противников неожиданными и меткими сарказмами. Пушкин познакомился с ним летом 1817 года, а через год нанес ему первый визит. Они подружились, и Пушкин стал посещать Катенина запросто. По вечерам у Катенина собиралось общество, отличное от кружка приверженцев Карамзина: Грибоедов, Бегичев, Жандр — близкие друзья и литературные соратники хозяина. Здесь царил культ остроловия, шуток, пародии. Как раз в это время, в 1817 году, Грибоедов и Катенин написали совместно комедию «Студент»: провинциальный студент Беневольский, навчавшийся Карамзина, Жуковского и «молодых романтиков», является в столицу, преисполненный ложной и напыщенной чувствительности; глупость его превосходит пределы вероятности. Комедия

<sup>1</sup> История Государства Российского, т. VI. Спб., 1817, стр. 329. (Разрядка моя. — В. В.)

была очень смешна и очень памфлетна; на сцену она поэтому не попала и расхищалась в списках. Своих литературных убеждений Катенин не скрывал; юный Пушкин прислушивался к ним не без пользы для себя: они отучали его от односторонней приверженности к литературной школе Карамзина и арзамасцев.

Правда, суждения Катенина были резки и безапелляционны, в них сквозила литературная нетерпимость и нередко уязвленное самолюбие. Пушкин скоро научился это понимать. Пока же он прислушивался к веселым и ядовитым шуткам над карамзинским Ильей Муромцем, страдающим от язвительных стрел любви.

Накануне выхода «Истории» участники катенинского кружка уже знали заранее, что они не смогут принять ее «слог». Когда «История» появилась, они были удивлены и сразу же отметили, что историкограф изменил своей прежней манере изложения.

Вот что писал одному из деятельных участников кружка, Н. И. Бахтину, друг его, П. П. Татаринов, 25 февраля 1818 года:

«Правда, совершенная правда, что нынешний слог его не похож на прежний; но который из них лучше — право, решить не умею. Слог ли самый, или то обстоятельство, что исторический рассказ, ни вздохами и никакими формально причудами не начиненный, а напитанный, так сказать, какою-то естественностью и силою мыслей, — гораздо труднее романического, или еще и то, что сочинитель хотел быть кратким, — не знаю, а вижу, что нет, — читать как-то трудно, до того, что язык устаёт. Быть может, что привыкши читать гладкую плавную прозу Карамзина-журналиста, — теперь думаешь тоже найти и в Истории те же достоинства и, находя их, не уверяешь себя. Не нравятся мне, однако, то, что все почти периоды его начинаются одинаково: сказуемый и весьма редко вводною речью»<sup>1</sup>.

Татаринов лишь отчасти совпадал в своих суждениях с Катениным и Бахтиным; через несколько лет он будет горячо спорить со своим другом, отстаивая достоинства «Истории» и оспаривая жесткий и непримиримый отзыв Бахтина. Пока нам важен лишь повышенный интерес всех без исключения членов этого маленького кружка к «слогу» «Истории». И совершенно естественно, что, найдя в шестом томе место, где они услышали интонации прежнего, глубоко чуждого им Карамзина, они должны были откликнуться резко и на-



П. А. Катенин. Реставрированный портрет работы неизвестного художника. Масло. Всесоюзный музей имени А. С. Пушкина.

смешливо. Так, вероятнее всего, и родилась фраза о чувствительном Бруте.

Но у Катенина и его друзей были и другие, более серьезные, причины упрекать историкографа.

## 5. «Молодые якобинцы»

Незримые нити связывали воедино названных «остряков»-пародистов с таинственными «Н» и «М» — критиками Карамзина.

«Записки» раскрывают то, что было зашифровано и спрятано в печатном тексте.

«Молодые якобинцы негодовали; — стоит в рукописи, — несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».

Вспомним неизвестного молодого чело-

<sup>1</sup> ГПБ, ф. 682 (Н. Н. Селифонтова). К. III—II «Ж»., л. нумум.

века, о котором упоминали в салоне «Евфразии» и который «сообщил за тайну, что историк защищает пользу деспотизма». Он единомышленник тех, кто написал слова пародии: «...римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия».

«История Государства Российского» утверждала и отстаивала историческую необходимость монархического правления в России.

Монархизм Карамзина был явлением сложным.

Он был свидетелем грандиозных катаклизмов, потрясавших Европу в исходе столетия. Собственными глазами он видел первые заседания французского революционного Конвента, слышал голос Мирабо, гремевший с трибуны, видел толпы народа из предместий, собиравшиеся на улицах Парижа. Тогда он проникся уважением к человеку, одно имя которого вызывало взрывы ненависти у сторонников монархии, — Максимилиану Робеспьеру и через несколько лет со слезами услышал весть о его гибели на эшафоте.

В середине 1790-х годов он с ужасом и отчаянием следит за событиями; потрясенный видом Европы, охваченной пожаром революционных войн, мыслями о разрушаемых городах и гибели людей, он приходит к убеждению о трагическом и неразрешимом заблуждении, в котором пребывает мир. Затем в России наступает время Павла, полубезумного обитателя Инженерного замка, деспота, Калигулы российского. А потом дитя и убийца революции Бонапарт, огнем и мечом прошедший по Европе, война 1812 года, восстание в Греции, восстание в Испании...

События разрушали — и с каждым годом все больше — когда-то усвоенную им на заре юности идею постепенного движения человечества к разуму, счастью и добродетели. Оптимистическая схема оказывалась ложной, рай на земле отодвигался дальше, куда-то в неизвестное будущее.

Там, там, за синим океаном,  
Вдали, в мерцании багрянном...

Летописи русского просвещения знают целое поколение людей, воспитавшихся в сумерках XVIII века, несших в своем сознании идеи великих французских просветителей, но уже отмеченных печатью неверия во всемогущество разума. Они могли быть историками и естествоиспытателями, социологами и политическими дея-

телями, но сладостной и недостижимой мечтой их оставался мир «уединения, молчания и любви», поэзии тихой и скорбной, мир чувств и нравственных размышлений. Таким был Карамзин, таким был и друг и учитель его поэтический — Михаил Никитич Муравьев, тот самый, которому он обязан был своим званием придворного историографа.

Это были люди, в сознании которых отпечатлелась мятущаяся неустроенность мира, скептики и меланхолики.

Незадолго до смерти Карамзин занес в записную книжку свой символ веры или скорее символ неверия:

«Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабым и бедным; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользу голода. Дайте нам чувство, а не теорию. Речи и книги аристократов убеждают аристократов; а другие, смотря на их великопение, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу аристократии: палица, а не кинжал..»

Либералисты! Чего вы хотите? Счастья людей? Но есть ли счастье там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?

Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание»<sup>1</sup>.

Но он остался в конце жизни тем же человеком восемнадцатого века, каким был всегда, в нем жила еще надежда, что бурный водоворот страстей человеческих и гражданских может смирить лишь благотворная власть ума и добродетели, власть просвещенная и мудрая. Закон — вот что должно было бы поставить в основу правления. Но это невозможно. Тогда из всех зол нужно выбрать наименьшее — поставить над людьми единого правителя, но правителя, который бы действовал по предначертаниям этого закона и был бы справедлив, добродетелен и милосерд.

На протяжении последних томов «Истории» российской он искал такого правителя, взыскательно измеряя каждого самодержца избранной им мерой. Он делал последнюю отчаянную попытку спасти самые основы своего мировоззрения.

<sup>1</sup> Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. Ч. I. Спб., 1862, стр. 195.

А оно колебалось, ибо стояло на основании шатком и непрочно. На склоне лет ему стало казаться, что он нашел человека, который мог бы стать осуществлением мечты об идеальном монархе. Это был Александр I. Он вкладывал теперь в него, как в драгоценный сосуд, всю свою философию, все свои этические искания, все свои упования на человеческий разум и благородство. И все больше и больше призывался к Александру, как к своему собственному созданию.

Он посвятил ему свою «Историю», в предисловии к которой написал: «История народа принадлежит царю».

Посвящение и предисловие были едва ли не центром разгоревшихся споров.

«Посвящение его государю написано необыкновенно (без всякого иного прилагательного), — сообщал Татаринов Бахтину. — Иной говорит, что он [Карамзин] хотел именем государя заставить молчать всех критиков, сказывая им, что ему угодно было похвалить такие-то места; другие утверждают, что он напоминает только о бедствиях 1812 года. О других толках я молчу, довольствуясь сообщить вам следующую мысль из посвящения: «Государь! если счастье В[аше]го добродетельного сердца равно Вашей славе, то Вы счастливей всех земнородных», — и просить вас растолковать мне оную».

Бахтин вряд ли склонен был заниматься подобными толкованиями. К «Истории» он был столь же непримирим, как и Катенин, который напишет ему через десять лет:

«Не о cose времени надо спорить, а о благодарности, которую все русские люди якобы обязаны Карамзину; вопрос: за что? История его подлая и педантическая, а все прочие его сочинения жалкое детство». Тогда же, в 1828 году, Катенин отошлет Пушкину для напечатания свое стихотворение «Старая быть» с посвящением, где с нескрываемой насмешкой скажет о «почтенном», «прославленном», «пренагражденном» историографе. Политическая оценка «Истории» переплетается с литературной враждой совершенно так же, как в анонимной пародии.

«Старая быть» Катенина была ядовитым и резким, хотя и скрытым, нападением на Пушкина. Быть может, обидчивый и нетерпимый Катенин счел себя уязвленным, прочитав строки в «Северных Цветах», и это послужило ему одним из поводов пустить в Пушкина свою парфянскую стрелу, задев заодно и историографа?



Н. Муравьев.

Это отклик 1828 года. В 1818 году они были еще резче. Катенин был тесно связан с будущими декабристами. Переводчик тираноборческой трагедии «Цинна», автор знаменитого гимна, призывающего к свержению «трона и царей», Катенин, конечно, под «подлостью»<sup>1</sup> разумел монархический дух «Истории». Так говорил о ней и другой декабрист, Матвей Муравьев-Апостол: «царедворная подлость»<sup>2</sup>. Катенин и Муравьев-Апостол виделись нередко у вождя северных декабристов Никиты Муравьева; в конце 1817 года Никита писал матери: «Вчера у меня Катенин пил чай и был также Матюша. Мы в один вечер успели перебрать всю словесность от самого потопа до наших дней и истребили почти всех писателей».

<sup>1</sup> В пушкинскую эпоху слово «подлость», помимо современного значения, имело и второе: заискивание, подхалимство.

<sup>2</sup> См.: С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов. Изд. АН СССР, М. — Л., 1958, стр. 288. Далее в тексте — Волк и стр.

Никита же Муравьев был тем самым таинственным «Н», молодым человеком, умным и пылким, который «разобрал предисловие» к «Истории» Карамзина.

Никита Муравьев был старшим сыном покровителя Карамзина — Михаила Никитича Муравьева, о котором мы уже говорили.

Михаил Никитич умер в 1807 году, оставив жену — Екатерину Федоровну и двоих сыновей — Никиту и Александра; он успел передать первенцу свой острый интерес к историческим и общественным наукам и за год до смерти начал читать одиннадцатилетнему мальчику лекции по истории, которые стоили любого университетского курса. У Муравьевых был литературный салон, и после смерти хозяина дом его так и остался «одним из роскошнейших и приятнейших в столице». Здесь собирались и приверженцы Карамзина — будущие арзамасцы, подолгу жил Батюшков — племянник хозяина, бывали Дмитриев и Гнедич, будущий переводчик «Илиады».

Карамзин был издавна связан с домом Муравьевых, и его дружеские отношения с Екатериной Федоровной не прерывались до самой смерти. На его глазах рос мальчик — будущий руководитель северных декабристов и главный критик его «Истории».

В октябре 1818 года Карамзин вновь поселяется на Фонтанке, под гостеприимным кровом Е. Ф. Муравьевой. Живет он довольно уединенно, проводя дни за корректурами «Истории» и читая переписку Гальяни. Изредка посещают его братья Тургеневы, Жуковский; ненадолго заглядывает Вяземский перед отъездом в Варшаву.

Между тем Никита Муравьев, бежавший в свое время из родительского дома, чтобы принять участие в борьбе с Наполеоном, Никита Муравьев, проделавший весь заграничный поход, вкусивший от бурной политической жизни послевоенного Парижа, возвращается в Петербург, полный новых впечатлений. Он захвачен проблемами военной истории и политики. Он никуда не выезжает; дни его протекают за письменным столом. Он пишет свой первый труд — о жизнеописаниях Суворова. «Тревожный и беспокойный дух» его ищет выхода и деятельности. Его навещают дальние родственники и друзья детства — братья Муравьевы, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы. Родственными узами связан он и с Михаилом Лу-

ниним, человеком необычайной целеустремленности и духовной силы. Кружок расширяется: в политических спорах участвуют теперь уже И. Д. Якушкин, С. Трубецкой, Пестель, братья Шиповы, Илья Долгорукий... Частым гостем был Николай Тургенев, поглощенный одной мыслью — уничтожением крепостного права, тот самый Тургенев, который побуждал Пушкина посвятить свою лиру свободе и о котором поэт вспоминал в X главе «Онегина».

В светском и литературном салоне Екатерины Федоровны Муравьевой начинают появляться новые лица. Квартира становится постепенно местом дружеских сходов, принимавших все более яркую политическую окраску.

Витийством резким знамениты,  
Сбирались члены сей семьи  
У беспokoйного Никиты,  
У осторожного Ильи.

Так писал Пушкин в «Евгении Онегине» — и писал по собственным впечатлениям. «Члены сей семьи» становились членами декабристских союзов.

Рядом с этими людьми живет историкограф Российского государства, сторонник самодержавия, посвятивший свой труд императору Александру I. Давний друг семьи Муравьевых, на глазах которого рос «Никотинька» — будущий декабрист Никита Михайлович Муравьев, осужденный по первому разряду «государственных преступников». Близкий друг старшего из братьев Тургеневых — Александра Ивановича. Родственник Вяземского. И политический противник.

«Он жил у тетушки, мы видели его почти ежедневно, — вспоминал почти через пятьдесят лет М. Муравьев-Апостол, — входили в спор с ним насчет его взглядов на тогдашние события» (Волк, 288).

Это очень важно. «История» Карамзина не была книгой «с таинственных вершин». Она имела свой контекст, свой написанный комментарий. Таким комментарием был сам Карамзин; его разговоры за обеденным столом с Муравьевым и Тургеневыми, его отношение к событиям и людям.

Он писал; молодые любители отечественной истории ждали окончания труда с тем большим нетерпением, что знали человека, который за него взялся.

В 1817 году Никита Муравьев пишет матери о своем желании иметь «Историю» сразу же по выходе в свет.

В апреле месяце он уже садится за чтение труда Карамзина. 15 апреля он прочел первую часть. Через неделю четыре тома уже испещрены его замечаниями. К 16 мая прочитано уже семь томов. Молодой историк принимается за сверку источников (Л. Н., т. 59, стр. 572).

Он читает Ливия, Геродота, Страбона, Дводора, Иордана — по-латыни, по-гречески, по-французски... Он сличает, сопоставляет, отбирает свидетельства. Он привлекает тех историков, которых упустил Карамзин, — Полибия, Макробия. От этой гигантской работы двадцатичетырехлетнего ученого — ибо то, что он написал, было ученым трудом, — до нас дошло лишь немногое, а была довольно толстая тетрадь.

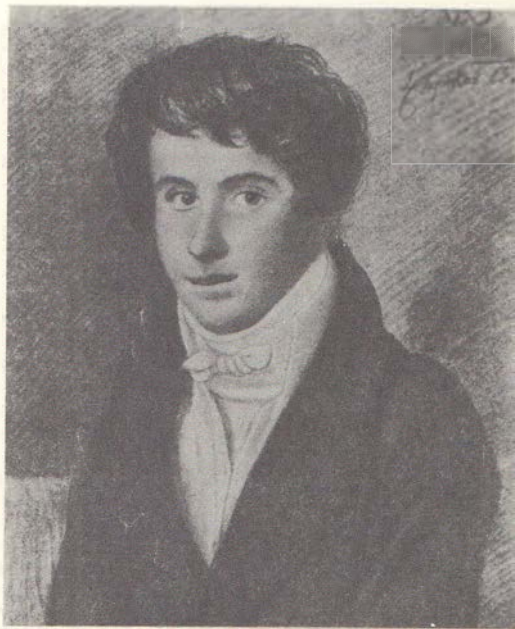
Вероятно, осенью 1818 года он начинает показывать написанные части своим друзьям. Они воспринимали этот труд с тем большим энтузиазмом, что устами Муравьева говорил не только историк, но и политик, и политик-республиканец. «История народа принадлежит царю», — так начинал Карамзин. «История принадлежит народам», — такова первая мысль Муравьева. Н. И. Тургенев записывает ее в свой дневник.

Удары «молодых якобинцев» направлены против самых основ труда Карамзина. Их дневники и письма наполнены возмущенными тирадами. Еще в 1816 году Н. И. Тургенев писал брату Сергею, что не ждет от Карамзина распространения либеральных идей: «Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличилась деспотизмом, что здесь называют самодержавием»<sup>1</sup>. Сергей был полностью согласен с братом; по мере чтения «Истории» его мнение осталось непоколебленным:

«В борьбе самодержавия со свободой где люди, коих примеру мы должны следовать? Я могу верить, что Риму в тог-дашнем его положении нужен был король Ю. Кесарь; однако могу восхищаться Бру-том», — писал он в своем дневнике.

Никита Муравьев тоже восхищался Брутом, свободолубцем, цареубийцей. Бесстрастию почти летописного повествования Карамзина он противопоставляет строгие, полные сдерживаемой страстности и гражданского одушевления. Он вспоминает о римском историке Таците, которого воодушевляло негодование.

Это был ярчайший случай чисто принципиального спора, непримиримого столкновения двух людей, глубоко уважавших друг друга.



Н. М. Муравьев. Рисунок  
О. А. Кипренского. 1813 г.  
Литературный музей. Москва.

История мира для Карамзина — это история мятежных страстей, волновавших гражданское общество. Так было всегда, так и ныне. На земле нет совершенства.

Есть различия в этом несовершенстве, возражает Муравьев. Есть несовершенства неустранимые, но есть и пороки времен Нерона и Гелиогабала, есть холодная жестокость Ивана III и ужасы Грозного. Есть эпохи, когда честь, жизнь, нравственность граждан волею самодержца подвергаются опасности. И кто поручится, что они не повторятся? «Можно ли любить притеснителей и заклепы?»

Но есть эпохи русской государственности, не отмеченные пагубным клеймом самодержавного деспотизма. Это вольный Новгород, это древние славяне, не изнывавшие еще под властью Рюрика, — «народ великий, чуждый вероломства и често-

<sup>1</sup> Письмо от 30 ноября 1816 г. В кн.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. Изд. АН СССР, М. — Л., 1936, стр. 203. (Лит. архив.)

любия». Мысль декабристов постоянно обращалась к этим древним идеальным «республикам»; наряду с римлянами новгородцы говорили в декабристских стихах и трагедиях языком политического трибуна. И следующий удар декабристские историки и публицисты наносят по тем главам «Истории», где речь идет о начале Русского государства.

Никита Муравьев не успел обработать эту часть своих замечаний. Он сосредоточил свой пафос полемиста на предисловии — этом кредо Карамзина — историка и философа. Но мысли, зарожденные им, были подхвачены другими. Следующая критическая реплика, быть может прямо навеянная изысканиями Муравьева, шла из Киева, где обосновался в это время друг Муравьева — блестящий военачальник Михаил Орлов.

Михаил Орлов был личностью далеко не заурядной. Он прошел всю наполеоновскую кампанию; участвовал в атаке кавалергардов при Аустерлице, был парламентом в ставке Наполеона, предводителем партизанского отряда в тылу французской армии и в 1814 году подписал акт о капитуляции Парижа. Едва ли не самый молодой генерал русской армии, он был еще и военным писателем, экономистом, социологом, историком и организатором одного из первых декабристских тайных обществ — «Ордена русских рыцарей». Литературные интересы Орлова привели его в «Арзамас», и первыми его шагами на этом поприще было предложение определить обществу цель, достойнейшую его «дарований и теплой любви к стране русской». Он замышляет издание политического журнала, завязывает сношения с декабристским «Союзом Спасения», а в 1818 году становится членом «Союза Благоденствия». Его бурная деятельность в Петербурге прерывается в этот момент — в 1818 году он получает назначение в Киев.

Здесь, в Киеве, ему и попадает в руки «История» Карамзина, и Орлов с обычной своей откровенностью высказывает о ней свое мнение. Он пишет ставшее недавно известным письмо Вяземскому от 4 мая 1818 года — то самое письмо «М» к «В», о котором упоминает Пушкин.

Орлов только что прочел первый том Карамзина, где шла речь о призвании варягов. Его гражданское и патристическое чувство было возмущено «норманнской теорией». «Зачем... он в классической книге своей, — пишет Орлов, — не оказывает того пристрастия к Отечеству, которое в других прославляет? Зачем хочет быть

беспристрастным космополитом, а не гражданином? Зачем ищет одну сухую истину преданий, а не приклонит все предания к бывшему величию нашего Отечества?.. Тит Ливий сохранил предание о божественном происхождении Ромула, Карамзину должно было сохранить таковое же о величии древних славян и россов».

Орлов искал в истории объяснения национальных основ русской государственности. Он вовсе не имел в виду предложить Карамзину придумать или подобрать эффектные легенды. Через несколько месяцев он будет разъяснять Вяземскому подробно, по каким основаниям первые тома труда Карамзина для него неудовлетворительны. Он приведет исторические справки и подвергнет критике повествования о начале Руси как «ложные» и «пристрастные» (Л. Н., т. 59, стр. 557—564). Но в первом письме он этого не делает. Его пером водит пафос «гражданина», а не «историка», воображение его, «воспаленное священной любовью к Отечеству», ищет в истории российской «родословную книгу» еще непонятого ему древнего величия славян. «Издание «Истории Российской государства» есть дело отечественное». Это говорит декабристский идеолог-публицист, на примерах любви к отечеству воспитывавший солдат в ланкастерских школах.

Вяземский, однако, решительно не согласился с критикой Орлова и отверг его слишком смелые гипотезы о славянском происхождении Рюрика. Сам «раскаляясь» в «вулканической атмосфере» декабрьского движения, Вяземский не мог не сочувствовать страстной гражданственности своего давнего друга, «рыцаря любви и чести», но не был убежден его доводами ни тогда, ни позже. Он ответил Орлову из Варшавы. Ответ его неизвестен; через много лет он вспоминал о своих расхождениях с Орловым: «Умный и образованный Михаил Орлов был также недоволен трудом Карамзина: патриотизм его оскорблялся и страдал в виду прозаического и мешанского происхождения русского народа, которое выводил историк». Письма Орлова и Вяземского быстро распространялись, и в следующем письме от 4 июля Орлов просит «не быть щедрым в разглашении» его. Но было уже поздно. Видимо, Орлов и сам не скрывал своих расхождений с Карамзиным. В ноябре 1819 года Вяземский пишет А. И. Тургеневу даже с некоторой растерянностью: «Где ты читал мое письмо к Орлову? Что и где приводит Волконский слова Орлова о Карамзине? Разве

Волконский что-нибудь написал? Вот здесь Орлова выдают живьем. Он сердится на Карамзина за то, что он вместо «Истории» не написал басни, лестной родословному чванству народа русского. Я с ним воевал за это и верно не ласкал его».

#### 6. «Одна из лучших русских эпиграмм»

А Пушкин? Как вел себя в это время Пушкин?

С марта 1818 года, оправившись от болезни, он возобновляет свои посещения салона Голицыной, где все громче слышались критические голоса против Карамзина. Конечно, не «молодые якобинцы» задавали здесь тон; мы знаем уже, что княгиня была правоверной монархисткой. Здесь говорили ревнители старины, хранители уставов древнего благочестия, которые не могли забыть европейских симпатий историографа. Но у Голицыной, как мы помним, бывали и другие люди — такие, как Михаил Орлов; и через много десятилетий, вспоминая о годах своей молодости, Вяземский жестоко ошибся, связав письма Орлова с косным патриотизмом голицынского салона<sup>1</sup>. К ним-то и прислушивался Пушкин. Орлова он мог знать еще с лета 1817 года, но ближе сошлись они лишь три года спустя в Каменке и Кишиневе, куда Орлова перевели начальником 16-й пехотной дивизии. В доме генерала собирались декабристы-южане, и Пушкин подолгу спорил о положении в стране, о «вечном мире», о литературе. Сам генерал не скрывал своих мнений ни тогда, ни раньше, когда он посылал Вяземскому свой критический отзыв об «Истории Государства Российского». Но самих писем Пушкин в 1818 году знать еще не мог: они прошли мимо него; в мае Орлов был в Киеве, Вяземский — в Варшаве, Пушкин — в Петербурге. Он мог прочесть их много позже, встретившись с Вяземским после многолетней разлуки в 1826 году; а он, вероятно, не только знал их по пересказам, но и читал: слова «блестящая гипотеза» попали в его мемуары прямо из второго письма Орлова.

Теперь же, в 1818 году, он оказывается в самом центре петербургской оппозиции Карамзину. Он слушает остроумные и злые насмешки Катенина и, быть может, сам участвует в составлении «очень смешной» пародии на стиль и идеи Карамзина. И наконец, дом Муравьевых, знакомство с «умным и пылким» Никитой и его друзьями. В десятой главе «Онегина» он вспоминает, как он читал свои нозли —



М. Ф. Орлов. Портрет работы неизвестного художника.

известное по всему Петербургу стихотворение: «Урал в Россию скачет кочующий деспот» — «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи» — Ильи Долгорукова, «блюстителя» «Союза Благоденствия». Он назовет и других участников собраний, с которыми встречался тогда и годом позже, в 1819 году: Якушкин, замышлявший царевубийство, Лунин, Николай Тургенев. Все это круг Муравьева; о Лунине, двоюродном брате «беспокойного Никиты», он скажет уже в 1835 году: «Михаил Лунин человек несомненно замечательный», и будет напоминать о себе этому «нераскаянному» декабристу. Никита Муравьев справлялся о Пушкине еще в 1815 году; а Матвей Муравьев-Апостол через полвека еще помнил первую пушкинскую эпиграмму на предполагаемый выход «Истории»:

<sup>1</sup> П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII. Спб., 1883, стр. 384.



«И, бабушка, затеяла пустое! Докончи нам Илью Богатыря»<sup>1</sup>.

Но, пожалуй, теснее всего Пушкин сошелся тогда с Тургеневыми. В доме Тургеневых на Фонтанке, где через открытое настежь окно можно было видеть громаду Михайловского замка, затененного деревьями и пустующего, Пушкин слышал «глас Клии» — музы истории. Он сочинил здесь оду «Вольность» — о смерти «увенчанного злодея», Павла I, задушенного шестнадцать лет назад шарфом Скарятина в собственной резиденции. Тогда еще это убийство пугало его; удары «янычар» были бесславны. Но ненависть к деспотизму крепла с каждым месяцем; деспотом был уже для него и Александр I, хотя он был и не похож на своего отца-самодура. Братья Тургеневы поддерживали в юноше отвращение к крепостному рабству; они вдохновили его на «Деревню». Николай Тургенев называл крепостников «хамками». Слово привилось, получило хождение. В 1816 году Тургенев причислял к «хамам» и Карамзина, еще не зная «Истории», судя о ней со слов брата Александра. Александр Иванович сообщал, что труд этот может со временем послужить основанием возможной русской конституции. Но либерализм Александра Ивановича для младших братьев вообще был под большим сомнением, и его «похвалу» Николай понял так: «автор видел, что рассуждать хорошо трудно, а иногда опасно; и потому молчал. Второй же период «со временем», возможной да еще и русской делает Карамзина в глазах моих хамом»<sup>2</sup>. Позже, читая «Историю», Тургенев изменил свое мнение, но до конца жизни не мог простить Карамзину его уклончивости в вопросе о крепостном праве. А в декабре 1819 года, под самый Новый год, он чуть было прямо не порвал с Карамзиным после разговора о русском народе. «Карамзин имеет хорошую сторону; но он со вчерашнего дня будет навсегда чужд моему сердцу»<sup>3</sup>.

Отзывы становятся все резче, выходят на поверхность, раскальваются на бесчисленные реплики, сарказмы, эпиграммы. Одна из них явно вышла из тургеневского кружка:

Решившись хамом стать пред  
самовластья урной,

Он нам старался доказать,  
Что можно думать очень дурно  
И очень хорошо писать.

Второе четверостишие хорошо знали в доме Муравьевых: Матвей Муравьев-Апостол приводил его в 1860 годах наряду

с ранней пушкинской эпиграммой об «Илье Богатыре».

На плаху истину влача,  
Он показал нам без пристрастья  
Необходимость палача  
И пользу самовластья.

Или иногда его читали иначе:

В его «Истории» изящность, простота  
Доказывают нам без всякого

пристрастья  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

Эпиграмма выдавала почерк мастера. Много позже о ней стали говорить как о пушкинской.

Это было похоже на истину. В эпиграмме жила частица пламени, разгоравшегося на муравьевских собраниях.

«Я убежден, что стихи не Пушкина», — записал старик Вяземский, прочитав их в 1870 году<sup>4</sup>.

Вяземский колебался: он не знал точно. Бурные споры об «Истории» миновали, благоговение к Карамзину у него осталось и даже окрепло, стало безотчетным. Теперь ему хотелось верить, что его великий друг не писал эпиграммы на его кумира.

Теперь ему хотелось, чтобы в отношении Пушкина к Карамзину было только уважение, только «нежная преданность»<sup>5</sup>. Но в 1818 году это было не так, и Вяземский отлично это знал. Он не знал только одного — какие именно эпиграммы написал Пушкин. Эпиграммы доходили до него через третьи или четвертые руки, если доходили вообще. Он был в Варшаве, он был отрезан

<sup>1</sup> Письмо к Бибиковым 14 марта 1866 г. Приведено в статье М. К. Азадовского «Во глубине сибирских руд». (Новые материалы.) В кн.: М. К. Азадовский, Статьи о литературе и фольклоре. Гослитиздат, М. — Л., 1960, стр. 450.

<sup>2</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. Изд. АН СССР, М. — Л., 1936, стр. 182. (Лит. архив.)

<sup>3</sup> Архив братьев Тургеневых. Вып. 5, Пг., 1921, стр. 221.

<sup>4</sup> Князь Вяземский и Пушкин. С предисловием и прим. Николая Барсукова. М., 1904 («Старина и Новизна», кн. VIII, отд. оттиск), стр. 37.

<sup>5</sup> Б. В. Томашевский. Эпиграммы Пушкина на Карамзина. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. Изд. АН СССР, М. — Л., 1956, стр. 208—215.

от споров в петербургских кружках и салонах.

Но он не был вовсе отрезан от русской литературной жизни. Из Варшавы в Петербург и Москву и обратно шли письма — широким и равномерным потоком, письма — негласные газеты двадцатых годов прошлого столетия.

Василий Львович Пушкин писал ему из Москвы, по свежим следам событий: «Все экземпляры Российской Истории раскуплены. Николай Михайлович пишет, что он награжден за труды свои и что теперь публика доказала, что нелепые критики не действительны. Пушкин беснуется и говорит все одно и то же, я и повторять его глупостей не хочу»<sup>1</sup>.

Дядя мог бы спокойно повторить «глупости» племянника, потому что и сам племянник не делал из них секрета.

Он вступил в споры с самим Карамзиным, и с не меньшей страстью, чем члены кружка Муравьева, обращавшие к историографу свои возражения.

«Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: итак, вы рабство предпочитаете свободе». Так Пушкин вспоминал сам в рукописном отрывке.

Тогда-то он и написал эпиграмму на Карамзина — одну эпиграмму, какую, мы точно не знаем. Ее подхватили, исказили, распространили, она теряла имя, а потом, как бы в воздаяние за потерю, Пушкину приписали другие, ему не принадлежащие. Они держались долго. В апреле 1825 года они попадают к А. Тургеневу; в порыве возмущения он пишет Вяземскому о своем «омерзении» к Пушкину, поднявшему руку за «отца Карамзина». Через несколько дней Тургенев смягчился: он узнал, что эпиграммы старые, пяти- или шестилетней давности, но убеждение в авторстве Пушкина не исчезло. Вяземский поверил, и не мог не поверить; он знал настроения Пушкина этих лет. Тогда он не сообщил Пушкину ничего о раздражении Тургенева, но через год вспоминал: «Ты... шалун и грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов». Вяземский писал резко: неостывшее еще потрясение, вызванное смертью Карамзина в марте 1826 года, проникло все его духовное существо; приступы черной меланхолии участились у него в эти дни.

Пушкин ответил с горечью и обидой: «...Что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? довольно и одной, написанной мною в такое время, когда Ка-



Н. И. Тургенев. Миниатюра Сеигри.  
1810. Всесоюзный музей  
А. С. Пушкина. Ленинград.

рамзин] меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и мою сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены: ужели ты мне их приписываешь? Во-вторых. Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc., так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю».

А в записках о Карамзине он напишет: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни». Это — полупризнание, полуотречение.

В «Записках» Пушкин слегка слукавил; почему и зачем — об этом речь впереди.

<sup>1</sup> Не датировано. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1. № 5082, л. 81.

## 7. «Опровергнутые верным рассказом событий»

К 20-м числам марта 1820 года отношения Карамзина с «молодыми якобинцами» достигли большой остроты. Это не было окончательным разрывом, но скорее охлаждением. 20 марта уехал в Константинополь Сергей Иванович Тургенев; перед отъездом он не зашел попрощаться с семьей историографа. Жена Карамзина, Екатерина Андреевна, писала Вяземскому в Варшаву: «Кто знает, мой дорогой князь Петр, кто знает, может быть, в один прекрасный день, когда мы соединимся в одном городе, вы не захотите более нас видеть, — ведь что до вашего брата либерала, вы не более терпимы к таким вещам; нужно думать одинаково с вами, без этого не только вы не можете любить человека, но даже его видеть. Я шучу, включая вас в их число, ибо характер моего мужа мне порукой, что мы останемся братом и сестрой, несмотря на различие политических мнений. Жуковский заходит к нам раз в месяц; у г-на Пушкина что ни день, то дуэль; благодарение богу, — не смертоносные, потому что противники остаются невредимы. Г-н Муравьев печатает критику на Историю мужа. Вы видите по этому краткому отчету, что нам не слишком хорошо в обществе, которое посещало нас весьма усердно»<sup>1</sup>.

Между тем Карамзин упорно работал над следующими томами своей «Истории». В его маленьком кабинете было тесно от книг и рукописей; ими были набиты шкафы по стенам, они стояли на сдвинутых столах, где едва оставался уголок, чтобы положить лист бумаги; они лежали на полу, на стульях; каждое утро свет из окна слева падал на неподвижно сидящую высокую, но уже сутулящуюся фигуру, склонившуюся над письменным столом.

Карамзин торопится.

Ему пятьдесят четыре года, и он не слишком рассчитывает на свои силы, которые начинают ему изменять. Впереди еще несколько томов — около столетия русской истории, столетия трудного и обильного документами. Одновременно нужно читать и корректуры печатающихся томов.

В письмах своих он, как и прежде, спокоен и уравновешен. Есть лишь один корреспондент его, которому он пишет с жадным и нервным нетерпением. Это начальник Московского архива иностранных дел, председатель общества истории и древностей российских — А. Ф. Малиновский, снабжающий его рукописями и книгами. Он

шлет ящик за ящиком; но Карамзину мало. Время уходит. «Еще бы два тома, и полкон Истории! но не обманываю себя: едва ли удастся, разве бог поможет!»

Карамзин заканчивал девятый том «Истории Государства Российского».

Это — описание последних двадцати четырех лет правления Ивана Грозного, когда совершилась «ужасная перемена в душе царя», отравленной неограниченной властью, наветами, интригами и подозрительностью. В неторопливом, но вовсе не бесстрастном повествовании проходят перед читателем «шесть эпох душегубства» — страшный мучитель сосланных, замученных, казненных лютой смертью. Умный и даже просвещенный царь, политик спокойный и глубокий превращается в «изверга вне законов, вне правил и вероятностей рассудка». Триста страниц примечаний — выписок из летописей, современных хроник и документов с неотразимой убедительностью свидетельствовали истину заключений Карамзина.

Он вовсе не был летописцем, трудолюбивым хронистом, излагавшим шаг за шагом ход событий. Его «История» имела свой замысел и задание. Недаром рядом с Иоанном он ставит постоянно мужей праведных и твердых — советников царя, опору его в делах государственных; недаром так много места уделяет он им — тем, которые пытались направить монарха на стезю добродетели, а когда это не удавалось, то, не щадя живота своего, возвышали голос осуждения; он не скрывает своего восхищения, говоря об Адашеве, Сильвестре, митрополите Филиппе, принявшем против воли свой сан в черные дни свирепства Иоаннова, чтобы по мере сил своих противостоять беззаконию. «Ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего», — говорит он о Филиппе. Казнь и опала этих людей — первые шаги на пути к деспотизму, тиранству, не ограниченному ни законом, ни добродетелью. Тирану же Карамзин выносит приговор строгий и беспощадный.

Это было давнее его убеждение. Еще в 1803 году он упрекал древних летописцев в том, что они свидетельствуют только о добрых делах властителей, умалчивая о злых. Он вспоминал тогда древнего историка Тацита, совершенно так же, как Искита Муравьев при чтении первых томов

<sup>1</sup> Письмо от 23 марта 1820 г. Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826. Спб., 1897, стр. 98. (Подлинник по-французски.)



тельность воспрепятствует ему говорить свободно об «ужасах» Ивана Грозного. «В таком случае что будет история?»<sup>1</sup>

Опасения Карамзина были не напрасны. В Петербурге ходил анекдот, что в Аничковом дворце — резиденции великого князя, будущего императора Николая Павловича, девятый том встретили с недоброжелательством, а самого историографа именовали «негодяем, без которого народ не догадался бы, что между царями есть тираны». Суждение было, вероятно, слишком подчеркнуто для эффективности, но мысль вовсе не была оригинальна. Позднее Вяземский писал А. Тургеневу, что цесаревич почитает «Историю» вредною книгою<sup>2</sup>. Того же мнения придерживались и воинствующие ретрограды вроде Магницкого, к нему осторожно приближались ученые консерваторы типа Каченовского и многие из публики, рукоплексавшей Карамзина, когда 8 января 1820 года он читал отрывки из не изданных еще томов в заседании Российской академии. Почти через пятьдесят лет будущий митрополит Филарет сохранил это впечатление. «Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более бы покрыла тенью, нежели многими мрачными чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя»<sup>3</sup>.

Вероятно, Карамзин не раз слышал такой же мягкий упрек и благожелательный совет, и ничто не могло быть для него более сильным искушением. Ведь он и сам думал так же, и колебался, и говорил о своих сомнениях Александру. «Мне трудно решиться на издание 9-го тома: в нем ужасы, а цензура моя совесть», — так писал он Дмитриеву в августе 1819 года. Разные голоса теперь спорили в нем — голос собственных политических симпатий, и голос дипломатической осторожности, и тихий, но уверенный голос философа и ученого, моралиста, скептика, прошедшего сквозь школу политических и нравственных исканий и иллюзий восемнадцатого столетия. Голос этот оказался сильнее всех.

Не было идеального монарха в русской истории. Деспоты, напротив, были, и их нужно было назвать деспотами.

Что же до исторической истины, то двадцать пять лет он пребывал в убеждении, что постигнуть ее до конца не дано слабому человеческому разуму.

Оставалось одно — положиться на язык самих событий. Пусть они учат грядущих

монархов, показывая им, чего не нужно делать.

«Добросовестный труд повествователя, — говорил он, — не теряет своего достоинства потому только, что читатели, узнав с точностью события, разногласят с ним в выводах. Лишь бы картина была верна, пусть смотрят на нее с различных точек».

Это была, вероятно, самая тяжелая победа, одержанная Карамзиным, — над самим собой. Теперь время делало свое дело и наполняло его историю революционным смыслом. Он не хотел этого, но и не мешал.

«Несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий», — записал Пушкин в своих «неизданных записках».

«Многие забывают, что Карамзин печатал свою Историю в России», — стоит в тексте «Северных Цветов». «...В государстве самодержавном», — следовало далее в рукописи, но цензор Сербинович не пропустил этого пояснения. В «Записках» оно развернуто дальше: «Государь, освободив его от цензуры, сам знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всюю верною историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что «История Государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

Так вновь мы подходим к этой формуле — «подвиг честного человека», которая заключает «Отрывки из писем, мысли и замечания», а вместе с ней — и к концу нашего комментария. Теперь нам предстоит вернуться назад, к странной истории, которой мы начали первую главу, и посмотреть, разъясняет ли ее добытый исторический материал.

## 8. Ложная развязка, или истина в первом приближении

Странная история, как помнит читатель, заключалась в том, что в ноябре 1827 года

<sup>1</sup> Записка 14 октября 1816 г. «Русская Старина», 1880, № 4, стр. 234.

<sup>2</sup> Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Пг., 1921. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, стр. 40.

<sup>3</sup> Чтения в Импер. Московском обществе истории и древностей российских; 1880, кн. IV, стр. 12.

куратор альманаха «Северные Цветы» О. М. Сомов передал Бенкендорфу для «высочайшего разрешения» анонимную статью Пушкина с подписанным отрывком внутри, и Бенкендорф, приняв всю статью за не пушкинскую, переслал ее в обычную цензуру.

В статье наряду с «мыслями разных лиц» содержался отрывок о Карамзине из уничтоженных записок Пушкина.

Мы попытались «развернуть» пушкинский текст, раскрывая то, чего намеренно не сообщил своим читателям Пушкин.

Мы прочли имена «молодых яковинцев» в таинственных «Н» и «М», заподозрили «полуночную княгиню» в безыменной даме, авторе «глупого» отзыва, и кружок Катерина — в авторах «очень смешной» пародии. Статья Пушкина в 1828 году со страниц «Северных Цветов» во всеулышание, печатно рассказывала о декабристах — критиках «Истории» Карамзина, о Никите Муравьеве, идеологе Северного общества, осужденном на пятнадцать лет каторги и ныне томившемся в Читинском остроге; о Михаиле Орлове, отправленном под надзором фельдъегеря в ссылку в свое калужское имение.

Не вполне уместно было давать характеристику «умный и пылкий» государственному преступнику.

Тем более неуместно это было в устах сочинителя Александра Пушкина, пагубные заблуждения которого были хорошо известны правительству. Император, хотя и простил ему грехи молодости и окружил монаршим благоволением, все же вынужден был поставить его под тайный надзор по причине крайнего его легкомыслия.

Действительно, нужна была изрядная смелость и даже дерзость, чтобы решиться на подобный шаг, и не удивительны меры предосторожности, предпринятые сочинителем.

Все это явствует из комментария и все же не решает задачи до конца.

Во-первых, остается неясным, почему отрывок нужно было печатать именно теперь и с такой срочностью.

Во-вторых, ведь Пушкин не просто напоминает о своих друзьях — декабристах. Он с ними спорит. Он вступает в полемику с людьми, которые не могут ему ответить, и защищает от них Карамзина. Он вспоминает о споре десятилетней давности, хотя перед глазами его был новый спор: как раз в эти годы несколько журналов одновременно подвергают критике «Историю» Карамзина. Да и в начале 1820-х годов

основным «зоилом» Карамзина был Каченовский, с которым вел «журнальную войну» Вяземский; и Карамзин тщетно пытался сдержать тогда эту бурную полемику, уверяя своих защитников, что его ничуть не беспокоят журнальные нападки. О Каченовском — скрыв его за прозрачной буквой К. — Пушкин упомянул в одной строке, чтобы оставить его и перейти к декабристам.

И насколько странно освещение событий!

В 1818 году Пушкин не третировал пренебрежительно отзывы княгини Голицыной — сейчас он иронизирует над ними печатно.

В 1818 году Пушкин разделял критические оценки «Истории», возмущался ее монархическим духом, быть может, сам участвовал в составлении пародии на нее. Сейчас он как будто берет сторону Карамзина против Пушкина.

В 1818 году он пишет эпиграмму на Карамзина, теперь же отказывается от нее: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм». Фраза эта осталась в «неизданных записках» где, казалось бы, не нужно было бояться цензурных преследований; между тем она явно не соответствует действительности.

Наконец Пушкин сокращает текст рукописных записок таким образом, что самой многозначительной оказывается фраза о подвиге честного человека. Она венчает весь фрагмент и становится ключевой, как бы выводом из всего, что говорилось ранее. Создается впечатление, что для нее-то и писалось все остальное и что ее-то и проводил Пушкин в печать с такими трудностями и риском. А этого не объясняет до конца даже ссылка на девятый том «Истории», который продолжал ходить по рукам совершенно свободно и переиздавался вместе с прочими томами без цензуры, с «высочайшего соизволения».

Решительно не к чему было так торопиться и предпринимать столько усилий, чтобы по секрету от правительства сказать публике, что Карамзин был честным человеком, — истину, которую никто не оспаривал.

К чему был весь тонкий дипломатический демарш, призванный ввести в заблуждение Бенкендорфа и Николая насчет истинного автора статьи? Ни тот, ни другой не могли знать, что под буквой «Н» скрывается Никита Муравьев, а под буквой «М» — Михаил Орлов. Ни критика Муравьева, ни письма Орлова к Вяземскому опубликованы не были; последние распространялись в

очень узком кругу. И конечно, обозначение «светские люди» навело бы на ложный след августейшего цензора.

Между тем то, что неизвестно было Николаю I, не могло не быть известно цензору «Северных Цветов» К. С. Сербиновичу. Сербинович, помогавший Карамзину в работе над последними томами «Истории», посещавший его почти ежедневно; Сербинович, знавший некоторых участников тайных обществ, был, конечно, в курсе борьбы мнений, развернувшейся вокруг труда Карамзина. Ни «Н», ни «М» не были для него «тайнственными незнакомцами».

Если бы Пушкин хотел скрыть именно это, ему было бы безопаснее отправить отрывок на просмотр Николаю, даже подписав его полным именем.

Очевидно, что во всем этом был какой-то иной, непонятный нам смысл и что комментарий сказал нам и слишком много и слишком мало.

Все дело в том, что между 1818 годом — временем, когда происходили описываемые Пушкиным эпизоды, и 1827 годом — когда он обрабатывал окончательно для печати свои записки — пролегла полоса событий, которые наложили свой отпечаток на «отрывок» Пушкина, осветили ретроспективно новым светом его воспоминания и заставили превратить их в животрепещущую острую статью.

Нам придется вспомнить, что случилось за это время.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1. Карамзин уходит

Нотой отчуждения окончились отношения Пушкина и Карамзина.

Им больше не пришлось увидеться. В течение шести лет — в Крыму, Одессе, Кишиневе, в штаб-квартире декабристов в Каменке, потом в Михайловском — Пушкин узнает о Карамзине из вторых рук, по письмам, по рассказам. Обида, разногласия, конфликт с годами стирались, но не исчезали окончательно.

Тем временем события развивались немолимо и грозно.

19 ноября 1825 года в Таганроге умирает Александр I.

Вряд ли что-либо способно было стать для Карамзина большим потрясением.

Он пережил смерть нескольких детей, он был уже далеко не молод, постоянно болен, изнурен трудом. Теперь он потерял не только друга и собеседника. Все его надежды на осуществление «идеального цар-

ствования», весь этот воздушный замок, в который он вложил столько сил умственных и духовных, ради чего многократно шел на спор с монархом, на опалу, — одним словом, все его мировоззрение, которое он вкладывал годами в этот сосуд, непрочный и недостойный, — лежало в гробу в маленьком южном городке.

Теперь ему оставалось только умереть. Но он еще находит в себе силы ежедневно бывать во дворце. Он как будто торопится досказать наследникам царствования то, чего он не успел досказать Александру. Он говорит об общем неудовольствии, о том, что он считает ошибками Александра, о мерах, необходимых для государства. Императрица Мария Федоровна слушает его в молчании. Молчит и великий князь Николай Павлович. «Пощадите сердце матери, Николай Михайлович, — произносит, наконец, императрица. «Ваше величество, я говорю не только матери государя, который скончался, но и матери государя, который готовится царствовать».

Он возвращался домой в лихорадочном, неестественном возбуждении, с красными пятнами на лице; голос его дрожал. «Государыня меня останавливала, как будто я говорил только для осуждения! Я говорил так, потому что любил Александра, люблю отечество и желаю преемнику... исправить зло, им невольно причиненное!» (Погодин, 460—461).

Он составлял манифест нового царствования. Манифест исправили.

Было выброшено все, что должно было, по мысли Карамзина, определить характер нового правления: могущество и внешняя безопасность России, государственная и воинская доблесть. И конечно, просвещение. Просвещение, «мирная свобода жизни гражданской», «правосудие и милосердие человеколюбия». Закон. То, чего не успел исполнить Александр.

Новый монарх не хотел брать на себя излишних обязательств.

Карамзин записал для потомства свой вариант манифеста.

«Один бог знает, каково будет наступившее царствование...»

Сыновьям моим благословение, потомству приветствие из гроба!»<sup>1</sup>

Александр I больше не существовал. Гроб с телом его ждали из Таганрога в Петер-

<sup>1</sup> Н. М. Карамзин. Неизданные сочинения и переписка. Часть первая. Спб., 1862, стр. 20.

бург. По завещанию его престол переходил к младшему брату — Николаю, ибо Константин отказывался, не чувствуя в себе способности к царствованию.

Николай, втайне чувствовавший в себе способность к царствованию, не принимал этой жертвы. Он присягнул брату демонстративно, приглашая придворных сделать то же. Курьеры разносили по России весть о вступлении на престол Константина I.

Между тем Константин I оставался в Варшаве и, видимо, не собирался оттуда уезжать. Во дворце нарастало смутное беспокойство. Распространялись слухи — один другого темнее, один другого фантастичнее.

13 декабря Константин прислал формальный акт отречения. Вечером в государственном совете Николай прочел письмо, в силу которого в знак повиновения воле своих двух братьев объявил себя императором России, царем польским и великим князем финляндским. Наутро, часов около десяти, во дворец стали съезжаться придворные, чтобы принести присягу в дворцовой церкви. Приехал и Карамзин с детьми.

Вместе с другими он ждал выхода нового императора. Николай не появлялся. Около часу перепуганная придворная челядь принесла известие, что Московский полк взбунтовался, генералы Шеншин и Фридрикс опасно ранены, Милорадович убит. Бунтовщики с войсками стоят в каре на Сенатской площади. Страх нарастал: шептали, что лейб-гренадерский полк и морской экипаж присоединились к повстанцам.

В большой зале дворца, переполненной празднично одетой толпой, стояла мертвая тишина.

Карамзин вышел на Исаакиевскую площадь. Он был настолько близко от мятежных полков, что мог видеть лица и слышать слова команды. Несколько камней упало к его ногам.

Николай, на коне, увещевал мятежников. Он ждал подхода войск и артиллерии.

Приближалась ночь. Из окон дворца была видна плотная толпа народа; там было какое-то движение. В шестом часу, в сгущившейся темноте, над головами собравшихся на площади людей пронеслись стремительные вспышки огня, и по площади засвистела картечь. Царица упала на колени и подняла руки к небу.

Через час все было кончено. Толпа придворных в большой зале редела. В стороне от общего движения неподвижно сидели три монумента прошедшего царствования — Куракин, Лопухин, граф Аракчеев.

Павловский полк на Галерной расстреливал линейным огнем в упор бегущих мя-

тежников. Конная гвардия рубила устремившихся по набережной к Васильевскому острову. Площадь была залита кровью.

Во дворце служили молебен.

В полночь Карамзин с сыновьями уже бродил по опустевшим улицам города.

Он был убежден, что перст судьбы спас в этот день Россию от безумного и преступного заговора. Новый государь был умен, тверд, исполнен благих намерений. Остальное было в воле providения.

Все, что дошло до нас о Карамзине последних месяцев его жизни, говорит о резком осуждении им вооруженного восстания на Сенатской площади.

В его письмах звучит сдержанное негодование. Рыцари «Полярной Звезды» и их клеветы — безумцы, даже преступники. Так пишет он Дмитриеву, и почти так говорит он молодому Погодину, только что приехавшему в Петербург. Цель мятежников, по его мнению, — отдать Россию власти неизвестной, свергнув законную.

Но если мы вчитаемся в его последние письма, мы уловим, быть может, и иные ноты.

Письма эти не слишком надежный источник. Историограф никогда не доверялся полностью бумаге. Десятилетиями причастный к государственной деятельности, он привык быть осторожным. Даже своему ближайшему другу — Дмитриеву — он рассказывал в письмах далеко не все. Его излюбленной формой был намек, излюбленным тропом — фигура умолчания. Он вообще был немногословен.

И тем более явственно в его письмах этих дней звучит неуверенность и нарастающее беспокойство. Военный разгром декабрьского выступления был, как оказывалось, лишь первой акцией нового императора. То, что случилось потом, способно было посеять сомнения.

Он был связан с открывшимися заговорщиками теснее, чем ему казалось. Жизнь дома Муравьевых проходила у него на глазах. «Либералист» князь Вяземский был его преданным и любимым другом и родственником. Заговорщиком — важным государственным преступником — оказался и брат второго его друга — Александра Тургенева.

19 декабря — под живым еще впечатлением потрясших его событий — он пишет письмо Дмитриеву. Против своего обыкновения он рассказывает о пережитом довольно подробно. Он мечет громы и молнии против «рыцарей «Полярной Звезды» и их «достойных клеветов». Но сквозь раздра-



женный и резкий тон письма уже прокрадывается человеческое сострадание и философская скорбь. «Катерина Федоровна [Муравьева] раздрает сердце своею тоскою. Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ими не так много!» Дальше сообщения его становятся все более краткими и конфиденциальными. «Оба рыцаря «Полярной Звезды» сидят в крепости; скрывается доселе один безумец Кюхельбекер или погиб. К нашему сокрушению, оба сына Катерины Фед[оровны] Муравьево взяты как члены этого законопреступного общества: Никита, то есть старший, был даже одним из начальников. Меньший осужден только на шестимесячное заключение в крепости. Все это между нами». Одновременно растет отчуждение от двора; он замыкается в своем доме; связи его в Петербурге слабеют. Он все больше тоскует об Александре. 31 декабря он пишет Вяземскому о заговоре в уже более спокойном и менее уверенном тоне. Но самый разговор уже занимает его менее, чем раньше. Он думает о горести и беспокойстве, царящих в семьях арестованных. Как бы случайно он роняет загадочную фразу — продолжение каких-то мыслей, не высказанных вслух: «многие из членов [тайного общества] удастайвали меня своей ненависти или по крайней мере не любили; а я, кажется, не враг ни отечеству, ни человечеству». Было ли это упреком «античеловеческому» заговору или признанием благородства целей, которые преследовали «безумные либералисты», — тех целей, которые были и его целями? Скорее все же первое; во всяком случае, при Погодине в это время он повышает голос, говоря о Рылееве и Вестуеве.

Но можно понять и иначе. В письмах Карамзина последних лет иногда прорывается затаенная мысль: его обвиняют за недостаточность либерализма; пусть так: он «либералист» делом, а не словом. За два дня до выступления новый император отверг его проект манифеста; там содержалось обещание «закона», «просвещения», «милосердия человеколюбия». Не приходило ли ему в голову, что он со своим «делом» уходит в ряды оппозиции, умеренных «либералистов»? Кто знает?

Вяземский возражал в не дошедшем до нас письме. Карамзин ответил ему 11 января, умоляя соблюдать осторожность и не вступаться в разговорах «за несчастных преступников, хотя и не равно виновных, но виновных по всемирному и вечному правосудию». Доводы Вяземского не убедили

Карамзина, но, видимо, укрепили его растущие сомнения в злодейских намерениях восставших, а может быть, и поколебали его веру в непогрешимость торжествующей власти, которая угрожала теперь и его родным. И все с большей настойчивостью звучит один лейтмотив — отчуждения от двора: «Александра нет: связь и прелесть для меня исчезли». Именно теперь, в январе 1826 года, он произносит перед своими гостями речь о полезных преобразованиях, возможных при просвещенной монархии. «Я враг революций, — заключает он, — но мирные эволюции необходимы. Они всего возможнее в правлении монархическом»<sup>1</sup>. И то же острое ощущение необходимости перемен — в разговоре со Сперанским в марте 1826 года.

В это время уже надвигаются первые приступы смертельной болезни. В конце января Карамзин слег и несколько оправился лишь через два месяца.

В марте приехал из Парижа Александр Тургенев. Он просиживал у Карамзиных целые вечера. От него Карамзин узнал, что Николай Тургенев обвинен как один из руководителей общества. Встревоженный Вяземский, до которого дошел этот слух, поспешил отправить Александру письмо за границу, но письмо и адресат разминувшись. Вяземский пишет вторично — вечером 20 марта, уже в Петербург. «Зачем ты приехал?.. Ты попал в атмосферу, где тебе будут советовать иметь за братьев доверенность, а я на твоём месте не имел бы малейшей доверенности». Вяземский уже успел проникнуть в технику работы правительственной «инквизиции». Он прекрасно понимал, что ей больше всего страшны мыслящие и честные люди — «с ними мира не будет», — и боялся особенно за судьбу Орлова и Николая Тургенева. Чем больше он опасался, что Тургенев подпадет под влияние «околдованной» петербургской атмосферы, тем более убежденно-страстным становилось его письмо. Николай не должен приезжать: он поедет в ловушку. «Разумеется, Карамзин и Жуковский лучшие создания Провидения, но — увы! — и они под колдовством, и советы их в таком случае могут быть не совершенно здравы».

Но Карамзин уже больше ничего не советовал. На его глазах шли аресты и готовился суд. «А. Тургенев здесь явился, — пишет он Дмитриеву. — Брату его Сергею дозволено остаться в Италии; но Александр

<sup>1</sup> К. С. Сербинович, Н. М. Карамзин. Воспоминания. «Русская Старина», 1874, № 10, стр. 259.

Ив. тоскует о Николае. Кончу». И снова: «Александра нет. Все мои отношения переменялись». Оставалось только уповать на бога. Силы его уходили с каждым днем.

Существует свидетельство, донесенное до нас декабристом Розеном, что в те дни, когда русские газеты и журналы, следуя воле правительств, распространяли слухи о безразличности, жестокосердии и звероподобии членов тайных обществ, нашелся один человек, дерзнувший заступиться за осуждаемых перед самим Николаем, сказавши: «Ваше величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!» Этим человеком был Карамзин<sup>1</sup>.

Карамзин уходил в могилу, сохраняя уже не слишком прочные надежды на нового царя-преобразователя.

Ему не суждено было прочитать заключение Следственного комитета, разрушившее столько надежд и иллюзий. Он не успел узнать, что Николай Тургенев приговаривается к смертной казни отсечением головы и что высочайший манифест дарует ему в виде милосердия пожизненную каторгу; что будут предприняты попытки обманным путем заманить его в Россию для расправы; что шестимесячное заключение Муравьева-младшего — это ложное обещание императора, обернувшееся восьмилетней каторгой и вечным поселением в Сибири.

И он не успел при жизни принять участия в том споре о чести и правосудии, который разделил на два лагеря общество после опубликования следственного заключения. Впрочем, он оказался участником этого спора — посмертно.

Карамзин угасал медленно. С конца января он был болен, и час от часу становилось хуже. Сам он часто говорил о смерти — и все-таки не думал, что она стоит у порога. В марте, с трудом оправившись после тяжелой лихорадки и воспаления легких, он еще надеялся летом выбраться куда-нибудь во Флоренцию, чтобы не зачехнуть в петербургских болотах. Денег на путешествие у него не было; он написал письмо Николаю. Николай ответил 6 апреля, обещал фрегат для проезда и прислал деньги. 13 мая последовал указ министру финансов, дабы статскому советнику Карамзину, отъезжающему для излечения за границу, назначена была пенсия по 50 тысяч рублей в год, сохраняемая также за женой и детьми. Карамзин дрожащей рукой написал ответ. «...Благоденствие чрезмерно; нико-

да скромные мои желания так далеко не простирались... Если сам уже не буду пользоваться плодами такой царской, беспримерной у нас щедрости, то закрою глаза спокойно: судьба моего семейства решена наисклучливейшим образом...» Сидя в креслах в саду Таврического дворца, под негравшим его уже скучным петербургским солнцем, зябко кутаясь в теплый шлафрок, больной говорил о том, что он теперь богат и непременно заведет себе лошадь для целебных прогулок верхом. Друзья его — Тургенев, Жуковский — понимали, что положение безнадежно.

Он прожил еще неделю после получения скрипта о высочайших милостях.

### Письмо В. А. Жуковского ими. Марии Федоровне

«...Карамзина нет!.. Вот что ожидало меня при моем сюда прибытии. Как ни приготовлен был я своим убеждением к такому несчастию, но все оно было неожиданным ударом для сердца! Я видел его в самый день моего отъезда, и, расставаясь с ним, я мысленно сказал ему: прости навеки! Но так скоро! Боже мой! Подобные потери отымают у жизни все ее земное очарование: наше здешнее счастье заключено все в тех людях, которых сердце любит, которых добродетель есть наша совесть, которых одобрение есть наша подпора и награда. Но они покидают нас и должны покидать нас: таков закон всего здешнего. ...Он до гроба сохранил всю непорочность младенца, которая удивительно соединена была в нем с высокою мудростью мужа. Жизнь его представляет нечто совершенное. Смерть Карамзина ...это слово пробуждает в душе совсем не то понятие, какое соединено со словом с м е р т ь, так часто слышимым и произносимым. Кто знал его жизнь, кто знал, что вся эта жизнь была не иное что, как искание мыслию и делом того, что совершенно обретается только в лучшей жизни, тот невольно почувствовал благоговение при вести о его смерти; такая душа вступает в лучший мир, как в мир знакомый; минута смерти есть для него только полное откровение того, что было для нее здесь только предчувствием, что составляло ее земную мудрость. Благословенно место, где покоится прах его! Оно будет святынею для отечества. Кто

<sup>1</sup> А. Е. Розен, Записки декабриста, Спб., 1907, стр. 112.

подойдет к нему с тем чувством, которое должно возбуждать в душе воспоминание о Карамзине, тот удалится от него лучшим и более достойным жизни»<sup>1</sup>.

## 2. Судьи и подсудимые

В эпохи общественных потрясений, гипотизирующих сознание современников, историческое значение происходящих у чих на глазах событий бывает порой неясным и затемненным. Лишь из отдаления лет выступает сущность свершившегося. А пока кипят страсти, очевидцы и участники осознают события с их моральной, этической стороны. Происходит переоценка нравственных ценностей. И тогда абстрактные споры о нравственности вдруг перестают быть умозрительными; в них обнаруживается острый политический смысл. Тогда звание «порядочного человека» возрастает в цене: оно не обозначает больше личных качеств, оно присуждается лишь как награда за общественные заслуги.

Таким было время, начавшееся 14 декабря 1825 года. Герцен писал, что общество с воцарением Николая сразу же стало подавленнее и раболепнее. Это было не совсем так, вернее, не везде так.

В конце 1825 года слова «личная честь» стали понятием политическим.

Это определилось в кабинете Николая, куда приводили арестованных заговорщиков. На протяжении нескольких дней подряд он слышал от них, что они связаны «честным словом» никого не выдавать. Обычная, но теперь с трудом сохраняемая сдержанность в эти минуты изменяла императору, он приходил в ярость, разражался криком и угрозами: «Вы не имеете понятия о чести!»

Арестованные переучивались трудно; на суде то и дело возникал вопрос о моральной правомочности комитета, где по странной иронии судьбы заседали два участника заговора против Павла.

Правительство вмешалось в спор официальным указом, причислявшим к «десятому разряду» государственных преступников, осуждаемых на лишение чинов и дворянства и записание в солдаты без выслуги, всех тех, кто знал и не донес о заговоре. А 1 июня вышел другой указ:

«В ознаменование особенного благоволения нашего и признательности к отличному подвигу, оказанному лейб-гвардии Драгунского полка прапорщиком Иваном Шервудом против злоумышленников, посягавших на спокойствие, благосостояние государства и на самую жизнь блаженных памяти госу-

даря императора Александра I, всемилоостивейше повелеваем к нынешней фамилии его прибавить слово: Верный, и впредь как ему, так и потомству его именоваться Шервуд Верный. Правительствующему Сенату поручаем составить приличный для сей фамилии герб и представить оный к нашему утверждению».

Унтер-офицер Шервуд шестой год служил без расчета на повышение в 3-м Украинском уланском полку. В конце 1823 года он случайно стал свидетелем ссоры декабриста Барятинского с каким-то поручиком, оскорбившим лакея; в пылу спора Барятинский бросил: «Недолго таким, как вы, тешиться над равными себе». Шервуд почувствовал нечто неладное, сулившее, однако же, выгоды. Он стал следить; вошел в доверие к декабристу Вадковскому, проник в тайное общество. В июле 1825 года он добился свидания с Александром I и представил ему первые сведения. До ноября месяца он систематически посылает доносы, которые становятся все важнее и подробнее. Теперь, после разгрома восстания, его перевели в гвардию и произвели в офицеры. Ныне он получал фамильный герб, освящающий предательство.

Уже много позднее, в конце 40-х годов, «положение о совести» было внесено в официальное «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений» Якова Ростовцева. «Закон нравственности, — гласило наставление, — обязателен человеку как правило для его частной воли; закон верховной власти... обязателен ему как правило для его общественных отношений». Герцен, не склонный в данном случае вникать в вопросы юридической казуистики, перетолковал эту «полезную сентенцию» в том смысле, что в гражданских отношениях совесть человеку заменяет высшее начальство. Ростовцев протестовал против формулировки; защитники же его, некогда знакомые с ним, утверждали, что источник «наставления о совести» не сам Ростовцев, а «убеждение единоподданного властителя», выказанное им неоднократно при личных допросах в декабре 1825 года<sup>2</sup>.

Странный спор ширился, выходил за пределы судилища, охватывал общество. На весах общественного мнения лежали

<sup>1</sup> Русский архив, 1896, кн. I, № 3, стр. 458—459.

<sup>2</sup> А. Е. Розен, Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 116.

понятия «верноподданный» и «порядочный человек».

Наиболее проницательные из споривших понимали, что дело идет вовсе не о личных или сословных оценках. Речь шла о «цивилизованности» общества, о тех нравственных категориях, которые неизбежно сопутствуют тому или иному уровню его развития.

Через двенадцать лет после описываемых событий Николай Тургенев — один из образованнейших людей того времени — запишет на эту тему целую книгу, где попытается определить степень общественного развития России 1825 года по нравственному облику ее деятелей. «Драгоценнейшей чертой истинной цивилизации, — заявит он, — является чувство справедливости, равенства, уважение к жизни и достоинству человека... Именно эти чувства отличают истинную цивилизацию от варварства, как бы оно ни было разукрашено и отделано... Всею можно научиться и подражать, кроме этих чувств»<sup>1</sup>.

В 1836 году Пушкин в письме к Чаадаеву будет подходить к русскому обществу с мерилем нравственности.

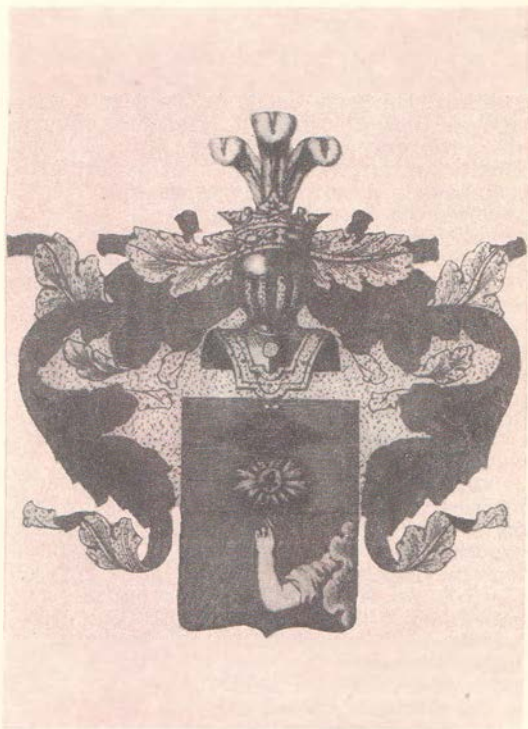
Теперь же, в 1826 году, всеобщее внимание поглощено заключением Следственного комитета, проблемой справедливости и правосудия и анализом внутренних побуждений осужденных и судей.

Вовсе не случайно основным пунктом обвинения было покушение на цареубийство. Это был не только пункт кодекса, это был тяжкий моральный иск, предъявляемый дворянину и офицеру, принявшему присягу, иск, который делал обвиняемого злодеем в глазах общества. Ход был выбран верно. Политика состояла в том, чтобы завоевать общественное мнение, осудив членов тайного общества и юридически и морально.

Поэтому в поздних произведениях декабристов нередко большое место занимает анализ следствия не только с правовой, но и с нравственной стороны. Достаточно указать на книгу Тургенева и на мемуары Розена.

И совершенно то же мы находим в написанных по горячим следам записках Вяземского. Пока Следственный комитет публиковал свои мемории о злодейском умышлении на жизнь обожаемого монарха, князь Вяземский «руками, дрожащими от гнева», писал обвинительное заключение Следственному комитету.

Вся сила ненависти, отвращения и сарказма, на которые только был способен этот незаурядный человек, обратилась



Герб Шервуда Верного.

здесь в единое разящее острие, направленное в судилище и в верховного судью — императора всероссийского, — с холодно рассчитанным лицемерием игравшего роль «непричастного лица».

Заметки Вяземского на долгие годы остались погребенными в его записных книжках. Когда в 1880 году граф С. Д. Шереметев, доверенное лицо Александра III, издавал — ничтожным тиражом — собрание сочинений Вяземского, том с этими записями не был пропущен, хотя все издание выходило без предварительной цензуры. Не помогли и придворные связи Шереметева. Крамольные страницы были

<sup>1</sup> Николай Тургенев, Россия и русские. Т. I. Воспоминания изгнанника. Пер. Н. И. Соболевского, под ред. А. А. Кизеветтера. М., 1915, стр. 149.

вырезаны и стали известны лишь в советское время<sup>1</sup>.

Весь суд над декабристами оказывается для Вяземского ошибкой против «логики совести». Он решительно отказывается в праве суда «правительству и казенному причту его», той «наемной сволочи», которая кормится злоупотреблениями и от которой-то, собственно, и хотели очистить тело государства молодые, пламенные и честные головы. И напрасно манифест Николая берет на себя смелость говорить от имени России: это — мнимая Россия, Россия-самозванец, Россия Лопухиных, Ланжеронов и Комаровских. Истинная Россия страданием, ропотом, неудовольствием своим, делом и помышлением, волею и неволею участвовала в этом заговоре чести против бесчестия.

27 июня 1826 года Вяземский откликается на указ о Шервуде:

«Двух нравственностей быть не может: частной и народной. Она все одна: могут быть две пользы, два образа суждения относительно истин частных и народных или государственных, — это дело другое! На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и цистеронскими отличиями предателей товарищества, шпионов, доносчиков».

Он повторит эту же мысль и много позднее: «Нет ни двух нравственностей, ни двух политик»<sup>2</sup>.

Это будет сказано об общественном и личном поведении екатерининского вельможи.

Теперь же, в 1826 году, было не до исторических аналогий. Моральный суд вершился над вельможами Николая, на которых дождем сыпались милости после коронации. Ожидали крупных перемен в управлении, но ничто в «атмосфере политической» не возвещало «благодетельного перерождения». Старые фавориты уходили, на место их прочили новых. В Дибиче вызревал новый Аракчеев.

Так обстоит дело с цивилизованностью официальной России.

Что же касается осужденных декабристов, то Вяземский идет прямо к моральному оправданию их дела и не останавливается на полпути. Он пишет:

«Карамзин говорил гораздо прежде проществий 14-го и не применяя слов своих к России: «честному человеку не должно подвергать себя виселице!» Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласите вы с нею самоотречение му-

чеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Телля, Шарлоту Корде и других им подобных? Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно терпеть...»

Сам Карамзин сказал же в 1797 году: «Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом, Достоин ли пера его?»

В сем Риме, некогда геройством знаменитом, Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.

Жалеть об нем не должно:

Он стоил лютых бед несчастья своего. Терпя, чего терпеть без

подлости не можно.

Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному. Был ли же Карамзин преступен, обнаружив свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофею, приведенной выше?

Несчастный Пушкин в словах письма своего (Донесение Следственной комиссии, 47-я стр.): «Нас по справедливости называли бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай», дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом».

Так потревоженная тень Карамзина вновь выходит на политическую арену. Но это уже не живой, не реальный Карамзин, носитель тех или иных политических суждений — ошибочных, даже реакционных, вызывавших на споры. Это некий моральный арбитр, человек, всегда сохранявший свое «я», свою независимость, свое «особое мнение». Имя его теперь становится для Вяземского синонимом единства «нравственности частной и государственной», которые так разительно столкнулись в реальной действительности. Если бы Карамзин заседал в Следственном комитете, можно

<sup>1</sup> См.: Н. Кутанов [С. Н. Дурьлин], Декабрист без декабря. В кн.: «Декабристы и их время», Т. II. Изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1932, стр. 201—290; дополнения в ст. Ю. М. Лотмана. П. А. Вяземский и движение декабристов. В кн.: «Труды по русской и славянской филологии», т. III. Тарту, 1960, «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 98; полное издание — в кн.: П. А. Вяземский, Записные книжки (1813—1848). Изд. АН СССР, М., 1963.

<sup>2</sup> П. А. Вяземский, Фон-Визин. Спб., 1848, стр. 66.

было бы рассчитывать на справедливый суд, без разгула корыстных страстей, личной мести, клеветнических обвинений. Если бы круг приближенных Николая состоял из людей, подобных Карамзину, уровень общества был бы головой выше.

Так думал Вяземский, так думали и ближайшие его друзья, и если мы теперь думаем иначе, то не будем забывать, что они были людьми своего времени.

### 3. Верноподданный его императорского величества

Вяземский был отнюдь не единственным, кто стремился взять Карамзина себе в союзники. Новое правительство делало это с не меньшим упорством (благо оно обладало всеми возможностями) и, как ему казалось, со значительно большими основаниями.

«В минувшую субботу, 22 мая, в два часа пополудни, к глубокому прискорбию всех Россиян, скончался знаменитый наш историограф Николай Михайлович Карамзин. Для похвалы сего великого мужа довольно сказать, что император Александр удостоивал его своей дружбы. «История Государства Российского» есть бессмертный памятник, воздвигнутый им своему царю-благодетелю и России: памятник, которого не сокрушит рука времени!»

Так начинался один из первых некрологов Карамзина, опубликованный в полуофициальной газете военного ведомства.

Журналисты приносили дань уважения памяти знаменитого историографа.

Московский профессор Каченовский, старинный литературный враг Карамзина, поместил в своем «Вестнике Европы» сухой, но дельный и достойный по тону очерк, переведенный из «Journal de Saint-Petersbourg», выходящего в Петербурге на французском языке.

Князь Шаликов, издатель «Дамского журнала», безотчетный поклонник Карамзина, архаический «Вздыхалов», переживший свое время уже на тридцать лет, напечатал риторически восторженный монолог, в котором умудрился ничего не сказать об «Истории Государства Российского»; в соответствии с назначением своего журнала он отметил, однако, что Карамзин был образцом «превосходнейшего прозаика и очаровательнейшего поэта», «явившего в слог своем прелесть, пленившую не только питомцев Муз, но и людей светских, во и прекрасный пол». Но на Шаликова же давно никто не смотрел серьезно, и

тон задавал не он, а журналисты опытные и умные, улавливавшие конъюнктуру, такие, например, как издатели «Северной пчелы». Там же появилась большая статья Греча, во многих отношениях весьма примечательная. Но послушаем самого Греча, который начинает с изложения биографии Карамзина.

«В 1803 году пожалован в Императорские Историографы; в следующем году награжден чином надворного советника; в 1810 году получил орден св. Владимира 3-й степени. В 1812-м пожалован в коллежские советники, а в 1816-м, по поднесении им государю императору Александру Павловичу первых осьми томов «Истории Государства Российского», награжден чином статского советника и орденом св. Анны 1-го класса. С того времени поселился он в Санкт-Петербурге. В 1824 году награжден чином действительного статского советника. Кончина государя благодетеля поразила благодарного Карамзина жестоким ударом: он впал в изнурительную чахотку».

Чахотка была плодом поэтического воображения издателя «Северной пчелы» и как нельзя лучше согласовалась с политикой.

Далее Греч рассказывает с подобающим случаю пафосом об известных уже нам благодеяниях Николая. «Но Карамзин, — так заключает он, — не мог уже сим воспользоваться: известие о кончине императрицы Елисаветы Алексеевны погрузило его в новую скорбь, от которой увеличились болезненные его припадки».

Биограф верен себе, и еще более царствующему дому. Карамзин был дружен с императрицей, это действительно так, но вот что писал А. И. Тургенев, посещавший больного почти ежедневно:

«Кончина императрицы более тронула, чем поразила его. Он говорил о ней с чувством умиления, но слабость спасла его от сильного потрясения»<sup>1</sup>.

Закончим, наконец, чтение биографии. Она сообщит нам, что полученный Карамзиным в последние дни знак монаршей милости «возбудил потухавшую в нем искру жизни, но не на долго»; что хотя Карамзин и употребил всю свою жизнь на «благородные занятия науками и литературою», «исключительные занятия сии не лишали его наград и выгод, сопряженных с действительною службою»; что «правосудные и великодушные государи награж-

<sup>1</sup> Письмо Вяземскому от 13 мая 1826 г. «Остафьевский архив князей Вяземских». Т. III, Спб., 1899, стр. 142.

дали его труды и заслуги самым отличным образом: он один в России имел орден св. Анны I класса в чине статского советника и получил оный вместе с сим чином», — и затем вновь говорится о последней «истинно царской награде, которой он удостоился»<sup>1</sup>.

Пример, поданный Гречем, не пропал втуне: Павел Петрович Свиньин, издатель «Отечественных записок», сочинявший некогда льстивые мадригалы Аракчееву и удостоенный за то от Вяземского ядовитой эпитаграммы, поместил пышный панегирик, повторил рассказы о «злой чухотке», подробно исчислил милости, не забыв и об ордене св. Анны I-го класса при чине статского советника... Свиньин пересказывал Греча, но он был много простодушнее выдавшего виды, умного и осторожного издателя «Северной пчелы»; имея в виду эту черту простодушия, баснописец Измайлов, вообще не отличавшийся деликатностью в выражениях, называл его «Павлушка Медный лоб». Поэтому благонамеренность его иногда переходила через край, и сам Греч, вероятно, должен был бы морщиться, читая свою собственную мысль в таком виде: «Карамзин... может быть поставлен на вид просвещенному миру и примером, до какой степени в России люди с истинными дарованиями вознаграждаются, достигают почестей и обеспечивают свое благосостояние».

Но как бы оно ни было выражено, лучше ли, хуже ли, из некрологов явствовало одно: 22 мая 1826 года Россия лишилась одного из великих мужей государственных, идеального верноподданного, друга царствующего дома, чьи заслуги были по достоинству оценены и вознаграждены. К тому же незабвенный историограф был еще и нравственным эталоном, и имя его отныне долго будет произноситься с дрожью официального умиления в голосе. Оно приводилось в пример Вяземскому — вольнодумному шутрину «того, кто был... почти совершенством, потому что в этом долнем мире нет полного совершенства». Оно возникло и одиннадцатую годами позже, когда Пушкин лежал на своем последнем одре и Жуковский обратился к Николаю с просьбой оказать усопшему почести такие же, как Карамзину. Николай ответил отказом. Пушкина нельзя было сравнивать с Карамзиным: Карамзин был «человек почти святой» и «умирал как ангел».

Это была канонизация. Черты живого человека складывались в иконописный лик ангела-хранителя монархической России.

После смерти Карамзина повелением Николая I был выбит барельеф. Одна из

групп его изображала молодого римлянина в тоге, читающего свиток полуобнаженному римлянину, восседающему на троне на фоне герба Российской империи. Вторая группа представляла читавшего римлянина уже в пожилом возрасте, на ложе, окруженного эпически спокойными родными, в присутствии Немезиды, осматрившей его младенца благами из рога изобилия.

Так была проиллюстрирована «легенда о Карамзине».

#### 4. Карамзин возвращается

Вносить диссонанс в этот хор официозных голосов было крайне рискованно. «В развернувшейся кампании, — справедливо замечает современный исследователь, говоря о писателях пушкинского круга, — никто не хотел ни оказаться верноподданным, ни (что было весьма опасно) выглядеть оппозиционером»<sup>2</sup>. Мысль о жизнеописании или хотя бы о некрологе, достойном памяти Карамзина, вызвала у Вяземского, Жуковского, Александра Тургенева; но они принуждены были молчать, если не хотели настроить свою речь над свежей еще могилой по камертону официальных славословий. Они и молчали и горько упрекали себя за это. Пушкин писал из Михайловского: «Читая статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Не уж то ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти?» Он требует этой «дани» от Вяземского. Но Вяземский отказывается: для биографии рано, для журнальной статьи поздно. Лишь в 1827 году в «Московском телеграфе» он напечатал анонимно отрывок из письма А. И. Тургенева под вызывающим названием «О Карамзине и молчании о нем литературы нашей...». «Ты прав, — так начинал Тургенев, — негодование твое справедливо. Вот уже скоро год, как не стало Карамзина, и никто не напомнил русским, чем он был для них».

Это была глухая оппозиция правительственному канону. Шла борьба за Карамзина, и борьба, насыщенная глубинным общественным смыслом. На стороне Вяземского, Тургенева и Пушкина не было никого, а против — все, не исключая даже некоторых весьма почитаемых людей из

<sup>1</sup> «Северная пчела», 1826, 20 мая, № 64.

<sup>2</sup> В. С. Мейлах, Из политической биографии Пушкина после восстания декабристов. В кн.: «Проблемы современной филологии». Изд. «Наука», М., 1965, стр. 428.

числа друзей Карамзина; И. И. Дмитриев писал, например, что он «полюбил Греча за некрологию» в «Северной пчеле»: «хорошо и справедливо». При всем неподдельном уважении к Дмитриеву молодые друзья Карамзина не считали взгляд Греча ни «хорошим», ни «справедливым»: у них было свое мнение об историографе. Скорее всего, они не знали отзыва Дмитриева; да если бы даже и знали — Дмитриев жил в Москве и много лет общался с другом ранней юности только через почту; Дмитриев был стар и чиновен и со снисходительным любопытством наблюдателя следил за потоком политической жизни; Дмитриев, наконец, был все же Дмитриев, а не Карамзин. И когда Греч через два года вновь напечатал статью о Карамзине — уже в «Северных Цветах», — А. И. Тургенев написал брату, политическому изгнаннику:

«Вчера еще раз писал к Жук[овскому], послал ему замечания на статью Греча о Карамзине в Северных Цветах на 1828 год: что-то такое рабское и писателя недостойное. На счет истины делаю фразы, напр., что милость государя на минуту возбудила его к жизни, — тогда как он принял ее с негодованием на чрезмерность пенсии, — и беспрепятственно твердят о 3-м Влад[имире] и о том, что один он имел в чине ст[атско-го] сов[етника] анненскую ленту»<sup>1</sup>.

Так альманах Дельвига «Северные Цветы» становится ареной борьбы. 31 июля Пушкин предупреждал Дельвига, чтобы он не печатал статью Булгарина «Встреча с Карамзиным (из «Литературных воспоминаний»)»: «Наше молчание о Карамзине и так неприлично; не Булгарину прерывать его. Это было бы еще неприличнее». Тогда Дельвиг послушался Пушкина; он, видимо, сумел отказать Булгарину под каким-то предлогом, и «Встреча с Карамзиным» была напечатана в «Альбоме северных муз». Друг и соратник Булгарина, Греч оказался удачливее; к тому же он предлагал статью, снискавшую одобрение и у Дмитриева. Он передает ее в редакцию в конце ноября. 25 ноября Сомов оставляет цензору Сербиновичу записку: «Если Вы имеете досуг просмолотреть нынешним утром прилагаемые статьи или по крайней мере важнейшую из них: «О жизни и сочинениях Карамзина» [это и была статья Греча. — В. В.], то покорнейше Вас прошу сделать мне одолжение сие; ибо типография требует пищи»<sup>2</sup>. Положение было критическим. Хотя не Булгарин, но приятель его Греч прорвался в «Северные Цветы» со статьей о Карамзине,

альманах уже набирали. Надо было действовать безотлагательно, не теряя ни минуты. Пушкин быстро принимает решение: нейтрализовать статью Греча своими отрывками «из неизданных записок», избежав цензуры Николая, которая задержала бы статью надолго, а может быть, не пропустила бы вовсе.

30 ноября Сомов привозит цензору пушкинские «отрывки», не застает его дома и на следующий день отправляет ему то загадочное письмо, с которого мы начали свое повествование. При этом он очень торопит Сербиновича: «Если бы можно было все помянутые статьи или хотя «Мысли» получить сегодня; ибо типография ожидает, а время сближается».

Сербинович пропустил эту статью, хотя она говорила о людях и событиях, о которых нельзя было говорить прямо. Но, как мы уже заметили, имена были тщательно зашифрованы, рассказанные Пушкиным эпизоды в публике были известны мало, да и самая статья как будто терялась среди прочих «отрывков и замечаний». Видимо, цензор рассудил, что «соблазна» быть не может, или просто поспешил, уступая просьбам Сомова.

Цензор не знал, что автором статьи является Пушкин. Знай он это, он отнесся бы к ней внимательнее. Но если бы об этом знал Бенкендорф или тем более Николай I, вовсе не прочитавший статью, они, без сомнения, обнаружили бы в ней некие скрытые оттенки смысла, о которых Сербинович не мог и подозревать.

Пушкин сам указал на этот подтекст своей статьи. В письме Вяземскому, том самом, где он предлагал своему другу заняться биографией Карамзина, он написал: «...Скажи в се; для этого должно тебе иногда будет употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре».

«Письмо о цензуре» — это письмо к мадам Эпинэ от 14 сентября 1774 года, в котором скептический аббат замечал: «Знаете ли вы мое определение того, что такое высшее ораторское искусство? Это — искусство сказать все — и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить все». Заметим попутно, что за скрытой цитатой из Гальяни стоит сложный ход ассоциаций, вновь ведущий

<sup>1</sup> Письмо от 29 января 1828 г. Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. 379.

<sup>2</sup> ЦГИАЛ, ф. 1661, оп. 1, ед. 1521, л. 3.



к разговорам у Карамзина; историограф с увлечением читал Гальяни в 1818 году и обращал внимание как раз на это письмо, как будто прямо относившееся к его работе над девятым томом. Пушкин — постоянный посетитель Карамзиных — наблюдал за мучительным рождением «истории Грозного».

Емкая формула «подвиг честного человека» вобрала в себя и воспоминание о внутренней борьбе и сомнениях Карамзина — о «цензуре совести».

Так вставал перед Пушкиным живой Карамзин, сумевший сохранить себя и при дворе, вернее, несмотря на двор. Некрологи, посвященные ему журналистами, конечно, были «холодны и низки» — в них говорилось о «придворном историографе», а как раз эту легенду, которую так настойчиво пропагандировали с легкой руки царствующих особ, нужно было отвергнуть решительно. Никто, даже убежденные враги Карамзина, не могли обвинить его в искательстве. «Мне гадки лакеи, и низкие честолюбцы, и низкие корыстолюбцы, — писал он Дмитриеву тогда же, 11 сентября 1818 года, и, конечно, Пушкин не раз слышал нечто подобное. — Двор не возвысит меня. Люблю только любить государя. К нему не лезу и не полезу». И Пушкин в маленькой заметке о Карамзине, написанной еще при жизни историографа, рассказывает характерный эпизод: отправляясь на прием в Павловск к вдовствующей императрице Марии Федоровне, Карамзин надевает свою новопожалованную анненскую ленту — ту самую, которая занимала столь важное место в официальных некрологиях. «...Он посмотрел на меня наискоск и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...»

Сохранились два высказывания Пушкина о Карамзине, относящиеся к 1828 году. Их передают разные люди, и вместе с тем они удивительно похожи одно на другое. Кажется, что Пушкиным владеет одна мысль, когда он вспоминает об историографе.

Историк Погодин записывает в дневнике 8 декабря 1828 года:

«Гов[орили?] о Кар[амзине].» Летописатель 19 столетия. Я вижу в нем то же простодушие, искренность, честность... Чинов не означал, а можем ли мы познакомиться с нынешней[ней] Россией, например, не растолковавши, кто такие Действительный[ый] Тайный[ый] Советник[и] и Кол[лежский] Регистратор[ы]!»<sup>1</sup>.

Литературный и личный враг Погодина,

Ксенофонт Полевой вспоминает рассказ Пушкина о Карамзине.

К историографу съезжались гости, беспрестанно мешавшие ему поговорить с Пушкиным. Как нарочно, все это были сенаторы. Проводивши последнего из них, Карамзин обратился к Пушкину: «Заметили ли вы, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу?» «Пушкин вообще любил повторять изречения или апофегмы Карамзина, — добавляет Полевой, — потому что питал к нему уважение безграничное. Историограф был для него не только великий писатель, но и мудрец, — человек высокий, как выражался он»<sup>2</sup>.

Так слетали с изображения «чуждые краски» «идеального верноподданного» и высвобождался облик человека честного и частного, без казенной печати двора его императорского величества.

Николай не любил частных людей, употребляющих свое время на праздные размышления. Он говорил своим офицерам: «займитесь службою, а не философией: я философам терпеть не могу, я всех философов в чухотку вгоню». Стремление «вонять философов в чухотку» не пропадало, но где-то тлело в глубинах сознания, уже и после того, как он стал императором. Неизвестно было, к чему ведут кабинетные размышления этих людей, имеющих слишком много досуга и остающихся вне досягаемости непосредственного начальства: никогда нельзя было поручиться, что они удовлетворятся простым философским созерцанием. Отказ от службы — Николай знал это — часто был формой оппозиции; он перестал подозревать Вяземского в противоправительственных кознях лишь после того, как тот стал служить, и недвусмысленно грозил Пушкину опалой, когда поэт просил отставки в 1834 году. Пушкин в это время тоже был историографом, как и Карамзин; но занятия историей не были для Николая основанием нигде не числиться. Карамзин же, к слову сказать, был здесь дурным примером, дважды отказавшись от губернаторской должности, якобы мешавшей ему писать историю. Праздность

<sup>1</sup> М. Цявловский, Пушкин по документам Погодинского архива. «Пушкин и его современники». Вып. XIX—XX. Пг., 1914, стр. 91.

<sup>2</sup> Николай Полевой, Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Изд. писателей в Ленинграде, 1934, стр. 279—280.

влекла за собой крамолу; императору предстояло вновь убедиться в этом на примере Чаадаева в 1836 году.

Стремление к личной независимости, которую так настойчиво подчеркивали в Карамзине Пушкин и его друзья в ущерб легенде об «идеальном верноподданном», имело прямое отношение и к поведению — личному и общественному — самого Пушкина.

8 сентября 1826 года наступил конец его шестилетней ссылки. Долгожданная свобода, столь страстно желаемая, была получена им из рук Николая I во время беседы в Чудовском дворце в Москве, куда Пушкина, покрытого пылью, в дорожном костюме доставил фельдъегерь. Беседа шла два часа с глазу на глаз. Новый царь освободил поэта от ссылки и стеснительной цензуры. «Я сам буду твоим цензором». 30 сентября Бенкендорф отправил Пушкину письменное подтверждение этих обещаний. «Сочинений ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры: государь император сам будет и первым ценителем произведений ваших и цензором».

Пушкин принял дарованную ему свободу и милость, еще не осознавая всей тяжести ожидавшей его судьбы. Впрочем, у него не было иного выхода.

Ему было очевидно, что 14 декабря на Сенатской площади совершилась историческая трагедия, на которую нужно было посмотреть взглядом Шекспира. Когда он писал о «необъятной силе правительства, основанной на силе вещей», это была истина. 14 декабря обнаружили себя и вышли на поверхность подспудно действовавшие неумолимые и непреодолимые законы движения общества, законы истории. Как бы ни сочувствовал Пушкин «друзьям, товарищам, братьям», погибшим в этом горле, — а сочувствия своего к ним он никогда не скрывал и прямо сказал об этом Николаю, — разгром восстания был фактом и, мало того, исторической неизбежностью.

Оставшимся — тем, кто, как его Арион, был выброшен на берег волною, поглотившей остальных, — предстояло жить и действовать. Как — вот в этом был вопрос, — он возникал и для Пушкина и для Вяземского, тоже «подозрительного», тоже преисполненного отвращения ко всеобщему разгулу низменных страстей, которых уже не скрывали и не стыдились победители, тоже проникнутого почти благоговейным сочувствием к осужденным. Пушкина

и Вяземского многое сближало в это время; не удивительно, что в первые же дни своего приезда в Москву Пушкин бросается искать Вяземского всюду: в доме его в Грузинах (что на подворье Кологривова, где была вотчина его жены в цыганском предместье Москвы), в номерной бане... В самом деле, им было о чем поговорить.

Вяземский писал Жуковскому 29 сентября: «Говорят, что государь умен и славолюбив; вот две пружины, на которые благонамеренные и честные люди могут действовать с успехом. А чего от него требовать, когда благонамеренные и честные люди оставляют его на съедение глупцам и бездельникам, а сами стоят по углам с пальцами по квартирам и говорят: не наше дело!»<sup>1</sup>

Здесь целая программа, сформулированная по горячим следам встреч и длительных бесед с Пушкиным. И конечно, не только программа для Жуковского, но и для Вяземского и для Пушкина.

И еще одна фраза останавливает наше внимание в этом письме:

«По смерти Карамзина ты призван быть представителем и предстателем русской грамоты у трона безграмотного. Не шучу. Равнодушие твое в таких случаях было бы малодушием».

Судьба и власть привели Пушкина, как и Жуковского, в соприкосновение с двором. Мог ли он, не обвиняя себя в малодушии, отказаться предстательствовать за русскую грамоту?

Этого требовал долг порядочного человека. Крест был тяжел, но отказаться от него было бы равносильно позорному бегству, моральной капитуляции, бесчестию.

«Честный человек» было понятие общественное.

Тень Карамзина, прежнего предстателя за русское просвещение перед тронном, становится рядом с Пушкиным — нынешним. И теперь для него оказываются важными не столько общественные взгляды Карамзина, сколько его общественное поведение. Историограф воскресает в новом обличье.

Пушкин начинает с того, чем кончил Карамзин, — с требования «милосердия человеколюбия», как будто подхватывая те слова, которые Николай вычеркнул из

<sup>1</sup> Письмо А. Тургеневу и Жуковскому от 29 сентября 1826 г. Архив братьев Тургеневых, вып. 6, Пг., 1921, стр. 41.

проекта манифеста, составленного покойным историографом. Он пишет «Стансы», призывая царя к «незлобю памяти». Теперь эти слова имели особый смысл — облегчения участи сосланных «друзей, товарищей, братьев».

От него требовали вовсе не этого. Ему предлагали заняться предметом о воспитании юношества, ибо он ныне был «императорским Пушкиным», прощенным и благодетельствованным, а раньше «на опыте» видел «совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания».

Пушкин уезжает в Михайловское писать свою записку «О народном воспитании» и перечитывает там написанные «листы о Карамзине», из записок, которые он хотел послать Вяземскому для опубликования, но не послал. Однако он готовил их к напечатанию и, может быть, перерабатывал.

15 ноября он заканчивает свою записку о воспитании. Бенкендорф, получив ее, препровождает Николаю. Бенкендорф доволен: записка — в официально-благонамеренном духе. «Заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу».

Но Бенкендорф был человеком поверхностным и не слишком умным. Николай был много основательнее. Вообще он обладал качествами более чем среднего самодержца всероссийского: был умен, тверд, холоден, жесток, в меру дичинчен и малообразован, что тоже было немаловажно. Образование ослабляло решительность и сеяло сомнения и колебания.

В ответ Бенкендорфу Николай написал: «Посмотрю, что это такое».

Посмотрев, Николай поставил на полях записки сорок вопросительных и один восклицательный знак. Раздражение его нарастало по мере чтения. Сочинитель записки проповедовал просвещение, не только не заботясь о том, чтобы оно просвещение служило высшей власти, но и прямо идя вразрез с ее недвусмысленно выраженной волей. Дело дошло до того, что он предлагал преподавание «высших политических наук» и курса истории прагматического — без «нравственных и политических рассуждений». Все это очень напоминало идеи «друзей» Николая по 14 декабря, которых сочинитель осуждал в записке вполне отвлеченно, а одного из главных злоумышленников, Николая Тургенева, именовал истинно просвещенным. Такое просвещение вовсе не было нужно и крайне неуместно.

«Можно будет, — писал Пушкин — и неизвестно чему нужно было удивляться —

наивности или дерзости суждений, — с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны».

Здесь Николай поставил пять вопросительных знаков; три — против фразы о «духе народов».

Если «дух народов» — источник нужд и требований государственных, то и самая разность правлений — и ложность конституций европейских и пагубное безначалие республик — имеет в нем свое оправдание.

Подобное вредное умствование не могло быть терпимо в государстве самодержавном.

№ 163.

23 декабря 1826.

Его высокоблагородию] А. С.  
Пушкину

Милостивый государь, Александр Сергеевич!

Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании и поручил мне изъяснить Вам высочайшую свою признательность.

Его величество при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин.

С отличным уважением честь имею быть  
Вашим покорным слугой  
покорнейший слуга

А. Бенкендорф.

Пушкин предвидел, что ему «вымоют голову». Ему было ясно, что правительство требует безусловной капитуляции просвещения перед «усердием и служением» и что указ о Шервуде — декларация нравственности в понимании верховной власти.

Но он оставлял за собой право не понимать предъявленных ему требований. 16 сентября 1827 года в разговоре с Вульфом он скажет: «Мне бы легко было написать то, что хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро». А в следующем году он подаст Николаю стихотворение «Друзьям», где напишет, защищая себя от упреков в лести:

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:  
Он горе на царя накличет,  
Он из его державных прав  
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,  
Гнети природы голос нежный!  
Он скажет: просвещения плод —  
Разврат и некий дух мятежный!

Под покровом похвалы царю продолжится спор о просвещении и милосердии — мало того, он приобретет почти памфлетную форму. А в заключение зазвучат угрожающие интонации ветхозаветных пророков-обличителей:

Беда стране, где раб в льстец  
Одни прилжены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупя очи долу.

«Достоинство вести себя, когда судьба благоприятствует, труднее, чем когда она враждебна», — говорил Ларошфуко.

Пушкин измерял теперь на собственном опыте глубину этой «апофегмы».

Тень Карамзина продолжала сопутствовать Пушкину.

В записке «О народном воспитании» отразились некоторые из его излюбленных идей, уходящих глубоко в просветительство восемнадцатого столетия.

Николай не знал, что он отметил тремя вопросительными знаками, как наиболее «опасную для всеобщего спокойствия», одну из идей Карамзина, пересказанную Пушкиным.

Не случайно в пушкинской записке имя Карамзина всплывает сразу же после этих цитированных нами строк:

«Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. «История Государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека».

Так впервые выходит на поверхность

формула, которая станет в центре «Отрывков из писем, мыслей и замечаний».

Пушкин не сам придумал эту формулу.

Как и цитата из письма Гальяни о цензуре, она была хорошо известна в кругу Карамзина; за ней стояли факты и события, которые давали ей расширительный и глубокий смысл.

Осенью 1820 года, когда русские и иностранные журналы были полны откликами на первые восемь томов «Истории Государства Российского», вышедшие к тому времени уже в нескольких иностранных переводах, Карамзин писал в Москву И. И. Дмитриеву:

«Знаешь ли, что я, читав равнодушно десять или двадцать благоприятных отзывов, Французских, Немецких, Итальянских, был тронут статьей Монитёра о моей Истории? Этот Академик посмотрел ко мне в душу: я услышал какой-то глухой голос потомства. Но ...chut!»

«Глухой голос потомства» Карамзин услышал не в обширном критическом разборе, а в маленькой анонимной заметке, где содержались следующие слова:

«Автор представляет обширную картину своего отечества, от глубокой древности до нашего времени. Его размышления, всегда основательные, продиктованы здравой философией и беспристрастием, его стиль серьезен, выдержан и одушевлен каким-то духом чистосердечия, национальности (если позволительно так выразиться), которые показывают в историке не только ученого, но в первую очередь честного человека (l'honnête homme avant le savant...)»<sup>1</sup>

Пушкин не сразу нашел определение «Истории Государства Российского». «Вечный памятник», «альтарь спасения, воздвигнутый русскому народу», — написал он вначале. Это была выпяренная риторика, он ее отверг и вставил в официальную записку формулу из своих неизданных мемуаров, в которой для него заключался особый, сокровенный смысл.

В «Отрывках из писем...» он повторил ее еще раз.

Если бы «Отрывки» попали на цензурование Николаю, он мог бы почувствовать, что между ними и запиской, за которую он год назад «вымыл голову» Пушкину, существует некая внутренняя связь.

<sup>1</sup> Moniteur Universel, 1820. 1 ноября, № 306. Перепечатано: «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 0138—0139.

## Глава 5, и последняя

Если мы откроем альманах «Северные Цветы» на страницах 208—226, мы обнаружим неподписанное пушкинское произведение под названием «Отрывки из писем, мысли и замечания», а в нем — сокращенный и переделанный «отрывок из неизданных записок», в полном своем виде именуемый условно «Воспоминания о Карамзине».

Этот отрывок хотел Пушкин издать в ноябре 1826 года, чтобы противопоставить официозной легенде живого Карамзина — таким, каким понимали его он сам, Пушкин, Вяземский, Жуковский, Александр Тургенев. Он стал готовить мемуары к печати, но оставил, не видя в них ничего достойного опубликования или не веря, что цензура их пропустит. Но за год произошли события, которые требовали немедленного, крайне срочного отклика. Пушкин печатает свои воспоминания с риском для себя, хорошо рассчитанным ходом обойдя высочайшую цензуру.

Отрывок содержал воспоминания о 1818 и ближайших за ним годах — времени, когда сам Пушкин вместе с «молодыми якобинцами» выступил против монархической идеи Карамзина. Он рассказывал читателям о нескольких произведениях, «презревших печать», в которых билась и трепетала мысль нескольких людей, ныне «странствовавших далече», — мысль, полная ума, иронии, гражданского одушевления. Пушкин с уважением вспомнил об этих людях — умных и пылких — и имел мужество сказать об этом в печати.

Но Пушкин и спорил с ними, и тем самым спорил с собой — тогдашним, девятнадцатилетним, напитанным идеями декабризма. Он спорил страстно и убежденно, так, что историческая точность его воспоминаний отходила на задний план, и мемуары переставали быть мемуарами, превращаясь в современную животрепещущую статью.

В этой статье есть своя, очень определенная и ясная логика мысли. Во имя этой логики Пушкин исключает из печатного текста то, что занимало основное место в спорах 1818—1820 годов, что отразилось и в рукописных «неизданных записках». В отрывке в «Северных Цветах» отсутствует всякая оценка политических и исторических взглядов Карамзина.

Если бы она была главным для Пушкина, то напечатание отрывка, лишенного

центральной идеи, было бы бессмысленным.

Но главным было теперь не это, ибо вопрос об уничтожении самодержавия в России после разгрома декабрьского восстания на какое-то время перестал существовать.

Главным становился вопрос об общественной позиции писателя, ученого, политика. О его нравственном облике, о его социальном поведении.

Это занимало Пушкина и его друзей и было для них неотделимо от понятий «общественное мнение», «развитие общества», «цивилизация», как позже будет писать об этом Николай Тургенев.

Не было ни двух нравственностей, ни двух политик. Она была одна, они были одно. Нравственность была политикой, политика — нравственностью. Деспотизм был безнравственностью. Закон совести мог быть оправданием декабрьского выступления, именем этого закона читался обвинительный приговор клеветам правительства.

И в этой сфере моральных категорий, перестававших быть абстракцией, соединялись имена прежних врагов политических — декабристов и Карамзина. К ним добавлялось теперь имя Пушкина.

Имя Карамзина становилось символом, обозначением общественной позиции, краеугольным камнем которой было просвещение, закон, правосудие, — нравственность декабристов, а не Шервуда и не правительства, пожаловавшего ему герб.

«Подвиг честного человека» обозначал и «верную картину» в истории, и борьбу Карамзина против неблагоприятствующих внешних обстоятельств, и тяжкую победу над собственными сомнениями и влечениями, и наконец, независимость от властей предрержащих, от временных вкусов публики, от хулений и от похвал.

Это стоило названия «подвига» и заслуживало быть почтенным той единственной похвалой, которую покойный историограф считал высшей своей наградой — словом «честность».

И если еще год назад Пушкин не хотел печатать свои «записки», то теперь дело было иное. Судьба Карамзина имела разительно много общего с его собственной — судьбой «честного человека», взявшего на себя тяжелую миссию передового бойца на форпостах русского просвещения, предателя за грамоту у трона безграмотного.

Пушкин ставил памятник своему предшественнику на этом посту — как и он.

вынужденному печатать свои труды в «России — государстве самодержавном»; как и он, освобожденному от цензуры и связанному по рукам и ногам обязательствами «всевозможной скромности и умеренности»; как и он, сохранявшему свои взгляды при благоприятных и неблагоприятных оборотах судьбы.

И подобно Карамзину, он готов был принять равнодушно хвалу и клевету — кроме той, которая исходила от его прежних единомышленников, обвинявших его теперь тоже в «царедворной подлости». Ходили слухи, что стихи свои царю он писал по заказу в четверть часа; что стансы «Друзьям» — «дрянь», которой «никого не выхвалишь, никому не польстишь»<sup>1</sup>. Это писал уважаемый им Языков. Кончалось все чьей-то грубой эпиграммой:

Я прежде вольность проповедал,  
Царей с народом звал на суд,  
Но только царских щей отведал  
И стал придворный лизоблюд.

Эти эпиграммы и слухи тоже, конечно, вставляли перед Пушкиным, когда он защищал Карамзина от декабристов и поверял его мораль моралью «честных людей», принявших смерть и каторгу за свои убеждения. Мораль была одна.

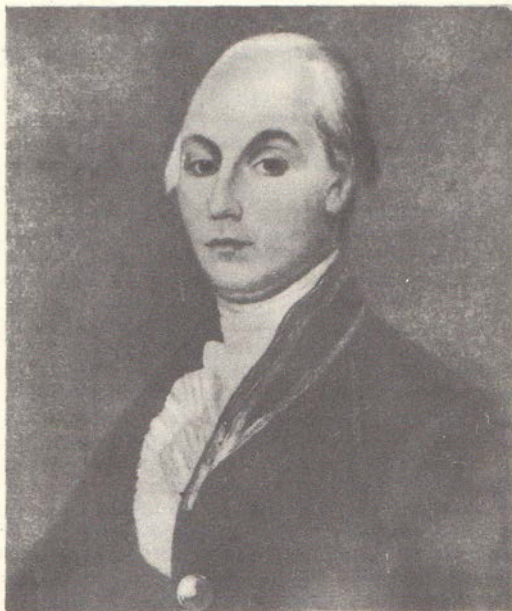
Пушкин, автор «Стансов», автор записки «О народном воспитании», автор «Отрывков из писем...», следовал по избранному им тернистому пути, продолжая свой «подвиг честного человека».

Прошло девять лет.

За это время случилось многое — была «Литературная газета», остановленная в 1830 году за четверостишие об Июльской революции в Париже, был журнал «Европеец», прекращенный после второго номера за статью о европейском просвещении, была фраза Николая Жуковскому, готовому поручиться за издателя «Европейца» Евреевского: «А за тебя кто поручится?» И газета политическая, которую Николай разрешил Пушкину, а потом взял назад разрешение, и «Медный всадник», не протушенный высочайшей цензурой, и многое другое, о чем Пушкин мельком и сухо скажет в своем дневнике, пространнее — в письмах, и с потрясающей силой — в стихотворении «Из Пиндемонте»:

...никому

Отчета не давать; себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для  
ливрей



А. Н. Радищев. С портрета маслом неизвестного художника XVIII века.

Не гнуть ни совести, ни помыслов,  
ни шеи...

...Вот счастье! вот права!...

Но борьба не была кончена, и то, что лишь намечалось в конце двадцатых годов, теперь развертывалось на страницах издаваемого Пушкиным «Современника».

Тень Карамзина продолжала сопутствовать Пушкину.

В 1836 году обнаруживается «Записка о древней и новой России». История этого произведения Карамзина была полна для Пушкина особым смыслом.

Двадцать пять лет назад, в ноябре 1810 года, историограф, едва знакомый

<sup>1</sup> Письмо В. Д. Комовскому, 22 сентября 1828 г. «Исторический Вестник», 1883, № 12, стр. 527.

лично с императором Александром, был в Твери и посетил жившую там в своей резиденции великую княгиню Екатерину Павловну, супругу принца Георгия Ольденбургского, генерал-губернатора тверского, новгородского и ярославского.

Она занималась политикой и литературой и на сочинениях Карамзина училась русскому слогу.

Карамзин охотно говорил с княгиней о положении в России, ибо находил в ней благодетельного слушателя. Он порицал многое; консерватор по убеждениям, он не сочувствовал некоторым проектам царя — они казались ему слишком либеральными, а главное — опрометчивыми. Великая княгиня соглашалась с ним. Суждения ее, как обычно, были резки и определены. В первое же свидание с Карамзиным она просила его изложить свои мысли на бумаге.

Записка была готова в начале 1811 года, и Карамзин взял с собой в Тверь единственный экземпляр своего труда; о нем никто не знал, кроме жены историографа, Екатерины Андреевны, своеручно переписывавшей его от доски до доски. В первой половине февраля Карамзин уже читал с великой княгиней рукопись, а по окончании чтения Екатерина Павловна спрятала записку в бюро. Карамзин не успел возразить; он слышал лишь, как сухо щелкнул замок.

В марте в Тверь приехал Александр; к этому времени был приглашен и Карамзин. Он читал главы из «Истории», а 18 марта, накануне своего отъезда, император получил в руки записку с твердой и решительной критикой его либеральных начинаний, с прямодушной и смелой оценкой предшествующих царствований — Павла и Екатерины.

Царь читал записку весь вечер, а на следующий день уехал. В день отъезда он не замечал историографа и отправился в путь не простившись. Перед Карамзиным встал призрак опалы.

Это было тем более опасно, что за полгода до этого, в августе 1810 года, попечитель Московского учебного округа Голенищев-Кутузов отправил новому министру просвещения А. Г. Разумовскому доклад на Карамзина, где указывал, что историограф «целит не менее как в Снеис или в первые консулы», о чем все в Москве знают. В феврале 1811 года, за месяц до встречи с Карамзиным, Александр получил другой доклад — более серьезный, — о том, что историограф якобы имел связь с французским шпионом, неким шевалье де

Месанс, незадолго до этого побывавшим в Москве. О доносах этих Карамзин знал, в частности, от Дмитриева, и имел возможность оценить трудность своего положения.

Тем не менее он пишет записку, поставив к ней эпиграф из псалма: «Несть льсти в языке моем», а Екатерина Павловна подает ее Александру.

Карамзин уезжал из Твери в неизвестности, поставив под удар свою собственную судьбу и судьбу своей «Истории». Он вернулся в Москву и сел за изучение материалов об Иване Грозном — будущий девятый том «Истории».

Когда же через пять лет он приехал в Петербург, чтобы печатать уже готовые тома своего труда, началась та мрачная полоса его жизни, которую он назвал своей «пятидесятицей». Он оставался в Петербурге почти два месяца, не принимаемый царем, пренебреженный, дрожа от оскорбления и негодования, которого он не скрывал ни от кого. Он просит разрешения вернуться в Москву; его не отпускают. Наконец искусс кончается; его принимают и жалуют анненскую ленту.

Пушкин вставляет упоминание об этом эпизоде в статью «Российская Академия», напечатанную во втором томе «Современника».

Он пользуется удобным случаем: в заседании Академии 18 января престарелый адмирал Шишков читал статью «Нечто о Карамзине». Шишков рассказывал, как в Твери в 1811 году Карамзин читал Александру и Екатерине Павловне отрывки из своей истории, и они осыпали его ласками и похвалами.

«Пребывание Карамзина в Твери, — пишет Пушкин, — ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его слабой памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли о древней и новой России, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильною и глубокою. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя и благородство патриота...»

Вот и все. Нет ни намека на монархизм Карамзина и «либеральность» Александра. Но есть недвусмысленный намек на то, что подданный противопоставил свое мне-

ние мнению царя и что царь принял это благосклонно. Это пишет Пушкин, хорошо знавший, что вовсе не так безусловна была эта «благосклонность», и вовсе не так величествен был Александр, которому он, автор статьи «Российская Академия», подвизывал до самого гроба... «Слабый и лукавый» властитель, «в лице и в жизни арлекин», «нечаянно пригретый славой», становится на не подобающий ему пьедестал.

Это был новый — еще один — призыв к Николаю внимать прямодушному голосу предстателей за просвещение.

Эта часть статьи сразу же привлекает новорожденное внимание цензора Крылова; но в 1836 году цензурный комитет разрешил ее печатать. Однако через двадцать лет, в 1855—1857 годах, когда первый биограф Пушкина П. В. Анненков готовил к печати собрание его сочинений, она была вычеркнута цензором А. Фрейгангом, и никакие усилия Анненкова не спасли бы ее, если бы не вступился один из членов главного правления и сам министр народного просвещения.

Вспоминая об этом, Анненков писал: «Пушкин был чуть ли не первым человеком у нас, заговорившим публично о Древней и новой России» Карамзина. Дотоле трактат ходил по рукам секретно, в рукописях, как оппозиционный и, по мнению других, даже агитаторский голос непризванного советника<sup>1</sup>. И далее Анненков, от друзей Пушкина и по документам хорошо знавший обстановку, в которой приходилось работать Пушкину, вкратце упомянул о его попытке извлечь из забвения «Записку» Карамзина.

История этой попытки стала известна лишь в начале нашего века, когда были опубликованы цензурные документы.

20 сентября 1836 года председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета Дондуков-Корсаков обратился в Главное управление цензуры с бумагой, в которой испрашивал разрешения представить отрывки из Карамзина на высочайшее усмотрение, поелику и вся «История» печаталась по высочайшему повелению и вне цензуры. Главное управление цензуры ответило на следующий день, что записку следует рассматривать на общих цензурных правилах и испрашивать особого разрешения нет достаточных оснований.

11 октября цензор Крылов, отметив карандашом сомнительные места, каковых мест оказалось две пятых от всего текста, представил вновь рукопись в цензурный

комитет, присовокупив, что, по его мнению, такие сочинения сохраняются как достойные потомства и не обнаружатся в полном содержании своем.

Комитет вторично послал рукопись на благоосмотрение Главного управления цензуры.

28 октября Уваров известил Дондукова-Корсакова, что так как упомянутая статья «не предназначалась сочинителем для печатания и при жизни издана им в свет не была, то... и ныне не следует позволять ее печатать»<sup>2</sup>.

Спор, начатый когда-то в «Записке о народном воспитании» и продолженный «Отрывками из писем...», завершается десять лет спустя статьей «Александр Радищев».

Это — странная статья, вызвавшая столько противоречивых толкований и споров среди критиков и исследователей, статья, где Пушкин обрушивается с резкими и несправедливыми нападками на кумира своей юности, статья, несмотря на это, запрещенная цензурой.

Пушкин пишет биографию «истинного представителя полупросвещения», чья книга — «Путешествие из Петербурга в Москву», — исполненная «горьким злоречьем» и «пошлым и преступным пустословием», имела «ничтожное влияние» на современное ему поколение. Зачем?

В 1833—1835 годах он обратился к этой книге, чтобы заново пересмотреть те вопросы общественной жизни, которые поднимал в свое время один из самых благородных и мятежных умов русского восемнадцатого столетия. Пушкин как бы заново проделал путь Радищева в своем «Путешествии из Москвы в Петербург», то споря, то соглашаясь с автором знаменитой «якобинской книги». Это было понятно: общественные проблемы во многом оставались теми же, они требовали решения.

Статью свою Пушкин в печать не отдал: цензура бы не пропустила ее. Теперь в апреле 1836 года, он вновь возвращается к Радищеву и собирает печатать в «Современнике» статью о нем

<sup>1</sup> П. В. Анненков, Любопытная тавтология. В кн.: «П. В. Анненков и его друзья». Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. СПб., 1892, стр. 420—421.

<sup>2</sup> С. Переселенков, Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину. «Пушкин и его современники», вып. VI, СПб., 1908, стр. 8—11.



неужели только для того, чтобы положить клеймо на его память? Или, как думают иногда, затем, чтобы просто напомнить о нем? Но к чему служило бы напоминание о человеке, память о котором вовсе не изгладилась в образованном русском обществе, и не слишком ли дорогую цену платил Пушкин за это напоминание? Он напоминал о «безумных заблуждениях», о «преступлении, ничем не извиняемом», о «весьма посредственной книге» слепого ученика соблазнительных французских теорий.

Объяснять все это цензурными условиями, хитрым конспиративным ходом, как это иногда делали, по меньшей мере наивно. Нигде и никогда не существовало читателя, который читал бы только между строк, не обращая внимания на явный смысл статьи, как читают симпатические чернила между строками газетного листа. Нигде и никогда уважающий себя писатель не изменял в угоду цензуре смысла того, о чем он пишет. Мы видели уже, что «конспиративные» статьи Пушкина не нужно читать между строк; нужно лишь представлять себе ясно события, о которых идет в них речь.

Так же написана и статья «Александр Радищев», и читать нужно ее не мудрствуя лукаво.

Она имеет прямое отношение к тем произведениям Пушкина, которые только что прошли перед нами. Спор о политике и нравственности продолжался в разных формах, с разными оттенками — вернее, он не прекращался все эти десять лет.

Пушкин осудил многие из идей Радищева; то, что он принял, он не счел нужным скрывать. Он не скрыл и того, зачем он написал статью; ее «разгадка» лежит на поверхности, как утерянное письмо из детективного рассказа Эдгара По.

«Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, — пишет Пушкин, — дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!.. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а Путешествие в Москву весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но дей-

ствующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестью».

Вот это оказывается важным для Пушкина. В словах «преступление Радищева» приоткрывается странный, парадоксальный смысл: это преступление, не вызывающее ни ужаса, ни отвращения, ни презрения, но удивление, даже преклонение перед самоотверженной честностью преступника. Это преступление — нравственный подвиг.

Радищев высказал в своей книге «несколько благоумных мыслей, несколько благонамеренных предположений». (Их было больше, чем «несколько», — Пушкин подробно разбирает их в своем «Путешествии из Москвы в Петербург».) Им следовало быть «представленными с большей искренностью и благоволением» — тогда «они принесли бы истинную пользу».

Радищев совершил трагическую ошибку из благородства, из рыцарственной честности побуждений, говорит Пушкин. Он совершил «подвиг честного человека», окончившийся бесплодно для общества и роковым образом для него самого. Книга его ушла; величие его — нравственное и человеческое — достойно удивления потомства.

Именно поэтому пишет Пушкин его биографию — его житие, а не разбор его книги.

«У нас обыкновенно человек невидим за писателем, — говорил Вяземский еще в 1818 году. — В Радищеве напротив: писатель приходится по плечу, а человек его головою выше. О таких людях приятно писать, потому что мыслить можно»<sup>1</sup>.

Пушкин мыслил — и мысль его вела к началу за десять лет спору. Он поставил эпиграфом к своей статье: «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être pendu. Слова Карамзина в 1819 году». Это были те самые слова, которые вспоминал Вяземский в 1826 году, говоря о декабристах. Вяземский переводил их так: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице».

Радищев, как и декабристы, был тем «честным человеком», которому следовало, не подвергая себя виселице, представить правительству свои социальные проекты. Так, как делал ранее Карамзин, а теперь Пушкин.

В последний раз Пушкин выступает со

<sup>1</sup> Цит. по ст. Ю. М. Лотман, П. А. Вяземский и движение декабристов, стр. 66.

своей программой — рука об руку с тенью Карамзина.

Сознавал ли он утопичность своих мечтаний, знал ли он, что в течение десяти лет строил испанские замки, исчезающие с дуновением ветра?

Если мы взглянем на рукопись статьи «Александр Радищев», нашим глазам откроется картина, на которую нельзя смотреть без внутреннего содрогания.

Пушкин пишет о проектах Радищева: «...все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы — чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».

Это окончательный вариант — для печати.

В черновиках вместо слов «само правительство не только не пренебрегало писателями» было: «особливо в то время, когда правительство не только не отвергало благоразумных мнений и советов писателей». Вместо «и их не притесняло» стояло «и не преследовало». Вместо «чувствовало нужду в содействии» — «чувствуя еще нужду в соучастии». А первоначальная редакция концовки читалась: «не пугаясь малодушно их смелости и не оскорбляясь невежественно их откровенностью» [разрядка моя. — В. В.].

В сознании Пушкина это «идеальное» правительство отодвигается назад — в прошлое, в восемнадцатый век. Рядом с ним возникает образ правительства «малодушного и невежественного», которое боится просвещения и притесняет его носителей.

И у Пушкина начинают возникать аналогии, неожиданные и опасные. Судьба Радищева напоминала кое в чем его собственную. Император Павел, возвратив Радищева из ссылки, взял с него обещание «не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал слово».

Это о себе в 1826 году; требование Николая повторено почти дословно<sup>1</sup>. А еще раньше — о Карамзине, на которого наложена обязанность «всевозможной скромности и умеренности».

Еще один шаг — и уже в черновиках «Памятника» появляется «мятежная строка»:

Что вслед Радищеву восславил  
я свободу...

Но сейчас еще Пушкин готов обратиться к правительству свой последний призыв.

Статья «Александр Радищев» попала в руки цензору Крылову. Первое, что он сделал, — подчеркнул эпитафию из Карамзина.

Затем — 18 августа 1836 года — он представил статью на благоусмотрение Главного управления цензуры.

Министр народного просвещения Уваров написал резолюцию: «Статья сама по себе недурна и с некоторыми изменениями могла бы быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения».

Так писал Уваров, который в 1815 году, не будучи еще министром, упоминал печатно о «некоем из наших писателей (г... Р...), о котором Российские музы не без сожаления вспоминают», и приводел большую цитату из «Путешествия»<sup>2</sup>.

Памяти у русских муз не хватило на двадцать лет. Они были женщинами — существами неверными и непостоянными.

Министр Уваров не был женщиной, но был царедворцем. Он знал завет пушкинского Шуйского: «Теперь не время помнить; советуя порою и забывать».

В 1840 году к нему вновь попадает статья «Александр Радищев» — на этот раз для посмертного собрания сочинений Пушкина, — и он изъясняет свою мысль откровеннее. «По рассмотрении этой статьи я нахожу, что она, по многим заключающимся в ней местам, к напечатанию допущена быть не может, и потому предлагаю сделать распоряжение о запрещении ее»<sup>3</sup>. Дело было не в Радищеве, а в Пушкине, в тех «местах» статьи, ради которых она писалась и которые послужили истинной причиной ее запрещения. На них намекал Уваров и в 1836 году, говоря о возможных «некоторых изменениях».

И так же искусно, под покровом благо-

<sup>1</sup> В. П. Городецкий, «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина, стр. 224—225.

<sup>2</sup> См.: В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования. ГИЗ, М. — Пг., 1923, стр. 299—300.

<sup>3</sup> А. С. Пушкин, Сочинения. Т. IX, кн. 2. Изд. АН СССР, Л., 1929, стр. 718.

видных предлогов скрывался Уваров, противодействуя напечатанию «Записки о древней и новой России». Но этой истории суждено было окончиться лишь через несколько месяцев, уже после того, как в «Литературных прибавлениях к «Русскому Инвалиду» появилось сообщение, обведенное черной каймой:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!..»

Крестный путь Пушкина был окончен. Он лежал в черном фраке, ибо при жизни не любил мундира. Николай сказал: «верно это Тургенев или князь Вяземский присоветовали».

Министр Уваров отдавал распоряжения о соблюдении строжайшей умеренности в статьях о Пушкине — человеке не чиновном и не проявившем себя на государственной службе.

### Эпизол

В пятом томе «Современника», изданном после смерти Пушкина Плетневым, Вяземским, Жуковским, помещена статья под названием «Отрывок из рукописи Карамзина. О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношении (до смерти Екатерины II)», с эпиграфом: «Несть льсти в языке моем». Псалом 138. К ней сделано примечание: «Во втором № Современника (на 1836 год) уже упомянуто было о неизданном сочинении покойного Карамзина. Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат если не полную речь великого нашего соотечественника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса. А. Пушкин».

Есть какая-то странная и жестокая ирония судьбы в том, что это примечание было звуками умолкнувшего голоса Пушкина. Тело издателя «Современника» уже покоилось под могильной плитой Святогорского монастыря, но его речь еще звучала со страниц основанного им журнала, представляя читателю в последний раз «подвиг честного человека». «Несть льсти в языке моем». Он начал дело издания «Записок», — оканчивали уже другие.

В. А. Жуковский — Уварову

(конец февраля — март 1837 года)

«Я был у вас, чтобы узнать от Вас, правда ли, что статья Карамзина, которую мы хотели поместить в Современнике и в которой нет слова, которое бы мож-

но было остановить, запрещена Вами? Так говорит Крылов. Не могу никак этому поверить. Он как-нибудь не понял. В этой статье решительно нет ничего такого, что бы могло помешать ее изданию в свет. Это просто взгляд на состояние России до смерти Екатерины, в коем нет ничего общего с тою огромною запиской, из которой он взят и до которой нет дела читателю. И Карамзин бы сам напечатал этот отрывок в том виде, в каком мы хотим его напечатать. ...Да и не может быть, чтобы вы могли запретить печатание этой статьи? Это видно недоразумение Крылова. Прошу вас убедительно отвечать мне, и, если можно, поскорее, ибо хотелось бы эту статью поместить в начале. Пора набирать ее...»

Жуковский — Уварову

(конец февраля — март 1837 года)

«Удивляюсь решению цензурного комитета: не пропускать сочинения Карамзина потому только, что оно при нем не было напечатано! Что ж это за повод к запрещению?.. Дело цензуры пропустить то, что пропустить можно, и вымарать то, чего она пропустить не может. Ей и знать нельзя и не нужно, откуда взята представляемая мною пьеса; ее дело только смотреть на то, — можно ли ее пропустить или нет. Пушкин ее уже представлял. Я все выбросил, что было отмечено, и цензура может быть теперь довольна... Пускай выкинут все то, что найдут нужным; пускай если угодно и не говорится, что она писана для Е. Павловны...»<sup>1</sup>

Рукопись странствовала по комитетам и министерству. Карандашные пометы на ней свидетельствовали, что две пятых ее не подлежат печати. «Излагаемые в ней суждения, будучи развиты гораздо в большем размере в «Истории Государства Российского», получили ту степень известности и направления, которые служат оправданием для них и в том случае, когда они встречаются в других литературных произведениях». Напечатанная «История» была прецедентом; нельзя было прямо сказать, как в 1826 году, что она безусловно подлежит цензурному запрещению. Скрепя сердце цензура соглашалась, что известность высказанных в ней мыслей служит «оправданием» к их перепечатке.

<sup>1</sup> В. Модзалевский, К истории «Современника». (Письма В. А. Жуковского к С. С. Уварову.) «Пушкин и его современники», вып. IV, Спб., 1906, стр. 87—89.

Впрочем, эта формула была лишь данью осторожности и благопристойности.

Из текста «Записки» было изъято многое, что было ранее развито в «Истории Государства Российского». Рассуждения о «республиканских» учреждениях в Киевской Руси. О заблуждениях государей. О деспотизме и монархии. И конечно, о деспотизме Ивана Грозного — краткое содержание девятого тома.

«Но дальнейшая часть отрывка, — продолжал далее цензурный комитет, — относящаяся ко временам новой истории, преимущественно ко временам Петра Великого и Екатерины II, отличается и такими идеями, которые не только по новости их в литературном круге, сколько по возможности применения к настоящему положению, не могут быть допущены без разрешения начальства».

Это было рассуждение о реформах Петра, которые, как думал Карамзин, посягнули на народные обычаи и гражданские добродетели; «насилие беззаконное и для монарха самодержавного»; о самом царе, без сомнения великом, но прибегавшем ко всем «ужасам самовластия»; о безначалии и пороках двора при Анне и Елизавете; наконец, о Екатерине, «очистившей самодержавие от примеси тиранства» и приучившей подданных «хвалить в делах государя только похвальное, осуждать противное».

Скажем, забегая вперед, что все российские монархи стремились удержать под спудом эту монархическую записку Карамзина.

Журнал заседаний Главного управления цензуры

29 марта 1837 года «Господин Председатель предложил Главному управлению цензуры о донесении цензора Крылова, который, рассмотрев представленную вновь для помещения в издании «Современник», рукопись «О старой и новой России», соч. Н. М. Карамзина, нашел, что из нее исключены все места, которые прежде обратили на себя внимание цензуры, и что теперь в этой статье не содержится ничего, несогласного с цензурными правилами».

«Воспоминания изгнанника» Николая Тургенева, напечатанные за границей в 1847 году<sup>1</sup>.

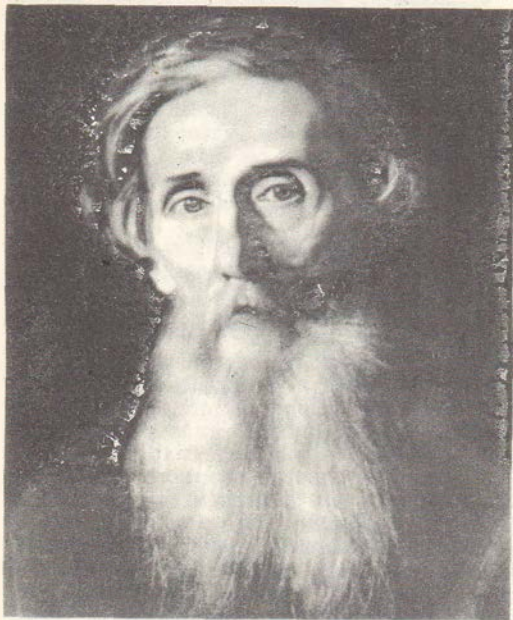
«Император Александр встречал иногда довольно резкую оппозицию своим преобразовательным планам не со стороны общественного мнения, которое в России бессильно, а со стороны небольшого числа лояльных и искренних людей. Среди них выделялся Карамзин, историограф Империи; пожалуй, даже он был единственным человеком, осмеливавшимся энергично и откровенно излагать свои мнения самодержцу...»

Карамзин был литератором в полном и лучшем смысле этого слова и никогда не желал быть никем иным. Император несколько раз предлагал ему портфель министра народного просвещения. Карамзин принимал только те ничтожные знаки отличия, которыми в России наделяют всех, и кроме того, звание историографа и, наконец, личную дружбу императора, который, по моему мнению, никогда не уважал так ни одного русского. Карамзин обладал большим талантом, очень просвещенным умом; он был наделен благородной и возвышенной душой. Эти качества не мешали ему, однако же, заявлять о необходимости и пользе для России самодержавной власти. Несомненно, таково было его убеждение, так как он был неспособен к лицемерию или лжи. Тем не менее, он далеко не был врагом форм правления, совершенно противоположных тем, которые господствовали в России; он был даже пламенным поклонником их. «Я республиканец в душе, — говорил он иногда, — но Россия прежде всего должна быть великой, а в том виде, какой она имеет сейчас, только самодержец может сохранить ее грозной и сильной...»

Что касается меня, то я очень мало спорил с Карамзиным, так же, как и с другими, о превосходстве той или иной формы правления: но я чувствовал к нему антипатию и навсегда сохранил к нему неприязнь, потому что он не затронул в своем труде, вопреки своему долгу, вопрос, который никоим образом не мог нанести ущерб его культуре самодержавия: вопрос о рабстве...»

Здесь заканчивается рассказ о «подвиге честного человека».

<sup>1</sup> Н. Тургенев. Россия и русские. Т. I. Воспоминания изгнанника. Пер. с франц. Н. И. Соболевского. Под ред. А. А. Кизеветтера. М., 1915, стр. 339—343.



В. Порудоминский

## Страницы из жизни В. И. Даля

Человек прожил долгую и сложную жизнь — лечил людей, воевал, писал книги, строил мосты, четверть века носил чиновничий мундир. А оставил после себя «Толковый словарь живого великорусского языка». Он собирал слова постоянно, но как бы попутно. А словарь оказался главным делом его жизни. Многие и внешне-то этого человека себе не представляют: услышат «Даль» — и перед глазами встают четыре толстых тома на книжной полке.

Биографию Даля писать трудно. Все заглохнет «Толковый словарь». Созданию словаря, сборника пословиц и в какой-то степени творчеству Даля-писателя почти полностью отдадут свое внимание исследователи. Биография Даля изучена плохо. Целые периоды его жизни до сих пор остаются загадкой. Не выяснено участие Даля во многих важных событиях, отношении Даля ко многим важным вопросам его времени. Биографам Даля предстоит еще узнать немало интересного.

Цель этих заметок — прибавить несколько новых черточек к привычному, сложившемуся образу Даля.

### Доктор медицины

В январе 1826 года младший офицер русского военно-морского флота В. И. Даль вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Дерптского университета.

Медицина для В. И. Даля — профессия наследственная. Наследственная и способность менять профессии.

Его отец, датчанин, Иоганн Христиан Даль, в 1778 году окончил Иенский университет и слыл знатоком новых и древних языков. Екатерина II выписала его в Россию и определила придворным библиотекарем. Скоро Иоганн Христиан убедился, что библиотекарь, даже придворный, должность не доходная. Жизнь заставила подумать о хлебе насущном. Иоганн Христиан снова отправился в свой Иенский университет, но на другой факультет, медицинский. В Россию он вернулся уже врачом.

Сначала Иоганн Даль служил в кирасирском полку, потом по горному ведомству: в Петрозаводске и на Луганском чугунолитейном заводе. Закончил он свою деятельность в Николаеве — врачом Черноморского флота.

В Луганске 7 января 1799 года Иоганн Христиан Даль принял русское подданство и стал именоваться Иваном Матвеевичем<sup>1</sup>.

Иван Матвеевич был честный человек и настоящий врач. В своих рапортах он рассказывал о невыносимой жизни «рабочих людей», называл причиной многих болезней постоянную нужду и тяжелый труд. Иван Матвеевич организовал первую в Луганске заводскую больницу, учредил врачебные должности на угольных разработках.

<sup>1</sup> См. доклад О. В. Нестайко, Луганский государственный медицинский институт. Тезисы докладов VI отчетной студенческой конференции. Луганск, 1963.

В Луганске появился на свет сын Ивана Матвеевича — Владимир (отсюда литературный псевдоним В. И. Дала — Казак Луганский). Когда настала пора ученья, отец отправил Владимира в Петербург, в Морской кадетский корпус.

Служба на флоте не увлекала Дала, к тому же через несколько лет после окончания корпуса он был обвинен в сочинении «крамольного» пасквиля и отдан под суд. Приговор в конечном счете вынесли оправдательный, но должность предложили такую, что содержать семью — а Даль к тому времени остался единственным ее кормильцем — было невозможно. Да и тянуло Дала не к офицерской карьере, а к научной деятельности: «Я почувствовал необходимость в основательном учении, в образовании, дабы быть на свете полезным человеком».

Медицинский факультет Дерптского университета был одним из лучших в России. В одно время с Далем в Дерпте учились хирурги Н. И. Пирогов и Ф. И. Иноземцев, терапевт Г. И. Сокольский, физиолог А. П. Загорский, натуралист С. С. Куторга. Наставником Дала был известный профессор И. Ф. Мойер. В доме профессора собирались видные ученые и писатели. Частым гостем был родственник Мойера, поэт В. А. Жуковский.

Даль с рвением овладевал многочисленными медицинскими дисциплинами и считался подающим большие надежды хирургом. «За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить... Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея, между многими другими способностями, необыкновенной ловкостью в механических работах, скоро, сделался и ловким оператором», — вспоминал Пирогов, сожалея, что Даль впоследствии «переседлал из лекарей в литераторы».

В 1828 году началась русско-турецкая война. Последовал приказ отправить всех студентов-медиков на театр военных действий. Но для Дала сделали исключение. Университетское начальство, слышавшее о его незаурядных способностях, разрешило ему досрочно защитить диссертацию на степень доктора медицины. Диссертация Дала, защищенная в марте 1829 года, посвящена двум вопросам — трепанации черепа и скрытому изъязвлению почек.

Через месяц Даль был уже на Дунае. Здесь он проявил себя неутомимым, смелым и находчивым военным хирургом, отличился во многих боях. Вместе с русской армией он совершил переход через Балканы, непрерывно оперировал в палаточных

госпиталях и прямо на полях сражений. Про битву под Кулевчами Даль писал, что видел «тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле и которым на первую ночь ложем служила мать-сырая земля, а кровом небо... толкался и сам между ранеными и полутрупями, резал, перевязывал, вынимал пули с хвостиками; мотался взад и вперед, поколе наконец совершенное изнеможение не распростерло меня среди темной ночи рядом со страдальцами».

Еще больше жизнью, чем вражеские ядра и «пули с хвостиками», уносила холера. Даль устранивал карантинные, посты окуливания, посещал холерные бараки. Заведовал он и чумным отделением. В бедных городских кварталах, в деревнях Даль увидел «царство сырости, неопрятности, нищеты, тесноты», понял, почему так быстро и обильно болезни косят людей: «Суеверие, недоверчивость, недостаток в пище, в средствах, в присмотре — все это... могло бы свести с ума того, коего назначению доверено было бедствующее человечество».

Вскоре после войны Дала перевели в Петербургский военно-сухопутный госпиталь. Даже в обществе известных столичных специалистов он быстро заслужил славу хорошего хирурга. Лучше всего у него получались глазные операции. Даль писал: «Глазные болезни, и в особенности операции, всегда были любимой и избранною частью моею в области врачебного искусства». Многие современники объясняли его успехи в хирургии не только врачебным опытом, но и склонностью к тонкой ручной работе (Даль был умелым резчиком по дереву, делал миниатюрные изделия из стекла); кроме того, он одинаково хорошо владел правой и левой рукой.

В то время много спорили о гомеопатии. Даль тоже участвовал в спорах. Суть их теперь вряд ли кого-нибудь заинтересует. Но в этих спорах раскрылся характер Дала-ученого. В забытой ныне работе «Об омеопатии» (1838) Даль признается, что сперва поддался мнению видного петербургского профессора и выступил против новой теории. Своих данных у него не было, и в доказательство он приводил выдержки из чужих статей. Многие врачи-аллопаты боялись модных конкурентов и потому горячо приветствовали выступление Дала. Однако он был собой недоволен. Настоящий ученый должен сам убедиться во всем, а не повторять за другими, хоть и за столькими авторитетами. И Даль начал собственные исследования. Они продолжались около пяти лет. Даль поставил серию опытов на больных и на себе самом, испы-

тывал действие различных препаратов при различных болезнях. Чтобы определить, когда подействовало лекарство, а когда самовнушение, он применял наряду с настоящими лекарствами «крупинки», сделанные из сахарной пудры. Способ, которым Даль 130 лет назад проверял подлинную ценность лекарств, получил широкое распространение в современной клинической фармакологии под названием «слепой методики», или «слепой техники». В итоге Даль резко изменил мнение о гомеопатии и в продолжение многих лет пользовался большими «крупинками».

Результаты исследований Даль оглашал в печати. Он публично «повинился» перед всеми в поспешности своих первоначальных суждений. Даль шел следом за старым товарищем Пироговым: годом раньше статьи Даля «Об омеопатии» были напечатаны «Анналы Дерптской хирургической клиники» — впервые в истории медицины Пирогов беспощадно разоблачал собственные врачебные заблуждения и ошибки.

В госпиталях больные лежали в грязи, голодные, не получали самых простых лекарств, а госпитальные начальники продавали медикаменты на сторону, подрядчики везли к ним на дом подводы с продуктами. Хирургам объявляли взыскания за то, что тратят много йода. Начальство требовало от Даля подложных отчетов, фальшивых ведомостей. Даль стал подумывать о новом служебном поприще.

Оренбургский военный губернатор граф В. А. Перовский предложил ему место чиновника особых поручений, и Даль согласился. Незадолго до отъезда в Оренбург Даль познакомился с Пушкиным. А через год Пушкин, путешествуя дорогами Пугачева, приехал в Оренбург и провел там несколько дней в тесном общении с Далем. Их дружба была недолгой, но искренней и прочной. Пушкин прислал Далю экземпляр «Истории Пугачева» и «Сказки о рыбаке и рыбке». Он горячо поддерживал собирателя сокровищ русского языка, его мысль о создании словаря.

Далю суждено было провести с поэтом его последние часы. За месяц до убийства Пушкина он приехал по делам в Петербург. Узнав о дуэли, он тотчас поспешил в дом на набережной Мойки и уже не покидал его до кончины Пушкина.

Даль был не просто одним из друзей, находившихся тогда в квартире на Мойке. Он ухаживал за Пушкиным как врач: давал лекарства, прикладывал лед к голове, ставил припарки, припускал пивок. Известный петербургский медик Спасский,

домашний врач Пушкиных, рассказывая о смерти поэта, сообщает: оставил больного «на поечение доктора Даля», или: «Так как в эту ночь предложил остаться при больном доктор Даль, то я оставил Пушкина около полуночи». Говоря современным языком, Даль был дежурным врачом у постели раненого поэта. В записке Даля «Смерть А. С. Пушкина» чувствуется рука врача: подробно изложены история болезни, результаты вскрытия тела, определены причины смерти.

По мнению доктора Ю. Г. Малиса, исследовавшего болезнь и смерть Пушкина, Даль оказался более мудрым врачом-психологом, чем Арендт и Спасский, которые откровенно сказали раненому поэту, что конец неизбежен. На вопрос Пушкина: «Скажи мне правду, скоро ли я умру?» — Даль отвечал: «Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!» «В лице Даля, — пишет Ю. Г. Малис, — у постели Пушкина оказался врач, который понимал, что больного прежде всего надо утешить, подбодрить, внушить ему трогательный принцип: *spiro, spero*<sup>1</sup>».

Даль и в Оренбурге не оставил окончательно медицины. По тем временам он был одним из лучших оренбургских хирургов, если не лучшим.

Профессия военного врача пригодилась Далю во время неудачного Хивинского похода, предпринятого В. А. Перовским в 1839 году. Нерасчетливость командования обрекла армию на тяжелейшие лишения. Солдаты были обморожены, истощены, в частях началась цинга. В «Письмах о Хивинском походе» — своеобразном дневнике кампании — Даль выступал не только как добросовестный летописец, но и как опытный военный медик.

В Оренбурге Даль серьезно увлекся естественными науками. Медицинское образование, понятно, этому способствовало. Даль — автор учебников ботаники и зоологии, которые, по свидетельству современников, «высоко ценились и естествоиспытателями и педагогами». Об учебниках Даля одобрительно отзывался Добролюбов. Характерно, что задолго до того, как Даль — создатель «Толкового словаря» — стал почетным академиком, были отмечены заслуги Даля-естественника: в 1838 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук.

В 40-е годы Даль снова оказался в Петербурге и занял важную должность в ми-

<sup>1</sup> Дышу, надеюсь (латин.).

нистерстве внутренних дел. Но от медицины и тут не отказался — в частности, посещал заседания «Пироговского врачебного кружка», так называемого «ферейна». На заседаниях слушали доклады и сообщения, обсуждали спорные вопросы, разбирали случаи из медицинской практики.

Традиции пироговского кружка Даль продолжил в Нижнем Новгороде, где в 50-е годы служил управляющим удельной конторой. Раз в неделю у него дома собирались нижегородские врачи и вели ученые беседы на латинском языке.

Во время частых поездок по деревням Далю-чиновнику неизбежно приходилось превращаться в доктора Даля: медицинской помощи на местах не было. Крестьяне приходили к Далю не только с жалобами на притеснения и поборы, но и за лекарством, за врачебным советом. По инициативе Даля для удельных крестьян была построена бесплатная больница.

Медицинская деятельность нашла отражение в главных трудах Даля — сборнике «Пословицы русского народа» и «Толковом словаре живого великорусского языка». В сборнике много пословиц о здоровье и болезнях, упомянуты «средства», которыми по обычаю лечили больных в русских деревнях: «От глазных болей: двенадцать раз умываться росой», «От большого горла: лизать поварешку и глотать, глядя на утреннюю зарю», «Когда отымет язык, то обливают водой колокольный язык и поят больного». Толкования слов в Далевом словаре отразили уровень науки того времени. Вдумчивый историк медицины найдет здесь для себя немало интересного.

#### «Живая и верная статистика»

Вечером 19 сентября 1845 года на квартире у В. И. Даля собралось восемь человек. В числе гостей были географ и статистик К. И. Арсеньев, мореплаватель Ф. П. Врангель, географ и этнограф П. И. Кешпен, астроном и геодезист В. Я. Струве. Восемь человек встретились не для того, чтобы скоротать время за приятельской беседой. В тот памятный вечер состоялось первое заседание Русского географического общества. На втором заседании, через две недели, В. И. Даль избрали в Совет общества. Ему присвоили почетное звание члена-учредителя, наряду с натуралистом К. М. Вэрм, путешественником и геологом П. А. Чихачевым, мореплавателями Ф. П. Литке и И. Ф. Крузенштерном.

Даль — учредитель Географического об-

щества? Это не покажется странным, если вспомнить, что одним из четырех отделений общества было этнографическое — в его деятельности Даль участвовал по праву.

В протоколе заседания 7 мая 1847 года говорится:

«...В. И. Даль прочел статью о русских пословицах. В. И. Даль занимается, как известно, уже несколько лет собиранием пословиц, сказок и Русским словарем, который, содержа слова и выражения всех употребительных в России наречий или местные, должен служить дополнением к нынешним Русским словарям. В статье этой В. И. Даль изложил цель свою собственно относительно собрания пословиц, важных столько же для изучения языка, сколько и быта народного. В пословицах находим мы указание привычек народа, обычаев, образа мыслей, житейские правила, народный календарь, вообще жизнь народную. Заключая в себе вековые сказания народа о самом себе, они могут служить весьма важным материалом для этнографических исследований. С этой точки зрения рассматривал их В. И. Даль. Для употребления пословиц в этнографических работах он располагает их не в азбучном порядке, а по смыслу и значению, почему каждый разряд их дает полную и связную картину. Прочитанный им образчик относился до отдела пословиц о супружестве, о муже и жене. Из этого краткого отрывка можно уже сделать замечательные выводы касательно супружеской жизни русского народа и указать на многие привычки его и правила...»

Почти все упоминания о Дале в отчетах, сборниках, известиях общества связаны с его работой собирателя слов и пословиц. В некрологе, опубликованном Географическим обществом, заслуги Даля перед русской этнографией также сведены к составлению «Толкового словаря» и сборника «Пословицы русского народа». Так же оценивает его труды и А. Н. Пыпин в «Истории русской этнографии».

Однако деятельность Даля-этнографа была много шире. В 1830 году в «Московском телеграфе» была напечатана его повесть «Цыганка». Самое интересное в повести — меткое описание быта молдаван и бесарабских цыган. Это навсегда останется в сочинениях Даля — точные и обстоятельные сведения о нравах и обычаях разных народов. Издатель журнала Н. А. Полевой назвал повесть «превосходным сочинением», но читатели ее не заметили. Еще не пришло время для таких повестей.

«Цыганка» открывает целую галерею



рассказов и повестей Даля, в которых этнографически точно описан быт украинцев и болгар, народов Средней Азии и Северного Кавказа. Более того: петербургский купец в произведениях Даля так же отличается от петербургского чиновника или даже от купца, но провинциального, как уральский казак от владимирского офени; тульский мужик не похож на курского: он и держится, и говорит, и одет иначе, и верит в другие приметы. Об этом с похвалой отзывался Белинский: «...Он особенное внимание обращает на простой народ, и видно, что он долго и с участием изучал его, знает его быт до малейших подробностей, знает, чем владимирский крестьянин отличается от тверского, и в отношении к оттенкам нравов и в отношении к способам жизни и промыслам». Гоголь называл сочинения Даля «живой и верной статистикой России». Он писал А. М. Вьельгорской: «Кстати: не позабудьте, что вы мне обещали всякий раз, когда встретите Даля, заставлять его рассказывать о быте крестьян в разных губерниях России».

Рассказы и повести Даля — одновременно литературные и этнографические труды.

Особенно заинтересовали современников произведения о жизни народов, тогда еще мало изученных, — вроде «Бикей и Мауляны» или «Башкирской русалки». «Бикей и Мауляна» — первая достоверная повесть о жизни казахов. Не случайно она привлекла к себе внимание не только в России, но и за рубежом: повесть была переведена на французский язык и издана в Париже.

Однако этнографические занятия Даля не просто приложение к его литературной деятельности. Они были вполне самостоятельными и целеустремленными. Автор работы «Даль в Оренбурге» (1913) Н. Н. Модестов сообщает: «Вслед за описанием Оренбургского края и любопытным сказанием о быте уральских казаков, отбывании ими службы, рыболовстве и отношении к киргизам в записках Даля подробно описана была киргизская степь, помещено было множество рассказов, вышедших из Хивы русских пленников, а равно и торговцев, посещавших Бухару, Ташкент и Кокан, рассказывалось об экономическом устройстве башкир, описан каждый кантон башкирский... Но этим запискам Даля не суждено было уцелеть: они погибли в камине Даля, который в 1848 году сжег их вместе с другими записками».

И все-таки бумаги полностью не уничтожены. Их следы можно обнаружить в рассказах и повестях Даля, его письмах, а также статьях и заметках, разбросанных

в периодических изданиях. К числу таких статей принадлежит работа Даля о башкирах, написанная по-немецки и опубликованная в дерптском ученом журнале<sup>1</sup>.

Даль не зря, наверно, писал статью на немецком языке. Скорее всего хотел рассказать о башкирах европейским читателям. Это подтверждают обширные примечания географического и исторического характера. Годом позже в дерптском ученом журнале появится новая работа Даля, и опять написанная по-немецки, — о богатстве русского языка, о сокровищах русской народной речи, о лубочных картинках. Тут уж расчет на европейского читателя угадывается без труда.

Но и в России заинтересовались статьей о башкирах. Ее быстро перевели и напечатали в «Журнале министерства внутренних дел» (1834, № 8). Текст при этом сократили и перекомпоновали, имя автора сняли.

Даль не потрафляет в статье любителям «экзотики», не рассказывает анекдотов о нравах «диких башкир». Статья проникнута симпатией к башкирскому народу.

Она начинается с описания природы Башкирии. «Земли, занимаемые этим народом, — пишет Даль, — можно без преувеличения отнести к числу прекраснейших и богатейших. Всеми своими дарами природа наделила их с избытком. Горы, лесные чащобы, множество больших и малых рек, ручьев, озер, тучных пастбищ, которыми благодаря их разнообразному положению можно пользоваться во всякое время года, наконец, несметные подземные сокровища — золото и платина — природа рассыпала их почти у самой поверхности земли. Если прибавить, что эти земли, которые в основном относятся к Оренбургскому краю, являются собственностью башкир, что башкиры владеют ими по полному праву и вольны распоряжаться по своему усмотрению, то надобно признать, что в этом отношении башкирскому народу не остается желать ничего лучшего».

Даль рассказывает об административном положении башкирских земель, сопоставляет различные мнения о происхождении башкир. Видный чиновник при оренбургском военном губернаторе, посаженном управлять башкирами, Даль напоминает о крупных восстаниях башкирского народа и говорит о них беспристрастно. Причиной

<sup>1</sup> Dahl W. F. Etwasüber die Baschkiren. Dorpater Jahrbücher, 1834, № 5.

При рождении Даля нарекли именем Вольдемар Фердинанд — отсюда непривычные инициалы W. F.

восстания 1707 года он называет «самовольный образ действий назначенного в Уфу Сергеева». Речь идет о царском комиссаре Сергееве, которого прислали «выколотить» с башкир 600 подвод, 5 тысяч коней и тысячу человек. Даль не скрывает и того, как подавлялись башкирские «бунты». Он приводит страшные цифры: «Во время этого восстания погибло больше 30 тысяч мужчин; больше 8 тысяч женщин и детей были поделены между победителями; 696 деревень были разорены».

О восстании под руководством Салавата Юлаева в статье не упоминается. Конечно, не из-за того, что не было материала: живя в Оренбурге, Даль собирал сведения о Пугачеве и пугачевцах. Однако нелишне напомнить, что на обороте титульного листа пушкинской «Истории Пугачева», вышедшей в том же 1834 году, вместо обычного цензурного разрешения стояло: «С дозволения Правительства».

Любопытны зарисовки наблюдательного Даля, касающиеся занятий, поведения, одежды, оружия башкир. Вот, к примеру, одна из таких метко схваченных «картинок»: «В сражении башкирец передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрельы в зубы, а другие две кладет на лук и со скоростью ветра пускает их одну за другою; при нападении низко пригибается к лошади и — грудь нараспашку, рукава засучены — с пронзительным криком бросается на врага».

Но в обычной жизни, подчеркивает Даль, башкиры на редкость миролюбивы — они прирожденные скотоводы и охотники. Даль явно хочет «разочаровать» тех, кто ждал от него «ужасных» подробностей о нравах «дикого племени».

«По всей башкирской земле, — пишет Даль, — можно путешествовать столь же безопасно, как по большому Московскому шоссе. Башкиры обходительны и ласковы».

### Первые шаги по «стезе воображенья»

Творческую биографию Даля-писателя принято начинать с книги «Русских сказок», увидевшей свет в 1832 году. Исследователи неизменно упоминают также повесть «Цыганка», которая была напечатана двумя годами раньше в «Московском телеграфе». П. И. Мельников-Печерский в критико-биографическом очерке о Дале называет эту повесть первой его «литературной попыткой». Менее известно, что еще в 1827 году Даль опубликовал в «военно-литературном журнале» «Славянин» два стихотворения — «Отрывок. Из длинной

повести» и «Совет молодым моим друзьям» (ч. II, XVI и XXVI). С А. Ф. Воейковым, издателем «Славянина», Даль познакомился и встречался в Дерпте.

Однако являются ли эти стихотворения первыми опытами Даля на литературном поприще? Оказывается, нет.

В рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранятся так называемые «Записные книжки» В. И. Даля. Первая из них датирована 1817—1832 годами<sup>1</sup>.

В «Записной книжке» имеются рукописи двух комедий.

Вот краткое содержание одной из них. Гарнизонный майор Архипов приезжает со своей племянницей Лизой в имение к старому богатому помещику Петушинскому, прежде служившему при дворе. Архипов мечтает выдать племянницу замуж за Петушинского, а деньги, оставшиеся ей от родителей, прикарманить. Но Лиза любит молодого офицера Горлицкого. Молодым людям при помощи забавных интриг с переодеванием удается обвести скупого опекуна и устроить свое счастье. На их стороне действуют горничная Лизы — Аннушка и денщик Архипова — татарин Хамет. Надо ли говорить, что все симпатии автора на стороне молодых. Неумный и самовлюбленный вельможа Петушинский (один из персонажей называет его «придворной куклой») изображен явно юмористически.

Полное название пьесы: «Невеста в мешке, или Билет в Казань. Небольшая комедия в одном действии». И пометка: «Писано 1821 года».

Дата заслуживает особого внимания. После блестящего расцвета в творчестве Фонвизина, Крылова, Капниста русская комедия в начале XIX века оказалась на перепутье. Имена даже ведущих комедиографов того времени теперь вспоминают редко — Шаховской, Хмельницкий, Загоскин. Грибоедов только пробовал силы. «Горе от ума» еще не написано. В этой связи комедия Даля (вторая сочинена в 1822 году и называется «Медведь в маскараде») могут, вероятно, заинтересовать исследователей.

Стоит вспомнить, что первые опыты Даля в области драматургии не оказались последними. Два десятилетия спустя он написал «старую бывальщину в лицах» (теперь ее называли бы пьесой-сказкой) «Ночь на распутии, или Утро вечера мудренее». П. И. Мельников-Печерский, ссылаясь на самого Даля, сообщает, что пьеса была соз-

<sup>1</sup> Ф. 473, карт. № 1, ед. хр. 1.

дана «по настояниям Пушкина» и что Глинка собирался сочинить оперу на этот сюжет.

Двадцать два листа «Записной книжки» занимает рукопись незавершенного «Романа в письмах», помеченная 1825 годом. Тщательная расшивка содержания этого произведения поможет, видимо, узнать и понять некоторые факты биографии Даля. Несколькими страницами «Романа» отведено размышлениям о русском языке и русской поэзии; в одно из писем герой включает русскую песню, которую посылает «предмету» своей любви «вместо баллады». Песня выбрана грустная — о девушке, которую насильно выдают замуж за нелюбимого.

Обе комедии и «Роман в письмах» написаны Далем в годы службы на флоте. Эту малоизученную страничку его биографии дополняют два дневника.

Первый рассказывает об учебном плавании гардемаринов Морского кадетского корпуса на бриге «Феникс» «в различные порты Балтийского моря» и относится к 1817 году. В нем изложены впечатления от путешествия в Швецию и Данию. Дневник, или, как Даль его именует, «Дневной журнал», весьма подробно сообщает обо всем, что увидели юные моряки в чужих странах. А побывали они в нескольких городах, посещали официальные учреждения и музеи, присутствовали на приемах у шведской королевы и у датского принца. Любопытнейший Даль интересовался в те годы техникой, сам делал модели, потому должно быть, подробно перечисляет экспонаты шведских музеев. В Стокгольме, например, видели модели рудных насосов, машины для забивки свай, пильной мельницы, телеграфа, а также «стул на колесах, на коем сидящий человек с довольной скоростью сам себя подвигает». «Дневной журнал» Даля дополняет статью Д. И. Завалишина «О походе гардемаринов в Швецию и Данию в 1817 году»<sup>1</sup> живыми и яркими подробностями и может быть интересен историкам, в частности биографам адмирала П. С. Нахимова, также участника этого плавания.

Другой дневник — «Записки, веденные идучи с эскадрой на 44-пушечном фрегате «Флора» — бесспорно привлечет внимание историков флота. В «Записках» рассказывается о трехмесячных учениях на Черноморском флоте летом 1820 года. Фрегат «Флора», как свидетельствует «Список русских военных судов с 1668 по 1860», спущен на воду в Николаеве в 1818 году. Видимо, мичман Даль, выпущенный из кор-

пуса в 1819 году, начал на этом корабле свою морскую службу. Командовал фрегатом контр-адмирал П. М. Рожнов, опытный моряк, в прошлом офицер эскадры Д. Н. Сенявина, участник знаменитых сражений. «Записки» позволяют хотя бы отчасти заполнить пробелы в биографии Даля.

Значительную часть «Записной книжки» занимает работа Даля «Что такое пористость тел согласно учению атомистической школы?». Это обзор данных, почерпнутых из многочисленных научных трудов.

Вряд ли двумя комедиями и незавершенным романом исчерпываются ранние литературные опыты Даля. Во всяком случае, стихи, опубликованные в 1827 году, не выглядят первыми пробами. Трудно сказать, удастся ли нам узнать во всех подробностях, с чего начинал Даль-писатель. Найдя свой путь в литературе, он весьма пренебрежительно относился к собственным первым шагам. На титульном листе «Романа в письмах» Даль начертал:

«Стезя воображенья  
взяла кривое направление!  
1832».

Напомним, 1832 год — это год выхода в свет «Русских сказок».

### «Ожегшись на молоке...»

#### 1

19 сентября 1833 года Пушкин и Даль ехали из Оренбурга в Бердскую слободу. Пушкин прибыл в Оренбург за материалами для «Истории Пугачева». По дороге в слободу Пушкин был оживлен, он рассказывал Далю сказку, весело пересыпая речь татарскими словами. Через три года Даль прочитает в «Капитанской дочке»: Пугачев и Гринев едут из Бердской слободы в Белогорскую крепость, Пугачев рассказывает спутнику сказку об орле и вороне, услышанную от старой калмычки.

Пушкин рассказывал Далю сказку о Георгии Храбром и волке. По предположению известного фольклориста М. К. Азатовского, поэт услышал ее «от какого-либо татарина или калмыка, говорящего по-русски, во время своего пребывания в Казанской или Оренбургской губернии и тогда же под свежим впечатлением рассказал ее Далю, сохранив в своей передаче некоторые особенности речи рассказчика».

<sup>1</sup> «Русский вестник», 1874, кн. 7. Декабрист Д. И. Завалишин был товарищем Даля по Морскому кадетскому корпусу.

Даль записал сказку о Георгии Храбром и напечатал ее еще при жизни Пушкина в «Библиотеке для чтения» (1836, т. XIV). Затем сказка была помещена в четвертой книжке «Былей и небылиц» Казака Луганского (Спб., 1839) и входила впоследствии во все собрания сочинений В. И. Даля.

В издании 1839 года появилось авторское примечание, которого не было при первой публикации: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга».

Но не только это примечание, весьма важное для исследователей творчества как Даля, так и Пушкина, отличает издание 1839 года. Сам текст сказки значительно изменился по сравнению с первоначальным.

## 2

В воспоминаниях современников Даль выглядит человеком на редкость благонамеренным. Более того, статья о народной грамотности, в которой Даль ошибочно утверждал, что грамотность не нужна народу без просвещения вообще, создали ему славу консерватора. Статья эта обычно рассматривается в рамках острой полемики того времени — причем не учитывается практическая деятельность Даля — защитника крестьянских интересов, не учитываются и впечатления главного противника Даля — Добролюбова, встречавшегося с ним в Нижнем Новгороде уже после полемики о грамотности. Между тем Добролюбов писал об этих встречах: «...Самое отрадное впечатление оставил во мне час беседы с Далем. Один из первых визитов моих был к нему, и я был приятно поражен, нашедши в Дале более чистый взгляд на вещи и более благородное направление, нежели я ожидал. Странности, замашки, бросающиеся в глаза в его статьях, почти совершенно не существуют в разговоре, и таким образом общему приятному впечатлению решительно ничто не мешает. Он пригласил меня бывать у него, и сегодня я отправляюсь к нему...»

Любопытно также свидетельство декабриста Пущина, относящееся к тому же времени: «С Далем я ратоборствую о грамотности. Непременно хотелось уяснить себе, почему он написал статью, которая всех неприятно поразила. Вышло недоразумение, но все-таки лучше бы он ее не писал, если не мог, по некоторым обстоя-

тельствам, написать, как хотел и как следовало. Это длинная история».

«Что написано пером, того не вырубишь топором» — это верно. В полемике о грамотности правда была на стороне Добролюбова, а не на стороне Даля, — это тоже верно. Но вряд ли верно категорически судить о мировоззрении Даля по тому только, что он написал.

И наоборот, вряд ли можно категорически судить о мировоззрении Даля по тому, что он говорил знакомым или сослуживцам.

Приходится очень скрупулезно изучать биографию Даля, вчитываться в каждое слово, им написанное, чтобы вывести суждение о его взглядах.

Даль был человек очень осторожный, очень замкнутый. Детство его прошло в корпусе, от которого на всю жизнь остались в ушах свист розги. Юность началась военным судом; его грозили разжаловать в матросы — по тем временам это было примерно то же, что отдать в рабство. Ожестившись на молоко, Даль всю жизнь дул на воду. Он редко открывался так, как открылся, оправдываясь, Добролюбову или Пущину. Большею частью проговаривался — случайно или умышленно. Чтобы верно судить о Дале, надо следить, как он проговаривается.

Биография Даля дает материал для такого рода наблюдений и размышлений.

В самом деле. Первые стихотворные опыты — и тут же военный суд за сочинение «пасквиля». Все без исключения мемуаристы указывают, что автор «пасквиля» избрал своей мишенью не кого-нибудь, а самого командира Черноморского флота вице-адмирала А. С. Грейга, все они схоже излагают содержание стихотворения. Недавно И. Заостровцев привел в журнале «Нева» (№ 8, 1966) документы, которые свидетельствуют, что Даля судили за стихотворный «пасквиль» под названием «С дозволения начальства», направленный против некоего Мараки, учителя итальянского языка Черноморского штурманского училища. Видимо, эти документы не противоречат воспоминаниям современников. Авторской рукописи сатиры на адмирала Грейга обнаружено не было, по городу ходили списки. Какой-то «пасквиль» был найден при обыске в комоды Даля. Возможно, о нем и шла речь на суде. Но то, что Даль (быть может, вслух об этом не говорилось) расплачивался и как предполагаемый автор сатиры на адмирала, вряд ли подлежит сомнению. Это подтверждает и строгий приговор, по счастью отмененный высшими инстанциями. Даль до конца жиз-

ни не признал, что был автором «пасквиля». Но можем ли мы безоговорочно верить Далю? Признание было опасным. В той же заметке И. Заостровцева приведено письмо Бенкендорфа к министру внутренних дел, написанное почти через двадцать лет после суда над Далем, — в письме снова упоминается история с «пасквилом». Добавим также, что ее припомнили Далю еще через полтора десятилетия, когда он собирался уходить на пенсию.

Первая книга — «Русские сказки». Вроде бы невинные стилизованные истории, перенасыщенные народными словами и поговорками. Но как говорил Даль: «Вот вам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка». Он сравнивал сказку с «окрутником» — ряженым, который прячет лицо под смешную маску. Кто охоч да горазд, заглянет под маску, а другой и так пройдет.

Опытный фискал Фаддей Булгарин и управляющий Третьим отделением Мордвин были смекалисты и охочи: они заглянули под маску и увидели намеки. Никитенко записал в «Дневнике»: «Люди, близкие ко двору, нашли в сказках Луганского какой-то страшный умысел против верховной власти». В цитированном выше письме Бенкендорфа говорится, что в книге было много «предосудительных мест, клонившихся к внушению презрения к правительству и к возбуждению нижних военных чинов к ропоту...» Сам Даль вспоминал через много лет: «Обиделись пяташные головы, обиделись и алтынные, оскорбились и такие головы, которым цена была целая гривна без вычета...» Даль был арестован. Сборник сказок изъяти из книжных лавок. Спасли Дая заступничество Жуковского перед самим царем и заслуги «сказочника Казака Луганского» в недавней русско-турецкой войне и польской кампании.

В беспокойном для всех европейских правителей 1848 году рассказ Дая «Ворожейка» обсуждался в бутурлинском Особом комитете для надзора за печатью. Получил взыскание цензор за то, что пропустил фразу: «...Заявили начальству — тем, разумеется, дело и кончилось». В одном слове — «разумеется» — Даль проговорился. По указанию царя министр внутренних дел строго выговаривал Далю: «Писать — так не служить, служить — так не писать». Перепуганный Даль сжег свои записки, в которых, по общению очень близкого к нему П. И. Мельникова-Печерского, рассказывал «обо всем, что происходило вокруг него, обо всех делах, в которых он принимал участие как секретарь

и как доверенное лицо обоих Перовских<sup>1</sup>... о всех важнейших делах, производившихся в высших государственных учреждениях, причём набросана была мастерская и правдивая характеристика почти всех тогдашних государственных деятелей». Даль пролил издателей журналов снять его имя из списка авторов, отказался от важной должности в столице и, по существу, бежал из Петербурга в Нижний Новгород — управляющим удельной конторой. В письмах друзьям он проговаривался поговоркой: «Времена шатки, береги шапки».

А через несколько лет правительство запретило издание знаменитого сборника Дая «Пословицы русского народа»: этот сборник вызвал негодование реакционной части академии и высшего духовенства.

Все кажется, что Даль и сам был «окрутником» — ряженный, прячущий лицо под маской. Выглянет на миг — и снова нет его. В Петербурге он был крупный чиновник, правая рука министра внутренних дел, его превосходительство. Его считали чиновником по призыванию, бюрократом, называли «сухарем» и «аккуратным немцем». Еще бы! Распек, например, Ивана Сергеевича Тургенева, который вздумал было служить, не посещая службы! А «сухарь» и «аккуратный немец» Даль проговаривался в письме к Шевыреву: «Я бы желал жить подальше отсюда — на Волге, на Украине или хотя бы в Москве. Вы живете для себя; у вас есть день, есть ночь, есть, наконец, счет дням и времени года; у нас нет ничего этого. У нас есть только часы: время идти на службу, время обеда, время сна. Белка в колесе — герб наш. Орехи будут, когда зубов не станет; волю дадут, когда... ноги одеревенеют... Это не жалоба, это просто рассказ о том, что и как есть. Писать бумаги мы называем дело делать; а оно-то про меж бумаги и проскакивает, и мы его не видим в глаза».

Передовые идеи и движения времени вроде бы прошли мимо Дая. Он всегда был занят только «своим» делом. Но он был честный человек, а честность на каждом шагу вступала в конфликт с желанием быть (или казаться) благонамеренным. Даль не хотел лгать, но боялся проговориться, он хотел прикрыться этой самой маской, под которую не каждый заглянет, хотел честно замаскировать честность.

О том, как он это делал, красноречиво

<sup>1</sup> То есть В. А. Перовского, оренбургского военного губернатора, человека, близкого царской фамилии, и Л. А. Перовского — министра внутренних дел.

свидетельствует редакционная работа над текстом «Сказки о Георгии Храбром и о волке» при подготовке ее к переизданию.

3

В отделе редкой книги Государственной исторической библиотеки хранится принадлежавший самому Далю оттиск из журнала «Библиотека для чтения» с первоначальным текстом сказки. На полях и на вклеенных полосках бумаги (Даль называл их «ремешками») имеется авторская правка. Можно утверждать, что Даль редактировал сказку именно для издания 1839 года, поскольку в конце текста и на каждой вклейке стоит подпись цензора П. Корсакова — он же разрешил печатать четвертую книжку «Былей и небылиц» (цензором третьей книжки, вышедшей в 1836 году, был А. Никитенко). Окончательный текст в «Былях и небылицах» (в последующих изданиях он уже, по существу, не менялся, отличается и от текста, выправленного в оттиске, — видимо, Даль продолжал редактировать сказку в гранках и верстке.

«Сказка, — по свидетельству М. К. Азодовского, — является обработкой одного из замечательнейших сюжетов так называемой крестьянской мифологии — сюжета о «волчьем пастыре».

Краткое содержание ее следующее. Во «времена первородные», когда животные, «как новички мира нашего, не знали и не ведали еще толку, ни ладу в быту своем», Георгий Храбрый «правил суд и ряд и чинил расправу на малого и на великого». Георгий определил каждому зверю, каждой птице, где жить и чем питаться. Один только волк в силу обстоятельств не получил указания, что, а вернее сказать кого, ему есть. Волк попытался охотиться по собственному разумению, но был за то наказан. Тогда он отправился с жалобой к Георгию Храброму: «Пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глотать». Георгий занят делами, ему недосуг, он посылает волка к другим животным — к быку, коню, барану, свинье. Все они бьют волка. Наконец Георгий направляет его к людям, и на швальне кривой портняжка Тараска зашивает волка в собачью шкуру (с тех пор стал он «ни зверем, ни собакой; спеси да храбрости с него послали, а ремесла не дали»).

Кажется, что править в этой невинной сказке? Ан было что.

Прежде всего Даль снимает намеки на некую «табель о рангах», которая имелась в первоначальном тексте. В тексте 1836 года Георгий посылал волка к туру со слова-

ми: «Ступай, братец, по команде к воеводе моему, к туру гнедому...» В тексте 1839 года: «Ступай, братец, к туру гнедому...» В тексте 1836 года: «Ступай же ты к тарпану, к коню, моему окольничьему...» В тексте 1839 года: «Ступай же ты к тарпану, к лошади...» «Староста-баран» превращается в «архара, дикого барана», «деятская свинья» — в «кабана».

В одном месте, правда, Даль, как бы восполняя потерю, делает вставку, что Георгий Храбрый к тому времени уже «порядил заплочных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских», но это сказано вне связи с злоключениями волка, это для тех, кто умеет заглядывать под маску.

Хождение волка по должностным, чиновным лицам оборачивается после правки обычным сказочным сюжетом: он просит пропитания не у воеводы, не у старосты, а просто у быка, у лошади, у барана — бык его поддевает на рога, лошадь бьет копытом по морде и т. д. Голодный волк — искатель справедливости — приобретает привычные черты волка-хищника.

В том же плане характерно изменяется описание внешности волка до того, как зашили его в собачью шкуру.

В тексте 1836 года: «Наков он до этого был собой, не знаем; а сказывают, что былде волк кроток, смирен и добр зело, и все его жаловали, и в гости к себе звали, и членом разных благотворительных комитетов назначали». Первоначальная правка текста: «...что был он с виду страшный, лютый зверь... а кроток и смирен был норовом потому, что ждал и чаял суда и расправы от Георгия по начальству». В тексте 1839 года — коротко: «...сказывают, что был страшный».

Редактируя сказку, Даль последовательно снимает все намеки на деятельность созданного Георгием «бюрократического аппарата». В тексте 1836 года Георгий так отвечал на жалобу волка: «Видно, было законное препятствие... видно, не так подвели справку». При редактировании Даль пытается смягчить реплику: «Видно, не умел ты и попросить по-людски». Затем вовсе снимает.

В другой раз Георгий сердится на волка: «Все подаешь нам прошения, да требуешь законного решения...» Даль поначалу правит: «Лезет, как оса в глаза». Но в окончательном тексте снимает и эту реплику.

При первой же правке Даль снимает угрозу Георгия: «Да и отяжись от меня; не то я велю объявить тебя ябедником и взять с тебя подписку, что впредь не бу-

дешь домогаться удовлетворения ни по какому делу».

В тексте 1836 года волк, придя к людям, говорил: «Я знаю, что вы умом своим да знанием законов всегда сыты бываете...» Правка: «...умом-разумом своим да козырным художеством всегда сыты бываете...» Текст 1839 года: «...не в одни постные дни сыты и святые бываете».

Снимаются все намеки на то, что волк в случае отказа «начальства» готов действовать собственными силами. Слова волка в тексте 1836 года: «Прикажи накормить, не то стану таскать ма х а н, мясо, баранину, что попало» — в тексте 1839 года превращаются в жалобные: «Прикажи... накормить да напоить, не то возьми да девай, куда знаешь».

Снято выдержанное в том же духе любопытное «нравоучение» Георгия: «Погляди вот на ягнят, погляди на воробушков, на ласточку, на зайца: всяк потихоньку себе подбирает крохи да былинки, и сыт, и не докучает начальству; а ты, нахал, рад бы любовь за глотку ухватить».

Изменился при редактировании и образ самого Георгия: из вельможи, царского наместника он по мере возможности превращен в «волчьего пастыря», правителя животного царства. Например, в тексте 1836 года: «Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению вверенной ему царем Салтаном области вновь созданного народа и войска...» В тексте 1839 года: «Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению новорожденного, разношерстного народа своего и войска...»

## 4

Мы не ставили целью привести все варианты правки — важно общее ее направление. Авторское редактирование «Сказки о Георгии Храбром и о волке» помогает проследить, как осторожный Даль натягивал маску, прятал подлинное лицо.

При изучении текста сказки следует, видимо, учитывать также некоторые обстоятельства биографии В. И. Даля.

Сказка писалась и редактировалась, когда Даль служил чиновником особых поручений при оренбургском наместнике, военном губернаторе В. А. Перовском, под власть которого были отданы многие «инородцы», населявшие край, — башкиры, казахи, калмыки и др. В обязанности Даля чиновника входило рассмотрение жалоб «инородцев», выяснение причин неповиновения, бунтов и т. д.

И еще: нельзя забывать, что персона-

льный текст сказки был напечатан при жизни Пушкина, который рассказал ее Далю; редактировал же сказку Даль после смерти поэта.

### Андрей Сапожников — иллюстратор Даля

Долгие годы в галерее Академии художеств находилась картина «Прометей» — юноша, драпированный темно-красной тканью, прикован цепью к скале. Картина принадлежит кисти художника А. П. Сапожникова (1795—1855).

Андрей Петрович Сапожников был военным инженером, с 1844 года занимал должность наставника-наблюдателя черчения и рисования в военно-учебных заведениях. Он составил «Курс рисования» для учащихся, который пользовался большим успехом и не раз переиздавался.

Свободное от службы время А. П. Сапожников отдавал живописи и графике. Написанные им полотна на исторические темы и портреты теперь почти забыты. Книжная графика более известна. До сих пор, например, воспроизводятся его иллюстрации к басням Крылова.

В 1844 году вышла в свет не совсем обычная книга: «Похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета. Соч. В. Луганского. С альбомом картин на 51 листе, рисованных известным русским художником». В. Луганский — это Владимир Даль, а «известный русский художник» — Андрей Сапожников.

В предисловии Даль писал, что художник передал ему «пятьдесят готовых картин с предложением написать к ним объяснение». Но получилась повесть с картинками, а не текст к ним.

Повесть «Похождения Виольдамура» — о бездельнике, возмнившем себя музыкантом-виртуозом, — во многом сродни произведениям натуральной школы, среди представителей которой Даль был одним из самых ярких. В повести даны меткие описания быта различных групп населения Петербурга и губернского города. Относящиеся к этим эпизодам иллюстрации Сапожникова, юмористические и одновременно документально точные, помогают лучше увидеть «век минувший».

Сотрудничество А. Сапожникова и В. Даля на «Похождениях Виольдамура» не закончилось. В соавторстве с художником В. Даль и А. Постельс создавали учебник «Зоологии» (СПб., 1847). К учебнику был приложен атлас, содержащий изображения семисот животных.



Вечеринка в доме стряпчего  
«по делам мелким и средней  
руки».

Виольдамур, поменяв квартиру,  
переходит из Малой Волотной  
на Песни.

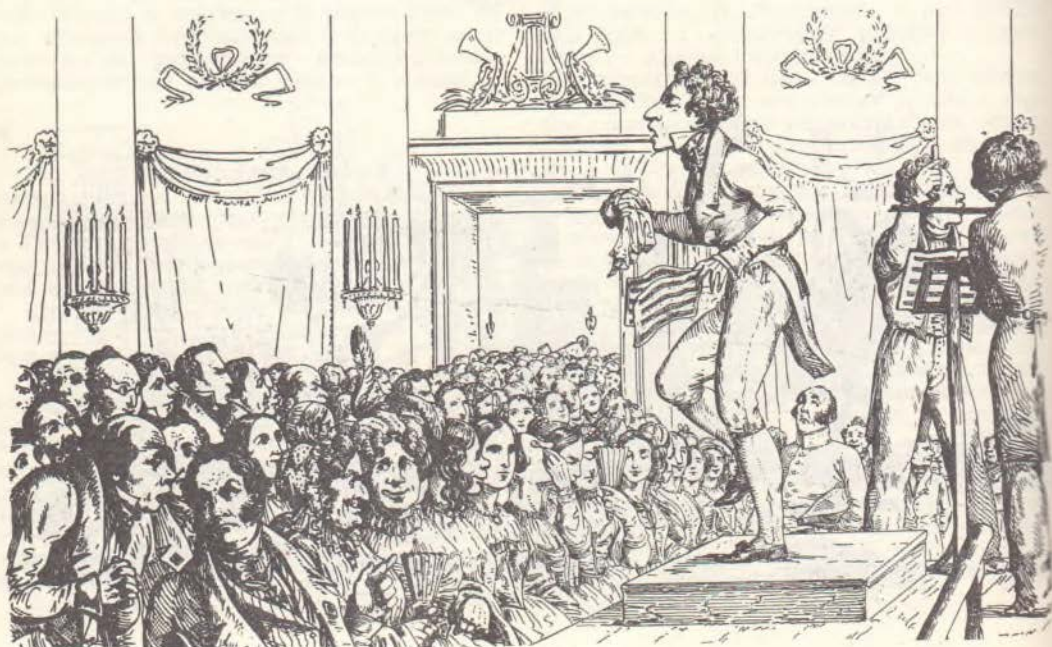






Урок музыки в «хорошем доме».

Концерт в губернском  
Благородном собрании.





К несостоятельному герою  
явились «займодавцы всякого  
разбору» — Виольдамура атакует  
бакалейщик, сзади стоят торговец  
сукном и настройщик.

Городовой и пожарный ведут  
спившегося Виольдамура  
в больницу.





Наконец, два рисунка на медицинскую тему: Мальчишки из цирюльной под руководством старого эскулапа ставят Виольдамуру пиявок на нос (распространенный в то время способ лечения).

Врачи трех школ пользуют больного. Слева направо: гомеопат, аллопат и гидропат. Последний приказывает фельдшеру приготовить для больного два ушата воды и полпуда льду.





Первый концерт юного Виольдамура в семейном кругу. В качестве главного ценителя его искусства приглашен глухой дядюшка.

Помощники Виольдамура рьяно распространяют билеты на его концерт. Некоторых горожан заставляют купить билет с помощью пистолета.





Р. Орлова

## Дело, проигранное заранее

(Кларенс Дэрроу  
на „обезьяньем процессе“)

В маленьком американском городке Дайтоне летом 1925 года судили школьного учителя за то, что он излагал на уроках теорию Дарвина, за то, что рассказывал правду о происхождении человека, правду, которая противоречила библии. После первого заседания суда поздним вечером за городом собрались верующие.

Толпа бесновалась. На возвышении стоял человек и размахивал руками, часто поднимая глаза кверху. Он обращался попеременно то к толпе, то к небу. А толпа тянулась к нему, к этому человеку, к проповеднику Джорджу Брайану.

Из толпы торчали плакаты — их принесли прямо из зала суда: «Библия против эволюция», «Мы не обезьяны!»

Эти же слова повторял Брайан, а за ним скандировала вся толпа. Был жаркий душный вечер, чадили факелы, и от них дышать становилось еще труднее.

«...сердце Дэрроу было исполнено сострадания и милосердия к угнетенным, к слабым, к заблуждающимся — к людям любой расы, любого цвета кожи, любого вероисповедания, разных человеческих качеств. Кларенс Дэрроу облегчил путь человечеству. Он проповедовал не доктрину, а любовь и милосердие — те единственные добродетели, которые могут улучшить мир».

(Из речи судьи Холмса на похоронах Дэрроу)

В толпе стоял адвокат С. Кларенс Дэрроу. Смотрел. Слушал.

Было много женщин. Растрепавшиеся с безумными глазами, они тянулись к проповеднику, кричали, визжали.

Одна с плоским лицом, с поджатыми губами, щеки бледные, волосы гладко зачесаны, и она не кричит. Но она молчит истоиво, угрожающе.

У фермера знакомое лицо — его же утвердили сегодня присяжным. Он кричит безостановочно, уже даже не обращая внимания на трибуну, мешая Брайану. Тянет какую-то одну высокую ногу. Днем он был обычный, мирный, почти неприметный. А сейчас от темноты, от духоты, от красных отблесков все кажется нереальным, призрачным. И у фермера лицо звероподобное. Нет, напрасно, совсем напрасно его сосед воинственно размахивает плака-

том: «Мы не обезьяны!» Только посмотрю на это лицо — усомнишься.

Дэрроу думает, что надо бы уйти, отдохнуть, сосредоточиться. Кончился только первый день процесса, впереди — долгая трудная борьба. Но он не может оторваться, его притягивает эта беснующаяся толпа, он должен понять: почему? Кто эти люди? Как они ведут себя дома? Они ведь почти ничем не отличаются от меня, от моих друзей. Так же одеты, так же говорят. На трибуне и я всегда размахиваю руками.

— Библия, библия, библия, — совсем уже истошно завопил кто-то. Даже Брайан пытается остановить его жестом, но толпа подхватила вопль, не слушая своего пророка.

Ближе всех к Дэрроу школьный учитель, кажется коллега обвиняемого Скоупса. Днем адвоката с ним знакомили. Интеллигентное лицо, напоминает пастора. А тоже вопит вместе со всеми. Как-то нутжно, неумело вопит. Может, просто поддельвается. И так бывает.

Сколько их? Человек сто пятьдесят — двести. А в городе Дайтоне две тысячи жителей. Сейчас больше, понаехало со всей округи, из Чикаго, из Нью-Йорка, даже из Лондона.

В пятницу, десятого июля 1925 года все крупнейшие газеты мира вышли с заголовками: «Обезьяний процесс», «Штат Теннесси судит теорию эволюции». «Учитель Скоупс и Чарлз Дарвин под судом», «Кларенс Дэрроу против Джорджа Брайана». Нет, бесноватых гораздо меньше, чем нормальных людей. И во всем мире и здесь, в Дайтоне. Только вот эти шумны, деятельны. А нормальные люди сидят по домам, закрыли ставни. Не хотят вмешиваться.

Почти все население Дайтона — фермеры. Их жизнь зависит от урожая. А урожай — от погоды, а погода — от бога. Поэтому они так слушают проповедников, так чтят Брайана. Урожай — от бога. Бог им нужен, а Дарвин только мешает.

В зале суда установили радио. Впервые в истории судебный процесс передает-

«Нечестивец», с которого все началось, — Джон Скоупс.



«Место преступления» — школа в Дайтоне.



сы по радио, могут слушать по всей Америке. Радио открыли, создали ученые. Люди становятся образованнее, грамотнее. А когда все они будут грамотными, образованными, что тогда? Эти иступленные фанатики тоже слушают радио, ездят на автомобилях, а вопят:

— Библия! Библия! Долой Дэрроу! Дэрроу вон из Дайтона!

Что здесь было раньше, до Колумба? Индейцы плясали у костра со скальпами побежденных врагов. Если бы кто-нибудь из них воскрес, прошел бы по Дайтону, — не по Чикаго, не по Нью-Йорку, а по маленькому провинциальному Дайтону, он попал бы в мир чудес. Электричество, телеграф, железная дорога, автомобили. Но сейчас любой дикарь чувствовал бы себя здесь много лучше, чем он, житель XX века, знаменитый адвокат Кларенс Дэрроу.

Где же оно, благотворное воздействие цивилизации?

На заре американской истории были Сейлемские процессы. И не только в городе Сейлеме. Вот так же собирались толпы, может быть, даже на этом самом месте, — очень уж долина подходящая, — так же бесновались. И, вероятно, проповедник, похожий на Брайана, так же заклинал, проклинал, и потом ни в чем не повинных женщин сжигали на кострах. Люди верили, что этим их спасают от ведьм. Дэрроу возит с собой книгу Лоуза, исследование по истории тюрем. Там сказано: «Ведьмы исчезли, как только их прекратили сжигать». Эти пока еще не сжигают. Но как легко им начать убивать. Стоит лишь Брайану или кому-нибудь другому показать на негра, на еврея, на коммуниста и крикнуть: «Вот он, враг бога и народа!» — и того разорвут в клочья. И будут убеждены, что делают важное, справедливое дело.

Проект закона, карающего за изучение теории эволюции, предложил фермер. Теперь это уже закон. Днем его оглашали: «Генеральная ассамблея штата Теннесси постановляет, что каждый преподаватель, который будет учить в университете, или в нормальной школе, или в ином учебном заведении, целиком или частично содержащемся на средства штата, любую теорию, которая отрицает божественное происхождение человека, как сказано в Библии, и вместо этого утверждает, что человек произошел от животных низшего ряда, совершит протизаконный поступок». Джон Вашингтон Батлер — так зовут автора законопроекта. О чем он ду-

мал, когда сочинял это произведение? О вере? О том, чтобы прославиться? Понимал или не понимал, что зажигает костер? Может быть, и не понимал. Ведь люди не умеют предвидеть последствия своих поступков. Даже самые опытные государственные деятели. Тем более невежественный фермер.

В первый день суда в зале сидели известные ученые. Лучшие умы Америки. Археологи, палеонтологи, зоологи. Им судья не позволил выступить.

Кое-что из их суждений Дэрроу все же огласил, разными правдами и неправдами. Часто прерывал его судья.

Когда он произносил слова «палеозой», «неандертальцы» — то ощущал: для большинства аудитории это чужие, раздражающие слова. Он опытный оратор, столько раз выступал успешно, знает, как начать, когда кончить, чем привлечь, как удерживать внимание. Уверенно владеет голосом, жестами, умеет избрать одного из слушателей и говорить даже в огромной аудитории так, словно бы с одним собеседником.

Джордж Брайан.



Журналисты подсчитали, что именно он, Дэрроу, произнес самое большое количество речей в Америке. Он сам себе всегда ставил отметки — как воспринимали? Осталось что-нибудь? Или так, скользнуло, а следа и нет? И умел не только говорить, но и слушать, слушать тех, кто перед ним.

Слушал, но не приспособливался к слушателям. Стремился их поднять до трибуны и не просто уговорить. Рассказать известное ему и заставить самих думать, разбудить любознательность. Новое, неизвестное лучше всего усваивается через старое, знакомое. Это один из приемов, одно из средств опытного педагога, оратора.

Но сейчас на освещенных факелами лицах написано: мы не знаем и не хотим знать нового, потому что этого и не надо знать. Никто не должен знать. Дьявольщина, наваждение. И мы не только сами не будем знать, но и никому не позволим узнать. Ни сегодня, ни завтра, никогда. И то, что ты знаешь, ты, Дэрроу, и тебе подобные, это подозрительно, опасно, ты

не хочешь походить на нас, и, значит, ты враг.

Душно. Гроза собирается, небо заволокло. Опытный демагог Брайан тоже поглядывает на небо. Небось ждет, — так, чтобы словно в ответ на его призыв: боже милосердный, дай мне силы победить дьявола! — именно в это самое мгновение сверкнула бы молния и прогремел гром. Тогда совсем худо подсудимому. Когда электрическая лампочка в зале суда прямо над головой адвоката потухла, эти олухи ведь как божественное знамение восприняли.

Дэрроу знает Брайана почти тридцать лет. В былые время они дружили. Дэрроу самому уже скоро семьдесят. Пора бы на покой.

Иногда бывает — нельзя отказаться от защиты, уговаривают, умоляют. Но в этот раз он сам напросился в Дайтон. Впервые за всю жизнь.

Дайтон — обычный американский городок, такой же, как и его родной Кинмен в штате Огайо. Но его детство было

Дача показаний.





все же иным, чем у детей этих дайтонских ревнителей библии. Родители Дэрроу резко отличались от многих своих соседей. Не стремились к богатству, к накоплению. У отца была столярная мастерская — делал стулья. Денег в семье всегда не хватало, зато были книги, лакомств доставалось мало, зато отец сам учил детей латыни. Юный Кларенс не хотел учиться. Предпочитал бейсбол, бокс. Но столяр Дэрроу добился, чтобы все его дети получили образование. Он и его жена были противниками рабства. В их доме действовала «станция подпольной дороги», по которой беглых рабов отправляли на Север. Кларенс этого не помнил, но ему столько раз в детстве рассказывали, что ему казалось, будто сам все видел. Его героическими легендами с самого раннего детства стали предания борьбы против рабства. Ведь назвали его Кларенсом Сьюардом — в память аболициониста Сьюарда из штата Огайо.

Наверно, поэтому ему так трудно понять иступленных гонителей Дарвина. Он адвокат, защитник, всегда старался понять любого преступника. Как же иначе защищать? Он мысленно становился на место воров, убийц. Но этого стадного неистовства, этого массового психоза не может понять. И не понимает, как ему поддаются умные, трезвые люди.

На тихой улице Дайтона старинное здание белеет среди густых деревьев. Все в городе его называли «особняк». До гражданской войны дом принадлежал владельцам большой рабовладельческой усадьбы. С тех пор прошло шестьдесят лет. Сменялись случайные хозяева, дом приходил в упадок. Колонны еще величественны, а крыши гниют. В Дайтоне говорят, что в особняке водятся привидения. Здесь-то и расположился штаб защиты, здесь поселился Дэрроу с женой и с помощниками, сюда возвращается.

Из мрака появилась тень. Неужели убийца? Холодный ужас сковывает. Старый адвокат безоружен.

— Господин Дэрроу, вы меня не помните?

Всматривается. Вспоминает. Чикаго. Дело об убийстве. Подсудимому грозил электрический стул. Он защищал горячо, убежденно. Приговор: двадцать лет.

— Помню, помню, Джон Кестнер. Неужто двадцать лет прошло?

— Не... Я удрал... Но вот прослышал, что вам плохо. Приехал, а тут против вас плакаты носят, хотят выгнать, а может, и

личцевать. Вы мне спасли жизнь, теперь и я вам должен помочь. Хотите — прикончу этого их главного, Брайана?

Тогда в Чикаго на процессе Дэрроу казалось, что он убедительно доказал, как жестоко и бессмысленно убийство человека. Всякое убийство, в том числе хладнокровное, расчетливое убийство по суду, по закону, то, которое зовется смертной казнью. Все слушали напряженно, внимательно: и судьи, и публика, и подсудимый. И вот теперь опять Джон Кестнер готов убивать.

— Что ты, Джон, разве я похож на человека, который может послать убивать?

— А как же с ними по-другому? Подставляться, что ли, как скотина мяснику? Они же убийцы... Ладно, не хотите, как хотите. Но охранять я вас все равно буду.

Так Дэрроу получил телохранителя.

Процесс «Штат Теннесси против Скоупса» продолжался. Защитник и обвинитель, как боксеры на ринге, примеривались друг

#### Объявление приговора.



и другу, сближались, сшибались и вновь расходились.

Дэрроу обращается к судье:

— Ваша милость, прошу, чтобы свидетельские показания по библии дал эксперт Джордж Брайан.

Шум в зале. Обвинители громко протестуют. Такого еще никогда не было — вызывать обвинителя в качестве эксперта. Но сам Брайан согласен. Все удивлены. Все, кроме Дэрроу. Его расчет безошибочен. Брайан — человек непомерного, неудовлетворенного честолюбия. Трижды он едва не вступил в Белый дом президентом. Он хватается за все, что может потешить его ненасытное тщеславие. Весьма эффектно такая необычайная ситуация — обвинитель в роли свидетеля защиты. Он уверен, что и со свидетельского места разобьет Дэрроу в пух и прах.

Действует в обоих и простой азарт. Слово спали с плеч по шести десятков лет и двое мальчишек, яростно пыхтя, произносят формулы едва ли не столь же сакраментальные, что и формулы судо-

производства: «А ну вдарь...» — «А вот и вдарю...»

Судья запретил Дэрроу обсуждать произведения Дарвина. Что же, будем обсуждать Библию.

— Полковник Брайан, надо ли буквально понимать каждое место Библии?

— В священном писании все должно быть понято точно так, как написано.

— Ну, скажем, когда рыба глотает Иону, это и вправду так было?

— В Библии сказано — не рыба, а кит. Легкое движение в зале. Брайан действительно на зубок знает Библию.

— Принимаю поправку. Так мог кит проглотить Иону, а Иона — остаться жить?

— Бог создал и человека и кита, бог может заставить их делать все, что ему угодно.

— Вы помните, как Иисус Навин заставил Солнце остановиться. Вы представляете, что было бы с Землей, если бы Солнце действительно остановилось?

— На этот вопрос вы ответите, госпо-

Подсудимого уводят.



дин Дэрроу, когда я вас вызову как свидетеля обвинения.

Смех. Дешевая шутка, а все же это выигрыш Брайана. Надо отвечать на том же уровне. На эту аудиторию нельзя повлиять одной логикой, еще менее данными науки.

Дэрроу снова листает библию и читает вслух: «И пошел Каин от лица господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою».

— Откуда, черт возьми, она взялась?

— Кто? — Брайан испуган.

— Миссис Каин. Откуда эта лишняя дама, когда никого, кроме Евы, не было?

Снова смех в зале. Это маленькая победа Дэрроу. Но он понимает, что радоваться нечему. Он ведь не цирковой фокусник. Надо, чтобы у них мозги заработали.

Все равно подзащитного осудят. Тем, кто за судейским столом, тем просто необходимо, чтобы бог, а не разум правил миром. Во всяком случае, в Дайтоне.

Но Дэрроу продолжает и продолжает, не думая о ближайших результатах. Это нужно и подсудимому, и ему самому, и всем, всем людям в этом зале, в этом городе, стране, во всем мире. Правда не должна отступать, не должна сдаваться, даже если бой безнадежен.

— Полковник Брайан, сколько часов было в первых, созданных богом сутках?

— Библия говорит, что это был день.

Даже наивные богомольцы понимают, что Брайан избегает ответа.

— Что вы имеете в виду? С утра до вечера или сутки, двадцатичетырехчасовой день?

— Я не знаю.

— А что вы думаете?

Брайан не успевает подумать. Медлительность мысли — его слабость; новый раунд выигрывает Дэрроу. Но обычно именно на этом выигрывает Брайан. Ведь и невежественные фермеры не думают, их никогда не учили думать. Поэтому тугодум Брайан им сродни.

А Дэрроу думает непрестанно. Думает — значит, ищет и сомневается. Иной раз это ослабляет, мешает действию. Но он не может не думать. Мысль — не библейское солнце, ее не остановить.

День показаний Брайана — победа Дэрроу.

Дело «Штат Теннесси против Скоупса» Дэрроу формально проиграл. Обвиняемый приговорен к столдолларовому штрафу. По обычаям штата Скоупсу предоставляется последнее слово после приговора: «Ваша

честь, я знаю, что был осужден за нарушение несправедливого закона. Я буду и в дальнейшем бороться против этого закона, как боролся и раньше, любыми способами. Другой образ действий противоречит моему идеалу академической свободы, который состоит в том, чтобы учить искать истину. Это право гарантировано нашей конституцией».

Нет, значит, дело не проиграно. Значит, не зря боролся старый адвокат. За одну эту фразу Дэрроу готов вновь начинать все сначала, говорить, и задавать вопросы, и волноваться, и задыхаться в этом пекле. Отвоеван миллиметр свободы. Нет, и штрафа платить не будем, будем протестовать.

Через год верховный суд штата Теннесси отменил приговор. Но в 1925 году такой же закон, как тот, по которому судили учителя Скоупса, был принят в штатах Миссисипи и Арканзас<sup>1</sup>.

От здания суда до особняка — миля. Утром Дэрроу и не заметил, как она пролетела. Весь был сосредоточен на предстоящем, почти бежал. А сейчас — дорога длиною с год. Его провожает корреспондент «Геральд трибюн». Интервью на ходу. Сколько их уже было?

— Господин Дэрроу, какие судебные процессы, какие ваши защитительные речи кажутся вам самыми значительными?

Чаще всего в таких случаях острит сразу на газетный курсив, чтобы назавтра все повторили. А сейчас почему-то острит не хочется.

Перелистывает память.

— В 1894 году я шел по окраине Чикаго. Я люблю этот город, а может, призыв, там начиналась моя настоящая работа. Был в это время юрисконсультном железнодорожной корпорации, спокойная должность, впервые мог не заботиться о деньгах — так с тех пор и не вернулось это блаженное состояние. Перехожу полотно и вижу — пожар. Железнодорожники жгут вагоны. Забастовка. Большая забастовка, вошла потом в историю. Горько было смотреть. Вагоны эти тоже ведь рабочими сделаны. Да и когда люди поджигают, они пьянеют, поддаются психозу. И быстро, пугающе быстро меняются.

А все-таки сомнений у меня не было,

<sup>1</sup> 42 года спустя, в мае 1967 года, законодательные органы штата Теннесси 20 голосами против 13 отменили этот закон. Еще весной 1967 года в соответствии с этим законом был уволен молодой учитель Скот («Нью-Йорк геральд трибюн», 22—23 апреля, 18 мая 1967 г.).

на чьей стороне правда. Они ведь не от хорошей жизни поджигать вагоны стали. Из корпорации, конечно, пришлось уйти, хотя и очень уговаривали меня остаться. Не мог же я служить и вашим и нашим, надо было выбирать.

Я согласился защищать дело профсоюза, а тогда членов профсоюза иначе как заговорщиками не называли. Познакомился с Юджином Дебсом — его я защищал, — потом мы очень подружились. Может быть, где-либо, когда-либо и жил человек лучше, мягче, благороднее Дебса, но я такого не встречал.

Было и так: сразу же после того, как Дэрроу защищал, ему пришлось предстать перед тем же судом в роли обвиняемого. Шел знаменитый процесс двух рабочих, братьев Мак-Намара в Лос-Анжелосе. Их обвиняли в том, что они заложили в здание динамит. Рабочих и профсоюз в газетах обливали грязью, адвоката обвинили в «оскорблении суда».

Тогда он получил телеграмму, подписанную неизвестным именем: Фредерик Гарденер. «Я слышал, что всю вашу жизнь вы посвятили защите бедняков, а теперь вы сами сидите на мели и предстоит второй процесс. Я дам вам необходимые для суда деньги. Пока перевожу чек на тысячу долларов».

Теперь он вспомнил и об этом.

— Одна телеграмма, один добрый голос, а сколько сил прибавляется!

— Что вы думаете о своей профессии? — спрашивает корреспондент.

— Если бы мне сейчас выбирать, я не стал бы защитником. Я стал бы ученым. Великое дело — наука. Если есть способности и трудолюбие, можно совершить такое открытие, что на века останется. И главное — наука меньше зависит от людского неразумия. Математика, физика, биология — точнее, непреложнее, чем юриспруденция. Слишком часто в нашем деле все выворачивается наизнанку.

Корреспондент поражен, даже опускает блокнот. Это говорит Дэрроу, знаменитый Дэрроу, не менее прославленный, чем любая кинозвезда, чем боксеры, чем мастера бейсбола.

— Помните двадцатый год? Проклятый год, позорный закон о шпионаже, «страх перед красными», пальмеровские рейды? Пальмер был генеральным прокурором, везде говорил, что утверждает законность,

а ни в чем не повинных людей бросали в тюрьмы, выслали из Штатов. Тогда же, в двадцатом году, судили коммунистов. Их обвиняли в том, что они готовили государственственный переворот. Глупая брехня. Я не разделяю их взглядов, я против всякого насилия. Но никогда нельзя отстаивать правду ложью и право беззаконием. И нельзя судить людей за то, что они думают по-иному, чем мы. Только изуверы-фанатики считают, что они одни владеют единственной и непреложной истиной, а инакомыслящих надо уничтожать. Неправда это. Никого нельзя уничтожать.

— А может быть, именно сегодня закончился самый значительный процесс вашей жизни?

Дэрроу улыбается.

— Вот уйду, наконец, на покой, — давно пора, буду писать воспоминания. Тогда выяснится, какой процесс был главным. Впрочем, ведь вы знаете, что такое «lost cause»?

— Дело, проигранное заранее.

— Вот такое дело может быть самым значительным. Проигрывают дела ведь тоже по-разному. Вот сегодня проиграли, а я не чувствую поражения. Правда, моих подзащитных еще ни разу не приговорили к смертной казни.

— А если бы приговорили?

— Я в тот же день ушел бы из адвокатуры.

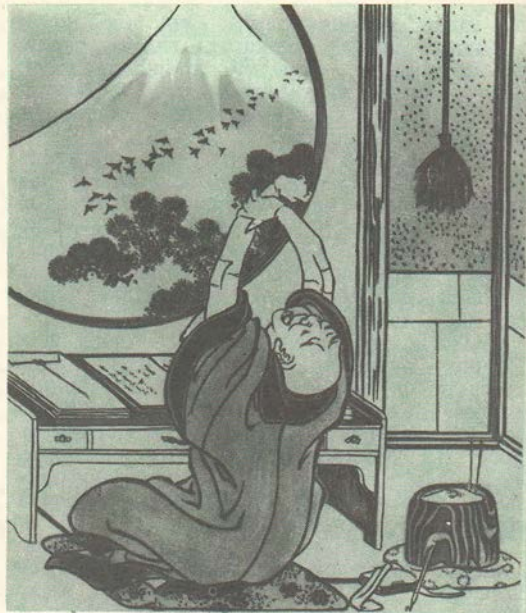
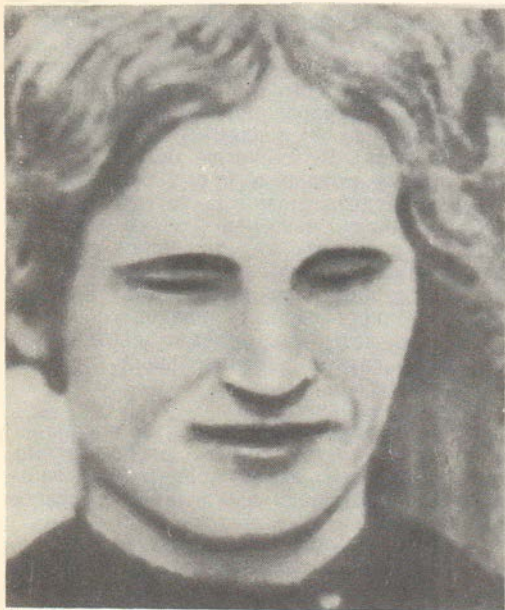
— А как же врач? Даже у самых замечательных врачей умирают больные.

— Это дело другое. Законы природы. А тут человек отнимает жизнь у другого человека. На это никто не имеет права. Вся жизнь боролся и буду бороться против этого.

У входа в особняк стоят несколько человек, явно приезжие, белые и негры. Они преградили путь Дэрроу, говорят наперебой, и сперва он мог разобрать только: «Пожалуйста, не отказывайтесь», «Очень просим вас не отказываться», «Конечно, дело, может, и заранее проигранное, но...»

Негритянская семья поселилась в Детройте, в квартале «Только для белых». Им объявили бойкот. Потом устроили погром. Негры оборонялись. В перестрелке убили одного белого. Дело и впрямь заранее проиграно.

А Дэрроу устал. Очень устал. Но они говорят: «Кроме вас, никто и не возьмется». И они правы.



А. Харьковский

## Японский поэт Василий Ерошенко

Василий Яковлевич Ерошенко родился 13 января 1890 года в селе Обуховка (ныне это в Белгородской области), недалеко от города Старый Оскол. Здесь в низкой бревенчатой избе он впервые и — увы — ненадолго увидел свет.

В четыре года он ослеп. Мальчик заболел корью, поп окропил его святой водой и отправил на мороз. Святого исцеления не получилось.

Из царства света он унес лицо матери, голубей в небе и церковь, где его ослепили.

Отныне мир он познавал на ощупь. Часами ходил он по лесу, запоминал, сколько шагов до тропки или ручья, занимался гимнастикой, выработывал «зрячую» походку. Прохожие окликали его, спрашивали дорогу. Деревенские сочувственно шептали сестре, что братик у нее темный. И Ва-

Я понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но не может осуществить свою мечту... Может быть, мечта эта — вуаль, скрывающая трагедию художника?!

Лу Синь,  
из предисловия  
к «Сказкам Ерошенко»

ильку виделась церковь, у которой он встанет однажды, протянув руку...

С радостью разрешил он увезти себя в Москву, в школу слепых. Здесь он выучился читать кончиками пальцев, но библиотека оказалась бедной. Он быстро зачитал ее вслух до последней книги. Но, закрыв последнюю страницу, он не прервал чтения, а продолжал, выдумывая. За год он сочинил десятки рассказов и, чтобы не путаться, «читая» их вновь, начал записывать.

Окончив школу, Василий поступил в оркестр слепых. Вне его был шум и чад ресторана, внутри — звучала музыка, кото-

<sup>1</sup> В. Ерошенко, Сердце орла. Белгородское книжное изд-во, 1962, стр. 177—178.

рую он усиливал скрипкой. Платили хорошо, но заказывали цыганщину.

Возвращаясь ночью, он старался не приглядываться к карману, где лежали «подаренные» ему рубли. Утром он отдаст их всегда голодному актеру, который будет читать ему Пушкина и Чехова, Андерсена и Шекспира.

Литература затягивала, он не мог уже не сочинять. Но в сказках для него не было красок и не светились слова, которые он занял из книг. До боли перебирал то, что видел в детстве: мама, голуби, церковь, небо. Мало.

Однажды он познакомился с женщиной. Она сказала, что ему нужно учиться. В России это невозможно, но вот в Англии есть колледж для слепых музыкантов.

Но как же он без языка проедет через Европу? И кто в Лондоне поможет ему попасть в столь знаменитый колледж?

Что ж, месяца через три он сам напишет в Англию. И в Германию и во Францию тоже. Нет, так быстро она не возьмется обучить его иностранным языкам, тем более что учебников для русских слепых еще нет. Но существует международный вспомогательный язык — эсперанто. И Анна Николаевна Шарапова рассказала Василию об основателе этого языка докторе Замengoфе и о первых конгрессах, где люди десятков стран обходятся без переводчиков, и о петербургском обществе «Эсперо», одним из членов которого был Лев Толстой.

Уже через два месяца Василий выучил этот самый легкий из языков и написал первые письма за рубеж. Все это время он не расстаётся с точечным англо-русским словарем, по которому изучает английский.

Первые ответы из Лондона, Парижа и Берлина: неизвестные люди готовы ему помочь.

Взяв в оркестре отпуск, Ерошенко отправился в свое первое путешествие. Ехал он в вагоне третьего класса, один, без провожатого.

Поездка в Лондон остается одной из неясных страниц биографии Ерошенко.

Кое-что проясняют публикации, найденные мной в журнале «Волна эсперанто» 1912—1914 годов, особенно статья самого Ерошенко.

Путешествие началось с неудачи: эсперантист, который должен был встретить его в Варшаве, к поезду опоздал.

«Я окружен людьми, говорящими на чужих языках... О чем это они? Как я одинок в этом непонятном мире! — пишет Ерошенко. — Что, брат, нервы шалят? Ну, ну, возьми себя в руки. Ты боишься, что и в

других местах тебя встретят, как в Варшаве»<sup>2</sup>.

«Никогда не боялся я трудностей дороги: имей немного денег, шевели мозгами — и ты не пропадешь»<sup>3</sup>. Пугало одиночество: к чему путешествовать, если ничего не видишь, а видеть он мог только глазами друзей.

В Берлин поезд приходил утром. «В эту промозглую февральскую рань можно было не прийти встречать даже лучшего друга. Чего же требовать от незнакомых людей»<sup>4</sup>. Потрогав на груди зеленую звездочку — знак, по которому узнают эсперантистов, — Василий грустно сказал: «Кому нужен свет твой ясным днем? Никому, только одному слепцу»<sup>5</sup>. И тут он услышал свое имя, приветы, радостные восклицания.

Много лет спустя он будет говорить: я видел Токио, вчера я осматривал Пекин. Но впервые слово «видел» он употребит, рассказывая о Берлине.

Здесь, в Берлине, для него началась «зеленая эстафета». Десятки незнакомых людей встречали его по пути, помогали осматривать места, пересаживались с поезда на поезд. В Англии его поселили в тихом районе столицы, помогли получить недорогой пансион, обучили английскому языку, рекомендовали в колледж для слепых музыкантов.

Разумеется, Ерошенко понимал, что его поездка для Всемирной эсперанто-ассоциации носила, как мы бы сейчас сказали, показательный характер. Но он встретил столько неподдельной людской доброты. Люди помогли ему, а он, казалось, обманул их надежды и, потратив три месяца на поступление в колледж, пробыл там меньше полугода.

Видно, не только учеба привлекла его в Лондон. Очень скоро ему стало ясно, что в 22 года стать выдающимся музыкантом уже поздно. А средним он быть не мог: за его путешествием следили слепые многих стран, для них он становился примером.

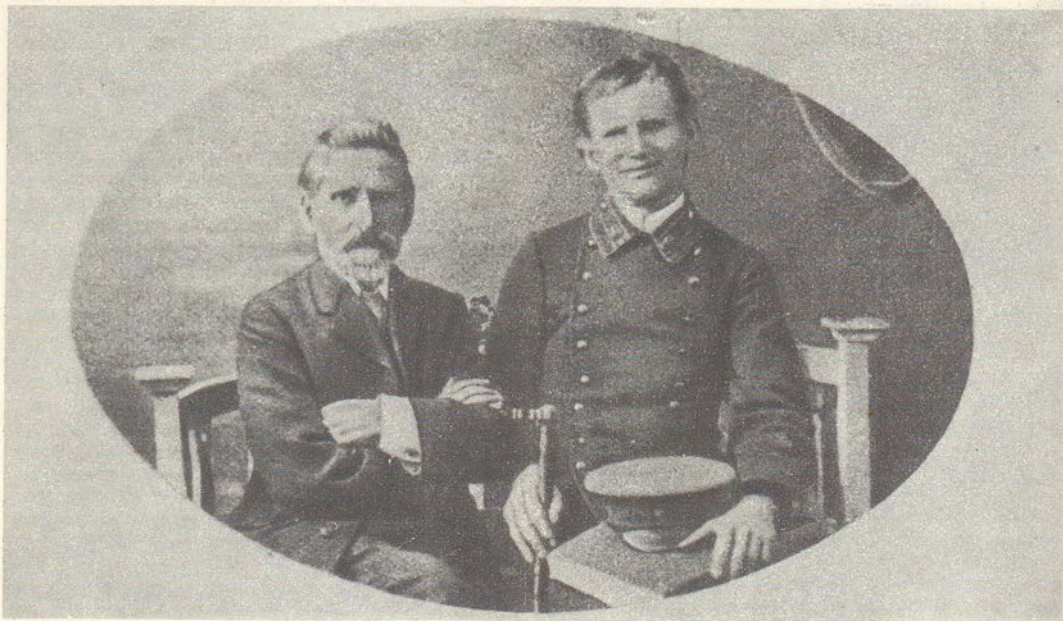
У Ерошенко было две родины: одна — где он родился и вырос, другая — всюду, где жили его братья по несчастью. Ночь роднила их, разноязычие разделяло. В Европе он впервые встретил слепых, с которыми он не мог даже обменяться словом.

<sup>2</sup> „La ondo de Esperanto“, Moskvo, 1912, № 1, стр. 7.

<sup>3</sup> Там же, стр. 8.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.



Объединить их, детей ночи, доказать, что каждый из них может расширить свой мир до масштабов планеты — но как? День их начинался с молитвы: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Страх голодной смерти преследовал незрячего с рождения. Слепой мог стать либо учителем, либо музыкантом, или — чаще всего — уличным нищим.

Из Лондона Ерошенко привез машинку, на которой слепые могли печатать «зрячим» шрифтом. Если наладить их производство в России, то к двум хлебным профессиям прибавится еще одна. А всего их должно быть почти столько же, сколько и у зрячих.

Слепой не должен чувствовать себя неполноценным, для этого ему следует учиться ходить, как Ерошенко, без провожатого. Однако эти навыки нужно прививать с детства, слепые должны воспитываться в труде, в окружении природы.

Но в России эти идеи были встречены в штыки. Школы слепых напоминали места заключения. Вся страна была большой тюрьмой. Ерошенко не надеялся на скорые изменения здесь. Его тянуло на Восток: быть может, там, в краю древних тайн, знают, как расцветить ночь, вернуть слепому ощущение полноценного человека.

И вот в майском номере «Волны эсперанто» за 1914 год появляется заметка:

«Слепой московский эсперантист г-н Ерошенко, который в прошлом году побывал в Англии, предпринял путешествие в Токио (Япония)»<sup>6-7</sup>.

У нас первая публикация о слепом поэте появилась только в 1958 году: В. Рогов, переводчик «Утиной комедии» Лу Синя, доказал, что ее герой не вымышленное лицо, а Василий Ерошенко. Над книгой о «фантастическом слепом» работал ныне покойный писатель И. В. Сергеев. Мне о Ерошенко рассказал член-корреспондент АН СССР С. В. Обручев.

В 1962 году в Белгороде, на родине поэта, вышел и русский сборник В. Ерошенко (правда, его произведения переводились не с оригиналов, а с китайских лусиневских переводов). О десяти годах, проведенных им на Востоке, мы знаем больше, чем об остальных 53, прожитых в России.

Лет пять назад я встретился с японским профессором Хидео Яги, который был знаком со слепым поэтом.

— Почему Ерошенко выбрал Японию, а не другую страну Востока? — спросил я.

— У нас в то время было больше эспе-

<sup>6-7</sup> „La onde Esperanto“. Moskvo, 1914, № 5, стр. 87.



рантистов, чем в Индии или Китае. С их помощью он смог быстро изучить японский. А язык наш знают во многих странах Азии и даже на островах, которые поэт мечтал посетить.

Сказать, что Ерошенко изучил японский, — значит не сказать ничего. Уже через полтора года он печатает на японском первые свои рассказы. Писатель Аката Удзюку, рецензируя пьесу Ерошенко «Облако персикового цвета», писал ее автору: «Исправить пришлось лишь несколько мест, написанных на старом японском языке. Все остальное вылилось из Ваших уст, как неослабеваемый творческий родник»<sup>8</sup>.

Всего пять лет, с 1916 по 1921 год, В. Ерошенко творил на японском языке. Однако у его произведений оказалась долгая судьба. Они появились в годы революционного подъема. Позже, во времена «борьбы с опасными мыслями», их уничтожали как крамолу. По мнению Хидео Яги, если бы сказки Ерошенко не оставались десятилетиями под запретом, то послевоенная японская литература началась бы с более высокой ступени.

Аката Удзюку писал, что Ерошенко своими произведениями пропагандировал русскую революцию. Однако пропаганда эта выражалась у него в аллегорической форме. Этути Киеси отмечал, что мир Ерошенко «не целиком реальный, это страна прекрас-

ного будущего, утопическая свободная земля, это поэтический, почти сказочный мир»<sup>9</sup>. В его «Стране мечты» есть гора Свободы, там светит солнце Истины и сияет луна Справедливости. В этой волшебной заснеженной стране читатель легко узнавал Россию, пробуждающуюся к новой жизни. Знаменательно, что Ерошенко, который написал совсем не много стихотворений, называли поэтом. Очевидно, потому, что через все его произведения проходит личность одного лирического героя, личность автора.

Великий принц из «Цветка справедливости» разрывает себе грудь, чтобы окропить увядающий цветок добра. В «Сердце орла» сын говорит отцу: «Отец, я думаю, что вековая мечта орлов о солнце — глупость. Бессмысленно надеяться, что птица может достичь солнца. Да если бы мы и долетели до него, это не принесло бы нам счастья. Сегодня я, как всегда, пытался подняться к солнцу... Почти без сознания упал я на землю... Наверное, около солнца очень холодно. Поэтому бесцельно стремиться к солнцу»<sup>10</sup>. И тогда отец убивает сына. Напрашивается параллель с романтическими героями Горького и Гоголя.

Лу Синь отмечает, что у Ерошенко «типично русская широкая душа». «Когда я закрыл его книгу («Песни утренней зари». — А. Х.), — пишет он, — то почувствовал благодарность человека к человеку, который, живя в нашем мире, не утратил непосредственного, чистого сердца»<sup>11</sup>. И далее: «Поэт был слеп, но не был глух». В «Тесной клетке» он заклеил варварский индийский обычай «сати», когда вдову сжигали на могиле покойного мужа, и выступил против рабской психологии окружающих ее.

Боевой гуманистический дух творчества Ерошенко, его вера в победу света и справедливости над силами тьмы, тонкая поэтичность его произведений обеспечили ему прочное место в японской литературе. Десятилетия спустя его сказки и пьесы много раз переиздавались в Японии и Китае. В 1958 году в Японии появился трехтомник произведений Ерошенко с большой статьей о нем профессора Такасуги Итиро. Вряд ли в него вошло все написанное поэ-

<sup>8</sup> В. Ерошенко, Сердце орла. Белгородское книжное изд-во, 1962, стр. 175.

<sup>9</sup> Там же, стр. 14.

<sup>10</sup> Там же, стр. 34.

<sup>11</sup> Там же, стр. 208.





том по-японски. Так, Евдоксия Никитина говорила мне, что у нее хранятся рукописи сказок В. Ерошенко...

Еще во времена, когда поэт жил в Токио, к нему пришла писательская слава. Лучшие художники рисуют его портреты. В Токийском университете он читает лекции по русской литературе.

Он учится в Токийской школе слепых, путешествует по стране, летом 1915 года он побывал на острове Хоккайдо. Здесь он овладевает народной медициной, в частности лечением иглоукальванием, изучает японскую гимнастику, приспособивая ее для обучения слепых. Друзья окружают его уважением и любовью. Кажется, о чем мечтать еще незрячему скитальцу?

Но вот журнал «Япана эсперантисто» рассказывает об отъезде поэта. В порту собралось около трехсот его друзей, человек на борту держит концы трехсот лент, протянутых с берега.

О трех годах его путешествий известно не много. Одни исследователи полагают, что он основал в Сиаме первую в стране школу слепых (и там ему сейчас даже стоит памятник). Другие утверждают, что сделать это не удалось и поэт уехал в Бирму.

Известно, что, узнав о Февральской революции, Ерошенко приехал в Индию, чтобы оттуда через Европу добраться до России.

В Калькутте он, как русский, живет на правах поднадзорного. К этому времени относится его диспут с Р. Тагором. В. Рогов в своей статье вспоминает, что Ерошенко «оспаривал основное утверждение Тагора о том, что западная цивилизация материальная, а культура Индии — чисто духовная»<sup>12</sup>.

Эта дерзость и без того подозрительного русского ускорила его высылку из Индии. Ерошенко посадили на корабль, идущий во Владивосток, как «агента большевиков». Встреча с белогвардейцами, которые тогда захватили Дальний Восток, ничего хорошего ему не сулила.

Капитан английского судна был не рад, что взял на борт этого то ли пленника, то ли пассажира. Слишком много писали о нем газеты. Вот первый порт Сингапур, а на корабль уже поднимаются корреспонденты. Капитану показалось странным, что один из них говорил со слепым то ли по-испански, то ли по-итальянски. Однако сверток, который тот передал Ерошенко, капитан не заметил, а в нем были: одежда кули, коса и желтая краска для кожи.

В Шанхае слепой исчез. Бежал. Это было невероятно. В те годы шанхайский

<sup>12</sup> В. Ерошенко, Сердце орла. Белгородское книжное изд-во, 1962, стр. 6.



порт был настоящим притоном бандитов, поэтому капитан отменил все увольнения на берег. Матросы смотрели, как кули вбегали по трапу на борт и, взвалив на плечи мешок, сбегали на пристань.

Газеты писали потом, что слепой сбежал с мешком на спине и с гитарой под халатом.

Больше года Ерошенко где-то путешествовал. Профессору Д. Л. Арманду он рассказывал, что побывал даже на островах Океании.

Вернувшись в Токио в июле 1919 года, Ерошенко выступает на собраниях социалистов, участвует в работе «Общества пробуждения народа» («Гёминкай»), а затем и в съезде Социалистической лиги. Хидео Яги вспоминал, как Ерошенко пел «Стеньку Разина» перед тысячной аудиторией и, видя дружеское возбуждение, закончил вечер исполнением «Интернационала», что чуть не привело к его аресту.

В 1921 году группа передовой интеллигенции объединилась в литературное общество «Сеятель», цель которого, как говорилось в декларации, защищать истину революции во имя жизни. Как полагает Такасути Итиро, Ерошенко вряд ли долго оставался вне этого движения. Это и послужило одной из причин для его высылки. Два года спустя, после участия Ерошенко в

съезде социалистов, был выписан ордер на его арест.

Друзья укрыли его в частном доме. По японским законам полиция вправе перейти порог дома только в том случае, если хозяину предъявляется обвинение. Жандармы не преступили закон, они взломали стену и набросились на слепого поэта.

— За что вы его бьете, ведь он же поэт!

— Вот и плохо, что поэт.

Ерошенко даже не позволили собрать вещи. Его избили и бросили в плавучую тюрьму «Ходзан-мару». На допросах ему раздирали веки, сомневаясь в его слепоте.

«Пробудился ли стыд в их низких душах, когда они убедились, что он действительно слеп? Если бы они были людьми, то покончили бы с собой от стыда»<sup>13</sup>, — писал Эгути Киеси. Гнев его был так силен, что даже в 1960 году, посетив Москву во главе группы ветеранов Компартии Японии, Киеси с болью вспоминал о том, как выслали Ерошенко.

Друзья тянулись к поэту из-за полицейских кордонов, но он этого не знал: в день отплытия на пристань их не пустили. Он не знал, как возмущался весь прогрессивный Восток. Лу Синь писал: «Мне хотелось,

<sup>13</sup> В. Ерошенко, Сердце орла. Белгородское книжное изд-во, 1962, стр. 16.

чтобы был услышан страдальческий крик гонимого, чтобы у моих соотечественников пробудились ярость и гнев против тех, кто попирает человеческое достоинство»<sup>14</sup>.

До Владивостока его сопровождал жан-дарм. «Когда-то, — пишет Ерошенко по пути домой, — Япония казалась мне чужой и далекой. Но после стольких лет, проведенных там, она стала для меня почти такой же близкой, как Россия... Я почувствовал такую страшную опустошенность, словно там, в этой скрывающейся вдали Японии, осталась моя душа»<sup>15</sup>.

И вот он ступил на русский берег. Белогвардеец в таможене спросил Ерошенко, не большевик ли он. «Нет, большевизм я пока только изучаю», — ответил поэт.

О взглядах Ерошенко можно узнать из его очерка «Прощай, Япония». На вопрос белого офицера, как за морем относятся к генералу Семенову, Ерошенко отвечает:

— Видите ли, большинство японцев считают Семенова доверчивым дураком, которого Япония использует в своих интересах.

А социалисту Чижинскому он говорит: — Они хотят, чтобы флаги генерала Семенова господствовали во всем мире. Но этого не будет. Новая Россия оставит эти флаги на их могилах, как суровое предостережение всем своим врагам. А вы должны сделать все, чтобы вернуть красные флаги.

О, как он спешил в Советскую Россию! Ни уговоры, ни угрозы — ничего не могло его удержать. Но его не впустили: слишком подозрительным показался слепой, ехавший из самой Японии. Незаживающей раной осталось это происшествие в сердце поэта.

По приглашению Лиги эсперантистов Китая Ерошенко едет в Шанхай.

Здесь он остро почувствовал, что значит быть человеком без родины. «Я был страшно одинок в этом большом и незнакомом городе, — пишет он в «Рассказах засохшего листа». — Шанхай казался мне пустынным островом, на который меня выбросили волны. Я не надеялся здесь ни построить новые корабли, ни обрести вторую родину»<sup>16</sup>.

Ерошенко помогли переехать в Пекин, стать профессором эсперанто в Пекинском университете. Здесь началась дружба поэта с Лу Синем (переводы из Ерошенко занимают в сочинениях Лу Синя целый том). Тогда же была написана «Утиная комедия».

Однако, как вспоминает Лу Синь, Ерошенко «тосковал по матушке России». Летом 1922 года он неожиданно уехал в Хельсинки, на XIV Международный эсперанто-конгресс. Лу Синь указывает, что в Финляндию поэт ехал через Читу. Однако до сих пор казалось странным, почему же он не остался в России.

Недавно мне удалось разыскать людей, с которыми он встречался в Москве по пути в Хельсинки. Рассказывают, что Ерошенко поражали перемены в России: страна еще не оправилась от голода, а больных, в том числе и незрячих, окружали заботой. Лечение было бесплатным, для слепых вводились пенсии. Не здесь ли рождалась та обетованная земля, которую поэт так и не нашел на Востоке?

Но Ерошенко был человеком слова: он должен был вернуться в Китай, завершить учебный год. А через год он уехал.

1923 год, Нюрнберг. Европейские друзья приветствуют поэта на XV Всемирном эсперанто-конгрессе. За поэму «Предсказание цыганки» его удостоили международной премии.

К этому времени В. Ерошенко сложился как самобытный эсперантский поэт. Литература на международном языке существовала всего 36 лет, однако она уже успела войти во второй период своего развития. Язык эсперанто родился вместе с оригинальной поэзией Л. Л. Заменгофа и А. Грабовски. Однако главным на первом этапе, продолжавшемся до первой мировой войны, был перевод классики с национальных языков.

В эсперантской литературе появилось две тенденции. Первую представлял крупнейший венгерский поэт-эсперантист Каломан Калочай, автор теоретического труда «Путеводитель по Парнасу». Видимо, эту работу имел в виду Драго Краль, отмечая, что лишь несколько произведений Ерошенко находятся на уровне поэзии Парнаса.

Однако русский поэт представлял вторую тенденцию в эсперантской литературе. В то время как целью Калочая было совершенствование самого языка, что нередко затрудняло восприятие его произведений, Ерошенко, продолжая традиции Замен-

<sup>14</sup> В. Ерошенко, Сердце орла. Белгородское книжное изд-во, 1962, стр. 18.

<sup>15</sup> Там же, стр. 142.

<sup>16</sup> V. Erosenko, „Rakonto de Velkinta Folio“, Japana esperanta libro Kooperativo, Osaka, 1953, стр. 5.

офа, создавал свои произведения на простом, доступном языке.

В эсперантской литературе, как и в японской, Ерошенко выступает с проповедью единствующего гуманизма. В этом он предшественник поэтов журнала «Попола фронт», которые писали на международном языке и боролись в интернациональных бригадах в Испании. Слово у поэта не разошлось с делом; в Нюрнберге эсперантисты приветствовали не только стихи, но и подвижническую жизнь В. Ерошенко.

Весть о присуждении ему международной премии достигает России, куда он возвращается навсегда...

О эти языковые барьеры! На родину Ерошенко возвращается не известным писателем (знают его только эсперантисты), не прославленным путешественником (рассказы об этом хранят восточные журналы), а одним из тысяч обыкновенных слепых.

В Японии и Китае продолжают выходить его книги, но о судьбе их автора там ничего не знают.

А на Родине? Даже З. Шамина, которая знала Ерошенко тридцать лет, не догадалась, кем он был для Востока. Профессор Е. Бокарев, встречаясь с ним на союзных эсперанто-конгрессах, поражался его эрудиции в вопросах литературы. Но не больше. А кое-кому казалось дерзостью, что какой-то Ерошенко, корректор типографии для незрячих, рассуждает о Рабиндранате Тагоре.

Старых друзей почти нет. Обрадовала встреча с той, кто собрала его в первую дорогу, Анной Николаевной Шараповой. Но вскоре она умерла.

Тоска для незрячего — непозволительная роскошь: она легко переходит в отчаяние. И он тосковал тайно, запершись в комнате. Пластинка шипела, говорила по-чуждски, и могло показаться, что за окном приглушенный шум токийских улиц.

Он искал Японию в Москве, и пришел в КУТВ — Коммунистический университет трудящихся Востока, где обучались также японские коммунисты. Здесь он преподавал переводил Ленина на японский. Сердцем привязался он к Сен Катаяме, основателю Компартии Японии, такому же инвалиду, как и он, нашедшему новую родину в СССР.

В праздник десятилетия Октября неожиданно встретил старого друга коммуниста Акита Удзюку. Тот принес невеселые вести: в Японии шла борьба с «опасными

мыслями», вместе с другими уничтожали и книги Ерошенко.

Дни шли похожие друг на друга — лекции, переводы. А ночью он исписывал странички, которые рвал к утру: на родном языке писалось трудно, возникали какие-то экзотические образы, которые и не выразишь на русском.

И снова он решает — нужна смена места, необычные, ни на что не похожие впечатления. Попасть на работу в колонию прокаженных не удалось, и он уезжает на Чукотку помогать слепым. В сумасшедшую вьюгу добирается до стойбищ один на собаках, узнает новый мир, а на бумагу он не ложится. Несколько статей помещает в русском журнале слепых, но сам понимает, как слабо они написаны.

Ерошенко продолжает тянуть на юг, он едет в Среднюю Азию. Ему предлагают создать и возглавить интернат для слепых детей в Кушке.

Из Японии и Китая все еще приходят письма: где Ерошенко, почему он молчит? Последний раз зарубежные друзья видели его в 1932 году на Парижском эсперанто-конгрессе, еще несколько лет имя его встречается в журналах на международном языке. Ерошенко, живя в Кушке, на границе, не склонен отвечать на письма. Так на Востоке теряют последние следы своего поэта.

Для Ерошенко интернат в Кушке становится главным делом жизни. Он сам выбрал для него место в горах, сам принимал детей. Даже комнаты у него, директора, отдельной не было, спал в общей палате. («А почему дети должны меня утомлять, — говорил он преподавателю З. И. Шамина, — ведь ночью они спят».) Учил их гимнастике, плаванию, «зрячей» походке и даже... туркменскому языку.

Скоро, однако, интернат был превращен в детдом обычного типа. Еще несколько лет он преподает в Ташкенте и Москве, а потом, мечтая заняться литературной работой, возвращается в родную Обуховку. Но поздно: он уже смертельно болен.

«Осенью 1952 года, — вспоминает З. И. Шамина, — он прислал свою последнюю фотографию. На ней Василий Яковлевич сидит в глубоком плетеном кресле, откинувшись на подушки. Ссохшиеся узловатые пальцы держат тетрадь из брайлевских листов, будто боятся выпустить то, что его еще связывает с жизнью. Лицо спокойное, но сосредоточенное: словно он прислушивается к звукам прошлого, будто вспоминает пройденный путь. Таким

он и сохранился в моей памяти: влюбленный в жизнь и спокойный перед лицом смерти»<sup>17</sup>.

Мы публикуем отрывок из книги В. Ерошенко «Рассказ засохшего листа». Поэт написал ее в дни одиночества в Харбине, где оказался после того, как был выслан из Японии и не смог попасть в Россию. Впервые книга была издана в Шанхае в 1923 году.

<sup>17</sup> В. Ерошенко, Сердце орла, Белгородское книжное изд-во, 1962, стр. 184—195.

В. Я. Ерошенко

## Странички из моей школьной жизни

### Иллюстрации

Стр. 76. Василий Ерошенко. 1922.

Хокусан. Рисунок из серии «Сто видов Фудзи».

Стр. 78. «Слепой русский эсперантист Вас. Ерошенко с англичанином У. Филлимом в Лондоне». Фото из журнала «Волна эсперанто», январь, 1913

Стр. 79. Обложка журнала «Волна эсперанто».

Стр. 80. Ерошенко играет... Снимок сделан во время пребывания в Японии.

Стр. 81. Китайская цветная гравюра.

Лу Сянь и Василий Ерошенко. Пекин, 1922.

Стр. 85. Ерошенко в Японии, до отъезда в Сиам.

Я слепой. Слеп четырех лет от роду. С мольбой, весь в слезах покинул я красочный мир солнца. К чему это, добру или злу, я еще не знал. Ночь моя продолжается и не кончится до последнего моего вздоха. Не думайте, что я проклиная ее. Нет, вовсе нет.

Известный слепой писатель мистер Хаукс писал в своем «Проклятии черной тропы»: «Солнце в небе подарило мне видимый мир со всеми его прелестями, а ночь раскрыла передо мной вселенную, бесчисленность звезд и бескрайность пространств, всеобщность и внутреннее очарование жизни. И если ясный день познакомил меня с миром людей, то ночь приобщила к миру божьему. Конечно, она принесла мне боль, вселила в душу робость. Но только ночью я услышал, что звезды поют, почувствовал себя частицей природы и познал то, что управляет всем сущим».

Так пишет человек, который в детстве потерял ногу, а в пятнадцать лет ослеп. Позже он прославился рассказами из жизни зверей и считается в Америке известным натуралистом.

Мог ли я мечтать о чем-то похожем для себя? Живи я, как он, в лесном доме, в окружении близких, и я, быть может, сумел бы написать о себе когда-нибудь то же самое. Но, тоскуя вдали от лесов и полей, я вынужден все время жить в духоте и шуме гигантских городов — Москвы, Лондона, Токио. Где уж сныозв их грохот пробиться тихому пению звезд и приобщить меня к таинствам природы! Здесь я увидел так много уродливого, что об этом нужно говорить особо. А сейчас мне хочется вспомнить школу и первые мои годы в большом городе.

Десяти лет я был послан из деревни в Москву, чтобы научиться чему-нибудь в школе для слепых. Это было учебное заведение, отгороженное от всего мира; нам не только запре-



щали самим выходить за ограду, но даже в каниклы не отпускали домой, к родителям. Круглые сутки мы были под надзором учителей.

Они учили нас, что Земля огромна и на ней еще хватит места для многих людей. Друг мой Лапин (мальчик одиннадцати лет) спросил:

— Если Земля так велика, то почему моему отцу не удастся приобрести на ней даже участок и он арендует землю у графа Орлова?

Учитель наказал его за глупый вопрос: в нашем классе разрешалось задавать только умные вопросы.

Спустя немного времени учитель спросил Лапина:

— Понял ли ты, что твой вопрос глупый?

Нет, Лапин ничего не понял. Только через полчаса он все осознал, и учитель разрешил ему сесть.

На перемене я спросил Лапина, в чем же все-таки глупость его вопроса. Друг мой пожал плечами.

— Но ты же сказал учителю, что все понял!

— Я понял, что самая большая глупость — стоять наказанным за какой бы то ни было вопрос.

Учителя объясняли нам, что человечество делится на расы — белую, желтую, красную и черную. Самая цивилизованная, говорили они, белая раса, самая отсталая — черная.

— Потому ли мы прогрессивнее и лучше других, что цвет нашей кожи белый? — спросил Лапин.

Тут вскочил другой ученик и поинтересовался:

— А как же летом, когда мы чернеем от солнца, становимся ли мы от этого менее цивилизованными?

Учитель вспыхнул: оба вопроса, сказал он, являются глупыми. Стоит ли добавлять, что и Лапин и тот, другой ученик долго стояли, пока им удалось это понять.

Рядом с нашей школой стоял дом известного купца господина Перлова, фирма которого ввозила из Китая в больших количествах чай. Однажды он пригласил к себе китайского военачальника и дипломата Ли Хунг-чанга, того самого, который подписал мир с Японией в Симоносеки. Господин Ли, узнав, что рядом находится школа слепых, решил непременно посетить ее. Помню, он пришел в старинном китайском одеянии, с женской косой на голове. Однако он был так добр, что разрешил нам ощупать и странную одежду и даже косу.

Зная, что китайцы относятся к желтой расе, я взял его руку и пробежал по ней кончиками пальцев, пытаюсь уловить разницу меж-

ду желтой и белой кожей. Потом я отошел и тихо спросил учителя, правда ли, что наш гость желтокожий. Учитель подтвердил.

— Но я не нашел разницы между рукой белого и желтого человека, — сказал я вполголоса.

Лапин же заявил на весь класс:

— Если господин Ли принадлежит к желтой расе, значит, он должен быть менее цивилизованным, чем любой из нас. Но мне кажется, что он по крайней мере культурнее нашего Михайлы (так звали школьного дворника, который всегда ругался и бил нас).

Переводчик, видимо, передал смысл этих слов господину Ли, но тот лишь добродушно улыбнулся. Однако, как только гость ушел, меня и Лапина наказали. Нам не давали есть до тех пор, пока мы не поймем, что были грубы и бестактны. Уже к концу дня мы всё поняли и были допущены к ужину.

По пути в столовую я тихо сказал Лапину, что ладони желтого господина показались мне более приятными, чем руки нашего директора. А Лапин ответил, что, по его мнению, Ли Хунг-чанг не только культурнее Михайлы, но и более цивилизованный, чем наши учителя.

Уже в столовой преподаватель заметил, что мы шепчемся.

— О чем это вы бормочете всю дорогу?

Мы с лапиным встали. Быстро солгать я не смог и, заикаясь, рассказал всю правду. Учителя прямо взорвало. Он поставил нас на колени и закричал, что на этих холодных плитах мы будем стоять, пока не осознаем всю чудовищность наших слов.

Был вечер, а мы не ели с утра; поэтому и Лапин и я скоро поняли все. Мы вспомнили то, что учителя рассказывали нам про китайцев, и решили взвалить это на плечи бедного Ли. Лапин и я заговорили, чередуясь:

— Конечно, господин Ли менее цивилизованный, чем наши белые учителя: он ходит в юбке, на голове у него нос — совсем как у женщины, а когда господин Ли был маленький, он надел тесные деревянные колодки, чтобы ноги его больше не росли...

— Но это же делают только китайки! — крикнул кто-то.

— Это неважно, — и глазом не моргнув, сказал Лапин. — Если бы Ли Хунг-чанг был девочкой, он все равно поступил бы так же.

Тут не выдержал кто-то из девочек:

— Ни одна девочка сама не наденет колодки, это ее родители заставляют!

— Если бы девочки сами были своими родителями, они все равно ходили бы в колодках, — невозмутимо отвечал Лапин.

Все рассмеялись, а мы продолжали ругать бедного господина Ли:

— Нас учат, что китайцы — это евреи Востока. Значит, и Ли Хунг-чанг просто восточный еврей. Он думает только о своей выгоде и больше всего на свете любит деньги. Он готов продать все...

Лапин передохнул и, сменив меня, продолжал:

— Иуда продал Христа за тридцать сребренников; восточный еврей Ли Хунг-чанг уступил бы его за тридцать медных грошей, конечно, если бы никто не дал больше.

Все опять рассмеялись, а мы, все больше одушевляясь, продолжали:

— Господин Ли с удовольствием наблюдает, как на площадях мучают и казнят людей; у него много жен, он любит только сыновей, а на дочерей не обращает внимания; если рождается сын, он затевает пир, если дочь — наदेкает траур. Он ездит на людях верхом и пьет чай без сахара. На завтрак он съедает щелудивого кота, на обед ест вонючее собачье мясо и с червями, а на ужин — крысу, политую медом. Поймав вшу, он кладет ее на зуб и давит.

— Довольно, хватит! — закричали учителя и побросали на стол ложки. Один даже брызнулся в угол: его начало тошнить.

Мы были прощены. Дети смотрели на нас с восторгом, а меня душили слезы. Они смеялись по щекам, капали в суп. И я и Лапин не могли есть.

— Мы же вас простили, что же вы плачете, глупые? — спрашивали учителя.

Мы молчали.

Видя, что мы так и не притронулись к ужину, один из преподавателей спросил:

— Что же все-таки случилось, почему вы плачете и отказываетесь есть?

Лапин тихо ответил:

— Мы сами наказали себя: оставили без ужина. Мы были так несправедливы к бедному Ли.

Учитель промолчал.

А во сне ко мне явился Ли Хунг-чанг. Он был все в той же странной одежде и с длинной женской косой. Я положил лицо в его прохладные желтые ладони, которые были так невыразимо приятны на ощупь.

Нас учили, что в каждой стране есть свой правитель и что государство без него не может существовать, все равно что наша школа без дежурного преподавателя. Мы заулыбались: ведь школа нравилась нам больше всего, когда дежурный учитель был болен и мы могли делать то, что нам хочется. В какие интересные игры мы тогда играли, сколько веселого рассказывали перед сном!

Заметив, что весь класс посмеивается чему-то, учитель вышел из себя:

— Я не сказал ничего смешного. Почему вы смеетесь? А знаете ли вы, что смех без причины — признак дурачины?

Мы затихли, перестали улыбаться. Урок продолжался.

— Россией правит император в золотой короне и дорогим одеянии; он восседает на троне со скипетром в руке...

Лапин прервал рассказ:

— Ну, а если бы император оказался на улице без скипетра и короны, в обычной одежде, могли бы люди узнать, что перед ними император?

Вопрос был признан глупым, Лапин остался стоять. Однако он запротестовал:

— Но, господин учитель, мы же не можем видеть ни корону, ни царскую одежду, как же мы при встрече узнаем императора?

Этот вопрос был оценен как очень глупый: Лапин был поставлен на колени.

Учитель продолжал:

— Кроме императора, мы должны еще почитать дворянство и подчиняться его представителям, потому что они — высшее сословие, а мы сами — низшее.

Лапин томился на коленях, казалось, больше некому было задавать глупые вопросы. Но вдруг поднялась девчонка:

— Лангоф родился в семье барона. Должны ли мы ему подчиняться, хотя он учится с нами в классе?

Вопрос был признан глупым — девочка осталась стоять.

Учитель продолжал:

— Так же как в школе есть плохие мальчики, вроде Лапина, которые мешают всем и досаждают учителям своими глупостями, так и в государстве находятся негодники, мешающие правителям делать свое дело. Таких людей мы называем социалистами и анархистами. Мы должны их опасаться и презирать.

Но мы никогда не боялись Лапина. Наоборот, никого в школе дети не любили так сильно, как его. Что ж, если эти «негодяи» такие же плохие, значит, нам незачем их опасаться.

Вскоре после этого урока нашу школу решил посетить дядя самого императора Николая II, великий князь Сергей Александрович, тогдашний генерал-губернатор Москвы<sup>1</sup>. К визиту столь высокопоставленного лица нас начали готовить еще за неделю. Школу приводили в порядок, полицейские и солдаты сновали по классам и по двору, осматривали даже близлежащие улицы. Опасались, что анархисты во время визита совершат на князя покушение. (Он все-таки был убит бомбой какого-

то анархиста, но случилось это уже два-три года спустя.)

В объявленный день все было готово, мы ожидали лишь звонка, чтобы собраться в актовом зале. Но он прозвенел минут за пятнадцать-двадцать до назначенного часа. Думая, что наш коридорный проявил излишнее рвение, мы не очень спешили и вышли из спальни минут через десять после звонка.

По дороге меня задержал какой-то человек и спросил:

— Куда ты идешь?

Я ответил:

— Иду в зал на встречу с дядей императора.

Он вновь спросил:

— Вкусно ли ты сегодня пообедал?

— Ну, а если нет? Разве вы дадите мне другой, более вкусный обед?

— Что ж, это вполне возможно, — ответил незнакомец.

— Тогда вам придется каждый день кормить меня обедом. И ужином тоже, потому что ужины здесь такие же невкусные, как и обеды.

Незнакомец рассмеялся:

— Может ли тебе нравиться то, чего ты не видишь?

— Разумеется. Я не вижу своих друзей, но очень их люблю.

— Ну, а я нравлюсь тебе?

— Как вы можете мне нравиться, если я вас совсем не знаю? Однако великий князь вот-вот придет, и у меня нет ни времени, ни желания разговаривать тут с вами.

Сказав это, я пошел в зал. Потом я узнал, что во время этого разговора учителя бледнели и краснели, не находя себе места: со мной разговаривал сам великий князь, который жестом приказал, чтобы никто не вмешивался в нашу беседу.

После отъезда высокого гостя меня заперли в отдельной комнате, а учителя собрались решать мою судьбу. Я был почти уверен, что меня исключат.

— Как ты осмелился разговаривать так глупо с дядей императора? — строго спросил учитель.

— Я же не знал, что этот человек — сам великий князь.

— Но почему? Допустим, ты не мог видеть его роскошный военный мундир и бриллиантовый орден, которого нет ни у кого другого в России. Но ты должен был почувствовать

---

<sup>1</sup> Россия поделена на губернии, во главе каждой стоит губернатор. Москвой и Петербургом правят генерал-губернаторы (власть которых распространяется как на штатских, так и на военных). (Примечание В. Ерошенко.)



изысканность его манер, услышать, что рядом стоят его телохранители-черкесы, офицеры и адъютанты. Ты не видел этого всего, но услышать и понять ты, безусловно, мог.

— Но я и вправду не догадывался ни о чем. Мне казалось, что я разговариваю с кем-нибудь из полицейских, которые ходят по школе и ведут себя так грубо.

Впрочем, учителя все же простили меня, может быть, оттого, что я сразу же признал свою вину. А Лапин сказал, что, если бы князь был даже в короне и со скипетром в руке, если бы его сопровождала вся гвардия Петербурга, он бы все равно не поверил, что этот человек — великий князь, а просто бесцеремонный и грубый солдат.

Как я уже говорил, школа наша была изолирована от всего мира. Однако раз в две недели учителя с помощью слуг вели нас в общественную баню, которую в этот день специально снимали для нас.

Однажды по пути туда мы с Лапиным отстали от класса, а так как и слуги и учителя смотрели вперед, этого никто не заметил. Мы с другом не спеша прогуливались по улице, когда нас остановил чей-то голос:

— Милые дети, скажите, куда это вас ведут?

Мы по привычке сняли картузы и, приветствуя незнакомца, вежливо отвечали:

— Учителя, сударь, ведут нас в баню.

— А для чего? — неизвестный как-то загадочно рассмеялся. — Зачем они заставляют вас туда идти?

— Наверное, для того, чтобы мы могли отмыться. Учителя говорят, что за две недели наши тела покрываются грязью.

— А сколько, по их мнению, нужно времени, чтобы запачкать душу?

— Нам еще не говорили.

— А знаете ли вы, что подчас одной минуты хватит, чтобы загрязнить человека? — сказав это, он вновь рассмеялся.

— Вы правы, сударь, нам приходится в слякоть выходить из дома в сад. В это время испачкаться очень легко, потому что, куда ни пойдешь, всюду мусор и грязь. А учителя не ведут нас сразу в баню, а только ругают.

Услышав это, незнакомец подтвердил:

— Да, всюду сейчас слякоть и грязь. И нет такой бани, где можно от нее отмыться. А пастиры изрыгают хулу на нас и угрожают геенной огненной!

Мы недоумевали: о чем это он говорит? Был конец августа, и уже две-три недели все дни палило солнце.

Около нас собралась толпа. Видя недоумение на наших лицах и открытые от удивления рты, люди начали смеяться. В это время к нам под-

бежали учитель и двое слуг. Отхлестав нас по щечкам, он закричал:

— Сколько раз вам наказывать: не смейте разговаривать с нищими! А вы еще болгаете с ними при всех, прямо на улице. Ну что вы сняли шапки перед этим грязным бездельником? О неисправимые безглазые черти! Ничего, я вас накажу, я вас так накажу!.. — Учитель кричал, а слуги толкали нас, чтобы мы нагнали остальных.

В бане учитель вывел нас в отдельную комнату. Он взял розгу и сказал, что сейчас он нас высечет, потому что мы опозорили школу.

— Что скажет публики, если газеты напечатают: ученики школы благородных слепых разговаривают с уличными побирушками? Что будет думать про ее учителей? А этот нищий, это было самое отвратительное существо, которое мне когда-либо приходилось видеть: какие-то грязные когти на руках, весь прикрыт вонючим тряпьем. А эта ужасная борода с длинными слипшимися волосами; к тому же весь он, от гнойных болячек на голове до кровоточащих ног, покрыт слоем копошащихся блох...

Розга зло присвистнула и врезалась в мое голое тело. Второй удар пришелся по Лапину, третий опять по мне. Я стиснул зубы и дал себе слово, что от меня не услышат ни стоны, ни крика. Лапин завопил уже после второго удара:

— Но, господин учитель, я же не мог знать, что говорю с нищим!

— А кто же, ты думал, перед тобой?

— Я думал, что это был какой-то князь, — упавшим голосом закончил Лапин.

А я добавил:

— С бриллиантовым орденом на груди, которого нет ни у кого другого в России.

Из горла учителя вырвался странный крик: недоумение в нем смешалось с ужасом. Он выронил розгу. Я думаю, что он в первый и последний раз увидел на миг царство ночи и самого князя тьмы, с ног до головы покрытого кишачными насекомыми, с особым орденом на груди, какого нет ни у кого другого в России.

Мы вернулись из бани и ждали, что нас здорово накажут. Но учителя решили, что лучше обо всем промолчать. Наверное, они боялись доложить директору: если бы он узнал, что по халатности преподавателей ученики разговаривают с нищими, то учителям попало бы в первую очередь. Так и на этот раз нам все сошло с рук.

Заканчивая эти наброски, я должен сказать, что ночь научила меня сомневаться всюду и во всем и не верить ни учителям, ни самым

большим авторитетам. Мое кредо: все подвергай сомнению. Я не верю, что бог милостив и добр, а дьявол, наоборот, зол и коварен. Я не верю правительству, а также обществу, которое ему доверяет.

Других слепых ночь научила все принимать на веру и ни во что не вмешиваться. Большинство моих товарищей, поверивших всему, чему научили их учителя, доверяют теперь каждому слову авторитетов и ни в чем не сомневаются. Они заняли хорошее положение

в обществе, стали музыкантами или учителями, живут в комфорте, окруженные заботами и любовью близких.

А я так и не достиг ничего; сомневаясь во всем, я, как перекасти-поле, скитаюсь из страны в страну. И — кто знает — не встретите ли вы меня однажды черным днем где-нибудь на углу шумной улицы и я, как тот нищий князь тьмы, протяну к вам руку?

Перевод с эсперанто А. Харьновского

В. Милютин

## Силы неисчислимы



А. Н. Сабуров

Мы просматриваем верстку его новой книги. Александр Николаевич листает страницы, то и дело подолгу задумываясь над отдельными строчками.

— Подожди, еще раз проверим. Тут мне товарищи подробно пишут об этом случае.

Он роется в груди писем. Их много, они заполнили весь широкий стол. Смотрю на обратные адреса: Киев, Харьков, Брянск, Лоев, Ровно, Сюземка...

— Не забывают друзья, — улыбается Александр Николаевич. — Смотри, и фотографии прислали.

На снимке бравый молодец в кубанке и ладной гимнастерке склонился над картой, расстеленной на коленях. Позади высятся стволы берез. Перевожу взгляд с фотографии на своего собеседника. Годы сказались. Побелели волосы, черты лица уже не столь резкие. Но Сабуров остался Сабуровым. Энергичен и решителен взгляд, и улыбка та же — добродушная и задумчивая.

— Да не эту, — отбирает он у меня

карточку. — Гляди вот. Видишь, какие орлы!

Влюбленными глазами генерал вливается в пожелтевшие фотографии.

— Это наш комиссар. Ох, человек у него и фамилия подходящая — Богатырь! А это Рева... А вот Смирнов, помнишь, молодой взводный, о котором я писал. Он потом у нас командиром батальона был. В Польше воевал.

Он называет все новые имена. И о каждом находит теплое слово. Так отец гордится сыновьями. А их у Сабурова тысячи...

— Хочется, чтобы народ знал о каждом. Вот и пишу. Вернее, пишем. Сообща — все, кто выжил...

И он снова тянется к вороху писем. Крепкие, чуть-чуть грубоватые руки бережно развертывают листы, исписанные разными почерками. Хмурятся поседевшие брови. Понимаю: когда держишь такие письма, вспоминается многое...

...От батальона осталось шесть человек. Чудом удалось вырваться из кольца. Фронт

откатился далеко на восток. Смертельно усталые люди бредут по незнакомому лесу. Изредка выходят к деревьям. Но там ни души. Дым пожарищ. На пожухлой от жара траве — неподвижные тела детей, женщин и стариков. Здесь прошли каратели. Эсэсовцы верны приказу фюрера и не щадят никого.

В одной полусожженной деревушке встретили нескольких жителей. Заплаканные колхозницы объяснили: спаслись, убежав в лес. Кто остался — всех порешили изверги.

Сердобольные крестьянки накормили бойцов. Одна все уговаривала:

— Переоделись бы. А то нарветесь на гитлеряк, прикончат разом.

— Никак нельзя! — мотает головой Василий Волчков. — Какие же мы будем солдаты без формы!

— Неужто еще воевать собираетесь? — спросил пожилой колхозник.

— Собираемся, — ответил за всех Сабуров. Батальонный комиссар и сейчас для измученных людей оставался старшим. Заставил проверить и привести в порядок оружие. Прежде чем отдать команду на отдых, назначил часовых — они будут меняться через каждые два часа.

— Безнадежное дело, — вздохнул старик. — Против фашистской силы вы что комар против бугая — хвостом махнет тот бугай, и комар даже конца своего не учует. В гражданскую легче было: тогда и кол от плетня в дело шел, а сейчас танки, самолеты, пушки, пулеметы, пехоты тьма — и где только хоронились они в той Германии.

— И все же будем драться, отец!

К шестерке Сабурова присоединились еще трое — такие же чудом спасшиеся окруженцы. Попытались они пробиться к своим. Убедились — невозможно.

Стало их девять — четыре бойца и пять командиров. 19 октября 1941 года в глухом селе Подлесное состоялось партийное собрание. Шесть коммунистов присутствовало на нем. Приняли решение — с этого дня считать себя партизанами. Командир отряда — Сабуров. Комиссар — Захар Антонович Богатырь, старший политрук, в недавнем прошлом председатель райисполкома. Секретарем партийной организации избрали украинца Павла Федоровича Реву, офицера из запаса, бывшего инженера МТС. Ближайшие задачи: развернуть работу среди населения, привлекать в отряд новых людей и немедленно приступать к боевым действиям.

7 ноября, в честь Октябрьского празд-

ника, отряд осуществил свою первую боевую операцию — засаду на большаке. Взвод фашистских солдат маршировал с беспечностью победителей. Подпустив их поближе, партизаны открыли огонь. Нинто из гитлеровцев не уцелел.

Партизаны радовались первой удаче. Осторожно выспрашивали у окрестных крестьян, что они слышали о бое на большаке. Оказывается, ничего! Два бойца сходили на место схватки. Никаких следов! Гитлеровцы убрали трупы, спрятали в зарослях обломки повозок. Чисто, будто ничего здесь и не было.

Нет, от таких операций мало проку. Надо сделать что-то такое, о чем вся округа услышала бы.

Красноармеец Василий Волчков и местная учительница комсомолка Мария Кенина отправились в разведку на станцию Зерново. Станция стоит на железной дороге Киев — Москва, через нее то и дело проходят поезда к фронту. Здесь склады боеприпасов и топлива. Станцию охраняет солидный гарнизон. По соседству расположены два эсэсовских полка и штаб немецкой дивизии.

Волчков и Кенина выяснили все — и где размещаются гитлеровцы, как и когда меняются караулы, откуда незаметнее подойти к станции. Выслушав разведчиков, Сабуров всю ночь просидел над схемой, которую они вычертили. Было отчего задуматься. Сил мало, страшно мало...

Но он хорошо знал своих людей. Тогда, под Киевом, они дрались до конца. Раненые не переставали стрелять, пока руки держали оружие. Тысяча двести человек было в батальоне. И не нашлось ни одного, кто дрогнул бы. Таких сломить невозможно. Они и умирали непобежденными.

Да, их теперь всего горстка. Но не всегда и не везде побеждает численное превосходство. Пламень сердца, вера в правоту своего дела — вот их сила. Важно это духовное могущество помножить на умение: люди они военные, обстрелянные.

Тщательно разработан план. Девять человек распределены на четыре ударные группы. Первая — Сабуров, Богатырь и лейтенант Федоров — штурмует караульное помещение. Вторая — Рева и Бородавко — нацеливается на бензохранилище. Третья — Пашкевич и Яцьков — на склад боеприпасов. Четвертая — сержант Ларионов и Василий Волчков (на обоих один пистолет) — прикрывает тыл на случай немедленного отхода.

Глухой ночью подкрались к станции. Бесшумно сняты часовые. Трое партизан

кинулись к казарме. В дверь и окна — связки гранат. (Из тридцати вражеских солдат ни один не выполз.) Запыхали цистерны с бензином. Дернулась земля — склад со снарядами взлетел на воздух. Гигантский — до самых облаков — огненный смерч всполошил немцев в соседних гарнизонах, с перепугу они ударили по станции из орудий и минометов. Но стреляли очень плохо, снаряды падали где попало. На действенность этого обстрела не приходилось полагаться, и партизанам пришлось самим доводить все до конца. Разрушили станционное хозяйство, а заодно заминировали ближний мост.

На этот раз грохот боя разнесся далеко вокруг. Молва о случае в Зерново передавалась из уст в уста, расцвечивалась все новыми подробностями, подчас вовсе невероятными. Утверждали уже, что на станцию напал многочисленный советский десант, что потери фашистов исчисляются сотнями...

Никто не поверил бы, что все это сделали девять смельчаков.

— Да мы и не пытались никого убеждать в этом, — смеется Сабуров. — Важно, что народ понял: есть сила, которая способна крушить гитлеровцев!

И люди потянулись к этой силе. Просили об одном: дайте оружие! Но где взять его? Выручил Григорий Иванович Кривенков — мудрый и хозяйственный старик. Оказывается, еще осенью он собирал оружие на недавних полях сражений. В его тайниках оказались сотни винтовок, десятки пулеметов, даже пушки и минометы.

Отряд рос не по дням, а по часам. И оказалось, что сабуровцы не одни. В дебрях Брянского леса крепили и другие отряды. Их создавали, ими руководили подпольные райкомы партии.

По тайным тропкам пробирались к дорогам партизанские подрывники. Не было взрывчатки. И партизаны тащили за спиной тяжелые артиллерийские снаряды, чтобы подкладывать их под рельсы.

Фашисты усиливали охрану дорог. Располагали засады на пути партизан. И не один чудесный хлопец погиб от пули или от пыток в застенках гестапо.

И тогда был придуман своеобразный прием, который сабуровцы назвали «партизанской приманкой».

Несколько бойцов появлялись в селе, открыто ходили от избы к избе. Немецкая агентура немедленно сообщала об этом своему коменданту. Тот посылал взвод голворезов, чтобы схватить опрометчивых ребят. Эсэсовцы устремлялись к селу. Откуда было им знать, что в сараях на краю



3. А. Богатырь.

села их уже поджидают сабуровские хлопцы. Два-три пулемета скашивали взвод. Нескольким солдатам сабуровцы давали возможность убежать. Ошарашенные вояки докладывали коменданту о случившемся. Разъяренный комендант посылал уже целую роту. Она оцепляла село и начинала сжимать кольцо. И в это время открывали огонь уже десятки пулеметов, укрытых и в селе и в скирдах сена, оставшихся у карателей за спиной.

Так было на хуторе Хлебороб. Так было во многих других местах. Эффект разительный: не только полицай, но и крупные подразделения эсэсовцев теперь не всегда осмеливались нападать даже на маленькие группы партизан.

Вражеские эшелоны летели под откос. Некоторые командиры отрядов, удовлетворенные удачами своих диверсионных групп, хотели этим и ограничиться. Но Сабуров и его боевые друзья неутомимо расширяли размах операций. В конце ноября они совершили налет на районный центр Суземку, разгромили вражеский гарнизон и



П. Ф. Рева.



Разведчица Мария Кенина.

пленили всю находившуюся здесь немецкую администрацию.

А вскоре новый удар — по районному центру Локоть, где обосновался штаб пресловутой «национал-социалистской партии всея Руси» — фашистской организации, которую при поддержке гитлеровцев пытались создать белогвардейские эмигранты. Осиное гнездо было разнесено в прах. На этот раз в операции приняли участие четыре партизанских отряда, договорившиеся о совместных действиях.

Поучителен был бой за Трубчевск. Когда партизаны подошли к городу, разведчики донесли, что враг знает о готовящемся нападении и готовится к отпору. Гитлеровцы сидят в дзотах и окопах, все дороги, ведущие к городу, держат под обстрелом, а по целине не подойти — снег по пояс и местность открытая.

Отказываться от налета? Нельзя. В последние дни гестапо провело в городе облавы, арестовало многих подпольщиков, если их не спасти, товарищи погибнут.

Сабуров снова прибегает к хитрости.

Переносит срок атаки. Всю ночь гитлеровцы мерзли в дзотах и траншеях. На рассвете, решив, что партизаны отказались от своего замысла, начальство приказало солдатам и полицаям вернуться в казармы. Тогда-то Сабуров и нанес удар. Вперед ринулась группа Кошелева, которого бойцы уважительно величали Чапаевым за удивительное внешнее сходство с легендарным комдивом, храбрость и лихость, к тому же и звали его Василием Ивановичем. Настегивая лошадей, кошелевцы проскочили через весь город и оседлали дорогу с запада. Остальные партизаны захватили здание полиции, тюрьму, завязали бой у комендатуры. Вражеский гарнизон был почти полностью уничтожен.

Удары по крупным административным центрам привели к очень важным последствиям. Напуганные немецкие коменданты теперь больше всего думали об обороне своих городов, всемерно усиливали их гарнизоны. А так как новых войск им не присылали, они были вынуждены вывести солдат из многих мелких населенных пунктов.

Эти села немедленно занимали партизаны. Так образовался обширный партизанский край. Власть здесь теперь принадлежала вышедшим из подполья райисполномам, которые твердой рукой восстанавливали советские порядки. После черных дней народ вздохнул свободно и стал еще активнее помогать партизанам, в которых видел своих спасителей, свою защиту.

Слава о Малой Советской земле разнеслась за сотни километров. Пусть это был сравнительно небольшой островок, окруженный со всех сторон врагами, но это была частица Советской Родины. И люди тянулись к ней, как на свет костра в темную тревожную ночь. Они шли через чащи и топи, несли сюда свое горе и надежды, свою готовность насмерть биться с ненавистным врагом.

Столицей партизанского края стало затерявшееся в лесу село Красная Слобода. Здесь кипела деятельная и напряженная жизнь. К кузницам непрерывно подъезжали подводы с оружием, собранным в районах минувших боев. Партизанские умельцы восстанавливали поврежденные винтовки и пулеметы. Здесь же изготовлялись самодельные мины, которые начинались толком, выплавленным из снарядов. С рассвета до темна над избами дымили трубы — хозяйки пекли хлеб на сотни, а потом и тысячи человек. В здании школы расположился партизанский госпиталь.

Гордость Красной Слободы — типография. Сначала ее оборудование было самым примитивным. На набор вручную наносилась краска, накладывался лист бумаги, сверху его прокатывали обернутой в холст снарядной гильзой. Некачественно получались листовки, но с какой жадностью их читали жители окрестных сел и городов! Партизанские листовки несли людям правду о героической борьбе советского народа, о положении на фронтах и на заветной Большой земле, напрягавшей все силы для разгрома врага, разоблачали измышления геббельсовской пропаганды. С течением времени типография богатели, совершенствовались. Появились настоящие печатные станки и машины. Листовки стали печататься большими тиражами. А потом начала выходить и своя партизанская газета.

Во дворе штаба день и ночь пылали костры. Вокруг них толпились мужчины и женщины, старые и молодые — те, кто горел желанием «записаться в партизаны». Здесь были бойцы и командиры, по разным причинам, чаще всего из-за ранения, отставшие от своих частей во время отступления наших войск. Их приютили,

вылечили колхозники. И теперь, подчас еще не совсем оправившиеся от ран, они снова рвались в бой. Были здесь и вчерашние узники фашистских лагерей, вырвавшиеся на свободу. Осаждали партизанский штаб рабочие и колхозники из ближних и дальних районов. Каждого надо было проверить, подыскать дело по плечу, необученных — обучить.

Дорогу в Красную Слободу узнали тысячи людей. Но о ней знали и враги. Не раз с помощью предателей по тайным тропам в эту деревню пытались проникнуть каратели, но получали достойный отпор. Партизанам приходилось быть в постоянной готовности к бою. В каждом селе создавались группы самообороны. Неусыпную вахту несли сторожевые посты на границах партизанского края. За околицей Красной Слободы занимались новобранцы. Учились ходить в строю, бесшумно и скрытно передвигаться по лесу, окапываться, стрелять. В партизанском крае действовала школа подрывников — готовила кадры для диверсионных групп.

Сама жизнь потребовала объединения отрядов. Такое решение приняла партизанская конференция, в которой приняли участие руководители советских и партийных организаций районов, партизанские командиры и политработники. Командиром объединения был назначен Сабуров, комиссаром — Богатырь, начальником штаба — капитан Бородачев. Теперь партизанам стали по плечу операции еще большего масштаба. Разведка, подрывные действия на железных дорогах и других важных для врага объектах, нападения на фашистские гарнизоны стали осуществляться по единому плану.

Объединение Сабурова установило тесный контакт с соединением украинских партизан под командованием Сидора Артемьевича Ковпака, с брянскими партизанами, со многими окрестными подпольными обкомами и райкомами партии. Партизаны оборудовали аэродром, на котором принимали самолеты с Большой земли. Радио связывало штаб Сабурова с Москвой и Украинским штабом партизанского движения.

Отряды росли и множились. Скоро им стало уже тесно в Брянских лесах. Все чаще и чаще Сабуров и его боевые друзья задумывались о выходе на оперативный простор. Украина! Вот бы туда... Создать там новый партизанский край, помочь украинским товарищам еще шире развернуть борьбу против оккупантов.

По этому поводу было много споров. Местное руководство настойчиво отговари-



Партизанские командиры.

вало Сабурова. Разве можно уводить отряды в далекий рейд, когда на Брянщине обстановка становится все тревожнее. Чтобы покончить с партизанами, гитлеровское командование направило сюда две новые дивизии с фронта.

И все-таки мысль о прорыве на Украину не давала покоя. С ротой партизан Сабуров выехал на рекогносцировку. На заснеженном холме увидели щит. Аршинными буквами выведено на нем: «Кто посмеет нарушить границу, будет убит». Невероятно читать такое на рубеже двух братских республик. Но угроза эта — не пустые слова. По обе стороны от границы лежат в снегу безжизненные тела тех, кто пытался нарушить приказ.

Сабуров отдает команду:

— Надеть белые повязки!

Под видом полицейских чиновников и их свиты партизаны въехали в село Гаврилова Слобода. На заборах расклеены плакаты: «Все, кто укроет бандита-партизана, будет приговорен к смертной казни». И тут же обещание: «Кто своевременно проин-

формирует комендатуру о появлении бандитов, будет вознагражден центнером пшеницы».

— После наши головы стали ценить куда дороже! — замечает Александр Николаевич.

На площади толпа. У церкви, превращенной в амбар, за столом сидит толстяк староста и раздает крестьянам мешки с зерном. Неужели столько предателей в этом селе? Староста, принявший Сабурова за крупного полицейского чиновника, объяснил: он отдает хлеб мужикам на хранение, чтобы спасти запасы от банды Сабурова, которая вот-вот нападет на деревню.

Словоохотливый староста рассказал много интересного. В частности, партизаны узнали, что этот мерзавец является автором анонимных писем, поступавших в партизанские отряды и чернивших лучших разведчиков.

Некоторые из этих анонимок обливали грязью Василия Волчкова и Марию Кенину. Дескать, оба они предатели, служат гит-



леровцам. И кое-кто из партизан попался на вражескую удочку, стал требовать суда над этими товарищами. Много мужества и неколебимой веры в человека проявили в то время Сабуров и комиссар Богатырь. Несмотря на злобные наветы, они продолжали доверять своим разведчикам, давали им самые ответственные поручения.

— Мы узнали тогда, — говорит Сабуров, — что этот мерзавец и до войны засылал наши учреждения клеветническими письмами. В результате пострадали многие хорошие люди. И после разоблачения Фещенко у меня еще более усилилась ненависть к любым анонимкам. «Дыма без огня не бывает» — опасный принцип. А у нас еще находятся товарищи, которые руководствуются им и готовы реагировать на каждое подметное письмо.

Фещенко похвалился и тем, что в его руках находятся два коммуниста, которых он держит до времени живыми, чтобы попытаться выбить из них сведения о советском подполье.

Партизаны воздали должное и старосте-предателю и его подручным — полицаям, набранным из разного отребья. А коммунисты Синицкий и Кобяковский, которые были вырваны из когтей смерти, вскоре показали себя смелыми бойцами и умелыми организаторами. Кобяковский и сейчас в добром здравии, работает в Киеве, в Центральном Комитете партии Украины.

Весной 1942 года пять партизанских объединений одновременно повели наступление на несколько вражеских гарнизонов. Главный удар — на крупный административный центр Середину-Буду — нанесли партизаны Сабурова и Ковпака. Город был захвачен, противник потерял сотни солдат. Разгром вражеских гарнизонов спугал карты гитлеровцев, готовивших карательную экспедицию против партизанского края.

В Красную Слободу радио донесло весть: многие партизаны награждены орденами и медалями, а Сабурову присвоено звание Героя Советского Союза. Это была его первая правительственная награда. Первая и сразу такая высокая!

Собравшимся на митинг партизанам и партизанкам Сабуров сказал:

— Это не моя, это ваша награда, товарищи. Так поклянемся же, что с честью оправдаем ее!

Еще чаще стали лететь под откос вражеские эшелоны. Еще более мощными стали удары партизан по фашистским гарнизонам. За короткое время партизаны Сабурова уничтожили 32 эшелона с тех-

никой и войсками — 558 вагонов, 149 платформ, 9 цистерн с горючим. Тысячи гитлеровцев и десятки танков так и не дошли до фронта.

Самоотверженный друг партизан — офицер венгерской дивизии Юзеф Майер наряду с другой ценнейшей информацией передал такую, которая особенно настрожила наше командование: фашисты завезли в Ямполь химические снаряды, чтобы применить их против советских войск и партизан. Из Москвы поступил приказ: любой ценой захватить этот страшный склад.

Бой за Ямполь был жестоким и кровопролитным. Обычно партизаны избегают открытых столкновений с противником, полагаются прежде всего на скрытность и внезапность нападения. Иначе нельзя: у врага, как правило, всегда оказывается больше и войск и техники. Но на этот раз пришлось принять открытый бой.

Эсэсовцы были уверены в успехе. К селу Антоновка, где расположились партизаны, направились бронемашин. Они не спешили приблизиться, маневрировали на значительном расстоянии. Сабуров понял: броневики только отвлекают внимание партизан, а тем временем вражеская пехота наверняка подползает с другой стороны села. Сабуров немедленно перебрался туда роты Смирнова и Ветрова. Эсэсовская пехота, наступавшая по клеверному полю, попала под меткие очереди пулеметов и вынуждена была залечь. И тогда на нее ринулись партизаны. Сабуров всегда с волнением рассказывает об этом моменте:

— Вскоре я просто схватился за голову. Это был не бой, а кошмарное побоище. Все перемешалось, и уже нельзя было понять, кто кого бьет. Я увидел в центре поля Реву и Богатыря. А вокруг них бурливо море огня. Я кричал, звал их, кого-то немилосердно ругал, хотя и понимал, что меня никто не слышит. Все брошено в бой. А с моего командного пункта не разглядеть, на чьей стороне перевес, кто из наших жив, а кого мы уже потеряли. Так длилось около часа. Мне этот час показался вечностью. Но вот затихла стрельба, и я увидел идущих ко мне Богатыря, Реву, Кочеткова. Смотрю на них, и глазам не верю: живы и невредимы. Честное слово, хотелось руками пощупать, до того не верилось, что я их вижу снова. Когда собрались все командиры, спросил о потерях. И снова не верю ушам: потерь нет. Я уже не спрашиваю, а гневно допытываюсь: сколько людей потеряли? Ни одного! А из эсэсовцев никто не ушел, хотя их было



Самолеты доставили грузы с Большой земли.

в несколько раз больше, чем нас. Я тогда окончательно убедился, что мы можем победить даже в самом отчаянном бою, потому что мы на родной земле. Потому что наши люди знают свою силу. Потому что они в бою делают все возможное и даже невозможное.

Противник в Ямполе был смят.

Организовав круговую оборону, начали розыски склада. Нашел его командир артиллерии Новиков. Партизаны увидели снаряды с яркой зеленой продольной полосой. Что делать с ними? Взорвать? Население погибнет. Погрузили на повозки и под усиленной охраной повезли из города. Немцы злобно наблюдали за обозом, но стрелять боялись: по обе стороны дороги стояли наготове партизанские орудия. Парламентеры передали противнику ультиматум Сабурова: при первом же выстреле с немецкой стороны орудия откроют огонь химическими снарядами. Партизанский обоз, насчитывавший сотни подвод (из Ямполья были вывезены огромные запасы продовольствия, бумаги, оборудование го-

родской типографии), беспрепятственно прошел в узком пространстве между двумя вражескими гарнизонами. Гитлеровцы начали стрельбу только после того, как партизанские орудия снялись с места и скрылись за поворотом дороги. Стреляли, не жалея снарядов и мин — «для отчета перед начальством», шутили партизаны.

Химические снаряды потопили в лесном болоте. Но немцы еще долго считали, что сабуровцы владеют этим страшным оружием, и вступали с ними в бой без особой охоты.

После войны наши саперы разыскали снаряды и уничтожили их. Варварское оружие, изготовленное на немецких заводах, так и не было применено.

Летом 1942 года партизанские командиры Ковпак, Емлютин, Гудзенко, Козлов, Покровский, Сенченко, Дука, Кошелев и Ромашин были вызваны в Москву. Перелетев через линию фронта, добрались до столицы. В Кремле с ними беседовали руководители партии и правительства. Здесь-то



К партизанам присоединились чехословацкие друзья.

Сабуров и Ковпак высказали свою мечту о рейде партизанских соединений на правый берег Днепра. Смелый план был одобрен. Окрыленные вернулись партизанские командиры в свои леса и начали подготовку к большому походу. Но прежде чем начать его, следовало разгромить фашистские дивизии, блокировавшие Брянский лес.

Партизаны Сабурова атаковали районный центр Знобь-Новгородскую. Соединение Емлютина штурмовало Суземку. Соединение Ковпака разгромило крупный гарнизон в Жихове. Враг понес огромные потери. Ошеломленный сокрушительным ударом, он был вынужден отказаться от намечавшихся акций против партизанского края. Воспользовавшись этим, соединения вырвались на простор. Две тысячи бойцов под командованием Сабурова тронулись в путь.

До чего же многоцветна была колонна, двинувшаяся по раскисшим осенним проселкам в далекий рейд! Зеленые и синие гимнастерки, кителя и пиджаки разных фасонов, пилотки, фуражки, широкополые

старомодные шляпы, среди них высвечиваются яркие платочки партизанок. И все же грозен вид этой разноликой массы. Колышутся над плечами стволы винтовок и ручных пулеметов. Негромко, но внушительно постукивают колеса партизанских пушек и пулеметных тачанок. Сам народ, неистовый и яростный в своем благородном гневе, взялся за оружие.

В нескольких десятках километров севернее параллельным курсом двигалась столь же грозная колонна ковпаковцев.

Рейд был подготовлен тщательно и всесторонне. Изучен, разведан и продуман маршрут (разведчики с рациями были еще летом расставлены на всем протяжении трассы). Составлены маршрутные листы на каждый день перехода. Партизаны взяли с собой материалы для оборудования переправ. Заранее намечены места дневок. Отремонтирована и проверена каждая повозка. На марше соблюдался образцовый порядок. Впереди следовали дозоры, за ними — головной отряд. В случае столкновения с врагом он принимал бой. Главные силы в это



Чехословаки активно включились в боевую жизнь соединения.

время сворачивали в сторону и обходили противника. Когда вся колонна уходила вперед, головной отряд (им обычно командовал неустрашимый и энергичный Рева) выходил из боя и догонял главные силы.

Рейд мощных партизанских соединений вызвал у врага панику. Гитлеровское командование посылало против них целые дивизии с танками, артиллерией, авиацией. Но ни разу гитлеровцам не удалось застичь партизан врасплох. Пока немцы собирали силы и стягивали их к месту, где вчера были обнаружены «красные», те успевали уйти и замести следы. А предугадать направление движения колонн враг не мог, настолько извилист и подчас неожидан был их путь.

Сабуров и его штаб не упускали случая, чтобы ввести врага в заблуждение. Когда соединение уже приближалось к Днепру, большой отряд сабуровцев двинулся по направлению к Гомелю. Опасаясь за город, фашисты стянули сюда почти все войска из ближних гарнизонов. А главные силы партизан в это время подошли к Днепру

в районе Лоева, откуда накануне немцы срочно вызвали в Гомель батальон, присланный из Германии.

К этому времени все переправочные средства были израсходованы. В распоряжении партизан — всего одна лодка. На ней отправился с несколькими бойцами сержант Владимир Печалин. Находились люди, которые отговаривали Сабурова посылать этого человека. В отряде Печалин недавно, проверить, как он оказался во вражеском тылу, не было возможности, а Печалин сам признался, что в начале войны был осужден военным трибуналом. Может быть, он в партизанском отряде спасается от законного наказания? Печалин заявляет, что осужден был неправильно, что это судебная ошибка. Но чем может он это доказать? А Сабуров поверил сержанту. В боях Печалин был храбр и находчив. Потому Сабуров и поручил ему первым переправиться через Днепр.

Прошел час, другой, третий — нет вестей от Печалина. Ждать больше нельзя. Сабуров приказал переправиться на тот берег роте Терешина. И опять ожидание. В Лоеве тишина. Казалось, что и рота в воду канула.

Только перед рассветом от Терешина явился с докладом... — кто бы вы подумали? — Печалин!

— Если бы ты знал, — улыбается Сабуров, — каким дорогим для меня стал в этот миг этот тихий парень! А он пришел доложить о замечательной удаче. Оказалось, на том берегу ему удалось захватить двух полицейских, выведать у них ночной пароль по лоевскому гарнизону. Эти же полицейские после повели роту Терешина к казармам. А там уже хозяйничали Печалин со своими товарищами. Подняли более двухсот солдат и полицейских по тревоге, выстроили их на казарменном дворе босых и в одном белье. Здесь и застала их рота Терешина. Расцеловав Печалина, я отдал команду начать общую переправу. К тому времени мы уже раздобыли два парома и двадцать баркасов. И все-таки, чтобы перебросить через Днепр людей, артиллерию и обозы, нам и ковпаковцам понадобилось более двух суток.

7 ноября 1942 года, в праздник Великого Октября, над Лоевом взвился красный флаг. Состоялся торжественный митинг.

На другой день немецкое командование бросило на Лоев войска. Они сразу же напоролись на серию партизанских засад, организованных батальоном Ревы на расстоянии десяти километров от города. Шестьдесят семь пулеметов, сто пятьде-



А. Н. Сабуров беседует с чехословацкими товарищами.

сят автоматов, более 50 ротных минометов, сотни винтовок одновременно обрушили на врага свой смертоносный огонь. К Лоеву удалось прорваться обходным маневром двум вражеским танкам и девяти бронемашинам. Артиллеристы Сабурова и Ковпака остановили их возле самого города.

В штабе составлялись списки для награждения особо отличившихся при переправе через Днепр. Одним из первых в нем стояла фамилия Печалина. За время рейда Печалин награждался еще несколько раз. Настал день, и командир соединения написал письмо в Москву, к самому М. И. Калинин, просил разобраться с судимостью Печалина. Вскоре Сабуров вручил сержанту радиограмму, подписанную Всесоюзным старостой: «Владимиру Ивановичу Печалину. Судимость снята. Желаю новых боевых успехов».

Рейд продолжался.

Чего только не предпринимали гитлеровцы, чтобы преградить путь партизанским колоннам! Засылали провокаторов и шпионов. Отравляли колодцы, прививали мест-

ным жителям сыпной тиф, надеясь таким образом вызвать эпидемию у партизан, которые будут останавливаться в этих деревнях.

Колонны народных мстителей упорно пробивались вперед. В боях не обходилось без потерь. Но отряды не уменьшались, а росли — к ним по пути присоединялись сотни новых добровольцев. Партизанская лавина нарастала с каждым днем.

Обозы отрядов Сабурова растянулись на добрый десяток километров. По ночам стук колес тяжело нагруженных повозок, топот тысяч натруженных ног слышались далеко окрест, наводя страх на врага и рождая горячую надежду у людей, уже второй год изнывавших под игом оккупантов. В каждом селе, в каждом городе партизан восторженно встречали жители, делились с ними последним. А кто мог носить оружие, просили принять в отряды.

Партизанские агитаторы проводили беседы среди населения, раздавали «Партизанскую правду» — газета и в рейде продолжала выходить регулярно.

За Днепром соединение Ковпака повернуло на северо-запад, в Белоруссию. Сабуров вел своих партизан на Украину, в Житомирскую область.

У партизан появился таинственный друг — некий капитан Репкин, человек превосходно осведомленный о положении дел во вражеском лагере и не раз своевременной информацией оказывавший неоценимую помощь сабуровцам. Благодаря ему партизаны узнавали о намерениях противника, срывали его планы и наносили ему все более тяжелые удары. Но кто этот Репкин, долгое время сабуровцы не знали. Позже стало известно, что под именем капитана Репкина скрывается словацкий офицер Ян Налепка, руководитель подполья в словацкой дивизии. Его работа способствовала тому, что гитлеровцы так и не сумели использовать эту дивизию для борьбы с партизанами. Вскоре Налепка с группой товарищей пришел к Сабурову. В составе соединения стал действовать чехословацкий отряд. Капитан Налепка и его боевые друзья сражались мужественно и умело. За огромные заслуги перед нашей Родиной Яну Налепке было присвоено звание Героя Советского Союза. В рядах сабуровцев дрался и отряд польских патриотов под командованием Роберта Сатановского.

Более тысячи километров прошли партизаны соединения по просторам Украины. По пути они разгромили сотни больших и малых вражеских гарнизонов. Партизанские диверсанты подрывали мосты и дороги, временами надолго прерывая железнодорожное сообщение. Многие эшелоны с войсками и техникой, направлявшиеся под Сталинград и к Курску, не дошли по назначению.

На правобережье Днепра партизаны заняли Столин, Городно и Морочно, Людвиполь, Городницю, Бережное, Домбровицу и другие города. Штаб соединения создавал новые отряды и направлял их в районы Житомирщины, на Волянь, Львовщину, Киевщину — поднимать народ на борьбу, заносить удары врагу повсюду. Вчерашние командиры взводов становились командирами и политруками отрядов, отделенные — командирами взводов. Несколько отрядов Сабурова стали костяками новых партизанских соединений под командованием Ивана Ивановича Шитова, Василия Андреевича Бегмы, Степана Антоновича Олексенко.

Зиму, весну, лето 1943 года партизаны действовали в оккупированных районах Украины. Здесь тоже возник партизанский

край. Партизаны имели свой аэродром, на который за ночь прибывало до полутора десятков самолетов с Большой земли.

17 ноября партизаны после упорных боев заняли город Овруч — важный стратегический пункт, где скрещивались железнодорожные пути, по которым противник подтягивал подкрепления к фронту. А фронт приближался.

Трое суток партизаны удерживали город и железнодорожный узел до подхода частей Советской Армии. И вот, наконец, долгожданная встреча. Партизаны и солдаты радостно обнимают друг друга.

Когда сабуровцы покидали Брянские леса, их было две тысячи. Сейчас соединение передавало армии десять тысяч хорошо обученных бойцов и командиров. Торжественно их проводили боевые друзья. Оставшиеся начали готовиться к новому рейду. Соединение должно было пересечь линию фронта и во взаимодействии с армейскими частями овладеть городом и крупным железнодорожным узлом Сарны.

И снова поход. Проселочными дорогами, в дождь и снег двигались вперед партизанские колонны. Сарны обошли стороной, обложили город с запада. В назначенном месте ждали офицеров связи из корпуса генерала Борисова, наступавшего с востока. Их все не было. А гитлеровцы стали нажимать на партизан крупными силами. По несколько атак в день. Удары с воздуха, с земли. Из последних сил держались партизаны. Самое страшное было, когда на редкий лес, где оборонялись сабуровцы, противник бросил танки. Они двигались на широком фронте. Не впервые партизанам бороться с танками. Но раньше было проще: заранее выявлялись танкоопасные направления, подрывники ставили там мины, в укрытиях располагалась противотанковая артиллерия, сюда же стягивались броней бойщики. А теперь местность была всюду проходима для танков, и редкие деревья не были им помехой. Наоборот, в таком лесу партизанам еще труднее: не знаешь, откуда выползет на тебя стальное чудовище.

Вся партизанская артиллерия была по танкам. Прорвавшиеся сквозь ее огонь машины партизаны встречали гранатами, бутылками с горючей жидкостью. Даже мины были использованы для борьбы с танками, хотя и эффект от этого был малый.

Гибли люди. Подходили к концу боеприпасы. А враг наседал со всех сторон. Бой в окружении...

— Мне часто доводилось слышать: отряд попал в окружение и потому был раз-

бит, — задумчиво произносит Сабуров. — Многие пытались так оправдать свои неудачи. Но это не оправдание! Партизаны всегда действуют во вражеском окружении. И опытный командир никогда не растеряется, оказавшись в кольце. Он всегда сумеет перехитрить врага, вырваться, запутать следы, укрыться в лесной чаще. Мы на своей земле, где каждый кустик знаком, где в каждом селе найдутся для нас самоотверженные помощники. И тогда, под Сарнами, я мог бы вывести соединение из-под удара. Но это значило бы бросить артиллерию, обозы. А главное — не выполнить задачи. И мы дрались. Из последних сил дрались.

А противник все наращивал удары. Сабуров заметил: с запада атаки ослабели. Но с востока враг давил все более плотной массой. Это многозначительный симптом. И командир требовал от своих партизан одного:

— Держаться!

Утром к Сабурову приполз запыхавшийся разведчик.

— Сарны взяты!

Еще несколько часов длились бои с вражескими частями, пытавшимися пробиться на запад. Это уже было упорство отчаявшихся. Наконец гитлеровцы начали сдаваться в плен.

В освобожденном городе генерал Борисов горячо обнял Сабурова:

— Только благодаря вам мы так быстро взяли Сарны. Земной поклон вашим партизанам от всех солдат!

А партизаны, немного отдохнув, снова перешли линию фронта и двинулись на запад. Новые испытания, новые трудности. Вместе с советскими войсками они освобождали Ковель, Ровно, Луцк... Жаркие бои, кровь, гибель товарищей. И несмотря на это, ряды партизан множилось. Потому что это народ, взявшийся за оружие. А силы народа неисчерпаемы.

— Так вот и воевали, — говорит Сабуров. — Сначала на своей земле, потом в Польше и Чехословакии...

Листаю его новую книгу. Теперь понимаю, почему автор дал ей название «Силы неисчислимые». Именно об исполинских силах народа свидетельствует вся эпопея прославленного партизанского соединения.



Соединение партизан на марше.







**С. С. Дзержинская**

## Дзержинский на фронте



«Мы — солдаты на боевом посту», — писал Феликс Эдмундович в 1918 году. Пожалуй, эти слова можно распространить на всю его жизнь.

Стройный, всегда подтянутый, в простой солдатской шинели — таким запомнился он после победы Великого Октября. Не менялась его внутренняя сущность — солдата революции.

Работа Феликса Эдмундовича в армии началась еще до первой русской революции 1905 года, когда он был членом Варшавского Комитета военно-революционной организации РСДРП. Во время Великой Октябрьской социалистической революции Феликс Эдмундович был членом Военно-революционного комитета и партийного центра по руководству вооруженным восстанием.

Первое письмо от Феликса, которое я получила (с оказией) после победы Октябрьской революции в России, датировано 27 мая 1918 года, когда он уже был председателем ВЧК.

Феликс писал: «Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Невсегда думать о своих и себе. Работа и борьба адская... Кольцо врага сжимает нас все сильнее, приближаясь к сердцу. Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля — бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения...»

В конце августа 1918 года я получила еще два письма от Феликса. В первом, совсем коротком, он писал: «Душою с вами, а времени нет. Я постоянно, как солдат, в бою, быть может последнем...»

Помимо раскрытия бесчисленных заговоров, нити которых неизменно приводили к иностранным империалистам, Дзержинскому с первых же дней Советской власти приходилось заниматься непосредственно военной работой. Он участвовал в строительстве Красной гвардии, а затем и Красной Армии.

Приехав 1 февраля 1919 года с сыном Яником в Москву, я еще на вокзале узнала, что накануне Феликс Эдмундович вернулся с Восточного фронта, куда был послан Центральным Комитетом партии и Советом Обороны в качестве члена партийно-следственной комиссии вместе с И. В. Сталиным для расследования причин сдачи Перми колчаковцам и принятия неотложных мер по укреплению Восточного фронта.

На следующий день после нашего приезда Феликс, несмотря на то, что было воскресенье, пошел, как обычно, работать в ВЧК, на Большую Лубянку.

Мы отправились вместе с ним из Кремля через Александровский сад на Красную площадь. Здесь он показал нам могилы борцов, погибших в дни Великой Октябрьской революции и похороненных у кремлевской стены. Посмотрели мы также памятники старины на Красной площади: храм Василия Блаженного, монумент Минину и Пожарскому, Лобное место. Потом направились к площади Революции, где как раз проходили учебные занятия красноармейцев. Феликс с гордостью и любовью говорил нам о молодой Красной Армии и ее героических подвигах...

Вскоре после приезда мне пришлось более подробно узнать о грозном положе-



Феликс Эдмундович в рабочем кабинете.

нии, сложившемся на многих фронтах, в частности, и о том задании, которое выполнял Дзержинский на Восточном фронте.

В конце декабря 1918 года колчаковские войска перешли в наступление на северном участке Восточного фронта. Они ставили перед собой цель — захватить Пермь, Вятку, выйти в район Котласа и соединиться с интервентами на севере.

24 декабря части 3-й армии оставили Пермь. На других же участках Восточного фронта наши войска продолжали наступать: к концу января были освобождены Уфа, Оренбург, Уральск. Потеря Перми создала непосредственную угрозу Вятке и всему Восточному фронту. Советская республика лишалась крупного центра Западного Урала.

В связи с осложнившейся обстановкой на фронте и учитывая просьбу Уральского обкома партии, Центральный Комитет РКП(б) 1 января 1919 года образовал партийно-следственную комиссию для подробного расследования причин сдачи Перми и скорейшего восстановления партийной и советской работы в районе действий 3-й и 2-й армий.

О том, насколько тщательно готовился Феликс Эдмундович к работе в комиссии, можно судить по плану обследования, который он составил еще до отъезда на фронт. Привожу некоторые пункты:

«1. Основная причина падения Перми (большая организованность армии противника и полная дезорганизованность нашей. Может быть, подъем в рядах противни-

ка? Может быть, упадок духа в нашей армии?).

2. Ближайшая причина падения Перми (неумелое командование из Центра? То же самое из фронта? То же самое из армии? Измена? Отъезд частей?).

3. Чем объяснить сдачу в плен (заговор или неизбежная сдача?).

4. Когда оставлена Пермь, когда вошел туда противник, какая добыча осталась противнику, кто решил сдачу?

5. Слабость тыла (было ли белогвардейское восстание в тылу? Когда, какие меры были приняты против него? Какие элементы восстали в социальном и национальном отношениях?).

Обеспеченность тыла в настоящее время.

6. Почему не был взорван мост на Каме, есть ли постановление о взрыве моста?

7. Картина эвакуации (кем она велась? Когда началась? Что именно не удалось вывезти? Что помешало правильной эвакуации?).

8. Постановка разведки (были ли у нас агенты в тылу противника? Оставлены ли теперь агенты в местах, занятых противником?).

9. Личный состав всех служащих в военном, политическом отделах, в Советах, в партийных организациях...

Комиссия прибыла в район действий 3-й армии (Вятку, Глазов) 3 января. Сохранились многие пометки, сделанные Дзержинским на месте: «Не было верховного командования». «Засилье чуждых элементов». «Командирам дивизий не удавалось вызвать к аппарату командарма в течение суток и более». «В одном из боев под Селянкой захватили адъютанта штаба дивизии противника, нашли у него карту дислокации наших войск».

Расследование показало, что противнику, имевшему большой численный перевес, противостояли крайне ослабленные части 3-й армии, в значительной степени утратившие боеспособность из-за больших потерь, плохого снабжения, засоренности классово чуждыми элементами. Командование и штаб армии были оторваны от войск, руководили бюрократическими методами.

В докладах В. И. Ленину комиссия писала, что причинами катастрофы следует считать не только слабость армии и тыла, отсутствие резервов и твердого командования, но и посылку на фронт заведомо ненадежных частей, путаницу и неразбериху в приказах и директивах Троцкого. Неблагополучно было и в тылу Красной Армии, в аппаратах местных организаций в Вятке.

Комиссия ЦК не ограничилась крити-

кой; она внесла практические предложения по коренному улучшению системы мобилизации и формирования частей Красной Армии по классовому принципу. Предлагалось, в частности, обновить состав Всероссийского бюро военных комиссаров, улучшить политическую работу в армии.

Комиссия поставила вопрос о централизации управления армиями, об улучшении руководства фронтами со стороны Реввоенсовета республики, Главного командования, об организации при Совете Обороны контрольно-ревизионных комиссий.

О своих действиях комиссия регулярно докладывала В. И. Ленину и ЦК партии. В Вятке и уездных городах были созданы военно-революционные комитеты, укреплены руководящие партийные органы, командный и политический состав 3-й армии, улучшено продовольственное положение. Коренной чистке подверглась Вятская губернская чрезвычайная комиссия. Она была объединена с Уральской областной ЧК.

7 января Дзержинский отдал приказ отправить на фронт вятский батальон войск ВЧК. Весь его личный состав вошел в регулярные части Красной Армии.

5 февраля доклад комиссии и ее предложения обсуждал Центральный Комитет. Эти материалы способствовали укреплению Восточного фронта и всей Красной Армии.

После поездки на Восточный фронт, где Дзержинскому довелось лично ознакомиться с работой фронтовой и армейских чрезвычайных комиссий, у него созрела мысль о необходимости изменить методы армейской разведки и контрразведки, усилить борьбу со шпионажем в армии.

По решению ЦК этот вопрос рассматривала комиссия, возглавленная Дзержинским. Она предложила упразднить институт военконтроля, доставшийся в наследство от царской армии и засоренный враждебными элементами, а также фронтовые и армейские ЧК. Идею создать вместо них единые органы — особые отделы ЧК — одобрил Центральный Комитет. 6 февраля 1919 года Президиум ВЦИК вынес по этому вопросу специальное постановление. Председателем Особого отдела ВЧК был назначен Дзержинский. На него возложили также общее руководство работой особых отделов всех фронтов и армий.

В марте 1919 года Дзержинский участвовал в работе VIII съезда партии, собравшегося в условиях все сильнее разгоравшейся гражданской войны. На съезде решался и важнейший вопрос о строительстве Красной Армии, принципах ее формирования, командном составе.



Феликс Эдмундович в кругу товарищей.

В обращении к партийным организациям съезд призвал коммунистов удвоить бдительность и энергию в борьбе против бело-гвардейцев и иностранных интервентов.

Количество фронтов в 1919 году увеличилось до шести, протяженность их достигла до восьми тысяч километров.

Колчаковские войска в апреле приблизились к Волге, их передовые отряды находились в восьмидесяти километрах от Казани и Самары. На Восточном фронте вновь создалась серьезнейшая угроза. Лишь в результате мобилизации всех сил страны удалось отбросить Колчака в Уральские горы.

При поддержке Антанты бело-гвардейцы в июне вышли на ближние подступы к Петрограду. В тылу наших войск возник штык на Красной Горке и других фортах.

В тылу Красной Армии активизировались шпионы и бело-гвардейцы.

В приказе № 174 «Всем Губчека» Дзержинский писал: «В то время как Красная Армия защищает наш внешний фронт, внутри страны бело-гвардейцы, пользуясь частичными нашими неудачами, поднимают головы и стараются связаться с заклятыми врагами пролетариата — колчаками, деникиными, финскими, польскими и иными бело-гвардейцами. В самом тылу нашей армии происходят взрывы мостов, складов, кража и сокрытие столь необходимого армии оружия и пр. и пр... Все чрезвычайные комиссии должны превратиться в боевые лагеря, готовые в любое время разрушить планы бело-гвардейских заговорщиков».

В середине июня был разоблачен и лик-

видирован контрреволюционный заговор и подавлен мятеж на Петроградском фронте. Нашествие белогвардейцев на Петроград удалось отразить.

Но осенью 1919 года положение на фронтах вновь резко ухудшилось. Кольцо врагов сжималось, приближаясь к Москве с юго-востока и с юга. 6 сентября решением Московского комитета партии Дзержинский был введен от ВЧК в Комитет обороны Москвы.

В это тяжелое время ВЧК раскрыла и обезвредила многие крупные, широко разветвленные контрреволюционные организации, связанные с английскими, французскими и американскими империалистами.

Со второй половины октября на Южном и Юго-Восточном фронтах началось наступление советских войск. Были освобождены Орел, Курск, Харьков, Киев, и 8 января 1920 года — Ростов-на-Дону.

В момент величайшего напряжения борьбы с контрреволюцией и интервентами Феликс однажды сказал мне:

— Когда кончится гражданская война, мне очень бы хотелось, чтобы Центральный Комитет поручил мне работу в Народном комиссариате просвещения.

Эти слова Феликса говорили о его горячем желании заниматься творческим, мирным трудом, строить новую, социалистическую жизнь, о его большой любви к детям, о его стремлении работать над воспитанием новых людей — строителей будущего, коммунистического общества.

5 апреля 1920 года ЦК РКП(б) постановил послать Дзержинского на Украину для укрепления тыла Юго-Западного фронта, ликвидации анархистских банд и петлюровских контрреволюционных организаций, которые активизировались в связи с наступлением войск буржуазно-помещичьей Польши. 5 мая Феликс вместе с работниками ВЧК и бойцами войск внутренней охраны приехал в Харьков.

29 мая Дзержинский был назначен начальником тыла Юго-Западного фронта, представлявшего в период махновщины самостоятельный внутренний фронт. В то же время он оставался председателем ВЧК, Народным комиссаром внутренних дел и членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта.

В течение июня и половины июля Феликс находился в Харькове, руководя борьбой с бандитизмом, кулачеством и контрреволюцией. Эта работа была трудной и опасной, отнимала много сил и энергии.

И все-таки в своих письмах с Украины в ЦК партии и ВЧК Дзержинский высказывал желание остаться здесь на более продолжительное время.

Почти не сохранилось печатных материалов о Дзержинском как военачальнике. Между тем в период с мая по июль 1920 года он не только возглавлял тыл Юго-Западного фронта, но и непосредственно руководил боевыми операциями против Махно и других крупных банд.

Штаб тыла фронта был объединен со штабом Украинского сектора войск внутренней охраны (ВОХР). В частях ВОХР создавались подвижные, хорошо вооруженные отряды для преследования и уничтожения бандитов.

19 июня Дзержинский в телеграмме Реввоенсовету Юго-Западного фронта просил категорического распоряжения командующим 12, 13, 14-й и Конной армий о сдаче от каждой по пятидесяти пулеметов в распоряжение управления тыла фронта.

«...Вероятно, я должен буду остаться здесь на более продолжительное время, пока ЦК не ответит меня обратно в Москву, — писал он мне примерно в это время. — Я не хотел бы вернуться в Москву раньше, чем мы не обезвредим Махно... Мне трудно с ним справиться, ибо он действует конницей, а у меня нет кавалерии. Если бы, однако, удалось его разгромить, я приехал бы в Москву на несколько дней, чтобы получить дальнейшие указания и разрешить вопросы в Москве».

В приказе по войскам тыла Феликс Эдмундович призывал к сосредоточенным действиям, к маневренным ударам. Перед каждым командиром ставилась задача преследования и в конечном счете уничтожения противника.

Уже к концу мая 1920 года численность войск внутренней охраны тыла Юго-Западного фронта достигла пятидесяти тысяч. В их составе было большое количество конницы, звено самолетов, броневедомости. В наиболее важных стратегических пунктах создавались постоянные гарнизоны.

Важнейшее значение придавалось охране железных дорог, телефонных и телеграфных линий, складов. Ответственной задачей начальника тыла фронта было — обезопасить пути сообщения от шпионов и диверсантов, наладить быстрое и бесперебойное продвижение военных эшелонов и составов с продовольствием.

При штабе тыла фронта был создан временный политический отдел. Издавались и

распространялись политическая литература, листовки, плакаты.

Для борьбы против хорошо вооруженных банд требовалось все больше оружия. Из центра, по просьбе Дзержинского, обещали прислать кавалерийские части. Но ждать было некогда. Еще 10 июня Феликс Эдмундович направил телеграмму командующему Юго-Западным фронтом с просьбой сформировать бригаду конницы для частей ВОХР на Кубани.

В короткий срок части ВОХР пополнились кавалерийскими подразделениями. В распоряжение начальника тыла Юго-Западного фронта были предоставлены самолеты и бронепоезда. Работа Дзержинского в этот период распространялась в известной степени и на Белоруссию.

Наиболее активным помощником Дзержинского на Украине был Н. Г. Крапивянский, начальник тыла 12-й армии. Многие смелые операции по уничтожению банд связаны с именами легендарного С. А. Тер-Петросяна (Камо), А. Я. Пархоменко, И. Э. Якира, Г. И. Котовского. Всю боевую работу Дзержинский проводил в контакте с Центральным Комитетом партии большевиков Украины, Харьковским губкомом, со всеми советскими и общественными организациями.

Во время своего пребывания в Харькове Феликс неоднократно выступал на собраниях и митингах. Одно из таких выступлений описал академик И. П. Бардин.

«Впервые в своей жизни я слушал такого пламенного оратора, видел такого большого политического борца, слова которого... выходили из самого сердца, возникали из кристаллических глубин человеческой души.

Я смотрел вокруг себя на людей, обросших бородами, усталых, исхудавших, но уверенных в своей победе, опьяненных правдой, которой, точно пламенем, обжигал их Дзержинский.

В зале бушевало море, стоял несмолкаемый гул, а Дзержинский, пламенея, рисовал суровому и разгневанному воображению людей задачу завтрашнего дня.

— Но для чего же мы воюем, для чего мы боремся на фронтах гражданской войны? — спрашивал Дзержинский. И отвечал: — Для того чтобы с оружием в руках отстаять нашу свободу, наше право на жизнь, на труд, на счастье для всех, для того чтобы завоевать свободу и счастье нашим детям и внукам.

Мы сами должны ковать свое счастье! Уже сегодня мы должны начать войну с разрухой, восстановить разрушенный

транспорт, оживить заводы и фабрики, озеленить поля и пашни, накормить и одеть наших детей, сделать цветущим, радостным, могучим наше Советское государство.

Только ни на одну минуту не забывайте о мече, держите винтовку на боевом взводе, потому что враги наши не дремлют!

Правда, ясная, неотразимая правда — я это увидел и почувствовал, — вот что захватило людей в зале, вот что поразило и мое сознание и сердце. Я видел перед собой не просто трибуна, но и храброго воина, чье имя ввергало в трепет врагов, чьи слова, словно разящий меч, с сокрушающей силой рассекали все мои сомнения...»

Феликс просил меня приехать к нему. Через несколько дней после этого письма я выехала, получив одновременное задание от Наркомпроса — проверить в Харькове культурно-просветительную работу среди польского населения.

Но совместное наше пребывание в Харькове оказалось недолгим. Феликс был неожиданно отозван в Москву в связи с контрнаступлением Красной Армии на Западном фронте. Оно началось 4 июля. По инициативе Польского бюро агитпропа ЦК РКП(б) была объявлена мобилизация коммунистов-поляков на Польский фронт. Многие из них стали политическими руководителями в частях Красной Армии. Одновременно с этим ЦК РКП(б) создал новый польский партийный орган — Польское бюро ЦК РКП(б) во главе с Феликсом Дзержинским для руководства работой сотен и тысяч польских коммунистов, двигавшихся вместе с наступающей Красной Армией в западном направлении. В это бюро, кроме Дзержинского, вошли Юлиан Мархлевский, Феликс Кон, Эдвард Прухняк и Юзеф Уншлихт.

23 июля Ф. Дзержинский, Ю. Мархлевский, Ф. Кон, Ю. Уншлихт (Э. Прухняк временно остался в Москве) и около двадцати других польских коммунистов выехали поездом сначала в Смоленск, потом в Минск. Оттуда на трех автомашинах они поехали в Вильно, чтобы присоединиться к Красной Армии, преследовавшей войска Пилсудского, и двигаться вместе с ней.

Из Вильно Феликс отправил мне 30 июля коротенькое письмо: «Через полчаса мы едем дальше — в Гродно, а оттуда в Белосток. Пишу лишь несколько строк, ибо нет времени для сантиментов. До сих пор все идет хорошо. Напрягайте с Сэвэром<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Сэвэр — Эдвард Прухняк.

силы, чтобы поскорее прислать сюда людей. Они нужны не только нам, но во все армии Польского фронта, ибо мы сами не сможем непосредственно охватить всю линию фронта...»

30 июля Феликс и его товарищи выехали в освобожденный Белосток. В тот же день был образован Временный революционный комитет Польши (Польревком) — первое в истории Польши рабоче-крестьянское правительство. Газеты опубликовали сообщение о его составе и задачах, а также Манифест Польревкома к польскому трудовому народу.

Председателем Польревкома стал Юлиан Мархлевский, членами — Феликс Дзержинский, Феликс Кон, Эдвард Прухняк и Юзеф Уншлихт.

Манифест Польревкома указывал, что Красная Армия идет к Польше со старым лозунгом героев польского восстания: «За вашу и нашу свободу!»

«Наши русские братья не затем вступают в пределы Польши, чтобы поработить ее, — подчеркивалось в манифесте. — Эту войну им навязало польское правительство. Они борются прежде всего за мир для себя, за мир, который даст им возможность возвратиться на родину и приступить к творческой работе, к созданию нового строя...»

В. И. Ленин поддерживал постоянную связь с Польревкомом через Феликса Эдмундовича. Дзержинский информировал Владимира Ильича о деятельности комитета, освещал обстановку по ту сторону фронта.

В телеграмме от 15 августа Феликс сообщал Ленину о волнениях в Варшаве, о настроении крестьян в районе Млава — Влоцлавек и рабочих Белостока. «В Белостоке, — писал Дзержинский, — состоялся многотысячный праздник труда по поводу открытия фабрик. Местная организация ППС присоединилась к коммунистической. Железнодорожники, оставшиеся на освобожденной территории, с подъемом восстанавливают пути, ведется подготовительная работа по выборам городского Совета рабочих депутатов, начато формирование добровольческого польского советского полка».

Вместе с тем Дзержинский отмечал, что налаживание административной работы, организация экономики и продовольственного снабжения продвигаются вперед медленно из-за недостатка опытных инструкторов и быстрого продвижения частей Красной Армии.

15 августа Феликс Кон писал мне: «Через каких-нибудь два часа мы отправляем-

ся из Белостока в сторону Варшавы. Феликс так занят, что ни на минуту не может оторваться, чтобы написать письмо. Через каких-нибудь день-два, может быть, мы будем уже в Варшаве, где, как доходят до нас слухи, рабочие добиваются, чтобы город был нам отдан без боя. По городу расклеены воззвания, в которых грозят Пилсудскому, что в случае, если бой под Варшавой не прекратится, его войска не будут выпущены из Варшавы...»

Красная Армия, а вместе с ней Польревком быстро двигались на запад и приближались к Висле. Обстановка в Польше была чрезвычайно напряженной.

Польская буржуазная «Газета Варшавска» писала, что сельские рабочие и мало-земельные крестьяне «с нетерпением ожидали прихода большевиков, которых они представляли себе как избавителей «рабочего люда» из неволи».

«Курьер Варшавский», описывая бое под Белостоком, вынужден был признать, что рабочее население города на стороне советских войск и активно борется с оружием в руках. Газета добавляла, что «в этом городе сформировался полк добровольцев-коммунистов под названием 1-го Варшавского полка, который выступает с армией неприятеля».

16 августа Польревком был в пятидесяти с небольшим верстах от Варшавы, а Вышкыве, но на следующий день вынужден был оттуда уехать, так как Красная Армия потерпела поражение в битве у Вислы и отступила.

«При нашем наступлении, — говорил В. И. Ленин, — слишком быстром продвижении почти что до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка... И эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами»<sup>1</sup>.

С другой стороны, польская буржуазия, используя вековую ненависть своего народа к русскому царизму, подняла бешеную националистическую шумиху, заявляя, что русская армия якобы намеревается снова поработить Польшу. Этой лживой пропагандой ей удалось одурачить часть рабочих, а особенно мелкую буржуазию и молодежь.

Неудачи Красной Армии объяснялись также и тем, что ей пришлось воевать на два фронта — на западе против Пилсудского и на юге против войск генерала Врангеля. Немалую роль сыграла также экономическая разруха в России и плачевное состояние железных дорог, что было

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 43, стр. 11.

вызвано многолетней империалистической войной и иностранной интервенцией.

Кипучая деятельность Феликса, отдававшего все свои силы революционному делу, производила большое впечатление даже на людей, враждебно относившихся к коммунистам.

В Белостоке Дзержинский, как всегда, был связан с широкими массами. Он почти ежедневно выступал на митингах и собраниях рабочих, крестьян и солдат, организовывал распространение воззваний Польревкома, выезжал в действующую армию.

«Трудно, почти немислимо отобразить в словах ту энергию, какую Дзержинский проявлял в эти памятные дни, — писал Ф. Кон, — причем все делалось им так естественно и просто, что только самые близкие к нему люди могли оценить всю значительность его работы...»

Феликс Кон говорил мне, что Дзержинский выехал из Белостока в Минск последним, только тогда, когда убедился, что опасность паники миновала и что эвакуация раненых и белостокских работников ревкома закончена.

23 августа Дзержинский прибыл в Минск, где через несколько дней включился в работу Реввоенсовета Западного фронта, членом которого он был назначен еще 9 августа.

Из Минска 25 августа Феликс писал: «Опасение, что нас может постигнуть катастрофа, давно уже гнездились в моей голове, но военные вопросы не были моим делом, и было ясно, что политическое положение требовало риска. Мы делали свое дело и... узнали о всем объеме поражения лишь тогда, когда белые были в 30 верстах от нас не с запада, а уже с юга. Надо было сохранить полное хладнокровие, чтобы без паники одних эвакуировать, других организовать для отпора и обеспечения отступления. Кажется, ни одного из белостокских работников мы не потеряли.

Позавчера мы приехали в Минск. Военное положение еще не ясно, очевидно лишь одно, что нужны будут огромные усилия, чтобы достигнуть равновесия, а потом перевеса...

Я должен, однако, подчеркнуть, что наша Красная Армия в общем (с немногочисленными исключениями) была действительно на высоте Красной Армии и благодаря своему поведению должна была быть революционным фактором. В общем не было грабежей, солдаты понимали, что они

воюют только с панями и шляхтой и что они пришли сюда не для завоевания Польши, а для ее освобождения. И я уверен, что последствия этой работы нашей Армии в скором времени обнаружатся...

Из задач, которые стоят перед тобой в Москве, самая важная сейчас — работа среди пленных. Надо их завоевать на нашу сторону, надо привить им наши принципы, чтобы потом, вернувшись в Польшу, они были заражены коммунизмом. Надо окружить их товарищеской заботой, чтобы наши слова не были мертвы. Надо их привлечь к работе в самой России, чтобы они почувствовали душу новой России, пульс ее жизни, чтобы все недочеты и недостатки они воспринимали как то, что мы преодолеваем и преодолеем. Пришли нам подробный отчет о всей работе, о людях, органах, программе, средствах и т. д.»

Советское правительство по инициативе Ленина снова предложило полякам мир. Польское правительство, сознавая неспособность Польши продолжать войну, приняло наше предложение.

Начатые в Минске советско-польские переговоры 21 сентября возобновились в Риге. 12 октября было подписано соглашение о перемирии и о предварительных условиях мира. Переговоры продолжались еще несколько месяцев: мир с Польшей был окончательно заключен в Риге 18 марта 1921 года.

Итоги польско-советской войны Ленин подвел на IX Всероссийской конференции РКП(б), которая состоялась в Москве 22—25 сентября 1920 года.

На эту конференцию приехал Дзержинский из Минска, закончив обследование работы ЧК и Особого отдела ЧК. Я присутствовала там в качестве гостя.

Хотя основная работа Дзержинского в период гражданской войны и иностранной интервенции была сосредоточена в ВЧК — ОГПУ, огромна его деятельность и как военного работника партии. Она тоже была направлена к защите завоеваний Октябрьской революции.

28 января 1920 года Президиум ВЦИК принял постановление о награждении Ф. Э. Дзержинского.

В постановлении этом есть такие слова: «Работа товарища Дзержинского, обеспечивая спокойный тыл, давала возможность Красной Армии уверенно делать свое боевое дело».



С. Н. Рейпольский

## «Особые знамена Революции»



«Объявляется для сведения всех, сражающихся за укрепление завоеваний революции и социалистического строя, что наиболее отличившимся полкам и ротам будут дарованы в качестве боевой награды от Российской Федеративной Советской Республики особые знамена Революции», — говорилось в приказе Народного комиссариата по военным делам № 608 от 3 августа 1918 года.

В дальнейшем наградные знамена стали называться Почетными революционными знаменами от ВЦИКа. За годы гражданской войны ими были награждены около трехсот дивизий, полков, бронепоездов, кораблей речных флотий и морского флота, военных учебных заведений и пролетариат ряда городов. С этими и другими почетными знаменами читатель познакомится в публикуемых материалах.





Среди десятков полков, которые дала фронту рабочая Москва, был 38-й Рогожско-Симоновский стрелковый полк. На снимке (стр. 112): полк со своим боевым Красным знаменем построен на Красной площади перед отправкой на Царицынский участок Южного фронта. Вскоре командующий 10-й армией Южного фронта К. Е. Ворошилов сообщил в Москву: «Вчера впервые прибывший из Москвы 38-й Рогожско-Симоновский Советский полк был пущен в бой. С радостью могу констатировать, что, наблюдая за действиями полка, я видел умелое руководство начальников, бесстрашие молодых солдат и сознательность всего полка вообще...»

Знамя Отдельной учебной автотанковой броневой бригады.



Знамя бронепоезда № 49, врученное ему общественными организациями Вологодской губернии.



Оборона Царицына, участие в разгроме корпуса генерала Покровского в районе Камышина, бои с конным корпусом генерала Мамонтова на Верхнем Дону, освобождение Царицына и многие бои на Южном фронте — таков боевой путь 37-й стрелковой дивизии, в состав которой входил автоотряд.



Особые знамена Революции — первая советская боевая награда. Первым этой награды был удостоен 5-й латышский Земгальский стрелковый полк за отличия в боях под Казанью. В «Письме красноармейцам, участвовавшим во взятии Казани», В. И. Ленин писал: «Товарищи! Вам уже известно, какое великое значение приобрело для всей русской революции взятие Казани, ознаменовавшее перелом в настроении нашей армии, переход ее к твердым, решительным, победоносным действиям».

Вслед за 5-м латышским полком в том же 1918 году были награждены знаменами Николаевский полк В. И. Чапаева, 1-я сводная Сибирская Железная дивизия (впоследствии 24-я), 1-й Крестьянский коммунистический полк сводной дивизии 3-й армии, известный на фронте как «полк Красных орлов», Таманская армия; за отличия под Царицыном — Стальная, Коммунистическая, Морозовская дивизии и Доно-Ставропольская бригада.





Отряды ЧОН сыграли большую роль в годы гражданской войны. Это знамя «За отличную службу» вручил 8-й особого назначения Лодейнопольской роты Олонцкий губком РКСМ.



Кузницей красных командиров были в годы гражданской войны 2-е Московские пехотные курсы. На всех фронтах воспитанники курсов вели в бой красноармейцев. Вместе с другими военно-учебными заведениями курсанты-москвичи приняли участие в подавлении Кронштадтского контрреволюционного восстания. «Награждаются Почетными Революционными Красными Знаменами за отличия в боях с врагами социалистического отечества 3 Смоленская пехотная школа, 31-е Смоленские, 5 Петергофские, 2-е Московские и 6 Петроградские пехотные курсы и Торжокская военно-железнодорожная школа — за исключительное мужество и храбрость частей этих курсов и школ, проявленные при овладении крепостью и городом Кронштадтом, во время штурма фортов и крепости и в уличных боях в городе» (приказ Реввоенсовета республики № 109 от 3 апреля 1921 г.).



Это знамя было вручено курсам от их шефа — Наркомзема в конце 1921 года.



Знамя-стяг: «Красные путиловцы 3-му танковому отряду». «Пусть о стальную броню советских танков разобьются все происки врагов революции».



«Священен штык на службе у народа. Защита революции — наша гордость» — такова надпись на стяге, который держат рабочий и матрос. На заднем плане — Петроград. А изображено это на знамени-стяге коллектива РКП(б) 11-го запасного полка, который готовил резервы для фронта.



В ноябре 1919 года Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала передал Реввоенсовету республики пять знамен для вручения их наиболее заслуженным частям и соединениям Красной Армии. Одно из этих знамен было вручено 5-й армии Восточного фронта, в составе которой сражались многие интернациональные отряды и полки.



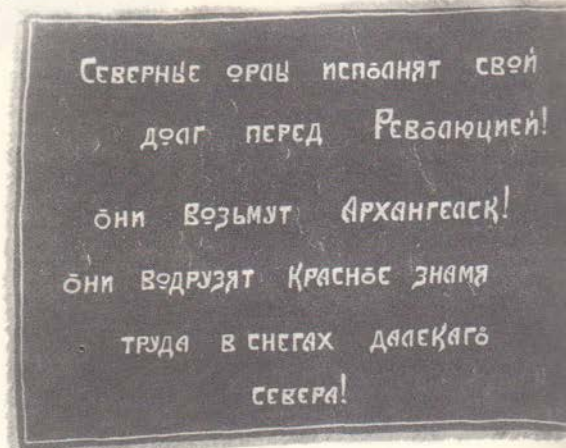
Знамя, врученное от беспартийных красноармейцев и командиров 10-й стрелковой дивизии партийной конференции Петроградского военного округа в 1923 году.



Знамя 3-го автобронетанкового отряда.

В составе 6-й армии на севере с иностранными интервентами и белогвардейскими войсками сражался 157-й стрелковый полк. Название деревни Кочмас стало памятным в его истории. Здесь под ураганным огнем артиллерии интервентов 157-й полк сдержал натиск врага, рвавшего к железнодорожной станции Плесецкая.

VII Всероссийский съезд Советов отметил заслуги «наших северных полков, благодаря которым нагая попытка чужеземных империалистов овладеть центрами Советской республики с Мурманского и Беломорского побережья разбилась в прах».



Знамя 159-го стрелкового полка за победу под Кочмасом от политического отдела 6-й армии.



20 октября 1920 года на площади Большой Каховки построились на митинг полки 51-й стрелковой дивизии.

Гремят оркестры, под крики «ура» делегация московского пролетариата вручает дивизии знамя. Зачитывается приказ по дивизии:

«Уничтожь Врангеля» — сказала нам Москва надписью на знамени. Мы слышим в этой надписи боевую команду, поданную нам республикой. Эту команду мы, как истинные революционеры, выполним отчетливо и точно.

«Уничтожь Врангеля» отныне будет нашим лозунгом, и в громе боевого клича мы гордо понесем к твердыням Перекопа почетное знамя Москвы и, водрузив его над Красным Крымом, закончим победный марш доблестной 51-й стрелковой дивизии».

За отличие в боях по разгрому врангелевских войск дивизия была награждена орденом Красного Знамени и удостоена наименования «Перекопская».





Знамя 4-го Туркестанского советского полка.



13 июня 1919 года вспыхнул белогвардейский мятеж на форте Красная Горка. Тяжелые дальнобойные орудия начали обстрел Кронштадта и советских кораблей. В сторону форта двинулся советский флот. Берегом из Петрограда были направлены воинские части и в том числе отряд моряков численностью 800 человек. В воздух поднялось несколько самолетов. Через три дня мятеж был разгромлен. В знак признания боевых заслуг моряков-балтийцев, штурмовавших мощные оборонительные сооружения форта, было вручено им это знамя.

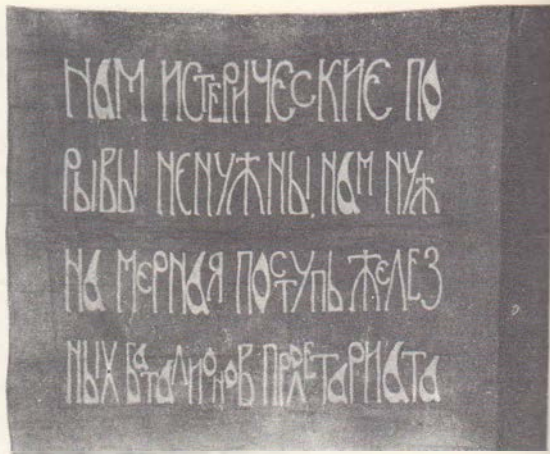




27 декабря 1917 года в адрес Президиума Советской Украины была послана телеграмма: «Семьсот бойцов при четырех пулеметах горят желанием отдаться на служение рабочим и крестьянам Украины и ждут приказа о выступлении за свободу трудящегося народа». Так началась история 1-го полка червоных казаков. Через год на фронтах гражданской войны сражалась уже дивизия червоных казаков под командованием молодого комдива героя-большевика Виталия Шумакова. За отличия в боях при разгроме Деникина дивизия была награждена Почетным Революционным Красным Знаменем от ВЦИК.



Знамя 1-го Северного  
Туркестанского полка.



В составе 51-й стрелковой дивизии сотни верст в боях и походах прошел 456-й полк. Он сражался на Восточном фронте, участвуя в разгроме войск Колчана, затем на Юго-Западном и Южном фронтах и, закончив свои боевые действия ликвидацией маховских банд в Крыму, встал на охрану границы с Румынией.



Знамя Политпросветотдела  
управления Петроградского  
военного округа.





51-я стрелковая дивизия  
под Перекопом.

1-я батарея 1-й легкой артиллерийской  
бригады 1-го корпуса Рабоче-Крестьянской  
Красной Армии (Февраль 1918 г.).



В. В. Зеленин,  
М. М. Сумарокова

## Легенды и действительность

Загадки и факты  
из биографии  
Красного Дундича



Дундич.

Можно без всякого преувеличения сказать, что имя героя гражданской войны серба Олеко Дундича известно в нашей стране буквально всем. Этого бесстрашного кавалериста помнят убежденные сединами участники гражданской войны, особенно бойцы и командиры Первой Конной армии. О нем знают и десятилетние пионеры (подвигам Дундича посвящена не одна страница в учебнике по истории для 4-го класса). Его имя и его подвиги овеяны легендарной славой.

О Дундиче написаны статьи и книги, пьесы и поэмы. Ему посвящен советско-югославский кинофильм — первый совместный фильм, созданный мастерами кино СССР и Югославии.

Но если до второй мировой войны о

Красном Дундиче знали и помнили только советские люди, то после нее имя Дундича приобрело в Югославии такую же известность, как и в Советском Союзе.

Казалось бы, о столь популярном герое благодарные потомки должны знать все: где и когда он родился, кто его родители, как он учился в школе, чем занимался до начала первой мировой войны, каким путем оказался в России, когда началась его служба в Красной Армии и так далее и тому подобное. На самом же деле из всей жизни Красного Дундича достоверно известны только два с небольшим года — с весны 1918-го до лета 1920-го. 8 июля 1920 года он погиб под Ровно в бою с белополяками.

Вполне уместно задать вопрос: как же так, неужели за пятьдесят лет истории не смогли выяснить биографию героя-интернационалиста, Красного серба Дундича? На этот вопрос приходится ответить отрицательно, хотя за последние годы появилось не мало версий биографии героя, особенно в Югославии. Да и в советской литературе о гражданской войне существует невообразимая путаница и разницей в сведениях о биографии Дундича до его вступления в Красную Армию.

Рассмотрим, как отвечают на поставленные нами выше вопросы многочисленные биографии Дундича, и проследим, как за последние десять лет развивались поиски новых сведений о нем. Наконец, сообщим о достигнутых нами результатах.

Первая известная биография Дундича была опубликована вскоре после его гибели. В органе Политуправления Первой Конной армии газете «Красный кавалестроитель» № 266 от 22 октября 1920 года под рубрикой «За идею коммунизма» была напечатана статья Б. В. Агатова «Памяти Красного Дундича (биография)».

«Товарищ Дундич, — пишет Агатов, — родился в 1894 году в городе Крушеваце в Сербии». Далее Агатов сообщал, что, разойдясь во взглядах с отцом — крупным скотопромышленником, жестоко эксплуатировавшим своих работников, Дундич после окончания второго класса гимназии бросил родительский дом и поступил в ученики к механику. Два года жил в Америке. В 1912—1913 годах он в качестве оружейного техника участвовал в рядах сербской армии в Первой и Второй Балканских войнах. С начала мировой войны Дундич воевал против австро-германских войск за доблесть, проявленную в боях на Дунае, был произведен в подпоручики. Он был дважды ранен и в 1916 году попал в плен, откуда в том же году бежал, переселился в Россию, где поступил в формировавшийся в Одессе из югославянских военнопленных Сербский добровольческий корпус. После Февральской революции Дундич ушел из Сербского корпуса и поступил в один из казачьих полков. После Октябрьской революции он встал на сторону Советской власти и возглавил сформированный им в Одессе красногвардейский отряд из сербов-интернационалистов. Сражался против гайдамацких и кадетских банд. Далее Б. В. Агатов сообщает о действиях Дундича под Воронежем и на Дону (в 1918 г.), на Царицынском фронте, говорит о том, что он был ранен 16 раз, сообщает, что Дундич отправился на Поль-

ский фронт, и, наконец, рассказывает о его гибели 8 июля 1920 года под Ровно.

Б. В. Агатов не указывает источника, из которого он почерпнул сведения о жизни героя до его появления в рядах Первой Конной армии. Можно предположить, что это были либо документы, сохранившиеся в архиве штаба Первой Конной, либо рассказы самого Дундича о себе, либо, наконец, рассказы товарищей о Дундиче.

Составленная Агатовым биография Дундича с некоторыми изменениями была повторена в брошюре, изданной Политуправлением Первой Конной армии в 1921 году под названием «Конная Армия, ее вожди, бойцы и мученики». Сокращенный вариант этой же биографии вошел в публикацию «Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917—1921 гг.» (составители Л. Лежава и Г. Рукавов), вышедшую в 1922 году.

При внимательном взгляде на литературу 20—30-х годов бросаются в глаза серьезные разночтения в изложении многих фактов из жизни Дундича, в связи с чем возникает целый ряд вопросов, относящихся главным образом к ранним годам жизни героя.

В литературе о гражданской войне, а особенно в книгах и статьях, специально посвященных Конной армии, о Дундиче писалось довольно много. Следующая его подробная биография вышла в 1938 году в сборнике очерков «Герои гражданской войны». При ознакомлении с этой биографией создается впечатление, что ее автор<sup>1</sup> не был знаком с агатовской биографией Дундича. Здесь почти все не так, как у Агатова.

Дата рождения — 1893 год (у Агатова — 1894-й).

Место рождения не указано.

Образование — «успешно окончил среднюю школу, ...стал народным учителем» (у Агатова — 2 класса гимназии, потом — оружейный техник).

Нет упоминания об Америке.

Попал в плен к австрийцам (у Агатова — к немцам).

Вступил в Сербский добровольческий корпус, но воевать отказался (у Агатова — участвовал в сражении в Добрудже).

Опущено все, что говорится у Агатова о деятельности Дундича в Одессе, но зато

<sup>1</sup> Автор в сборнике не указан. Обозначены лишь составители сборника: К. Апаньев-Сиверский, П. Большаков, С. Борисов, В. Боргенс, Е. Герасимов, О. Котовская.

гораздо подробнее и систематичнее изложен период его пребывания в Красной Армии.

Автор этой биографии добросовестно изучил литературу о гражданской войне и особенно те материалы, в которых говорится об участии в защите молодой Советской республики интернационалистов-югославян (их обычно всех называли сербами). Поскольку Дундич сам был сербом, то его жизненный путь в данной биографии самым тесным образом увязывается с историей пребывания в России наиболее компактной группы югославян, служившей в Сербском добровольческом корпусе. О судьбах добровольцев-югославян, многие из которых стали активными борцами за дело революции, рассказал к тому времени в ряде статей Данило Федорович Сердич — комкор Красной Армии, участник Октябрьской революции и гражданской войны, серб по происхождению. Из этих статей Сердича и взято много сведений о югославянах, и судьба Дундича рисуется на фоне общей судьбы пленных, добровольцев и т. д.

Обращает на себя внимание заголовок очерка: «Дундич Иван Антонович», а в самом очерке мы читаем:

«Дундич — серб... Его звали Олеко Чолич» (стр. 134). «С первых дней службы Дундича в Красной коннице его стали звать Иваном Антоновичем» (стр. 137).

Так возникла одна из интересных проблем, связанных с биографией Дундича, — проблема его имени. При этом не делается никакой попытки объяснить, почему, когда и при каких обстоятельствах Олеко Чолич стал Олеко Дундичем. Бывший командир бригады, а потом дивизии, в которой служил Дундич, О. И. Городовиков, возможно желая распутать создавшийся клубок, еще больше запутал его:

«Серб по происхождению, Олеко Чолич по имени-отчеству, он был любимцем всех наших конников... Звали его просто Антон Иванович (!), так как Олеко Чолич выговорить бойцам было трудно» (О. И. Городовиков, В рядах Первой Конной. Воениздат, 1939, стр. 65).

Итак: Олеко Дундич, Олеко Чолич, Олеко Чолич Дундич (где Чолич — отчество), Дундич Иван Антонович, Дундич Антон Иванович. Есть над чем задуматься!

Следующая биография Дундича вышла в 1939 году: А. Косарев, Олеко Дундич («Военно-исторический журнал», № 4, ноябрь 1939 года). Здесь также очень ясно видны целые куски из статей Сердича.

То, что Сердич говорит о сербах в Красной Армии, А. Косарев распространяет и на Дундича. В статье Косарева наряду с этим приведены интересные высказывания о Дундиче его боевых соратников — начальника полевого штаба Первой Конной армии С. Зотова, начальника разведки И. В. Тюленева. О гибели Дундича подробно рассказывает бывший комиссар эскадрона Варышаев. Косарев тесно связывает действия Дундича в 1918 году с общим ходом гражданской войны (участие в «Ворошиловском походе»). Ранний период жизни Дундича Косарев излагает по биографии, опубликованной в сборнике «Герои гражданской войны».

В статье И. Орестова «Памяти Олеко Дундича», опубликованной в «Военно-историческом журнале» № 9 за 1940 год, сообщается много новых ценных фактов о деятельности Дундича в рядах Красной Армии, почерпнутых из архивов и газет того времени<sup>1</sup>. Однако в освещении раннего периода жизни героя работа Орестова ничего нового не внесла.

И в годы Великой Отечественной войны и после нее интерес к Дундичу не уменьшился. Более того, благодаря многочисленным советским публикациям и художественным произведениям о Красном Дундиче к советской читательской аудитории подключилась и югославская, с живым интересом следившая за поисками новых биографических сведений о своем соотечественнике — герое гражданской войны. И нет ничего удивительного в том, что в этом потоке литературы появились многочисленные новые версии, что потребовало исследовательского подхода к биографии Дундича.

Одним из первых попытался это сделать И. Д. Очак, посвятивший Дундичу несколько страниц в статье «Из истории участия югославян в борьбе за победу Советской власти в России (1917—1921 гг.)», опубликованной в 1957 году в сборнике статей «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы» (Москва, 1957).

Биографию Дундича И. Д. Очак начинает с изложения биографии, написанной Агатовым, дополняя ее некоторыми сведениями, почерпнутыми из других источников (архивные документы, воспоминания участников гражданской войны) и относя-

<sup>1</sup> Орестов впервые опубликовал документ о награждении Дундича орденом Красного Знамени, привел интересные материалы о Дундиче из газет «Красный кавалерист» и «Воронежская коммуна».

шихся исключительно к периоду после середины 1918 года. При этом Очак не проанализировал вышедшую к тому времени литературу о Дундиче, не сопоставил различные версии о месте его рождения и т. д. Их появление он объясняет следующим образом:

«О. Дундич, — пишет он, — по-видимому, из конспиративных соображений давал о себе в период гражданской войны неточные сведения. Это и породило впоследствии многочисленные предположения о его месте рождения».

Заключение И. Д. Очака: «До сих пор остается невыясненным ряд данных из его биографии. Например, все еще остаются неизвестными точное имя героя, год и место его рождения» — говорит о том, что и к сведениям, сообщаемым Агатовым, этот автор относится критически.

При этом подвергнуты сомнению не только год и место рождения, но и имя и фамилия Дундича!

К вопросу об имени добавим еще один штрих. Восприняв Дундича из советской литературы, югославская литература и публицистика переделала имя Олеко, под которым мы знаем Дундича, в Алекса, свойственное сербскохорватскому языку. Югославские исследователи — а ими были и остаются главным образом журналисты — стали разыскивать Алексу Дундича.

Во второй половине 50-х годов главные поиски развернулись в Югославии. Версии о месте рождения Дундича появлялись одна за другой. Участник гражданской войны Н. Костиц, живущий в Югославии, считал фамилию Дундич настоящей и назвал место его рождения деревню Подраван в Восточной Боснии. Называлась деревня Мркаль — тоже в Восточной Боснии. Участник гражданской войны персональный пенсионер из Челябинска Э. М. Чопп утверждал, что Дундич родился в Далмации, недалеко от города Сень. Но подтверждения всем этим предположениям найти не удалось.

Летом 1957 года белградская газета «Вечерне новине» вела усиленные поиски места рождения Дундича. При этом газета сообщила основные сведения о Дундиче, известные из советской литературы. В том числе упоминалась и фамилия Чолич. Чоличей в Югославии много. Один из них — инженер Лазарь Чолич — вызвал следующую версию:

Недалеко от города Ужице в Западной Сербии во второй половине прошлого века жил священник Чолич, у которого было

три сына — Милан, Милутин и Благое. Милан умер, Благое жив, а вот Милутин пропал без вести в годы первой мировой войны. Так родилась и укрепилась версия, что Дундич не кто иной, как Милутин Чолич. Автор этой версии Лазарь Чолич является племянником Милутина, а таким образом и «племянником Дундича».

Но как и когда Милутин Чолич стал Олеко Дундичем? Лазарь Чолич отвечает на этот вопрос следующим образом.

В 1915 году Милутин Чолич, будучи солдатом сербской армии, лежал раненым в одном из госпиталей. При прорыве австро-германцев он был захвачен в плен и отправлен в один из австрийских лагерей. Там он встретился и подружился с участником убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве, неким боснийцем Арсеном Деспотовичем, который, боясь расправы, скрывался под именем Алексы Дундича. Вскоре Деспотович решил получить деньги, которые ему был должен один сараевский купец. Он послал этому купцу письмо и попросил переслать деньги в лагерь на его лагерный номер. Купец решил денег не возвращать и заявил полиции, что в лагере под указанным номером скрывается один из участников убийства эрцгерцога, Алекса Дундич. Арсен Деспотович был схвачен полицией, а его вещи достались его другу Милутину Чоличу. В кармане пальто Деспотовича было лагерное удостоверение на имя Алексы Дундича. Вскоре Милутин Чолич бежал из лагеря и пробрался в Россию. Там он решил не называть своего настоящего имени, а стал Дундичем. В России Алексу переделали в Олеко.

Эту версию подтвердил пенсионер, участник гражданской войны С. П. Ивиц, проживающий в городе Петропавловске Казахской ССР. По его утверждению, в одном из боев Дундич был ранен и упал с коня. Ивиц подбежал к нему, и тут Дундич произнес поразившие его слова: «Если умру, пошли в Сербию привез от Милутина Чолича». Далее Дундич разъяснил ошеломленному Ивицу, что его настоящее имя и фамилия Милутин Чолич.

Эти воспоминания С. П. Ивица опубликовали «Комсомольская правда» и «Известия». Между Ивицем и семьей Чоличей в Югославии завязалась переписка.

В этой переписке родилась еще одна версия относительно того, как Милутин Чолич стал Алексой Дундичем. В письме С. П. Ивицу брат Милутина — Благое Чолич утверждал, что в 1909 году Милутин начал работать на одной из белград-



ских фабрик, где вошел в подпольную социал-демократическую группу и где он, по видимому, и получил кличку Алекса Дундич.

Это письмо Б. Чолича С. П. Ивицу опубликовала «Красная звезда» 18 сентября 1957 года. На основании этой статьи версия «Дундич — Чолич» вошла во 2-е издание БСЭ (т. 51). Версию «Дундич — Чолич», хотя и с некоторыми оговорками, принял Г. Боровик («Огонек» № 48 за 1957 год). В Югославии же широкое хождение получила версия Лазаря Чолича: «Милутин Чолич — Арсен Деспотович — Олеко Дундич» (разумеется, «Алекса»).

Эту же версию со всеми подробностями (вплоть до двух вариантов «переименования» Чолича в Дундича) воспринял А. П. Молчанов из Ровно — автор книги «Олеко Дундич», опубликованной Госполитиздатом УССР в 1959 году.

Пытаясь проследить путь Дундича в России, Лазарь Чолич пришел к некоторым результатам, которые оказались в дальнейшем небесплодными при научном исследовании биографии Дундича. Так, в частности, Л. Чолич отмечал, что ему не удалось найти подтверждения того факта, что Дундич был в составе Сербского добровольческого корпуса в России. По словам Л. Чолича, он просмотрел списки личного состава корпуса, хранящиеся в архиве Военно-исторического института в Белграде, и не нашел там ни Чолича, ни Дундича.

Так появились основания сомневаться в том, что Дундич служил в Сербском добровольческом корпусе (об этом говорится во всех биографиях Дундича).

Желая все же получить подтверждения своей гипотезы, Лазарь Чолич стремился найти образцы почерка Дундича, чтобы сравнить их с имеющимися, хотя и весьма немногочисленными образцами почерка Милутина Чолича (одна-две открытки домой с фронта). Но советские архивы и музеи не смогли выполнить просьбу Л. Чолича. ввиду того, что в них не было обнаружено ни одного документа с собственноручной подписью Дундича.

Но не все исследователи приняли как доказанную гипотезу «Дундич — Чолич».

Одним из первых отверг ее писатель А. М. Дунаевский, автор книги «Олеко Дундич» (Москва, Воениздат, 1960). Книга Дунаевского — литературная биография Дундича, основанная на солидном материале, собранном автором в архивах, почерпнутом из опубликованных воспоминаний участников гражданской войны, а

также путем переписки и личных бесед с лицами, знавшими Дундича.

Ранний период жизни Дундича Дунаевский излагает по Агатову. Дунаевский не только принимает за основу сведения Агатова о том, что Дундич родился в городе Крушеваце, но и ищет тому подтверждения. Ему удалось разыскать жену Дундича Марию Алексеевну Дундич (урожденную Самарину), казачку из придонского хутора Колдаирова. По ее словам, Дундич говорил ей, что он родом из окрестностей города Ниша в Сербии. Это окрылило Дунаевского, так как Крушевац расположен недалеко от Ниша. Но на втором этапе поисков писателя постигла неудача: из Крушеваца ему ответили, что следов семьи Дундича в самом Крушеваце обнаружить не удалось, и обещали продолжать розыски в окрестных селах.

Хотя книга Дунаевского не внесла ничего нового в разъяснение «темных» мест в биографии Дундича, благодаря ей поставлен под сомнение еще один из пунктов агатовской биографии Дундича: рождение нашего героя в Крушеваце.

Итак, Лазарь Чолич установил, что имени Дундича нет в списках Сербского добровольческого корпуса, а розыски Дунаевским следов Дундича в Крушеваце оказались безуспешными.

Но, может быть, есть солидные подтверждения факта пребывания Дундича в Одессе во второй половине 1917 — начале 1918 года, после его выхода из корпуса? Увы, таких тоже нет! Полностью достоверных, то есть в первую очередь документальных, данных о пребывании Дундича в Одессе в указанное время нет, хотя и в статье Агатова и в ряде других (правда уже гораздо более поздних) рассказывается о деятельности Дундича в Одессе в конце 1917 — начале 1918 года.

Разберемся в этом вопросе.

В 1957 году был опубликован сборник под названием «Дело трудящихся всего мира (факты, документы, очерки о братской помощи и солидарности трудящихся зарубежных стран с народами Советского Союза)». В нем помещены воспоминания участника гражданской войны Адольфа Шипека<sup>1</sup>, утверждающего, что Дундич был командиром югославянского подразделения в Одесской интернациональной Красной гвардии. Кстати говоря, по Шипе-

<sup>1</sup> Воспоминания А. Шипека являются литературной обработкой стенограммы его доклада, сделанного в 1932 году в Москве.

ду, Дундич до войны был учителем истории. В 1958 году в челябинском журнале «Южный Урал» (№ 1) были опубликованы воспоминания Э. М. Чоппа (машинописный текст этих воспоминаний хранится в Одесской государственной научной библиотеке). По Чоппу, Дундич также активный участник революционного движения в Сербском корпусе и в Октябрьских событиях в Одессе.

Эти данные перекочевали уже в другие, главным образом публицистические произведения. Они приводятся в книге одесского публициста В. Т. Коновалова «Подвиг «Алмаза» (Одесса, 1963), а также в статье его земляка В. А. Загоруйко «Летопись дружбы» (газета «Знамя коммунизма», 2 декабря 1962 года) и других. Попали они и в некоторые исторические исследования.

Одесский историк А. И. Гуляк решил собрать материалы о пребывании Дундича в Одессе. И тут его постигла неудача. Несмотря на все его старания, ему не удалось обнаружить никаких документов, подтверждающих данные о Дундиче, приводимые А. Шипеком и Э. Чоппом. Об этом Гуляк докладывал на Всесоюзной научной сессии, посвященной истории участия трудящихся зарубежных стран в Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне в России (Одесса, ноябрь 1965 года).

Так в чем же дело? А дело, как нам представляется, в том, что имя Дундича, по-видимому, заслонило другое, более скромное и близкое к нему по звучанию имя.

В книге видного югославского коммуниста, участника гражданской войны Никола Груловича «Югославы в войне и Октябрьской революции» (Белград, 1962) говорится о том, что в Одессе было два югославянских отряда Красной гвардии: «Первый одесский югославянский отряд Красной гвардии, насчитывавший 400 бойцов, которым командовал Никола Радакович, и Второй одесский югославянский отряд Красной гвардии под командованием Делича, насчитывавший 300 бойцов» (стр. 178).

Далее Грулович пишет, что 11 февраля 1918 года эти оба отряда слились в один. Кроме того, к ним присоединился и киевский отряд под командованием Максима Чанака. Командиром отряда был избран Н. Радакович, комиссаром — М. Чанак. Делич стал командиром одного из батальонов. Перед австро-германским нашествием этот отряд вместе с другими красногвар-

дейскими частями, отбиваясь от наседавшего врага, отступил через Николаев и Херсон на Екатеринослав и принял участие в его героической обороне. Максим Чанак героически погиб на днепровском мосту. О дальнейшей судьбе Делича пока ничего не известно. Мы считаем возможным высказать предположение, что близость звучания двух фамилий — Делич и Дундич — главная причина явления этого факта в биографиях Дундича.

Обратим внимание на одно важное обстоятельство, а именно на то, что Н. Грулович, находившийся у истоков и в самом центре революционного движения в Сербском добровольческом корпусе, ни разу не упоминает о Дундиче ни в корпусе, ни в Одессе, хотя он, как добросовестный исследователь, старался не пропустить ни одного имени!

Итак, под очень серьезные подозрения поставлен еще один тезис Агатова — пребывание Дундича в Одессе.

Так все-таки с какого момента мы знаем достоверно о пребывании Дундича в России? Когда он встал на службу революции? На эти вопросы можно ответить довольно точно.

Самым авторитетным, безусловно, является свидетельство выдающегося югославского интернационалиста, организатора и командира одного из югославянских отрядов Красной гвардии в Екатеринославе, участника обороны Царицына, видного конноармейца (комполка, комбригады, а позднее комдива и комкора Красной Армии) Данило Сердича. Что он сообщает о Дундиче?

Выступая в 30-х годах (публично и в печати) с воспоминаниями о гражданской войне, Сердич упоминал о Дундиче в следующем контексте:

«Отряд т. Дундича — 150 человек, входивший в группу Сиверса. Этот отряд, один из самых героических отрядов, пробился к Царицыну и впоследствии влился в Морозово-Донецкий отряд, которым руководил ростовский портной Щаденко»<sup>1</sup>.

Исследователь не может пройти мимо того факта, что Д. Сердич, который сам был и в корпусе, и в Одессе, и в Екатеринославе, не упоминает ни о службе Дундича в Сербском добровольческом корпусе, ни о его пребывании в Одессе. И. Д. Очак пишет, что Сердич, «конечно, знал лично

<sup>1</sup> Этот факт присутствует и в биографии из сборника «Герои гражданской войны» и в работе А. Косарева.

О. Дундича если не раньше, то по крайней мере по участию в боях под Царицыным». Думается, что это утверждение слишком категорично. В высказываниях Сердича о Дундиче нет на то прямых указаний. Более того, форма этих высказываний скорее говорит о том, что Сердичу не довелось лично встречаться с Дундичем. «Мы знаем, — писал Сердич в 1935 году в статье «Балканские рабочие и крестьяне в коннице Буденного» («Огонек», 1935, спецномер), — что т. Дундич был самым храбрым героем во всей Конной Армии». В боях с белополяками, отмечает в другой раз Д. Сердич, «погиб один из лихих бойцов, Красный Дундич, о котором часто вспоминают Клим Ворошилов, Семен Буденный и вся наша Конная армия».

Для нас сейчас, наконец, не так уж и важно, встречался или нет Сердич с Дундичем во время боев за Царицын или в другое время. Важно то, что Сердич ничего не сообщает о раннем периоде пребывания Дундича в России (юрпурс и Одесса).

Итак, ни Н. Грулович, ни Д. Сердич не подтверждают этого пункта из агатовской «Биографии». Не нашел тому подтверждений и А. И. Гуляк.

Но, может быть, Грулович совсем не знал Дундича? В том-то и дело, что Грулович не только знал его, но и какой-то путь прошел вместе с ним. Отступая под натиском австро-германцев в рядах интернационального отряда, входившего в состав отрядов Сиверса, Грулович проделал путь от Бахмута (ныне Аргемовск) до Царицына. «С нами в Царицын, — пишет он, — пришла и группа бойцов во главе с Алексой Дундичем из кавалерийского дивизиона Сиверса» (стр. 227).

Таким образом, два авторитетнейших источника — Сердич и Грулович — единодушно утверждают, что Дундич прибыл в Царицын летом 1918 года и что перед этим его отряд входил в состав войск Р. Ф. Сиверса. Опираясь на них, мы можем со значительной долей вероятности считать, что именно с этого времени начинается «ясный» период биографии Дундича. Но предшествующий ему период (назовем его «темным»), к сожалению, существенно не прояснился. Более того, поставлены под сомнение многие пункты биографии Дундича, написанной Агатовым, внесена путаница в вопрос о месте и годе его рождения, возникли серьезные сомнения в подлинности имени героя, появилась версия «Дундич — Чолич».

Ничего существенно нового не внесла в биографию Дундича и вышедшая в 1966 го-

ду книга И. Д. Очака «Югославянские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России (1917—1921 гг.)», в которой Дундичу посвящено 12 страниц (258—270).

Здесь, как и в упомянутой нами выше статье, Очак считает, что пока «нельзя решить окончательно некоторые вопросы, относящиеся к биографии О. Дундича». При этом он пишет, что Дундич, «как и многие в это время, сознательно запутывал и скрывал правду о себе, и в первую очередь фамилию и место рождения, боясь репрессий со стороны властей в отношении своих родных и друзей на родине». Это утверждение названный автор подкрепляет такого рода аргументом: «Изменение имен, фамилий и присвоение себе псевдонимов («Красный» и т. п.) или русских фамилий было общепринято среди бывших военнопленных-югославян, находившихся в рядах Красной Армии» (стр. 259). На наш взгляд, этот тезис, не подкрепленный примерами, звучит недостаточно убедительно. Если же говорить о Дундиче, то слово «Красный» — это никак не присвоенный им самому себе псевдоним, а почетный эпитет, который его товарищи и современники прилагали к его фамилии в знак высокого признания его заслуг перед революцией.

«Красным Дундичем прозвала его Конная армия, выражая этим свое уважение к нему», — писал в рассказе «Гусары» венгерский писатель-коммунист Матэ Залка.

И. Д. Очак в общем и целом отвергает версию «Дундич — Чолич», но делает он это весьма непоследовательно. Заявив, что «более веские доказательства пока есть в пользу мнения, что Дундич и Чолич — две разные фигуры», Очак тут же оговаривается, заявляя, что «считать, что проблема эта уже решена окончательно, пока еще нельзя». Более того, ему кажется весьма соблазнительным пристегнуть некоторые факты из жизни Милутина Чолича к биографии Дундича, составленной Агатовым, которую Очак, как и в первой своей работе, берет за основу.

Повторяя изложение агатовского текста, Очак, однако, обрывает его после второй фразы, кончающейся словами о том, что Дундич поступил в механики, и (правда, с оговоркой) ищет подтверждение этому в версии «Дундич — Чолич» (работа Милутина Чолича в 1909 году на фабрике). На этот раз Очак опускает идущее далее у Агатова упоминание о пребывании Дундича в течение нескольких лет в Америке, видимо как совершенно ненадежное. При-

ведя далее две-три фразы по Агатову, он затем опять возвращается к версии «Дундич — Чолич» и цитирует рассказ С. Ивица о том, как Милутин Чолич появился в России весной 1916 года. После этого снова идет изложение текста Агатова с известными стилистическими переделками и вкраплениями подробностей, не подкрепленных никакими источниками. Явно взяты из книги Дунаевского (но без ссылки) встреча Дундича на пути к Царицыну с начальником штаба армии Ворошилова Н. А. Рудневым и дружба с ним.

«Ясный» период жизни Дундича — начиная с Царицына и до его гибели — излагается Очаком в его книге более систематически и гораздо полнее, чем в статье, с привлечением более широкого материала, как опубликованного, так и некоторых архивных документов.

В «темный» же период Очак пока не внес ничего нового. Более того, выступая против путаницы, вносимой многими знаковыми Дундича, он сам в этом отношении безгрешен. Как мы уже видели, отвергая версию «Дундич — Чолич», Очак тем не менее готов взять из нее отдельные факты. Нет ясности и в его изложении вопроса об имени и фамилии Дундича. Так, говоря на странице 259 о том, что Дундич «скрывал правду о себе, и в первую очередь фамилию и место рождения», Очак тем самым остается на прежних позициях, высказанных им в упомянутой нами ранее статье, то есть не считает фамилию Дундич подлинной. Но на следующей странице, изложив версию С. П. Ивица, он пишет:

«Между тем ряд заявлений Ивица пока документально не подтверждается. Например, неправдоподобным является самый выбор О. Дундичем имени для псевдонима, так и его подпольная работа на белградской фабрике... Уже то обстоятельство, что в Сербии нет имени Олеко, вызывает серьезное сомнение в правильности ряда сведений, сообщаемых Ивицем. Более верным кажется мнение тех, которые утверждают, что О. Дундич — это настоящая фамилия героя гражданской войны». Итак, по Очаку:

1) Фамилия Дундич не настоящая, настоящую он скрывал.

2) Псевдонимом она быть не могла, так как в Сербии нет имени Олеко.

3) Более верным надо считать мнение тех, кто утверждает, что О. Дундич — настоящая фамилия (?!).

Выбраться из этого лабиринта мы не в

состоянии и предоставляем сделать это его создателю.

Итак, к чему пришла литература о Дундиче на сегодняшний день?

Весь период его жизни до начала отхода к Царицыну в рядах войск Сиверса поставлен под серьезное сомнение. Исследователям не удалось найти подтверждений ни одному пункту агатовской биографии Дундича. Данные, приводимые такими достойными доверия современниками Дундича, как Данило Сердич и Никола Грулович, позволяют сделать вывод, что путь Дундича по советской земле начался весной 1918 года в районе формирования армии Сиверса.

Вот на такой основе мы и начали наш самостоятельный поиск.

С самого начала мы подвергли сомнению еще ряд пунктов агатовской биографии, до этого времени не привлекавших внимания исследователей. Что это за пункты? Согласно Агатову, Дундич был в сербской армии оружейным техником. Доказательство, что это неверно, у нас еще не было, но большие сомнения в достоверности этого утверждения зародились. И зародились они на чисто психологической основе. Если молодой Дундич был механиком, если он поступил в армию оружейным техником, то откуда у него впоследствии такая тяга к кавалерии? Откуда у него такие феноменальные способности лихого наездника? Ответить на этот вопрос мы себе не могли, но поиски ответа на него с повестки дня не снимали.

Далее. Согласно Агатову, Дундич еще в сербской армии стал подпоручиком. Прежде всего мы обратились к списку офицеров Сербского добровольческого корпуса, хранящемуся в Центральном государственном военно-историческом архиве. Дундича в этом списке обнаружить не удалось. Из этого мы сделали вывод, имеющий три версии:

1) Дундич был в корпусе, но не был офицером.

2) Дундич был подпоручиком, но не был в корпусе.

3) Дундич не был подпоручиком и не служил в корпусе.

Первая версия отпадает благодаря исследованиям, сделанным Лазарем Чоличем в архиве Военно-исторического института в Белграде. Остаются две другие. Больше вероятности было, что Дундич был подпоручиком, так как, например, член Военного совета Первой Конной Е. А. Щаденко в речи при вручении Дундичу ордена Красного Знамени 2 марта 1920 года в

Ростове-на-Дону назвал Дундича «бывшим сербским офицером». Но мы не отбрасывали и вероятности того, что Дундич мог и не быть офицером.

Что касается возможного места рождения Дундича, то нам с самого начала казалось, что наиболее вероятной югославянской областью, в которой он родился, должна быть не Сербия и не Босния и Герцеговина (само собой разумеется, не Македония и не Словения), а Далмация. Почему? Этот вывод мы делали, исходя из первоначального смысла фамилии Дундич. «Дундо» — это типичное далматинское словечко, и означает оно «дядя». Но в Далмации распространено и имя Дундо. А от имен во всех югославянских землях вплоть до самых недавних времен образовывались фамилии.

Наконец, нас весьма заинтересовала проблема имени Дундича, особенно некоторые ее стороны, не привлечение должного внимания исследователей. Внимательно изучая всю современную Дундичу документацию, связанную с его деятельностью в Красной Армии (официальные документы, газетные статьи и др.), мы обратили внимание на то, что в этих материалах нигде нет имени «Олеко»! И действительно, и в приказах по Конной армии (о назначениях и перемещениях Дундича), и в постановлении РВС Конной армии о его награждении орденом Красного Знамени, и в удостоверении к этому ордену, и в последнем приказе о его гибели — всюду он назван либо просто Дундичем, либо товарищем (тов., т.) Дундичем.

Фамилия Дундича нередко появлялась в газетах того времени, особенно в 1919 и 1920 годах. И здесь нам тоже не удалось обнаружить имени Олеко. Как и в официальных приказах, он всюду назван либо как «товарищ Дундич», либо с прибавлением эпитетов: «Красный Дундич», «Красный серб Дундич», «герой Дундич».

То же самое относится и к биографии Дундича, составленной Б. В. Агатовым, и к его биографии, опубликованной в брошюре «Конная армия, ее вожди, бойцы и мученики», изданной Политуправлением Первой Конной армии в 1921 году.

Мы прекрасно понимали, что из этого обстоятельства пока еще нельзя было делать каких-либо выводов относительно имени Дундича, особенно если иметь в виду, что в годы Октябрьской революции и гражданской войны «слово гордое товарищ» заменяло многие имена и инициалы. И тем не менее пройти мимо этого обстоятельства мы не имели права.

Это, естественно, обострило наш интерес к другим именам Дундича, и в первую очередь к имени Иван. Когда стали звать серба Дундича Иваном, где, кто? Литература не давала на этот вопрос ясного ответа. В статье «Дундич Иван Антонович» указывалось, что так стали звать Дундича с первых дней его службы в Красной коннице.

И. Д. Очак, хотя и говорит о проблеме имени, но он не придает значения имени Иван. Прочитывая приказ С. М. Буденного от 2 сентября 1919 года — «Врид командира бронепоезда «Буденный» (бывш. «генерал Мамонтов») назначается состоящий при мне для поручений товарищ Дундич Иван», — Очак добавляет: «Как мы уже указывали (где — неясно. — В. З., М. С.), красноармейцы часто называли О. Дундича Иваном Антоновичем, и это нашло отражение в документах» (стр. 265 книги).

Как видно из приведенного приказа, Иваном называли Дундича не только красноармейцы. Так его называл и комкор С. М. Буденный, который, кстати говоря, называет его не Иваном Антоновичем, а Иваном Дмитриевичем (С. М. Буденный, Пройденный путь. М., 1958, стр. 267). Но одно дело называть человека его прозвищем или измененным именем в товарищеском обиходе, а другое дело употреблять это прозвище в таком документе, как приказ. На наш взгляд, наличие имени Иван в приказе о назначении Дундича командиром бронепоезда является фактом, заслуживающим серьезного внимания.

Но Дундич назван Иваном не только в этом документе. Есть еще один, который (и это чрезвычайно интересно!) исходит не от конноармейцев. Да и составлен он задолго до вступления Дундича в Конный корпус.

Вкратце расскажем об обстоятельствах, при которых был составлен этот документ.

Как известно, весной 1918 года под влиянием Октябрьской революции и в результате неумолимой организаторской работы ленинской партии наиболее революционные элементы из рядов военнопленных (а пленных в России к осени 1917 года было около 2 миллионов) стали объединяться в коммунистические группы. Группы иностранных коммунистов при РКП(б) создавались в основном по национальному признаку. Одной из важнейших задач интернационалистских организаций были агитация и пропаганда за вовлечение бывших военнопленных в ряды Красной Армии.

Летом 1918 года в Царицыне имелась



Дундич среди легендарных командиров 1-й Конной Армии.

Федерация иностранных коммунистов, руководящую роль в которой играла немецкая коммунистическая группа. Председателем Царицынской федерации был немец Гильберт Мельхер.

В июне 1918 года возник конфликт между Дундичем и Царицынской федерацией иностранных коммунистов, при активном участии которой происходило формирование интернационального пехотного батальона. В качестве командира федерация выдвинула Дундича. Однако заядлый кавалерист Дундич решительно отказывался командовать формируемым интернациональным пехотным батальоном. Более того, он начал сманивать оттуда бойцов в кавалерийский отряд, который он хотел организовать, суля им повышенные оклады. Агитация Дундича, естественно, мешала нормальной работе по формированию батальона, и федерация решила принять меры. В конце июня 1918 года было созвано заседание, на которое были вызваны Дундич и ряд бойцов из батальона. Опрошенные бойцы рассказали о действиях Дундича.

Все это было запротоколировано (на немецком языке), а выписка из протокола (на русском языке) передана в партийные органы. На этом заседании было принято решение исключить Дундича из состава батальона и принять меры, чтобы он не был принят в другие части Красной Армии. Однако командование Красной Армии и Царицынский губком партии, видимо, сочли возможным сохранить Дундича в рядах Красной Армии и, как показали дальнейшие его дела, не ошиблись.

В документах, отражающих этот конфликт и составленных, как уже говорилось, на немецком и русском языках, несколько раз написано: Иван Дундич. Основной документ (протокол заседания от 27 июня 1918 года) является самым ранним из известных до сих пор документов о Дундиче. Дело было серьезное, конфликтное. Здесь нужна была очень большая точность. Имя надо было записать тоже точно. И тем не менее рядом с фамилией Дундича стоит имя Иван!

Поскольку протокол велся на немецком

языке, то можно предположить, что и само обсуждение, которым руководил Г. Мельхер, происходило на этом же языке, и кто-то, владевший немецким и сербскохорватским языком, переводил Дундичу вопросы руководителей федерации и ответы бойцов (если они говорили тоже по-немецки). Присутствие переводчика зафиксировано в протоколе, в конце которого стоит: «Für Dunditsch Iwan» («За Дундича Ивана») и подпись.

Но самое ценное в этом документе заключается в том, что под протоколом стоит и подпись самого Дундича. Это... три креста, начерпанные неумелой рукой!

Выходит, Дундич был неграмотным? Об этом прямо говорится в немецком протоколе:

«Тов. Дундич Иван, который из-за неумения читать и писать оказался неспособным занять доверенный ему пост командира батальона, а позднее командира 2-й роты, по своей инициативе явился к товарищам Мельхеру и Вадашу с заявлением о своем отказе от должности командира и с просьбой перевести его в кавалерийский дивизион»<sup>1</sup>. Именно это обстоятельство и было причиной того, что Дундич отказывался быть командиром интернационального батальона!

Из этого нового штриха в биографии Дундича можно сделать по крайней мере два вывода. Во-первых, что Дундич никак не мог быть подпоручиком, для этого было нужно образование. Так рушится один из последних оставшихся в неприкосновенности пунктов биографии Агатова. Во-вторых, это объясняет отсутствие в советских архивах документов, написанных рукой Дундича или даже только подписанных им.

Какие же моменты из раннего периода жизни Дундича, упомянутые в агатовской биографии, до сих пор еще не подверглись сомнению?

Это, во-первых, сведения о том, что отец Дундича был крупным скотопромышленником. Но вряд ли Дундич мог остаться неграмотным, выйдя из такой среды. Во-вторых, пребывание Дундича в юности в Америке, что оказывается единственным пунктом, по которому пока еще нельзя было сказать ни да, ни нет. Отметим, что ни в одной из последующих биографий Дундича он не приводится. Мы уже упоминали, что И. Д. Очак привел его в своей статье, а в книге опустил без какой бы то ни было мотивировки.

Результат наших исследований оказался весьма неожиданным. Мы пришли к убеждению, что все важнейшие факты из био-

графии, написанной Агатовым, не получают подтверждения при их сопоставлении с надежными, достойными доверия свидетельствами.

Оставив пока в стороне вопрос, откуда же были взяты Агатовым факты из раннего периода жизни Дундича, мы продолжили свой поиск, сосредоточив внимание на газетах того времени, особенно на тех, которые выходили в городах, стоявших на пути буденновской конницы. Одним из таких городов был Воронеж, освобожденный от белогвардейцев 24 октября 1919 года. На следующий же день после освобождения города вышел в свет первый номер газеты «Воронежская коммуна» — органа Воронежского губернского революционного комитета и губернского бюро РКП(б). Газета уделяла большое внимание Конному корпусу под командованием С. М. Буденного. Стремясь познакомить жителей города с героями-кавалеристами, газета в № 8 от 1 ноября 1919 года опубликовала на первой странице корреспонденцию своего сотрудника Н. Никодимова под заголовком «Красный Дундич». Большой отрывок из этой корреспонденции опубликовал И. Орестов. Приведем ее полностью.

«На торжественном заседании 29 октября т. Буденный представил мне одного из своих боевых сотрудников — т. Дундича. Мужественное молодое лицо так юно улыбается, когда сидящий рядом черноусый командир корпуса т. Буденный рассказывает чудеса про его боевые подвиги, про боевую отвагу героя из героев конкорпуса — т. Дундича.

— Это он — наш красный Дундич, — говорит т. Буденный, — произвел лихой налет с четырьмя товарищами на Воронеж за несколько дней до оставления его белыми. Пять «сорвиголов» прорвались на проспект Революции и наделали такую панику, как будто в город ворвался целый полк.

— Дундич, расскажите, как вы зарубили 24 человека белых.

Дундич конфузится, он серб и не совсем правильно говорит по-русски, но товарищи по оружию пристают. Им нельзя отказать. По словам т. Дундича, эта история произошла при следующих обстоятельствах.

<sup>1</sup> „Gen. Dunditsch Iwan, welcher sich Infolge seiner Unkenntnis des Lesens und Schreibens, nicht als fähig erwies, die ihm anvertraute Stelle als Bataillons und später der 11. Kompanie zu versehen, erschien freiwillig bei den Genossen Melcher und Vads mit der Erklärung von seiner Stelle als Kommandant abzusagen und sich zur Kavallerieabteilung versetzen zu lassen“. (ЦПА ИМЛ ф. 549, оп. 1, ед. хр. 78, л. 56.)

Во время одного из боев на донском участке фронта Дундич почти один схватился с целым эскадром белых казаков.

Его окружили около 50 человек белых и схватились с неустрашимым героем. В левой руке он держал пашку, в правой револьвер, управлял лошадей ногами. Разрубая пашкой противников «до седла», он метко бил их в лоб и в сердце из револьвера и в короткое время положил на месте 24 человека. Остальные в панике отступили. Поймав одного из офицеров этого отряда, т. Дундич сел на его спину верхом и крикнул, сняв пашку:

— Довольно, надо немного отдохнуть...

В другом бою т. Дундич был введен в заблуждение одеждой белых казаков и бросился их задерживать при отступлении, приняв за своих. Он врезался в самую гущу отступающего эскадрона и начал кричать:

— Стой, назад, в атаку!

Вдруг сбоку увидел полковника в эполетах, бросился к нему и в мгновение ока зарубил на месте. И только тут он и белые поняли, в чем дело, и принялись его лупить.

Т. Дундич зарубил и перестрелял больше десятка белых, внес в их ряды еще большую панику и вернулся к своим.

Как-то раз т. Дундич наметил себе задачу выкрасть у белых санитарку у всех на глазах. Разогнав своего скакуна, он вошел в глубь неприятельских сил и среди бела дня схватил одну из санитарок белого отряда и, посадив ее к себе на лошадь, бросился назад. Но белые тоже не зедали, и на смельчака бросилась масса конных противников. Пересадив девушку себе за спину и привязав ее к себе ремнем, т. Дундич пустил в ход свой любимый прием — рубку левой рукой и стрельбу правой, и бросился с львиной дерзостью почти на сотню своих врагов. Рубя и стреляя направо и налево, взад и вперед, он пробил себе путь к своим и весь израненный вернулся. Привезенная им девушка перевязала его раны и осталась навсегда работать в Красном корпусе. По случайности ей много раз потом приходилось ухаживать за раненым Дундичем, и они теперь большие друзья.

Т. Дундич был ранен бесконечное количество раз, но ни одного опасно, хотя в нем и сидит сейчас до десятка пуль в разных частях тела, а шрамов несть числа.

— Только революционная война, — говорит т. Буденный, — может родить людей с такой львиной отвагой, — и тут же рассказывает, как к нему пришел шестнадцати-

летний мальчик-доброволец и настоял, чтобы его взяли в строй. В первом же бою мальчика ранило в правую руку навилет в тот момент, когда он собирался закурить собачью ножку. Взглянув на ранение, юный герой продолжал насыпать табак в свою сигарку, зажег спичку, закурил и тогда сказал: «Ну, теперь надо идти перевязаться». Из этого мальчика сейчас вырабатывается второй Дундич, такой же отважный кавалерист, как и его старший товарищ.

И их много, таких «Дундичей», — заявляет т. Буденный, — и в моем корпусе и в других: все они отличные боевики и прекрасные товарищи, великолепно разбирающиеся, за что они борются, за что они воюют.

С такими героями, как т. Дундич, — закончил т. Буденный, — Красная Армия трудящихся непобедима».

Так жители Воронежа узнали о Дундиче. О его популярности в городе свидетельствует небольшая заметка, опубликованная в № 15 «Воронежской коммуны» от 9 ноября 1919 года.

#### «В Большом театре»

7 ноября в Большом театре состоялся митинг-спектакль. Публики было немного из-за отвратительной погоды.

Митинг был открыт т. Карсевичем...

Речи закончились пением похоронного марша и «Интернационала». В заключение шла пьеса «Дело», в одном из антрактов которой оказавшемуся в театре герою конкорпуса т. Дундичу публика устроила шумные овации».

На первой странице № 22 от 18 ноября нас ожидала, скажем прямо, большая радость: под ставшим уже традиционным заголовком «Красный Дундич» была опубликована новая корреспонденция, автор которой подписался как «Арх-ский». Вот ее текст:

#### «Красный Дундич»

Сейчас в Воронеже находится на излечении один из героев гражданской войны т. Дундич, о котором мы уже писали в № 8 «Воронежской коммуны».

Сообщаем некоторые биографические данные из жизни этого рожденного революцией хребца.

Товарищ Дундич родился в 1896 году в Далмации близ города Имацки<sup>1</sup>, в деревне Гробои в крестьянской семье. Двенадцатилетним мальчиком т. Дундич уехал

<sup>1</sup> Правильно — Имотски. Но все жители этого района Далмации именно так произносили в те времена название этого города.



в Америку к своему дяде. Здесь он побывал и в штатах Северной Америки, и в Аргентине, и в Бразилии, где был одним из отважнейших наездников при перегоне скота. После четырех лет жизни в Америке по требованию отца мальчик Дундич вернулся домой и стал работать на отцовских виноградниках, пахать землю и вести другие крестьянские работы.

Но вскоре разыгралась кровавая бойня мировой войны, и юноша Дундич поступил добровольцем в ряды сербской армии. Здесь в боях с болгарами и австрийцами началась его военная карьера.

Когда сербская армия была разбита и оттеснена в горы Албании, т. Дундича вместе с другими перевезли на французский фронт, откуда вскоре их перевезли в Россию и бросили на австрийский фронт. В боях под Луцком т. Дундич был сильно ранен в ногу, и после двухсуточного лежания в лесу с перебитой голенью его подобрали и увезли в Австрию в плен.

Чуть оправившись от болезни, т. Дундич задумал бежать, но неудачно, его поймали, избили и засадили в тюрьму. Тут он встретился с одним русским пленным, сообщившим т. Дундичу сведения о русской революции, о возникновении Советов, о большевиках и т. д. Новый побег, и т. Дундич на Украине, где попадает на работу на рудник около Бахмута.

Наступление Каледина и немцев заставило т. Дундича приняться за организацию партизанского отряда. Напали на военный обоз, разграбили оружие и патроны, вооружили шахтеров, рабочих, крестьян, и начался ряд боевых наступлений на Белой Калитве, на Лозовой, в Кременчуге. После захвата Украины немцами т. Дундич со своим отрядом переправился на Царицынский фронт к «большевикам», где его поговору одно время арестовали, но товарищи по отряду напали на тюрьму и освободили своего начальника.

После реформирования т. Дундичу поручили организовать 1-й батальон иностранных коммунистов в Царицыне, что им и было выполнено. Он же формировал южный полк и командовал Ставропольским кавалерийским полком, который затем был влит в бригаду т. Буденного.

В дальнейшем бригада разрослась в теперешний Конный корпус под общей командой освободителя Воронежа т. Буденного...»

Итак, перед нами была первая по времени биография Дундича, написанная, по-видимому, с его слов и опубликованная при его жизни — в ноябре 1919 года!

Но как же она отличалась от биографии,

опубликованной Агатовым год спустя в газете «Красный кавалерист»? При всех отступлениях от ставших уже привычными данных о раннем периоде жизни Дундича она нам показалась наиболее правдоподобной, так как важнейшие из ее пунктов находят подтверждение. Кратко остановимся на них, напомнив читателю наши выводы, сделанные на основе анализа всей литературы о Дундиче, изученной нами к моменту открытия этой биографии.

Правильность года рождения пока установить нельзя. Но мы надеемся, что наши югославские коллеги сделают в этом отношении все возможное. Не исключено, что при столь точном адресе можно будет найти метрическое свидетельство о рождении Дундича или запись в церковных книгах.

Область, где родился Дундич, — Далмация, а не Сербия. Об этом мы уже говорили, высказывая свои соображения о происхождении фамилии Дундич. К этому следует добавить и то обстоятельство, что именно из Далмации, а не из Сербии, на протяжении XIX — начала XX века шел наибольший поток экономической эмиграции, в том числе и за океан. В этой связи отъезд Дундича в Америку к дяде предстает в наших глазах не как единичное явление (не характерное для Сербии), а как жизненный факт, типичный для той среды, где он родился. Там, в бескрайних прериях и пампасах, могли развиться его феноменальные способности наездника, с таким блеском проявившиеся в Красной коннице.

Обстоятельства первых шестнадцати лет жизни Дундича вполне убедительно объясняют нам, почему он не получил даже начального образования. Но если он и окончил 2—3 класса начальной школы на родине до отъезда за океан, то четыре года, проведенные в седле, в чужом краю, без единой печатной страницы в руках, написанной на родном языке, могли легко стереть непрочные знания, полученные в школе.

Если Дундич родился в 1896 году, то он, естественно, не мог участвовать в Балканских войнах. Но 18-летним юношей, прошедшим такую закалку, он вполне мог выступить добровольцем в сербскую армию в 1914 году.

По-новому освещает биография из «Воронежской коммуны» и путь Дундича в Россию. Упоминание об отступлении сербской армии в Албанию (что соответствует историческим фактам) заставляет с доверием отнестись к этому пункту биографии Дундича. Но при этом возникает необходимость в проведении дополнительных исследова-

дований, в особенности в Югославии, по материалам Военно-исторического архива. И мы надеемся, что наши югославские коллеги сделают это. При этом, несомненно, надо будет искать не Алексу Дундича, а, возможно, Ивана Дундича или, может быть, Ивана Антоновича, если предположить, что Дундич не подлинная фамилия нашего героя, а его прозвище (не от «дяди» ли, в котором он ездил в Америку?).

Согласно биографии из «Воронежской коммуны» свой путь в рядах защитников Октября Дундич начал от Бахмута. А как известно, именно там формировались отряды Сиверса. Это полностью согласуется со сведениями, сообщаемыми о начале боевого пути Дундича такими достойными доверия свидетелями, как Данило Сердяч и Никола Грулович.

О последнем авторе надо сказать еще несколько слов. Мы установили, что в большой книге Груловича Дундич упоминается всего три раза. О первом упоминании мы уже говорили. Во второй раз Грулович упоминает имя Дундича в связи с контрреволюционным заговором, раскрытым Царицынской Чека. В этом заговоре югославы играли двоякую роль. С одной стороны, некоторые из них (отступившие из Одессы, монархически настроенные «нейтраллисты») оказались его участниками. С другой — югославские интернационалисты помогли разоблачению и аресту заговорщиков. В связи с этим эпизодом Грулович пишет: «В тот же день мы узнали, что утром было арестовано несколько югославян: двадцать бывших юнкеров из офицерской школы в Одессе, покинувших сербскую армию, и шесть бывших унтер-офицеров. Все они были военными инструкторами в мобилизационном центре. Среди арестованных был и оказавшийся там Алекса Дундич, но мы не знали, оставили ли его под арестом или нет» (стр. 237).

Этот факт, сообщаемый Груловичем, как мы видим, находит свое подтверждение и в биографии Дундича из «Воронежской коммуны» (арест «по наговору»). Далее Грулович пишет, что после этого эпизода «ваши товарищи Дундич, Иджужки, Чавич и еще шестеро попросили разрешения покинуть наш отряд и перейти в кавалерийский полк Ваньки Крючковского, находившийся на Донском фронте. Мы пошли им навстречу, и они были туда откомандированы» (стр. 239).

Эти сведения помогают заполнить небольшой пробел, существовавший в «ясном» периоде биографии Дундича и охватывавший

период с лета 1918 года (Царицын) до вступления его в дивизию Буденного. Очак говорит о том, что «с октября 1918 года О. Дундич воевал в конной бригаде Булаткина», но не уточняет, как он попал в нее. Сейчас это можно сделать. Так, в книге С. М. Буденного «Красная конница» (М.—Л., 1930) на странице 21 мы читаем:

«Во вторую бригаду (т. Булаткина) была влита небольшая по своей численности кав. бригада т. Крючковского, находящаяся ранее при Коммунистической стрелковой дивизии. Бригада т. Крючковского состояла из 1-го Украинского кав. полка и 1-го сводного кав. полка. Оба эти полка были сформированы из отрядов, отступавших под давлением немецких оккупационных войск к Царицыну из Украины под руководством К. Е. Ворошилова. Кроме того, в бригаду зачислялись добровольцы и частично пленные».

По свидетельству председателя Царицынской Чека А. И. Червякова; операция по ликвидации контрреволюционного заговора в Царицыне происходила 12—15 августа — в самые тяжелые для Царицына дни красного наступления. Исходя из сообщения Груловича о переходе Дундича к Крючковскому сразу же после этого эпизода, можно считать, что начало пути Дундича в Красной коннице относится к концу августа — началу сентября 1918 года.

Уход Дундича к Крючковскому не случаен. Ведь И. Крючковский весной 1918 года был заместителем Сиверса, и Дундич, несомненно, знал его.

Сейчас можно подвести некоторые итоги. Биография Дундича, опубликованная в «Воронежской коммуне», вносит весьма значительную ясность в «темный» период жизни этого легендарного героя. То, что очень многие факты, содержащиеся в этой биографии, находят подтверждение в документах или в высказываниях весьма авторитетных лиц, позволяет отнестись к ней с большим доверием.

Одновременно с этим указанная биография ставит перед исследователями ряд новых задач:

1) Разыскать семью Дундича в Далмации в окрестностях города Имотски.

2) Установить путь Дундича из Албании (или с Корфу) во Францию, а затем в Россию (что это был за отряд, когда и с какой целью он был туда направлен и т. д.).

3) Выяснить подлинное имя героя, и если это будет не Олеко (Алекса), то установить, когда и в связи с чем появилось это имя.

Поиск продолжается.

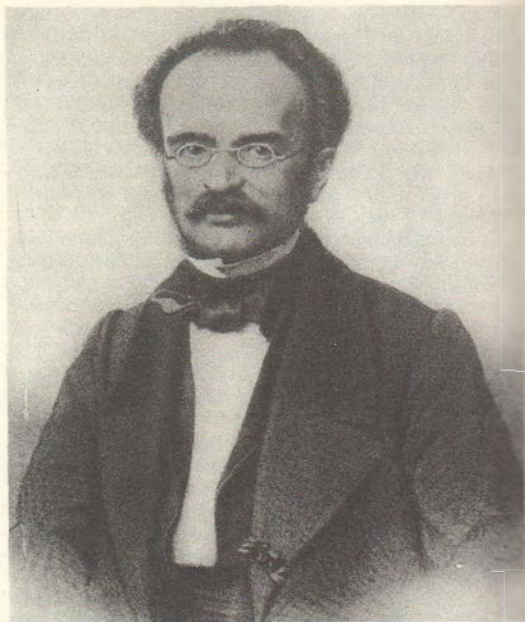
И. Птушкина

## Герцен и Севастьянов

(По неизвестным материалам  
из архива П. И. Севастьянова)

Петр Иванович Севастьянов.  
С литографии В. Ф. Тимма. 1859 г.  
(«Русский художественный листок»  
№ 8 от 10 марта 1859 г.).

Заметки А. И. Герцена из «Колокола»  
(л. 8 от 1 февраля 1858 г.),  
скопированные  
П. И. Севастьяновым. (Фрагмент.)

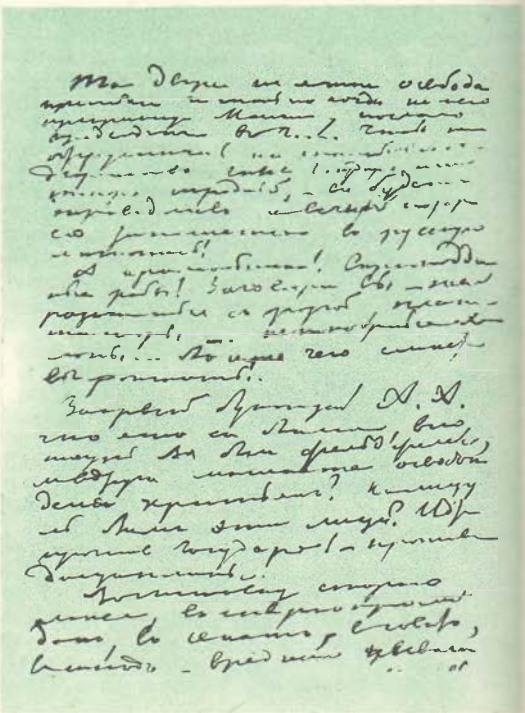


Работая над «Летописью жизни и творчества Герцена», я столкнулась с необходимостью установить точную дату одного письма Герцена к Ференцу Пульскому<sup>1</sup>. Вот это письмо в переводе с французского:<sup>2</sup>

«Дорогой господин Пульский,  
пошляю вам этот оттиск, полагая, что он может заинтересовать вас, — у этого господина есть множество образцов, но он уезжает во вторник. Он был бы очень рад

<sup>1</sup> Ференц Пульский (1814—1897) — венгерский революционер, после поражения революции 1848 года эмигрировал в Англию, где занимался публицистической деятельностью, историей и археологией. В 1852 году познакомился с Герценом и многие годы поддерживал с ним дружеские отношения. О нем см. «Литературное наследство», т. 64. М., 1958, стр. 419—424.

<sup>2</sup> А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 томах, т. XXVI, М., 1962, стр. 159. Впервые напечатано среди других писем Герцена к Пульскому венгерскими учеными Дьердем Белии и Кларой Ч. Гардоны в 1954 году в будапештском журнале „Jrodalomtorteneti Közlemények“ («Ведомости истории литературы», L VIII, 1, стр. 46). На русском языке в их же публикации — «Литературное наследство», т. 64, стр. 428—429.



повидаться с вами, однако как это сделать? Живет он в Песчаном карьере Leicester Square. Если у вас есть какие-либо поручения, напишите мне, он уезжает на Афон и Синай.

Весь ваш, как всегда,  
А. Герцен».

Авторской даты письмо не имеет, но написано оно на печатном оттиске памятной записки П. И. Севастьянова, прочитанной им 5 февраля 1858 года в Парижской академии надписей и словесности. На этом основании во всех публикациях письмо печаталось с условной датой: «После 5 февраля 1858 года». Очевидно, ни архив Герцена, ни архив Пульского, которые были доступны публикаторам письма и редакторам академического издания собрания сочинений Герцена, не содержат никаких других материалов для уточнения этой даты. В «Летописи жизни и творчества» не хочется оставлять такие приблизительные даты, а содержание письма позволяет предположить, что его можно датировать более точно.

Важно заметить, что Герцен указывает своему корреспонденту точный адрес, где остановился русский путешественник в Лондоне, и маршрут его дальнейшего пути, сообщает о дне отъезда Севастьянова из Лондона и о его желании повидаться с Пульским, даже берет на себя поручения. Из этого ясно, что Герцен встретился с Севастьяновым, и произошло это «после 5 февраля», но ранее какого-то времени. Таким образом, чтобы определить дату письма, необходимо установить время встречи Герцена с Севастьяновым. Трудность задачи состоит в том, что имя П. И. Севастьянова нигде больше не упоминается в связи с Герценом.

Личность Петра Ивановича Севастьянова устанавливается сравнительно просто<sup>1</sup>. Специалистам он известен как археолог и путешественник, собравший уникальную коллекцию греческих и древнерусских рукописей и старопечатных книг.

Сын купца Пензенской губернии, почетного гражданина Ивана Михайловича Севастьянова, Петр Иванович родился 4 августа 1811 года. В 1829 году окончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата. Находясь на государственной службе, Севастьянов много путешествовал по России, а в 1840 году совершил свою первую поездку за границу. Выбыв в 1851 году в отставку, Севастьянов объездил почти все страны Западной Европы, Египет, Сирию, Палестину, Алжир. В 1857 году он в первый раз посетил

Афон, памятники которого стали с тех пор объектом его пристального изучения, а одна из последующих его экспедиций туда длилась целых 14 месяцев. Будучи замечательным фотографом, Севастьянов первым предложил фотокопировать рукописи и во время своих путешествий скопировал многие редкие материалы. Современники ценили деятельность путешественника и коллекционера: отчеты о его поездках, совершавшихся большей частью на собственные средства, появлялись в журналах, официальная печать отмечала прежде всего заслуги Севастьянова перед православной церковью. Когда в январе 1867 года Севастьянов умер, его похоронили в Александро-Невской лавре, рядом с Суворовым.

Еще в 1862 году Севастьянов передал свою огромную коллекцию в Московский публичный музей. Теперь эта коллекция входит в собрание древних документов, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. Там же находится и основная часть его личного архива — фонд Севастьянова содержит 2108 единиц хранения!<sup>2</sup> И среди этой группы материалов — множество писем и десятки записных книжек неутомимого путешественника, в том числе и относящихся к концу 1850-х годов<sup>3</sup>.

Может быть, сам Севастьянов расскажет о своем свидании с Герценом?

Листаем записные книжки. Это интересно: в них не только сухие сведения о поездках и отъездах, о планах предстоящих поездок и необходимых приобретениях для них, но и зарисовки мест, в которых побывал путешественник, архитектурных памятников, которые он видел, городов, которые он проезжал, бытовых сцен, свидетелем которых был.

На одном из листов записной книжки 1857 года<sup>4</sup> — план поездки в Лондон: «Отыс<к>ать Бовиля, быть у священника

<sup>1</sup> См. Русский биографический словарь, т. XVIII, Спб., 1904, стр. 269—270; «Императорское Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864—1914 гг.)», т. II, М., 1915, стр. 319—320.

<sup>2</sup> «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР». Указатель, т. II, стр. 152. М., 1963.

<sup>3</sup> А. Викторова, Собрание рукописей П. И. Севастьянова. М., 1881, стр. 105—106, 113—114.

<sup>4</sup> РО ГБЛ, ф. 269, М., 2356. 9. Записные книжки Севастьянова не имеют ни его собственной, ни архивной пагинации.



звекателен, но сад очень красив»<sup>1</sup>. Там он прожил до конца ноября 1858 года. Адрес записан на скорую руку, с сокращениями, но довольно подробно — Севастьянов собирался посетить Герцена!

Через несколько листов адрес Герцена повторен. Теперь он записан аккуратно, без всяких сокращений: «Н<erzen> (Александр Иванович); Putney (деревня около Лондона), 3-й дом от станции: Tincler's Hoos (дом Тинклера). Ехать по железной дороге Виндзора. Waterloo Station». Да, безусловно, Севастьянов собирался к Герцену. Но когда же он посетил его?

Еще через несколько листов идут сокращенные записи о пребывании Севастьянова в Лондоне в марте 1858 года. Под датой 2(14), среди других записей, снова повторен герценовский адрес. И больше ни слова.

Но вот большая карандашная запись: «3/15 мар<та>. Понедельник. 10 часов вечера. Лондон. Сажу дома, все уложил, ожидаю белье. На улице играет шарманка, вдруг — о, чудо! — заиграла «Норму», которая постоянно приводит меня в восторженное состояние. Я помню, в Париже было то же самое: в день отъезда уличный шарманщик угостил меня «Нормой». Добрый знак. Я<...> выезжаю довольный. Как мало нужно человеку, что<бы> привести его в хорошее расположение духа. — Утром пришел ко мне Тхорж<евский> и принес книгу; угостил его чаем. Просидел с час. Ушел. Начал укладываться. Приходит священник <Е. И. Попов>. Очень добрый и умный человек; я ему сказал, что был у Герцена, и что вышел от него довольным, потому что вышел в нем почитателя Александра. Он осмотрел с подробностями мои репродукции и несколько раз спрашивал меня наивно, как мне пришла эта мысль в голову. Пустелся с ним в Музеум. На улице пасмурно. Солнца не видать, следовательно, не увидим и затмения...»

Упоминаемый в записи С. Тхоржевский — владелец книжной лавки в Лондоне, близкий к Герцену человек. Книжки, приобретенные им Севастьянову, вероятно, были изданиями лондонской Вольной русской типографии. Далее Севастьянов подробно записывает свои впечатления о посещении музея с Е. И. Поповым и как он провел свой последний день в Лондоне. Следующая запись, от 4(16) марта, свидетельствует о том, что в этот день Севастьянов покинул Англию и отправился в Брюссель.

Итак, сопоставление записей Севастьянова позволяет установить, что встреча его с Герценом состоялась 14 марта нового

стиля. Этот день приходился на воскресенье, когда Герцен обычно принимал у себя дома приезжавших в Лондон русских путешественников.

Вспоминая позднее в «Былом и думах» об «апогее» своей популярности, Герцен писал: «Кого и кого мы не выдали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтоб стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит... Но тогда, повторяю, мы были в моде, и в каком-то гиде туристов я был отмечен между достопримечательностями Путнея»<sup>2</sup>.

К сожалению, запись Севастьянова не сохранила подробностей разговора его с Герценом, но, очевидно, речь шла прежде всего о предстоящей крестьянской реформе. Замечание Севастьянова, что он остался «довольным» Герценом, так как «нашел в нем почитателя Александра»,

<sup>1</sup> А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 томах, т. XXVI, стр. 28.

<sup>2</sup> Там же, т. XI. М., 1957, стр. 297.

Виды монастыря в Саровской пустыни. Рисунки из альбома П. И. Севастьянова. 1840—1850 гг. Публикуются впервые.



отражает тот период деятельности русского писателя, когда ему были свойственны либеральные иллюзии.

Найденная запись помогает и точно датировать приведенное выше письмо Герцена к Ф. Пульскому. Оно, безусловно, написано также 2(14) марта 1858 года, сразу же после встречи с Севастьяновым, действительно уехавшим из Англии 16 марта 1858 года, которое приходилось в этом году на вторник.

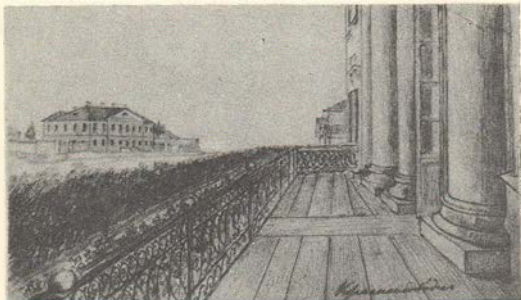
Так был установлен еще один факт из биографии Герцена, найдено еще одно звено его многочисленных связей с Россией. А ведь выяснение многообразных связей Герцена периода революционной эмиграции с русскими писателями, учеными, общественными и политическими деятелями, художниками и т. д. — одна из самых сложных и увлекательных задач в изучении его биографии. Решение этой задачи поможет углубить наше представление о широте его влияния на русскую общественность.

Случайна ли была поездка Севастьянова

к Герцену? Многочисленные письма Севастьянова из-за границы свидетельствуют о том, что он не был человеком, замкнувшимся в своих узких интересах. Правда, политические взгляды его были весьма умеренны, но он пристально следил за событиями в России — за подготовкой крестьянской реформы, за студенческими волнениями. Так, 4(16) ноября 1857 года он писал брату Николаю Ивановичу из Парижа в Москву: «Об эмансипации трубят здешние журналы. Говорят, она будет объявлена в декабре, в память покойного государя, который при смертном одре завещал исполнение. Но мне кажется, что все откладывается в длинный ящик: большой член шатают, шатают, и кончится тем, что он сам отпадет; дай только бог, чтоб без воспаления»<sup>1</sup>. Спустя два месяца, 2(14) января 1858 года, Севастьянов извещал брата из Парижа: «...Теперь поневоле якшаешься с русскими, чтобы разузнавать о том, что

<sup>1</sup> РО ГБЛ, ф. 269, М. 2342/2. 9, лл. 2 об. и 3.

Виды г. Краснослабодска (б. Пензенской губ., теперь Мордовской АССР). Рисунки из альбома П. И. Севастьянова. 1840—1850 гг. Публикуются впервые.



поделяется у вас в такую деятельную эпоху, и едва ли о всем новеньком мы узнаем не ранее ли вас? Так, например, рескрипт об улучшении состояния крестьян мы прочли на фр<анцузском> языке 28 ноября старого стиля, тогда как в «Северной пчеле» он был напечатан только 18 декабря»<sup>1</sup>. А 5(17) февраля 1858 года, очевидно, в ответ на вопрос о том, как он относится к предстоящим переменам, Севастьянов пишет брату, владевшему крепостными крестьянами: «Насчет освобождения крестьян мне тебе нечего давать совета: зная тебя, я уверен, что великодушие будет руководствовать тебя в условиях с крестьянами и ты освободишь их прежде 12-летнего срока. Нет ничего хуже, как переходное положение. Закончить одним разом и получить меньше, но вернее, что и мне ты написал»<sup>2</sup>. Это позиция человека, хотя и сознающего трудность для крестьян переходного положения, но оценивающего его в то же время с точки зрения владельца крепостнического хозяйства. В том же письме Севастьянов переписывает брату текст упо-

минавшейся выше заметки Герцена «Тамбовское дворянство...», а в приписке от 9(21) февраля поручает переслать письмо другому брату, Константину Ивановичу, владельцу большого имения Пертово в Тамбовской губернии, хотя «отзыв Г<ерцена> и не совсем лестен для тамбовского дворянства»<sup>3</sup>. Сохранился и ответ К. И. Севастьянова из села Пертово от марта 1858 года, в котором он старался оправдать позицию тамбовского дворянства, осужденную «Колоколом»<sup>4</sup>.

В своих письмах Севастьянов неоднократно цитирует и другие обличительные выступления «Колокола» или пересказывает своим корреспондентам содержание некоторых из них. Так, в письме к брату Николаю Ивановичу от 2(14) января 1858 года Се-

<sup>1</sup> РО ГБЛ, ф. 269, М. 2342/2. 10, л. 1 об.

<sup>2</sup> Там же, ф. 269, М. 2342/2. 10, л. 4.

<sup>3</sup> Там же, ф. 269, М. 2342/2. 10, л. 5 об.

<sup>4</sup> Там же, ф. 269, М., 2339/5. 13.





вастьянов откликнулся на заметку Герцена «Москва» («Колокол», л. 6 от 1 декабря 1857 года). Заметка извещала, что московский генерал-губернатор Закревский якобы «отстоял» обер-полицмейстера Тимашева-Беринга, отставки которого ожидали в связи с полицейской расправой над студентами в Москве. Возмущенный этим фактом, Герцен восклицал: «Вот вам и либеральный император, вот вам и сила общественного мнения!»<sup>1</sup> Севастьянов, прочитав заметку, писал брату: «А мы было пригорюнились, потому что последний «Колокол» звонил: «Закревский» отстоял Беринга!»<sup>2</sup>. В упоминавшемся письме от 4(16) ноября 1857 года П. И. Севастьянов писал в Россию: «Герцена» книги здесь «в Париже» продаются в каждой книжной лавке и расходятся в страшном количестве»<sup>3</sup>.

Все это позволяет судить о том, что интерес Севастьянова к Герцену не был случайным, что он постоянно следил за публицистической деятельностью редактора «Колокола», что, наконец, его свидание с Герценом в марте 1858 года логичнее вытекало из этого постоянного интереса.

Архив П. И. Севастьянова, позволивший решить нам свою задачу, до последнего времени оставался вне поля зрения исследователей. Между тем собранная П. И. Се-

вастьяновым коллекция представляет несомненный интерес для советских историков, филологов, искусствоведов. Сохранившиеся же в архиве путешественника неопубликованные письма дают широкую картину России середины прошлого столетия, содержат материалы для отечественной исторической науки и для биографии самого П. И. Севастьянова. Большой интерес представляют также его рисунки в записных книжках и в небольшом альбоме — некоторые из них здесь публикуются<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 томах т. XIII. М., 1958, стр. 89.

<sup>2</sup> РО ГБЛ, ф. 269, М. 2342/2, 10, л. 2.

<sup>3</sup> Там же, ф. 269, М. 2342/2. 9, л. 3 об.

<sup>4</sup> Там же, ф. 269, М. 2362. 1. У Севастьяновых был дом в г. Краснослободске (см. И. М. Корсаков, Краснослободск (Ист. очерк стр. 25—26), Саранск, 1966. Существует мнение, что в этом доме 10 ноября 1833 года бывал Пушкин, где посетил родного брата П. И. Севастьянова — Константина Ивановича. Пушкин с ним переписывался и получил от него часть материалов для «Истории Пугачева» (см. А. Еремин, Пушкин в Нижегородском крае. Горьковское обл. госуд. издательство, 1951, стр. 206—211; И. Д. Воронин Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1951, стр. 89—90).

А. Штекли

Смерть  
Коперника

Николай Коперник.

Мыслитель, которому суждено было дать толчок к одному из величайших переворотов в мировоззрении людей, умер так же незаметно, как и жил. Скромный каноник вармийской епархии скончался в отдаленнейшем, как он говорил, уголке Земли. Он умер в той же башне, где прожил почти тридцать лет. В стране не объявляли траура, толпы плакальщиц не стояли по дорогам, герольды, загоня лошадей, не разносили весть о его смерти. Его похоронили без особой помпы и, по-

хоже, без особой скорби. Семья у него не было, единственную близкую его сердцу женщину изгнали враги, единственный человек, который мог считаться его учеником, возвратился в Германию, верный друг юности находился в отъезде.

Даже ученые, пользовавшиеся плодами его редкостного гения, долгое время не знали о его кончине. Много лет Коперник был уже в могиле, а кое-кто считал, что он по-прежнему отдает все силы высокому искусству астрономии. Но и те, кому было известно, что его нет в живых, не знали ни месяца его смерти, ни даже года. И уж совсем узкий круг знал правду о последних днях Коперника. Кто-то что-то рассказывал, что-то писал, но постепенно многие важные факты утратились. Остались неясные намеки, противоречивые суждения, обманчивые слухи, зыбкая молва.

Во Фромборке вскоре после смерти Коперника говорили, что он умер в тот самый день, когда увидел первый экземпляр своей только что вышедшей книги. Простая случайность? Совпадение? Но ведь это легко понять: труд Коперника был делом всей его жизни, увидеть вышедшую книгу значило пережить минуты величайшего счастья. Не удивительно, что старик ученый, уже несколько месяцев прикованный к постели тяжелым недугом, не вынес огромной радости.

Радости? Говорили и о другом. Не радостью были озарены последние минуты Коперника, он умер от гнева и возмущения. Его обманули люди, которым он доверял. При издании книги был совершен подлог. Обнаружив это, Коперник пришел в такое волнение, что тут же и умер.

Напечатанное в Нюрнберге сочинение Николая Коперника «О вращениях небесных сфер» открывалось предисловием «К читателю. О предположениях, лежащих в основе этой книги»<sup>1</sup>.

Каждый астроном, говорилось там, вправе придумывать любые гипотезы для объяснения небесных движений. Поскольку человеческий разум не в состоянии охватить действительные причины этих круговращений, то достаточно, чтобы вымышленные гипотезы облегчали астрономические расчеты. Нет необходимости, чтобы эти гипотезы были верными или даже вероятными. Хватит, если они дают сходя-

<sup>1</sup> Николай Коперник. О вращениях небесных сфер. Перевод проф. И. Н. Веселовского. М., 1964, стр. 549.

щийся с наблюдениями способ расчета. Постичь что-нибудь истинное можно только с помощью божественного откровения. Поэтому не будет вреда, если наряду со старыми гипотезами станут известны и эти новые, ничуть не более похожие на истинные.

«Во всем же, что касается гипотез, пусть никто не ожидает получить от астрономии чего-нибудь истинного, поскольку она не в состоянии дать что-либо подобное; если же он сочтет истинным то, что придумано для

никнет, если господь не дарует ему откровения. Большинству читателей и в голову не приходило, что предисловие написано, возможно, не автором книги.

Однако вслед за предисловием было напечатано письмо кардинала Шонберга Копернику и обращение Коперника к папе Павлу III. Тон, в котором оно было выдержано, отличался твердостью: чувствовалось, что его автор убежден в своей правоте.

Он, конечно, хорошо понимает, начинал



Башня во Фромборке, где жил Коперник.

другого употребления, то после такой науки окажется более глупым, чем когда приступал».

Предисловие не имело подписи, но это казалось вполне естественным. Подпись была бы необходима, если бы сочинил его не сам автор, а кто-то другой. Нет ничего странного в том, что Коперник выражает подобные мысли! Никому воистину не дано постичь строения вселенной. Тайна сия принадлежит ее творцу и вседержителю, и смертный человек никогда в нее не про-

Коперник обращение к папе, что излагаемое им учение сделает его предметом хулы. Но философ, ищущий истину, не обязан приравливаться к суждениям толпы и должен отказываться от ложных взглядов.

Людам, привыкшим верить, что недвижимая Земля покоится в центре вселенной, учение его покажется абсурдным. Поэтому он долго сомневался, выпускать ли в свет книгу, написанную для доказательства движения Земли, и не последо-

звать ли завету пифагорейцев. Те не хотели, чтобы плоды труда великих ученых, попадая в руки недостойных людей, которым лень заниматься наукой, если это не сулит им прибыли, становились бы объектом пренебрежения. Нежелание подвергнуться глумлению за необычность и кажущуюся абсурдность защищаемых им мнений, чуть было не побудило его отказаться от публикации этого труда. Но друзья требовали, чтобы книга, которая скрывалась не девять, а четырежды девять лет, увидела, наконец, свет. Пусть учение о движении Земли, говорили они, и покажется сейчас многим нелепостью, с тем большим удивлением и благодарностью будет оно воспринято, когда изданная книга яснейшими доказательствами рассеет мрак заблуждений.

Его, Коперника, учение, противное общепринятым взглядам и, пожалуй, даже нравому смыслу, родилось не из стремления к оригинальности. Он тщательно исследовал движения небесных тел и обнаружил, что они не согласуются с существующими теориями. Изучение древних философов натолкнуло его на мысль о движении Земли. После долгих раздумий он убедился, что эта мысль дает возможность куда яснее понять весь ход мировой машины.

Он уверен, что серьезные математики согласятся с ним, если только пожелают глубоко продумать приводимые им доказательства. А если найдутся пустозвоны, которые, будучи невеждами в математических науках, все-таки захотят разбирать его аргументы и на основании какого-нибудь места священного писания, неверно понятого и извращенного, станут их порицать, то ему, Копернику, нет до них дела и он может пренебречь их суждением как легковесным!

Согласиться с тем, чтобы цитаты служили решающим аргументом в естественных научных спорах, он не может. Коперник вспоминает о назидательной истории, предключившейся с одним прославленным христианским автором: «Ведь не тайна, что Лактанций, вообще говоря, знаменитый писатель, но плохой математик, почти детски рассуждал о форме Земли, осуждая тех, кто утверждал, что Земля шарообразна. Поэтому ученые не должны удивляться, если и нас будет кто-нибудь из таких людей осмеивать».

Коперника читали с интересом и удивлением. Каких только гипотез не придумывают математики, чтобы согласовать

свои расчеты с видимым движением небесных тел!

Математики восхищались красотой Коперниковых построений, философы, воспитанные на выхолощенном Аристотеле, негодовали: ученый должен не изощряться в остроумии, а развивать взгляды божественного Стагирита.

Основная посылка Коперника — мысль о движении Земли вокруг Солнца — настолько противоречила господствующим религиозным и философским воззрениям, что часто воспринималась лишь как забавный парадокс. Земля, покоящаяся в центре мира, не может вертеться! — люди были в этом глубоко убеждены, это подтверждалось и библией и трактатами знаменитых астрономов.

Изучение книги Коперника было делом далеко не легким. Предисловие многих сбивало с толку: не одних лишь скептиков, которые не верили в познаваемость мира, но и людей, стремившихся понять истинное строение вселенной. И те и другие соглашались, что теория Коперника, конечно, всего лишь удобная математическая фикция.

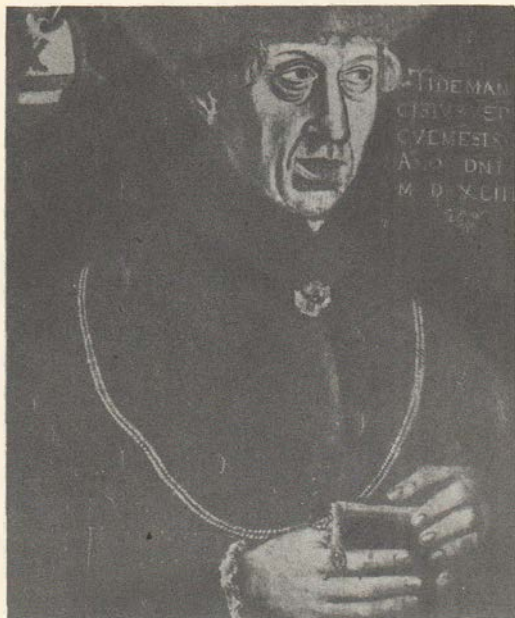
Позиция противника гелиоцентрической системы была не столь абсурдной, как может показаться на первый взгляд. Мысль о движении Земли отвергали не только из философских или религиозных соображений. Движение Земли Коперником доказано не было, и сделать это в его время, когда не существовало даже простейших телескопов, было невозможно. Доказать движение Земли астрономам удалось лишь в XIX веке. Коперник сделал другое: он доказал, что гелиоцентрическая теория куда лучше, чем система Птолемея, согласуется с видимыми движениями небесных тел.

Давно было замечено, что планеты перемещаются не по идеальному кругу. Прошло больше шестидесяти лет после смерти Коперника, когда Кеплеру удалось впервые доказать, что планеты движутся по эллипсу. Коперник вынужден был сохранить эпициклы. Эпицикл же — описываемая небесным телом воображаемая окружность, центр которой, в свою очередь, равномерно движется по другой окружности, по деференту, — воспринимался как абстракция. А это в глазах читателей, не видящих за деревьями леса, бросало тень нереальности на все построение Коперника.

Чтобы понять всю глубину учения Коперника, требовались не только обширные познания в математике и астрономии, тре-

бывалось нечто куда более редкостное — мужество мысли, способность отрешиться от предубеждений, от господствующих схем, от самых основ мировоззрения, покоящегося на привычных догмах.

Мысль о движении Земли казалась настолько дикой, что самые весомые аргументы Коперника не воспринимались как доказательство истины, его же убежденность в своей правоте, которой пронизано обращение к папе, расценивалась лишь как убежденность в удобстве создан-



Тидеман Гизе.

ной им гипотезы, а вовсе не в ее истинности.

Лишь немногие видели, насколько анонимное предисловие противно не только обращению Коперника к папе, но и духу всей его книги. Мысль о том, что предисловие «К читателю» не может принадлежать Копернику, наткнулась на стену непонимания. Ходят слухи, что оно подложно? Неужели Коперник был настолько безумен, что и вправду верил, будто Земля движется на самом деле!

Пусть, положим, и существует извест-

ная разница между предисловием и обращением к папе. Но это никак не доказывает подлога. Все эти страницы написаны Коперником. И что может быть назидательней такого примера? Ученый, всю жизнь трудившийся над обоснованием новой гипотезы, в конце концов отрекся от попытки постичь действительное строение вселенной, понял, что его теория лишь удобная фикция, и, познав тщету мудрствований, воззвал к божественному откровению как единственному источнику истины!

О жизни Коперника известно было мало. Уроженец Торуни и питомец Краковского университета, учившийся затем восемь лет в Италии, Коперник все остальные годы провел на вармийской земле. Здесь, конечно, знали его хорошо, но в университетских городах Европы, где шли споры об истолковании его учения и о возможном подлоге, часто довольствовались лишь слухами. Книг он, если не считать перевода Феофилакта Симонатты, не публиковал, а ненапечатанные свои работы показывал неохотно, да и переписывался с очень узким кругом лиц.

Ему было около семидесяти, когда весной 1539 года во Фромборк приехал молодой виттенбергский профессор Георг Иоахим Ретик. Прослышав об учении Коперника, он воспылил желанием его постичь. Глубокие познания и энтузиазм Ретика произвели на Коперника впечатление. Он почувствовал к приехавшему доверие, предоставил рукописи, а вскоре даже разрешил ему написать и подготовить к печати изложение своей теории. В начале 1540 года в Гданьске было издано «Первое повествование о книгах вращений Николая Коперника», составленное Ретиком.

А три года спустя в Нюрнберге был напечатан и сам Коперников труд. Книга открывалась предисловием, ставшим вскоре предметом ожесточенного спора.

Те немногие читатели, которые поняли всю глубину и обоснованность учения Коперника и прониклись его духом, не принимали за чистую монету идеи анонимного предисловия. Здесь явный подлог! Подобного бы сам Коперник никогда не написал.

Да, но факт остается фактом, возражали другие, раз предисловие напечатано, значит Коперник не верил в истинность своей теории или по крайней мере в последний момент в ней усомнился.

Ученые, убежденные в подложности

анонимного предисловия, с этим аргументом не соглашались. Но доказать, кем и когда был совершен подлог, они не могли и часто пускали в ход такой довод: разве не служит косвенным доказательством подлога сам факт, что Коперник умер в тот день, когда впервые увидел свою только что напечатанную книгу?

Дабы разрешить этот спор, оставался простой и надежный способ. Следовало взглянуть в рукопись Коперника и выяснить, написано ли анонимное предисловие его почерком. Однако сделать этого не удалось. Среди книг и бумаг, оставшихся после смерти Коперника, этой рукописи не нашли. Когда же много лет спустя ее обнаружили, то выяснилось, что анонимного предисловия «К читателю», которым открывалось издание 1543 года, в ней нет!

Доказывает ли это, что предисловие написал кто-то другой? Не будем торопиться с выводами. В дошедшей до нас рукописи Коперника обращения к Павлу III тоже нет. К счастью, на этот счет сохранилось одно очень важное свидетельство. Ахилл Гассар, медик и математик, друг и советчик Ретика, в принадлежавшем ему экземпляре книги Коперника прямо под обращением к папе написал, что это было составлено в Вармии во второй половине июня 1542 года<sup>2</sup>. Следовательно, уже после того, как Ретик увез манускрипт в Германию. Текст обращения был прислан издателю позже. То же самое могло быть и с анонимным предисловием «К читателю», которому в книге предшествует обращение к папе. Значит, отсутствие в рукописи Коперника этого предисловия вовсе не доказывает, что оно написано кем-то другим.

Работ, посвященных жизни Коперника, много, и в них нередко по-разному излагаются обстоятельства его кончины. В одних биографиях пишут, что Коперник умер в день получения книги, в других, что в день смерти ему доставили отскисы первых листов. Конечно, точность для историка необходима, но не уподобляется ли он педанту-крохобору, когда цепляется за столь маловажные детали? Какая разница, получил ли Коперник на смертном одре свою книгу или только первые листы? Если версия о подлоге несостоятельна, то в том и другом случае Коперник мог умереть от чрезмерного радостного волнения. Если же на самом деле имел место подлог, то опять все понятно: Коперник умер

от гнева и возмущения. Незачем гадать о последних эмоциях умирающего, коль нет фактов. Тем более что даже если мы выясним, получил ли в день смерти Коперник всю книгу или только первые листы, это вряд ли поможет разрешить вопрос о подлоге.

Одно обстоятельство все же заставляет задуматься. Если издатели посылали Копернику первые листы, листы с анонимным предисловием, то подлога, как видно, не было. Зачем бы злоумышленники, решившие подsunуть собственное предисловие взамен Коперникова, стали бы разоблачать себя задолго до выхода книги в свет? А если Коперник знал об этом анонимном предисловии и оно печаталось с его согласия, то мог ли бы он умереть от негодования?

Джордано Бруно был первым, кто заявил в печати, что анонимное предисловие написано не самим Коперником. Всю жизнь Ноланец настаивал на объективном характере учения о движении Земли. В книге «Пир на пепле», изданной в Лондоне в 1584 году, рассказывая о своем недавнем диспуте с оксфордскими учеными, Бруно зло высмеял всех тех, кто, не разобравшись в учении Коперника, прикрывается анонимным предисловием «К читателю».

Доктор Торквато — под этим именем в диалогах выступает один из оппонентов Бруно — «из всего Коперника удержал в памяти лишь имя автора, издателя, название книги, место и год напечатания, число листов и карт. И, не будучи несведущ в грамматике, он понял некое сверхъестественное предисловие, приложенное не знаю уж каким невежественным и самонадеянным ослом; этот осел, как бы желая извинить автора и оказать ему покровительство или даже ставя своей целью, чтобы и другие ослы, найдя в этой книге и для себя салат и плоды, не остались голодными, следующим образом предупреждает их, раньше чем они начнут читать книгу и рассматривать ее суждения...». Прочитировав в своем переводе текст анонимного предисловия, Бруно саркастически замечает: «Видите, какой это хороший привратник! Смотрите, как хорошо он открывает вам дверь, чтобы вы вошли внутрь для приобщения к этому

<sup>1</sup> L. S. P r o w e, N. C o p p e r n i c u s, I B., II Thell, Berlin 1883, s. 525.

<sup>2</sup> L. A. B i r k e n m a l e r, M i k o l a j K o p e r n i k, Kraków, 1900, str. 411.

почтеннейшему знанию; без этого привратника умение считать и измерять, изучение геометрии и перспективы есть лишь пустое препровождение времени изобретательных безумцев. Смотрите, как он верно служит хозяину дома!»

Коперник, подчеркивал Джордано Бруно, не ограничивался утверждением, что Земля движется, но неоднократно это подтверждал: «он выполнял должность не только математика, который предполагает, но и физика, который доказывает движение Земли».

Эту точку зрения Бруно защищал всегда и везде — и на диспутах в университетских городах и во время следствия в тюрьме Святой службы. Мысль о том, что Земля движется на самом деле, стала одним из основных обвинений, выдвинутых инквизиторами против Бруно. Ему была представлена свобода выбора; он мог объявить свои убеждения ересью, отречься от них и избежать казни. Но он считал, что верность истине дороже жизни. Костер его не устранил.

Даже после сожжения Бруно книга Коперника не была запрещена. Высшие чины инквизиции сочли для себя удобным видеть в Коперниковом учении только полезную, не претендующую на реальность гипотезу. Бруно, мол, не разобрался в Копернике и не понял, что предисловие «К читателю» написано самим автором.

Язвительные слова Бруно о составителе анонимного предисловия, разумеется, не прошли бесследно, они заставляли внимательней изучать Коперника. Но подлог оставался недоказанным, по-прежнему было неизвестно, кто и как его совершил.

Разгадать загадку удалось только Кеплеру. В его руки попал экземпляр первого издания Коперника, который Петрей — типограф, печатавший книгу, — подарил нюрнбергскому математику и члену магистрата И. Шрайберу. Тот написал на полях, что предисловие «К читателю» составлено Андреасом ОсиаNDERом. Это звучало очень правдоподобно: по слухам, именно ОсиаNDER, нюрнбергский богослов и ценитель астрономии, вместе с Ретиком наблюдал за печатанием Коперникова трактата. Удача продолжала сопутствовать Кеплеру. Ему удалось разыскать переписку ОсиаNDERа с Коперником, которая предшествовала изданию книги. Из нее явствовало, что анонимное предисловие — дело рук ОсиаNDERа. В необходимости такого предисловия он убеждал Коперника и Ретика. Но Коперник категорически возражал и сохранял «стоическую твердость». До-

кументы, бывшие в распоряжении Кеплера, разоблачили ОсиаNDERа, но детали оставались невыясненными. Как удалось ОсиаNDERу подsunуть свое предисловие? Кеплер был убежден, что произошло это после смерти Коперника, или, во всяком случае, без его ведома. Так Кеплер и писал об этом в своей «Новой астрономии», напечатанной в 1609 году<sup>1</sup>.

Разоблачения Кеплера убеждали далеко не всех. Ученые, считавшие теорию Коперника лишь остроумной гипотезой, продолжали стоять на своем. То, что Коперник какое-то время спорил с ОсиаNDERом, еще ничего не доказывает. Пусть ОсиаNDER — автор анонимного предисловия, куда важнее другое: если оно все-таки было напечатано, то это произошло с ведома Коперника, а раз он дал согласие, то, значит, разделял идеи предисловия и тоже считал свою теорию только удобной фикцией. Иначе чем же объяснить, что не сохранилось никаких известий о протестах Коперника против того, в каком виде вышла в свет его книга, ни свидетельств о его тяжести с печатником, ни публичных опровержений? Оправдать его безропотно молчание могла только смерть.

Кеплер не знал ни даты смерти Коперника, ни времени, когда был совершён подлог. В ту пору о кончине Коперника высказывались противоречивые суждения. Одни уверяли, будто он умер зимой 1543 года, другие — что в конце мая. Математик и астроном Иоганн Преторий, живший несколько лет с Ретиком в Кракове, говорил, например, что книги своей великом Коперник так и не увидел<sup>2</sup>. Другой близкий приятель Ретика называл даже день смерти Коперника — 19 февраля<sup>3</sup>. Книга же его, как было известно, вышла в свет весной. Получалось, что Кеплер прав: напечатали анонимное предисловие, когда Коперник был уже мертв.

Однако через несколько лет после разоблачений Кеплера было найдено письмо ближайшего друга Коперника — Тидемана Гизе. Оно подтвердило, что Коперник действительно скончался в конце весны 24 мая. Книга вышла в свет и продавалась при его жизни. Первое предположение Кеплера не оправдалось, второе тоже

<sup>1</sup> J. Kepler, *Astronomia Nova*. 1609. На обороте титульного листа.

<sup>2</sup> E. Zinner, *Entstehung und Ausbreitung der Copernicanischen Lehre*. Erlangen. 1943. S. 454.

<sup>3</sup> Там же, стр. 452.

стало вызывать еще более сильные сомнения. Если анонимное предисловие было напечатано без ведома Коперника, то почему же он не протестовал?

Вопрос о подлоге оставался тесно связан с обстоятельствами смерти Коперника. Только узнав правду о его последних днях, можно было решить, не ложен ли основной тезис Кеплера о том, что предисловие «К читателю» было опубликовано без ведома Коперника, и найти причины его непонятого молчания. Истинные коперниканцы прилагали немало усилий, чтобы разрешить эту загадку. Одной убежденности в высокой принципиальности Коперника было мало, нужны были факты. Документы разыскивали во Фромборке и в Лидзбарке, в Лейпциге и в Нюрнберге, в Кракове и в Торуне. Исследовали библиотеки, архивы, частные собрания. Яну Брожеку, профессору Краковского университета, выпала редкая удача. В его руки попало много интересных материалов. Но только два очень важных письма Тидемана Гизе: одно Доннеру, другое — Ретикю — Брожек опубликовал в 1618 году<sup>1</sup>. Они пролили, наконец, свет на болезнь и смерть Коперника и явились еще одним доказательством подлога. Тидеман Гизе, один из самых близких Копернику людей, превосходно осведомленный и о переговорах, связанных с изданием книги в Нюрнберге и об отношении Коперника к идеям Осандера, был глубоко возмущен опубликованием анонимного предисловия. Едва раскрыв Коперникову книгу, которую вместе с письмом прислал ему Ретик, Гизе пришел в такое негодование, что тут же решил направить в Нюрнберг жалобу, требовать наказания виновных и перепечатки первых листов уже изданной книги. 26 июля Гизе писал Ретикю:

«Возвращаясь из Кракова с королевской свадьбы, я нашел в Лебау посланные тобою два экземпляра недавно напечатанного труда нашего Коперника, о смерти которого я узнал, только приехав в Пруссию. Я мог бы уравновесить боль от кончины собрата и великого мужа чтением книги, которая как будто возвращала мне его к жизни, но уже в самом начале я увидел нарушение доверия или, чтобы сказать правильнее, бесчестность Петрея, что возбуждало во мне негодование, еще более сильное от первоначальной печали. Как же не возмущаться столь большим преступлением, совершенным под покровом доверия? Я, однако, не знаю, следует ли в этом обвинять самого печатника, завися-

щего от деятельности других, или какому-нибудь завистнику, который в горе, что ему придется расстаться с бывшей профессией, если эта книга сделается известной, воспользовался простотой печатника для того, чтобы уничтожить доверие к этому труду. Чтобы он все-таки не остался безнаказанным за то, что позволил испортить дело чужим обманом, я написал Нюрнбергскому сенату, указывая, что, по моему мнению, следует сделать для восстановления доверия к автору. Я посылаю



Иоганн Петрей.

тебе письмо с копией этого обращения, чтобы ты, когда дело уже сделано, мог бы судить, как следует провести это предприятие, потому что для переговоров с этим сенатом я не вижу ничего более пригодного и даже более хотящего, чем ты, который играл роль предводителя хора во всей этой драме, так что ты, по-видимому,

<sup>1</sup> L. A. Birkenmajer, цит. соч., стр. 638, 652—653.



не менее самого автора заинтересован в восстановлении того, в чем было отступление от истины»<sup>1</sup>.

Если, продолжал Гизе, первые листы будут перепечатываться, то следует прибавить новое предисловие, «чтобы очистить от клеветы уже выпущенные в свет экземпляры». Кроме того, надо в начале книги поместить биографию Коперника, которую некогда составлял Ретик, пополнив ее рассказом о том, как он умер. Этому, пояснил Гизе, вовсе не мешает, что книга была издана до его смерти<sup>2</sup>, ибо год совпадает, а дня завершения печатания типограф не поставил.

Сообщая подробности о кончине друга, Гизе и написал Ретику, что Коперник умер 24 мая, в тот самый день, когда впервые увидел весь свой напечатанный труд. Увидел книгу, а не первые листы!

Опубликованные Брожеком документы разрешили вопрос, вызвавший столько споров. Да, именно смерть помешала Копернику протестовать против предательского самовольства Осиаандера и направить жалобу в нюрнбергский магистрат. Это сделал за него Тидеман Гизе, доверенный сокровеннейших его дум.

Одно в этой истории вызывает недоумение: как мог Осиаандер, знавший непреклонность Коперника, рассчитывать на безнаказанность? И в силу каких причин Петрей не боялся кары за фальшивку? Печатать книгу начали за год до смерти Коперника. Предисловие «К читателю» оттиснуто на обороте титула. Допустим, сохранить это в секрете от автора особой трудности не составляло — тот находился за тридевять земель от Нюрнберга. Но почему Ретик, руководивший изданием, целый год хранил молчание? Он, по слухам, оправдывался тем, что предисловие-де было поднесено в его отсутствие. В одном из сохранившихся экземпляров первого издания Коперника рядом с предисловием «К читателю» вскоре после выхода книги в свет была сделана такая запись: «Андреас Осиаандер написал это предисловие, которое Петрей напечатал без ведома Ретика»<sup>3</sup>.

Е. Васютинский, автор одной из самых полных биографий Коперника, излагает эти события так: Ретик после очень недолгого пребывания в Нюрнберге решил ехать в Фельдкирх, к своему другу Гассару, и поручил наблюдать за изданием Осиаандеру. Тот воспользовался случаем и напечатал свою фальшивку.

«В первых числах июня, — пишет

Е. Васютинский, — два печатных листа книги «О вращениях» были оттиснуты. Издатели по собственному усмотрению бесцеремонно изменяли и правила текст. В то время Ретик ехал в Фельдкирх, чтобы 20 июня снова встретиться с Гассаром и преподнести ему с дарственной надписью экземпляр «Тригонометрии» Коперника... Когда же в начале июля он возвратился в Нюрнберг, было уже поздно отбросить наглое предисловие Осиаандера. Впрочем, как кажется, Ретик отнесся к этому довольно равнодушно»<sup>4</sup>.

Согласиться с этой точкой зрения нельзя. И не потому, что ей противоречит ряд свидетельств о том, как Ретик ссорился с Петреем из-за этого предисловия. Их мы сейчас разбирать не будем, поскольку похоже, что начало этим рассказам положил сам Ретик. Коль он тоже замешан в этой неблагоприятной истории, то, разумеется, мог, выгораживая себя, говорить неправду.

Даже если допустить, что занятая Ретиком позиция оценена Е. Васютинским правильно, то и тогда его мнение о времени напечатания анонимного предисловия (в июне 1542 года, в отсутствие Ретика) фактами не подтверждается.

Приехал Ретик в Нюрнберг не позже середины мая. Вскоре же приступили к печатанию книги. 29 июня Т. Форстер писал своему приятелю, что в Нюрнберге осуществляется издание удивительной книги, в которой доказывается движение Земли. Месяц назад он видел готовые два печатных листа<sup>5</sup>.

Итак, первые листы были отпечатаны в конце мая, появился же Ретик у Гассара 20 июня. Добраться из Нюрнберга в Фельдкирх можно было за несколько дней. Поэтому поездка к Гассару вовсе не доказывает, что первые листы были набраны и оттиснуты в отсутствие Ретика.

Однако не эти соображения заставляют нас отринуть точку зрения Е. Васютинского. Рассмотрим, как печатался Коперников труд.

В отделе редких книг Библиотеки имени

<sup>1</sup> Письмо здесь цитирую по русскому переводу: Н. Коперник, *О вращениях небесных сфер*. М., 1964, стр. 550—551.

<sup>2</sup> Латинский текст писем Гизе у Prowe, II. Band, Urkunden, SS. 418—421.

<sup>3</sup> E. Zinner, цит. соч., стр. 450.

<sup>4</sup> J. Wasjutynski, *Kopernik*. Warszawa, 1938, str. 478.

<sup>5</sup> E. Zinner, цит. соч., стр. 243.

Ленина есть факсимиле первого издания Коперника. Полистаем эту книгу. Первые четыре листа, считая и титул, обозначены римскими цифрами, за ними следуют два листа оглавления, они без нумерации. После них идет основной текст — 196 листов, пронумерованных арабскими цифрами.

Печатный лист состоит из восьми страниц. Основному тексту предшествуют двадцать страниц, из них первые восемь, включая титул, это один и тот же печатный лист. На обороте титула помещено предисловие «К читателю», на следующей странице — его продолжение и письмо кардинала Шонберга, затем пять страниц обращения к папе.

В дошедшей до нас рукописи Коперника, как известно, обращения к папе нет, оно было составлено позже, во второй половине июня 1542 года.

В конце мая или первых числах июня два печатных листа были готовы. Даже если предположить, что обращение к папе гонец тут же повез из Вармии в Нюрнберг, то все равно приходится признать: в руках у издателя еще не могло быть обращения к папе, когда первые шестнадцать страниц были уже напечатаны. Знают, в мае 1542 года печатали начало основного текста книги. Первые же двенадцать страниц, не имеющие общей нумерации, в том числе и анонимное предисловие, набирались, когда весь основной текст, или значительная его часть, уже напечатан. Кстати, на титуле — вспомним, что анонимное предисловие находится на обороте титульного листа, — стоит уже другой год — 1543-й.

Попытаемся все-таки выяснить, когда был совершен подлог. Версия о том, что предисловие напечатали после смерти Коперника, отпала. Подлог совершили, когда тот еще был в живых. Но когда именно? Мнение Е. Васютинского, будто это произошло в конце мая или первых числах июня, тоже не подтвердилось. Когда же? Печатать книгу кончили на исходе зимы или ранней весной 1543 года. Какое до этого произошло событие, которое могло подтолкнуть злоумышленников решиться на подлог? Событие, гарантирующее им безнаказанность?

В ноябре или первых числах декабря 1542 года Коперник, как мы узнаем из опубликованного Брожеком письма, тяжело заболел. Георг Доннер, живший тогда во Фромборке, тут же известил об этом Гизе. Сохранился только ответ

Гизе. 8 декабря тот писал Доннеру: «Меня встревожило то, что ты написал мне о болезни почитаемого старца, нашего Коперника. Поскольку, будучи здоровым, он любил одиночество, я полагаю, что и теперь, когда он болен, рядом должны быть лишь несколько друзей, которые бы облегчили его несчастья, хотя все мы в неоплатном долгу у него за его бескорыстие и исключительную ученость. Я знаю также, что он всегда считал тебя среди преданных. Поэтому прошу тебя, раз этого требует его состояние, будь его неотступным защитником и возьми на себя заботу о человеке, которого ты всегда вместе со мной любил, чтобы он в своем тяжелом положении не был лишен братской поддержки и мы бы не оказались неблагодарными по отношению к столь заслуженному мужу»<sup>1</sup>.

Состояние Коперника, видно, с самого начала болезни было весьма тяжелым. Никаких улучшений не наблюдалось, напротив, вскоре стали говорить о его близкой смерти, полагая, что умрет он в начале года. В этом духе Дантиск, епископ Вармии, лицемерный гонитель Коперника, писал жившему в Лувене Гемме Фризскому.

Весть о болезни Коперника могла достичь Нюрнберга где-то около рождества. Не исключено, что именно она и развязала злоумышленникам руки. Подлог, вероятней всего, был совершен зимой или ранней весной 1543 года. В то время многие считали, что дни Коперника сочтены. Осиандер и Петрей могли позволить себе самовольство. А Ретика в Нюрнберге действительно тогда уже не было. Он жил в Лейпциге.

В ряде книг, посвященных Копернику, красочно описывается, как перед самой его смертью у городских ворот появился нарочный, привезший из Нюрнберга долгожданную книгу. Рассмотрим, насколько этот «гонец на взмыленном коне» вяжется с фактами.

Нам важно выяснить, когда трактат Коперника вышел в свет. Точной даты, к сожалению, установить не удается. Петрей почему-то нарушил обыкновение типографов и не поставил в конце книги месяца завершения печатания, а только год. Но известно, что в середине марта Коперниково сочинение уже продавалось в Нюрнберге. Сохранилось письмо Себастиана Курца, агента Фуггеров. Он сообщает императору Карлу V, что посылает ему вышедшую на днях книгу Коперника. Письмо написано 21 марта 1543 года.

<sup>1</sup> L. Prowe, цит. соч., т. II, стр. 418—419.

В ту пору уже многие знали, что Коперник безнадежно болен. Гемма Фризский, отвечая Дантиску, писал 7 апреля, что с огромным нетерпением ждет сочинения Коперника, которое, как сообщают из Германии, находится в печати. «Труд этот, — замечает Гемма, — выходит как нельзя вовремя, чтобы осветить кончину такого мужа сиянием вечности».

Представляется совершенно естественным, что люди, осуществлявшие издание, будь у них чиста совесть, первым делом послали бы книгу автору. Это тем более не терпело отлагательств, что Коперника мучил смертельный недуг. Здесь мы сталкиваемся еще с одним загадочным обстоятельством, которое было отмечено Е. Вастиньским: послать Копернику готовую книгу не торопились<sup>1</sup>.

Из Нюрнберга в Вармию ехали тогда примерно недели две. Гонец покрывал это расстояние еще быстрее. Больше двух месяцев продавали книгу Коперника, прежде чем он ее впервые увидел. Мы даже не знаем, каким путем попал к нему этот единственный экземпляр. Трудно избавиться от мысли, что неспроста так тянули с отсылки книги, ждали: не сегодня-завтра упрямый старик умрет.

Это, согласимся, объяснимо в отношении людей, совершивших подлог. Но почему тогда Ретик, увидев подsunутое предисловие, не послал тут же Копернику книгу и не поднял тревоги?

Историки, говоря о болезни Коперника, далеки от единодушия. Но все суждения, несмотря на расхождения в подробностях, основаны в конечном итоге на одном и том же источнике — письме Гизе Ретику. Коперника, как засвидетельствовал Гизе, сразу «*sanguinis profluvium*». Эти слова переводят и как «прилив крови» и просто как «кровотечение». Один историк пишет о постоянных «кровотечениях из носу», другой даже о «горловом кровотечении», третий — об «истечении крови». Неужели Коперник истек кровью? Он страдал гемофилией? Или его свела в могилу чахотка?

Эти толкования нуждаются в уточнении. «*Sanguinis profluvium*» в данном случае лучше понимать как «кровоизлияние». Коперник умер в результате инсульта, кровоизлияния в мозг и связанного с этим паралича правой стороны. Скончался Коперник на девятый день от июньских календ (24 мая 1543 года) «от кровоизлияния (*ex sanguinis profluvio*)», — пишет Гизе, — и последовавшего паралича правой стороны; за много дней до этого он лишился памяти и

умственных сил и только при последнем издыхании увидел свой труд в самый день своей смерти».

Значит ли это, что Коперника разбил паралич именно 24 мая? Вторая половина этой фразы и ряд прежних известий о болезни Коперника заставляют думать, что роковое кровоизлияние в мозг произошло значительно раньше, возможно, в конце ноября. Тяжелое состояние Коперника и порождало слухи о том, что дни его сочтены.

В середине марта 1543 года Коперников труд, снабженный анонимным предисловием, можно было уже купить в Нюрнберге. А два с лишним месяца спустя, 24 мая, разбитый параличом ученый впервые увидел свою книгу и тут же умер.

Случайность? А не говорит ли это как раз о том, что Коперник не утратил способности воспринимать окружающее? Вряд ли это простое совпадение. Теперь, когда мы знаем, что подлог был совершен на самом деле, догадка, кажется, оправдывается: да, предсмертные минуты Коперника были полны возмущения и гнева. Издатели непростительно злоупотребили доверием и, подsunув в книгу анонимное предисловие, запятали труд его жизни печатью циничного скептицизма и хитрого отступничества!

Это, по-видимому, и был последний удар, который свел в могилу Николая Коперника.

Такая концовка эффектна, но далеко не бесспорна. Мы опять должны вернуться к болезни Коперника. Строго говоря, мы не знаем, как реагировал и реагировал ли вообще Коперник на принесенную ему книгу. Слова Гизе можно понимать по-разному. Все зависит от того, как толковать «*memoria et vigore mentis destitutus*». «*Vigor mentis*» переводят и как «умственные силы» и как «умственные способности». Означать это может и «живость мысли». Естественно, что после паралича у человека ослабевает память и живость мысли. Похоже, однако, что в письме Гизе речь идет о другом: за много дней до кончины Коперник лишился памяти, то есть впал в беспмятность, лишился сознания.

Подробности о кончине Коперника Гизе узнал, по всей вероятности, от Доннера, который находился у постели умирающего. Обращает на себя внимание следующее: если бы Доннер заметил какую-нибудь реакцию Коперника на книгу, то он не замедлил бы сообщить об этом Гизе, тем бо-

<sup>1</sup> J. Wasintynski, цит. соч., стр. 485.

лее, разумеется, если бы речь шла о возмущении Коперника подлогом.

Следовательно, попытка связать смерть Коперника с получением изданной книги не находит подтверждения в нашем единственном источнике и относится к области неоправданных домыслов.

Отправить книгу автору издатели не торопились, и, хотя смерти его ждали со дня на день, книга тем не менее застала Коперника в живых. Кто ее прислал? Почему Ретик, если он не был соучастником подлога, тоже тянул с присылкой книги? Ведь получил-то ее Коперник только в день смерти.

Здесь очередная неточность. Историки и беллетристы на все лады обыгрывают сообщение о том, что великий астроном увидел свой изданный труд лишь при последнем издыхании. Однако все эти гонцы с книгой Коперника, появляющиеся у ворот в самый день его смерти, не больше чем плод воображения. Авторы, пишущие, что Коперник в день кончины получил свою книгу, допускают досадную неточность. В источнике говорится иначе: только при последнем издыхании Коперник увидел свою книгу.

Даже Е. Васютинский, отметивший, что с присылкой книги Копернику вовсе не спешили, не избежал соблазна драматизировать события и сохранил трафаретного гонца: «24 мая пришла смерть Коперник много дней уже находился без сознания... У ворот Фромборка остановился посыльный из Нюрнберга. Он вез письма и первые экземпляры книги «О вращениях»...»<sup>1</sup>.

В данном случае легко понять, чем вызван этот домысел. Если Коперник увидел свою книгу лишь в день смерти, то логично считать, что тогда же ее и доставили. Но, «получил» и «увидел» далеко не одно и то же. Мы не знаем, когда был привезен первый экземпляр сочинения Коперника, и поэтому все подозрения, связанные со злонамеренной медлительностью издателей, оказываются напрасными. Вполне возможно, что Коперников труд был доставлен во Фромборк вскоре же после выхода в свет.

И совершенно не исключено, что прислал своему «господину наставнику» эту книгу именно Ретик.

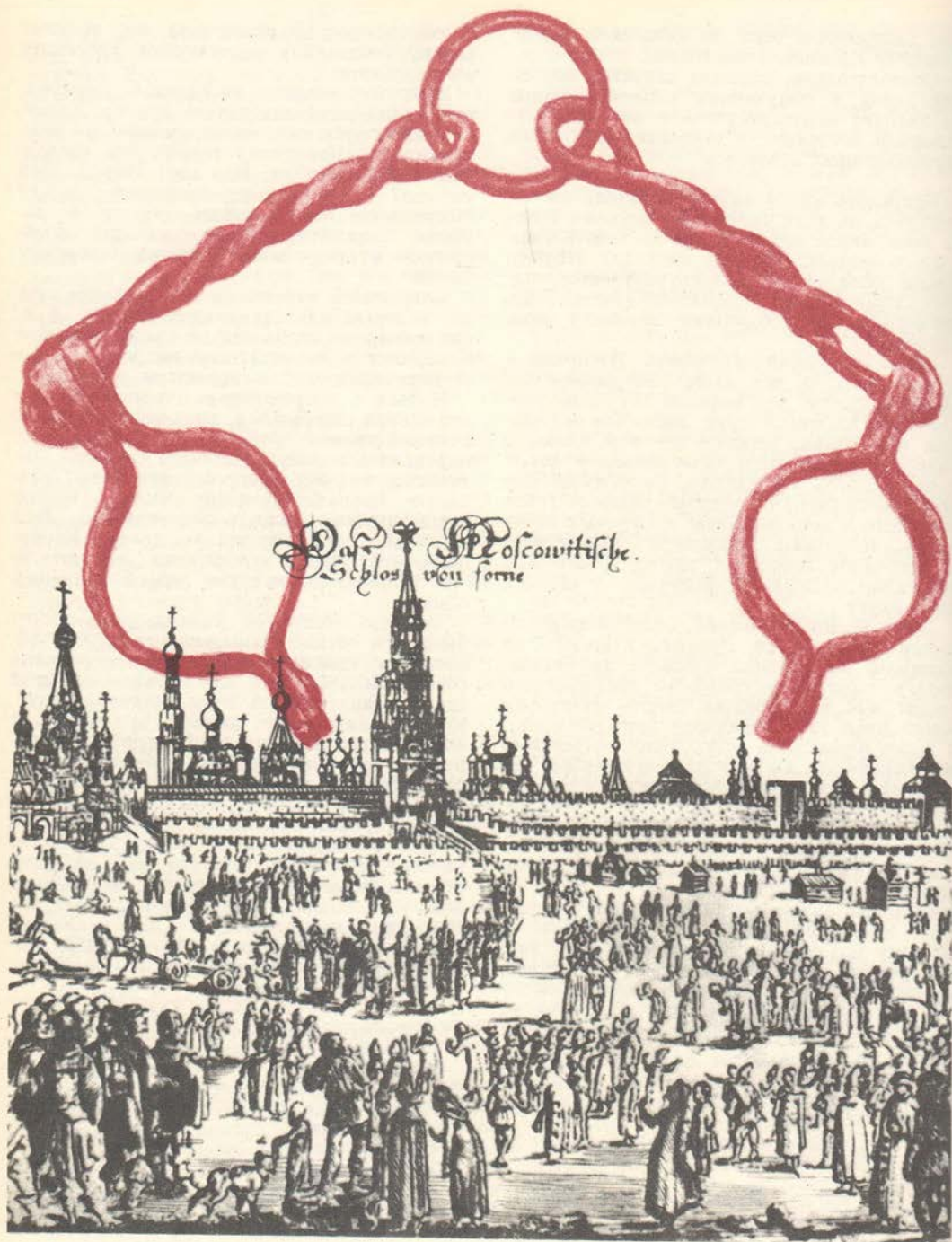
Едва избавившись от одних подозрений, мы тут же начинаем питать другие. Книгу, положим, доставили своевременно. Но ведь вручили ее Копернику только при последнем его издыхании. Что это? Новый злой умысел? Заговор у смертного ложа? Мошенники, совершившие подлог в далеком Нюрнберге, имели, выходит, сообщников и среди самых близких Копернику людей?

Сохранился экземпляр Коперникова труда, которым некогда владел Доннер. Анонимное предисловие как не принадлежащее Копернику и напечатанное вопреки его воле перечеркнуто там красными чернилами.

Нельзя с уверенностью утверждать, что это сделал сам Доннер, хотя многие ученые считают именно так. Нельзя, к сожалению, определить и когда это было сделано. Интересно, что эту книгу с дарственной надписью прислал Доннеру Ретик. Важно здесь другое: Доннер, несомненно, был настолько осведомлен в делах Коперника, что, увидя предисловие «К читателю» напечатанным, тут же бы заметил обман.

То, что Коперник увидел свою книгу лишь при последнем издыхании, не случайность, как нам представляется, и не простое совпадение. Однако взаимосвязь событий здесь иная, чем об этом обычно пишут. Не получение книги явилось причиной тут же наступившей смерти Коперника, а напротив, его безнадежное положение позволило Доннеру принести ему книгу. Привезли ее во Фромборк, надо думать, значительно раньше. Доннер, обнаруживший подлог, не отдавал книги Копернику, чтобы не отяготить и без того тяжелых его дней невыносимым бременем горечи и возмущения. И только когда пробил смертный час Коперника и тот находился уже буквально «при последнем издыхании», Доннер вложил ему в руки бессмертное его творение.

<sup>1</sup> J. Wasiutynski, цит. соч., стр. 485.



В. И. Буганов

## Московские «бунтари» 1662 года

События бурного XVII столетия в России издавна привлекают внимание ученых и писателей, художников и музыкантов. Восстания Болотникова и Разина, народные движения в Москве и других городах России давали не только богатейший материал историкам для размышлений и ученых исследований, но и вдохновляли выдающихся деятелей русской культуры. Достаточно вспомнить гениальные оперы Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщину», поэму Глазунова «Степан Разин», романы и стихи об удалом атамане и его сподвижниках. События XVII века поражали воображение не только потомков, но и современников. Недаром они называли это столетие «бунташным».

Одним из самых знаменитых народных восстаний этого времени был «Медный бунт» 1662 года.

Он был вызван серьезными причинами. Народ выражал недовольство медной реформой, в результате которой вместо серебряных денег рынок наводнило большое количество медных, это привело к обесцениванию денег, страшной дороговизне и в конечном счете к голоду. К тому же страна вела затяжные войны с Польшей и Швецией, требовавшие больших расходов. Правительство распорядилось самым строжайшим образом взывать недоимки за прошлые годы. Увеличились налоги. Незадолго до восстания объявили сбор так называемой «пятой деньги», то есть налога размером в 20 процентов стоимости имущества налогоплательщика. Ко всему этому прибавились эксплуатация простых людей

со стороны правящей верхушки, богатых торговцев, различные бесчинства, взятки и поборы.

Рано утром 25 июля 1662 года в Москве вспыхнуло восстание. В прокламациях, расклеенных ночью по улицам, площадям и перекресткам столицы, выдвигались требования отмены медных денег, снижения налогов, прекращения злоупотреблений. Восставшие требовали выдачи для расправы главы правительства боярина И. Д. Милославского и других ненавистных лиц, занимавших высшее положение при дворе и в богатых купеческих кругах.

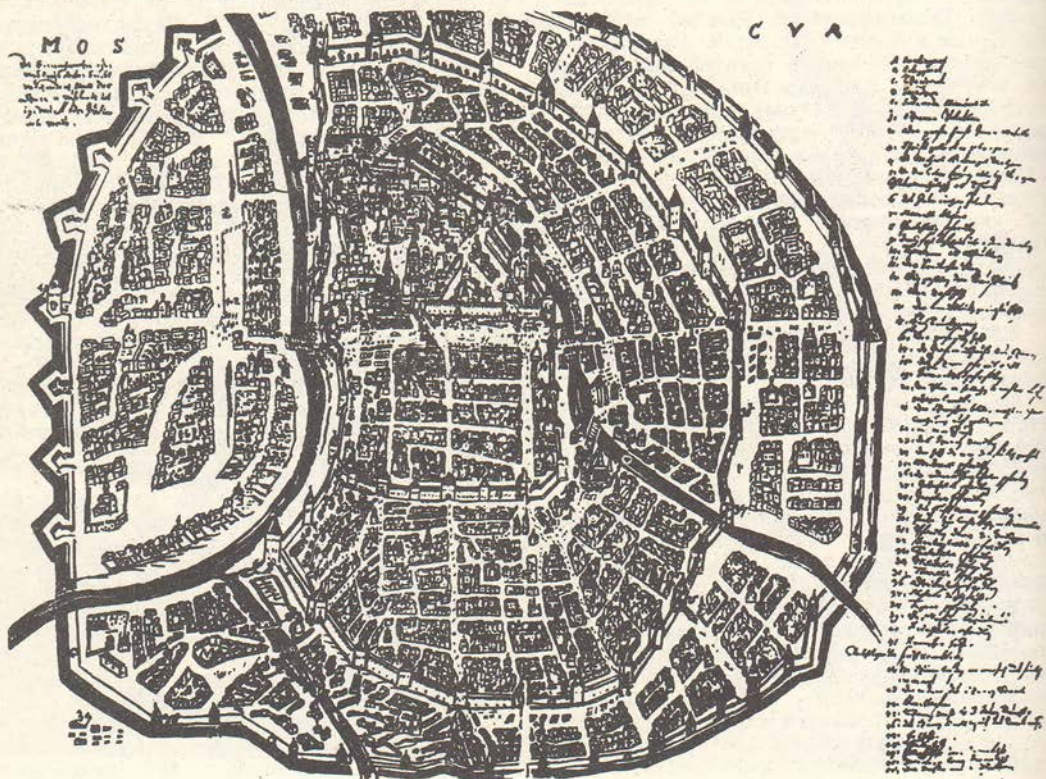
Массы москвичей двинулись в село Коломенское, где в это время находился царь Алексей Михайлович со двором, и предъявили ему свои требования. В это время другие восставшие громили в Москве дома богатых и «сильных». По указанию царя в тот же день восстание было потоплено в крови, началось жестокое следствие — допросы, пытки, казни и ссылки.

Такова общая картина «Медного бунта». О нем немало писали русские историки, в том числе знаменитые С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. А. Н. Зерцалов издал (правда, не полностью и с ошибками) материалы сыска над участниками восстания. Но больше всего сделал для его изучения талантливый советский исследователь К. В. Базилевич. В своей книге он подробно осветил ход медной реформы и восстание 25 июля 1662 года. Его выводы вошли в солидные академические издания и школьные учебники. Казалось бы, что о «Медном бунте» 1662 года уже написано «последнее сказанье».

Все же оказалось, что это не так. Как нередко бывает, поводом к пересмотру некоторых устоявшихся представлений послужила случайность.

Автор этих строк немало время потратил на знакомство со старинными рукописями, интересуюсь разрядными книгами, в которых приведены списки военных и гражданских деятелей «чиновников» XVI—XVII веков. Это требовало просмотра десятков и сотен рукописей, сборников. Содержание их в общем не отличалось литературными достоинствами, а подчас просто приводило в отчаяние своим унылым однообразием и сухостью.

Но кропотливое текстологическое изучение бесконечных списков вознаграждало неожиданными находками. Подчас однообразие этих памятников нарушалось. Дело в том, что в текстах разрядов при частой их переписке вносились «посторонние» документы, памятники. В некоторых,



например, помещены повести: о победе над крымскими татарами в 1572 году у Молодей, о смерти царя Федора Ивановича и воцарении Бориса Годунова в 1598 году, о походе русского войска на Урал в 1499—1500 годах и другие.

В одном из сборников XVII столетия, помимо разрядных списков, попало описание неизвестного восстания в Москве. Беглое знакомство с этим описанием могло отпугнуть читателя — в нем явно спутаны хронология, факты, очерченность событий. Вот его начало:

«Лета 7171 (то есть 1663-го. — В. Б.) июня в 23 день был великому государю выход на праздник стретения пресвятыя богородицы на Устретенку. И того числа была смута великая на Москве и били челом великому государю всем народом посадския и всяких чинов люди во всяких налогах и в разоренье...»<sup>1</sup> И далее следует подробное описание восстания 1648 года в Москве при царе Алексее Михайловиче, когда простые москвичи выступили против резкого повышения цены на соль и злоупотреблений представителей знати, торговцев и приказной бюрократии. Оно дей-

Царь Алексей Михайлович.  
Портрет маслом работы  
С. Лопучного. 1657 г.  
Государственный Исторический музей.  
Возвращение государственная печать.  
Иван Москвитин Майерберга.  
1661—1662 гг.

ствительно началось на Сретенской улице, во не 23-го, а 2 июня, ошибка в определении года была еще более значительной — вместо 1648 года стоит 1663-й! Имеются в описании и другие несообразности. Например, по словам его автора, из Москвы во время восстания пытался спастись бегством Л. С. Плещеев<sup>2</sup>, на самом деле это был П. Г. Траханиотов, оба они принадлежали к правящим верхам и вызывали острую ненависть москвичей.

После описания «Соляного бунта» 1648 года автор переходит к описанию собою другого восстания в Москве — «Медного бунта» 1662 года. Датируется это тоже 1663 годом; описание опять же грешит неточностями.

Однако, как показал внимательный анализ, не это было главным. Выяснилось, что описание «Соляного бунта» 1648 года очень сходно с рассказом так называемой Псковской 3-й летописи о том же событии<sup>3</sup>, хотя в первом источнике оно описано более подробно. Этот, казалось бы, незначитель-

ный факт стал нитью Ариадны в распутывании сложного клубка вопросов, поднятых новым описанием обоих восстаний. Известный историк, специалист по русскому летописанию А. Н. Насонов уже давно установил, что сведения Псковской 3-й летописи о восстании в Москве 1648 года были записаны в Пскове приблизительно в 1648—1650 годах, когда воеводой там был окольный Н. С. Собакин. Более того, в летописи явно чувствуется влияние Собакина, который несколько раз по другим случаям упоминается в тексте. Отсюда можно предположить, что описание восстания 1648 года в нашем сборнике тоже исходит от Собакиных. Это предположение подтвердилось.

У псковского воеводы Никифора Сергеевича Собакина, умершего в 1656 году, было три сына. Упоминания о старшем из них, Андрее, быстро исчезают со страниц документов (с 1645 года). Причиной тому могли служить ранняя смерть, болезнь или пострижение в монахи. Второй — Василий — умер в 1677 году, он известен ученым как книголюб, собиратель рукописей; в их числе, между прочим, была и рукопись Псковской 3-й летописи с упоминаниями об отце — псковском воеводе. Наконец, младший из сыновей, Григорий, умерший в 1689 году, достиг высшего по тем временам положения — стал боярином, исполнял различные царские поручения, сопровождал царей в их поездках по подмосковным имениям.

Сборник, в который вставлено описание восстаний 1648 и 1662 годов, принадлежал тем же Собакиным. На одном из листов рукописи сохранилась запись о владельце: «Книга выписная из разрядов Михаила Васильевича Собакина». Сам текст сборника содержит, кроме упомянутого описания, выписки о службах представителей различных боярских и дворянских родов, интересовавших Собакиных. Самим Собакиным уделено особое внимание. Наконец, и это особенно характерно, в описании «Медного бунта» 1662 года тоже фигурирует один из Собакиных, именно боярин Григорий Никифорович — дядя владельца «книги выписной». Согласно описанию царь Алексей Михайлович послал из Коломенского в

<sup>1</sup> В. И. Буганов. Описание Московского восстания 1648 г. Исторический архив, 1957, № 4, стр. 228.

<sup>2</sup> Там же, стр. 229.

<sup>3</sup> Городские восстания в Московском государстве XVII в. Сб. док-тов. М. — Л., 1936, стр. 76—77.





Москву для вызова стрелецких полков, которые сыграли основную роль в разгроме «Медного бунта», именно Григория Собакина. Все другие источники хранят по этому поводу единодушное молчание. Один из очевидцев восстания, знаменитый подьячий Григорий Котошихин, сообщает, что царь посылал из Коломенского в Москву боярина И. А. Хованского. Он-то, вероятно, и вызвал стрелецкие полки. Можно предположить, что автором этого описания был Г. Н. Собакин; он же, вероятно, и являлся владельцем сборника, попавшего затем к его племяннику. Недаром же в сборнике приведены списки лиц, занимавших различные должности при царских дворах, начиная с Ивана III и кончая Петром I и Иваном Алексеевичем. Сама рукопись была составлена именно в 80-е годы XVII века — в промежутке между 1682 и 1689 годом. Само же описание Г. Н. Собакин составил вскоре и в связи с другим московским восстанием — знаменитой «Хованщиной» 1682 года, когда восставшие также потребовали прекращения злоупотреблений со стороны правящей верхушки (взяточничество, несправедный суд и т. д.) и облег-

«сыграл» и на контрасте, подчеркнув, что в 1662 году стрельцы не участвовали в восстании, а подавали его, заслужив особую царскую похвалу и милость, причём активную роль сыграл в этих событиях якобы сам автор — Г. Н. Собакин, приписавший себе, очевидно, заслуги И. А. Хованского, погибшего в 1682 году. Описав эти события двадцать лет спустя, Собакин допустил ряд ошибок и даже фальсификаций и создал, по существу, памятную записку, даже политический памфлет, переключившийся с событиями «Хованщины». При ее составлении он использовал текст Псковской 3-й летописи, возможно, какие-то несохранившиеся официальные документы, памятные записки<sup>1</sup>.

Работа над объяснением личности этого боярина-фальсификатора, особенностей его сочинения столкнула с рядом еще более интересных загадок.

Тщательное изучение описания «Медного бунта» у Собакина потребовало сверки с другими источниками о восстании. На первом месте среди них стоит рассказ Григория Котошихина — подьячего Посольского приказа (Министерства иностранных дел XVII столетия)<sup>2</sup> и особенно материалы следствия над участниками «гиля»<sup>3</sup>. Именно эти источники лежат в основе лучшей работы по истории «Медного бунта», принадлежащей перу К. В. Базилевича — тонкого исследователя и знатока XVII века<sup>4</sup>. Однако этот крупный ученый совершил, как выяснилось, серьезную ошибку в истолковании источников, которая привела в конечном итоге к недооценке им большого размаха восстания и следствия, которое проводилось после подавления «бунта». Выводы К. В. Базилевича о причинах восстания, о его народном, антифеодалном характере не вызывают возражений.

Примечание: Прием иностранных послов царем Алексеем Михайловичем в Грановитой палате Московского Кремля. Рис. из альбома Пальмквиста. 1674 г.  
Московский стрелец XVII века. Московский стрелец. Рис. из альбома Пальмквиста. 1674 г.

чения материального положения. В нем главной движущей силой выступали московские стрельцы. В связи с этим Г. Н. Собакин прибегает к хитрому, с его точки зрения, приему, отдающему прямой фальсификацией. В декабре 1682 года стрельцы одного из полков, участвовавшие в восстании, принесли повинную, причем на Аремлевской площади перед царским двором разыгралась сцена, характерная для тогдашних нравов царской столицы. Сотни стрельцов во главе со своими начальниками положили на землю под окнами царского дворца плахи и топоры, а сами распластались тут же, смиренно обнажив головы и шеи. Последовало всемирно известное прощенье...

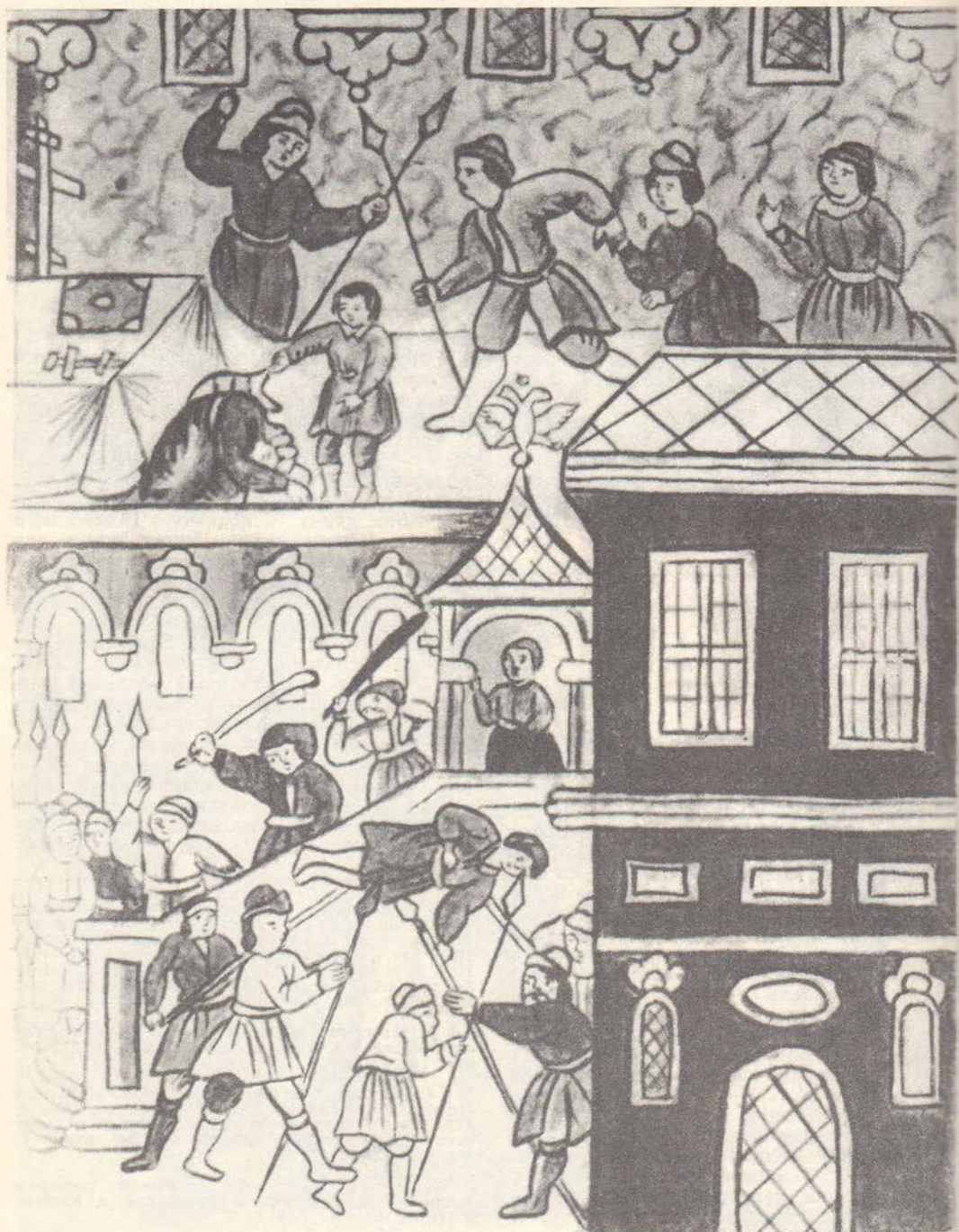
При подавлении «Медного бунта» 1662 года ничего подобного не происходило. Но Г. Н. Собакин утверждает, что это имело место — московские солдаты, участвовавшие в восстании, делали-де то же и так же, как и стрельцы двадцать лет спустя. Автор

<sup>1</sup> О сборнике Собакиных и сочинении Г. Н. Собакина см.: В. И. Буганов. Записки современника о московских восстаниях 1648 и 1662 гг. Археографический ежегодник за 1958 г. М., 1960 г., стр. 99 и сл. Текст записей: Хрестоматия по истории СССР XVI—XVII вв., М., 1962 г., стр. 448—453.

<sup>2</sup> Г. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. Изд. 4-е. Спб., 1906. стр. 101—104.

<sup>3</sup> А. Н. Зерцалов. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском в 1648, 1662 и 1771 г. — Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1890, кн. 3 (154), отдел 1, стр. 295—360.

<sup>4</sup> К. В. Базилевич. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М.—Л., 1936.



То же можно сказать и об описании хода «бунта», хотя его нельзя признать в какой-то степени полным, исчерпывающим. Но К. В. Базилиевич допустил серьезную ошибку в использовании источников. Дело в том, что сохранилось гораздо больше следственных и других документов, чем он предполагал.

Используя только часть этих документов, он ошибочно пришел к выводу о том, что в восстании участвовало не более 2—3 тысяч человек, а в ходе его подавления арестовано было 450—500 человек, сослано 400 человек, казнено примерно 30 человек. Он не доверял при этом почти единогласным показаниям современников о том, что в восстании участвовало до 9—10 тысяч человек, а в ходе его подавления были убиты, арестованы и сосланы тысячи людей.

Началась проверка данных описания Собакина с помощью документов следствия, опубликованных А. Н. Зерцаловым в 1890-е годы. Так как Зерцалов опубликовал следственные материалы не полностью, нужно было посмотреть полное архивное дело. Ссылку на него можно найти

---

Стрелецкое восстание 15 мая 1662 года. Миниатюра из «Истории Петра Великого» Ф. Я. Фаворина. Государственный исторический музей.

---

у Базилиевича — это дело № 959 Приказного стола Разрядного приказа, хранящееся ныне в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА). Оно-то и опубликовано Зерцаловым, пишет Базилиевич. Сначала в нем идут допросы участников «Медного бунта» — десяцкого Сретенской палаты Л. Жидкого, стрельца К. Нагаева, медетелей Б. Лазарева, П. Григорьева и других. Но в дальнейшем началось что-то непонятное. К. В. Базилиевич со ссылкой на это же дело приводит списки арестованных и другие документы, но на самом деле их здесь... нет! Почему? Обращаемся к Зерцалову и узнаем, что он опубликовал следственные материалы из того же архивного фонда, но из дела под № 327. Выпущенное из архивохранилища, это дело вновь ясно. Оказывается, Базилиевич, не обратив внимания на ссылку Зерцалова, опубликовал неопубликованное следственное дело, которое велось над участниками «бунта» в Москве, где 25 июля 1662 года восставшие громили дворы богатых людей. Зерцалов издал материалы сыска, который

производился в селе Коломенском. Оба следственных дела имеют ряд сходных документов — допросов, сказок, грамот, отписок<sup>1</sup>. Обе сыскные комиссии переписывались друг с другом, поэтому в одном деле имеются подлинники некоторых документов, в другом — их копии. В основном же оба дела отличаются друг от друга. Этого-то и не заметил К. В. Базилиевич, отсюда и целый клубок ошибок. Распутать их было равносильно решению ребуса-головоломки. Этому способствовала и находка новых архивных источников, неизвестных Базилиевичу.

Базилиевич ссылается на ряд документов, считая, что они взяты из одного следственного дела, на самом же деле их нужно искать в другом или же сразу в двух упомянутых делах. Он считал, что после подавления восстания работала только одна следственная комиссия — в Коломенском. Ее возглавлял боярин князь И. А. Хованский, что замолчал, между прочим, Г. Н. Собакин в своем описании «Медного бунта» 1662 года. Это и понятно — ведь он составил его вскоре после «Хованщины» 1682 года, когда сложил голову этот незадачливый авантюрист. На самом же деле оказалось, что, помимо нее, в Москве «кнутобойничала» при Боярской думе и Разрядном приказе еще одна большая сыскная комиссия во главе с боярином князем А. Н. Трубецким. Кроме того, работали сыскные комиссии в ряде других московских приказов, а также в Николо-Угрешском монастыре на Москве-реке недалеко от Коломенского. Во всех этих местах находились под стражей многие «бунтовщики» и испивали свою горькую чашу страданий под дыбой и кнутом запячных дел мастеров<sup>2</sup>.

Выше говорилось, что, основываясь на неверно истолкованных сообщениях следственных материалов, Базилиевич утверждал, что в ходе и после сыска было казнено 30 повстанцев. Далее, исходя из того, что в одном документе сообщается о ссылке в Астрахань и Сибирь «на вечное житье» вместе с женами и детьми 1200 человек, общее число сосланных участников восстания среди них, считал Базилиевич, не превышало 400 человек, так как в среднем семья состояла-де из трех человек.

<sup>1</sup> Оба этих следственных документа недавно нами опубликованы: Восстание 1662 г. в Москве. Сб. док-тов. М., 1964 г.

<sup>2</sup> См. В. И. Буганов. Московское восстание 1662 г. М., 1964 г., стр. 97—132.



Общее число арестованных он увеличивал на 50—100 человек. Наконец, он предполагал, что в целом в восстании 25 июля 1662 года участвовало 2—3 тысячи человек. Исходя из этого, Базилевич отвергал показания Котошихина и других современников восстания, русских и иностранных, о том, что общее количество восставших составляло 9—10 тысяч человек. Столь же скептически относился он к сообщению Котошихина о 7 тысячах убитых и арестованных в ходе разгрома восстания и к его утверждению о том, что для выяснения истоков прокламаций-призывов к восстанию, расклеенных в Москве в ночь с 24 на 25 июля 1662 года, московские власти приказали отобрать образцы почерков у грамотных людей, в том числе московских подьячих, чтобы сравнить их с почерком «воровских писем».

Все эти утверждения Базилевича рушились одно за другим при внимательном чтении двух следственных дел и других документов. Так, Базилевич не заметил, что имеются сведения о сборе образцов почерков для сравнения с почерками прокламаций. В одном архивном деле на ста-

жен их и детей по тому же за ними разослали».

Указания источников на большое количество убитых, повешенных и потопленных в Москве-реке в ходе подавления «бунта» тоже опровергли утверждения Базилевича. Речь в них идет не о нескольких десятках, а о сотнях и сотнях убитых повстанцев. Это подтвердила находка историком В. А. Кучкиным важнейшего документа — современной событиям 25 июля 1662 года записи очевидца: «Лета 7170-го июля в 25 день божим попущением и за наше согрешение в великом и в преименитом во царствующем граде Москве счинися таковое великое страшное дело: в поле под Коломенском государеве селе посекали москвичь черных сотен и иных всяких чинов людей сот з девять и более (разрядка моя. — В. Б.) свои же московски люди, стрельцы Стремяново приказу и государевы всякие чины за то, что стали было бить челом государю на бояр. Да того ж месяца июля в 26 день повесили пятьдесят человек в том же челобитье всяких чинов людей»<sup>1</sup>. Таким образом, речь может идти о нескольких тысячах повстанцев, погибших, арестованных и сосланных в результате кровавого погрома восстания. А ведь это неполные показания документов, значительная часть которых не сохранилась.

В свете этих данных можно считать правдоподобными цифры осведомленного и наблюдательного Котошихина об аресте более 200 повстанцев в Москве (это подтверждается московским следственным делом), убийстве и аресте в Коломенском более 7 тысяч человек; там же, по его словам, утонуло более 100 и повешено «со 150» человек. Кроме того, в ночь с 25 на 26 июля «пущих воров» топили в Москве-реке с «больших судов». Столь же вероятными становятся и сообщения о 9—10 тысячах участниках восстания<sup>2</sup>.

Таким образом, более внимательный анализ сохранившихся источников о «Медном бунте» 1662 года, документов следствия и описаний современников, позволил выявить ряд ошибок Базилевича в истолковании материалов сыска и восстановить доверие к ясным свидетельствам современников, подорванное его неправильными

Сцена в приказе. Деталь иконы XVII века.  
Московский стрелец.  
Показание батогами. Рис. из альбома Пальмквиста. 1674 г.

равных столбцах сохранились росписи около 400 подьячих более чем 25 московских приказов и среди них самого Г. Котошихина: «Посольского приказу подьячий Григорий Котошихин руку приложил». Эта подпись была опубликована более ста лет назад в первом томе «Актów Московского государства».

Далее, документы следствия говорят только не о 450—500 арестованных. Всего в материалах следствия упоминается более чем о 800 участниках восстания. В одном из документов говорится о ссылке из Николо-Угрешского монастыря 1500 человек, из которых члены семей восставших составляли только около 200 человек. При этом речь идет лишь о части восставших, многие повстанцы сидели в других местах, отсюда их спешно рассылали в разные концы обширного государства, большею частью без семей, быстро собрать которые не было возможности. По словам Котошихина, «бунтовщиков» «разослали всех в дальние городы... и после их по сказам их, где кто жил и чей кто был, и

<sup>1</sup> В. И. Буганов, В. А. Кучкин. Новые материалы о московских восстаниях XVII в. Исторический архив, 1961 г., № 1, стр. 145.

<sup>2</sup> О количестве участников восстания см. В. И. Буганов, Московское восстание 1662 г., стр. 65—66, 73—74, 90—94.

выводами. Оказалось, что восстание и следствие над его участниками имели гораздо более широкий размах, чем полагал Базилевич. Установленные им цифры участников восстания, а также арестованных и сосланных в ходе и после его разгрома необходимо в каждом случае увеличить в несколько раз. Тем самым создается более правильное представление о степени подъема, накала восстания, которое охватило многотысячные массы жителей русской столицы.

Более детальный анализ всех источников позволил по-новому осветить ход восстания в Коломенском и столице, участие в нем военных чинов, содержание прокламаций, ход следствия и т. д. Одним из самых интересных и загадочных оказался вопрос о главном вожде «Медного бунта»<sup>1</sup>. К. В. Базилевич считал главными деятелями восстания стрельца Кузьму Нагаева и десятского Сретенской сотни Луку Жидкого. Первый вел себя весьма активно в начале восстания, рано утром 25 июля, он несколько раз читал перед возбужденными толпами народа на Лубянке прокламацию. Но о его пребывании в Коломенском источники молчат. В царской резиденции на первый план выступают другие возможные предводители восстания. Здесь прокламацию и челобитную царю Алексею Михайловичу подали Л. Жидкий и М. Т. Жедринский. Последний признал на допросе: «Он говорил, чтоб государь изволил то письмо вычесть перед миром и изменников (бойар и других ненавистных народу лиц. — В. Б.) привести перед себя, великого государя». Царь, испуганный решительным тоном требований огромной толпы восставших, вынужден был «тихим обычаем» разговаривать с ними. Он обещал им рассмотреть их жалобы, провести расследование вины бояр, спрашивал: «Кто есть изменники?», уговаривал прекратить «мятеж».

Повстанцы сначала отнеслись с недоверием к словам царя и спрашивали его: «Чему же верить?» Но потом поверили. Один из повстанцев даже с царем «бил по рукам». Тот же Жедринский, не называя имени, упомянул на допросе о человеке, который вел переговоры с Алексеем Михайловичем: «В Коломенском же перед великим государем говорил с ним в порядке вышней, и тот-де человек великому государю сказанся рейтаром». Возможно, им был рейтар Ф. П. Поливкин — из документов следствия известно, что во время «бунта» в Коломенском он «шел... перед бунтовщиками и кричал с ними вместе»,

«кричал и говорил: время-де ныне побить изменников». Сам Поливкин признал на допросе, что он «меж ними (восставшими в Коломенском. — В. Б.) ходил», но тут же с подозрительной поспешностью добавил, что «заводчиков у них не было», явно желая отвести подозрение своих следователей в том, что он мог принадлежать к числу предводителей, организаторов («заводчиков») «бунта».

Все эти и некоторые другие лица играли активную роль в восстании и могли принадлежать к числу его организаторов.

Обращаемся опять же к документам сыска. Некий дьячок московского Алексеевского девичьего монастыря Демьян (Демка) Филиппов во время допроса 26 и 29 июля был избобличен показаниями своих «сослуживцев» — двух попов и дьякона. Когда один из них, поп Андрей, вел службу рано утром 25 июля, на клиросе пел литургию дьячок Демьян. Когда же «шум учинился» в городе, то есть началось восстание, последний «в литургию из церкви побежал», затем участвовал в восстании; его поймали в Коломенском вместе «с воровскими людьми». Припертый к стене показаниями свидетелей, дьячок, не стерпев к тому же пыток, признался: «с бунтовщики-де он в Коломенском был и в мысли у него о бунтовстве и о грабеже дворов было (разрядка моя. — В. Б.)». Выясняется также, что в монастыре, где служил Демьян Филиппов, накануне восстания появились какие-то надписи на камнях — во время допроса у него недаром допытывались: «Кто в Алексеевском монастыре на камне писал?» Вероятно, эти надписи перекликаются с прокламациями, расклеенными по Москве в ночь перед восстанием «бунта».

В связи с этим большое значение имеет признание Д. Филиппова на допросе 26 июля: «Он же-де, Демка, слышал от мирских людей..., что в том воровском заводе (организации восстания. — В. Б.) был Сретенския сотни тяглец Андрюшка, а чей — того не ведает». Это важно, но не совсем ясное указание человека, который сам причастен к «заводу» «бунта» 25 июля, становится еще более загадочным ввиду того, что во время второго допроса, 29 июля (то есть через два дня после первого дознания), следователи из слова не спросили у него о таинственном Андрее — простом «тяглеце», то есть посадском человеке, платившем налоги (тя-

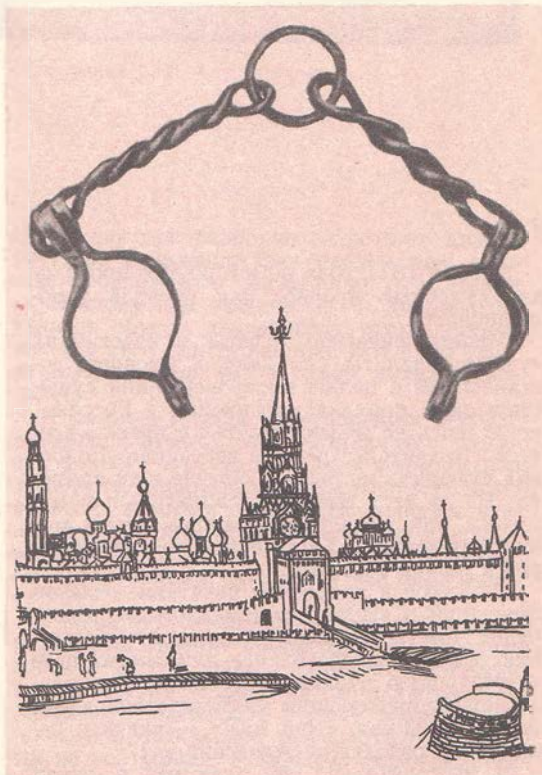
<sup>1</sup> См. В. И. Буганов. Московское восстание, 1662 г., стр. 76—82.

ло) и проживавшем на Сретенке, где, между прочим, и началось восстание. Это молчание руководителей сыска не может быть случайным — ведь они с большим упорством и жестокостью добивались выяснения имен и фамилий предводителей восстания. А здесь они не обратили внимания на такое важное признание? Не может быть!

Почти в самом конце московского сыскного дела на глаза попался на первый взгляд незначительный список арестованных, направленных 13 августа 1662 года в московский Челобитный приказ. Но известно, что этот приказ рассматривал по указанию царя дела особой важности. Кроме того, из документов видно, что примерно с 6 августа членом главной сыскальной комиссии, работавшей в селе Коломенском (она называлась Приказом сыскальных дел), стал дьяк Челобитного приказа Артемий Козлов. Особенно загадочно указание этого списка на то, что арестованные, отосланные в Челобитный приказ, числились «в деле Ондрушки Щербака». Все сохранившиеся материалы следствия говорят о том, что ни на кого из участников восстания не было заведено «персонального дела», они допрашивались группами по несколько или даже по несколько десятков человек. Единственное известное нам исключение — «дело Ондрушки Щербака».

Показание Д. Филиппова связывает инициативу выступления с именем сретенского посадского человека. Г. Н. Собакин, не называя имени, тоже сообщает, что «некоторый вор приклеил» прокламацию на Сретенских воротах. Здесь явно подразумевается какое-то конкретное лицо («некоторый вор», то есть «бунтовщик», «заводчик» восстания), действовавшее на Сретенке. На этой улице и начались события восстания, сюда рано утром прибежал из-за Трубной площади один из энергичнейших агитаторов «бунта» — стрелец Кузьма Нагаев. Фамилию предводителя, имя которого назвал Д. Филиппов, возможно, и раскрывает загадочное «дело Ондрушки Щербака». Между прочим, один анонимный иностранный автор сообщает, что в Коломенском 25 июля при разгроме восстания схватили и его предводителя. Впрочем, вполне определенно говорить об Андрее Щербаче как главном вожде Московского восстания 1662 года, еще рано, так как загадка по-прежнему еще остается загадкой. Окончательная «расшифровка» этой тайны будет зависеть от находок новых документов о «Медном бунте». Будут ли они найдены?

Вид Московского Кремля с Красной площади. Рис. из альбома А. Мейерберга. 1661—1662 гг.





Н. Пирумова

## М. Бакунин или С. Нечаев?



М. А. Бакунин.

### I

В июле 1871 года в Петербурге происходил судебный процесс над группой революционеров.

Стенографические отчеты о заседаниях судебной палаты «по делу о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России», печатались во многих газетах и прежде всего в «Правительственном вестнике». Подобная гласность не была в обычае в те времена. Но на этот раз сам обвинительный материал, как думали в правящих кругах, мог содействовать разоблачению революционеров в глазах общества.

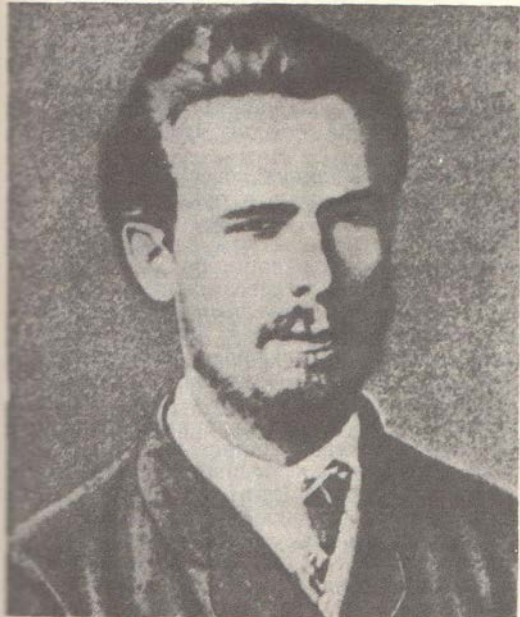
«Быстрое и подробное печатание отчетов заседаний в «Правительственном вестнике» будет иметь, по моему глубокому убеждению, самое благотворительное влияние на присутствующую публику», — писал в докладе царю управляющий министерством юстиции О. В. Эссен. «Дай Бог!» — гласила лаконичная резолюция Александра II<sup>1</sup>.

И действительно, на этот раз в руках

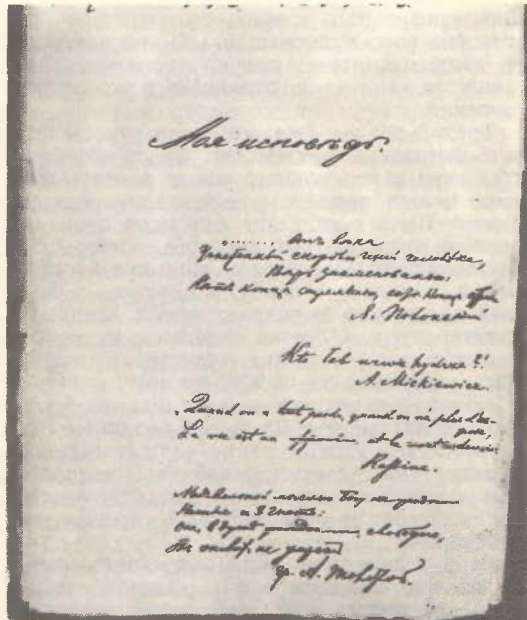
правительства оказался материал беспрецедентный в истории русского революционного движения. Речь шла о деятельности и программных документах общества «Народной расправы». Созданная осенью 1869 года организация эта ставила своей целью ниспровержение существующего строя, но методы, которыми действовали ее члены, могли вызвать лишь гнев и возмущение общественности. Иезуитские приемы, обман народа, террор по отношению к инакомыслящим возводились в принципы революционной борьбы; внедрялась система взаимного шпионажа и шантажа. 21 ноября 1869 года группой участников общества был убит член организации студент Иванов, выразивший несогласие с подобными способами борьбы и на этом основании обвиненный в предательстве.

Это убийство, которое квалифицировалось судом как уголовное, и «Катехизис

<sup>1</sup> См. Б. С. Итенберг. Движение революционного народничества. М., 1965, стр. 134.



С. Г. Нечаев.



«Исповедь» Г. П. Енишерлова.

революционера», представлявший собой свод правил для руководства участнику движения, давали основание правительственному лагерю надеяться на успех процесса.

«Катехизис» был обнаружен среди других бумаг при обыске на квартире П. Г. Успенского. Он представлял собой «печатную в 16-ю долю листа книжку на иностранном языке, как бы на итальянском», — так значилось в протоколе обыска. Во время следствия Успенский показал, что книжка написана шифром. Тогда комиссия сенатора Чедурова (ведшая следствие) отправила этот документ в министерство иностранных дел, прося «поручить сведущему лицу заняться переводом книжки для определения, что именно она в себе содержит». Обнаруженный вслед за этим в записной книжке другого члена организации, А. К. Кузнецова, ключ к шифру помог прочесть документ. В 162-м номере «Правительственного вестника» «Катехизис» был опубликован полностью. Более пятидесяти лет исследователи пользовались этим текстом. Только в

1924 году при разборке секретного архива Третьего отделения был найден еще один зашифрованный экземпляр. Историку А. Шилову при участии А. Ф. Добрянского удалось заново дешифровать этот документ, внося в него ряд уточнений. Вот этим уточненным текстом мы и будем пользоваться далее.

В разделе первом об отношении революционера к самому себе «Катехизис» требовал полного отречения от всех форм личной и общественной жизни, презрения к общественному мнению, ненависти к общественной нравственности. «Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему».

Раздел об отношении к товарищам по революции гласил: «Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к... товарищу определяется единственной степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции». Товарищи не все равны. У каждого посвященного «должно быть под рукой несколько револю-

ционеров второго и третьего разрядов», то есть «не совсем посвященных», на которых он должен смотреть как на часть «революционного капитала», отданного в его распоряжение.

Третий раздел был посвящен отношению революционера к обществу. Здесь объяснялось, что революционер живет в обществе, имея целью лишь его беспощадное разрушение. Имея в виду эту конечную цель, он должен притворяться для того, чтобы проникать всюду во все слои «высшие и средние, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец». Все общество должно быть разделено на несколько категорий.

«Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих...

Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта...

К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силой. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями, опутать их, сбить их с толку, и, овладев по возможности их грязными тайнами, сделать их своими рабами.

...Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат был для них невозможен, и их руками мутить государство.

Пятая категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздно-глаголющих кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практические головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих...

Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главных разряда.

Одни — пустые, бессмысленные и бездушные, которыми можно пользоваться,

как третьей и четвертой категорией мужчин. Другие — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего бесфазного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять как мужчин пятой категории.

Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу. Они нам товарищи. Мы должны смотреть на них, как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно».

Вслед за этим шел последний раздел — об отношении к народу. Провозглашая конечную цель: «Полнейшее освобождение и счастье народа», «Катехизис» призывал соединяться «с теми элементами народной жизни», которые всегда прямо или косвенно выражали свой протест против государства и общества. «Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России»<sup>1</sup>.

Направленность «Катехизиса» не только против правительства, но и против общества была очевидна. Именно на это решил опереться и реакционный публицист М. Н. Катков. В передовой статье «Правительственного вестника» он доказывал, что общество не может быть нейтральным в борьбе между «существующим порядком и идеей, которая навязывается молодому поколению».

«Послушаем, — писал он, — как русский революционер понимает сам себя. На высоте своего сознания он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабеж, убийство и предательство. Ему разрешается быть предателем даже своих соумышленников и товарищей... Не чувствуете ли вы, что под вами исчезает всякая почва? Не очутились ли вы в ужасной теснине между упомошательством и мошенничеством?»<sup>2</sup>

Но весь пафос Каткова, все усилия обвинения оказались напрасными. Участники движения решительно высказывались против применения подобных идей. Согласно их показаниям содержание «Катехизиса» не было известно им до процесса.

Стенографические отчеты, печатаемые в прессе, дали возможность широким кругам общественности познакомиться как с мыслями, так и с другими документами рево-

<sup>1</sup> «Борьба классов», 1924, № 1—2, стр. 268—271.

<sup>2</sup> «Правительственный вестник», 1871, № 162.

люционной организации, узнать о причинах, порождающих само движение. Вышло так, что правительство само помогло пропаганде революционных идей.

Царь был весьма недоволен результатом процесса. «Однако же хорошие ожидания твои по нечаевскому делу не оправдались», — сказал он О. В. Эссену.

Из 79 человек, привлеченных к процессу, четверо были приговорены к каторжным работам, двое — к ссылке в Сибирь, 30 — к тюремному заключению, остальные оправданы.

Но ни сам процесс, ни тем более последующий приговор не разрешили вопроса о появлении идей иезуитства и мистификации в русском революционном движении; не был установлен и автор «Катехизиса». Это обстоятельство способствовало возникновению различных мнений в исторической литературе. Но как современники, так и позднейшие исследователи могли выбирать из двух возможных вариантов: или М. А. Бакунин, или С. Г. Нечаев<sup>1</sup>.

## II

Михаил Александрович Бакунин был крупнейшим революционером-анархистом, широко известным как в России, так и в Западной Европе. Его легендарная биография, личное мужество и безраздельная преданность идее освобождения человечества от всех форм угнетения и эксплуатации привлекали к нему умы и сердца людей.

В 1869 году он жил в Швейцарии, творя грандиозные революционные планы, рассылая своих эмиссаров в различные страны Европы, призывая к немедленным революционным акциям.

В марте к нему явился неизвестный еще на Западе, но уже популярный в среде русского революционного студенчества Сергей Геннадиевич Нечаев.

Человек далеко не заурядный, Нечаев обладал железной волей, фанатической преданностью по-своему понятию революционному делу, непреклонной верой в свою правоту, в правильность избранного им пути. Кроме своеобразно трактуемого революционного дела, цель которого — до конца разрушить «этот поганый строй», Нечаев не имел иных мыслей, чувств, желаний, стремлений. Личность и взгляды этого фанатика революции почти не изучены в нашей литературе. Родился и вырос он в Иваново-Вознесенске в мещанской семье. Рано начал самостоятельную жизнь, зарабатывал тем, что писал вывески для ивановских купцов.

В 1866 году, приехав в Петербург и сдав экзамен на звание народного учителя, он обосновался в Сергиевском приходском училище. С 1868 года Нечаев стал частым посетителем студенческих кружков, которых в то время было множество. Так, З. Ралли рассказывает, как Нечаев появился в студенческой коммуне Медико-хирургической академии, стремясь познакомиться со старыми номерами «Колокола», которые там часто читали. Причем Нечаева интересовал не весь «Колокол», а лишь статьи о карказовском деле<sup>2</sup>.

Став своим человеком в кружке, Нечаев принимал участие в совместном чтении и другой литературы. Это были книги Луи Блана, Карлейля, Рошфора, статьи «Отечественных записок» о Роберте Оуэне, работа Буонаротти о заговоре Бабефа. «Эта последняя книга произвела на некоторых из нас потрясающее впечатление, и мы заговорили об организации политического общества в России», — пишет З. Ралли. Очевидно, в общих чертах познакомился Нечаев тогда же и с деятельностью и идеями Робеспьера, о котором часто шла речь между студентами, а его портреты наряду с портретами Сен-Жюста вывешивались на стенах во время сходок.

По свидетельству Ралли, «Исповедь» Руссо и «Речи» Робеспьера были теми двумя книгами, с которыми Нечаев явился к нему впоследствии, бежав от преследования швейцарской полиции.

В 1926 году, отвечая на вопрос Б. Николаевского, спросившего его о взглядах Нечаева, Ралли сообщил, что Нечаев был «просто республиканец, поклонявшийся Робеспьеру, каким изображал он его себе по тому, что знал из чтения нескольких книг»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Фр. Меринг. К. Маркс. История его жизни, Пг., 1920; Тун. История революционных движений в России, Пг., 1918; Б. Козьмин. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов, М., 1922; Ю. Стеклов, Михаил Александрович Бакунин, т. III, М., 1927; F. Yen turli il populismo russo, v. 1—2. Torino, 1952; E. Carr, Michael Bakunin, New-York, 1961 — считали автором Бакунина.

Богучарский, Активное народничество 70-х гг., М., 1912; А. Карелин, Жизнь и деятельность М. А. Бакунина, М., 1919; М. Нетлау, Жизнь и деятельность М. Бакунина, П., 1920; А. Гамбаров, В спорах о Нечаеве, М. — Л., 1926 — высказывались за авторство Нечаева.

<sup>2</sup> З. Ралли, Сергей Геннадиевич Нечаев. «Былое», № 7, 1906, стр. 137.

<sup>3</sup> Б. Николаевский, Памяти последнего «якобинца»-семидесятника. «Каторга и ссылка», 1926, № 2 (23), стр. 217.

Помимо определенного круга чтения, на формирование взглядов Нечаева повлияли и конкретные исторические события недавнего прошлого. Под последним мы имеем в виду прежде всего историю иштугинского «Ада», бесспорно сильно его заинтересовавшую.

Эта тайная, строго законспирированная группа должна была действовать с 1866 года внутри революционной организации<sup>1</sup>, основанной тремя годами ранее Н. А. Иштугиным. Вот как объяснял задачи «Ада» в своих показаниях на следствии член этой группы Д. А. Юрасов: «Общество это должно стоять не только отдельно от «Организации» и не быть ей известно, но его члены обязаны сделаться пьяницами, развратниками, чтобы отвлечь всякое подозрение, что они держатся каких-либо политических убеждений. Члены его должны находиться во всех губерниях и должны знать о настроении крестьян и лиц, которыми крестьяне недовольны, убивать или отравлять таких лиц, а потом печатать прокламации с объяснением, за что было убито лицо.

...Кроме того, другие члены «Ада» должны были следить за действиями организации, и в случае ее отклонения от пути, который «Ад» считает лучшим, издаются прокламации или [«Ад»] тайным образом предупреждает организацию и предлагает исправиться; если же члены организации не изменят образа действия, то «Ад» наказывает смертью. Если член, следивший за организацией, будет узнан и арестован, то его место должен занять новый, а арестованный должен отравиться, чтобы не выдать тайны... Кроме всего этого, «Ад» посылает члена для покушения на жизнь государя... В кармане его должны находиться прокламации, объясняющие причины преступления и требования, желания «Ада»<sup>2</sup>.

4 апреля 1866 года Д. В. Каракозов совершил покушение на царя.

Подчеркивая свою преемственность, идущую от этой группы, нечаевская прокламация «Народная расправа» гласила: «Начинание нашего святого дела было положено Дмитрием Владимировичем Каракозовым».

Определенный круг идейных влияний, а также личные черты характера Нечаева, могли, казалось, способствовать выработке у него тех взглядов, которые нашли свое выражение в «Катехизисе революционера».

Остановимся теперь на том, как представлялся процесс складывания изуевской системы Нечаева Бакунину. Свидетельство его, бесспорно, авторитетно.

Явившись в Швейцарию (март 1869 года) и сблизившись с Бакуниным, Нечаев поселился у него. Более четырех месяцев они почти каждую ночь проводили в разговорах «о всевозможных вопросах». Старый ветеран революции был очарован этим «кюним фанатиком». Начался период их совместной деятельности. Из-под пера Бакунина и Нечаева появился ряд листовок и брошюр, призывающих к немедленной революции, объясняющих цели, методы и задачи ее. Более полутора лет Бакунин находился под известным обаянием сильной личности Нечаева и, безусловно, во всем верил ему. Но вот в июне 1870 года начался их разрыв, о котором речь впереди. И тогда-то, зная почти всю правду о Нечаеве, но все еще чрезвычайно высоко ценя его ум, энергию, а главное, беспредельную преданность делу, Бакунин в письме к друзьям попытался смоделировать и в какой-то степени объяснить взгляды своего недавнего соратника.

«...В нем все: и ум, и сердце, и воля — а сердца и воли в нем много — все подчинено главной страсти разрушения настоящего порядка вещей; а следовательно, его ранней мыслью должно было быть создание организации или коллективной силы, способной исполнить это великое дело разрушения — составление заговора». Далее следует текст, весьма характерный для самого Бакунина:

«Кто на своем веку занимался составлением заговоров, — пишет со знанием дела этот старый заговорщик, — тот знает, какие страшные разочарования встречаются на этом пути: вечная несоразмерность между громадностью цели и мизерностью средств, недостаток и незнание людей: сто промахов на один порядочный выбор, один серьезный человек на 100 пустоцветов и пустозвонов».

Особенно невероятно трудно создать тайное общество в России, где нет «объединяющей страсти... где развращающим образом продолжает еще действовать византийское благословение и где, с другой стороны, научная критика, успевшая разрушить старую нравственность, не успела еще создать нравственности новой, где научное отрицание свободного произвола объясняется большинством молодежи в смысле снисходительного-объективного созерцания

<sup>1</sup> Вся организация была раскрыта в связи с покушением Каракозова в 1866 году.

<sup>2</sup> Э. С. Виленская, Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.), М., 1965, стр. 397—398.

своих собственных пакостей и имеет результатом естественным распущенность и обмельчание характеров, отсутствие всякой сосредоточенной страсти воли».

Итак, в подобной обстановке человек, стремящийся создать тайную организацию и понимающий, что «молодые люди не умеют и не хотят сплотиться свободно», приходит к неизбежному заключению, что сплотить их надо помимо «их знания и воли, и для того, чтоб эта организация, основанная наполовину на насилии и на обмане, не рушилась, надо их опутать и скомпрометировать, чтоб возврат для них стал невозможным».

Изложив так представления Нечаева, Бакунин констатирует: «Вот первый естественный шаг к иезуитской системе». Далее Бакунин перечисляет человеческие достоинства Нечаева, характеризующиеся главным образом его полной самоотреченностью, а также наличием «нежного сердца».

«Каким же образом, — восклицает Бакунин, — он мог дойти в своих действиях и до наглой лжи, и до беспристрастной интриги, и до беспощадного эксплуатирования и компрометирования своих лучших друзей? А систему? Не позабудьте систему. Раз убедившись, разумеется ошибочно, в необходимости употребления иезуитских правил и средств внутри организации — заметьте, что я не говорю о их в естественном употреблении, которое часто становится необходимым..., — раз убедившись в необходимости принять иезуитскую систему, он предался ей по долгу... Чем более он чувствовал в себе самую склонность к личной страстной привязанности, тем фанатичнее стал он преследовать их в себе и в других»<sup>1</sup>.

Психологический вариант, предложенный Бакуниным, не лишен известной логики. Но более подробный анализ взглядов Нечаева не входит в наши задачи, а потому вернемся к «Катехизису».

Этот документ появился на свет в период совместного творчества Бакунина и Нечаева. Вопрос об его авторстве, таким образом, неизбежно свелся к трем вариантам:

1) Бакунин, 2) Нечаев, 3) Бакунин и Нечаев.

### III

Многие современники, начиная от защитника на процессе В. Д. Спасовича и кончая свидетельством М. П. Сажина, лично державшего рукопись «Катехизиса» в руках, считали, что С. Г. Нечаев не мог быть его автором.

«Между автором «Катехизиса» и Нечаевым есть громадная разница, — говорил Спасович, — а именно такая, какая существует между революционером дела и революционером мысли. Нечаев был прежде всего революционером дела. Между тем в авторе «Катехизиса» мы видим теоретика, который на досуге, вдали от дела, сочиняет революцию, графит бумагу, разделяет людей на разряды по этим графам, одних обрекает на смерть, других предлагает ограбить, третьих запугать и т. д. Это чистейшая отвлеченная теория... Таким образом, я полагаю, что «Катехизис» есть эмиграционное сочинение, произведшее на Нечаева известное впечатление и принятое им во многих частях к руководству. Я не смею приписывать его Бакунину, но, во всяком случае, происхождение его эмиграционное»<sup>2</sup>.

Приводя это выступление защитника, хотелось бы заметить, что объяснение «эмиграционным» или вообще западным влиянием, происхождение тех или иных дурных идей, всегда было в большом ходу в русских правящих кругах. Именно на это и рассчитывал Спасович, а потому свидетельство его, сделанное с определенным умыслом, не следует считать серьезным доказательством.

Обратимся теперь к воспоминаниям ближайших соратников Бакунина З. Ралли и М. Сажина.

Первый из них, рассказывая о той «головомойке», которую устроил ему Бакунин за намерение организовать побег арестованного Нечаева, приводит слова, сказанные ему во время этого разговора: «Когда революционер стремится спасти кого-нибудь из беды, он должен взвесить пользу, приносимую спасаемым, с одной стороны, а с другой — ту трату революционных сил, которые нужны для его спасения», — так, по словам Ралли, сказал ему Бакунин. «Формулировка этого обвинения, — продолжает Ралли, — поразила меня своей тождественностью с текстом старой нечаевской программы, которая, конечно, позже была переработана по-своему на семинарский язык Сергеем Геннадиевичем»<sup>3</sup>.

Само рассуждение о способах траты ре-

<sup>1</sup> Cahiers du monde Russe et Soviétique, 1-er Cahier 1967, стр. 104—108.

<sup>2</sup> В. Д. Спасович, Соч., т. V, стр. 149—150.

<sup>3</sup> З. Ралли, Сергей Геннадиевич Нечаев. «Былое», № 7, 1806, стр. 137.

волюционных сил не кажется нам худшим местом в тексте «Катехизиса», и если Бакунин действительно придерживался этой точки зрения, то это не доказывает еще его авторства документа в целом. Несколько серьезней звучит утверждение Сажина, который вспоминает, что при разборке архива арестованного Нечаева в особом пакете он обнаружил известный революционный «Катехизис», писанный весь рукою Бакунина. Все это было тогда же сожжено»<sup>1</sup>.

При оценке этого свидетельства следует иметь в виду, что писалось оно много лет спустя человеком, который не только отошел от своего учителя, но, по существу, бросил его в тяжелое для него время, перейдя на сторону тех, кто осуждал неудачные акции старого революционера.

Допуская при этом возможность объективности и точности воспоминаний, можно предположить, что «Катехизис» действительно был переписан Бакуниным, т. к. вызвал у него определенный интерес.

Обратим внимание и на свидетельство другой современницы — А. Успенской, близко знавшей Нечаева и считавшей автором «Катехизиса» Бакунина. В ее системе доказательств следующие аргументы: 1) известное уже воспоминание Ралли, 2) мнение С. Перовской.

«На первом же свидании при разговоре о Нечаеве в 1881 году она (Перовская. — Н. П.) сказала, что в революционных кругах взгляд на него сильно изменился, что многое из того, что приписывалось Нечаеву, делали другие, главным образом Бакунин, написавший программу, за которую так много нападали на Нечаева»<sup>2</sup>.

О воспоминаниях Ралли мы говорили выше; что же касается слов С. Перовской, то здесь следует иметь в виду, что, не зная лично ни Бакунина, ни Нечаева, она расценивала их деятельность с народовольческих позиций. Бакунин с его отрицанием политической борьбы был неприемлем для народовольцев. Нечаев же, находившийся уже десятый год в Алексеевском рavelине, проявивший в тех страшных условиях чудеса выдержки и мужества, распропагандировавший собственную охрану и установивший регулярные связи с Исполнительным комитетом, вызывал большое уважение со стороны народовольцев.

Не ограничиваясь мнениями Ралли и Перовской, Успенская сама пытается доказать, что до отъезда Нечаева за границу ни о каком «Катехизисе» еще не могло быть и речи, что его не существовало ни в уме Нечаева, ни вообще в России и что

никто из обвиняемых до процесса не подозревал о существовании подобных идей.

Последнее утверждение Успенской свидетельствует лишь, как мы убедились дальше, о недостаточном знакомстве мемуаристики с событиями, современницей которых она была.

Среди большой литературы, создавшейся вокруг этой проблемы, наиболее настойчиво об авторитете Бакунина писали Ю. В. Стеклов и Б. П. Козьмин. Среди их аргументов фигурировали те же свидетельства современников (хотя ни одного прямого свидетеля в этом деле нет), элементы текстологического анализа и, наконец, определенные психологические построения. Последний метод доказательства привел Б. П. Козьмина к выводу о том, что в документ, написанный в целом Бакуниным, «макиавеллизм и иезуитство» попали от Нечаева, т. к., несмотря на «известную двойственность» Бакунина, в общем ему свойственны не были.

#### IV

Оставим на время свидетельства современников и мнения историков, предоставим слово самому обвиняемому — М. А. Бакунину. Его истинное отношение к «Катехизису» стало известно исследователям лишь спустя сто лет после появления этого документа. Ни Б. П. Козьмин, ни Ю. В. Стеклов не стали бы, нам кажется, настаивать на авторстве Бакунина, если бы в руках их было письмо Бакунина Нечаеву от 2 июня 1870 г.

О существовании документа знали все исследователи этой проблемы. Знали потому, что Бакунин не раз упоминал о нем<sup>3</sup> в переписке с другими лицами и говорил, что копия его «хранится у друзей в Женеве». Однако все попытки найти письмо были безуспешными, да и надежд здесь было мало, т. к. весь архив Нечаева, по свидетельству М. П. Сажина, был сожжен. Но вот в 1934 г. в Крымцентрархиве В. Гребенчиковым была обнаружена брошюра С. Серебрянникова о С. Нечаеве. В этой

<sup>1</sup> М. П. Сажин, Воспоминания, М., 1925, стр. 73—74.

<sup>2</sup> А. Успенская, Воспоминания шестидесятиницы, «Былое», 1922, № 18, стр. 39.

<sup>3</sup> Так, например, 19 авг. 1870 г. Бакунин писал Мрочковскому: «Жаль, что я не могу послать тебе копии большого письма к нему (Нечаеву), написанному мной из Локарно». Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, СПб., 1906, стр. 406.

рукописи автор несколько раз цитировал исчезнувшее письмо Бакунина.

Ю. Стеглов, опубликовавший этот документ в «Каторге и ссылке», считал эти цитаты весьма значительными и назвал появление на свет хотя бы части утерянного письма «праздником для всех историков русских общественных движений и особенно для бакуниноведов»<sup>1</sup>.

По объему цитаты из письма Бакунина занимали  $\frac{1}{5}$  печ. листа. Не знал тогда Стеглов, что текст всего письма превышает  $\frac{1}{4}$  печатных листа и что содержание его выходит далеко за рамки некоторых вопросов, о которых упоминал Серебрянников! Но многое из того, что порой кажется безнадёжно утерянным, рано или поздно появляется на свет. Так случилось с этим документом. Да и найдено-то оно было в общем там, где ему и положено было быть, — в бумагах дочери А. И. Герцена — Н. А. Герцен.

9 июня 1870 г., пересылая свое крупнейшее послание С. Г. Нечаеву через своих друзей (Н. П. Огарева, А. С. Озерова, С. С. Серебрянникова и Н. А. Герцен), Бакунин просил их снять копию и сохранить ее. Значительная часть письма переписана Татой (Н. А. Герцен) и конец документа — С. Серебрянниковым. Таким образом копия и осталась естественно в архиве Н. А. Герцен, игравшей в последние годы жизни А. И. Герцена и после его смерти большую роль в ведении переписки и хранении разных бумаг как своего отца, так и его ближайших друзей и корреспондентов.

В Национальной библиотеке Парижа в отделе рукописей, где хранится значительная часть архива А. И. Герцена, документ этот и был обнаружен. Опубликован он М. Конфино в «Cahiers du monde Russe et Soviétique» № 4 в 1966 году.

Письмо чрезвычайно интересно. Оно охватывает большой круг проблем, по-новому освещает различные аспекты взглядов и деятельности Бакунина, проливает свет на мало известные, но весьма важные детали его биографии<sup>2</sup>. Однако, не имея возможности проанализировать содержание этого документа в целом, остановимся лишь на предмете нашего исследования — «Катехизисе революционера».

Написанное накануне разрыва со своим недавним соратником, письмо пронизано главной, основополагающей идеей отрицания нечаевщины: недопустимости нечаевской тактики, его средств и методов борьбы.

Моральные и нравственные принципы, существование которых в системе взглядов

Бакунина подвергалось сомнению многими исследователями, представлены здесь в полном объеме.

Уже зная всю правду о Нечаеве, представляя себе, в какую бездну обмана и мифификации вовлек его этот человек, Бакунин еще не может отрешиться от определенной привязанности к этому фанатику революции.

«Я и мы все горячо любим и глубоко уважаем Вас, именно потому, что никогда еще не встречали человека столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы.

Но ни эта любовь, ни это уважение не могут помешать мне сказать Вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более главной, исключительной системой, вашим главным оружием и средством, губельна для самого дела»<sup>3</sup>.

И далее, переходя непосредственно к «Катехизису», Бакунин пишет: «Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, а ваш катехизис — катехизисом абреков. Вы говорили, что все люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных требований, удовлетворений, чувств, привязанностей и связей, должно быть нормальным, естественным ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий фанатизм. Вы хотели бы, да еще и теперь (хотите) сделать правилом общежития. Вы хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и общества. Такое хотение губельно, потому что оно заставляет Вас тратить ваши силы по-напрасну и стрелять всегда мимо. Но никакой человек, как бы он не был силен лично, и никакое общество, как бы совершенна не была его дисциплина, и как могуча не была его организация, никогда не будут в силах победить природу. Да, мой милый друг. Вы не материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим гроем должен быть не Бабеф и даже не Марат, а какой-нибудь Савонарола. Вы по образу мыслей

<sup>1</sup> «Каторга и ссылка», 1934, № 3, стр. 13.

<sup>2</sup> Так, например, сообщает новые сведения о роли Бакунина в инциденте с Любавиным, послужившем одним из поводов к исключению Бакунина из Интернационала.

<sup>3</sup> „Cahiers du monde Russe et Soviétique“, Cahier, 1966, стр. 626.



подходите больше... к иезуитам, чем к нам»<sup>1</sup>.

Итак, «катехизис абреков» не творение Бакунина. Напротив, он — сторонник тайной и глубоко законспирированной организации, предлагает совсем иные принципы объединения и революционной борьбы.

«...2) Равноправность всех членов и их безусловная, абсолютная солидарность — один за всех, все за одного — с обязанностью для всех и для каждого помогать каждому, поддерживать и спасать каждого до последней возможности, поскольку это будет сделать возможно, не подвергая опасности уничтожение существования самого общества»<sup>2</sup>.

3) Абсолютная искренность между членами. Изгнание всякого иезуитизма из их отношений, всякого подлого недоверия, коварного контролирования, шпионства и взаимных доносов, отсутствие и положительный строгий запрет всех пересуживаний за спиной. Когда один человек имеет что-нибудь сказать против другого члена, тот должен сделать это в общем собрании, в его присутствии. Общий братский контроль всех над каждым, контроль отнюдь не привязчивый, не мелочный, а главное, не злостный, должен заменить вашу систему иезуитского контролирования и (должен) сделаться нравственным воспитанием и опорой для нравственной силы каждого члена; основанием взаимной братской веры, на которой зиждется вся внутренняя, а потому и внешняя сила общества.

4) Из общества исключаются все люди слаонервные, боязливые, тщеславные и честолюбивые. Они могут служить не знаемо для себя орудием общества, но отнюдь не (должны) быть в ядре организации.

5) Вступая в общество, всякий член обрекает себя навсегда на общественную неизвестность и незначительность. Вся энергия и весь ум его принадлежит обществу, и (должны) (быть) устремлены не на создание себе своей личной общественной силы, а коллективной силы организации...

6) Личный разум каждого теряется, как река в море, в разуме коллективном, и все члены повинуются безусловно решениям последнего.

7) Все члены равноправны, знают всех товарищей своих и вместе со всеми обсуждают и решают все главные существенные вопросы, касающиеся программы общества, равно как и общего хода дела. Решение общего собрания — абсолютный закон.

8) Каждый член имеет, в сущности, право знать все. Но праздное любопытство ис-

ключается из общества, равно как и бесцельные разговоры о делах и целях тайного общества».

Далее Бакунин излагает план создания и функций Центрального Исполнительного комитета, областных и уездных комитетов тайной организации, названной им «Народным братством». В последующем пункте своего плана он снова возвращается к волнующей его проблеме.

«Иезуитский контроль, система полицейского опутывания и лжи решительно исключаются из всех 3-х степеней тайной организации: точно так же из уезд(ного) и област(ного), как и из Народ(ного) братства. Сила всего общества, равно как нравственность, верность, энергия и преданность каждого члена, основаны исключительно и всецело на взаимной истине, на взаимной искренности, на в(заимном) доверии и на открытом братском контроле всех над каждым»<sup>3</sup>.

Противопоставив, таким образом, свой свод правил, обязательных для революционеров («правда, честность, доверие между всеми братьями и в отношении (к) каждому человеку, который способен быть и которого Вы желали бы сделать братом»), нечавскому «Катехизису», Бакунин еще раз пытается показать полную несостоятельность и аморальность иезуитизма как средства борьбы.

«Вы же, мой милый друг — и в этом состоит главная, громадная ошибка — Вы увлеклись системой Лойолы и Макиавелли, из которых первый предполагал обратиться в рабство целое человечество, а другой создать могущественное государство, все равно монархическое или республиканское, след(овательно) — так же народное рабство — влюбившись в полицейски-иезуитские начала и приемы, вздумали основать на них свою собственную организацию, свою тайную коллективную силу, так сказать душу и душу всего вашего общества — вследствие чего поступаете с друзьями, как врагами, хитрите с ними, лжете, стараетесь их разрознить, даже поссорить между собою, дабы они не могли соединиться против вашей опеки, ищете силы не в их соединении, а разъединении.

<sup>1</sup> „Cahiers du monde Russe et Sovietique“, Cahier, 1966 стр. 632. Подчеркнуто мной. — Н. П.

<sup>2</sup> Так в копии; следует читать: не подвергая опасности уничтожения самое общество; или же: не подвергая опасности существование самого общества (примечание публикатора).

<sup>3</sup> Там же, стр. 666—668.

и не доверяя им нисколько, стараетесь заручиться против них фактами, письмами, нередко Вами без права прочитанными, или даже уворованными, и вообще их всеми возможными способами опутать так, чтобы они были в рабской зависимости от Вас. И к тому же Вы делаете это так неуклюже, так (...), так неловко и (неосторожно), так опрометчиво и необдуманно, что все ваши обманы, коварства и хитрости в самое короткое время выходят наружу. Вы так влюбились в иезуитизм, что забыли все другое, забыли даже ту цель, то страстное желание народного освобождения, которые привели Вас к нему. Одним словом Вы стали играть в иезуитизм, как ребенок в цапку, как Утин в Революцию»<sup>1</sup>.

Весь тон этого безусловно искреннего письма, вся система идей и, наконец, прямое отрицание своего участия в авторстве «Катехизиса» говорят о непричастности Бакунина к тому явлению, которое вошло в литературу под именем нечаящины.

Но кто же тогда автор этого документа? Публикатор письма М. А. Бакунина С. Г. Нечаеву и автор большой вступительной статьи М. Конфино считает, что к созданию системы идей, выраженных в «Катехизисе», помимо Нечаева, причастен и П. Н. Ткачев. В доказательство он приводит документ, распространенный в студенческих кружках в 1869 г. под названием «Программа революционных действий», и статью Ткачева 1868 г. «Люди будущего и герои мещанства». В создании первого документа, бесспорно коллективного, возможно, принимали участие как Нечаев, так и Ткачев, однако нет оснований искать здесь аналогий с «Катехизисом». Провозглашение в качестве главной задачи «истребления гнезда существующей власти», признание революции «историческим законом», наконец, изложение самого плана революционных действий, рассчитанного на подготовку революции в 1870 году, — все это не есть еще нечаящина.

Несколько больше оснований для аналогий имеет М. Конфино, когда обращается к статье П. Н. Ткачева, опубликованной в 4-м и 5-м номерах журнала «Дело» за 1868 г. На определенное сходство «людей будущего» (иными словами, революционеров) по Ткачеву с героями «Катехизиса» обратил внимание еще Б. П. Козьмин<sup>2</sup>. Действительно, ряд черт, которыми наделяет Ткачев «людей будущего», особенно их отношение к проблеме нравственности, в какой-то мере близко к требованиям, ко-

торые ставит перед революционерами «Катехизис».

Встав на зыбкую почву доказательства относительности нравственных правил, Ткачев пишет: «Есть, например, правило, запрещающее обманывать. Но случаи обмана весьма разнообразны: в одном случае от обмана не страдает ничей интерес, в другом — страдает интерес одного лица или нескольких лиц, в третьем — интерес целой партии или сословия, в четвертом — целого народа и т. п. Разумеется, важность несоблюдения правила, запрещающего обманывать, в каждом из этих случаев различна.

...Итак, если мы не хотим уронить свою мораль до уровня фарисейской морали, если мы не хотим превратить свою нравственность в сухую мертвую формалистику, мы должны признать за каждым человеком право относиться к предписаниям нравственного закона, при каждом случае прямого применения, не догматически, а критически»<sup>3</sup>.

Оправдание обмана, отказа от всех личных чувств и привязанностей в интересах общего революционного дела требует от «людей будущего» Ткачева. Можно сказать, что мысль его работала в какой-то мере в том же направлении, что и мысль Нечаева. Но лишь в какой-то мере. Последний пошел значительно дальше не только в оправдании обмана, но и возвел в принцип «революционной» борьбы шантаж, провокацию и убийства. Поэтому, нам кажется, не прав М. Конфино, видя в статье Ткачева главный источник нечаяевского вдохновения.

Остановимся теперь на источнике, не учтенном еще исследователями, но вводящем в научный оборот новые данные о происхождении «Катехизиса», времени и месте его зарождения.

## V

Перед нами рукопись. Пятнадцать больших тетрадей. Хранится она в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина<sup>4</sup>. Автор — Георгий Петро-

<sup>1</sup> „Cahiers du monde Russe et Sovietique“, Cahier 1966 г., стр. 676.

<sup>2</sup> См. Б. П. Козьмин, П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов, М., 1922, стр. 90—98.

<sup>3</sup> П. Н. Ткачев, Избр. соч., т. 1, М., 1932, стр. 195.

<sup>4</sup> Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 100, Г. П. Венищеров, Воспоминания, т. 1—15.

вич Енишерлов. В литературе о нем известно немного. Участник студенческого движения 1868—1869 годов. Судился по процессу нечаевцев. Был оправдан за недостатком улик. Впоследствии от революционного движения отошел. Воспоминания его «Моя исповедь», как он сам называет их, содержат, естественно, сведения куда более полные.

«В мире царит зло и неправда. Сильный угнетает слабого. Молот и наковальня», — вот к какому выводу приходит юный Енишерлов, тогда еще ученик харьковской гимназии.

Как же бороться против сложившегося порядка вещей?

«Против силы — насилie, против неправды — ложь, против интриг и козней — система Лайолы... Каждый должен немедленно делать что может: сидеть сложа руки — преступно».

Что явилось источником его взглядов — сказать трудно. Читал он в юношеские годы много, но ни книги Вольтера и Руссо, ни издания Герцена («Колокол» и «Полярная звезда»), ни статьи Чернышевского, казалось, не могли натолкнуть его на подобную программу действий. Так или иначе, но, собрав однажды своих товарищей, которых он считал единомышленниками, Енишерлов объявил им эту программу, «выдавая себя для большей внушительности за эмиссара».

Три-четыре первые наши сходки наградили меня успехом, превзошедшим мои самые пылкие ожидания.

Кроме двух частных возражений, принципиально все приняла мою теорию».

Но через некоторое время один из товарищей спросил Енишерлова:

«— Знаете, что вы затеяли?.. Чего вы хотите: сказать вам?

— Говорите.

— Вы задумали... «увекочиться на скрижалях истории»... Не ошибитесь! Так ли?

Я стал его разубеждать.

— Я хочу знать, — сказал другой, — какие у нас шансы на успех?

— А что — за шкуру дрожите?

— Да... вы подумали ли, во что обойдется народу этот эксперимент в случае его неудачи?

— Хуже не будет! — отрубил я. — Раскрывать перед вами силы организации я не уполномочен.

Впоследствии Нецаев хорошо затвердил эту фразу, и она его вывозила так же, как и меня...»

В 1868 году Енишерлов стал вольнослу-

шателем Технологического института в Петербурге, сблизился с несколькими студентами, познакомился и с участницей студенческого движения Е. Х. Томиловой.

Как-то, раскрывая перед ней свои взгляды на методы революционной борьбы, он сказал и о своей теории «партийной честности» («абсолютной честности нет, а есть лишь партийная»).

«— Скажите правду, — живо спросила она. — От кого вы это все слышали?

— Ни от кого.

— Ну, так вычитали у Бакунина, да?

— Даю вам честное слово: я Бакунина не читал: читал я Герцена, Огарева, Чернышевского.

— Ну, у них ничего этого нет! Что же вы сами додумались, да?

— Да! — отвечал ей Енишерлов».

Через день после этого разговора состоялась сходка. «Никогда я с такой страстью не развизал моей программы, как в тот первый вечер», — вспоминал Енишерлов.

Однако речь его не получила прямой поддержки большинства собравшихся. «Их программа, — писал он, — была социалистически атеистическая пропаганда; разрушение всех верований и понятий народа — «этих пут, которыми его связали по рукам и ногам», затем — с помощью восставшего народа — разрушение всего существующего строя с целью достигнуть анархического хаоса, из которого сам уже народ выработает строй будущей жизни». Споры разгорелись вокруг предложенных Енишерловым «заговоров», «военного *coups d'état*, всякого рода покушения на личности», «иезуитского пути». «Только один, — пишет Енишерлов, — худой, с озлобленным лицом и сжатым судорогоу ртом, безбородый юноша, горячо пожав мне руку, сказал: «С вами — навсегда, прямо путем ничего не поделаешь: руки свяжут... Именно — иезуитчины-то нам до сих пор и недоставало; спасибо, вы додумались и сказали. Я — ваш». Это был тогда еще вовсе безвестный народный учитель Сергей Геннадиевич Нецаев»<sup>1</sup>.

Все собравшиеся решили попытаться достигнуть компромисса путем ответов на основные программные вопросы. Результаты опроса составили потом основу программы, выработанной Орловым, Эгельстромом, Ферапонтовым, Енишерловым и Константином Николаевичем. Вот эта «анкета»

<sup>1</sup> Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 100. Г. П. Енишерлов, Воспоминания, т. 1—15, стр. 138.

	Вопросы	Решенные большинством голосов	Против
1	Какая цель преследуется сообществом?	Социальная революция	Единогласно
2	Какими средствами?	Путем исключительно мирной пропаганды	Против 1 (и моего)
3	Обязательны ли настоящие решения для подающих отрицательные ответы?	Обязательны под страхом кары, по вступлении в общество или удаление — до выработки программы	Единогласно
4	Может ли член сообщества помимо его вступать в другие революционные кружки?	Нет	Против 3 (и моего)
5	Как должен он к ним относиться, равно и ко всяким переворотам, покушениям и пр.?	Неодобрительно и противодействовать	Против 7 (и моего)
6	В каких сферах должно агитировать общество?	а) народ, б) интеллигенция, в) учащаяся молодежь, г) чиновничество, д) войско, е) пресса, ж) мастерские, з) протесты во всех сферах, легальные (земство, суд), и) проповедь на площади	Единогласно
7	.	.	.
8	.	.	.
9	Допускается ли теория Енишерлова без изменений?	Нет	Против 2 (Неч. и я) Единогласно
10	Что собственно из нее допускается?	Безразборчивость в средствах, тайные склады, типографии и притоны, условные письменные знаки, сношения со всеми социал-революционными партиями, сбор пожертвований под фиктивными векселями и право защищаться.	
11	Допускается ли члену в единоличных своих действиях, не противоречащих духу имеющего быть выработанным уставу, руководствоваться своею совестью? (поставлен по моей просьбе)	Нет	Против 2 (и моего)
12	Что он должен делать в таком случае?	Запросить в Центральном комитете	Против 2 (и моего)
13	Не следует ли связать членов общества присягою? (по просьбе Орлова).	Нет, ибо большинство отрицает ее действительность	Против 2
14	Чему подлежит выходящий из общества член?	Безмолвию о деятельности общества	Против 1 (Неч. требовал смерти)
15	Чему подлежит изменник, то есть доносчик? (по просьбе Нечаева и Эгельстрома)	Смерти	Единогласно

в том виде, в каком ее воспроизводит Енишерлов:

«Эта самая программа в ее первоначальном виде и стала известна впоследствии под названием «Нечаевского катехизиса».

Приписывая себе приоритет в создании незуитских принципов борьбы, Енишерлов в своих воспоминаниях еще несколько раз возвращается к этому вопросу. Интересные разговоры происходят у него с Томиловой, а затем с Нечаевым. «Вы... надоумили Нечаева, — говорит она, — теперь я с ним ничего поделать не могу!.. Он шел куда его веля: упирался, но шел, теперь вы ему свою Америку открыли, и усмирить этого разбойничьего Пизарро будет стоить большого труда!»

На другой день, узнав, что Томилова пыталась отговорить Енишерлова от его идей и планов, Нечаев воскликнул:

«Гм! Значит, и вас усмирили, а теперь будут спасать?»

— Да... а вас разве тоже?

— Как же! еще вчера и спасли и усмирили... Этак они-то спасать охочи, эти либералишки! Все бы им в бирюльки играть да сентиментальные антимонии разводиться!»

«...Вы своим заговором барыньку нашу напугали, — продолжал он, а потому следует «покаяться» для виду, с тем чтобы потом «высосать из них все соки... да их же и бросить в лоханку, в III отделение... Тут-то ваша теория и должна блистательно подтвердиться», — заключил он.

Далее, описывая события, последовавшие после ареста «нечаевцев», когда взгляды самого Енишерлова изменились, он приводит еще один разговор с Томиловой. На ее вопрос, почему он так ненавидит Нечаева, «я отвечал правду: ее арест и опубликование моего «Катехизиса»... не ради авторства.

— О, понятно, — отвечала она, — не в плагиате тут дело, а в ошельмовании самой идеи, от которой теперь с ужасом отвернулась половина России»<sup>1</sup>.

Ненависть к Нечаеву привела Енишерлова к тому, что, находясь под следствием, 5 марта 1870 года он написал следующее заявление: «Вдумавшись в обстоятельства дела, я пришел к неизбежному заключению, что моя честь требует протеста против Сергея Нечаева: вред, им нанесенный, никакими средствами исправить не могу; остается протест бессильной злобы. Словесный протест не имеет места против бесчестного дела, оставившего глубокие и неизлечимые последствия; я протестую делом; злоба требует смерти Нечаева, которым я оскорблен в тройне».

Прервав здесь текст Енишерлова и поставив его слова: «оскорблен в тройне» с приведенным выше отрывком из воспоминаний, можно предположить, что он имеет в виду арест Томиловой, опубликованной «моего Катехизиса» и «ошельмованной моей идеи». Однако странно, что в заявлении, адресованном в Третье отделение, Енишерлов допускает намеки, которые могут его скомпрометировать. Ведь весь характер его показаний сводился к тому, что он был лишь знаком с образом мыслей Нечаева, а ни в коей мере никогда не поддерживал их. Возможно, что подобную необдуманность следует отнести за счет «горячности» Енишерлова, о которой свидетельствует в следствии З. Ралли.

Но вернемся к тексту заявления Енишерлова. «Как человек, у которого связаны руки, я и спрашиваю разрешения от тех, которые надо мною властны, выставляя им следующие шансы, — пишет он далее. — Правительство ищет не смерти, а наказания Сергея Нечаева, но я не верю, чтобы оно могло этого достигнуть. Смерти его достигнуть легко: стоит только взять меня как средство. Обида, им мне нанесенная, глубока и может быть смыта только его или моей кровью; если он будет убит, правительство лишится довольно опасного врага, который в силах вредить ему еще многие десятки лет. С моей же смертью я получаю с лихвой следуемое мне воздаяние за мое проступок, но так как в подобном деле мое честное слово уже не может служить гарантией, то правительство имеет полную возможность гарантировать другими средствами мою личность. Я знаю Сергея Нечаева: он не побоится поставить свой лоб под дуло. Если я ошибаюсь, я его убью, как собаку. Это для меня жизненный вопрос: если же я не получу испрашиваемого разрешения, объявляю: я воспользуюсь первым же случаем к побегу, с помощью которого я думаю достигнуть того, что недостижимо путем легальным.

Сделав дело, возвращаюсь»<sup>2</sup>.

На заявлении рукой К. Ф. Филиппова — заведующего секретной агентурой Третьего отделения — пометка: «Пространно переговорить с Енишерловым. 6 марта 1870 г.».

То обстоятельство, что, оказавшись на свободе, Енишерлов и не попытался осу-

<sup>1</sup> Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 100. Г. П. Енишерлов. Воспоминания, тетрадь, стр. 191—192.

<sup>2</sup> «Нечаев и нечаевцы», М., 1931, стр. 142—143.

заявления говорит скорее всего еще об одном проявлении той же нечаевской тактики.

Любопытно и другое заявление Енишерлова от 6 марта 1870 года: «Сообщенное известие об убийстве слушателя Петровской Академии Иванова не составляет для меня неожиданного известия: о нем или о чем-либо подобном говорил мне Сергей Нечаев до своего побега. Я не знал ничего обстоятельного: это была игра слов, намеки. Вот сущность слышанного мною: для политической организации необходима тайна; ее надо удерживать всякими способами, а главным образом страхом. Шпионов и агентов, людей по большей части трусливого десятка, должно время от времени устрашать смертью (убийствами) кого-либо из них. Отличительным признаком, как бы печатью, должен служить род смерти: всякий шпион будет сперва задушен, и потом будет прострелена ему голова»<sup>1</sup>.

Сопоставив и это заявление с воспоминаниями, увидим, что перед лицом следствия Енишерлов пытается представить Нечаева единственным творцом иезуитских методов: Нечаев говорил, а он, Енишерлов, только слушал. А дело-то было иначе. Обсуждали подобные проблемы оба, да и не только здесь, а, судя по приведенной таблице вопросов и ответов, на сходке с участием тех лиц.

На страницах своих воспоминаний Енишерлов, несколько раз возвращаясь к вопросу о «Катехизисе», упорно настаивает на своем участии в создании этого документа. Возникает вопрос, сколь достоверны его утверждения? Мемуары написаны им спустя много лет после известных событий. Не ведь Ралли, Успенская и Сажин тоже не сразу писали свои воспоминания.

Рукопись Енишерлова весьма многословна с изложением многих деталей, с подробным обоснованием его взглядов, с резкой критикой всех проявлений «нечаевщины», от которой он сам отошел, по его словам, под влиянием Томиловой.

В 90-е годы, когда писал он свои воспоминания, был он либералом-постепеновцем, мечтающим о демократических свободах и прежде всего свободе слова при сохранении монархии. Рукопись не предназначалась для публикации, так как автор считал, что если она и сможет увидеть свет, то только тогда, когда «от Петропавловской крепости не останется камня на камне». Была ли нужна ему в этих условиях приписывать себе столь сомнительную честь, как участие в создании «Катехизиса»?

Правдоподобным мне кажется и эпизод с выработкой программных требований, составивших основу «Катехизиса». В обстановке студенческих сходок того времени подобная ситуация вполне могла иметь место. К тому же другие факты, описанные мемуаристом: создание им прокламации для студенчества, поведение его самого и его товарищей по процессу во время следствия, ряд сведений об Орлове, Ралли, Успенской и других участниках движения, — подтверждаются документами, воспоминаниями, судебными отчетами.

Не считая мемуары Енишерлова, как, впрочем, и любые другие полностью достоверными, я тем не менее полагаю, что их необходимо ввести в круг свидетельств об авторстве «Катехизиса» и истоках нечаевщины.

Анализ рукописи Енишерлова дает возможность предполагать, что идеи иезуитизма, мистификации, террора по отношению к инакомыслящим — всего того, что принято называть нечаевщиной, в наиболее концентрированном виде было сформулировано в кругу Енишерлова — Нечаева.

Во всяком случае, С. Г. Нечаев явился за границу не с пустыми руками. Очевидно, он привез с собой замысел, а возможно, и текст того документа, который до сего времени вызывает споры среди историков русской общественной мысли.

<sup>1</sup> «Нечаев и нечаевцы», М., 1931.

К. Бутина

# Красноармейские рукописные журналы



Первые рукописные красноармейские журналы конца 1919—1920-х годов хранятся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. В тяжелых условиях голода, холода, разрухи, схваток с врагами революции создавались эти журналы. Не хватало бумаги, красок, лент для печатных машинок. В конце журнала «Красный Луч» — любопытное примечание: «За отсутствием акварели рисунки исполнены в большинстве сажей и глиной. Редакция». Одни из них написаны от руки, другие напечатаны на машинке. Текст некоторых журналов плохо виден. Но, несмотря на эти трудности, журналы возникали в ротах и отрядах, батальонах и военных курсах. Красноармейцы делились в них со своими товарищами мыслями, раздумьями о судьбе своей Родины, первыми радостями и достижениями, стре-

мились осмыслить происходящие события и задачи, стоящие перед ними. Они сами писали рассказы, стихи, воспоминания. Сами их иллюстрировали.

Их произведения и рисунки просты по своему сюжету, наивны и трогательны. Они овеяны духом революционной романтики. В примитивной, но образной форме они представляли борьбу рабочих и крестьян с буржуазией. Вот рисунок красноармейца Арефьева (журнал «Ротный товарищ»). На обороте его пояснительная надпись: «Дерево обозначает Советскую республику, а змей — буржуазию. Змей обвил дерево и хочет вырвать из земли с корнем. Но не спят (как здесь есть статуи) рабочие и крестьяне. Один копьем бьет в голову — это рабочий. А другой разрубает ее пополам топором — это крестьянин. У них врозь друг от друга дело не



*Мои достижения.*

*Когда я был дала, то я был неграмотным и не знал, что такое Красная Армия. Теперь пробовав варшаву, нежко месяцев я научился читать, писать и узнал, что земля шарообразная, имеет пять частей света, что в наш союз С. С. С. Р. входят четыре республики: Украинская, Закавказская, Белорусская, и Р. С. Ф. С. Р.*

*Узнал кто у нас враги и как надо от них оберегаться. Знаю что представляет из себя комиссар и много кое-что узнал другого в Кр. Ар. Вообще Кр.-ая Армия мне открыла дверь к новой светлой будущности, к которой мы стремились.*  
А. Новос.



шло. А когда они подошли сразу оба, то дерево начинает освобождаться и опускаться. «Хотя ты взял под корень — ну, сучок-то мой. А я и корень освобожу. Товарищ с копьем, мы задушим его вдвоем, он уже хрипит, он скоро издохнет».

Произведения красноармейцев проникнуты глубокой верой в собственные силы. Свершение Великой Октябрьской социалистической революции они воспринимали как начало новой жизни, начало построения социализма. Поэт-красноармеец Котов в стихотворении «В огне» писал:

Гибнут в огне колоннады дворцов,  
Падают арки строений,  
Рушится царство банкиров-купцов  
В пляске багровых видений.  
То революции грозный поток  
Город отживших ломает.

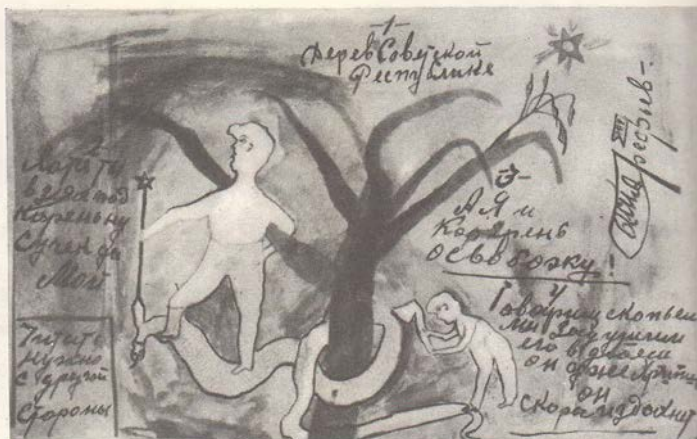
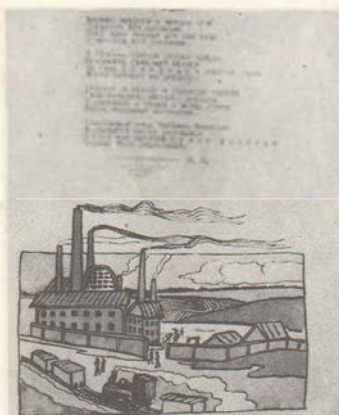
В море восставших могучих рабов  
Месть угнетавших пылает.

Величие рабочего класса Советской России воплощено и в другом рисунке: рабочий, разбивший цепи рабства, опоясывающие земной шар, обращается с призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Проснись и поддержи» — это обращение звучит в стихотворении Котова:

Так проснись же, угнетенный рабочий,  
Скорее

И не трусь, а берись за все смелее.  
Зажжем красное пламя в мире, мой брат!  
И красным знаменем в набат! В набат.

В произведениях красноармейцев предстают перед нами героические страницы: разгром армии Врангеля под Перекопом, бои под Кронштадтом, победа красной



конницы под Крыдойлом. В журналах курсанты рассказывали о своих занятиях, о своем участии в восстановлении разрушенного транспорта.

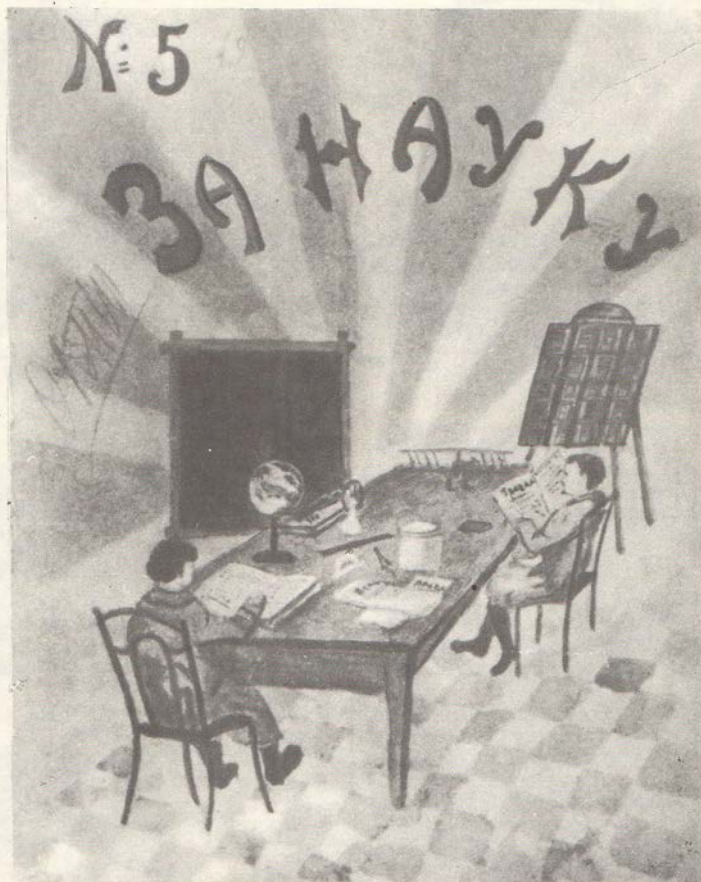
О взаимной помощи и поддержке красноармейцев и рабочих Казани сообщалось в журнале «Звуки Красной связи» за 1922, вып. 1, 2. Курсанты учебного телефонно-телеграфного полка передали рабочим Кокшанского завода в Казани продукты, золотые кольца. Но и рабочие Союза химиков Татарской автономной социалистической республики также не остались в долгу. Об этом красноармеец Т. Федоров писал:

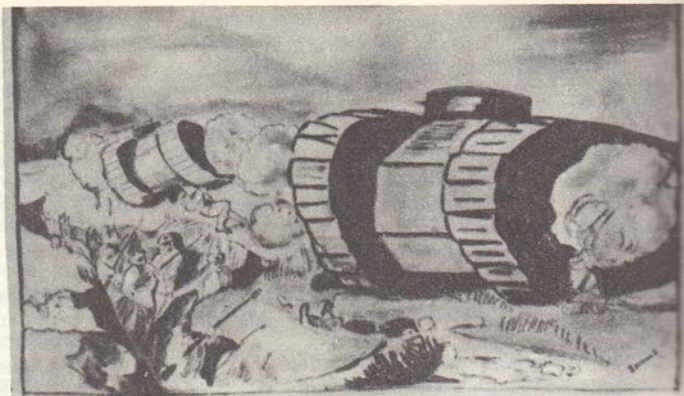
«Все материальные и денежные средства, предоставленные шефом, дали возможность значительно улучшить быт красноармейцев и комсостава. Товарищи красноармейцы видят, что, несмотря на тяжелое

экономическое положение рабочих, последние отдадут все-таки все, что могут».

Призывы к активному участию в трудовой жизни страны слышатся со страниц красноармейских журналов по мере того, как Красная Армия, победившая на фронтах гражданской войны, приступила к строительству мирной жизни, к восстановлению разрушенного хозяйства. Курсант Гришин в поэме «Россиада» обращался к красноармейцам:

К организации труда надо перейти,  
На транспорт и заводы всем пойти,  
Исправить рельсы и станки поломов,  
Как можно больше дать вагонов,  
Которые немедленно в путь пойдут,  
Топлива и хлеба привезут,  
Избавят нас от разрухи,  
А также повсеместной голодухи.





Жизнь закипит у нас тогда,  
Вокруг коммунистического труда.

Произведения красноармейцев и курсантов передают их стремление к знаниям и к учебе.

«С книгой в одной руке, с винтовкой в другой мы смело пойдем к царству свободы, братства и равенства. Никакая сила не в состоянии вырвать из рук рабочих и крестьян их завоевания» (статья К. Лысенко «Массы пробуждаются» в журнале «Луч коммунизма», 1920 г.).

Для повышения классового сознания Красной Армии, воспитания из красноармейцев, слабо разбиравшихся в политических вопросах, сознательных борцов за социализм необходимо было ликвидировать неграмотность и малограмотность. Поэтому Красная Армия была первой школой обу-

чения призванных в нее рабочих и крестьян.

О своей учебе и первых успехах писали красноармейцы в своих журналах. Особенно интересен журнал «За науку» (1925 г.) 3-го эскадрона 3-го взвода 61-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской бригады. В нем помещены обращения красноармейцев к неграмотным крестьянам. В них они рассказывали о том, что дала им Красная Армия. Красноармеец Кравченко писал:

«Я призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии для защиты трудящихся от нападения буржуазии. Изучить хорошо военное дело, дабы во всякую минуту могли стать для защиты от бар. Кроме того, выучиться грамоте, чтобы, приехавши после службы домой, стать там учителем среди темных, неграмотных крестьян».



Красноармеец А. Попов в заметке «Мои достижения» также отмечал:

«Когда я был дома, то я был неграмотным, темным, не знал, что такое Красная Армия. Теперь, пробывши в армии несколько месяцев, я научился читать, писать и узнал, что земля шарообразная, имеет пять частей света, что в наш Союз ССР входят четыре республики: Украинская, Закавказская, Белорусская и РСФСР. Узнал, кто у нас враги и как надо от них оберегаться. Знаю, что представляет из себя комсомол и много кое-чего узнал другого в Красной Армии. В общем Красная Армия мне открыла дверь к новой, светлой будущности, к которой мы стремимся».

Журналы служили учебниками, по кото-

рым учились читать и писать красноармейцы.

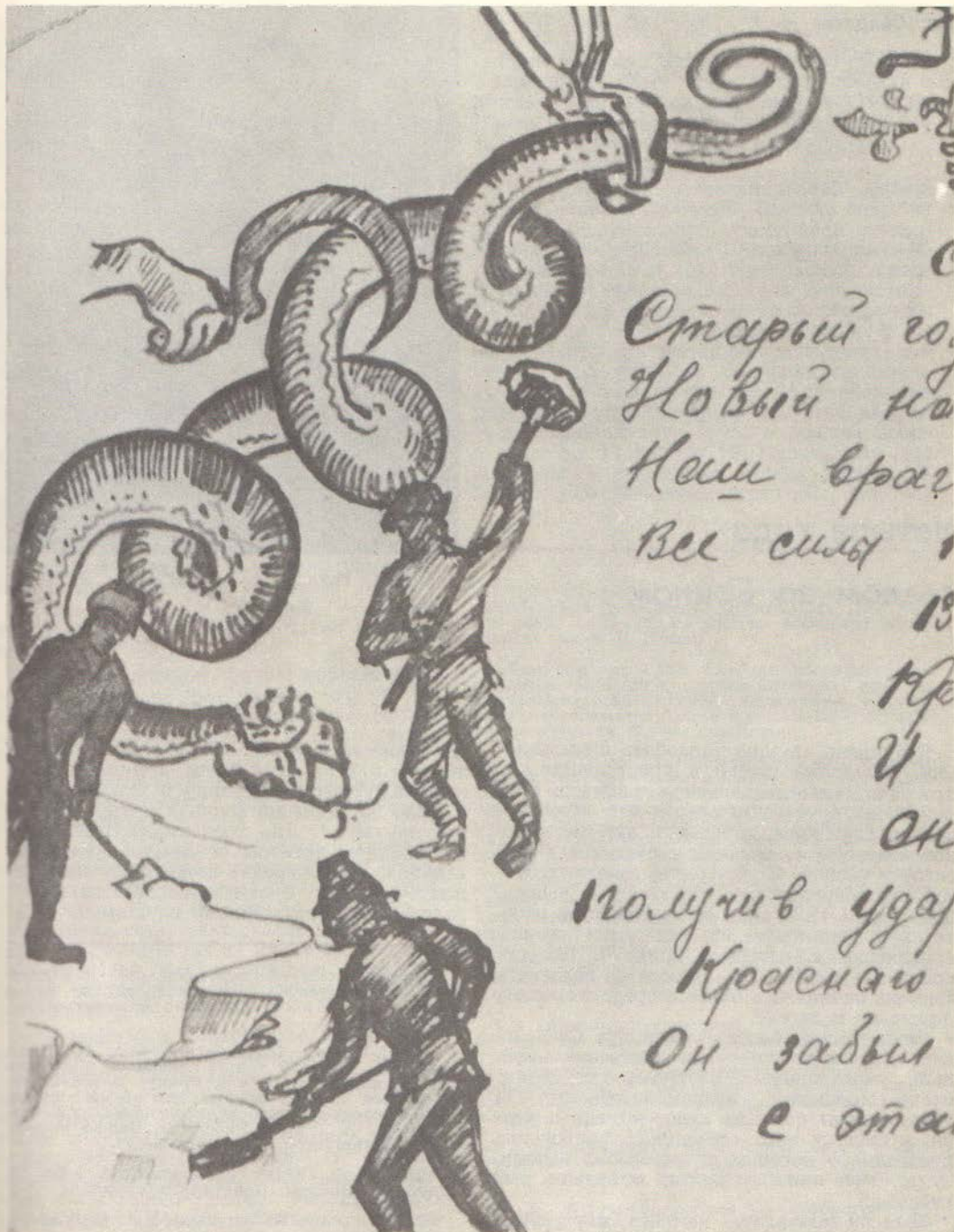
Красноармейцы, курсанты на страницах журналов обсуждали волновавшие их вопросы о сущности пролетарского искусства, о специфике его и путях дальнейшего развития, о связи его с русской классической литературой. В учебно-воспитательных целях для курсантов в журналах помещались статьи о значении Пушкина для русской литературы, о фольклоре, о значении театра.

Итак, на страницах журналов оживает история героического прошлого нашей страны, трудные годы становления Советской власти. В них со всей полнотой предстает жизнь первых красноармейцев, их мечты и думы.



*Что дала мне Красная Армия*  
 Красная Армия дала мне очень много. Больше дала мне это учит нас грамоте что бы мы были грамотны. Учить военному делу дабы во всякую минуту быть готовыми и стоять на защиту наших же интересов и еще она нас знакомит с другими народами. Моей подруге сказала, что надо учиться в школу хорошему, чтобы какой день мог принять участие в строительстве. Рыбко-крестьянского правительства. Ма здесь учиться как надо вести наше хозяйство то бы лучше жить только при помощи грамоты мы пришли к этому. У меня завещание надо учиться и учить других и мы поспешим вспомнить его наставления.  
 Алд. Туранин





Старый год  
Новый год  
Наш враг  
Все силы

Получив удачу  
Красною  
Он забыл  
е это

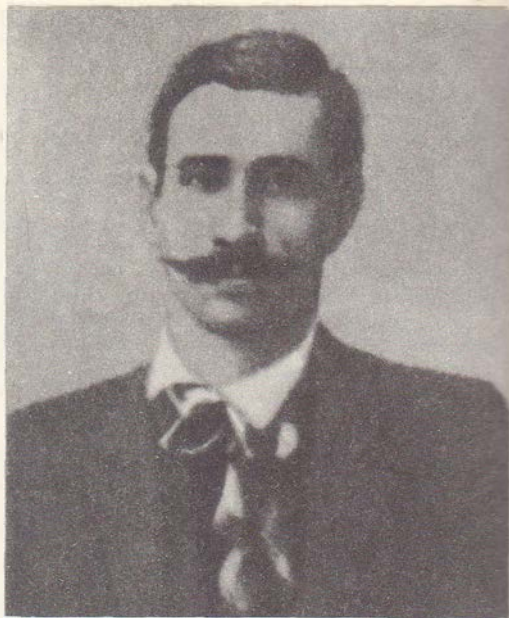
Вл. Сандлер  
(Ленинград)

## Четыре года следом за Грином

Его жизнь «можно уподобить прямой линии, абсолютно сушей в пространстве, но при начертании являющейся предметом спора»<sup>1</sup>, так круто замешено в ней легендарное и случайное, хорошее и дурное, высокое и минутное, трудное и пустячное, красивое и резкое. Может быть, именно поэтому «Автобиографическую повесть», вышедшую летом 1932 года в Издательстве писателей в Ленинграде, он сам хотел назвать иронически «Легенда о Грине»<sup>2</sup>. Повесть кончается 1905 годом. Отсюда до недавнего времени начиналась область предположений, домыслов и легенд.

Грин — псевдоним Александра Степановича Гриневского — был человеком крупным, неожиданным, сложным, со своим, очень гриновским, умением видеть мир. Он знал в жизни большие художественные удачи, и были у него «сечения»<sup>3</sup> (выражение писателя), о которых он не любил вспоминать, — он никогда никому о них не рассказывал.

Был он молчалив, замкнут, неулыбчив,



Александр Грин.

даже слегка чопорен. Он не любил рассказывать о себе случайным знакомым. «Не люблю пустого залезания в чужую душу. Словно писатель магазинная витрина: пяль все наружу»<sup>4</sup>. Для того чтобы отделаться от слишком ретивого и докучливого собеседника, Грин нередко прибегал к испытанному приему: с самым серьезным видом рассказывал польщенному слушателю неве-

<sup>1</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 127, оп. 1, ед. хр. 59. А. С. Грин, Испортив множество листов. Рукопись.

<sup>2</sup> Н. Н. Грин, Из записок об А. С. Грине. Рукопись. Об этом также говорится в некоторых письмах Грина и к Грину. В частности, в письме к Ц. Вольпе (см. Ц. Вольпе, Об авантюрно-психологических новеллах А. Грина, в кн.: А. Грин, Рассказы. Изд-во писателей в Ленинграде. Л., 1935, с. 6—7).

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 64. А. С. Грин, Записные книжки. Ползучий кустарник.

<sup>4</sup> Н. Н. Грин, Из записок об А. С. Грине.

роятные басни о себе. И это было одной из причин, почему вокруг имени его сплелось кружево громких и достаточно нелепых легенд.

Здесь мы ограничимся жизнью Грина с 1906 по 1910 год, строго следуя документальным данным и неопубликованным воспоминаниям.

Эти менее всего известные годы его жизни наиболее сложны и противоречивы.

23 октября 1905 года верхние камеры севастопольской тюрьмы, забытые политическими, стали быстро пустеть. Гул шагов в коридорах нарастал. Александр Гриневский — «весьма важный революционный деятель из гражданских лиц»<sup>5</sup>, ухватившись за чугунную решетку окна и подтянувшись, видел, как один за другим заключенные исчезали за воротами, где их радостно встречали жители города.

К полудню тюрьма опустела. В камеру Гриневского вошел надзиратель.

— На тебя амнистия не распространяется, лично от адмирала Чухнина передали, — сказал он, густо пожевывая и нехотя крестя рот.

Едва он вышел, как в незапертую дверь камеры вошли четверо узников<sup>6</sup>.

— Мы останемся с тобой, — сказал один из них, — и выйдем только все вместе.

Гриневский кивком головы поблагодарил товарищей. Он не был уверен, что эта сильная забастовка изменит решение Чухнина, давно пообещавшего сгноить его в тюрьме.

Но амнистия есть амнистия, и через 24 часа пятеро узников навсегда покинули душную камеру.

Гриневского приютил знакомый учитель. Хозяин вызывал у него раздражение. Много лет спустя Грин писал: «Учитель был красавой, ничего революционного не делал, а только пугал остальных членов организации тем, что при встречах на улице громко возгласил: «Надо бросить бомбу!», или: «Когда же мы перевешаем всех этих мерзавцев!»<sup>7</sup>.

Грин пробыл в Севастополе более месяца. Только однажды он ненадолго отлучился в Одессу — возил оружие. Он видел, как тяжелые крепостные орудия в упор расстреливали крейсер «Очаков». Он лично не был знаком со Шмидтом, но помнил, что на сходках, которые он проводил в Южной бухте и на 42-м хуторе, было немало матросов с «Очакова». Через семнадцать лет Грин написал «Повесть о лейтенанте Шмидте», но она затерялась в недрах частного

издательства «Радуга» и до сих пор не найдена.

Грин попросил направить его для работы в Петербург. Ему дали деньги, послали в Москву, где он получил явку в столицу. Никто из комитетчиков не подозревал, что ставляло его торопиться в Петербург.

Грин любил.

С Екатериной Александровной Бибергаль, бывшей студенткой Высших женских курсов (Бестужевских), участницей студенческих демонстраций в Петербурге, высланной в апреле 1901 года под гласный надзор полиции в Севастополь<sup>8</sup>, Грин познакомился 22 или 23 сентября, когда по поручению ЦК партии эсеров приехал в город, чтобы шире развернуть агитацию среди солдат местного гарнизона и флотских экипажей. Грин рассказывал, что это была женщина редкой красоты<sup>9</sup>, энергии и настойчивости. Они полюбили друг друга и решили пожениться. Но 11 ноября 1903 года Грин был арестован<sup>10</sup>. В течение месяца Катя тщательно подготавливала его побег. Он был

<sup>5</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. ДП-7, ед. кр. 2589, л. 31 об. Из письма министру внутренних дел В. К. Плеве.

<sup>6</sup> Так говорит Грин в «Автобиографической повести». М. Немич, социал-демократ, один из участников этой сидячей забастовки, настаивает, что в камеру Грина вошло шестеро узников (сообщила Н. Ф. Враницкая).

<sup>7</sup> А. С. Грин. Автобиографическая повесть. Изд-во писателей в Ленинграде. Л., 1932, с. 133. В то время, как этот том «Прометей» был в наборе, удалось найти обширнейшие воспоминания главврача севастопольской больницы. Он пишет: «Характеристики этих лиц (т. е. людей, которые бок о бок работали с Гринем в Севастополе. — В. С.) у Грина довольно меткие, но не совсем точные. Например, относительно учителя-красавца следует сказать, что Грин верно подметил его... крайний терроризм, на почве которого у него развивались иногда очень фантастические идеи и планы. Однако он при всем этом был искренно убежденным революционером большого темперамента, что доказал и своей работой».

<sup>8</sup> В «Автобиографической повести» Грин не без иронии замечает: «Я долго ломал голову, стараясь понять, чем руководствуется охранное отделение, посылая революционеров и революционерок в такие центры военной силы, как Севастополь, но никакого объяснения не нашел».

<sup>9</sup> В декабре 1965 года я познакомился в Симферополе с Г. Чеботаревым, устраивавшим Грину сходки. Он подтвердил слова Грина.

<sup>10</sup> См. об этом подробнее в «Автобиографической повести» и в моем очерке «Грин, которого вы не знаете», «Волга», 1967, № 9.



назначен на 2 часа дня 17 декабря. А 15 декабря Бибергаль неожиданно была выслана этапом в Архангельскую губернию.

Научный сотрудник Симферопольского архива В. Шабанов переслал мне обнаруженный им в фонде прокурорского надзора рапорт начальника сева­стопольской тюрьмы товарищу прокурора Симферопольского окружного суда. Вот что говорится в этом документе:

«Содержащийся под стражей во вверенной мне тюрьме за ротмистром отдельного корпуса жандармов Васильевым, арестант, именующийся Александром Григорьевым<sup>11</sup>, покушался 17 сего декабря на побег из тюрьмы при следующих обстоятельствах: гуляя около двух часов дня в тюремном дворе у выхода из тюрьмы под присмотром тюремного надзирателя Дунюшкина, он, проходя по направлению к банному двору, сбросил с себя пальто и быстро пробежал в этот двор к стене ограды, через которую висела веревка, переброшенная через стену неизвестным пособником к побегу его; посредством этой веревки он и пытался бежать, схватив за один конец ее, стал ее тянуть, к себе, вытягивая ее во двор. Но у самой стены был схвачен тюремными надзирателями Дунюшкиным и Лавриновым.

Произведенным осмотром местности покушения на побег оказалось, что часть стены ограды, через которую была переброшена веревка, выходит на глухую местность, проходящую между тюремной оградой с одной стороны и между оградой арестного дома и городской больницы с другой стороны. Веревка эта имеет около 27 аршин длины и около  $\frac{1}{2}$  дюйма толщины с узлами через каждые  $\frac{3}{4}$  аршина, и за оградой в той местности, где она была переброшена, поднят лист оберточной бумаги (толстой), в которой она была, очевидно, принесена на место предположенного побега»<sup>12</sup>. «Неизвестным пособником» были брат Кати Виктор и его приятель Евгений Синегуб<sup>13</sup>.

16 февраля 1905 года Екатерина Бибергаль бежала из архангельской ссылки. В департамент полиции немедленно были сообщены ее приметы:

«Бибергаль, 25 лет, рост 2 арш. 4,5 вершка, волосы светло-русые, вьющиеся с золотым об­резом (так в тексте. — В. С.), брови правильные, дугообразные, русые, снаружи несколько реже, глаза светло-карие, нос прямой, величины умеренной, рот правильно очерченный, зубы все белые, несколько неправильной формы, под-



Екатерина Александровна Бибергаль.

бородок круглый, лицо гладкое; особая примета: на левой стороне щеки на горизонте носа в расстоянии почти дюйма небольшое бледно окрашенное пятно»<sup>14</sup>.

Узнав, что Бибергаль в Петербурге, Грин заторопился в столицу.

<sup>11</sup> Паспортом на имя Александра Степановича Григорьева, мещанина из Пензы, Грина снабдили, вероятно, еще в Пензе, когда он бежал из Оровайского батальона. См. об этом подробнее в моих комментариях к сборнику А. С. Грина «Джесси и Моргана». Ленинград, 1966, с. 499—501 и в моем очерке «Грин, которого вы не знаете», «Волга», 1967, № 8.

<sup>12</sup> Крымский облгосархив (КОГА) ф. 483, оп. 4, д. 271.

<sup>13</sup> Подробнее в очерке «Грин, которого вы не знаете», «Волга» 1967 г., № 8 и 9.

<sup>14</sup> Государственный архив Архангельской области (ГААО), ф. 1393, оп. 1, ед. хр. 1082, л. 52, 52 об.

Они встретились в декабре 1905 года. Но уже после первой встречи Катя поняла, что перед ней человек, разуверившийся в эсеровской программе и внутренне отошедший от движения, а она не мыслила своей жизни вне его. Произошло несколько тяжелых объяснений, тягостных для обоих. Они расстались навсегда, но Грин часто вспоминал ее. В ранних его рассказах образ Кати Бибергаль мелькает не раз.

В ночь с 31 марта на 1 апреля 1907 года в Петербурге была арестована группа из 28 человек «боевого отряда при Центральном комитете партии социалистов-революционеров»<sup>15</sup>.

Бибергаль была осуждена на восемь лет каторжных работ и сослана в Сибирь. Тогда, узнав каким-то образом ее адрес, Грин послал ей в 1914 году только что вышедшую в издательстве «Прометей» книгу «Штурман «Четырех ветров».

7 января 1906 года в Петербурге при «ликвидации боевого летучего отряда»<sup>16</sup> эсеров был арестован мещанин местечка Нового Двора Волковышского уезда Гродненской губернии Николай Иванович Мальцев.

Ровно через месяц охранка известила департамент полиции: «...Мальцев показал, что его зовут Александр Степанов Гривевский, он потомственный дворянин, уроженец Вятской губ., дезертировавший в 1902 г. из 213 пехотного Оровайского резервного батальона и осужденный приговором севастопольского военно-морского суда... к ссылке на поселение, но в силу высочайшего манифеста был освобожден 24 октября от дальнейшего наказания: на нелегальное положение перешел 10 декабря прошлого года»<sup>17</sup>.

Где и когда достал Грин паспорт на имя Мальцева — пока остается загадкой. Да и арестовали его, в сущности, совершенно случайно — он оказался в зоне облавы. На нелегальное положение Грин перешел потому, что охранка стала хватать подряд всех амнистированных и «особое совещание» без суда и следствия щедро раздавало «ордера на ссылку».

Грина заключили в знаменитую петербургскую тюрьму «Кресты», часто вызывали на допросы, но никаких сведений о явках, о товарищах по партии жандармы так и не получили. На свидания в тюрьму часто приходила сводная сестра Наталья<sup>18</sup>.

Вера Павловна Абрамова, в то время ак-

тивный член нелегального общества помощи заключенным «Синий крест», в неопубликованных воспоминаниях<sup>19</sup> сообщает:

«Мои отношения с Александром Степановичем начались так же, как они обычно начинались и с другими «женихами». Но мне на квартиру пришла незнакомая барышня и сказала, что ее сводный брат А. С. Гривевский сидит с января в «Крестах». До сих пор она, Наталья Степановна, сама ходила к нему на свидания и делала передачи, но в мае ей придется уехать в Анапу работать в санатории; она просит меня заменить ее, делать передачи брату и ходить к нему на свидания. Сказала, что адрес мой она узнала в «Кресте».

Я начала хлопотать о разрешении мне свидания с Александром Степановичем, а он — писать мне. Его письма резко отличались от писем других «женихов» и неженихов, писавших мне из тюрьмы. Почти все жаловались. Но Гривевский писал бодро и остроумно. Письма его меня очень заинтересовали.

В мае выяснилась судьба Александра Степановича. Его приговорили к ссылке в Тобольскую губернию и перевели в пересыльную тюрьму. Наталья Степановна была еще в Петербурге, и потому, когда я получила разрешение на свидание, мы пошли с ней в тюрьму вместе. Это свидание с незнакомым человеком, на днях отправляющимся в далекую ссылку, было для меня очередным делом. Я от него ничего не ожидала. Думала, что этим свиданием окончатся наши отношения с Гривевским, как они кончались с другими «женихами». Однако все кончилось по-иному и, для меня, значительно.

Нас впустили в большое помещение, в котором уже было много народу. Каждый заключенный мог свободно говорить со своими посетителями, так как надзор был слабый.

<sup>15</sup> А. И. Спиридович. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. Петроград, 1917, с. 368.

<sup>16</sup> ГААО, ф. 1, оп. 4, т. 5, ед. хр. 870, л. 9.

<sup>17</sup> ЦГАОР, ф. ДП-7, ед. хр. 1011, л. 1, 1. об.

<sup>18</sup> Родители Грина, пожившись в 1872 году, долгое время не имели детей и взяли на воспитание подкидыша Наташу. Об отце Грина см. Государственный архив Кировской области (ГАКО), ф. 582.

<sup>19</sup> В. П. Калицкая. Воспоминания об А. С. Гривеве. Рукопись. Архив автора. В дальнейшем воспоминания В. П. Калицкой цитируются по этой рукописи, без ссылок.

Надзиратель ходил по середине большого зала, а заключенные со своими гостями сидели на скамейках вдоль стен.

Александр Степанович вышел к нам в потертой пиджачной тройке и синей косоворотке. И этот костюм и лицо А. С. заставили меня подумать, что он интеллигент из рабочих. Разговор не был оживленным, и А. С. и не старался оживить его, а больше присматривался. «Сначала ты мне совсем не понравилась, — рассказывал А. С. впоследствии, — но к концу свидания стала как родная».

Дали звонок расходиться. И тут, когда я подала А. С. руку на прощанье, он притянул меня к себе и крепко поцеловал. До тех пор никто из мужчин, кроме отца и дяди, меня не целовал; поцелуй Гриневского был огромной дерзостью, но вместе с тем и ошеломляющей новостью, событием. Я так сконфузилась и заволновалась, что не помню, как мы с Натальей Степановной вышли из тюрьмы и о чем говорили дорогой.

Вскоре Гриневская уехала, я же, узнав о дне отправки эшелона ссыльных, пришла на вокзал с передачей. К поезду никого из провожающих не допустили, и я передала чайник, кружку и провизию через «сочувствующего» железнодорожника.

Поразительно, как мало иной раз мы осознаем состояние своих чувств. Проводив поезд, я считала, что отъезд этого, почти незнакомого и некрасивого человека ничего для меня не значит. Я не боролась с собой и не рисовалась, а, вероятно, инстинктивно, подсознательно скрывала от себя свое огорчение».

Поезд, увозивший Грина в ссылку, отошел от перрона Николаевского вокзала 15 мая 1906 года. Александра Гриневского сопровождал «ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ», в котором сообщалось:

«Приметы:

лета: 25, рост: 2 аршина  $\frac{7}{8}$  вершка (что соответствует 1 метру 76 см), лицо: чистое, глаза: карие, волосы, брови, усы: русые, борода: бред, нос: умеренный. Особые приметы: не записано».

В графе «По чьему распоряжению и по какой причине пересылается» говорится: «Согласно постановлению господина министра внутренних дел Гриневского выслать в ведение тобольского полицмейстера для водворения под надзор полиции в местности по указанию тобольского губернатора на 4 года, считая срок с 29 марта 1906 г.». Из других глав документа явствует, что арестант «препровождается» без наручни-



Вера Павловна Абрамова

ков и что от Петербурга до Москвы ему было выдано 15 копеек «кормовых денег»<sup>20</sup>.

В Тюмени, у пересыльной тюрьмы Грин встретил бывшего своего партийного руководителя Наума Быховского<sup>21</sup>. Именно Быховский поручил в 1903 году недавно бежавшему из солдатчины молодому агитатору-пропагандисту, написать прокламацию, прочитав которую он сказал: «Знаешь, Гриневский, мне кажется, что из тебя мог бы выйти писатель». Много позже Грин говорил: «Это было, как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь. Я затрепетал от этих слов, поняв, что это то единственное, что сделало бы меня счастливым,

<sup>20</sup> ГААО, ф. 1, оп. 4, т. 5, ед. хр. 870, л. 23.

<sup>21</sup> О Н. Я. Быховском, о его интереснейших воспоминаниях о Грине см. в очерке «Грин, которого вы не знаете», «Волга», 1987, № 8, а также в комментариях к сборнику А. С. Грина «Джесси и Моргиана», Лениздат, 1966.

то единственное, к чему не зная, должно быть, с детства стремилось все мое существо. И сразу же испугался: что я представляю из себя, чтобы сметь думать о писательстве? Что я знаю? Недоучка! Босяк! Но... зерно пало в душу и стало расти. Я нашел свое место в жизни»<sup>22</sup>.

Грин попросил у Наума Яковлевича деньги и фальшивый паспорт. Быховский принес и то и другое.

По распоряжению тобольского губернатора Грин был водворен на место жительства в город Туринск. Здесь он с несколькими ссыльными напоил до бесчувствия приехавшего их пристава и бежал<sup>23</sup>, доехав на телеге (60 верст) до ближайшей железнодорожной станции.

Тобольский губернатор спешно извещил о победе департамент полиции, и вот в циркуляре разыскиваемых лиц, который рассылался по всем губерниям России, под номером 19000 записано:

«ГРИНЕВСКИЙ Александр Степанович, потомственный дворянин, проживал в конце 1905 года в С.-Петербурге по подложному паспорту на имя мещанина местечка Нового Двора Волковышского уезда Гродненской губернии Николая Иванова Мальцева. В 1902 году дезертировал из 213 пехотного резервного батальона. В 1903 году привлекался в Севастополе к судебной ответственности по обвинению в противоправительственной пропаганде среди нижних чинов севастопольской крепостной артиллерии, а в 1904 году в том же деянии среди нижних чинов флота и в 1905 году приговорен севастопольским военно-морским судом за преступления, предусмотренные 129, 130 и 131 ст. ст. Угол. улож., к ссылке на поселение, но затем в силу высочайшего указа 21 октября<sup>24</sup> 1905 года освобожден от определенного ему по судебному приговору наказания. На основании утвержденного 29 марта 1906 года постановления Особого совещания, образованного согласно ст. 34 Положения о государственной охране, Гриневский за принадлежность к социал-революционной партии был выслан под гласный надзор полиции в отдаленный уезд Тобольской губернии на четыре года и водворен в г. Туринск, откуда по сообщению тобольского губернатора 11 июня 1906 года бежал.

Сведений о приметах не имеется.

По задержании препроводить в распоряжение тобольского губернатора, уведомив о сем департамент полиции»<sup>25</sup>.

Между тем через Самару и Саратов, где были надежные явки, Александр Степано-

**ОТКРЫТЫЙ ЛИСТЪ**

отправленнаго отъ  
Петербургскаго Губернскаго Правленія въ *Тобольскую Губернію*  
на имя *Александръ Гриневскій* губерніи  
да послано о немъ сообщеніе отъ *15 Октяб.* 1906 г. № *19000*

Имя, въ отрывкѣ фамильн. имени	Прозваніе	По чьему распоряженію и по какому предлогу объявленъ въ розыскъ	Въ какомъ мѣстѣ объявленъ въ розыскъ	Отбѣтъ о задержаніи и примѣтъ ареста	Р. К.
<i>Гриневскій Александръ Степановичъ</i>	<i>Александръ</i>	<i>Судебно-процессуальными органами Тобольскаго Губернскаго Правленія по сообщенію Самарскаго Губернскаго Правленія отъ 11 Іюня 1906 года</i>	<i>Туринскъ</i>	<i>Отъ г. С.-Петербурга до г. Туринска</i>	<i>15</i>
				<i>Дальнейшее</i>	
				<i>Иные</i>	

*Александръ Гриневскій*  
*12 Октября 1906 года*  
*Мѣсто жительства: отдаленный уездъ*

вич добрался до Москвы. Сюда в это же время приехал и Быховский, которому по ходатайству одного из членов Государственной думы разрешили два года ссылки вместо Сибири отбыть за границей. Наум Яковлевич сказал Грину, что срочно нужна агитка для распространения в войсках.

— Я вам напишу, — ответил Грин и через несколько дней действительно принес рассказ «Заслуга рядового Пантелеева»<sup>26</sup>.

Грину тут же выплатили первый в его жизни гонорар и предложили написать еще рассказ, но он отказался и тотчас уехал в Питер.

«Недели через две, — пишет Вера Павловна, имея в виду время после отъезда Грина в ссылку, — я получила от Александра Степановича письмо. В нем стояла многозначительная фраза: «Я хочу, чтобы Вы стали для меня всем: матерью, сестрой и женой». И больше ничего: ни адреса и ни-

<sup>22</sup> Н. Н. Грин, Из записок об А. С. Грине.

<sup>23</sup> Государственный архив Тобольской области (ГАТО), ф. 17/152, д. 269, л. 220.

<sup>24</sup> Не точно — 24 октября.

<sup>25</sup> ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр. 1488, ч. 2, л. 9.

<sup>26</sup> Подробнее см. в моей статье «Самый первый». «Литературная Россия», 1964, № 35, с. 8.

какого конкретного предложения. Да и какое предложение могло бы быть. Ведь Гриневский на несколько лет попал в ссылку!

В начале июня наша семья переехала на дачу в Парголово. Оттуда я часто ездила в Петербург по делам «Креста», в библиотеку и по поручению домашних. Как-то в жаркий день, набежавшись по городу, я поднималась по всегда безлюдной нашей парадной; завернув на последний марш, я с изумлением увидела: на площадке четвертого этажа, у самых наших дверей, сидит Гриневский. Худой, очень загорелый и веселый.

Вошли в квартиру, пили чай и что-то ели... Паспорт у него фальшивый, нет ни денег, ни знакомств, ни заработка. Выходило, что одна из причин рискованного бегства — я. Это налагало на меня моральные обязательства. Слушая рассказ Александра Степановича, я думала: «Вот и определилась моя судьба: она связана с жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки? Ведь из-за меня он сделался нелегальным».

Паспорт, которым снабдил Александра Степановича Н. Я. Быховский, казался ему ненадежным. Он снял было комнату на Зверинской и попросил меня прийти к нему. Ему казалось, что хозяйка подозрительно отнеслась к его паспорту и что за ним следят.

— Надо поскорее выметаться отсюда, помогите мне.

Пошел посмотреть, дома ли хозяйка. Ее не было. Поспешно собрал свои вещи, корзину, одеяло с подушками. Вместе перетащили поклажу, выбежали на улицу, искали извозчика. На Зверинской извозчика не оказалось. Путь от Зверинской до Провиантской, где нашли извозчика, показался очень длинным. Отвезли вещи на вокзал, сдали на хранение, и А. С. пошел искать себе другую квартиру. По тому, как он благодарил меня за ничтожную помощь, которую я ему оказала, я поняла, как мало он видел к себе раньше участия.

Подозрения Александра Степановича о слежке за ним оказались ложными. Он прожил в Петербурге с месяц без всяких неприятностей. Во второй половине июля А. С. уехал в Вятку<sup>27</sup> к отцу Степану Евсеевичу Гриневскому, который служил бухгалтером земской больницы.

Во время пребывания А. С. в Вятке в больнице умер личный почетный гражданин Алексей Мальгинов. Степану Евсеевичу удалось достать паспорт умершего и передать его сыну. Алексею Мальгинову бы-

ло 35—36 лет, но никто за все четыре года, которые Александр Степанович прожил по этому паспорту, не заметил несоответствия между годами, обозначенными в паспорте, и возрастом его владельца. Это потому, что А. С. выглядел в те годы много старше своих лет. Но зато позднее он мало менялся.

Суть наших отношений с Александром Степановичем в то время выражена им в рассказе «Сто верст по реке», написанном в 1912 году. Фабула изменена, чтобы заострить переживания героя. Герой повести Нок не политический, а уголовный, беглый каторжник. Пароход, на котором он ехал, спасаясь с каторги, потерпел аварию на пустынной реке, вдали от всякого жилья. Беглец пытается купить лодку, но у него не хватает денег. Гелли, незнакомая до тех пор пассажирка, предлагает Ноку доплатить недостающую сумму с тем, чтобы он взял ее с собой. Нок соглашается, но он зол и груб с девушкой, считая ее помехой. По дороге Нока опознают, и ему грозит опасность. Гелли помогает ему спастись. Вследствие этого отношение Нока к девушке меняется.

«Вы поддерживали меня, — сказал Нок, — хорошо, по-человечески поддерживали. Такой поддержки я не встречал».

Перед городом, в котором жила Гелли (Зурбаган), Нок ее высаживает. Она дает ему свой адрес, но Нок разрывает бумажку, думая: «...и я к тебе не приду, потому что... о, господи... люблю!»

В Зурбагане Нок бродит голодный и неприютный, но, вспоминая о Гелли, рассуждает: «Он был бы настоящим преступником, вздумая идти к этой, не виноватой ни в чьей судьбе девушке. За что она должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой».

Вскоре Нока опознают, за ним погоня. Спасаясь от преследования, Нок вспоминает адрес Гелли. Ни о чем больше не думая, только желая спастись, он несет к дому Гелли, и она его вновь спасает.

<sup>27</sup> Сестра Грина Е. С. Маловечкина напоминает в письме к брату 16 марта 1927 года: «Я-ко встала в памяти наша встреча и прогулка в загородный сад в Вятке, где ты угощал меня лимонадом, а досужая молва разнесла на другой день по городу, что «вот де Катя Гриневская кутит по загородным ресторанам», а мне, несчастной, и реабилитировать себя нельзя, не выдав тебя». (Воспоминания эти относятся к моменту пребывания Грина в Вятке в конце июля — начале августа 1906 года. — В. С.)

№ 861  
1906

архив №

**ДЪЛО**  
I Отдѣленія

Канцеляріи Главнаго Управленія  
по дѣламъ печати.

*О напечатаніи афиша на Бронноту  
„А. С. Т. Заслуга рѣдкого Паше-  
лева“*

НАЧАЛОСЬ 30 Сентября 1906 года.

РѢШЕНО 28 сентября 1907 года.

№ 573

**ДЪЛО**  
I Отдѣленія

Канцеляріи Главнаго Управленія  
по дѣламъ печати.

*О Бронноту „А. С. Т. Заслуга и Паше-  
лева“*

776 9 686

НАЧАЛОСЬ 5 декабря 1906 года.

РѢШЕНО 22 ноября 1908 года.

*104*

В такую форму претворились бегство Александра Степановича из ссылки, боязнь быть арестованным в Петербурге и наша встреча с ним на четвертом этаже. Повесть оканчивается словами автора: «Они жили долго и умерли в один день». Это у Грина — формула верной до смерти любви. Казалось бы, в «Сто верст по реке» изображена любовь цельная и счастливая, и, вероятно, не многие замечают, читая повесть, странное окончание мечтаний Нока: «Гелли теперь дома... У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты; отец, сестра, лампа, книги, картины. Милая Гелли! Ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там, я хочу быть там! Хочу тепла и света, страшно, нестерпимо хочу!.. Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад».

Еще только мечтая о полюбившейся девушке, еще только смутно надеясь найти около нее свет и тепло, Нок уже говорит себе: «приходи в город и отыщи ад». Как это объяснить? Только той глубочайшей

двойственностью натуры Александра Степановича, которая нацело раскалывала его личность. Он одновременно искал семейной жизни, добивался ее и в то же время тяготился ею, когда она наступала. Одно из его героев «Золотой цепи», Санди Прузля, А. С. называет «диким мустангом среди нервных павлинов». Таким диким мустангом был и сам Александр Степанович. Трудно понять, что было ему нужнее: уют и душевное тепло или ничем не обузданная свобода, позволяющая осуществлять каждую свою малейшую прихоть.

Зимой 1912/13 года Александр Степанович подарил мне хорошо иллюстрированное издание «Королевы Марго» А. Дюма. В ту зиму, как это часто бывало и до ссылки (В. П. имеет в виду архангельскую ссылку 1910—1912 годов. — В. С.), мы периодически нуждались. В один из таких периодов пришлось снести букинисту и «Королеву Марго», но заглавный лист с автографом Александра Степановича я вырвала и сохранила. На нем было написано:

«Милой моей Гелли, вдохновительнице и покровительнице от сынишки и плутишки Сашии».

В первые месяцы пребывания в Петербурге Грин написал еще один рассказ-агитку «Слон и Моська»<sup>28</sup>, но его постигла та же судьба, что и первый рассказ, с той разницей, что на сей раз был рассыпан набор. Впрочем, передадим слово документам, найденным в цензурном комитете:

«Из отзыва старшего инспектора типографий и [тому] п[одобных] заведений в С.-Петербурге от 17 декабря 1906 года за № 8524 видно, что при наложении ареста на брошюру «Слон и Моська» в типографии Безобразова, где она печаталась, установлено, что означенная брошюра не печаталась, а лишь сделано 8 оттисков для Цензурного комитета. Ни одного экземпляра никому выдано не было, почему брошюра «Слон и Моська» распространения не получила.

При таких условиях нет основания к возбуждению уголовного преследования, а надлежит лишь с сделанным оттиском применить 6 ст. IV отд. Правил 26 апреля 1906 года и уничтожить, если имеются заготовленные принадлежности тиснения этой брошюры»<sup>29</sup>.

И еще:

«...согласно сообщению С.-Петербургского градоначальника брошюра А.С.Г. «Слон и Моська» была оттиснута только для представления в С.-Петербургский Цензурный комитет по делам печати и что набор этой брошюры разобран при наложении на нее ареста»<sup>30</sup>.

В конце сентября или в начале октября Грин написал третий рассказ — «В Италию», который и был помещен в газете «Биржевые ведомости» 5 декабря. Это был первый легальный рассказ Грина, подписанный крептономимом А. А. — въ. (Наборщик ошибся и набрал «В Италию»).

Когда Александр Степанович принес Александру Измайлову, редактору литературного отдела «Биржевки», второй рассказ, «Апельсины», тот попросил его, если он не хочет подписываться своей фамилией, придумать постоянный псевдоним. В тот день в русской литературе впервые появилась уверенная подпись «А. С. Грин», но писателя Грина еще не было.

Осенью с дачи вернулась семья Веры Павловны, и она сказала отцу, что у нее есть жених. Отец попросил Веру познакомиться их. Свидание прошло наедине, в кабинете Павла Егоровича Абрамова, и про-

должалось оно минут двадцать. Александр Степанович вышел из кабинета смущенный и почти сразу же ушел. Отец позвал к себе Веру и строго сказал:

— Что это ты выдумала? Связаться с беспаспортным, человеком без образования и без определенных занятий?! Выкинь эту дурь из головы!

Как ни был высок авторитет отца, на этот раз Вера Павловна его не послушалась. Она уже любила «человека без определенных занятий».

Грин уговаривал ее тотчас поселиться вместе, но Вере Павловне не хотелось резко порывать с отцом, кроме того, ее беспокоила материальная сторона дела. Александр Степанович печатался мало, гонорары его были ничтожны. Вера Павловна жила на средства отца, влиятельного чиновника, отнюдь не реакционера, человека прогрессивных взглядов, у которого, к сожалению, слово довольно часто расходилось с делом. Она подрабатывала уроками и все заработанные деньги отдавала Александру Степановичу — он в них крепко нуждался. Расчетливость и экономность в жизни были не его стихией. Как только Грин получал гонорар, он немедленно бежал покупать Вере подарки: дорогие конфеты, книги, цветы. Иногда в альбом Вере Павловне он вписывал стихи.

Грин-поэт — хотя он опубликовал несколько десятков стихотворений — не может идти ни в какое сравнение с первоклассным рассказчиком, но все же одно стихотворение (из альбома Веры Павловны, которое, на мой взгляд, прекрасный человеческий документ) мне все-таки хочется привести.

### Единственный друг (Верочке)

В дни боли и скорби, когда тяжело  
И горек бесцельный досуг, —  
Как солнечный зайчик, тепло и светло,  
Приходит единственный друг.

Так мало он хочет... так много дает  
Сокровищем маленьких рук!  
Так много принесит любви и забот.  
Мой милый, единственный друг!

<sup>28</sup> См. «Прометей», том 3.

<sup>29</sup> ЦГА, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 686, л. 5.

<sup>30</sup> Там же, л. 10.

Как дождь, монотонны глухие часы,  
Безволен и страшен их круг;  
И все же я счастлив, покуда ко мне  
Приходит единственный друг.

Быть может, уж скоро тень смерти  
падет

На мой отцветающий луг,  
Но к этой постели, заплавав, придет  
Все тот же единственный друг.

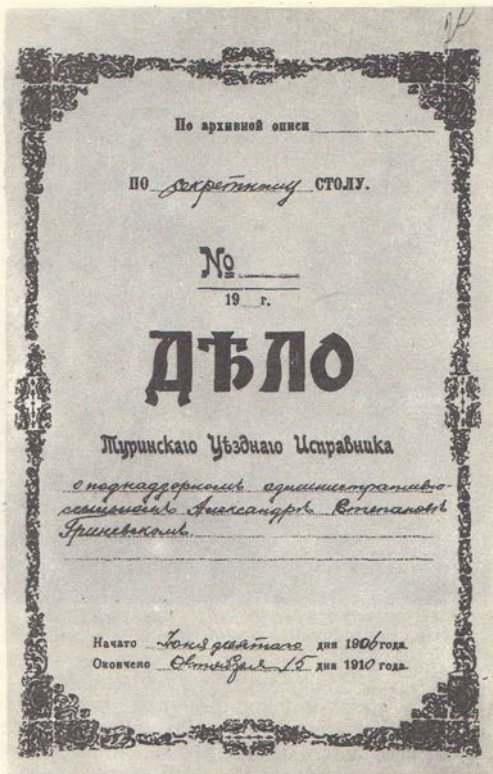
«В течение всего 1906—1907 года, — пишет В. П. Абрамова, — Александр Степанович постоянно настаивал на том, чтобы я переехала жить вместе с ним. Говорил:

— Я буду надоедать тебе, как попугай! Где-то он узнал, как будет по-французски «Мы должны жить вместе», и постоянно, ломаным языком, твердил мне эту фразу. Давать уроки, как я делала это два года, мне совсем не нравилось. По образованию я была химиком. Поэтому осенью 1907 года я поступила в лабораторию Геологического комитета. Она помещалась в Волховском переулке на Васильевском острове, а мы с отцом и бабушкой жили в конце Фурштадской, недалеко от Таврического сада. Оттуда до Волховского переуллка расстояние огромное, тем более что в те годы трамваев еще не было и ездить пришлось бы с пересадкой на конках. Благодаря этому мой переезд из родительского дома совершился почти безболезненно. Бабушка, чрезвычайно чувствительная к общественному мнению, могла сказать родным и знакомым, что причина моего отъезда — поступление на службу. Они с отцом допускают этот переезд, чтобы я не утомлялась.

Поселились мы с Александром Степановичем на 11-й линии Васильевского острова.

Вскоре после переезда я написала отцу, что поселилась с тем самым Гриневским, с которым познакомила его в прошлом году. Отец ответил двумя письмами: мне и Александру Степановичу. Мне он писал, что я опозорила его и что он меня стыдится.

Письмо это глубоко разочаровало меня в отце. Разве был промах в том, что Александр Степанович бежал из ссылки? Да и бежал-то он из-за меня. Побег сделал его велегальным, и только поэтому нам нельзя было венчаться. И этим-то я опозорила себя и отца? Нет, так мог писать только какой-то благонамеренный мещанин, а не социалист по убеждениям! Я не могла примириться с таким расхождением между



словами и делом отца и никакого раскаяния не изъявила.

Письмо отца Александру Степановичу было еще жестче. Отец в оскорбительных выражениях обвинял его в том, что он, заведомо зная, что не может жениться, увлек меня из расчета. Почерк отца, я, конечно, знала; оба письма пришли вместе, оба попали в мои руки. Прочитав письмо, адресованное мне, я поняла, что в письме к А. С. ничего хорошего быть не может, и вскрыла его. А потом уничтожила. Так Александр Степанович никогда о нем не узнал. Отец довольно долго ждал ответа от него, потом, наконец, спросил:

— Что же «твой» ничего мне не отвечает?

— Я не дала ему твоего письма, уничтожила.

Отец так был поражен неожиданным поворотом дела, что только сказал:

— Ну, иди.

С тех пор он в течение трех лет не обмолвился и словом об Александре Степа-





Группа сотрудников альманаха  
«Шиповник».

новиче и никогда не спросил, как мне живется. Я стала, действительно, отрезанным ломтем, как отец предсказал».

У молодого орленка появилось первое оперение. Он начинал расправлять крылья, готовясь к дальнему полету.

Рассказы, написанные в 1906—1907 годах, Грин решил собрать в книжку. Начинаящему автору трудно было найти издателя, но Грин его нашел. Им оказался владелец книжного магазина «Наша жизнь» Котельников. Издатель был скуповат, не хотел заказывать обложку художнику и попросил молодого писателя нарисовать ее самому. У Грина дома был какой-то толстенный фолиант с тиснением и золотым обрезом. Он перевел рисунок тиснения на кальку, потом на картон и отнес издателю.

Когда встал вопрос о названии книги, Грин не захотел идти проторенной тропинкой: выносить название одного из рассказов на обложку. Тогда Вера Павловна предложила:

— Ты таинственная личность. Как автор — ты А. С. Грин. По паспорту — Алексей Мальгинов, а на самом деле — Александр Гринеvский. Дажe я не рискую называть тебя Саша, а зову вымышленным именем. Сама я тоже должна скрываться; вот и посвящение твое: «Другу моему Вере», а не жене. Оба мы как будто под шапкой-невидимкой. Назовем так книгу.

Грин охотно согласился.

Конечно, этот рассказ можно принять за забавный случай из жизни писателя, и он вряд ли подходит для Грина, всегда «очень сознательного»<sup>31</sup> в творчестве. Но дело в том, что выдумка Веры Павловны неожиданно и точно охарактеризовала книгу, которая глубоко психологична и вскрывает пласты жизни, лежащие не на поверхности.

<sup>31</sup> А. Г. Горнфельд, Искатель приключений. «Русское богатство», 1917, № 6—7, с. 279—282.

«Шапка-невидимка» вышла в первых числах февраля 1908 года.

Грин вернулся расстроенный: кто-то сказал ему, что обложка похожа на обертку для мыла. Рассказывают, что он взял книжку с досадой, а потом отложил ее с видом человека, сделавшего не свое дело.

Пока книга печаталась, он уже перерос ее.

Энциклопедия «Гранат» сообщает, что «Шапка-невидимка» вышла в количестве 200 экзemplяров, но тираж был конфискован<sup>32</sup>. Между тем в делах цензурного комитета не удалось обнаружить документов, подтверждающих арест книги, хотя ничего неожиданного в этом бы не было. Еще в июле 1907 года был арестован петербургским цензурным комитетом шестой номер журнала «Трудовой путь» с рассказом Грина «Ночь» (рассказ вошел в «Шапка-невидимку» под названием «Подземное»). Цензор писал о рассказе: «Действующими лицами в нем являются члены одного из провинциальных комитетов партии социалистов-революционеров, а предметом — совершаемые революционерами убийства политических агентов. При этом рассказ ведется в таком тоне, что не может быть никакого сомнения в намерении автора представить убийц-революционеров лицами безупрочнейшей честности и высокого героизма, а агентов полиции — трусами и негодяями, вполне достойными постигшей их участи»<sup>33</sup>.

Грин свел знакомство со многими петербургскими литераторами. Теперь он часто пропадал вечерами.

Петр Пильский, приятель Грина и Куприна, талантливый критик<sup>34</sup>, подарив Грину сборник рассказов, написал в посвящении: «Александр Грину в благодарность за его рассказы об иной жизни и прекрасных душах и на память о наших проказах, фокусах и всякой чепухе»<sup>35</sup>.

Грина часто видели в компании Куприна. Они сидели вдвоем среди шумной, галдящей литературной братии, ежеминутно поднимающей тосты, и о чем-то тихо беседовали. Куприна Грин любил, всегда отзывался о нем с восхищением, рассказывал, что именно он открыл ему глаза на особенность его дарования, на «романтический талант». «Люблю этого человека во всех его проявлениях. Много он дал мне, молодому начинающему писателю, во время наших частых застольных бесед»<sup>36</sup>.

Позже, когда Грин вернулся из архангельской ссылки, Куприн сказал ему: «Лю-

блю тебя, Саша, за золотой талант твой и равнодушие к славе».

В конце 1908 года Грин написал рассказ «Остров Рено»<sup>37</sup>, новеллу «романтического накала», о человеке, восставшем против мира обыденности, рутины и злобы и погибшем в неравной борьбе. Но не мотив смерти пронизывает новеллу, а любовь к миру, яркость и праздничность жизни.

Грина заметили.

О нем заговорили.

«Совместная жизнь, — вспоминает Вера Павловна, — показалась мне сначала идиллией. Утром я уходила в лабораторию, а в час возвращалась домой завтракать. Александр Степанович радостно встречал меня и даже приговаривал к моему приходу какую-нибудь еду. Потом я опять уходила в лабораторию, а по окончании мы шли куда-нибудь вместе обедать. Было похоже на семейную жизнь. Но эта идиллия очень скоро кончилась. Александр Степанович за год своего пребывания в Петербурге сошелся с литературной богемой.

Я зарабатывала хорошо, но получала по счетам, сдельно. Достаточно было мелкой неудачи в работе, чтобы ее пришлось начинать заново, и полочка откладывалась. У Александра Степановича с заработком было хуже, получки были меньше и реже. Все-таки можно было бы жить сносно, будь возможность рассчитывать средства, но ее не было. И я была бесхозяйственна и непрактична, и А. С. всякую попытку к экономии называл мещанством и сердито ей сопротивлялся.

Жизнь наша слагалась из таких периодов: получка, отдача долгов, выкуп заложных вещей и покупка самого необходимого. Если деньги получал А. С., он приходил домой с конфетами или цветами, но

<sup>32</sup> «Энциклопедия» «Гранат», т. 11, с. 634.

<sup>33</sup> ЦГИА, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 836, л. 20, 20 об.

<sup>34</sup> См. о нем в воспоминании К. Чуковского о Куприне, в кн. «Современники», «Молодая гвардия», 1963.

<sup>35</sup> Книга с автографом П. Пильского хранится в коллекции ленинградца Ю. В. Киригина. У него самое полное в стране собрание книг А. С. Грина.

<sup>36</sup> Н. Н. Грин, Из записок об А. С. Грине.

<sup>37</sup> Рассказ впервые был опубликован в апрельском номере «Нового журнала для всех» в 1909 году.

очень скоро, через час-полтора, исчезал, пропадая сутки или двое, и возвращался домой больной, разбитый, без гроша. А питаться и платить за квартиру надо было. Если и мои деньги кончались, то приходилось закладывать ценные вещицы, подаренные мне отцом, и даже носильные вещи. Продали и золотую медаль — награду при окончании мною гимназии.

В периоды безденежья Александр Степанович впадал в тоску, не знал, чем себя занять, и делался раздражительным. Потом брал себя в руки и садился писать. Если тема не находилась, он говорил шутя:

— Надо принять слабительное.

Это значило, что надо начитать вдоволь таких книг, в которых можно было бы найти занимательную фабулу, нравящегося героя, описание местности или просто какую-нибудь мелочь вроде звучного или эксцентричного имени; такие книги давали толчок воображению, вдохновляли и помогали найти героя и тему. Когда зарядка от прочитанных книг была получена, А. С. садился писать. В те годы, когда мы жили вместе, Александр Степанович был молод, мозг его был свеж, и писалось ему легко. В два-три приема рассказ бывал окончен. А. С. читал его мне, диктовал для переписки набело. Наступали тихие, хорошие часы. В такие вечера я мучительно задумывалась над вопросом: что же за человек Александр Степанович? Мне, в то время молодой и совсем не знающей людей, нелегко было в нем разобраться. Его исключительная расколотовость, несовместимость двух его ликов: человека частной жизни — Гриневского и творца — Грина, била в глаза, но невозможно было понять ее, примириться с ней».

Откройте почти любую статью о Грине. Каждый критик считает своим долгом сообщить, что Грин был одним из лучших мастеров сюжета. Непростительная наивность. По-настоящему новых, свежих сюжетов у Грина не так уж много. В сюжетах Грин, как правило, очень книжен, даже банален. Совсем другое дело — выдумка. Здесь Грин стоит рядом с такими гигантами, как Эдгар По, Гоголь, Амбруаз Бирс, Лондон, но об этом писал еще Ю. Олеша<sup>38</sup>.

В марте 1910 года в издательстве «Земля» вышла вторая книга Грина. Страницы газет и журналов запестрели восторженными отзывами. О книге писали как о явлении, молодому писателю прочили большое будущее.

Брат поэта Леонида Андрусона, ближайшего друга Грина, Владимир Андрусон работал недалеко от Петербурга, под Веймарном в колонии прокаженных. Писатель договорился с ним, что проживет месяц в колонии. Грин считал, что временами ему нужны сильные, свежие впечатления, он уставал от богемы. Город действовал на него расслабляюще.

После возвращения из архангельской ссылки в гостях у Куприна, в Гатчине, в «Зеленом домике», Грин рассказал, что ему хотелось заглянуть во внутренний мир людей, обреченных на гниение жизни.

— Скажу откровенно, первое время меня охватывало жуткое чувство, когда я слышал за окном непринужденный хохот и шутки этих людей, кстади сказать, готовых смеяться и шутить по любому поводу. Они словно намеревались краткостью пребывания своего на этом свете, уплотняя минуты счастливого забвения. При этом я, как ни прислушивался, ни разу не почувствовал даже намека на фальшь или наигранную браваду. Вывод был таков: очевидно, бывает и так, что от самого человека зависит испытывать счастье или горе; научись только так или иначе настраивать свое воображение... Я глядел на провалившиеся носы, на гноящиеся глаза, на лбы, покрытые зловещей коростой, и внутренне возторгался силой духа, которая позволяла этим людям петь веселые песни, выращивать прекрасные цветы и даже писать лирические стихи... Для меня долго оставалось непонятным такое их состояние. Казалось, что мысль о мучительной гибели все время должна маячить перед их сознанием. Кое-что я понял, когда еще раз прочитал «Живые мощи» Тургенева. Критики обслыгивали этот рассказ жалостливыми причитаниями. А я думаю, что жить на белом свете вне лепрозория не менее страшно, а может быть даже страшнее, чем среди прокаженных<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Ю. Олеша, Ни дня без строчки. «Советская Россия», М., 1965, с. 233.

<sup>39</sup> Н. Вержицкий, рассказавший об этой встрече в Гатчине в воспоминаниях о Грине «Светлая душа» (цит. по сборнику «Воспоминания об А. С. Грине»; книга готовится к печати в Лениздате) уверяет, что разговор состоялся сразу же после возвращения Грина из колонии. Если вообще разговор о прокаженных был, то он мог состояться не ранее конца мая — июня 1912 года. Грин был арестован утром того дня, когда он приехал из Веймарна, и к тому же «зеленый домик» А. И. Куприн приобрел только в январе 1911 года.

6 августа из петербургского отделения по охране общественной безопасности и порядка в столице тобольскому губернатору с грифом «Секретно» было послано письмо.

«27-го минувшего июля, — говорилось в нем, — в Петербурге по 6-й линии Васильевского острова, дом № 1, кв. 33, арестован неизвестный, проживающий по чужому паспорту на имя личного почетного гражданина Алексея Алексеевича Мальгинова.

Задержанный при допросе в охранном отделении показал, что в действительности он есть Александр Степанович[ич] Гриневский, скрывшийся с места высылки из тобольской губернии, где он состоял под гласным надзором полиции.

Сообщая об изложенном, присовокупляю, что Гриневский, за проживание по чужому паспорту, мною подвергнут 3-месячному аресту при полиции, по отбытии срока какового будет препровожден в распоряжение Вашего превосходительства»<sup>40</sup>.

Вера Павловна в июле была в Кисловодске. Она вернулась в Петербург через несколько дней после ареста Грина. Она пишет: «Вернувшись в Петербург и подъехав к дому, в котором жила, я оставила вещи на пролетке и пошла за дворником. Обычно приветливый и разговорчивый парень взглянул на меня исподлобья, молча пошел за вещами и молча втащил их наверх. Кухарка, открывшая дверь, тотчас метнулась к хозяйке. Я подошла к дверям комнаты Александра Степановича, она оказалась запертой; на стук никто не ответил. Вышла хозяйка меблированных комнат и объяснила мне, что три дня назад А. С. был арестован. Он, как это часто случалось, дня два пропадал из дому. Агенты охранного отделения посадили дворников в засаду, а сами дежурили во дворе. Когда А. С. вошел на лестницу, дворники схватили его. Сделали обыск, но ничего незаконного не нашли.

Рассказ этот ошеломил меня. Теперь, много лет спустя, трудно понять то оптимистическое легкомыслие, которое владело в одинаковой мере и Александром Степановичем и мной в те четыре года, которые он прожил по чужому паспорту. Паспорт был подлинный, не фальшивый, но ведь его бывший владелец умер, и то, что А. С. не Мальгинов, всегда могло раскрыться. (Как удалось установить, Грина выдал один из его приятелей, А. И. Котылев, которому он некогда неосторожно рассказал о своем нелегальном положении. — В. С.) Тем не менее у нас с А. С. за все эти четыре года не было ни одного разговора о его воз-

можном аресте и новой ссылке. Мы никогда ни о чем не улавливались, никогда не обсуждали, что каждый из нас должен сделать в случае катастрофы. Думаю, что тут имело значение не только наше, действительно существовавшее легкомыслие, но и то глубокое доверие, которое мы бессознательно питали друг к другу. Я не сомневалась, что он на мне женится, а он — что я поеду за ним в ссылку. Катастрофа произошла совершенно неожиданно. Хозяйка меблированных комнат сказала, что и обо мне спрашивали, что, мол, и за мной придут. Временно я подалась панике. Уничтожила все письма, среди которых было много писем отца и Александра Степановича. Потом я об этом горько жалела. Но паника скоро кончилась».

Вера Павловна узнала, что сразу после первого допроса Грин подал заявление с просьбой разрешить ему венчаться. Но для бракосочетания нужен был паспорт. Дочь действительного статского советника Вера Павловна Абрамова обратилась в департамент полиции:

«Прошу разъяснить мне, где находится паспорт жениха моего дворянина Александра Степановича Гриневского, находящегося в Спасской части. Нам разрешено бракосочетание, но из-за паспорта выходит задержка. Нельзя ли выдать временное удостоверение? А. С. Гриневский был сослан административно в мае 1906 года в г. Туринск Тобольской губ. и оттуда бежал; в Петербурге жил под чужим именем. Покорнейше прошу разъяснить, куда надо обратиться за паспортом»<sup>41</sup>.

На обратной стороне «заявления» делопроизводитель ответил:

«О личных документах Гриневского в [департаменте] полиции сведений не имеется, так как он в 1906 году был выслан из Спбурга (то есть С.-Петербурга. — В. С.), то с просьбой о розыскании документов следует обратиться к Спбургскому градоначальнику»<sup>42</sup>.

Вере Павловне предстояли долгие мытарства «по инстанциям».

Первые несколько дней Грин провел в доме предварительного заключения на Шпалерной улице. Отсюда он написал Леониду Андрееву:

<sup>40</sup> ГАТО, ф. 17/152, д. 269, л. 226.

<sup>41</sup> ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр. 1488, ч. 2, л. 18.

<sup>42</sup> Там же, л. 18 об.



1906 года. — В. С.) я был арестован в С.-Петербурге и по прошествии пяти месяцев выслан административным порядком в г. Туринск Тобольской губ. на 4 года, откуда немедленно уехал и поселился в С.-Петербурге, проживая по чужому паспорту на имя Алексея Алексеева Мальгинова. За эти четыре года я сделался беллетристом, известным в провинции и Петербурге под псевдонимом «А. С. Грин». Рассказы мои и повести печатались в «Образовании», «Русской мысли», «Новом журнале для всех», «Слове», «Новом слове», «Товарище», «Современном слове», «Родина», «Ниве»<sup>45</sup>, различных альманахах и сборниках. Кроме того, до настоящего времени я состоял постоянным сотрудником журналов «Весь мир» и «Всемирная панорама». В СПб книгоиздательстве «Земля» вышла зимой прошлого года (не точно: вышла за пять месяцев до написания настоящего прошения. — В. С.) книга моих рассказов.

Ныне арестованный, как проживающий по чужому паспорту, я обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с покорнейшей просьбой не смотреть на меня, как на лицо, причастное к каким бы то ни было политическим движениям и интересам. За эти последние пять лет я не совершил ничего такого, что давало бы право отнестись ко мне, как к врагу государственности. Еще до административной высылки в мирозрении моем произошел полный переворот, заставивший меня резко и категорически уклониться от всяких сношений с политическими кружками. Переворот этот, как может подтвердить г. начальник дома предварительного заключения (несколько дней после ареста Грин просидел в доме предварительного заключения. — В. С.), наметался во мне еще осенью 1905 года, когда, сидя в севастопольской тюрьме по делу о пропаганде, я из окна камеры старался удерживать и успокоить толпу, готовившуюся разбить тюрьму<sup>46</sup>. Это было после 17 октября. Последние четыре года, проведенные в Петербурге, прошли открыто на глазах массы литераторов и людей, прикосновенных к литературе; я могу поименно назвать их, и они подтвердят полную мою благонадежность. Произведения мои, художественные по существу, содержат в себе лишь общие психологические концепции и символы и лишены каких бы то ни было тенденций.

На основании вышеизложенного покорнейше прошу Ваше превосходительство обещать участь мою; тюрьма, высылка, четыре года постоянного страха быть аресто-

ванным вконец распатали мое здоровье. Организм мой надломлен: единственное желание мое — жить тихой, семейной жизнью, трудясь по мере сил, на поприще русской художественной литературы. Если Ваше высокопревосходительство не найдете почему-либо возможным освободить меня без всяких последствий — ходатайствую и покорнейше прошу разрешить мне покинуть Петербург и жить в провинции. Одновременно с настоящим моим прошением подано мной прошение на высочайшее имя. В крайнем случае прошу Ваше высокопревосходительство ходатайствовать, если на то будет доброе Ваше желание. Дворянин Александр Степанов Гриневский. Августа 1-го дня, 1910 года»<sup>47</sup>.

Что же побудило Грина написать прошения? Зная нервный, импульсивный характер его, можно предположить, что прошения были написаны им в период минутной слабости, в том состоянии душевной депрессии, крепко «забравшей» его иногда, когда он особенно остро чувствовал свое человеческое и писательское одиночество.

Кроме того, Грин, резко и давно порвавший с эсерами, действительно не принадлежал ни к каким политическим кружкам и партиям, и в этом смысле прошение касалось только его одного, он не предавал никаких интересов. Каждая строчка этого документа вопиет: «Дайте мне свободу для того, чтобы я мог свободно писать». Создается такое впечатление, словно Грин ради писательства пожертвовал своим человеческим достоинством. Слишком дорогая цена. Но писатель, вероятно, пошел на это вполне сознательно. Незадолго до смерти, уже безнадежно больной, Грин сказал: «Когда я осознал себя, понял, что я художник, хочу быть им и буду, когда волнующая прелесть искусства и творчества захватила ме-

<sup>45</sup> В двух последних журналах имя Грина до 1910 года не появлялось. Думаю, что это камуфляж, ибо «Родина» и «Нива» были самыми распространенными и благонадежными изданиями.

<sup>46</sup> Это неверно. Грин вновь сознательно «перевирает» факты. Из окна камеры четвертого этажа он видел подошедшую к воротам тюрьмы большую толпу манифестантов, требующих выпустить политических заключенных. Он не мог открыто предупредить севастопольцев, что во дворе, с винтовками наизготовку, выстроились две роты Велостокского полка. Грин кричал манифестантам, чтобы они отошли от ворот. Его не послушали, произошло столкновение: было много жертв.

<sup>47</sup> ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр. 1488, ч. 2, л. 11—12, об.

ня, я отдался ей и никогда не изменил своему представлению об искусстве и художнике. Я был, и оставался, и ничем иным не хотел быть, как только писателем. Им был, им и умру. Ни деньги, ни карьера, ни тщеславие не столкнули меня с истинного моего пути. Я никогда не забывал слов Брюсова поэту: «Да будет твоя добродетель — готовность взойти на костер»<sup>48</sup>.

И наконец, нельзя начисто отбросить «версию», что написал прошение Грин под «давлением» Веры Павловны. Пока, к сожалению, не найдено никакого документа (хотя бы написанного и много лет спустя), где Грин дал бы оценку своему поступку.

Для нас сегодня самым интересным и важным является другое: изменилось ли политическое лицо Грина после написания им прошений? В этом книги его могут дать нам исчерпывающе точный и совершенно объективный ответ.

Мы не должны заблуждаться относительно утверждения Грина, что произведения его «содержат в себе лишь общие психологические концепции и символы и лишены каких бы то ни было тенденций».

Нетенденциозных писателей не бывает. Грин не просто тенденциозен. Он яростно тенденциозен. Любой, кто обратится к шеститомному собранию сочинений Грина, выпущенному в конце 1965 года литературным приложением к «Огоньку», тотчас уловит нарастание углубленно-критического отношения к «рассейской» действительности. Такие рассказы, как «Пассажир Пыжиков», «Нсения Турпанова», «Зимняя сказка» и особенно беспощадные «Далекий путь», «Жизнеописание великих людей», «Проходной двор», «Тихие будни», «Человек с человеком», «Дьявол Оранжевых Вод», говорят сами за себя.

Разумеется, департамент полиции немедленно запросил сведения о Грине, о его благонадежности у охранного отделения.

Исполняющий обязанности петербургского градоначальника некий генерал-майор ответил:

«Возвращая при сем прошение потомственного дворянина Александра Степанова Гриневского, ходатайствующего об освобождении его от высылки в Тобольскую губернию и гласного надзора полиции, уведомляю, что ввиду прежней революционной деятельности Гриневского и проживания его в течение четырех лет по нелегальному документу я признал бы ходатайство его не заслуживающим удовлетворения»<sup>49</sup>.

К этому документу в охранном отделении дописали:

«В дополнении к отношению С.-Петербургского градоначальника от 8 сентября за № 12696, возвращая при сем прошение потомственного дворянина Александра Степанова Гриневского (нелег. Мальгинова), докладываю, что наружным наблюдением было установлено посещение его 21 июня 1908 года мещанином гор. Астрахани Василием Владимировым Владимировым, наблюдающимся по принадлежности к С.-Петербургскому комитету партии социалистов-революционеров и Железнодорожному союзу петербургского узла той же партии, впоследствии арестованного по этому делу.

Других сведений о революционной деятельности Гриневского за время проживания его в С.-Петербурге под именем Мальгинова в отделении не поступало»<sup>50</sup>.

Участь Грина была решена.

Что же касается Владимирова, то у него и еще у нескольких арестованных эсеров в записных книжках действительно был обнаружен адрес Мальгинова, но сам Мальгинов никакого участия в деятельности партии социалистов-революционеров уже не принимал.

Но вернемся к воспоминаниям Веры Павловны.

«Между тем с венчанием дело не двигалось. Происходило что-то в то время для меня непонятное. Никто прямо не отказывал, все обещали дать разрешение на венчание, но один пересылал к другому: жандармское управление отвечало, что дело застряло в градоначальстве, а в градоначальстве говорили, что тормозит охранка, охранка же ссылалась на жандармское управление. Приемные дни во всех этих учреждениях были разные, так что каждый день, считая, что надо же было ходить и на свидание в Спасскую часть, приходилось где-нибудь дежурить, а очереди везде были большие.

После одного из свиданий с Александром Степановичем смотритель арестного дома пригласил меня к себе в служебное помещение и сказал:

— Вашего жениха, барышня, скоро вышлют, как это вы не можете добиться венчания. Я бы на вашем месте уже давно добился бы.

Эти слова задело меня, и я с жаром

<sup>48</sup> Н. Н. Грин, Из записок об А. С. Грине.

<sup>49</sup> ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр. 1488, ч. 2, л. 24.

<sup>50</sup> ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр. 1488, ч. 2, л. 25.

рассказала, как я делаю все, что возможно, но ничего не выходит. Смотритель внимательно выслушал меня, подумал и сказал:

— А вы вот что сделайте. Пойдите к полковнику Х.; он служит в градоначальстве и состоит клитором церкви градоначальства. Любитель церковного пения, а певчие все больше барышни из адресного стола. Полковник часто у нас бывает, меня хорошо знает; от моего имени и пойдете.

Полковник Х., когда я вошла к нему, официально спросил:

— Чем могу служить?

— Пожалуйста, выдайте меня замуж.

— Что-о-о?! Садитесь и расскажите.

Я рассказала, что вот уже больше двух месяцев бесплодно добиваюсь разрешения на венчание. Объяснила, почему венчаться в Петербурге для меня так важно. Полковник ответил:

— Хорошо, приходите ко мне в градоначальство послезавтра, не в приемные часы, а попозже. С Адмиралтейского будет заперто, так вы идите с Гороховой и скажите, что я назначил вам прийти, вас пропустят.

Когда я пришла в назначенное время, полковник сказал:

— Ну и нагорело же мне от градоначальника за вас!

— Не разрешил?!

— Венчаться-то разрешил, да я просил, чтобы вам позволили устроить в зале, соседнем с церковью, поздравления с шампанским, а градоначальник закричал:

— Это еще что? Чтобы они тут еще как устроили!

Я поблагодарила этого доброго человека за его помощь и объяснила, что не могу позвать своих родных на свадьбу с арестантом и поэтому зал для поздравлений мне не нужен. Полковник сказал мне, чтобы я пошла к священнику церкви градоначальства и сговорила бы с ним о венчании, а после свадьбы он даст мне письмо к вице-губернатору Архангельской губернии, с которым знаком.

Священник назначил венчание дней через восемь-десять, в воскресенье, после обедни. Наконец-то я могла сказать отцу и Александру Степановичу, что венчанье разрешено!

Когда я опять пришла в арестный дом и поблагодарила смотрителя за совет, оказавшийся таким благотворным, он ответил:

— А знаете, почему полковник принял в вас участие? Потому что несколько лет назад его дочь сбежала за границу с политическим эмигрантом.

Один несчастный отец пожалел другого такого же отца».

Через несколько дней молодые одним поездом выехали в Архангельск: Грин — в арестантском вагоне, Вера Павловна — в классном. Грин не подозревал, что едет в край, где он окончательно поймет, что человеческое счастье заключено в возможности приносить радость и пользу другим, где появится и окрепнет основной мотив его творчества. Об архангельской одиссее Грин сам говорил как о счастливейших днях своей жизни.

Вера Павловна пережила Грина почти на 20 лет. Она умерла в 1951 году.





Ленинградский дом ветеранов  
сцены. Интерьер.

Ираклий Андроников

Что было в этой тетради?

Тетрадь  
Василия Завелейского

Когда она попала мне в руки, значительного я увидел в ней мало, но без нее, наверное, не отыскал бы того, что удалось обнаружить после, листая архивные дела, старые адрес-календари и статистические отчеты. Словом, настоящие поиски начались уже после находки. А находка пришла сама. И тут же пропала... Но лучше вспомнить с начала эту историю. Случилась она в ту пору, когда нынешний Центральный государственный архив литературы и искусства СССР — ЦГАЛИ был еще Центральным государственным литературным архивом и соответственно назывался в сокращении ЦГЛА. Так вот, одна из сотрудниц ЦГЛА привезла



с зонтиком под мышкой», — записал Завелейский<sup>1</sup>.

Немного!

Но вот и еще о Пушкине:

*«Видывал его в лавке купца Барсукова, где иногда по вечерам собирались наши литераторы и пили там чай»<sup>2</sup>.*

Встречался автор с Пушкиным в доме известного журналиста Николая Ивановича Греча, где в одной комнате литераторы «курили сигары и трубки, а иные читали свои сочинения и иногда очень горячо спорили, что чаще случалось между господами Сенковским и Булгаринным»<sup>3</sup>.

О том, что Пушкин бывал в доме Греча, принадлежавшего к клике его литературных врагов, до сих пор никаких сведений не было. Это уже факт поважнее. Про то, что Пушкин посещал чайную лавку купца Барсукова в доме Энгельгардта на Невском — про это тоже никто никогда не слышал. Снова мелочь, а все же о Пушкине. И, наверное, когда-нибудь пригодится. И уж бесспорно значительный факт — страницы о белорусском дворянине Островском, который послужил Пушкину прототипом Дубровского.

*«Он грабил с разбором, — пишет о нем Завелейский, — у кого лишнее, он отнимал это лишнее; встретясь в лесу или по дороге с нищим, он делился с ним тем, что сам имел... Он пошел на этот промысел, чуя в себе богатырскую силу и любя свободу, по своим понятиям...»<sup>4</sup>.*

Полиция схватила Островского. Завелейский жил тогда в Витебске и видел несколько раз, как его водили на допрос из острога — в цепях, в сером скюртуке, в фуражке набекрень.

Тем, кто занимается Пушкиным, эти страницы окажутся не без пользы.

В Петербурге, уже чиновником, по дороге в свою канцелярию, подходя по Большой Садовой к зданию Публичной библиотеки, Завелейский часто видывал во втором этаже Крылова, который, лежа в окне, иногда без фрака, в одной жилетке, облокотясь на подушку

*«впосмагивал на ходящий и едущий народ и на кучи голубей, которые смело бродили тут и выпархивали из-под ног людей и лошадей. Я думаю, — рассуждает мемуарист, — что тут родилась не одна басня дедушки Крылова»<sup>5</sup>.*

Однажды Завелейскому удалось даже и познакомиться с Иваном Андреевичем.

Александровская колонна на Дворцовой площади в Петербурге в ту пору еще только строилась и стояла в лесах. И многие петербургские жители подымались на эти леса,

чтобы полюбоваться видами города. Все ходили — и Завелейский пошел.

Приближаясь к колонне, он догнал высокого и массивного на вид человека в коричневом скюртуке, с круглою шляпою на голове и толстою палкою, которая лежала у него на самом изгибе талии, а обе руки были заложены за палку.

*«Человек этот, поставя ногу на первую ступень лестницы, оглянулся, и я узнал Крылова, — вспоминает наш автор. — Не будучи знаком с ним, я, однако ж, снял почтительно шляпу и поклонился нашему славному поэту. Он так приветливо взглянул на меня, что я влюбился в его ласковую улыбку. Он спросил меня: «И вы тоже наверх?» Я отвечал: «Да-с».*

Нет, хоть узнали немного, а все же сценка живая!

Тут Завелейский пропустил великого баснописца вперед, и они поднялись до самых верхних подмостков, где, *«сидя на стульях перед столиками, два молодых художника что-то рисовали на больших листах бумаги, наклеенных на досках. Они встали и тоже почтительно поклонились Крылову».*

Это были — Завелейский не знает! — братья Чернецовы, художники, которым было поручено изобразить панораму Санкт-Петербурга. До этого же один из них написал картину «Парад на Марсовом поле», где в группе литераторов изобразил и Пушкина и Крылова.

Полюбовавшись видами Петербурга, Крылов с Завелейским стали спускаться. По вятмундирному фраку молодого чиновника Крылов без труда угадал, в каком министерстве он служит, и заговорил с ним об этом.

— Да-с, — с гордостью отвечал Завелейский. — Я служу помощником столоначальника в департаменте внешней торговли.

— А, я знаю, там славный директор — Бибиков, знаю, — сказал на это Крылов...

Тут они оказались уже внизу и простились. Крылов пошел на Невский, а Завелейский поворотил к Адмиралтейскому бульвару, чтобы у Зимнего дворца сесть в ялик и переехать через Неву на Петербургскую сторону<sup>6</sup>.

Фрагмент картины Г. Чернецова  
«Парад на Марсовом поле».  
Слева направо:  
И. А. Крылов, А. С. Пушкин  
В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич.



Дальше листаю...

Однажды Завелейский мельком видел поэта и драматурга Нестора Кукольника и оставил в записках довольно точный его портрет. В другой раз возвращался со службы с поэтом Бенедиктовым, имя которого в ту пору гремело... Эпизоды все не очень значительные, но все же доносят до нас какие-то живые мгновения, живые черты характеров.

Василий Павлович Игнатович-Завелейский — автор записок — приходился родным племянником известному Петру Демьяновичу Завелейскому, который несколько лет до этого прослужил на Кавказе в должности грузинского гражданского губернатора и был хорош с Александром Сергеевичем Грибоедовым...

Дочитав до этого места, я понял, что в записках будет сообщено что-то новое. А подумал я так потому, что незадолго до своей гибели Грибоедов увлек Петра Демьяновича Завелейского — грузинского губернатора — своим колоссальным проектом: создать в Закавказье акционерное общество — «Российскую Закавказскую компанию», чтобы с ее помощью осуществить полное экономическое переустройство закавказских провинций.

Из этого плана так ничего и не получилось. Грибоедову было объявлено о назначении его министром-посланником в Персию, и он должен был покинуть пределы Кавказа. Перед отъездом он женился на дочери своего давнего друга, замечательного грузинского поэта и генерала русской службы Александра Гарсевановича Чавчавадзе. Две недели спустя, представив записку о «Российской Закавказской компании» главноуправляющему Грузией фельдмаршалу графу И. Ф. Паскевичу, он уехал. А через четыре месяца стало известно, что он убит при разгоне русской миссии в Тегеране.

Вскоре в Грузии был раскрыт заговор грузинских аристократов, мечтавших о восставлении грузинского престола и династии грузинских царей. В числе арестованных оказался и Александр Гарсеванович Чавчавадзе. Он не разделял этих замыслов. Но заговорщики открылись ему. Напрасно он уговаривал их отказаться от этой мысли, находя ее безрассудной: о заговоре ему стало известно. Поэтому следственная комиссия отнесла его к категории лиц, «кои знали об умысле, но с тем вместе не изъявили на оный согласия». В 1834 году, по окончании дела, Чавчавадзе сослали в Тамбов и установили за ним секретный надзор<sup>7</sup>.

Завелейского в это время в Грузии не было. Он находился уже в Петербурге. И вот из мемуаров его племянника — Василия Завелейского — я узнаю, что в 1834 году в Пе-

тербурге, в доме своего дяди Петра Демьяновича он познакомился с князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе.

Как так?! Александр Чавчавадзе в Петербурге в 1834 году? В то время как в 1834 году он сослан в Тамбов?

Ничего не понятно! Это какое-то новое сведение, не известное никому из исследователей!.. Вот еще раз про Чавчавадзе!.. И еще раз!..

Одного этого было достаточно, чтобы привлечь интерес к тетради. А тут еще Пушкин, Крылов...

Я написал для архива небольшую записку, рекомендовал тетрадь Завелейского приобрести. А сам решил внимательно изучить ее после того, как она поступит в архив. Возвращаясь, поинтересовался, кто продает:

— Внучка.

— Сколько просит?

— Немного!..

Собседница назвала какую-то ничтожную сумму и, спрятав тетрадь в портфель, удалилась.

### Пренебрежительнейшее письмо

Прошло года два. Получаю письмо. Его автор прочел в моей книге, что Лермонтов в 1837 году встретился в Грузии с Александром Гарсевановичем Чавчавадзе. «Мне очень неприятно, — читаю в письме, — сообщить Вам о допущенной Вами грубой ошибке. По делу о грузинском заговоре 1832 года Чавчавадзе был сослан в Тамбов на четыре года. Выехал в ссылку в начале 1834-го. Значит, вернулся в 1838-м. В 1837 году в Грузии его не было. Следовательно, в 1837 году Лермонтов и Чавчавадзе встретиться не могли. А Вы пишете...»

Мой оппонент беспокоился зря. Мне уже удалось найти к этому времени бесспорные доказательства того, что осенью 1837 года Чавчавадзе находился в Тифлисе<sup>8</sup>. Что же касается ссылки в Тамбов, то действительно во всех биографиях Чавчавадзе можно прочесть про эти четыре года. Правда, там говорится о том, что ссылка окончилась раньше. Но объяснить, откуда взялись эти четыре года и откуда известно, что ссылка была недолгой, — я не могу. Из документов этого не видно.

В Тбилиси, в Историческом архиве Грузии, хранится утверченный царем приговор:

«Чавчавадзе князь Александр... Выслать на жительство в Тамбов»<sup>9</sup>.

Про четыре года не сказано!

Видимо, для того, чтоб решить этот вопрос

окончательно, надо обратиться в тамбовский архив? Наверное, туда никто никогда не писал?

Пишу. Получаю ответ: Чавчавадзе прибыл в Тамбов 18 февраля 1834 года, выехал отсюда в самом начале мая того же, 1834 года. Куда выехал?

В Петербург.

На каком основании?

По повелению царя.

Оказывается, поэт написал в Варшаву фельдмаршалу графу Паскевичу, которого знал по Кавказу, — просил помочь в облегчении его — Чавчавадзе — участи. Паскевич обратился к царю. Николай, ценивший Паскевича едва ли не выше всех сановников в государстве, просьбу его исполнил. Чавчавадзе был вызван в столицу для свидания с царем и больше в Тамбов не вернулся<sup>10</sup>.

Значит... тамбовская ссылка длилась совсем не четыре года, а всего два с половиной месяца! Но тогда возникает новый вопрос: где находился Чавчавадзе с мая 1834 года до середины 1837-го?

Вот тут-то и вспомнил я о тетради Василия Завелейского!

### Мелочи или не мелочи?

Приезжаю в Центральный литературный архив. Вхожу в кабинет начальника. Строчу заявление: «Прошу разрешить ознакомиться... Записки Василия Завелейского...»

— А их у нас нет. Мы их тогда не купили...

— Как не купили? Там же про Пушкина есть! Про Крылова!

— Так это все мелочи! Ну, видел на улице Пушкина... Какой в этом толк для науки? А тут ценные документы приносят!..

— Ну как же так? — говорю. — Ведь иной раз и незначительный факт, если его поставить рядом с другими, становится важным. Вы же спрашивали — я написал: купить.

— У нас как-то сложилось другое мнение...

— А вот мне теперь эта тетрадь просто до зарезу нужна!

— Этого же мы не могли предвидеть!..

— Ну хоть фамилию владелицы помните?.. Которая вам приносила?..

— Сразу так не скажу... Попробуем выяснить...

Внутренний телефон под рукой.

— Тут внучка одна приносит записки... Два года назад... Завелейского... Фамилию ее случайно не записали?.. Жаль... Что-то похожее на орла? Не Орлова?.. Нет? Не Орловская?.. Орлевич не подойдет?! (Усмехнулся.) Да уж это не «лошадина» фамилия, а скорей птичья... Ну, добре!

И в мою сторону:

— Поищем. Попробуем выяснить...

Но ясно, что если никто не помнит сейчас, то потом вспоминать не станут. Надо искать самому. А вот как искать — это надо подумать.

### Разгадка «птичьей» фамилии

Завелейского звали Василием. Следовательно, сын или дочь его были Васильевичи. Посмотрю-ка я в каталогах, не писал ли книжек какой-нибудь Икс Васильевич Завелейский?

Генеральный каталог Государственной библиотеки имени В. И. Ленина дает ответ положительный. В 1894 году вышла в свет брошюра «Электрический трамвай в Киеве». Автор — Игнатович-Завелейский Владимир Васильевич. Очевидно, сын «нашего». Вторая брошюра — его же: «Помощь утопающим», Киев. Третья работа — «Киевское реальное училище».

Первый вопрос выяснен: в 1880—1890 годах Игнатовичи-Завелейские жили в Киеве. Это хорошо согласуется с пометой в конце тетради Василия Завелейского — я ее тогда выписал: «12 ноября 1869 год. Киев». Возможно, что внучка, которая приносила в архив эту тетрадь, родом из Киева.

Еду в Киев — по другим делам, разумеется. Заодно навожу справки. Узнаю от одного театрала: была в Киеве — только давно, Игнатович, актриса. Потом выступала в Москве.

Вернулся в Москву — заглянул в ВТО (Всероссийское театральное общество). Решаю посоветоваться с сотрудниками кабинета драматургии. И начинаю выкладывать им эту историю. А какой-то маленький старичок ждет, когда ему наведут справку. Я мешаю ему.

— Я не расслышала, — переспрашивает меня та, что наводит старичку справку, — как вы назвали фамилию?

— Игнатович. Актриса. Играла в Москве.

— Нашли вы ее?

— Я еще не искал.

И вдруг старичок ядовито глядит на меня:

— И между прочим, никогда не найдете!

— Почему не найду?

— Потому что она никогда не играла под этой фамилией. Ее сценическая фамилия Орлик. А зовут ее Ольгой Дмитриевной.

— А как мне ее найти?

— Вот уж этого я не знаю!

Взял справку и, приняв горделивый вид, удалился. А я даже не спросил, кто он такой.



Дом на Фонтанке, в котором  
В. Завелейский познакомился  
с Александром Чавчавадзе.

Во всяком случае, ясно стало одно: «птичья» фамилия уточнилась.

Еду в адресный стол — нет в Москве Орлик!

Состояние привычное, но все-таки неприятно.

Тогда я обращаюсь к Ивану Семеновичу Козловскому — нашему замечательному певцу. Он знает чуть не всех старых актеров, с довоенных времен добывает им пенсии, поет на их юбилеях, с готовностью откликается на их нужды... Я ему позвонил. И что же вы думаете?!

Он говорит, что помог устроить Ольгу Дмитриевну Орлик в Ленинградский Дом ветеранов сцены:

— Она в переписке с моим секретарем — Саррой Рафаиловной Шехтер,— говорит мне Козловский.— Вы ж с ней знакомы. Поговорите... Я сейчас позову ее к телефону.

Невероятно! Я слышу голос той самой сотрудницы Центрального литературного архива, которая привозила ко мне на дом тетрадь Завелейского, ушла с работы, потом поселилась под Москвой где-то по Казанской дороге, и адрес ее выяснить было не легче, чем найти тетрадь Завелейского.

Ну, конечно... Она в курсе дела: Ольга Дмитриевна писала совсем недавно, что тетрадь по-прежнему у нее, что она готова уступить ее в какой-нибудь архив за бесценок.

— Она вам охотно отдаст, я совершенно уверена,— говорит Шехтер.— По-моему, рада будет.

Хотя Ольга Дмитриевна живет в Ленинграде, а я в Москве — мне кажется, можно уже успокоиться. Остается сесть в поезд.



### Дом ветеранов сцены

Не так скоро, но случай представился. Я в Ленинграде. Свиданию с Ольгой Дмитриевной решаю посвятить утро. Покатил на Петровский остров. Красота. Черная вода Малой Невки. Осенний парк. Уютный дом с флигелями и службами. Под окном, на скамейке, под голым кустом сирени — старушка в фетровых ботах, в шляпке, повязанной сверху орenburgским платком.

— Простите, — спрашиваю, — где тут у вас канцелярия?

— Я лучше, чем канцелярия, — отвечает старушка, — я знаю тут всех. Кто вас интересуется, скажите?

— Ольга Дмитриевна Орлик.

— Ее комната там... Но... Ольга Дмитриевна скончалась недавно, я должна огорчить вас... Разве вам не известно? Уже две недели...

Я действительно огорчился. Тетрадь оказалась в эту минуту не столь уж и важной. Кстати, подумал, что сейчас ее получу.

Вхожу в помещение дирекции. Объясняю, что меня привело сюда, выражаю сожаление по поводу смерти старой актрисы. Интересно, нельзя ли получить записки деда ее.

А мне отвечают с досадой:

— Ну, что бы вам раньше прийти! Орлик бумагу пожгли! Вчера как раз, вечером. Ну, скажите!.. Кто знал?! Инспектор соцстраха

отложил в сторону: «Это, — говорит, — тетради с ролями... сожгите». А нам какой смысл беречь? Нужен текст роли — возьми «Нору» или Островского — и спиши...

— Да ведь у нее были записки деда ее! — выкрикиваю я. — Завелейского! Там было про Пушкина, про Крылова! Про грузинского поэта Александра Чавчавадзе ценнейшие сведения! В огонь? Под плиту? И только вчера? Где же я был? Будь я проклят!

Всех огорчил, растревожил весь дом, нарушил порядок и тишину. В канцелярию стали заглядывать с недоумением и даже тревогой: «Где огонь?»

Послали за директором на строительство. Пришел — высокий, статный, с серебряной головой, с благородным и бледным лицом — тонким, умным. В свое время — любимец театрального Петербурга. Партнер знаменитой Комиссаржевской. Прославленный Лаэрт в «Гамлете» — Андрей Андреевич Голубев. Улыбается примирительно. Хочет успокоить, утешить:

— Погодите огорчаться. Не могли мы сжечь бумаги про Пушкина. Сожгли тетради, не имеющие никакого значения. К архивам наших актеров мы относимся очень бережно. Мы вам целый музей покажем... Берусь вас уверить — это недоразумение. На всякий случай я сейчас попрошу уборщицу еще раз взглянуть на кухне... Голубчик, — говорит он, приоткрывая дверь в коридор, — спросите на кухне: не осталось ли там бумаг из комнаты Орлик?

— Да на них вчера кот сидел, — отвечает голос из коридора, — так повар кота спугнул, а бумагу всю под плиту, на растопку... Директор поморщился, снисходительно улыбается.

— Целая диссертация про кота — совсем ни к чему все это! Давайте лучше посмотрим в шкафу, где лежат документы Орлик.

Посмотрели: пенсионная книжка, сберегательная книжка, профсоюзная книжка... Завелейского нет!

Директор поворачивает ключ.

— Очевидно, и не было!

— Как не было! — говорю. — Было! Я уверяю вас! Может быть, тетрадь осталась в комнате Орлик?

— Нет, там ничего не осталось — в ту комнату мы перевели уже другого актера — Василия Ильича Лихачева. Вы не застали его на сцене? Он в Москве, в Незлобинском театре играл роستانовского «Орленка». О, это было блестяще! Вообще он считался лучшим Орленком не только среди русских актеров, но и среди европейских. Это талант удивительный!..



— Я не знал, что Лихачев здесь,— говорю я.

— А что? Вы хотели бы познакомиться?

— Конечно, если это возможно.

— Ну почему же... Если хотите — зайдём. Но я попрошу вас не заводить с ним разговор о тетради. Мы не любим нашим актерам напоминать об утратах. Разве только, если он сам заговорит об Ольге Дмитриевне Орлик. Они были дружны...

Идем к Василию Ильичу Лихачеву. Идем по сверкающим паркетам через анфиладу уютнейших гостиных, уставленных старинною мебелью, увешанных полотнами знаменитых художников, фотографиями прославленных артистов. И чуть не каждая — с дарственной надписью. Или на память о посещении Дома. Или — в знак старой дружбы. Тут основательница Дома Мария Гавриловна Савина, Шалапин, Собинов, Давыдов, Варламов... Фотография Чайковского с надписью. Бюст Станиславского. Старые афиши. Портреты тех, кто здесь жил, для кого этот Дом стал родным домом... Проходя, Голубев здоровается с артистами. На низеньком диванчике читает книгу знаменитая Снегурочка — Виолетта — Лакма, голос которой не можешь забыть с юных лет. В следующей гостиной над шахматным столиком склонились, задумавшись, знаменитый Вотан из опер Вагнера и знаменитый Кречинский. Знаменитый Швандя из пьесы Тренева следит за игрой. Навстречу, с огненным взором, закутанная в пушистый платок, вышла в коридор знаменитая Настасья Филипповна...

Василий Ильич откладывает в сторону газету, очки, учтиво приветствует директора и меня, соединяя спокойное благородство движений с торопливой предупредительностью. На стене над кроватью во весь рост несчастный сын Наполеона Орленок — молодой Василий Ильич Лихачев.

Садимся. Поговорили. Василий Ильич интересуется родом моих занятий. Ах да: он слышал — Лермонтов, Пушкин, история русской литературы.

— Я посоветую вам, — с оживлением говорит он, — издать записки деда одной нашей актрисы — Ольги Дмитриевны Орлик. Они очень занимательны, интересны, написаны хорошо — она давала мне почитать. Только заключаем условие — когда вы их напечатаете, один отклик пришлите мне. Это будет «платя» за консультацию!

— Я и сам готов бы издать эту рукопись,— говорю я со вздохом, — но боюсь, что теперь это трудно...

— А почему?

— Есть подозрения, что тетрадь нечаянно сожгли.

— То есть как сожгли? — Лихачев встретился.

— Под плитой.

— Боже мой! Кто же это мог позволить себе?

— Дал указание инспектор.

— Какой инспектор?

— Соцстраха.

— Откуда же он возник?

— Пришел описывать имущество, оставшееся после покойной,— поясняет директор.

— Как «покойной»? Я не совсем понимаю... — Лихачев встревоженно приподнялся. — Я только вчера получил от нее открытку. Она спрашивает, что ей делать с записками Завелейского...

— Кто спрашивает? — я перевожу глаза на директора. Директор тоже смотрит с недоумением:

— Простите, Василий Ильич, я тоже отчасти не понимаю: откуда же может быть открытка?

— Я говорю о Наталье Михайловне Крымовой, — испуганно произносит Лихачев. — Она только что вернулась в Москву с Черноморского побережья и отвечает мне на письмо...

Недоразумение выясняется, а с ним вместе и судьба тетради. Записки Завелейского находятся в Москве у переводчицы, члена Союза писателей Натальи Михайловны Крымовой. Ольга Дмитриевна Орлик состояла с ней в долготелетней дружбе и незадолго до смерти отравила эти записки ей с просьбой попробовать снова устроить их в какой-нибудь литературный архив.

## Племянник и дядя

Записки в моих руках. Теперь можно прочесть их внимательно, не спеша и выяснить, много ли нового содержится в них об Александре Гарсевановиче Чавчавадзе?

Но прежде два слова о самом Василии Завелейском.

Решительно: заглавие записок сбивает читателя с толку. «Прошлое бедного Макара» оказывается весьма любопытным, а сам «Макар» — вовсе не таким простаком, каким он хочет представить себя. Сначала я было подумал, что это обыкновенный чиновник, интересы которого не выходят за пределы его департамента. И ошибся!

По приезде в Петербург, поступив в канцелярию министра финансов, Василий Завелейский стал посещать университетские лекции и в течение трех лет прослушал полный курс по философско-юридическому факультету.

ту. Потом решил окончить второй факультет — историко-филологический, увлекся лекциями, которые читал историк Н. Устрялов, прошел первый курс... Но в это время произошла важная перемена в его служебных делах: его повысили в должности, назначив столоначальником в департамент внешней торговли. От университетских лекций пришлось отказаться. Случилось это весной 1834 года. Виновником перемены, о которой Василий Завелейский жалел потом целую жизнь, оказался не кто иной, как дядя его — Петр Демьянович. Это он позаботился о карьере племянника, а связи у него были огромные. И получился ас.

Так, неожиданно, но в общем спокойно, сложилась судьба племянника. Не в пример драматичнее была биография дяди.

Получив смолоду военное воспитание, Петр Демьянович по влечению интересов своих перешел к «статским делам», поступил в министерство финансов и сразу же «был употреблен к открытию шайки контрабандистов», действовавшей в городе Родзвивилове и местечке Зельзах на западной границе Российского государства. Назначенный начальником «секретной экспедиции», он в короткий срок обнаружил контрабандных товаров более чем на два миллиона рублей. За это таможенные чиновники и купцы, разжившиеся на незаконной торговле, несколько раз пытались его отравить...<sup>11</sup>

Удачное завершение предприятия, за которое Петр Демьянович получил орден и триста тысяч рублей, послужило к быстрому его возвышению. Вот почему уже на другой год его назначили в Грузию — исполняющим должность начальника грузинской казенной экспедиции, «Верховного грузинского правительства», где в полной мере мог проявиться его административный талант<sup>12</sup>.

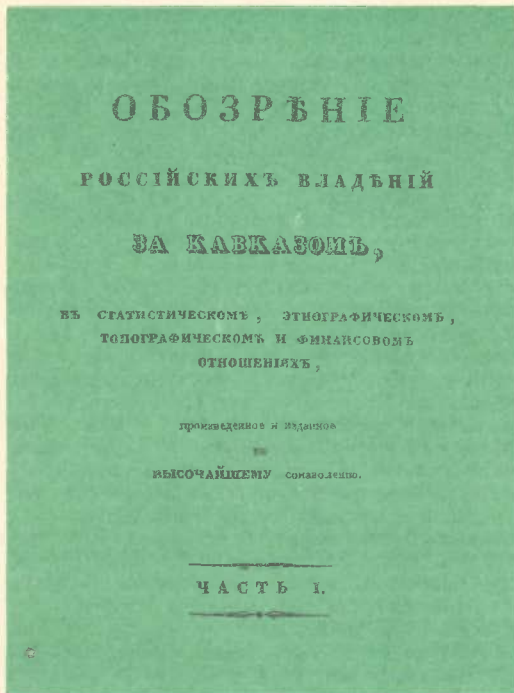
Чего удалось ему достигнуть на этом посту, племянник не пишет. Но если несколько постараться, то с помощью адрес-календарей, картотек и архивов установить это мы можем и без него. И вот, выясняя, чем ознаменовалось пребывание Петра Демьяновича Завелейского в Грузии, я узнал, что сразу же по приезде в Тифлис — это было в начале 1828 года — он познакомил чиновников вверенной ему грузинской казенной экспедиции с трудами, какие им предстояло выполнить — они должны были составить полное финансовое и статистическое, так называемое камеральное, описание закавказских провинций, произвести изучение их природных ресурсов, перспектив их экономического развития, численности и нужд местного населения<sup>13</sup>. Все это сразу было поставлено широко, основательно, по-деловому. Пред-

принято это было по распоряжению министра финансов графа Канкрин<sup>14</sup>. Но инициатива принадлежала Александру Сергеевичу Грибоедову, с которым Петр Демьянович в ту пору снова встретился в Грузии. Еще в Петербурге стали они обмышлять план «Российской Закавказской компании», в Тифлисе решили подробности<sup>15</sup>.

Им представлялось, что «Компания» должна начать широкую торговлю русскими и заграничными товарами и открыть в Закавказье первые заводы и фабрики — сахарные, суконные, кожевенные, стекольные, развивать виноградарство, виноделие, шелководство, разводить хлопок, табак, красильные и лекарственные растения... Составители намечали прокладку новых дорог, открытие школ, внедрение в сельское хозяйство новых технических средств и навыков... Для этого правительство должно было отвести компании землю — 120 тысяч десятин за ничтожно малую арендную плату, предоставить монополию торговли, право свободного мореплавания, отвоевать для компании занятый турками порт Батум. В качестве рабочей силы Грибоедов хотел использовать в Закавказье армянских переселенцев из Персии и русских крестьян, которые получали бы освобождение от крепостной зависимости, но с обязательством, хотя и за плату, работать на компанию 50 лет. Компания рассчитывала получить административные и дипломатические права и для охраны путей к батумскому порту — войска. Образец выгод, которые будут получены в случае осуществления проекта, Грибоедов и Завелейский видели в процветающей экономике Северо-Американских Соединенных Штатов, а одну из важнейших целей компании — в том, чтобы она стала посредницей в мировой торговле между Азией и Европой. Акционерными Грибоедову мыслились закавказские помещики, закавказские купцы и чиновники русские, но без русских фабрикантов и русских купцов. Другими словами, Грибоедов и Завелейский прежде всего заботились о процветании Закавказского края, о поднятии его производительных сил<sup>16</sup>. Все это было изложено, как говорит современник, «красноречивым и планым пером»<sup>17</sup>.

Паскевич отверг этот план. И даже в том случае, если бы Грибоедов остался в живых, это ничего бы не изменило. План Грибоедова противоречил интересам русской буржуазии, всей экономической и политической структуре тогдашней России<sup>18</sup>.

Вместо «Российской Закавказской компании» для торговли русскими товарами в закавказских провинциях и в Персии в 1831 году была учреждена «Закавказская торговая



Это не удивительно: Чавчавадзе и Завелейский — люди одного образа мыслей. Теперь уже ни у кого из историков не возникает сомнений в том, что Чавчавадзе разделял многие взгляды зятя своего Грибоедова<sup>23</sup> и, как видим, высоко ценил позицию Завелейского: недаром писал, что думает с ним одинаково.

В должность грузинского губернатора Завелейский вступил в 1829 году, когда ему не было еще и тридцати лет. Это расценивалось как головокружительная карьера. Однако два года спустя последовала внезапная катастрофа: по «высочайшему повелению» его отстранили от должности с преданием суду<sup>24</sup>.

Василию Завелейскому кажется, что причиной тому была ревность, которую губернатор вызвал в сердце одного из кавказских начальников — генерала Панкратьева. Возможно, было и это. Но официальная версия выглядит совершенно иначе. Губернатор обвиняется в том, что «стеснительное управление» его влияло на «брожение умов»<sup>25</sup>.

В чем же оно заключалось?

Медлил с определением подлинности дворянских грамот. Самочинно повысил земские сборы. Отменил таксы на вино. В 1829 году во время русско-турецкой войны объявил сбор грузинского ополчения («милиции»), чем «неосновательно взволновал народ»<sup>26</sup>.

Вспомним, что это год 1831-й! Польское восстание не утихает. Фамилия Завелейского внушает царским чиновникам подозрения о его польском происхождении.

Обвинителям его кажется, что он стремился «возмутить Грузию» для «споспешествования освобождения Польши»<sup>27</sup>.

На самом деле начало крушения Завелейского — рапорт, посланный царю. В этом обстоятельном документе представлена картина упадка экономики Закавказья с 1801 года и предложены благотворные меры. С соображениями Завелейского не согласилась комиссия, присланная царем в Тифлис<sup>28</sup>. Немаловажно и то, что передовой круг грузинского общества относился к Завелейскому как к своему. Уже это одно почитается несовместимым с задачами, которые ставятся перед царским администратором на Кавказе. Зная об отношении царя, новый наместник — барон Г. В. Розен, назначенный в 1831 году на место Паскевича, старается удалить Завелейского с поста губернатора<sup>29</sup>.

Преуспел! Кавказский период в жизни Петра Демьяновича кончился. Дело пошло в сенат. Завелейский вернулся в столицу и ждет решения судьбы.

Тем временем в Грузии открывается заговор. Многие из арестованных на допросах о

компания», в которой Завелейский недолго числился попечителем. Но это было совершенно не то<sup>19</sup>.

В те же годы, когда создавался этот широкий и смелый план, Петр Демьянович Завелейский познакомился и подружился с Александром Гарсевановичем Чавчавадзе, а некоторое время спустя после гибели Грибоедова стал мечтать о женитьбе на его вдове Нине Александровне, дочери Чавчавадзе. «Это как-то расстроилось», — пишет племянник<sup>20</sup>. Расстроилось, но не отразилось на отношениях с ее отцом, который был о молодом губернаторе самого высокого мнения. «Благородность его души, — писал Чавчавадзе о Завелейском три года спустя, — его благонамеренность, его неусыпная деятельность по многосложным обязанностям, на него возложенным, его смелая справедливость ко всем без различия лицам, особенно верное и скорое постижение вещей для него новых, чрезвычайно нравились мне в нем и час от часу усильвали мои к нему любовь и уверенность. Он имел о Грузии самое точное понятие»<sup>21</sup>. «Я с ним подружился»<sup>22</sup>.

Те же, кто знал Завелейского, в свою очередь тоже говорили, что и он «очень восхвалял» Чавчавадзе.



Тифлис. Общий вид. Акварель.

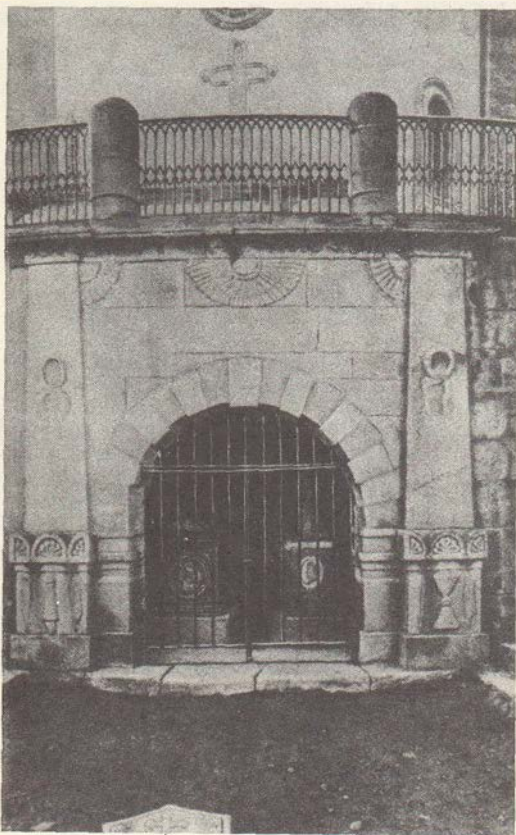
похвалой отзываются о Завелейском. Комиссия утверждает, что большая часть полагала его своим соучастником — «одни вследствие личных им внушений, другие по причине разных правительственных мер, явно клонивших к негодованию и взволнованию народа в самое именно время... сильнейшего брожения здешних умов»<sup>30</sup>. Комиссия особо интересуется вызнать: не было ли у Завелейского знакомых поляков? Ищут связи с французами (из Франции пошли все революции!). Под следствие взят Летелье — бывший секретарь французского консульства в Грузии<sup>31</sup>. Барон Розен шлет в Петербург донесения, в которых особо подчеркивает, что Александра Чавчавадзе с Завелейским и покойного Грибоедова объединяли общие взгляды, что они находились «в тесной связи»<sup>32</sup>. «Будучи тестем покойного Грибоедова, — пишет Розен о Чавчавадзе, — он имел средство усовершенствоваться в правилах вольнодумства». «Завелейский, — продолжает он, — был связан тесной дружбой с тем же Грибоедовым и

сохранил до сего времени такую же с Чавчавадзе»<sup>33</sup>.

Обвинение распространяется дальше. В замышленной Грибоедовым и Завелейским «Российской Закавказской компании» Розен видит связь с открывшимся заговором. Если бы осуществился проект Грибоедова — Завелейского, — пишет Розен, — «то тогда были бы здесь Соединенные Американские Штаты... — в особенности, если бы правительство отдало им 120 тысяч десятин земли, как они предполагали»<sup>34</sup>. Вредным почитает он и производившееся камеральное описание края. «К описанию таковому здесь не пришло еще время, — решительно заявляет Розен. — Если бы не было оно, то не произошло бы, может, и случившегося в Грузии»<sup>35</sup>.

Грибоедовский план связан с грузинским заговором. Грибоедов, Чавчавадзе и Завелейский представлены как вдохновители заговорщиков.

Следствие по делу ведется в Тифлисе, За-



Гробница А. С. Грибоедова  
в Тифлисе на горе Давида.

велейский находится в Петербурге, где судьбою «прикосновенных» к делу, то есть его — П. Д. Завелейского, грузинского царевича Дмитрия, служащего в сенате канцеляриста Додаева (Додашвили) и француза Летелье, занимается специальная комиссия под председательством генерал-адъютанта царя — графа Орлова<sup>36</sup>.

Дело окончено. Прямых доказательств причастности Завелейского к делу не найдено. Но так же, как и сосланный в Тамбов Чавчавадзе, он внят под строгий секретный надзор Третьего отделения<sup>37</sup>.

Снова вступив на службу в министерство финансов, Завелейский отправляется обследовать состояние сибирских губерний, жетится там на шестнадцатилетней купеческой

дочке с огромным приданым, возвращается в 1834 году в Петербург и снимает квартиру «возле церкви Всех скорбящих» — другими словами, на углу нынешнего проспекта Чернышевского и нынешней улицы Воинова<sup>38</sup>. Широко принимает гостей. И у него постоянно бывает... Александр Гарсеванович Чавчавадзе!

### Тифлисские сослуживцы

Да, вот это мы узнаем впервые. И узнаем из тетради племянника — Василия Завелейского. Теперь становится окончательно ясным, что не зря я искал ее, она того стоила! Потому что племянник сообщает много весьма интересных сведений, рассказывая о своих отношениях с дядей и шестнадцатилетнюю «теткой».

*«Я, — пишет Завелейский-племянник, — стал бывать у них довольно часто, а обедал каждое воскресенье и каждый праздник. У них я познакомился с некоторыми значительными лицами в нашей администрации и аристократами. Здесь, — продолжает журналист, — я познакомился с князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе, грузином, генерал-лейтенантом и владельцем Кахетии, с Василием Семеновичем Легкобытовым и с Николаем, по отчеству забыл, Калиновским и некоторыми другими лицами, которые служили или так были знакомые дяде, когда он был грузинским губернатором»<sup>39</sup>.*

И снова — через тридцать страниц — вспоминает, что дядя познакомил его с «несколькими хорошими людьми».

Кто же эти хорошие люди?

Тот же Александр Гарсеванович Чавчавадзе, Василий Семенович Легкобытов, тот же Калиновский, «который был при дяде в Грузии вице-губернатором». И два новых имени: сочинитель Григорьев и Лысенко, «который был у дяди правителем канцелярии»<sup>40</sup>.

Фамилия Чавчавадзе не нуждается здесь в пояснениях. Поэтому начнем с Легкобытова.

Василий Семенович Легкобытов смолоду служил в министерстве финансов, потом был отправлен в Грузию к Завелейскому — советником грузинской казенной экспедиции. Занимался описанием восточных провинций Закавказья<sup>41</sup> и по возвращении в Петербург на основе тех материалов, что были собраны им и его товарищами, написал четырехтомное исследование «Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях», обозначив долю участия каждого в этом общем труде. Все четыре тома вышли в свет в 1836 году, вернулся же Лег-

кобытов в столицу в 1834-м. Стало быть, в то самое время, когда его встречает Завелейский Василий, он трудится над составлением этого описания, которое в продолжение многих десятилетий будет считаться «самым обстоятельным трудом» по экономике Закавказья<sup>42</sup>.

Иван Николаевич Калиновский — старый сослуживец П. Д. Завелейского по министерству финансов. Они вместе участвовали в поимке контрабандистов, вместе отправились в Грузию, где Калиновский возглавлял после Петра Демьяновича грузинскую казенную экспедицию и в отсутствие Завелейского постоянно заменял его на посту губернатора. В 1833 году по неудовольствию барона Розена освобожден от должности и возвратился в столицу<sup>43</sup>.

А кто такой литератор Григорьев?

Тоже сослуживец по Грузии, кстати лицо в литературе небезызвестное.

По окончании петербургской гимназии Василий Никифорович Григорьев увлекся литературой и познакомился с Кондратием Федоровичем Рылевым — будущим руководителем Северного общества декабристов. Стал часто бывать у него, «оставался с ним наедине, толкуя о современной русской литературе».

В ту пору Григорьев писал стихи в рылевском духе и печатал их в «Полярной звезде» — альманахе Рылеeva и Бестужева<sup>44</sup>.

Вскоре Рылев рекомендовал молодого литератора в члены Вольного общества любителей российской словесности. Тут, на заседаниях Общества, Григорьев встречал будущих участников декабрьского восстания — Александра и Николая Бестужевых, Федора Глинку, Александра Корниловича... Этим его литературные знакомства не ограничились. Григорьев знал Пушкина, Языкова, Дельвига, Сомова, Грибоедова. Знакомство с Грибоедовым продолжилось на Кавказе, когда Григорьев был послан из Петербурга на службу в Грузию, к Завелейскому. В Тифлисе встречал он и Чавчавадзе и был даже позван на бал по случаю свадьбы Грибоедова и дочери Чавчавадзе Нины. Это в разговоре с Григорьевым Грибоедов назвал «самой питической принадлежностью Тифлиса» монастырь святого Давида, в ограде которого хотел найти последний приют. Так случилось, что именно он, Григорьев, первый из русских встретил «бранные останки Грибоедова у Аракса, на самой нашей границе», когда гроб с телом великого драматурга везли из Тегерана в Тифлис. Описание этой печальной встречи Григорьев послал в Петербург, и оно появилось в «Сыне отечества»<sup>45</sup>.

Кроме того, в петербургских журналах в



А. С. Грибоедов. Литография с портрета худож. Бореля.

те годы печатались его грузинские очерки: «Переезд через Кавказские горы», «Грузинская свадьба», «Аллавердский праздник», «Встреча с англичанами в Кахетии». Последнее объясняется тем, что Григорьев занимался камеральным описанием Кахетии и заодно побывал в гостях в Цинандали — кахетинском имении А. Г. Чавчавадзе, где был принят Ниной Александровной очень радушно.

Однажды — это было в Тифлисе — Григорь-

ев обедал у военного губернатора Стрекалова. В комнату ввели людей, только что доставленных из Сибири. Это были декабристы Владимир Толстой и Александр Бестужев-Марлинский, «сторбленный, с мрачной физиономией».

— Может ли быть! — вскричал Бестужев, узнав в молодом чиновнике юношу, коего некогда встречал в Петербурге на заседаниях «ученой республики», как называли Вольное общество любителей российской словесности. — Вы ли это, Григорьев? <sup>46</sup>

Вспоминал об этом Григорьев в старости, когда от революционного пыла в нем уже ничего не осталось и о своих декабристских симпатиях он говорил как-то вскользь. Тем не менее, описав эту встречу, он добавляет: «Я раз, навестив его, нашел в нем прежнего Александра Бестужева. Остроты по-прежнему так и сыпались... В обществе он был при всей колкости своей очень занимательный собеседник, душа у него была добрая...».

«Нашел прежнего Бестужева!» Значит, знал его близко! Бестужев в его присутствии разговаривает с непринужденностью... Невольно становится ясным, что их знакомство было более коротким, а встречи более частыми, нежели Григорьев собирался представить это в своих записках. В Тифлисе они встречались и, можно думать, не один раз.

Потом Григорьева послали описывать Нахичевань.

Вернувшись в столицу, в прежний свой департамент, Григорьев выпустил книгу «Статистическое описание Нахичеванской провинции» <sup>47</sup>. Об этой книге Пушкин в своем «Современнике» 1836 года напечатал очень похвальный отзыв <sup>48</sup>.

Что касается упомянутого Василием Завелейским Степана Ивановича Лысенко (или Лисенкова), то он действительно был в Грузии правителем канцелярии при Петре Демьяновиче Завелейском и к этому времени тоже вернулся в Петербург <sup>49</sup>.

Вот, оказывается, кого встречал автор воспоминаний в доме дяди своего Петра Демьяновича Завелейского! Его старого друга А. Г. Чавчавадзе и прежних дядиных сослуживцев, которые стали друзьями обоих — и Завелейского и Чавчавадзе. Это Калиновский, Легкобытов, Григорьев и Лысенко, удаленные из Грузии по соображениям политического порядка. Розен не доверяет им. Он предписал местным начальникам, какие должны давать им сведения, как учинить за ними надзор <sup>50</sup>. Генерал Розен достиг своего: министерство финансов вынуждено было отозвать этих способных чиновников, не успев-

ших полностью завершить полученную работу, ибо Розен продолжал настаивать на том, что разыскания о состоянии жителей закавказских провинций «должны были породить недоверчивость, а потом и негодование» <sup>51</sup>.

Нерешительность, — отвечал Легкобытов в предисловии к своей книге, подразумеваемая наместника Розена, — «нерешительность думала видеть препятствия, когда важнейшая и большая часть владений была осмотрена... Невозможность существовала только в воображении и представлялась тому только, кому характер обитателей Закавказья вовсе был неизвестен, кто не желал или не был в состоянии видеть слишком ясной пользы этого предприятия» <sup>52</sup>.

### Общежительство на Фонтанке

Итак: Чавчавадзе и Завелейский, состоящие под секретным надзором Третьего отделения, и друзья их обоих — чиновники из грузинской казенной экспедиции — это кружок. Кружок «кавказцев», людей очень близких между собой. Четверо из них даже живут сообща, одним домом. Столуются вместе. Вот что узнаем мы из рассказа Василия Завелейского:

*«Чевчевадзе, Лехкобытов, Калиновский и мой меньшой дядя, Михайла, жили в доме купца Яковлева у Семеновского моста и сходились обедать вместе в квартире Чевчевадзе; кажется, все они держали общий стол, тот повар был (князя) Чевчевадзе. Я обедал у них часто, а праздники и воскресенья, в особенности, я проводил у них. Здесь после вкусного обеда и кахетинского чевчевадзевского вина мы говорили, шутили, смеялись и читали новости политические и литературные. Читали или Лехкобытов, или я; а Миша с Калиновским дурачились. Последний, хотя статский советник и бывший уже вице-губернатор, небольшого роста, толстяк, был очень веселый и смешливый человек; редко, бывало, не хохочет. А был очень неглуп и человек с состоянием».*

Далее следует портрет Александра Гарсевановича Чавчавадзе, которого мемуарист запомнил в его излюбленной позе:

*«...курит себе сигару да лежит на кушетке, задравши ноги, но всегда в сюртуке и в эпюлетах. Говорили, что он был владетельный князь Кахетии и был с нашими войсками в отечественную войну в Париже, вероятно очень еще молодым. Он был стройный, тонкий в стане и красивый очень мужчина и казался еще молодым, лет 33-х, не больше. Кажется, он шнуровался, но волосы у него были не покрашенные черные и движения*

еще молодые. Он, помнится, нигде уже не служил тогда, но носил эполеты и саблю. Вероятно, он числился по кавалерии. Сын его Давид, молодой гвардейский уланский юнкер, приходил к нему из школы подпоручиков каждую субботу и обедал на другой день с нами, но всегда за другим, маленьким столом, в своем толстом мундире. Почтительность к отцу у него была удивительная: бывало, отец скажет: «Давид!» И он тотчас же отвечает из другой комнаты: «Батюшка!» Но в этом ответе по интонации голоса так и звучит: «Батюшка! Слушаюсь, что прикажете?»<sup>53</sup>

Первое, что надо отметить в этом рассказе, — чтение вслух новостей литературных и политических, за которым должно было следовать их обсуждение. Собеседники Чавчавадзе — люди с образованием и интересами. Легкобытов окончив Московский университетский благородный пансион (в котором после него учился Лермонтов)<sup>54</sup>. Калиновский — воспитанник Харьковского университета<sup>55</sup>. Александра Чавчавадзе Григорьев рекомендует как человека «весьма начитанного». (Это мы и без него знали, но, видимо, в Петербурге он имел случай сам убедиться в этом.) А рассказывая о жизни своей в Тифлисе, тот же Григорьев вспоминал, что чиновники грузинской казенной экспедиции любили декламировать стихи.

Поэтому совершенно ясно: журналы и газеты читаются не ради времяпрепровождения, а из интереса всей этой компании к политике и литературе. Много смеются. Главные по этой части — Калиновский и «меньшой дядя Михайла Завелейский». Кто такой?

Тоже чиновник, только почтового ведомства<sup>56</sup>.

Теперь давайте попробуем выяснять, что это за дом возле Семеновского моста, в котором они живут? Возьмем старый план.

Дом купца Яковлева у Семеновского моста числится тут под № 58 по Гороховой улице и № 64 по Фонтанке. Если же открыть «Книгу адресов С.-Петербурга на 1837 год», то не трудно узнать, что в доме «по Гороховой № 58 и по Фонтанке № 64» жил «Чивковадзи князь Алексей Иванович, генерал-майор, состоящий при Отдельном Кавказском корпусе»<sup>57</sup>.

То ли тугое ухо было у квартального надзирателя, то ли рука нечеткая, но только при «прописке» Александр Гарсеванович Чавчавадзе превратился в Алексея Ивановича Чивковадзи. За отчество не будем пенять на квартального: Ивановичем величал Чавчавадзе даже его хороший знакомец — помянутый нами поэт Василий Григорьев.

Ныне этот старинный дом, угол улицы

Дзержинского и Фонтанки, возле Семеновского моста, значится под номером 85/59. Как видим, Василий Завелейский не ошибается: все верно! Вот сюда, на Фонтанку и приходит сын Чавчавадзе — Давид. Он приехал к отцу из Грузии и поступил в Петербурге в школу подпоручиков и юнкеров в тот самый год, о котором идет речь в мемуарах Василия Завелейского в 1834-м, когда эту школу кончает Лермонтов. Все верно! Давид Чавчавадзе зачислен в лейб-гвардейский уланский полк. Память у Василия Завелейского хорошая. И это не удивительно, поскольку записки представляют выдержки из его дневника. Неточности есть, но они небольшие: неверное написание фамилии — Чивчавадзе, Чевчевадзе. Как мы видели, бывает и хуже. Слова о корсете требуют уточнения. Шнуруется не один Чавчавадзе. Шнуруются все. Шнуруется император. И еще одна мелочь: в те годы Чавчавадзе был генерал-майором, в генерал-лейтенанты его произвели позднее, уже по возвращении в Грузию. В описании же его внешнего вида нет никаких оснований не верить Василию Завелейскому, что грузинский поэт выглядел гораздо моложе своих 48—49 лет. Интересны подробности, что в Петербурге он держит своего повара и в избытке получает из Цинандали (разумеется, в бурдюках) свое «чавчавадзевское» вино. Но, по существу-то, об Александре Чавчавадзе Василий Завелейский знает очень немного.

Чавчавадзе не просто владетельный князь. Он сын грузинского посла в Петербурге, убежденного сторонника объединения Грузии и России. В Петербурге он и родился. Крещен Екатериной Второй. Воспитывался в Петербурге, в частном пансионе. Потом отправился в Грузию. Шестнадцать лет вовлечен в заговор грузинского царевича Парнаоза. Сослан в Тамбов (куда его потом сослали вторично). Прощен. Поступает в Петербурге в Пажеский корпус. Окончил. Зачислен в лейб-гусарский полк, квартировавший в Царском Селе (в нем потом служит Лермонтов). Участвует в войне 1813—1814 годов, дважды ранен. Вступает с русскими войсками в Париж, состоя в должности адъютанта Баркляя де Толли. Вернулся в столицу и в полк. Переведен в Грузию. Служит в Кахетии, в Нижегородском драгунском полку и одно время командует им. (В этот полк сошлиот потом Лермонтова.) Ушел из полка. Состоит при Отдельном Кавказском корпусе. Принимает участие в Персидской войне. После взятия Эривани назначается начальником Армянской области. С началом военных действий против Турции командует отрядом и одерживает несколько



## Ч.

Военный Министр Графъ А. И. Чернышевъ.  
 Ген. Лейт. Чеодаевъ.  
 Его Превосх. И. Д. Чертковъ.  
 Ген. Маюръ Чернобровкинъ.  
 Ген. Маюръ П. И. Чичикъ.  
 Ген. Маюръ К. В. Чевкинъ.  
 Ген. Маюръ Князь А. Г. Чавчавадзеъ.  
 Ген. Маюръ Чертковъ.  
 Ген. Маюръ М. О. Чичаговъ.  
 Графъ И. Т. Чернышевъ-Кругликовъ.  
 Чин. 5 кл. И. О. Чижовъ.  
 Чин. 5 кл. И. Б. Чеславской.  
 Ст. Сов. П. А. Часовниковъ.  
 Ген. Маюръ Чеботаревъ.  
 Полк. А. Л. Черкасовъ.  
 Полк. И. Е. Чемесовъ.  
 Полк. И. Черторижский.  
 Полк. С. Чайковский.  
 Полк. И. Д. Череповъ.  
 Полк. Н. П. Черкесовъ.  
 Полк. И. А. Чепурновъ.  
 Чин. 6 кл. И. П. Чижовъ.

Поруч. А. М. Чесаокъ.  
 Поруч. И. Черниговцовъ.  
 Поруч. А. Е. Черноголазовъ.  
 Поруч. И. Н. Челишевъ.  
 Поруч. А. С. Чернявский.  
 Поруч. А. И. Чарыковъ.  
 Подпор. Р. А. Черносвитовъ.  
 Чин. 10 кл. В. В. Чачковъ.  
 Чин. 10 кл. Червяковский.  
 Чин. 12 кл. П. Д. Чулковъ.  
 Чин. 12 кл. В. И. Чериницкий.  
 Губерн. Секр. К. И. Чупинъ.  
 Губерн. Секр. Г. Е. Чернявский.  
 Губерн. Секр. М. А. Черкесовъ.  
 Прапорщ. И. М. Чайковский.  
 Прапорщ. Баровъ П. К. Челаръ.  
 Прапорщ. Чернявский.  
 Корнетъ М. А. Черновъ.  
 Колл. Регистр. Н. С. Чернявский.  
 Секрет. А. И. Черегинъ.  
 Казначей Г. В. Черневодали.  
 Помощ. В. А. Черкасовъ.  
 Подпрапор. А. С. Черявский.  
 Художникъ А. С. Чижовъ.

В «Энциклопедическом лексиконе» был опубликован список подписчиков; на 44-й странице в первой колонке седьмой сверху — «Ген. Маюръ Князь А. Г. Чавчавадзеъ».

блестящих побед. «Покорение» Баязетского пашалыка навсегда останется связанным с именем Чавчавадзе<sup>58</sup>.

Василий Завелейский не знает, что Чавчавадзе принадлежит к числу самых выдающихся грузинских поэтов. Впрочем, этому найти объяснение можно. Генерал Чавчавадзе стихов своих не печатает, об их переводах на русский язык в ту пору никто и не помышляет, и понятно, почему из современников его поэзию знают только грузины.

Розен не ошибается: Чавчавадзе действительно вольнодумец. То же самое думает император.

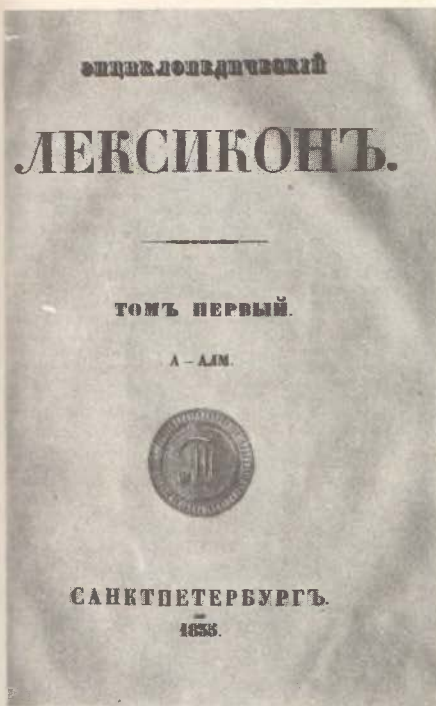
Он считает, что «генерал-майор князь Чавчавадзе был всему известен и, кажется, играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по делу 14-го декабря»<sup>59</sup>. Другими словами, так же как декабрист Михаил Орлов, который вначале входил в тайное общество, был в нем одной из самых видных фигур и, хотя потом отошел от движения, намечался декабристами на пост будущего диктатора. Считается, что, сократив Чавчавадзе срок

ссылки, Николай «обласкал» его. Тем не менее три года Чавчавадзе живет в Петербурге, а не в Тифлисе. Очевидно, Николай выжидает: должно пройти время для того, чтобы поэт мог возвратиться в Грузию. Надо, чтобы события отошли в прошлое. А еще вернее, суть заключается в том, что в столице за Чавчавадзе присматривать куда легче, нежели в далеком Тифлисе.

Чем вызвано это стойкое недоверие?

Оно вызвано дружескими связями Чавчавадзе с передовыми людьми. Сперва — это служба в одном полку с выдающимся мыслителем Чадаевым, потом знакомство с поэтом-декабристом Кюхельбекером, долголетняя дружба и «родство» с Грибоедовым, тесная связь с кружком прогрессивно мыслящих офицеров, группировавшихся в Грузии вокруг генерала Ермолова, дружеское отношение к сосланным декабристам.

Впрочем, выдержки из дневника Василия Завелейского и по этой части сообщают нам новые данные, и косвенно подтверждают связи с декабристским кругом и Чавчавадзе, и



Завелейскаго, и дружескаго ихъ окруженія. Но прежде хочу обратитьъ вниманіе на то, что Чавчавадзе не разлучается съ Завелейскимъ даже и летом.

1835 годъ. Михайлъ Завелейскій снимаетъ дачу подъ Петербургомъ, въ Лесномъ, гдѣ у него собираются и постоянно обедаютъ «почти все кавказцы» — то есть знакомые «старшаго дяди». Кто же такіе?

«Князь Чевчевадзе, Калиновскій, Лехкобытов...»

Впрочемъ, тутъ появляется фамилія новая — Вышеславцевъ, который тоже «бывалъ иногда у дяди Михайлы Демьяновича»<sup>60</sup>.

Можно уже предвидѣть: Вышеславцевъ Павелъ Сергеевичъ — чиновникъ грузинской казенной экспедиціи. Такъ и есть! Онъ составляетъ описаніе уезда Тифлисскаго и Тифлиса<sup>61</sup>. Это тоже одинъ изъ авторовъ «Обозрѣнія российскихъ владѣній за Кавказомъ», еще одинъ изъ петербургскаго окруженія Чавчавадзе.

Но гораздо важнее, что въ Тифлисѣ Вышеславцевъ встречался съ Александромъ Бестужевымъ и близко сошелся съ братомъ его Павломъ Бестужевымъ и братомъ другаго декабриста — Титова — литераторомъ Николаемъ Титовымъ. Эта дружба — Вышеславцева, Николая Титова и Павла Бестужева, которые въ разгово-



А. Г. Чавчавадзе

рах о сосланных декабристах называли их «нашими», встревожила присланных на Кавказ жандармов и вселила им сильные подозрения, не возникло ли в Тифлисе тайное общество и не являются ли они его членами? <sup>62</sup>

После этого нас уже не должно удивлять, что «Вас. Завелейский» дважды встречается в Петербурге у дяди Михайлы Демьяновича, на даче в Лесном Павла Бестужева.

Но тут следует рассказать о Бестужеве хоть немного. Иначе важный смысл этих встреч окажется не вполне понятным.

### Брат декабристов

Павел Александрович Бестужев — младший брат знаменитого писателя-декабриста Александра Бестужева-Марлинского и декабристов Николая Бестужева, Петра и Михаила Бестужевых, воспитывался в Петербурге в артиллерийском училище и был уже в офицерском классе, когда произошло декабрьское восстание, в котором приняли участие четверо братьев его. Они арестованы. Несколько дней спустя арестован и Павел Бестужев. Поводом послужила найденная у него книжка «Полярной звезды» — альманаха, который издавали брат его Александр Бестужев-Марлинский вместе с Рылеевым. Семнадцатилетнего юношу заключают в Бобруйскую крепость, а через год переводят юнкером на Кавказ, где он сражается с отличною храбростью в персидском и в турецком походах и, между прочим, участвует во взятии Арзума <sup>63</sup>.

Под Карсом Павел встречается с братом Петром, тоже сосланным на Кавказ. Под Ахалцихом судьба разлучает их снова. И снова они встречаются — в Тифлисе, у Грибоедова <sup>64</sup>. Вскоре к ним присоединяется брат Александр, которого перевели на Кавказ из Сибири <sup>65</sup>.

После окончания походов в Тифлисе оказались одновременно, кроме братьев Бестужевых, и другие участники декабрьского восстания — Михаил Пуцкин, Оржицкий, Мусин-Пушкин (моряк) и граф Мусин-Пушкин, Кожевников, Вишневский, Гангеблов, которые прожигают тут законно и незаконно. К их компании примыкают гвардейские офицеры, прикомандированные к кавказским полкам. Все они постоянно видятся с Чавчавадзе, дом которого всегда открыт для гостей. Но тут спохватилось начальство. Декабристов рассылают по гарнизонам <sup>66</sup>.

Даже в кавказской ссылке Бестужевы не оставляют литературных занятий. Не говорю о Марлинском. Он навсегда прославил себя в истории своими блистательными романти-

ческими рассказами о кавказской войне и о горцах. Но пишет и Петр Бестужев <sup>67</sup>. И Павел, который напечатает потом в Петербурге страстную полемическую статью в защиту народов Кавказа <sup>68</sup>.

Проявился его талант и в другом: Павел Александрович Бестужев изобрел придел к пушкам, который был введен во всей артиллерии под наименованием «бестужевского прицела». Это дало ему чин поручика, орден и разрешение вернуться в столицу. Но по приказу царя за ним учрежден самый строгий надзор. В Петербурге Бестужев становится фактическим редактором «Журнала для чтения воспитанников военно-учебных заведений». В год смерти Пушкина он помещает на страницах этого органа отрывок из пушкинского «Путешествия в Арзрум», а еще раньше — статью о военных действиях на территории азиатской Турции в 1828—1829 годах, где неизвестный автор с похвалой упоминает имя генерала А. Г. Чавчавадзе <sup>69</sup>.

*«Павел был молодой человек, — вспоминает Василий Завелейский, — высокий, тонкий, красивый собою и большой остряк; мы валялись (от смеха) по коврам, посланные в сад, где почти всегда обедали; его острооты были очень милы, никого не кололи, не заставляли хохотать до слез. Он был тогда возвращен по просьбе своей матери из-за Кавказа, где он служил юнкером Куринского Егерского полка. Кажется, он был сослан туда вместе с декабристами. Помню, что во время этих обедов иногда пели и плясали цыганки. Веселое было время!» <sup>70</sup>.*

К сведениям нашим о Павле Бестужеве эти строки прибавляют немного, но самый факт, отмеченный Василием Завелейским, важен. Он служит подтверждением тех коротких дружеских отношений, которые установились с декабристами и, прежде всего, с Бестужевым, у Чавчавадзе и у этих русских людей еще тогда, в Тифлисе.

Теперь уже нетрудно сделать окончательный вывод, что интересы и взгляды «кавказцев», собиравшихся у Петра и Михаила Демьяновичей, отвечали интересам и взглядам самого Чавчавадзе. Иначе не стал бы он с ними так неразлучно дружить. Более того: близкие отношения его с сотрудниками Петра Завелейского могут только служить аттестацией их прогрессивных взглядов. Отношения, завязавшиеся в Тифлисе, продолжены в Петербурге, куда к 1834 году возвратились почти все сотрудники Завелейского по грузинской казенной экспедиции. Правда, в Тифлисе остался Зубарев — фигура достаточно интересная. Из вольноотпущенных крестьян родом,

№ 342  
 МИНИСТЕРСТВО  
 ВОЕННОЕ.

Канцелярия  
 Министерства.

Отвѣтъ № 2

Въ С. П. Бурин

В. Сурмакъ 1834

№ 342

4 мая 1834

Господину Мамбогскому Тринадцатому  
 скому Губернатору.

Государь Императоръ Высочайше соизволивъ разрешить находящійся въ нынѣ на казенныхъ въ С. Мамбого Генерал-Майору Князю Саввадскому, принять въ С. Петербургъ.

Уведомивъ о таковомъ Высочайшемъ соизволеніи Ваше Превосходительство, я покорнѣйше прошу прилагавшій при семъ въ депешатскомъ конвертѣ отъ меня шедшій на имя Генерал-Майора Князя Саввадского по означенному предмету, приказати ему сдѣлать.

Вашей Императорской

Генерал-Адютантъ

Евф. Завелейский

Директоръ

Дмитрий Елисеев сын Зубарев, в 1812 году, как сказано в его формуляре, вступил «в московскую военную силу рядовым» и «за отличие под Бородином произведен в унтер-офицеры» (очевидно, подростком?! — И. А.). Впоследствии он окончил Московский университет по словесному отделению, печатался в столичных журналах. Потом послан в Грузию, где зачислен в казенную экспедицию и описывает провинции Борчалинскую, Шамшадильскую, Эриванскую и Карабахскую. Ныне имя его вспоминается только в связи с историей комедии Грибоедова «Горе от ума». Ибо прежде, чем эта пьеса была представлена на московской и петербургской сценах, ее разыграли любители сперва эриванские, а потом и тифлиские. Тифлисский спектакль состоялся в январе 1832 года в доме брата прославленного полководца Багратиона — Романа Ивановича. Зубарев играл Чацкого. После спектакля в газете «Тифлисские ведомости» появился отчет, подписанный псевдонимом «Гаретубанский пустынный». «Гаретубанский пустынный» — это тот же Дмитрий Елисеевич Зубарев<sup>71</sup>. Напечатать отчет о спектакле ему было тем проще, что в 1832 году он был одним из редакторов этой газеты<sup>72</sup>. А главную роль в тот год играл в ней Григорий Гордеев — Гордеев, который напечатал в газете записку Грибоедова о «Российской Закавказской компании» и назвал этот план исполинским. Гордеев, который помещал под буквами «А. Б.» произведения опального Александра Бестужева. Гордеев, который выступил в «Тифлисских ведомостях» с опровержением клевет на Грузию и грузинский народ, напечатанных в столичном журнале<sup>73</sup>. Теперь остается добавить, что Григорий Гордеев — тоже чиновник грузинской казенной экспедиции, тоже один из соавторов «Обозрения российских владений за Кавказом»<sup>74</sup>. Если назвать еще имена А. Яновского и Н. Флоровского, то мы будем знать весь «авторский коллектив» этого капитального экономического труда.

Однако познания друзей Чавчавадзе и Завелейского, приобретенные в годы их службы в Грузии, не ограничились в Петербурге участием в этом важном коллективном издании. Можно пойти несколько дальше и заглянуть в «Энциклопедический лексикон».

### «Лексикон» Плюшара

В 1834 году петербургский издатель А. А. Плюшар задумал выпустить многотомный «Энциклопедический лексикон». К созданию этой первой русской энциклопедии решено было пригласить лучшие научные и

литературные силы России. Главным редактором на общем собрании сотрудников был выбран Николай Иванович Греч. Первый том вышел в 1835 году. Особое внимание редакция обращала на русскую часть издания — на статьи по русской словесности, русской истории, законоведению русскому, по географии России, ее экономике, много места отводилось жизнеописаниям русских людей.

Рекомендуя географические статьи «Лексикона», редакция заверяла, что «каждая часть России обработана в сем отношении сотрудниками, бывшими на местах, ими описываемых. Статьи о Кавказе...»

Прервем цитату, чтобы обратить внимание на знакомые нам фамилии: «...Статьи о Кавказе сообщены В. Н. Григорьевым и В. С. Легкобытовым, занимающимися исследованием и описанием Кавказа по поручению начальства»<sup>75</sup>.

Собирался участвовать в «Лексиконе» и Зубарев<sup>76</sup>.

А если заглянуть в перечень подписчиков на «Энциклопедический лексикон», то мы без труда обнаружим еще одно знакомое имя: «Генерал-майор князь А. Г. Чавчавадзе»<sup>77</sup>.

Статьи о Кавказе для «Лексикона» Плюшара пишутся в те годы, когда А. Г. Чавчавадзе — знаток Кавказа, высокообразованный человек, владеющий языками грузинским, русским, иностранными языками, живет в Петербурге общим хозяйством с В. С. Легкобытовым, когда они вместе читают газеты, обсуждают все новости. И естественно, говорят о статьях, предназначенных для печати. Может ли быть сомнение в том, что Чавчавадзе просматривает эти статьи, подает советы друзьям?..

### Давайте подумаем

Если Василий Завелейский, скромный министерский столоначальник, по протекции дяди мог попадать на литературные вечера в доме Греча, мог ли прославленный генерал, тесть Грибоедова, крупный поэт А. Г. Чавчавадзе, живя в Петербурге целых три года — половине 1834-го, 1835-й, 1836-й, половине 1837 года — мог ли он не видеть никого из писателей? Нет! Это просто еще не исследовано: поверить в это нельзя!

Вспомним: именно в 1836 году, когда Чавчавадзе находится в Петербурге, Пушкин печатает в «Современнике» свое «Путешествие в Арзрум». А в предисловии к нему упоминается генерал Чавчавадзе. И вот мы должны верить себя, что за три года Чавчавадзе ни разу не встретился в Петербурге с Пушкиным. Даже если бы они были незнакомы между собою — три года очень значи-

тельный срок. Но ведь имеются веские основания считать, что они и прежде были знакомы. Они могли и должны были встретиться в 1829 году, когда Пушкин, совершая путешествие в Арарум, на две недели останавливался в Тифлисе и, как он пишет, «познакомился с тамошним обществом».

Пушкин не называет имен, но мы-то знаем, кто был виднейшим лицом в тогдашнем тифлисском обществе!

А. Г. Чавчавадзе.

На обратном пути Пушкин снова останавливался в Тифлисе. И его приглашали в гости наперебой. «Здесь остался я несколько дней, — пишет Пушкин, — в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах, при звуке музыки и песен грузинских».

Это было две недели спустя после похорон Грибоедова. И Чавчавадзе в те дни находился в Тифлисе. Это уж нам точно известно<sup>78</sup>. Правда, тогда над его домом тяготел траур, но именно потому Пушкину, хорошему знакомому Грибоедова, надлежало нанести визит его вдове и его тестю и выразить им сочувствие. Если бы даже он и не был с ними знаком — этого требовали уважение к грузинским обычаям и дружеские чувства к убитому. Это соображение высказал великодушный грузинский поэт покойный Г. Н. Леонидзе<sup>79</sup>. Пушкин восхищался умом Грибоедова, писал о нем как о человеке необыкновенном и выдающемся деятеле государственном. Имя его Пушкин ставил среди первых поэтов.

Тифлис в ту пору — маленький город, если сравнивать его с современным: меньше двадцати тысяч жителей. Известно, что в Тифлисе Пушкин обедал у Прасковьи Николаевны Ахвердовой — ближайшего друга этой семьи. Чавчавадзе жили вместе с ней в ее доме в продолжение пятнадцати лет.

Это она воспитала Нину, сосватала ее с Грибоедовым. Сопоставляя все эти данные, думаешь: Пушкин должен был навестить дом Чавчавадзе. Даже если бы и не был знаком! Но ведь они могли встречаться и раньше — в ту пору, когда Пушкин учился в Царскосельском лицее, а Чавчавадзе служил в царскосельских гусарах вместе с П. Я. Чаадаевым, с П. П. Кавериним, к которым Пушкин убежал, чтобы провести время в пылких беседах (а потом писал к Чаадаеву послания в стихах!). Нет, еще не найдены прямые доказательства знакомства Чавчавадзе с Пушкиным! Но ведь и не все еще обнаружено, не все исследовано, прочтено — мемуары и письма людей того времени, которые могли знать поэтов. Нашлись же записки Василия Завелейского! И другие найдутся! Уверен! Сколько в одних государственных наших архивах лежит еще не прочитанных писем — десятки тысяч и сотни, а изучена лишь малая часть... А сколько существует семейных архивов, непрочитанных воспоминаний и дневников!

Кстати: в то самое время, когда в Петербурге живет Чавчавадзе, туда чуть не каждый день приезжает из Царского Села Лермонтов. Лермонтов бывает у своей тетки Прасковьи Николаевны Ахвердовой. В 1830 году она приехала в Петербург. На петербургский адрес Ахвердовой поступают из Тифлиса письма для Чавчавадзе. Лермонтов в 1836 году собрался поселиться с бабушкой в ее петербургской квартире<sup>80</sup>. Как утверждать после этого, что Чавчавадзе в Петербурге не мог встретиться с Пушкиным, с Лермонтовым? Можно ли нам усомниться и отказаться от поисков? Разумеется, нет! Но...

Выдержки из дневника Василия Завелейского кончились. И на этом должен сегодня закончиться наш рассказ!

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Л. 262.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Л.л. 180—181.

<sup>5</sup> Л.л. 263—264.

<sup>6</sup> Л.л. 264—266.

<sup>7</sup> ЦГА Грузии, ф. 1457,

д. 166, л. 5259; д. 164, л. 169—170.

<sup>8</sup> „Travels“ in the transeasian provinces of Russia... in the autumn and winter of 1837, by captain Richard Wilbraham“, London, 1839, p. 251, 259.

<sup>9</sup> ЦГА Грузии, ф. 1457, д. 164, л.л. 55—56.

<sup>10</sup> С. Маглакелидзе, Материалы к биографии

Александра Чавчавадзе. «Саястория моамбе» («Исторический вестник»), 1946, № 2, стр. 245—247 (на грузинском языке); Тамбовское областное архивное управление, ф. 4, д. 18, л. л. 17, 21, 28, 36.

<sup>11</sup> Василий Завелейский. Цит. соч., л. л. 232—233.

<sup>12</sup> «Тифлиссские ведомости», 1828, № 3; «Акты Кавказской археографической

комиссии», т. VIII, стр. 990. Василий Завелейский. Цит. соч., л. 238.

<sup>13</sup> «Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х годах XIX века». М.—Л. 1936, ч. 1, стр. 247—248.

<sup>14</sup> ЦГИА Грузии, ф. 2, № 1812. «Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях». СПб., 1836, ч. 1, стр. 11, 14—15.

<sup>15</sup> М. В. Нечкина, Грибоедов и декабристы. Изд. 2-е. М., 1951, стр. 537—545; О. П. Маркова, Новые материалы о проекте Российской Закавказской компании А. С. Грибоедова и П. Д. Завелейского. «Исторический архив», 1951, т. 6, стр. 341; И. К. Ениколопов, Грибоедов в Грузии. При участии М. Заверина. Под редакцией О. Поповой. Тбилиси, 1954, стр. 61.

<sup>16</sup> А. Грибоедов, П. Завелейский, Проект учреждения Российской Закавказской компании. См.: А. С. Грибоедов, Сочинения. Под редакцией Вл. Орлова. М., 1953, стр. 614—620, 722—725; М. В. Нечкина, Грибоедов и декабристы. Изд. 2-е. М., 1951, стр. 537—545.

<sup>17</sup> Н. Н. Муравьев-Карский. Записки. «Русский архив». 1894, 1, стр. 39.

<sup>18</sup> М. К. Рожкова, Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. М., 1949, стр. 55.

<sup>19</sup> «Тифлиссие ведомости», 1831, № 12, 13, 14; О. П. Маркова. Новые материалы о проекте Российской Закавказской компании А. С. Грибоедова и П. Д. Завелейского. «Исторический архив», 1951, 6, стр. 342.

<sup>20</sup> Василий Завелейский. Цит. соч., л. 263.

<sup>21</sup> ЦГИА Грузии, ф. ОВД., т. V, л. л. 870—871.

<sup>22</sup> ЦГИА Грузии, ф. ВУА, т. VIII, л. 1372; С. Магладзе, Материалы к биографии Александра Чав-

чавадзе. «Сансторио моамбе», 1946, № 2, стр. 240 (на грузинском языке).

<sup>23</sup> В. Шадури, Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, стр. 492.

<sup>24</sup> «Акты Кавказской археографической комиссии», т. VIII, стр. 25; Василий Завелейский, цит. соч., л. 235.

<sup>25</sup> «Акты кавказской археографической комиссии», т. VIII, стр. 402.

<sup>26</sup> ЦГИА Грузии, ф. ВУА, т. VIII, л. 1977; Ср. С. Магладзе, К биографии Александра Чавчавадзе. «Сансторио моамбе», 1946, № 2, стр. 242 (на грузинском языке).

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> «Акты Кавказской археографической комиссии», т. VIII, стр. 23—25, 31.

<sup>29</sup> О. П. Маркова, Новые материалы о проекте Российской Закавказской компании А. С. Грибоедова и П. Д. Завелейского. «Исторический архив», 1951, 6, стр. 325. Василий Завелейский. Цит. соч., л. л. 235—237.

<sup>30</sup> ЦГИА Грузии, ф. 1457, т. XVI, л. л. 2948.

<sup>31</sup> «Акты Кавказской археографической комиссии», т. VIII, стр. 406.

<sup>32</sup> Елена Вирсаладзе, Современники Н. Бараташвили. «Литературные дзиебани» («Литературные разыскания»), 1947, т. III, стр. 127 (на грузинском языке).

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> «Письмо чиновника министерства финансов бывшего и. д. начальника Грузинской казенной экспедиции И. Калиновского из Тифлиса члену Совета министерства финансов И. М. Ореусу с изложением мнений автора о необходимости камеральных описаний и главноуправляющего Кавказом барона Г. В. Розена о преждевременности их в Закавказском крае, от 16 марта 1833 года». См. «Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х годах XIX века». М.—Л.,

1936, 4. 1 стр. 245. Далее: Письмо И. Н. Калиновского И. М. Ореусу.

<sup>35</sup> Там же, стр. 245.

<sup>36</sup> «Акты Кавказской археографической комиссии», т. VIII, стр. 394.

<sup>37</sup> «Акты Кавказской археографической комиссии», т. VIII, стр. 412; Картотека Е. Г. Вейденбаума в Институте рукописей Академии наук ГССР в Тбилиси: «Завелейский Петр Демьянович».

<sup>38</sup> Василий Завелейский. Цит. соч., л. 304.

<sup>39</sup> Там же, л. 305.

<sup>40</sup> Там же, л. 337.

<sup>41</sup> «Месяцеслов и Общий штат российской империи на 1830, 1831, 1832, 1833, 1834 годы»; ЦГИА Грузии, ф. 254/99, оп. 1, ед. хр. 18918 (формуляр В. С. Леркобытова).

<sup>42</sup> «Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях». СПб., 1836, ч. 1, стр. 16; «Акты Кавказской археографической комиссии», т. IX, стр. XXIII.

<sup>43</sup> ЦГИА Грузии, ф. 254/99, ед. хр. 20708 (формуляр И. Н. Калиновского). Письмо И. Н. Калиновского И. М. Ореусу.

<sup>44</sup> В. Н. Григорьев. Заметки из моей жизни. Рукопись. Шифр. Г. IV, № 881. Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Частично опубликована Н. К. Писановым («Русские писатели в неизданных воспоминаниях В. Н. Григорьева». «Современник», 1925, 1, январь). См. также: В. Шадури, Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, стр. 345—352.

<sup>45</sup> «Описание последнего долга, отданного А. С. Грибоедову в Тифлисе». «Сын отечества», 1830, № 2, стр. 87—94.

<sup>46</sup> В. Н. Григорьев. Заметки из моей жизни, л. 56.

<sup>47</sup> «Статистическое описание Нахичеванской про-

винции, составленное В. Г.» (СПб.). Типография департамента внешней торговли. 1833. Ср. «Обозрение российских владений за Кавказом...», ч. IV, стр. 30.

<sup>48</sup> В. Золотницкий, Разбор книги «Статистическое описание Нахичеванской провинции». «Современник», 1836, т. 2, стр. 218—247.

<sup>49</sup> «Месяцеслов и Общий штат российской империи на 1835 год».

<sup>50</sup> Письмо И. Н. Калиновского И. М. Ореусу. См. «Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20—60-х годах XIX века». М.—Л., 1936, ч. 1, стр. 246.

<sup>51</sup> Там же, стр. 245.

<sup>52</sup> «Обозрение российских владений за Кавказом...», ч. 1, стр. 15.

<sup>53</sup> Василий Завелейский, цит. соч., л. л. 337—339.

<sup>54</sup> ЦГИА Грузии, ф. 254/99, оп. 1, ед. хр. 18918 (формуляр В. С. Легкобытова).

<sup>55</sup> ЦГИА Грузии, ф. 254/99, оп. 1, ед. хр. 20708 (формуляр И. Н. Калиновского).

<sup>56</sup> «Адрес-календарь, или Общий штат российской империи на 1840 год», ч. 1, стр. 702.

<sup>57</sup> «Атлас тридцати частей С.-Петербурга», сост. Н. Цылов. СПб., 1849, таблицы 36 и 47; «Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год...» изданная Карлом Нистремом». СПб., 1837,

<sup>58</sup> «Русский биографический словарь», статья Н. П. Павлова-Сильванского

«А. Г. Чавчавадзе»; И. Гришашвили, Александр Чавчавадзе. В книге: Александр Чавчавадзе. Сочинения. Под редакцией И. Гришашвили. Тбилиси. 1940 стр., VII—1, XXII (на грузинском языке). И. Андроников, Лермонтов. Исследования и находки. М.—Л., 1966, стр. 284—286, 312—317.

<sup>59</sup> Письма императора Николая I к князю Паскевичу. «Русский архив», 1897, 1, стр. 9.

<sup>60</sup> Василий Завелейский, цит. соч., л. 345.

<sup>61</sup> «Обозрение российских владений за Кавказом...», СПб., 1836, ч. 1, стр. 143.

<sup>62</sup> ЦГИА, III отд., '1 эксп., № 297, л. 1; В. Шадури, Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, стр. 224—225.

<sup>63</sup> «Воспоминания Бестужевых». Редакция, статья и комментарий М. К. Азадовского. М.—Л., 1951, стр. 56—58, 699—700.

<sup>64</sup> Там же, стр. 353.

<sup>65</sup> Там же, стр. 492—493.

<sup>66</sup> Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова. М., 1886, стр. 202—203, 209; (Торнау). Воспоминания о Кавказе и Грузии. «Русский вестник», 1869, т. 80, стр. 700—701.

<sup>67</sup> «Воспоминания Бестужевых», стр. 783.

<sup>68</sup> Замечания на статью «Путешествие в Грузию». «Сын отечества», 1838, т. 1, отд. IV, стр. 13. Л. А. Лебедева. Письмо Павла Бестужева к А. Бестужеву... «Де-

кабристы и их время». М.—Л., 1951, стр. 97—100.

<sup>69</sup> «Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений», 1837, т. V, № 17; 1836, т. 3, № 11.

<sup>70</sup> Василий Завелейский, цит. соч., л. л. 345—346.

<sup>71</sup> ЦГИА Грузии, ф. 254/99, оп. 1, ед. хр. 826 (формуляр Д. Е. Зубарева); «Тифлисские ведомости», 1832, № 3, «Кавказ», 1900, № 74.

<sup>72</sup> Н. М. Лисовский, Библиография русской периодической печати. 1703—1900. СПб., 1915, стр. 75.

<sup>73</sup> В. Шадури, Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, стр. 264—266.

<sup>74</sup> «Обозрение российских владений за Кавказом...». СПб., 1836, ч. II, стр. 79.

<sup>75</sup> «Энциклопедический лексикон», т. 1, СПб., 1835, стр. IX.

<sup>76</sup> «Энциклопедический лексикон», т. 1, стр. XIII.

<sup>77</sup> «Энциклопедический лексикон», т. IV, стр. 44.

<sup>78</sup> Н. Н. Муравьев-Карский, Из записок. «Русский архив», 1894, 1, стр. 48.

<sup>79</sup> Л. Асатиани, Пушкин и грузинская культура. Тбилиси, 1949; И. Ениклопов, Пушкин в Грузии. Тбилиси, 1950, стр. 108; И. Андроников, Лермонтов в Грузии в 1837 году. М. 1955, стр. 64—66.

<sup>80</sup> И. Андроников, Лермонтов. Исследования и находки. М., 1966, стр. 296—298.





К. К. Рокоссовский  
на передовых позициях.

К. К. Рокоссовский,  
Маршал Советского Союза

## Сто дней

(От Днепра до Вислы)



Издательство «Молодая гвардия» предложило мне дать в альманах «Прометей» кусочек из книги воспоминаний, готовящейся сейчас к печати в Военном издательстве. Нет ничего приятнее, чем показать молодым людям нашего времени подвиг их отцов в Великой Отечественной войне. Но просил бы молодых читателей иметь в виду следующее.

Во-первых, речь идет о войне, и события войны рассматриваются не из солдатского окопа, а с КП фронта, к этому нужно приноровиться, а чтобы пояснее представить себе движение огромных войсковых масс, лучше бы держать под рукой карту Белоруссии и прилегающих к ней областей Польши.

Во-вторых, на этих страничках встретится много фамилий сотрудников командующего фронтом по управлению войсками, но мало характеристик, они оказались за пределами данного отрывка, в других главах книги. Радостно вспоминать о совместной службе с такими замечательными людьми, оригинальными по натуре и по военному

таланту, как начальник штаба нашего фронта незабвенный Михаил Сергеевич Малинин, как командующий артиллерией Василий Иванович Казаков, командующий бронетанковыми войсками фронта Григорий Николаевич Орел, начальник политуправления Сергей Федорович Галаджев... Нужно сказать, что в военном деле особенно большое значение имеет сработанность руководящего состава, и этим отличался наш коллектив в фронтового управления, штаба и политуправления. Несколькими лет мы вместе служили в тяжелых боевых условиях и к тому времени, о котором пойдет речь, уже с полуслова понимали друг друга; каждый из сотрудников старался внести лепту своего труда и ума в решение общей задачи, и это стремление всячески поощрялось — советы внимательно выслушивались, к мнениям других было внимательное отношение. Все это дало нам благотворную атмосферу. Так называемая «сработанность» превратилась в крепкую товарищескую дружбу. В таком коллективе прекрасно работается, и с таким коллективом очень тяжело расставаться, если даже приходится это делать по долгу службы.

А теперь перенесемся на двадцать четыре года назад.

## I

К весне 1944 года наши войска на Украине продвинулись далеко вперед. Но тут противник перебросил с запада и из самой Германии свежие силы и остановил наступление 1-го Украинского фронта. Бой приняли затяжной характер, и это заставило наш Генеральный штаб и Ставку перенести главные усилия на новое направление. Мы у себя на фронте, оценивая обстановку, полагаем, что предстоящая операция неизбежно развернется в Белоруссии. Это, между прочим, вытекало и из общего положения вещей: в результате успеха осенне-зимних операций на южном крыле советско-германского фронта образовался огромный белорусский выступ, он нависал с севера над войсками 1-го Украинского фронта, подобно тому как накануне Курской битвы нависал — и тоже с севера — над Центральным фронтом орловский выступ, с которого противник начинал так трагически закончившееся для него наступление.

Словом, фронт жил в предвидении больших событий. Конечно, для проведения любой крупной операции необходимо время на подготовку. Войска Белорусского фронта (раньше он именовался Центральным) пос-

ле разгрома неприятеля под Курском прошли с боями огромное расстояние, они остро нуждались в пополнении, им нужно было дать дополнительно и технику, и боеприпасы, и горючее; требовалось подтянуть тылы и отставшие базы, организовать подвоз всего, в чем нуждались наши части и соединения, и, значит, в первую очередь восстановить разрушенные дороги и провести новые. Это и составляло предмет наших забот. Одновременно укреплялись достигнутые рубежи.

Наконец положение дел стало понемногу проясняться. Такой вывод мы делали из мероприятий Ставки. Первое из них: создание нового фронта между нашим и 1-м Украинским. Этот новый фронт обигал с юга Полесье до Владимира-Волынского (исключительно), ему было присвоено название «2-й Белорусский», а наш фронт соответственно стал называться «1-м Белорусским».

В марте Верховный Главнокомандующий пригласил меня к ВЧ. Он в общих чертах ориентировал относительно планируемой крупной операции и той роли, которую предстояло играть в ней 1-му Белорусскому фронту. Затем Сталин поинтересовался моим мнением. При разработке операций он и раньше прибегал к таким вот личным беседам с командующими фронтами. Для нас — сужу по себе — это имело большое значение.

1-му Белорусскому фронту предстояло действовать в общем направлении на Бобруйск, Барановичи, Варшаву, обходя Полесье с севера. Левым крылом фронт упирался в огромные полесские болота, что до крайности ограничивало возможность маневра войсками. Для успеха операции требовалось теснейшее взаимодействие с войсками 2-го Белорусского фронта, а мы были разобщены широкой лесисто-болотистой местностью. Вот такие опасения я и высказал Сталину, намекнув при этом, что было бы целесообразнее объединить в один фронт весь участок, занимаемый в данное время двумя Белорусскими фронтами.

Должен сказать, что еще до этого разговора со Сталиным мы у себя обсуждали такой вариант: объединение в одних руках всего участка от Быхова до Владимира-Волынского. Это давало нам огромные преимущества в маневре силами и средствами фронта и позволяло смело решиться на организацию удара в обход Полесья как с севера, из района Бобруйска, так и с юга, из района Ковеля. Некоторые затруднения в управлении войсками можно было, конечно, ожидать, но это нас не смущало. У нас



Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский  
на КП фронта.

уже имелся опыт управления войсками в не менее сложной обстановке при ликвидации окруженной в Сталинграде группировки противника. Во всяком случае, легче было организовать управление объединенными войсками, чем согласовывать взаимодействие с соседним фронтом при решении одной общей задачи.

Тут как раз в пользу нашего предложения сработал случай: на участке 2-го Белорусского фронта произошла неприятность — противник нанес удар и овладел Ковелем. Сталин предложил мне быстро продумать наш вариант объединения участков обоих фронтов, сообщить в Ставку и скорее выехать к Курочкину<sup>1</sup> и принять меры для ликвидации прорыва противника. Забегу вперед и скажу сразу: побывав на месте, мы убедились, что накануне нашего крупного наступления нам невыгодно начинать частную операцию по освобождению Ковеля, и мы от нее отказались.

Вскоре последовала директива Ставки о передаче нашему фронту всего участка, охватывающего Полесье с юга, и находящих-

ся на нем войск. Общая ширина полосы 1-го Белорусского фронта достигла, таким образом, почти девятисот километров. Редко в ходе Великой Отечественной войны фронт, имевший наступательную задачу, занимал участок такой протяженности. Разумеется, и войск у нас стало больше. И двадцатым числом июня в состав нашего фронта входило 10 общевойсковых армий, одна танковая, и две воздушные армии, и Днепровская речная флотилия; кроме того, мы имели три кавалерийских и три танковых корпуса, а также один мехкорпус.

Затем произошли и дальнейшие изменения, в результате которых сложилась та структура фронтов, которая сохранилась до победоносного окончания войны.

По замыслу Ставки главные действия в летней кампании 1944 года должны были развернуться в Белоруссии. Для проведения этой операции привлекались войска

<sup>1</sup> Генерал П. А. Курочкин командовал тогда 2-м Белорусским фронтом.



Трудные дороги Полесья.

четырех фронтов (1-й Прибалтийский — командующий И. Х. Баграмян; 3-й Белорусский — командующий И. Д. Черняховский; наш правый «сосед» — 2-й Белорусский фронт — командующий И. Е. Петров и, наконец, 1-й Белорусский). Ставка сочла возможным ознакомить командующих фронтами с запланированной стратегической операцией в ее полном масштабе. И это было правильно. Зная общий замысел, командующий фронтом имел возможность уяснить место фронта в операции и шире проявить свою инициативу.

Стремясь удержаться в Белоруссии, германское командование сосредоточило там крупные силы — группу армий «Центр», которой командовал генерал-фельдмаршал Буш (одна танковая и три полевые армии); в полосе предстоящего наступления наших войск действовала также часть правофланговых дивизий 16-й немецкой армии из группы «Север» и пехотные дивизии из группы армий «Северная Украина». Всего против четырех наших фронтов в 23 июня было 63 немецкие дивизии и три

бригады общей численностью в 1 миллион 200 тысяч человек. Противник имел 9500 орудий, 900 танков и 1350 самолетов.

Против войск правого крыла нашего фронта оборонялась 9-я немецкая армия, она преграждала нам путь на Бобруйск. 2-я немецкая армия занимала оборону в полосе 400 километров в Полесье — против центра и левого крыла 1-го Белорусского фронта. На Бобруйском направлении, где должны были наступать четыре наши армии<sup>1</sup>, у противника было 131 тысяча человек личного состава, 5137 пулеметов, 2 с половиной тысячи орудий и минометов, 356 танков и самоходных установок. Вражеские войска прикрывали с воздуха 700 самолетов. Кроме тактических резервов, на Брестском и Ковельском направлениях противник имел мощные оперативные резер-

<sup>1</sup> Вот эти армии правого крыла фронта: 3-я армия (командующий генерал-лейтенант А. В. Горбатов); 48-я армия (генерал-лейтенант П. Л. Романенко); 65-я армия (генерал-полковник П. И. Ватов) и 28-я армия (генерал-лейтенант А. А. Лучинский).

вы. Следовательно, в полосе нашего фронта располагалась фашистская группировка, способная отразить крупное наступление.

Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана предшествовала большая работа на местности, в особенности на переднем крае. Приходилось, в буквальном смысле слова, ползать на животе. Изучение местности и состояния вражеской обороны убедило в том, что на правом крыле фронта целесообразно нанести два удара с разных участков (один — силами 3-й и 48-й армий — из района Рогачева на Бобруйск — Осиповичи, другой силами 65-й и 28-й армий — из района нижнего течения Березины — Озаричи в общем направлении на Слуцк). Причем оба удара должны быть главными. Это шло в разрез с установившимся взглядом, согласно которому при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредотачиваются основные силы и средства. Принимая несколько необычное решение, мы шли на известное распыление сил, но в болотах Польши другого выхода, а вернее сказать — другого пути к успеху операции у нас не было.

Дело в том, что местность на направлении Рогачев — Бобруйск позволяла сосредоточить там в начале наступления силы только 3-й армии и лишь частично 48-й. Если этой группировке не помочь ударом на другом участке, противник мог бы не допустить здесь прорыва его обороны, у него оставалась бы возможность перебросить сюда силы с, не атакованных нами рубежей. Два же главных удара решали все проблемы: в сравнении одновременно вводилась основная группировка войск правого крыла фронта, что было недостижимо на одном участке из-за его сравнительной ограниченности; противник терял реальные возможности маневра; успех, достигнутый пусть даже сначала на одном из этих участков, ставил немецкие войска в тяжелое положение, а нашему фронту обеспечивал энергичное развитие наступления. Окончательно план наступления отработывался в Ставке 22 и 23 мая. Были вызваны командующие фронтами Белорусской операции. Присутствовал и вновь назначенный командующий 1-м Украинским фронтом И. С. Ковнев. Наши соображения о предстоящем наступлении войск левого крыла фронта на Люблинском направлении были одобрены, а вот решение о двух ударах на правом крыле подверглось сильной критике. Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение

Ставки. После каждого такого «продумывания» приходилось с новой силой докладывать свое решение. Убедившись, что я твердо отстаиваю нашу точку зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили. Он при этом сказал, что настоятельность командующего фронтом показала ему, что организация наступления у нас тщательно продумана и не вызывает сомнений в успехе.

Вся операция получила условное название «Багратион». Перед войсками четырех фронтов были поставлены важные стратегические и политические задачи: ликвидировать выступ противника в районе Витебска, Бобруйска, Минска, разгромить и уничтожить крупную группировку вражеских армий «Центр», освободить Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. А далее — начать освобождение братской Польши и перенести военные действия на территорию фашистской Германии. Большое значение придавалось организации взаимодействия, в особенности между 3-м и 1-м Белорусскими фронтами — именно их войска должны были быстро продвигнуться на запад и сомкнуться своими флангами западнее Минска...

Нашему фронту предстояло начать наступление четырьмя правофланговыми армиями; они окружали и уничтожали бобруйскую группировку врага, овладевали районом Бобруйск — Глуша — Глуск, а затем наступали на Бобруйско-Минском и Бобруйско-Барановичском направлениях. Войска левого крыла должны были двинуться вперед лишь после окружения немецких войск в районе Минска и выхода войск правого крыла на рубеж Барановичей.

На западном берегу Днепра, севернее Рогачева, 3-я армия удерживала небольшой плацдарм. Он был вполне пригоден для действий всех родов войск в направлении на Бобруйск. У генерала Романенко, в 48-й армии, дело обстояло гораздо хуже. Командарм стремился атаковать противника со своих рубежей (его армия занимала полосу к югу от железнодорожной линии Жлобин — Бобруйск вдоль северного берега Березины, имея за рекой небольшой плацдарм). Изучив передний край, я увидел, что здесь наступать просто невозможно. Даже для отдельного легкого орудия приходилось класть настилы из бревен в несколько рядов. Кругом почти сплошные болота с большими островами, заросшими кустарником и густым лесом. Никаких условий для сосредоточения танков и тяжелой артиллерии. Поэтому П. Л. Романенко получил приказ перегруппировать основные силы на

плацдарм у Рогачева, к левому флангу 3-й армии, и действовать совместно с ней, а части, оставшиеся на Березинском плацдарме, должны были боями приковать к себе как можно больше сил противника и тем способствовать нанесению главного удара.

Войска 65-й и 28-й армий, наносившие второй удар, тоже имели перед собой лесистую, заболоченную местность, ее пересекали притоки реки Припять.

Нелегкое дело предстояло нашим солдатам и офицерам — пройти эти труднопреодолимые места, пройти с боями, пройти стремительно. Люди готовили себя к этому подвигу. Пехотинцы невдалеке от переднего края учились плавать, преодолевать болота и речки на подручных средствах, учились ориентироваться в лесу. Было изготовлено множество «мокроступов», болотных лыж, волокуш для пулеметов, минометов и легкой артиллерии, были построены лодки и плоты. У танкистов — своя тренировка. Помнится, как-то генерал Батов показал мне «танкодром» на болоте в армейском тылу, часа полтора мы наблюдали, как машина за машиной лезла в топь и преодолевала ее. Вместе с саперами танкисты снабдили каждый танк фашинами, бревнами и специальными треугольниками для прохода через широкие рвы. Не могу не вспомнить добрым словом наших славных саперов, их самоотверженный труд и смекалку. Только за двадцать дней июня они сняли 34 тысячи вражеских мин, на направлении главного удара проделали 193 прохода для танков и пехоты, навели десятки переправ через Дзурь и Днепр. А сколько построено было колесных дорог жердевых и профилированных!..

В этом напряженном труде огромных войсковых масс тон задавали наши коммунисты и комсомольцы. Они были цементирующей силой во всех частях. Они служили примером для всех.

В начале 1944 года у нас были определенные трудности, неизбежные на войне. В ожесточенных боях при наступлении от Курской дуги до Днепра войска понесли тяжелые потери. Вот одна много говорящая цифра: в 1224 ротах не стало партийных организаций по причине героической гибели партийных товарищей в боях за освобожденные родной советской земли. Корни, связывающие партию с народом, с солдатом, нерушимы, и тяга лучших людей в партию была велика. Этот благотворный для войск фронта процесс организовало и возглавило политическое управление, которым руко-

водил генерал-лейтенант С. Ф. Галаджев. И к началу Белорусской операции в большинстве соединений у нас опять были полнокровные, хорошо работающие партийные и комсомольские организации; в ротах — 5—10 коммунистов, 10, а то и 20 членов ВЛКСМ. Хочется подчеркнуть еще вот что: в партию и в комсомол шли тогда прежде всего воины, отличившиеся в боях, так что два понятия — «бывалый солдат» и «коммунист» — практически говорили об одном и том же. Отсюда огромный рост партийного влияния во всех наших боевых делах.

После получения всех указаний Ставки мне, как командующему, пришлось много заниматься со своим штабом и с командующими армиями. На месте отработывалось все, что было связано с предстоящим наступлением: управление войсками и в начале и в ходе операции, маскировка движения наших войск, подвоз техники и боеприпасов, выбор и оборудование маршрутов и дорог, а также всяческие хитрости, которые бы ввели противника в заблуждение относительно наших намерений.

Особое внимание уделялось разведке — и воздушной, и лыжной всех видов, и радиоразведке. Летчики 16-й воздушной армии произвели полную аэрофотосъемку укреплений противника на Бобруйском направлении, карты с полученными данными были немедленно разосланы войскам. Только в армиях правого крыла произвели четыреста поисков, и наши мастера-разведчики притащили больше восьмидесяти «языков» и важные документы.

От штабов всех степеней мы требовали постоянного контроля с земли и с воздуха за тщательной маскировкой всего, что делалось в войсках фронта. Немцы могли увидеть только то, что мы хотели им показать. Части сосредоточивались и перегруппировывались ночью, а днем от фронта в тыл шли железнодорожные эшелоны с макетами танков и орудий. Во многих местах навели ложные переправы, прокладывали для видимости дороги. На второстепенных рубежах сосредоточивалось много орудий, они производили несколько огневых налетов, а затем их увозили в тыл, оставляя на ложных огневых позициях макеты. Начальник штаба фронта генерал Малинин был неистощим в этом отношении. По указанию штаба фронта, например, в мае — июне начались оборонительные работы, это тоже в значительной мере отвлекло внимание противника от готовящегося наступления.

С командирами соединений и частей мы проводили занятия в поле и на рельефных

картах той местности, на которой им в скором времени предстояло действовать. Накануне наступления были проведены штабные учения и военные игры на тему «Прорыв обороны противника и обеспечение ввода в бой подвижных соединений». Хорошо подготовленный дружный коллектив штаба фронта имел достаточный опыт в организации управления войсками, и он показал, что способен находить выход из самого затруднительного положения как в подготовке, так и в ходе самих боев.

Трудно в небольшом очерке всесторонне показать, как готовится крупная фронтовая операция. Надеюсь, что читатель хотя бы в общих чертах увидит и масштаб и творческий характер всей этой работы. Вот еще одно интересное — и характерное для Великой Отечественной войны — дело: заодно с нами действовал Белорусский штаб партизанского движения. Устанавливалась тесная связь партизанских отрядов с нашими частями. Партизаны получали от нас конкретные задания, где и когда ударить по коммуникациям и базам немецко-фашистских войск. Они взрывали поезд на железнодорожных магистралях Бобруйск — Осиповичи — Минск, Барановичи — Лунинец и других. Все их удары наносились в тесном взаимодействии с нами и были подчинены интересам предстоящей операции.

К двадцатому числам июня войска фронта заняли исходные позиции. На обоих участках прорыва было обеспечено превосходство над противником в людях в три-четыре раза, в артиллерии и танках — в четыре-шесть раз. Мы располагали сильными подвижными группами, способными окружить вражеские войска. С воздуха наступление прикрывали и поддерживали свыше 2 тысяч самолетов.

Для изучения обстановки на Ковельском направлении (то есть на левом крыле фронта) я с командующими родами войск отправился в Сарны, где был создан наш вспомогательный пункт управления. (Основной командный пункт фронта находился в Овруче.) Добираться в Сарны пришлось на бронепоезде, потому что в лесах еще шлялись банды бандеровцев и им подобные, сколоченные и вооруженные немецко-фашистским руководством. Впоследствии мы отправились на ВПУ на незаменимых наших У-2.

Четыре армии, стоявшие здесь в первом эшелоне, совершенствовали оборону и начали готовить штабы к будущим боям. Об этих соединениях речь пойдет позже, ког-

да и для них начнется боевая страда. А сейчас хочется рассказать об одной знаменательной встрече. Сюда, на Ковельско-Люблинское направление, подходила из резерва Ставки и сосредоточивалась во втором эшелоне, в районе Радошина, 1-я польская армия. Она была сформирована по просьбе Союза польских патриотов из добровольцев польской национальности.

С большим интересом поехали мы познакомиться с братьями по оружию. Армией командовал генерал Зигмунд Берлинг, солидный, серьезный и подтянутый командир. По всему облику чувствовалось — старый воин, знающий службу и побывавший в боях. И на самом деле Берлинг был кадровым польским офицером, участник боев при вторжении фашистских оккупантов в Польшу; он пережил разгром тогдашних вооруженных сил своей страны и решил продолжать борьбу с врагом в польских частях, сражающихся плечом к плечу с войсками Красной Армии.

Генерал доложил о состоянии своего соединения и сразу сказал, что он и его товарищи надеются недолго пробыть во втором эшелоне. Это мне понравилось. Войска армии произвели очень хорошее впечатление. Чувствовалась готовность к боевым действиям. Чувствовалось, что люди хотят скорее встретиться с врагом, поработившим их отечество. Беседа с командирами и солдатами, я их заверил, что всем будет дана возможность показать свои способности в бою.

Мы познакомились с другими руководящими товарищами, которые пестовали, создавали это первое крупное объединение будущего Войска Польского. Членом Военного совета армии был генерал Александр Завадский, старый польский революционер, в прошлом шахтер, член Польской рабочей партии, пользовавшийся огромной популярностью у рабочего класса и трудящихся Польши, любимый в войсках. Человек глубокого ума, обаятельной простоты и кипучей энергии. Вторым членом Военного совета был генерал Кароль Сверчевский. Он прошел службу от рядового до генерала у нас, в Красной гвардии и Красной Армии, командовал интернациональной бригадой в республиканской Испании, сражавшейся против франкистской контрреволюции. Впоследствии генерал Сверчевский принял в командование 2-ю польскую армию.

Мы провели среди польских товарищей несколько дней, а затем вернулись на правое крыло фронта.

В ночь на 24 июня я с генералами Те-

легиным, Казаковым и Орлом<sup>1</sup> поехал в 28-ю армию. Наблюдательный пункт командарма А. А. Лучинского был оборудован в лесу. Тут была построена вышка, поднятая до уровня верхушек мощных сосен. С нее мы и решили наблюдать за развитием сражения на этом участке. Вновь назначенный к нам членом военного совета Н. А. Булганин был в 65-й армии у П. И. Батова, а представитель Ставки Г. К. Жуков отправился на Днепровский плацдарм в 3-ю армию. Уезжая, Георгий Константинович шутил сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам руку через Березину и помогут вытащить нас из болот к Бобруйску. А вышло-то, пожалуй, наоборот.

## II

Наступление 1-го Белорусского фронта началось 24 июня. Об этом возвестили мощные удары бомбардировочной авиации на обоих участках прорыва. В течение двух часов артиллерия разрушала оборонительные сооружения противника на переднем крае и подавляла систему его огня. В шесть утра перешли в наступление части 3-й и 48-й армий, а часом позже — обе армии южной ударной группы. Развернулось ожесточенное сражение.

3-я армия на фронте Озеране, Костяшево в первый день добилась незначительных результатов. Дивизии двух стрелковых корпусов этой армии, отбивая яростные контратаки пехоты и танков, овладели лишь первой и второй траншеями на рубеже Озеране, Веричев и вынуждены были закрепиться. С большими трудностями развивалось наступление и в полосе 48-й армии. Широкая болотистая пойма реки Друть крайне замедляла переправу пехоты, а особенно танков. Лишь после двухчасового напряженного боя наши части выбили здесь немцев из первой траншеи, к 12 часам дня они овладели второй траншеей.

Наиболее успешно и, можно сказать, красиво развивалось наступление в полосе 65-й армии. При поддержке авиации 18-й стрелковый корпус в первой половине дня прорвал все пять линий траншей противника, к середине дня углубился на 5—6 километров, овладев сильными опорными пунктами Раковичи и Петровичи. Это позволило генералу Батову ввести в прорыв 1-й гвардейский танковый корпус М. Ф. Панова, который стремительно двинулся в тыл шаричской группировке немецких войск. Используя успех танкистов, пехота 65-й к исходу дня заняла рубеж Грачи, Гомза, Секиричи.

Части 28-й армии, сломив сопротивление врага, вышли к Бродцы, отметка 141, Осипино, Пог.

Таким образом, в результате первого дня южная ударная группа прорвала оборону противника на фронте до 30 километров и в глубину от 5 до 10 километров. Танкисты углубили прорыв до 20 километров (район Кнышевичи, Романище). Создалась благоприятная обстановка, которую мы использовали на второй день для ввода в сражение на стыке 65-й и 28-й армий конно-механизированной группы генерала И. А. Плиева. Она продвинулась к реке Птичь, западнее Глуска, местами форсировав ее. Противник начал отход на север и северо-запад.

Теперь — все силы на быстрое продвижение к Бобруйску!

Вечером 24 июня позвонил мне Жуков и с присущей ему прямотой поздравил с успехом, сказав, что руку Горбатову придется подавать нам с южного берега Березины.

К исходу третьего дня генерал Батов был уже на Березине южнее Бобруйска, а войска генерала Лучинского форсировали реку Птичь и овладели Глуском. Южная группа правого крыла фронта вышла на оперативный простор.

В северной ударной группе всю ночь на 25 июня с неослабевающей силой шли бои. Противник неоднократно переходил в контратаки, стремился выбить части, вклинившиеся в оборону, и сбросить их в реку. Достигнуть этого он не мог.

С утра 25 июня после короткой артподготовки части 3-й армии возобновили наступление. Для ускорения прорыва генерал Горбатов в середине дня ввел в бой две танковые бригады, а 26 июня с рубежа Добрица — полностью 9-й танковый корпус Б. С. Вахарова с задачей прорваться в глубокий тыл противника, захватить район Старцы и перерезать шоссе Могилев — Бобруйск.

16-й воздушной армии было приказано помочь наступлению нашей северной группы. Тысячи тонн бомб обрушились на противника, начавшего отход к Березине.

9-й танковый корпус, прорвавшийся в тыл вражеской группировки, вышел на восточный берег Березины в районе Титов-

<sup>1</sup> К. Ф. Телегин был членом военного совета 1-го Белорусского фронта, В. И. Казаков командовал артиллерией фронта, а Г. Н. Орел был командующим бронетанковыми и механизированными войсками.



ки, а к утру 27 июня перехватил все шоссе и переправы северо-восточнее Бобруйска. Теперь стрелковые части обеих армий северной группы быстрее продвигались вперед, окружая бобруйскую группировку противника с северо-востока.

К этому времени 1-й гвардейский танковый корпус 65-й армии был уже северо-западнее Бобруйска, он отрезал пути отхода на запад пяти дивизиям немецкой армии.

Главные силы фронта должны были идти вперед и вперед — на Осиповичи — Пуховичи и на Слуцк. И нам предстояло как можно скорее ликвидировать окруженные войска врага. В Бобруйске это было поручено частям 65-й армии, а юго-восточнее города — 48-й армии.

В кольце диаметром примерно 25 километров оказалось до 40 тысяч немецко-фашистских войск. Путь на юг и на запад мы закрыли достаточно прочно, но на севере и северо-западе в первый день окружения врага держали только части танковых корпусов. Этим, видимо, стремился воспользоваться командующий 9-й немецкой армией. 27 июня он приказал командиру 35-го армейского корпуса фон Лютцову во что бы то ни стало пробиться либо в Бобруйск, либо на север, к Погорелому, на соединение с 4-й армией. Фон Лютцов решил уничтожить всю технику и пробиваться на север. Это фашистскому корпусу не удалось. В поддержку танкистам генерала Бахарова командарм послал 108-ю стрелковую дивизию, она оседлала шоссе на Могилев. На правом крыле наши войска вышли к Березине в районе Свислочи.

В конце дня 27 июня в расположении противника начались массовые взрывы и пожары: гитлеровцы уничтожали орудия, тягачи, танки, сжигали машины; они убивали скот, сожгли дотла все селения.

Войска прикрытия, состоявшие из отборных солдат и офицеров, продолжали оказывать упорное сопротивление, даже контратаковали. Однако войска генералов Горбатова и Романенко в тесном взаимодействии с частями 65-й армии все сильнее сжимали кольцо окружения.

В районе Титовки враг предпринял до пятнадцати контратак, стремясь прорваться на север. Вот свидетельство участника событий комдива 108-й генерала П. А. Теремова: «...Самая неистовая атака разыгралась перед фронтом 444-го и 407-го полков. В этом районе были сосредоточены в основном силы нашего артиллерийского полка. Не менее двух тысяч вражеских солдат

и офицеров при поддержке довольно сильного орудийного огня шли на наши позиции. Орудия открыли огонь по атакующим с дистанции семисот метров, пулеметы — с четырехсот. Гитлеровцы шли. В их гуще разрывались снаряды. Пулеметы выкашивали ряды. Фашисты шли, переступая через трупы своих солдат. Они шли на прорыв, не считаясь ни с чем... Это была безумная атака. Мы видели с НП жуткую картину. Нет, в ней не было и тени воинской доблести. Гитлеровцы были в каком-то полушумном состоянии. В движении этой огромной массы солдат было животное упорство стада. Но впечатление тем не менее было внушительное».

Наша авиация обнаружила в районе Дубовки большое скопление немецкой пехоты, танков, орудий и другой техники. Авиации было приказано нанести удар. 526 самолетов поднялись в воздух и в течение часа бомбили врага. Немецкие солдаты выбегали из лесов, металась по полянам, многие бросались вплавь через Березину, но и там не было спасения. Вскоре район, подвергшийся бомбардировке, представлял собой огромное кладбище: повсюду трупы и искверканная разрывами авиабомб техника.

За два дня нашими войсками было уничтожено более 10 тысяч солдат и офицеров противника, до 6 тысяч взято в плен; захвачено 432 орудия, 250 минометов, более тысячи пулеметов. Фашистская группировка юго-восточнее Бобруйска была ликвидирована.

Одновременно — по 29 июня — шли бои за сам Бобруйск. В городе насчитывалось более десяти тысяч немецких солдат, причем сюда все время просачивались остатки разбитых восточнее частей. Комендант Бобруйска генерал Гаман сумел создать сильную круговую оборону. Были приспособлены под огневые точки дома, забаррикадированы улицы, на перекрестках врыты танки. Подступы к городу тщательно заминированы.

Во второй половине дня 27 июня части 1-го гвардейского танкового корпуса и дивизии 105-го стрелкового атаковали засевшего в городе врага, но успеха не имели. Всю ночь и весь следующий день шли кровавые бои. В ночь на 29 июня противник отвел значительную часть сил к центру и сосредоточил крупные силы пехоты и артиллерии в северной и северо-западной частях города. Комендант немецкого гарнизона решил ночью оставить город и прорываться на северо-запад.

После сильного артиллерийского и минометного налета на позиции нашей 356-й стрелковой дивизии двинулись танки, за ними — цепи штурмовых офицерских батальонов, а затем — вся пехота. Поголовно пьяные солдаты и офицеры рвались вперед, несмотря на губительный огонь нашей артиллерии и пулеметов. На поле боя в ночной темноте завязались рукопашные схватки. В течение часа войны 356-й дивизии героически дрались, сдерживая натиск противника. Ценой огромных потерь гитлеровцам удалось местами вклиниться в оборону дивизии.

С рассветом передовые отряды 48-й армии под прикрытием артиллерии переправились через Березину и вступили в бой на восточной окраине Бобруйска.

К восьми утра полки 354-й стрелковой дивизии захватили вокзал. Немцы, теснимые со всех сторон, еще раз попытались вырваться на северо-запад, они снова атаковали славную 356-ю дивизию. Им удалось прорвать ее оборонительный рубеж. В прорыв хлынуло пять тысяч солдат во главе с командиром 41-го танкового корпуса генералом Гофмейстером, но спастись им не удалось. Войска, действовавшие северо-западнее города, ликвидировали и эти бегущие части врага.

65-я армия в тесном взаимодействии с 48-й армией 29 июня полностью овладела городом Бобруйском.

В результате этой операции была взломана очень сильная оборона противника на южном фланге Белорусского выступа, и наши войска продвинулись на глубину до 110 километров. Все это позволяло развивать стремительное наступление на Минск и Барановичи.

В шестидневных боях нами были захвачены и уничтожены 366 танков и самоходных орудий, 2664 орудия разного калибра. Противник оставил на поле боя до 50 тысяч трупов, более двадцати тысяч немецких солдат и офицеров было взято в плен.

В окружении и уничтожении бобруйской группировки вражеских войск активно участвовала Днепровская военная флотилия, которой командовал капитан I ранга В. Г. Григорьев. Поднявшись вверх по реке, за линию фронта, корабли 1-й бригады прорвались к мосту у Паричей, нарушили переправу немецких войск, вышли на подступы к Бобруйску. За трое суток матросы флотилии переправили с левого берега Березины на правый 66 тысяч наших бойцов.

28 июня Ставка возложила на 1-й Белорусский фронт следующую задачу: частью сил наступать на Минск, а главными силами — на Слуцк — Барановичи, чтобы отрезать противнику пути отхода на юго-запад и во взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта как можно быстрее завершить окружение минской группировки фашистских войск.

В эти дни командиры наших подвижных соединений проявили высокое искусство. 2 июля сильным ударом в центре 1-й гвардейский танковый корпус генерала Панова прорвал оборону 12-й немецкой дивизии и совместно с пехотой 82-й дивизии овладел районом Пуховичей. Конно-механизированная группа генерала Плиева устремилась на Слуцк. На рассвете 2 июля гвардейцы-кавалеристы овладели Столбцами, Городзей и Несвижем, перерезав коммуникации минской группировки на Барановичи, Брест, Лунинец.

Части 35-го стрелкового корпуса 3-й армии вышли на рубеж Погост, Червень, где соединились с войсками 2-го Белорусского фронта.

Танковый корпус генерала Бахарова, посланный в обход Минска с юга, овладел 2 июля узлом дорог у Любча и продолжал двигаться вдоль шоссе Слуцк — Минск на север. В этот же день танковые части 3-го Белорусского фронта, овладев Смоленичами, продвинулись к Минску с северо-востока. Так было завершено окружение 4-й армии противника, находившейся восточнее белорусской столицы.

Противник поспешно и в беспорядке отходил по проселочным дорогам и по шоссе Могилев — Минск. Мосты и переправы были взорваны партизанами, во многих местах образовались пробки. Наши летчики беспрекословно бомбили колонны вражеских войск.

После ожесточенных боев к исходу 3 июля столица Белоруссии была полностью очищена от врага.

Тяжелая картина открылась перед глазами воинов-освободителей — Минск лежал в развалинах. Немногие уцелевшие здания заминированы и подготовлены к взрыву. К счастью, их удалось спасти, дело решила стремительность ворвавшихся в город частей. Были разминированы Дом правительства, здание Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии.

Жители города, перенесшие нечеловеческие мучения, восторженно встречали наших героев. Вся страна приветствовала освобождение Минска!..

Ликвидация зажатых в минском котле немецко-фашистских войск возлагалась на 2-й Белорусский фронт, для усиления которого от нас ушла 3-я армия.

Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта продолжали стремительное наступление на запад. Разгром противника в районах Витебска, Бобруйска и восточнее Минска привел к тому, что в германском фронте образовался четырехсоткилометровый разрыв. Заполнить его в короткий срок немецкое командование не имело сил. 4 июля Ставка потребовала от нас в полной мере использовать это чрезвычайно выгодное обстоятельство. Во исполнение директивы Ставки было решено, не прекращая преследования противника, концентрическим ударом 48-й и 65-й армий в общем направлении на Барановичи окружить барановичскую группировку немцев и уничтожить ее. В этой операции подвижная группа генерала Плиева и мехкорпус генерала Фирсовича охватывали войска противника, действуя на заходящих флангах. В дальнейшем, используя два параллельно идущих шоссе (Слоним — Пружаны и Барановичи — Брест), обе армии развивали успех в направлении Бреста с целью глубокого обхода и окружения — уже совместно с войсками левого крыла нашего фронта — пинской группировки немецко-фашистских войск.

8 июля Барановичи были освобождены. К 16 июля наши соединения вышли на линию Свислочь — Пружаны, продвинувшись за 12 дней на 150—170 километров.

Разгром противника в районе Барановичей и на рубеже реки Шары создал угрозу пинской группировке гитлеровских войск. Она начала отход. Это ускорило наступление 61-й армии генерала П. А. Белова вдоль северного берега реки Припять.

Оперативное положение войск фронта значительно улучшилось. В начале Белорусской операции наши фланговые группировки были разделены обширными болотами, а теперь Полесье осталось далеко позади. Протяженность линии фронта сократилась почти вдвое.

Пришло время двинуть вперед войска нашего левого крыла!

Силы у нас здесь были такие: пять общевойсковых армий, воздушная армия, а из подвижных соединений — танковая армия и два кавалерийских корпуса<sup>1</sup>. Еще с первых чисел июля началась перегруппировка с правого крыла на левое фронтовых средств усиления.

Мы тщательно изучали данные о противнике и местности. За последнее время ка-

ких-либо изменений в положении и в поведении вражеских войск не произошло. Все же было принято несколько необычное решение: начать наступление разведкой, боем передовых батальонов. Мы хотели убедиться, не оттянул ли противник главные силы на рубеж, расположенный в глубине, оставив перед нами лишь прикрытие. В таком случае он заставил бы нас попусту израсходовать боеприпасы, предназначенные для прорыва основной обороны.

Небезынтересная деталь. В свое время отработывали с командармами Поповым, Гусевым, Чуйковым и Колпакич вопросом, как лучше начать наступление. Тогда-то и пришла мысль применить, если так можно сказать, комбинированный прием — начать разведкой передовых батальонов и, если убедимся, что основная оборона осталась на прежнем рубеже, двинуть в бой все спланированные силы и средства без перерыва для уточнения задач (что предусматривалось наставлением).

Итак, батальоны начали бой. Нам, небольшой группе генералов, находившихся 18 июля на передовом наблюдательном пункте (основной КП фронта находился в Радошине), были хорошо видны их действия. Поддерживаемые усиленным огнем артиллерии и сопровождаемые танками, они быстро двинулись на позиции противника. Немцы открыли сильный артиллерийский огонь. Завязался бой за первые траншеи. Наши самолеты небольшими группами атаковали артиллерийские и минометные позиции немцев. Их встретили в воздухе истребители противника. Он вводил в бой все новые огневые средства. Нашим стрелкам и отдельным танкам местами удалось врываться в первые траншеи...

Между прочим, на НП тогда был и представитель Ставки Г. К. Жуков. Он сначала возражал против допускаемого нами отступления от полевого устава, но потом, обратившись ко всем, сказал: «Что ж, ведь и Суворов говорил — не держись устава, яко слепой стены... посмотрим, что получится!..»

<sup>1</sup> Вот эти объединения и соединения: 70-я армия под командованием генерал-лейтенанта В. С. Попова; 47-я армия (генерал-лейтенант Н. И. Гусев); 8-я гвардейская армия (генерал-лейтенант В. И. Чуйков); 69-я армия (генерал-лейтенант В. Я. Колпакич); 1-я польская армия (генерал-лейтенант Зигмунд Берлинг); 2-я танковая армия (генерал-полковник танковых войск С. И. Богданов); 7-й гвардейский кавкорпус (генерал-лейтенант М. П. Константинов); 2-й гвардейский кавкорпус (генерал-лейтенант В. Ф. Крюков); 6-я воздушная армия (генерал-лейтенант авиации Ф. П. Польшин).

А получилось очень хорошо, хотя в тот момент напряжение у нас на НП все возрастало. Заметно нервничают наши генералы, командующие артиллерией, танковыми и инженерными войсками. Как оценить обстановку? Какие же в действительности силы перед нами?

Наблюдаем. Видим, что бой достиг большой силы. Исчезает всякое сомнение в том, что мы встретились с главной линией обороны. Ждать больше нельзя. Подана команда — приступить к выполнению плана наступления.

Генерал Казаков приказывает открыть огонь. Воздух потрясли залпы из орудий всех калибров...

Наступление левого крыла фронта являлось продолжением операции, начавшейся на Бобруйском направлении<sup>1</sup>. Но это отнюдь не означало прекращения действий на правом крыле. Там войска продолжали наступать, продвигаясь к Брестскому укрепленному району. Это было очень важно. На данном этапе решающим направлением для нас стало Ковельское, а успешный исход тут во многом обеспечивался тем, что основные резервы противника были брошены им на оборону в районе Бреста.

47-я, 8-я гвардейская и 69-я армии получили задачу прорвать фронт противника западнее Ковеля. Осуществив прорыв, общевойсковые армии должны были ввести в сражение танковые соединения и кавалерийские корпуса и во взаимодействии с ними развивать наступление на Седлец и на Люблин. Поддерживавшая наземные войска 6-я воздушная армия имела 1465 самолетов.

18 июля с утра наши части прорвали вражескую оборону протяженностью в 30 километров и продвинулись на 13 километров в глубину. К 20 июля ударные группировки левого крыла вышли на широком фронте на Западный Буг и, форсировав его в трех местах, вступили на территорию Польши.

Развернувшееся в июле сражение на левом крыле 1-го Белорусского фронта и начавшееся неделей раньше наступление войск нашего соседа слева — 1-го Украинского фронта — вылились в стройное взаимодействие двух фронтов, действовавших на смежных флангах. Нашему успеху в большой степени способствовало то обстоятельство, что, наступая, 1-й Украинский фронт лишил противника возможности подкреплять свои силы на Люблинском направлении; точно так же наши боевые действия не позволяли врагу перебрасывать свои войска с атакованных нами рубежей про-

тив 1-го Украинского фронта. Эта операция, вытекавшая из Белорусской, заблаговременно планировалась Ставкой.

Грандиозное наступление советских войск, в котором в июле участвовало уже пять фронтов, привело к поражению немецко-фашистские группы армий «Север» (16-я армия), «Центр» (3-я танковая армия, 4-я, 9-я и 2-я армии) и «Северная Украина» (4-я и 1-я танковые армии, 1-я венгерская армия). На огромном протяжении была прорвана неприятельская оборона.

Наступило, наконец, время, когда враг, развязавший войну, стал испытывать все то, что испытывали войска Красной Армии в начале войны. Но мы переживали свои неудачи, сознавая, что они в значительной степени зависели от внезапности вероломного нападения, и понимали, что неудачи — явление временное, не теряя ни на минуту веры в победный исход войны.

Врагу же пришлось испытывать поражения после одержанных побед и без всякой надежды на более или менее благоприятный исход войны, пожар которой он сам разжег.

Катастрофа неумолимо надвигалась. Не помогали, между прочим, немецко-фашистскому командованию и замены одного генерала другим. Из данных разведки нам стало известно, что неудачливого фельдмаршала Буша, командовавшего группой армий «Центр», заменил Модель (командующий группой армий «Северная Украина»). Среди офицеров нашего штаба ходила поговорка: «Модель, что ж, давай Моделя!» Видимо, кто-то из товарищей переиначил крылатую фразу Чапаева из знаменитого кинофильма, помните ее: «Психическая, говоришь, давай психическую...»

С выходом войск правого крыла фронта на рубеж Свислочь — Пружаны и на подступы к Бресту создались условия для окружения брестской группировки противника. Эта задача и была поставлена перед войсками 70-й армии во взаимодействии с 28-й армией.

Войска 47-й армии Н. И. Гусева после форсирования Буга должны были наступать в северо-западном направлении на Седлец, разгромить противостоящего противни-

<sup>1</sup> Понятно, что Белорусская операция имеет свои рамки. Они известны из истории Великой Отечественной войны, но в данном случае имеется в виду другое — не только в Белорусской операции, но и во многих других спланированных Ставкой Верховного главнокомандования часто одна операция вытекала из другой.

ка и не допустить отхода к Варшаве немецких войск, находящихся к востоку от рубежа Седлец — Луцув. На этом же направлении сражался 2-й гвардейский кавкорпус Крюкова.

Вместе с тем наступление названных армий обеспечивало успех войск генералов Чуйкова, Богданова, Берлинга и Колпачи, устремившихся после форсирования Буга на запад. Они, преодолевая сопротивление противника, 22 июля овладели городами Хелм, Влодава и освободили много других населенных пунктов.

2-я танковая армия генерала Богданова 23 июля освободила Люблин. 25 июля танкисты вышли к Висле в районе Демблина. Здесь генерал Богданов передал свой участок 1-й Польской армии. Дело в том, что фронт поставил теперь 2-й танковой армии новую задачу — наступать вдоль правого берега Вислы на север и попытаться с ходу захватить мосты через эту реку в предместье Варшавы — Праге. Подробнее героические и трудные бои танкистов я опишу несколько позже.

К 28 июля основные силы фронта на участке Брест — Седлец — Отвоцк вынуждены были развернуться фронтом на север, преодолевая упорное сопротивление вражеских войск, начавших переходить в контратаки. По всему чувствовалось, что на этом участке немецкое командование собрало крупные силы с намерением нанести контрудар в южном направлении восточнее Вислы и не допустить форсирования реки нашими армиями.

Поскольку противник удерживал свою основную группировку восточнее Варшавы, у войск левого крыла фронта была возможность быстро продвинуться к Висле. 27 июля к ней вышла 69-я армия генерала Колпачи. Ее войска с ходу форсировали реку близ Пулавы и к 29-му числу овладели плацдармом на западном берегу. 1-я Польская армия 31 июля пыталась совершить бросок через Вислу, но неудачно. Однако к этому времени мы могли использовать для борьбы за западный берег реки всю 8-ю гвардейскую армию. С утра 1 августа она начала форсирование в районе Магнушев — устье реки Пилица.

В течение дня войска генерала Чуйкова овладели плацдармом на западном берегу Вислы шириной 15 километров и глубиной до 10 километров. К 4 августа армия сумела навести через реку мосты грузоподъемностью 16 тонн и один шестидесятитонный. Василий Иванович Чуйков переправил на плацдарм танки и всю артиллерию! Ин-

женерные войска фронта приступили к наводке деревянного моста на сваях.

Назрела необходимость обеспечить правый берег Вислы от устья Пилицы почти до предместья Варшавы — Праги. Эту задачу пришлось возложить на войска 1-й Польской армии, но, как увидим, ненадолго.

Очень медленно продвигались на Белостокском направлении войска нашего соседа справа — 2-го Белорусского фронта. Перед ними была весьма сильная вражеская группировка. Она была еще способна сдерживать наступление. Но ей не удалось нанести удар по правому крылу войск нашего фронта, с севера на юг, — в этом была заслуга соединений 2-го Белорусского фронта и мы ее оценили.

Когда противник увидел, где для него назрела наибольшая угроза, было уже поздно: Магнушевский плацдарм прочно заняли войска 8-й гвардейской армии; плацдарм южнее Пулавы тоже прочно удерживала 69-я армия. Немецкое командование предпочло переброску войск из районов восточнее и северо-восточнее Варшавы, атаковало наши плацдармы. Особенно сильному удару подверглись части наших славных гвардейцев. Мне пришлось послать им на подкрепление 1-ю Польскую армию генерала Берлинга. Польские соединения, передав участок обороны кавкорпусу, быстро перегруппировались к району переправ, использовали все штатные и подручные средства и организованно вышли на плацдарм, где и заняли оборону на правом фланге 8-й гвардейской армии. Туда же был переброшен танковый корпус из 2-й танковой армии.

В тяжелых боях крепла дружба советских и польских частей. Воины 1-й Польской армии мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и заслужили всеобщее уважение.

### III

Как только наши войска вступили в Польшу, освободили Люблин, сразу же перед нами возникло много сложных вопросов. На освобожденной территории — она простиралась уже до Вислы, южнее линии Тирасполь — Варшава — находилось много польских вооруженных отрядов, частей и соединений; в них играли ведущую роль различные слои польского общества, люди разных политических направлений, но объединенные одной целью — борьбы с немецко-фашистскими оккупантами. К таким вооруженным силам относились Гвардия Людова, Армия Людова, Армия Крайова,

Батальоны Хлопске, были и смешанные партизанские отряды, руководимые советскими офицерами, оказавшимися по разным причинам на оккупированной фашистами территории.

Вообще основная масса польского населения относилась к Красной Армии тепло и приветливо. Видно было, что народ искренне радуется и старается всячески помочь нашим воинам скорее изгнать немецких оккупантов. По мере продвижения вперед 1-я Польская армия быстро стала пополняться добровольцами из местного населения; в нее вливались даже целые отряды и части из Гвардии Людовой, Армии Людовой и других, исключая, однако, так называемую АК (Армия Крайова). От первой же встречи с этой организацией у нас остался неприятный осадок.

А произошло следующее: получив данные, что в лесах севернее Люблина находится польское соединение, именуемое себя седьмой дивизией АК, мы решили послать для связи нескольких штабных командиров. Встреча состоялась. Офицеры «аковцы», носившие польскую форму, держались возмутительно надменно, они отвергли предложение о взаимодействии в боях против немецко-фашистских войск, заявили, что АК подчиняется только распоряжениям польского лондонского правительства и его уполномоченных... Они так определили отношение к нам: против Красной Армии оружия применять не будем, но и никаких контактов иметь не хотим. Весьма пикантное определение отношений, вроде того, на котором настаивал в восемнадцатом году Троцкий — «ни войны, ни мира» с немцами.

Тем временем было образовано новое польское правительство. Я был приглашен в Люблин и познакомился там с большинством членов нового правительства. Это были патриоты своей родины и революционеры-интернационалисты. Тяжелое бремя им пришлось взвалить тогда на свои плечи, но товарищи не унывали и настроены были оптимистически. Мы присутствовали на параде частей 1-й Польской армии и демонстрации трудящихся Люблина. С этого времени у нас с польским правительством установилась тесная связь, поддерживаемая через генерала Жимерского.

Второго августа наши разведывательные органы получили данные о том, что в Варшаве будто бы началось восстание против немецко-фашистских оккупантов. Это известие сильно нас встревожило. Штаб фронта немедленно занялся сбором сведений и уточнением масштаба восстания и его харак-

тера. Все произошло настолько неожиданно, что мы терялись в догадках и вначале думали — не немцы ли распространяют эти слухи, а если так, то с какой целью? Ведь, откровенно говоря, самым неудачным временем для начала восстания было именно то, в какое оно началось. Как будто руководители восстания нарочно выбрали время, чтобы потерпеть поражение... Вот такие мысли невольно лезли в голову.

В это время 48-я и 65-я армии вели бои в ста с лишним километрах восточнее и северо-восточнее Варшавы (наше правое крыло было ослаблено уходом в резерв Ставки двух армий, а предостояло еще, разгромив сильного противника, выйти к Нареву и овладеть плацдармами на его западном берегу). 70-я армия только что овладела Брестом и очищала район от остатков окруженных там немецких войск. 47-я армия вела бои в районе Седлеца фронтом на север. 2-я танковая армия, ввязавшись в бой на подступах к Праге (предместье Варшавы на восточном берегу Вислы), отражала контратаки танковых соединений. Порой здесь было до предела трудно. Противнику даже удалось окружить вырвавшийся вперед корпус Веденева, но на юг немцы не прошли, так же как наши герои-танкисты не могли захватить предместье. Они провалили укрепленный район, опоясывающий Прагу, выручили корпус Веденева, на большее у них не хватало силы. 1-я Польская армия, 8-я гвардейская и 69-я форсировали Вислу южнее Варшавы у Магнушева и Пулавы, захватывая и расширяя плацдармы на западном берегу, — в этом состояла основная задача войск левого крыла, они могли и обязаны были ее выполнить.

Вот таким было положение войск нашего фронта в момент, когда в столице Польши вспыхнуло восстание.

В свое время нашлись злопыхатели, пытавшиеся в западной печати обвинить войска 1-го Белорусского фронта, конечно и меня, как командующего, в том, что мы якобы сознательно не поддержали варшавских повстанцев, обрекая их этим на гибель.

По своей глубине Белорусская операция не имеет себе равных. На правом крыле фронта она перевалила за шестьсот километров. Это расстояние пройдено в непрерывных боях. Войска правого крыла напрягали последние силы, чтобы выполнить задачу Ставки. Освобождение же Варшавы возможно было лишь в результате новой крупной наступательной операции, что и произошло впоследствии. В августе 1944 года потребовалось бы много мероприятий

для того, чтобы захватить Варшаву хотя бы как большой плацдарм.

Но те, кто толкнул варшавян на восстание, не думали о соединении с приближающимися войсками Советского Союза и польской армии. Они боялись этого. Они думали о другом, заложили в восстание элементы политиканства: захватить в столице власть до прихода в Варшаву советских войск. Только господа из Лондона не знали, что тогда в планах советского командования не было даже намека на такую возможность.

В своем могучем движении на запад, сметая все преграды, чинимые врагом, войска фронта перевыполнили задачу, захватив плацдармы для подготовки новой операции. Это произошло благодаря точным расчетам Советского Генерального штаба, мудрому руководству Ставки Верховного Главнокомандования, предприимчивости, гибкости, инициативе командующих и беззаветному героизму и выносливости солдат и офицеров войск фронта.

Я немного увлекся, но когда описываешь те события, то невольно возникают образы виденного и пережитого: сражение под Брестом, бои 2-й танковой армии на подступах к Праге, бои у Седлеца и на плацдармах... И вот на этом ярком фоне каким же мрачным пятном представляется варшавская трагедия...

Бои на подступах к предместью Варшавы — Праге продолжались с неослабевающей силой. Я с группой офицеров был в это время во 2-й танковой армии и имел возможность наблюдать Варшаву с одной из заводских труб. Город обволакивался густыми облаками дыма. Тут и там горели дома. Заметны были вспышки взрывов бомб и, по-видимому, снарядов. По всему чувствовалось, что в городе идет бой.

Никакой связи с повстанцами мы пока не имели. Наши органы разведки старались связаться с ними любыми способами. Ответных попыток со стороны повстанцев не наблюдалось.

Деятельное участие в выяснении событий в Варшаве приняли польские товарищи из Люблина, в том числе и генерал Жимерский. Спустя некоторое время стало известно, что восстание было организовано группой офицеров, принадлежащих к АК (Армия Крайова), и началось 1 августа по сигналу польского эмигрантского правительства из Лондона. Руководил восстанием генерал Бур-Коморовский и его помощник генерал Монтер (командующий Варшавским военным округом). Главенствующую роль

играла АК, ее состав был наиболее многочислен, лучше вооружен и организован. К восстанию примкнули все патристические настроенные варшавские жители. Вначале всех объединяло одно чувство — жгучая ненависть к немецко-фашистским оккупантам, одно желание — бить поработителей. И варшавяне, взявшись за оружие, это делали — били врага. Они пока ни о чем другом не думали.

А вот тем, кто поднял народ Варшавы на восстание в такой исключительно невыгодной для этого обстановке, следовало подумать, решаясь на этот шаг.

Из всего, что мне удалось узнать от польских товарищей и из обширных материалов, которые поступали в штаб фронта, вытекал вывод — руководители восстания стремились изолировать восставших от всяких контактов с Красной Армией. Но шло время, и народ стал понимать, что его обманывают. Обстановка в Варшаве становилась все более тяжелой, начались распри среди восставших. Для руководителей, таких, как Бур, Монтер и др., иного выхода не было, как установить с нами связь в расчете на какие-то еще свои темные комбинации. Бур сразу эту связь нашел, конечно, через Лондон.

Начальник Генерального штаба А. И. Антонов эту связь оформил. Уже на второй день после этого, то есть 18 сентября, английское радио передало, что генерал Бур сообщил об установлении со мной связи и координации действий, а также о том, что наши самолеты непрерывно сбрасывают восставшим в Варшаве оружие, боеприпасы и продовольствие.

Оказывается, можно было быстро связаться с командованием 1-го Белорусского фронта. Было бы желание. А поспешил Бур установить с нами связь лишь после того, как потерпела неудачу попытка англичан с помощью авиации обеспечить восставших продовольствием, оружием и боеприпасами. Днем над Варшавой появилось 80 самолетов «летающая крепость» в сопровождении истребителей «мустанг». Они проходили группами на высоте до 4500 метров и сбрасывали груз. Конечно, при такой высоте он рассеивался и по назначению не попал. Немецкие зенитки сбили два самолета. После этого случая англичане больше не повторяли своих попыток.

Описывая все это, я несколько забежал вперед. К событиям в Варшаве я еще вернусь, а сейчас обратимся к борьбе, которую вели наши войска.

Нащупав у нас слабое место — таким

был промежуток между предместьем Прагой и Седлецами, — противник решил отсюда нанести удар во фланг и тыл войск, форсирующих Вислу южнее польской столицы. Для этой цели он сосредоточил на восточном берегу в районе Праги несколько дивизий, среди которых были и 4-я танковая дивизия, 1-я танковая дивизия «Герман Геринг», 19-я танковая и 73-я пехотная дивизии. 2 августа немцы нанесли свой контрудар, но были встречены на подступах к Праге подходившими туда с юга частями нашей 2-й танковой армии. Завязался упорный встречный бой. Немецкие войска оказались в более выгодном положении, так как они опирались на сильный Варшавский укрепленный район.

Казалось бы, что в этой обстановке варшавские повстанцы могли бы постараться захватить мосты через Вислу и овладеть Прагой, нанеся удар противнику с тыла. Это была бы большая помощь войскам 2-й танковой армии, и кто знает, как бы разygались тогда события. Но это не входило ни в расчеты лондонского польского правительства, три представителя которого находились в Варшаве, ни в расчеты генералов Бура-Коморовского и Монтера. Они сделали свое черное дело, подняв народ Варшавы на восстание. Они и ушли, а расплачивался спровоцированный ими народ. Так в конце концов и случилось. Иного нечего было от них и ждать. Предатели были приняты гитлеровским командованием с почетом...

2-я танковая армия, которой после ранения Богданова командовал начальник штаба А. И. Радзиевский, способный, энергичный генерал, продолжала отражать удары врага из района Праги, взаимодействуя с 47-й армией, освободившей Седлец и оттеснявшей противника к северо-западу от него. На этом отрезке фронта сложилось весьма неприглядное положение: войска двух армий, развернувшись фронтом на север, вытянулись в нитку, введя в бой все свои резервы; не осталось ничего и во фронтовом резерве. Единственный был выход — ускорить продвижение от Бреста 70-й армии и скорее вытянуть из лесов Беловежской пуци армии генералов Батова и Романенко.

Наш правый сосед — 2-й Белорусский фронт — несколько поотстал, а 65-я армия, не встречая особого сопротивления со стороны противника, быстро преодолела лесные массивы Беловежской пуци, вырвалась вперед и тут попала в неприятную историю, будучи атакованной с двух сторон частями двух немецких танковых дивизий.

Они проехали по центру армии, разъединили ее войска на несколько групп, лишив командарма на некоторое время связи с большинством соединений. Был такой момент, когда перемешались наши части с немецкими и трудно было разобрать, где свои, где противник; бой принял очаговый характер.

Это напомнило мне событие подобного же характера, которое произошло в первую мировую войну в конце 1914 года в районе Лодзь — Вржезины, когда окруженный русскими войсками немецкий корпус, выходя из окружения, окружил русских, а внутри кольца происходили более мелкие окружения. Вспомнилось мне это потому, что самому пришлось участвовать в этой каше, состоя в рядах пятого драгунского Каргопольского полка 5-й кавдивизии.

Нужно сказать, что части и подразделения 65-й армии, быстро ориентируясь в обстановке, занимали круговую оборону; отражая врага, стремились пробиться друг к другу, восстанавливали связи. П. И. Батов, его штаб приняли необходимые меры, фронт послал армии на выручку стрелковый корпус и танковую бригаду. Положение было восстановлено, а противник, понеся большие потери, сам еле вырвался из этой заварухи. Но Павлу Ивановичу пришлось пережить много тяжелых минут.

В это же время продвинувшийся еще дальше на запад 4-й гвардейский кавалерийский корпус был прижат к реке Буг северо-западнее Бреста и тут окружен. Как раз в этом месте был укрепленный район, им и воспользовался генерал Плиев, засев в нем по-хозяйски. Все атаки корпус легко отражал. Боеприпасы доставляли ему ночью по воздуху самолеты У-2. С приближением 70-й и 65-й армий кавкорпус из положения окруженного перешел в преследование отходящего врага, причинив ему много неприятностей своими смелыми и внезапными ударами.

По характеру действий противника чувствовалось, что он, осознав проигрыш сражения за бугский рубеж и на Варшавском направлении, будет стремиться оттянуть как можно больше своих сил на рубеж реки Нарев. Об этом говорили данные войсковой и агентурной нашей разведки, показания пленных, авиаразведка. На наревском рубеже в усиленном темпе шли оборонительные работы.

Нужно было нарушить планы вражеского командования. Войскам 48-й, 65-й и 70-й армий было приказано стремительно выйти на Нарев. Рекомендовалось создавать сильные подвижные отряды из всех родов войск,



которым следовало обходить опорные пункты, прорываться в тыл, отсекая отходившие немецкие войска, захватить плацдармы на западном берегу Нарева и удерживать их до подхода главных сил.

Наиболее удачно эту задачу решила 65-я армия. Донской танковый корпус М. Ф. Павлова, взаимодействуя с пехотными дивизиями, уже 5 сентября форсировал Нарев в районе Пултуска и южнее. Начались жесткие схватки на западном берегу. Противник бросал в бой новые и новые части, стремясь опрокинуть в реку войска армии, но командарм делал все, чтобы не только удержать, но и расширить плацдарм, так необходимый нам для предстоящего наступления.

Выход 65-й армии на Нарев ускорил продвижение и 70-й армии, наступавшей в общем направлении на Соколув Подляский, Радзымин, Модлин (севернее Варшавы), и 48-й армии, которая, наконец, тоже форсировала Нарев в районе Рожан и тоже захватила плацдарм.

Первая половина сентября ознаменовалась крупными многодневными боями. Они не затухали и ночью. Противник решил во что бы то ни стало ликвидировать наши плацдармы на Висле и Нареве. В первую очередь, как всегда, враг двинул свою ударную силу — танки. Применял он их массами на Висле против войск Чуйкова и на Нареве против войск Батова. Но ничего ему не помогло. Все вражеские атаки были отбиты. Потеряв сотни танков, самоходных орудий и десятки тысяч личного состава, немецкое командование вынуждено было признать свое поражение и перейти к обороне. В этих боях наша славная 16-я воздушная армия от начала и до конца господствовала в воздухе. Лишь одиночные немецкие самолеты могли наносить удары, как говорят, «из-за угла».

Потеря висло-наревского рубежа была бы для врага равносильна открытию дороги непосредственно в пределы Германии. Вот почему по мере накопления сил и средств немецкое командование обрушивало удары по нашим плацдармам и упорно обороняло свои позиции на правом берегу Вислы, восточнее Варшавы, переходя время от времени в наступление. На этом участке создавалось нетерпимое для нас положение. На Варшавском предполье сосредоточилась сильная группировка в составе 5-й танковой дивизии СС «Викинг», 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» и 19-й танковой дивизии. Мы не могли допустить, чтобы она продолжала угрожать нам.

Когда подошла 70-я армия, было принято решение попытаться разгромить вражеские войска, удерживающие предполье восточнее Варшавы, и овладеть предместьем Прагой.

Для этой операции были привлечены 47-я и 70-я армии<sup>1</sup>, часть сил 1-й Польской армии, 16-я воздушная армия, а из состава усиления — всё, что можно было взять с других участков фронта.

11 сентября войска начали бой и в течение четырех дней разгромили противника и 14 сентября овладели предместьем Варшавы Прагой. Мужественно сражались пехотинцы, танкисты, артиллеристы, саперы, летчики наших частей и рядом с ними — славные воины 1-й Польской армии. Большую помощь воинам при борьбе в самом городе оказывали жители Праги, и многие из них сложили свои головы в этих боях.

Вот когда было наиболее подходящее время для восстания в польской столице! Если бы осуществить совместный удар войск фронта с востока, а повстанцев — из самой Варшавы (с захватом мостов), то можно было бы в этот момент рассчитывать на освобождение Варшавы и удержание ее. На большее, пожалуй, в то время даже при самых благоприятных обстоятельствах войска фронта не были бы способны.

Очистив от противника Прагу, наши армии вплотную подошли к восточному берегу Вислы. Все мосты, соединявшие предместья с Варшавой, оказались взорванными.

В столице все еще шли бои.

Продолжались бои и севернее Праги, на Модлинском направлении. Несколько затихло на Наревских плацдармах, но разгорелись сильнейшие схватки на плацдармах за Вислой. Особенно тяжело пришлось войскам, державшим Магнушевский плацдарм. Должен прямо сказать, что отстоять его нам удалось в значительной степени потому, что обороной руководил командующий 8-й гвардейской армии Василий Иванович Чуйков. Он находился все время там, в самом пекле. Правда, и командование фронтом делало все, чтобы оказать своевременно сражающимся войскам помощь фронтовыми средствами и авиацией.

Разыгравшаяся в Варшаве трагедия не давала покоя. Сознание невозможности предпринять крупную операцию для того, чтобы выручить восставших, было мучительным.

<sup>1</sup> К этому времени 2-я танковая армия убыла в резерв Ставки.

В этот период со мной беседовал по ВЧ Сталин. Я доложил обстановку на фронте и обо всем, что связано с Варшавой. Сталин спросил, в состоянии ли войска фронта предпринять сейчас операцию по освобождению Варшавы. Получив от меня отрицательный ответ, он попросил оказать восставшим возможную помощь, облегчить их положение. Мои предложения, чем и как будем помогать, он утвердил.

Я уже упоминал, что с 13 сентября началось снабжение по воздуху повстанцев оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Это делали наши ночные бомбардировщики ПО-2, сбрасывая груз с низких высот в пункты, указанные повстанцами. С 13 сентября по 1 октября 1944 года авиация фронта произвела в помощь восставшим 4821 самолето-вылет, в том числе с грузами для повстанческих войск — 2535. Наши самолеты по заявкам повстанцев прикрывали их районы с воздуха, бомбили и штурмовали немецкие войска в городе.

Зенитная артиллерия фронта начала обеспечивать повстанческие войска от налетов вражеской авиации, а наземная артиллерия — подавлять огнем неприятельские артиллерийские и минометные батареи, пытавшиеся обстреливать восставших. Для связи и корректировки огня были сброшены на парашютах в район расположения повстанцев офицеры. Нам удалось добиться того, что немецкие самолеты совершенно прекратили действия против восставших.

Польские товарищи, которым удавалось пробраться из Варшавы на эту сторону, с восторгом отзывались об эффективности нашей зенитной защиты восставших и подавлении огня немецкой артиллерии.

Вместе с этим стали все чаще проникать сведения о подозрительных действиях руководства АК, о враждебной агитации против Советского Союза и его войск, против польского правительства, организованного в Люблине, против 1-й Польской армии. Удивляло, что Бур не делал никаких попыток связаться со штабом фронта, хотя Генеральный штаб сообщил ему код.

Различные повстанческие организации охотно и с радостью принимали высадившихся на парашютах офицеров связи и корректировщиков. Все поляки-патриоты, однако, предупреждали их, что «аковцы» никаких дел с нами иметь не хотят. Было ясно, что эта организация политиканов пойдет на все, только не на содействие нам. И вскоре это подтвердилось на деле.

Расширяя помощь восстанию, мы решили высадить сильный десант на противополож-

ный берег, то есть в саму Варшаву, используя наплавающие средства. Организацию операции взял на себя штаб 1-й Польской армии. Время и места высадки, план артиллерийского и авиационного обеспечения, какова будет поддержка от повстанцев — всё это было заблаговременно согласовано с руководством восстания.

16 сентября десантные подразделения польской армии двинулись через Вислу. Они высаживались на участках берега, которые были в руках повстанческих отрядов. На том ведь и держался расчет всей затеи с десантом. И вот оказалось, что участки, где только что были повстанцы, заняты немецкими войсками.

Операция протекала тяжело. Уже в процессе боя пришлось определять вновь появившиеся неприятельские огневые точки, вводить новые силы, чтобы поддержать огнем зацепившиеся за кромку западного берега части. Немцы продолжали насаждать. А повстанцы не только не оказали никакой помощи оружием, они даже не попытались связаться на том берегу с высадившимися войсками.

В таких условиях удержаться на западном берегу Вислы с надеждой на успех было невозможно, и я решил операцию прекратить и обеспечить отвод десантников с наименьшими потерями. К 23 сентября подразделения трех пехотных полков 1-й Польской армии вернулись и присоединились к своим частям.

Решаясь на героический десант, польские воины сознательно шли на самопожертвование, стремясь выручить попавших в беду соотечественников. Но их предали те, для кого интересы власть имущих были дороже интересов родины. Вскоре мы узнали, что по распоряжению Бура и Монтера части и отряды АК были к началу форсирования отозваны с прибрежных окраин в глубь города. На их место встали немецко-фашистские войска. На этом пострадали также и отряды Армии Людовой, которых не предупредили, что «аковцы» покидают прибрежную полосу.

С этого момента руководство АК начало подготовку к капитуляции. Об этом сохранился в архиве довольно богатый материал. Наши предложения о помощи желающим эвакуироваться из Варшавы на восточный берег не были приняты во внимание. Уже после капитуляции удалось перебраться на нашу сторону Вислы всего несколькими десяткам повстанцев. Так трагически закончилось Варшавское восстание, спровоцированное кучкой продажных политиканов.

## IV

...По-видимому, противник выдохся. Он еще пытался время от времени тревожить войска, оборонявшие Магнушевский плацдарм, но прекратил всякую активность на Нареве. Это несколько настораживало. И мы не ошиблись. Воздушная разведка стала замечать, что немецкие истребители почему-то уж очень плотно прикрывают все коммуникации, ведущие из районов западнее Варшавы на север. Радиоразведка засекала движение с юга на север знакомых нашим радистам танковых соединений противника. Штаб фронта поступил правильно, своевременно предупредив штабы генералов Батова и Романенко о подозрительном поведении врага. Но, успокоенные тишиной перед своим передним краем, штабы не придали предупреждению должного внимания. Более того, в 65-й армии решились даже отводить часть войск с передовых линий во второй эшелон для отработки в поле задач на наступление.

Поэтому для 65-й армии гроза разразилась внезапно. Противнику удалось сосредоточить в глубине крупные танковые силы и 4 октября нанести шелемляющий удар. Мощная артиллерийская подготовка длилась около часа, и сразу — атака танков, которые шли в несколько эшелонов. Противник, введя в бой одновременно большие силы, рассчитывал быстро разделаться с обороняющимися плацдарм, не дать нам времени для подкрепления войск новыми частями. Надо отдать должное врагу — он действовал решительно, местами в первый же день отеснил наши части к берегу, и они удержались там лишь благодаря тому, что их поддерживала артиллерия с восточного берега, ведя огонь прямой наводкой.

Угроза нависла над плацдармом очень большая. Это вынудило меня выехать к Батову самому, прихватив с собой Казакова, Орла, Телегина и нашего «фронтowego инженера» Прошлякова. Сразу же были двинуты в 65-ю армию фронтowe средства усиления, в первую очередь истребительно-противотанковые части и танковые бригады. Плохая погода ограничивала действия авиации.

Прибыв на армейский КП, мы вместе с генералом Батовым установили, куда именно и какую направить помощь. А как ее использовать — это уже было делом самого командарма.

Во второй половине первого дня вражеского наступления фронтowe части усиления вступили в бой. Постепенно положение на

плацдарме улучшалось. Противник, перехватываемый на направлениях своих ударов все усиливающимися войсками, вынужден был уже на другой день прибегать к маневру, переноса удары то туда, то сюда. С переправой на плацдарм танковых соединений он был остановлен, затем отброшен. На третий день, с вводом в сражение нашей авиации, диктовать уже начали мы.

Войска 65-й армии перешли в контрнаступление и еще более расширили плацдарм. Мы смогли ввести на него дополнительно 70-ю армию. Теперь уже можно было думать не об обороне (хотя урок, конечно, был учтен!), а о подготовке этого плацдарма как трамплина для очередного броска войск в пределы Германии.

Получив ориентировочные предположения Ставки о направлении действий войск 1-го Белорусского фронта, мы своим коллективом начали отрабатывать элементы плана новой фронтовой наступательной операции. Основные идеи: нанесение главного удара с Пултусского плацдарма на Нареве в обход Варшавы с севера, а с Магнушевского и Пулавского плацдармов — глубокий удар южнее Варшавы в направлении на Познань. Соответственно этому намечалась группировка сил. Эти соображения начальник штаба фронта М. С. Калинин доложил Генеральному штабу, они были утверждены Ставкой. С этого момента для отработки операции были привлечены командармы и их штабы.

Место фронта в операции было понятно, и все мы горели желанием как можно лучше подготовить себя и войска к этой интереснейшей и красивой наступательной операции. Но не суждено было мне в ней руководить войсками 1-го Белорусского фронта...

Вернулся я к себе на КП после поездки на Пулавский плацдарм за Вислой, занимаемый войсками генерала Колпакчи. С ним мы были знакомы по Белорусскому военному округу еще в 1930—1931 годах, когда я командовал 7-й Самарской кавдивизией имени английского пролетариата, а Колпакчи был начальником штаба стрелкового корпуса. Вот с этим культурным, высокообразованным в военном отношении генералом мы и отрабатывали весь день варианты действий 69-й армии с Пулавского плацдарма.

Уже был вечер. Только мы собрались в столовой поужинать, дежурный офицер доложил, что Ставка вызывает меня к ВЧ. У аппарата был Верховный Главнокомандующий. Он сказал, что я назначаюсь коман-

дующим войсками 2-го Белорусского фронта. Это было столь неожиданным, что, не подумав, я тут же спросил: «За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на второстепенный участок?..» Он ответил, что фронт, на который меня переводят, входит в общее Западное направление, на котором будут действовать войска трех фронтов: 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского; успех этой решающей операции на Западном направлении будет зависеть от тесного взаимодействия этих фронтов, поэтому на подбор командующих Ставка обратила особое внимание.

Касаясь моего перевода на 2-й Белорусский фронт, Сталин напомнил мне, что я в свое время высказывался против такой руководящей инстанции, как представитель Ставки. «Вот мы, — сказал Сталин, — и решили сейчас этих представителей упразднить, а Жуков попросил назначить его командующим 1-м Белорусским фронтом». Сразу же Сталин задал вопрос, не считаю ли я, что Жуков менее способен командовать фронтом? Я ответил ему, что Верховный Главнокомандующий, по-моему, выбирал себе заместителя из числа наиболее способных и достойных генералов. Я почувствовал, что Сталин остался доволен таким ответом, и затем в теплом тоне сообщил, что на 2-й Белорусский фронт возлагается очень ответствен-

ная задача, фронт будет усилен дополнительными соединениями и средствами, а в заключение высказал такую мысль: «Если не продвинетесь вы и Конев, то откуда не продвинется и ваш Жуков...» А почему он назвал Г. К. Жукова «нашим», осталось для меня непонятным. Заканчивая, Сталин заявил, что не будет возражать, если возьму с собой на новое место тех работников штаба и управления, с которыми сработался за долгое время войны. Поблагодарив за заботу, я передал, что наденюсь и на новом месте встретить способных работников и хороших товарищей. Он ответил коротко: «Вот за это благодарю!..»

Этот разговор по ВЧ происходил примерно 10 ноября, а на другой день я выехал к месту нового назначения. Маршал Жуков тогда еще не прибыл. Спустя некоторое время я решил поехать встретиться с ним и попрощаться с товарищами.

Был как раз праздник артиллерии, и мы провели вечер в тесной командирской семье. Высказано было много пожеланий. Тепло распрощавшись с Георгием Константиновичем и со своими сослуживцами, в бодром настроении я вернулся во 2-й Белорусский фронт. Я был доволен собой, что не поддался соблазну и никого из своих сотрудников не «потянул» с собой. Я и здесь встретил достойных офицеров как в штабе фронта, так и в управлении. Мы быстро, как говорят, сработались.



Вице-адмирал В. С. Черков

## Ладожцы



### Плывать до последней возможности

9 октября 1941 года меня вызвали в Смольный. В октябре семнадцатого здесь располагался штаб революции. Отсюда великий Ленин руководил штурмом старого мира. Сейчас, в грозные для страны дни, Смольный снова стал боевым штабом — штабом обороны Ленинграда.

Меня принял адмирал Иван Степанович Исаков, заместитель наркома Военно-Морского Флота и заместитель главнокомандующего Северо-Западным направлением. Он сказал мне:

— Вы назначены командующим Ладожской флотилией.

Коротко знакомит с обстановкой. Положение тяжелое. Город в кольце блокады. Единственный путь, по которому теперь можно доставлять в Ленинград продовольствие, подкрепление, боеприпасы, — Ладожское озеро.

В заключение адмирал предложил не тять времени. Каждый час дорог.

Побывал в штабе флота (флотилия входит в состав Балтийского флота), в городском комитете партии получил необходимые сведения и распоряжения. На машине собираюсь до Осиновца, который стал теперь перевалочной базой — сюда доставляются грузы с восточного берега озера. Ожидал увидеть город, в крайнем случае поселок. А здесь лишь маяк — высокая башня, разрисованная для приметности широкими красными полосами, несколько полуразрушенных домиков и недостроенный причал — гряда камней, на ней настил из бревен и досок.

Погода жуткая — дождь, ветер. С возвышенности у маяка всматриваюсь в водную гладь. Я привык к морю, к простору, соленому ветру. А здесь даже сквозь пелену дождя иногда проглядывается противоположный берег. Но волны настоящие. Мохматые, пенистые, они с шумом обрушиваются на берег. Только что подошедшие к причалу небольшие баржи неистово раскачивает. Но люди не обращают внимания ни на ледяные брызги, ни на пронизывающий ветер. Вереницей бегут по причалу с тяжелыми мешками на плечах. Скорее, скорее! Ленинграду нужен хлеб!

Беседуем с капитаном 1-го ранга Николаем Юльевичем Авраамовым, заместителем командующего флотилией. Он хмур, подавлен. На днях отсюда они направляли корабли с десантом в Шлиссельбург. Потеряли много людей, а выбить врага не смогли. И здесь не все клеится. Надо срочно построить порт. Но не хватает рабочих рук, материалов. Даже причал вот никак не удается достроить, хотя саперы и зпоровцы трудятся без сна и отдыха.

Катер — морской охотник не смог выйти из-за шторма. Вот тебе и озеро!

К утру дождь стих. Но шторм не унялся. Выход снова пришлось отложить.

В полдень в пасмурном небе появились самолеты. Их было много. Наперехват им ринулся один-единственный наш истребитель. Дерзко и отчаянно он насккивал на врага. Но что мог сделать один «ястребок»? «Юнкерсы» развернулись и начали бомбить причал. Матросы и солдаты попрыгали в щели, в землянки. Наконец самолеты улетели. Мы с Авраамовым кинулись к причалу. Николай Юльевич призвал к спокойствию немного растерявшихся людей, быстро расставил их снова по местам.

Мы осмотрели последствия бомбежки. Причал местами разрушен. Саперы и зпоровцы уже восстанавливали настил. Бомба попала в одну из барж, и она села на грунт — благо что глубина здесь неболь-



Десант направляется  
к вражескому берегу.

шая. Облачившись в водолазные скафандры, матросы-эпроновцы работают в полузатопленных трюмах, достают мокрые мешки, подают их на причал. Смелчаков то и дело с головой накрывает волна.

Выйти из Осиновца смогли только на следующий день. Шторм для моряка не диво. На Балтике волны, случается, достигают нескольких метров высоты. Но там они пологие. Здесь, на мелководье, волны ниже, зато очень крутые и потому кажутся особенно злыми. Морской охотник с трудом преодолевает их.

Да, такое озеро и морю не уступит.

У восточного берега шторм немного стих. Командир убавил ход. Входим в Волховскую губу. Здесь бар — песчаная отмель, намытая с одной стороны течением реки, с другой — волнами озера. Преодолеть бар можно только по узкому фарватеру, который постоянно заносит песком. Поэтому корабли и суда покрупнее в порт не заходят, их грузят на рейде.

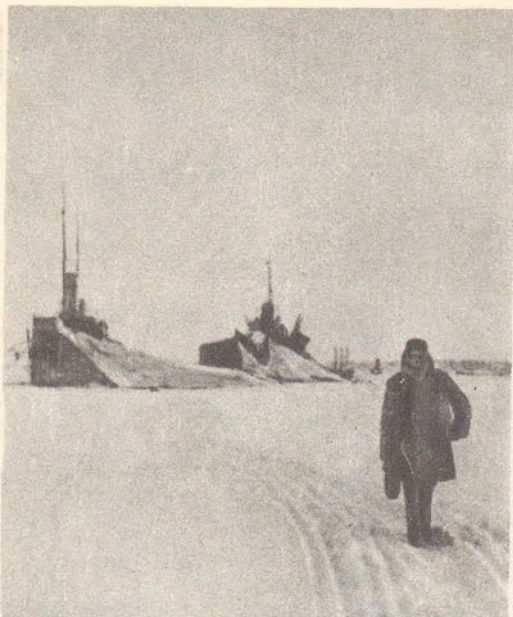
Новая Ладога — небольшой старинный город. Штаб флотилии разместился в двух-

этажном каменном доме. Меня встретили начальник штаба флотилии капитан 1-го ранга С. В. Кудрявцев, комиссар флотилии бригадный комиссар Ф. Т. Кадушкин, начальник оперативного отдела штаба капитан 2-го ранга Г. А. Визель.

На следующий день я принял дела у своего предшественника контр-адмирала Б. В. Хорошихина. Я знал его еще по Балтике. Отважный и знающий моряк. Я с удовольствием выполнил поручение командующего флотом и вручил этому замечательному человеку орден Красного Знамени, которыми он был награжден за минные постановки и высадку десанта в Рижском заливе.

Борис Владимирович покидал Ладогу в связи с новым назначением.

С. В. Кудрявцев познакомил меня с обстановкой. Она неважная. Большая часть побережья занята врагом. В нашем распоряжении нет ни оборудованных портов, ни хороших подъездных путей. Движение кораблей почти повсюду осуществляется на виду у противника. На побережье не затихают бои. Мы взаимодействуем с вой-



В ледовом плену.

сками армий трех фронтов — Ленинградского, Волховского, Карельского. В их штабах находятся наши офицеры связи. Пехотинцы то и дело просят помощи. Моряки охотно идут навстречу, но сил у нас мало. Да и самим приходится отбиваться от ударов. Ведь все время находимся под прицелом врага.

13 октября, на другой день по прибытии в Новую Ладогу, я вступил в командование флотилией.

Время не ждало. Ленинград уже испытывал трудности с продовольствием. Помочь городу могли только мы, ладожцы. Весь поток продовольствия, оружия, боеприпасов, медикаментов и множества других грузов теперь шел через озеро.

Для перевозок было мобилизовано все — и транспорты, и баржи, и боевые корабли. Плечом к плечу с военными моряками трудилась речники Северо-Западного пароходства, которое оперативно подчинялось командованию флотилии.

Для планирования перевозок, руководства ими и контроля за движением кораблей и судов по озеру была создана специ-

альная оперативная группа во главе с моим заместителем по перевозкам капитаном 1-го ранга А. И. Эйстом. Они работали рука об руку с заместителем начальника пароходства А. Н. Новоселовым, которому непосредственно подчинялись речники.

Командующий Карельским фронтом генерал армии К. А. Мерецков прислал телеграмму с просьбой прибыть к нему. На автомашине выехал в Лодейное Поле. На командном пункте фронта К. А. Мерецков коротко познакомил меня с состоянием войск, пожаловался на недостаток оружия, а потом вдруг сказал:

— Выручайте. С секретарем городского комитета партии товарищем Кузнецовым я уже переговорил. Он обещал помочь. Но перевезти оружие можете только вы, моряки.

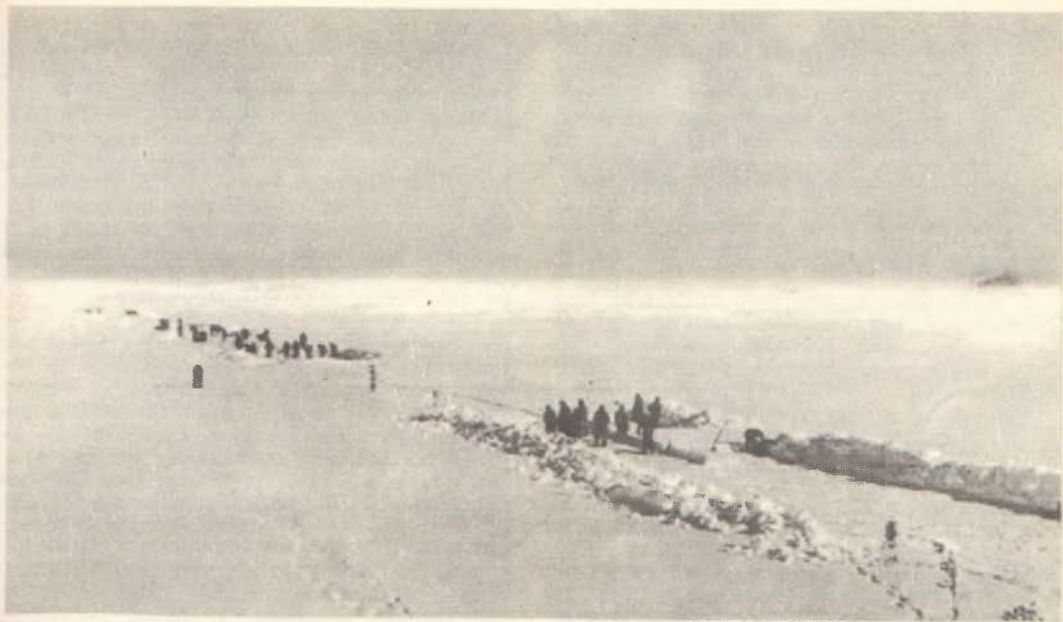
Вместе с офицерами штаба фронта в Ленинград отправились представители флотилии. Им удалось на ленинградских заводах достать минометы и автоматы. Для переброски этого драгоценного груза была выделена канонерская лодка. Трудно описать радость, с какой армейцы разгружали корабль.

В середине октября положение еще более обострилось. Враг начал наступать на Тихвин и Волхов. Мы получили приказ срочно перебросить с западного на восточный берег озера 44-ю и 191-ю стрелковые дивизии и 6-ю отдельную бригаду морской пехоты. Для руководства перевозками я с группой офицеров штаба переехал в Осинец, где был развернут выносной пункт управления.

Враг шел на все, чтобы помешать нам. Его авиация бомбила места сосредоточения войск. А погрузка затягивалась. Не хватало кораблей и судов. Как назло, грянули штормы.

Только 24 октября первые суда с войсками отправились в Новую Ладогу. Вскоре мы столкнулись с новой бедой: ударили морозы, у берегов появился лед. Все-таки 8 ноября флотилия доставила на восточный берег озера 20 334 бойца, 123 орудия, более сотни танков, автомашин, тракторов и около тысячи лошадей. Войска, сойдя на берег, немедленно шли на передовую и с ходу вводились в бой.

В ноябре противник вплотную приблизился к Волхову. От него до Новой Ладоги оставалось 25 километров. Падение Волхова означало бы потерю последней железной дороги, по которой к озеру поступали грузы из глубины страны. Вражеское кольцо вокруг Ленинграда замкнулось бы наглухо.



Так пробивали дорогу для кораблей.

Я приказал снять часть пулеметов с кораблей и судов и передать пехотинцам. Конечно, трудно было принимать такое решение — ведь мы тем самым снижали огневую мощь кораблей. Но пошли на это, чтобы помочь армии остановить противника. Прибывший к нам на должность помощника командующего флотилией по сухопутной части генерал-майор Г. С. Зашихин мобилизовал все силы для расширения фронта оборонительных работ. Новую Ладогоу опоясали окопы и минные заграждения. Сотни моряков с кораблей, из частей и учреждений флотилии были сведены в отряды для сухопутной обороны города.

На третьи сутки боев на подступах к Волхову противник был остановлен.

Мы продолжали перевозить грузы Ленинграду, хотя с каждым днем плавать было все труднее. Штормы и лед мешали движению кораблей. К концу ноября ледовый припай достиг местами нескольких километров. А осажденный Ленинград голодал. Военный совет Ленинградского фронта при-  
слал телеграмму:

«Продолжать до последней возможности перевозки грузов канлодками и транспортами с Новой Ладогой в Осиневец и обратно».

Да и сами ладожцы понимали, что останавливать перевозки нельзя. На лед с пилами, пешнями и взрывчаткой вышли моряки, речники и все население Новой Ладогой. С огромным трудом они пробивали во льду каналы, чтобы по ним могли пройти суда.

Но мороз делал свое дело. Многие корабли так и не смогли дойти до причалов. Вмерзнув в лед, они остались зимовать на рейдах. Так, в открытом озере, на расстоянии от 8 до 23 миль от Новой Ладогой затерло льдами канонерские лодки «Лахта» и «Шексна», корабль связи «Связист», спасательный корабль «Сталинец», тральщик «ТЩ-63», транспорты «Ханси» и «Стензо». С 5 декабря на эти корабли доставлялось продовольствие и топливо по льду на машинах.

Первая военная кампания на озере пошла к концу. К этому времени корабли Ладожской военной флотилии и суда Севе-



ро-Западного речного пароходства доставили на западный берег 61 700 тонн различных грузов. Оценивая напряженный труд ладожцев, 2 октября 1942 года «Правда» писала: «Ни налеты фашистских разбойников, ни артиллерийские обстрелы — ничто не могло остановить движения судов. Что нужно фронту, поставлялось в любых условиях».

### В ледовом плену

С поломанными винтами, помятыми корпусами корабли застыли там, где их застигнул ледостав. Их командам долгие месяцы предстояло жить посреди белоснежной пустыни.

Вмерзшие в лед корабли превратились в неподвижную мишень для вражеской авиации. Правда, моряки постарались побыстрее замаскировать их. Окружили корабли глыбами льда, надстройки покрыли белой краской, засыпали снегом. Теперь их трудно отличить от торосов.

Начальник политотдела Ф. Т. Кадушкин в любую метель, в лютой мороз пешком добирался до зимующих кораблей, беседовал с матросами и офицерами, пытался хоть как-нибудь облегчить их жизнь-бытьё.

Чуть выдавалось время, отправлялся и я на корабли, зимовавшие во льду. Чаще всего бывал на канлодках в Осиновце. Теперь еще ближе смог ознакомиться с ними и их людьми. Прямо скажем, сегодняшний военный моряк с трудом признал бы в этих посудинах боевые корабли. Раньше это были простые шаланды, которые отвозили грунт, поднятый со дна землечерпалками. Их наспех переоборудовали. Шлюзы в днище, раскрывавшиеся, когда надо было выбросить засыпанный землечерпалкой песок, наглухо закрепили электросваркой, сверху покрыли настилом. Установили две стотридцатки с миноносцев, четыре зенитные пушки, пулеметы. И все-таки это были настоящие боевые корабли. Воевали они отлично, вызывая восхищение наших друзей пехотинцев. Большая грузоподъемность давала возможность использовать канлодки для перевозки значительного количества грузов. В случае нужды канлодки превращались в буксиры и тащили за собой тяжелые баржи.

Сейчас канлодки ремонтировались. Машинные отделения были загромаждены деталями разобранных механизмов.

Работы было невпроворот. Приходилось не только восстанавливать изрядно изношенные механизмы и корпуса судов, но и строить мастерские. В Кабоне и Осинов-

це мастерские располагались в землянках. Корабли, вмерзшие в лед, обслуживались передвижными техническими станциями, смонтированными на автофургонах. Оборудование было примитивным — токарный и сверлильный станки, переносные горны. Но и их появлению моряки были рады. Люди трудились, не считаясь со временем. А надо было не только ремонтировать корабли, но и защищать их от вражеской авиации, заботиться о круговой сухопутной обороне стоянок. В окопах, вырубленных во льду, день и ночь дежурили дозоры.

Прибавьте к этому недоедание. Продовольствия не хватало, люди слабели. Но все знали: ленинградцам еще труднее. В политотдел, в нашу флотильскую газету «За Родину» стали поступать письма моряков. Они предлагали из своего и без того скудного пайка отчислять часть продуктов для ленинградских детей. Предложения были подхвачены всеми ладожцами. И мне не раз доводилось видеть, с каким волнением матросы рассматривали рисунки, начертанные детскими ручонками, читали письма из детских домов и садов — ребята благодарили моряков. И люди забывали про холод и усталость. Знали, что трудятся для спасения этих ребят, для спасения Ленинграда. А Ленинград, в свою очередь, помогал нам. Он присылал нам станки и материалы. В промерзших, обстреливаемых цехах люди, еле державшиеся на ногах от голода, строили для Ладоги баржи (они доставлялись к нам в разобранном виде) и тендеры — небольшие суда, которые так пригодились здесь с началом навигации.

Мы проклинали лед, сковавший наши корабли. И вместе с тем с нетерпением ждали, когда он окрепнет. Лед на Ладоге стал надеждой и спасением Ленинграда. Моряки гидрографического отделения флотилии пристально следили за ледоставом. Лейтенант Евгений Петрович Чуров (ныне он профессор, доктор технических наук), человек отчаянно смелый, несколько раз доходил до кромки берегового припая. Наконец ему с помощниками удалось пройти с одного берега на другой. За собой они тащили санки с вехами, обозначая дорогу. Так впервые была пройдена трасса, по которой через несколько дней двинулся нескончаемый поток грузовиков. Знаменитая ледовая Дорога жизни стала действовать.

Я не раз проезжал по этой трассе. Это было незабываемое зрелище. По заснеженной равнине, в которую превратилось озеро, шли десятки, сотни, тысячи машин. Они двигались по нескольким параллель-

ным маршрутам, то сближаясь, то удаляясь друг от друга, то строго прямо, то кружным путем, объезжая полыньи, образовавшиеся от вражеских бомб и снарядов. Здесь же на льду несли свою службу зенитчики, прикрывавшие огнем ледовую трассу. В продуваемых всеми ветрами палатках работали врачи, оказывая первую помощь раненым и обмороженным шоферам и дорожникам. В хмуром зимнем небе барражировали наши «ястребки», то и дело вступая в бой с вражеской авиацией.

Зенитная артиллерия флотилии вошла составной частью в общую систему противозенитной обороны трассы. Наши береговые артиллеристы вели борьбу с вражескими батареями, когда те пытались помешать движению на Дороге жизни.

На берегах озера не прекращалось строительство. Вырастали порты и причалы, оснащались погрузочно-разгрузочными механизмами. К ним подводились железнодорожные и автомобильные пути. Строить — под обстрелом и бомбежками — было трудно. Только что созданные сооружения подчас разрушались так, что их приходилось возводить заново.

Зима близилась к концу. Не только мы, ладожцы, но и вся страна, особенно многострадальный Ленинград, с нетерпением ожидали начала навигации на озере. У нас появились новые заботы. Подвижка льда грозила бедой кораблям, зимовавшим на рейдах и в открытом озере. Чтобы спасти их, был создан специальный отряд во главе с начальником штаба флотилии капитаном 1-го ранга С. В. Кудрявцевым. Походный штаб отряда возглавлял капитан 2-го ранга А. В. Соколов. Сотни моряков снова вооружились пешнями и взрывчаткой. Тяжелая и опасная работа дала свои плоды — ни один корабль не пострадал.

## Вторая военная навигация

Противник зорко следил за нашими приготовлениями к навигации. Кораблям и судам вместе с береговой зенитной артиллерией все чаще приходилось отражать воздушные налеты.

22 мая 1942 года с группой офицеров штаба флотилии и представителями Северо-Западного речного пароходства я прибыл на новые причалы в Кабоне встретить ледокольный буксир «Гидротехник», совершивший первый рейс. Путь от Осиновца до Кабоны по самой короткой трассе занял почти сутки. По чистой воде судно прошло бы это расстояние менее чем за час.

Навигация 1942 года была открыта.

Над озером стоял сплошной туман. Но суда одно за другим отправлялись в путь. На их борту — сотни тонн продовольствия. На палубах тесно от людей — на западный берег направлялись бойцы и командиры — пополнение для Ленинградского фронта и Балтийского флота. 28 мая Осиновец — это был уже порт, располагающий причалами и необходимым оборудованием, — принял первый караван самоходных и несамоходных судов с грузами для Ленинграда.

Чуть туман рассеялся, над портами появились вражеские самолеты.

О стремлении противника любой ценой помешать перевозкам через озеро свидетельствует хотя бы тот факт, что в течение трех дней вражеская авиация совершила около 500 самолетовылетов. Но даже такие массированные удары не дали противнику успеха.

Понимая, что одной авиацией навигации не сорвать, враг сосредоточил на Ладоге свои корабли. Немцы перебросили сюда шесть минных заградителей и три десятка больших и малых десантных барж, ранее предназначавшихся для высадки десанта в Англию. Муссолини направил на Ладогу четыре торпедных катера, финское командование — несколько транспортов и катеров различных типов. Так на Ладожском озере образовалась объединенная немецко-итало-финская флотилия, включавшая в себя, кроме кораблей, более двух десятков истребителей и других самолетов.

Все это заставляло нас усилить бдительность, быть готовыми к любым неожиданностям.

А на Ладоге кипела жизнь. По углубленным фарватерам между Кабоной и Осиновцом двигались транспорты и тендеры. Буксиры и тральщики тянули тяжело груженные баржи.

Темп перевозок непрерывно нарастал. Ладожцы работали круглыми сутками. На обоих берегах озера ни на минуту не смолкал гул погрузочно-разгрузочных работ. Ленинград все в больших количествах получал все необходимое для жизни и борьбы. Обратным рейсом корабли и суда забирали тысячи женщин, стариков и детей, оборудование эвакуированных фабрик и заводов.

Между Кабоной и Осиновцом курсировали десятки тендеров. Теперь мы по достоинству оценили эти небольшие суда, присланные нам рабочими Ленинграда. Снабженные обычными автомобильными двига-

телями, тендеры поднимали 15—25 тонн груза. Обслуживались они командой из 2—3 человек. Это были самоотверженные и неутомимые люди. Отдыхали они урывками — пока шла погрузка и разгрузка. Днем и ночью водили они свои суденышки. Ходили сейнеры без охранения, за ними охотились вражеские самолеты. Подчас старшина подводил судно к причалу, и только тогда мы узнавали, что моряк тяжело ранен. Истекая кровью, он не выпускал руля из рук. Не думал о своей жизни, думал только о том, чтобы доставить груз и пассажиров по назначению.

Командовал отрядом тендеров капитан 1-го ранга Ф. Л. Юрковский. Людей не хватало. Часто в команды тендеров назначались совсем не подготовленные ребята. Юрковский терпеливо обучал и воспитывал их.

Между экипажами тендеров развернулось соревнование: кто больше совершит рейсов. Юрковский всячески поддерживал и поощрял отличившиеся экипажи, добиваясь, чтобы их опыт стал достоянием всех. Много времени на тендерах проводили и работники политотдела флотилии во главе со своим начальником бригадным комиссаром Л. В. Серебренниковым.

Все жили одним желанием — как можно больше и быстрее доставить грузов в Ленинград. Самоотверженно работали моряки нашего немногочисленного отряда транспортов. Эти большие и тихоходные суда чаще всего оказывались объектом атак вражеских самолетов. Вооружение на транспортных было слабое. И все-таки зенитчики судов бесстрашно вступали в бой. Во время рейса из Осиновца на восточный берег транспорт «Ханси» был атакован несколькими фашистскими бомбардировщиками. Моряки героически отбивались. В этом бою погиб командир судна старший лейтенант Г. П. Коркин, тяжело ранен военком старший политрук Богданов. Командование принял на себя старшина 1-й статьи Седов, который тоже был ранен. С залитым кровью лицом, он стоял у штурвала и все же привел судно в Кабону. Пассажиры транспорта — сотни ленинградских детей — были спасены.

С восхищением военные моряки отзывались о своих боевых соратниках — речниках Северо-Западного пароходства. Эти гражданские люди в смелости и мужестве не уступали закаленным воинам. Озерные буксиры «Буй» и «Морской лев», возглавляемые капитанами А. П. Патрашкиным и В. Г. Ишеевым, ходили в туман и шторм,

ведя за собой по две-три, а иногда и четыре баржи.

Мне запомнился случай в Осиновце, когда на порт налетели вражеские самолеты. У причала стояла баржа с боеприпасами. Первое же попадание в нее могло вызвать страшный взрыв, от которого несдобровала бы вся база. В самый опасный момент к барже подошел речной буксир «Ростов». Капитан И. П. Копкин спокойно распоряжался на мостике. Матросы, выполняя его команды, закрепили на барже трос, и буксир потащил баржу от причала, искусно маневрируя, чтобы не попасть под бомбы. Все это делалось с величайшей невозмутимостью. А ведь вода кругом кипела от взрывов, и осколки со свистом летели над самой палубой парохода.

В другой раз я видел, как буксир «Никулясы» тащил за собой несколько барж. Воз, как говорят речники, растянулся на добрых полкилометра. Над ним с ревом пронеслись фашистские бомбардировщики. Буксир продолжал тащить баржи. На мостике стояла женщина. Сдержанно, без всякого видимого волнения она подавала команды рулевому и в машинное отделение, словно и не было над головой никаких самолетов. Позже я спросил, кто это такая. Мне сказали: второй помощник капитана Татьяна Киселева; прошлую навигацию плавала матросом, а теперь на капитанском мостике...

Чтобы ускорить вывоз из Ленинграда необходимого стране промышленного оборудования и подвижного железнодорожного состава, судостроители в короткий срок создали специальные большие баржи-паромы. На них вкатывались паровозы и вагоны. Тральщики и буксиры доставляли эти баржи в Кабону. Там паровозы сходили на причалы, подцепляли вагоны, и составы отправлялись в глубь страны. Такое нововведение значительно облегчало дело, исключая перевалку грузов в портах. Но паромов не хватало. Помогла находчивость речников. Они заявили, что цистерны можно перевозить и без паромов. Попробовали. По наклонному полотну — слипу — цистерны скатывали в воду. У них оказался достаточный запас плавучести, они отлично держались на поверхности. И их буксировали, как обычные баржи. Вскоре мы таким образом стали переправлять через озеро и цистерны с горючим.

Летом эпроновцы под командованием инженер-капитана 1-го ранга М. Н. Чернецкого стали прокладывать по дну озера кабели и трубопроводы. В этой сложной работе и мы приняли посильное участие.

Ленинград получил телефонную и телеграфную связь со страной. В блокадный город по подводному кабелю пошел ток с Волховской ГЭС. В Ленинграде ожили трамваи, заработали машины и станки на предприятиях, в квартирах ленинградцев загорелся свет. По трубопроводу, проложенному по дну озера, потекли в осажденный город нефть и бензин.

### Конец вражеской флотилии

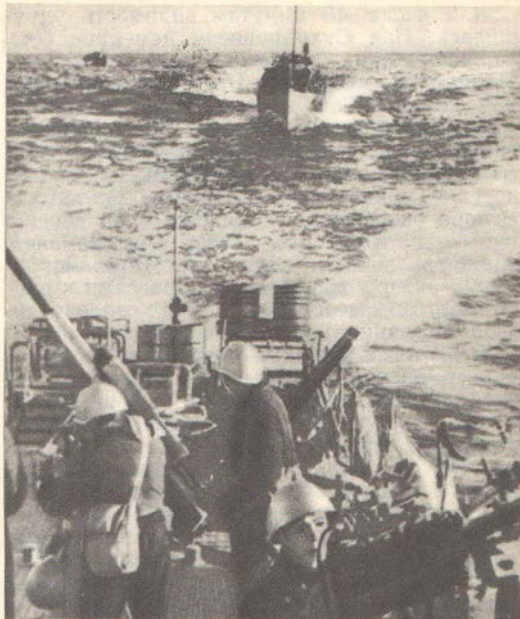
Перевозки по озеру были для нас важнейшим делом. Но нам приходилось не только ими заниматься. Моряки флотилии вели и боевые действия, подчас очень тяжелые. Летчики взаимодействующей с нами авиации КВФ, наши зенитчики вместе с зенитчиками Ленинградского фронта отбивали налеты вражеских самолетов. Корабли несли дозорную службу, вели разведку, поддерживали огнем приозерные фланги сухопутных войск. Сформированные нами отряды морской пехоты участвовали в боях в районах Мги, Синявинских высот и Малой Дубровки.

В сентябре немецко-фашистское командование вновь предприняло попытку захватить Ленинград. Оно стягивало сюда войска из Крыма, из-под Волхова. Однако командование Ленинградского фронта своевременно вскрыло замыслы противника и на ряде участков во взаимодействии с войсками Волховского фронта провело наступательные действия. Созданная гитлеровцами группировка была обескровлена в боях, и враг был вынужден отказаться от своего намерения.

Именно в это время враг планировал удар по нашей флотилии. Летчики сообщали нам, что противник сосредоточивает в шхерах десантные корабли и катера. Вражеские катера стали прорываться и на наши трассы. Мы усилили охрану конвоев. Еще больше внимания стали уделять разведке. У всех портов были усилены наблюдательные посты и развернуты дополнительные корабельные дозоры.

Наши опасения оправдались. Утром 22 октября около 30 десантных барж и катеров противника, пользуясь низкой облачностью, дождевыми и снежными зарядами, скрытно подошли к расположенному в южной части озера острову Сухо. На этом небольшом искусственном острове (90 метров длиной и 60 метров шириной) стоял маяк и размещалась батарея из трех стомиллиметровых пушек. Гарнизон острова насчитывал около сотни человек.

В 7 часов 15 минут с дистанции 30 ка-



В дозоре.

бельтовых противник открыл по острову огонь и вслед за этим начал высаживать десант на катерах и резиновых шлюпках.

Но еще за четверть часа до этого вражескую флотилию, несмотря на туманную мглу, обнаружил наш дозор: тральщик «ТЩ-100» под командованием старшего лейтенанта П. К. Каргина и сторожевой катер «МО-171» старшего лейтенанта В. И. Ковалевского. Заметив корабли, приближающиеся к острову строем фронта, тральщик открыл по ним огонь и донес по радио в штаб флотилии: «Веду бой с десантом противника». Открыл огонь по врагу и морской охотник.

Неприятельские корабли заметил и наблюдательный пост на острове. Артиллеристы заняли места у орудий и начали стрелять по приближающимся кораблям. Вражеские снаряды подожгли маячное здание. Располагавшийся там дальномерный пост и радиостанция вышли из строя. Осколками был ранен командир батареи старший лейтенант И. К. Гусев, но он продолжал руководить боем.

К 7 часам 48 минутам видимость улучшилась. Над Сухо повисли немецкие бомбардировщики. Вражеские десантники уже высадились на остров. Завязалась рукопашная схватка. Тем временем артиллеристы продолжали вести неравный бой с фашистскими кораблями. Им удалось добиться прямого попадания в десантную баржу, и она, потеряв управление, выскочила на камни. Вскоре была повреждена еще одна десантная баржа и потоплен катер. Тем временем наши тральщик и морской охотник, маневрируя и прикрываясь дымзавесами, продолжали вести бой, стремясь отвлечь на себя внимание противника.

Известие о бое застало меня на западном берегу озера, в Осиновце. Я поджидал здесь командующего флотом вице-адмирала В. Ф. Трибуца и командующего авиацией флота генерал-лейтенанта М. И. Самохина. Когда начальник штаба флотилии капитан 1-го ранга С. В. Кудрявцев доложил мне о появлении у Сухо десантных сил противника, я приказал немедленно направиться к острову корабли. Такое же распоряжение я дал командиру военно-морской базы Осиновец, уважаемому на флоте моряку капитану 1-го ранга А. Г. Ванифатьеву. Узнав, в чем дело, Трибуц решил, что надо как можно скорее идти в Новую Ладогу, в штаб флотилии, откуда удобнее управлять действиями. Здесь мы узнали, что пока находились в пути, из Новой Ладоги вышел отряд кораблей под командованием капитана 3-го ранга П. А. Куриата в составе канонерской лодки «Нора», четырех сторожевых катеров и трех тральщиков, а из Осиновца — канонерские лодки «Бира» и «Селемджа», два бронекатера, два торпедных катера и два сторожевых катера. Командовал этим отрядом капитан 1-го ранга Н. Ю. Озаровский.

На командный пункт стекались донесения о действиях всех наших сил. Стало известно, что первая попытка противника высадить десант отбита, хотя это потребовало от гарнизона острова огромных усилий. Фашисты уже вплотную подступили было к оружейным дворикам батареи. Но артиллеристы отбросили врага, оттеснили к западной части острова.

По приказанию командующего флотом генерал-лейтенант М. И. Самохин поднял в воздух самолеты морской авиации, связавшись с командующими авиацией Ленинградского и Волховского фронтов и согласовал с ними организацию совместных ударов по противнику. Чтобы гарантировать точность выбора целей на озере, на ведущие самолеты

эскадрилий фронтовой авиации были посланы морские летчики-наблюдатели.

В 9 часов 30 минут над островом появилась наша авиация. Первой по противнику ударила группа С. С. Беляева, вслед за ней — группа А. А. Мироненко. Несмотря на численное превосходство немецких истребителей, наши летчики, ведомые Г. В. Крайновым, сбили несколько «мессершмиттов».

С подходом нашей авиации гарнизон острова сбросил в воду остатки вражеского десанта. Герои этого боя — командир батареи старший лейтенант Гусев, старшина батареи Мартынов, командиры орудий Пугач, Баскаков и Зубков, сигнальщики Антоенко и Валинович, командир пулеметного расчета Ушаков и многие другие.

Действиями гарнизона острова, авиации и отрядов кораблей, ушедших из Новой Ладоги и Осиновца и в разное время вступивших в бой с противником, была сорвана попытка неприятельской флотилии захватить остров. Наши корабли и авиация преследовали врага до наступления темноты. От ударов авиации, огня наших кораблей и батареи острова противник потерял 17 десантных судов и 14 самолетов. Трофеями ладожцев стали десантный катер «У-6», оборудованный под плавучую ремонтную мастерскую, и большая десантная баржа. Отремонтированные, они вошли в состав нашей флотилии. Противник потерял сотни солдат и матросов.

В бою у острова Сухо была фактически разгромлена фашистская флотилия на озере. Успешно проведенная ладожцами противодесантная операция еще раз продемонстрировала зрелость наших командиров, мужество, волю к победе и высокую выучку всех моряков.

События у Сухо не отразились на перевозках. Движение по озеру не затихало. По многим признакам мы догадывались, что наши войска готовят мощный удар по врагу. Значит, им потребуются тысячи тонн боеприпасов, оружия, продовольствия. И моряки флотилии не жалели сил, чтобы вовремя доставить эти грузы.

А плавать становилось все труднее. По несколько суток подряд бушевали штормы. Едва они утихали, на корабли обрушивалась вражеская авиация. Мы подсчитали: за 194 дня навигации фашистские самолеты совершили по нашим базам и портам 142 дневных и 27 ночных налетов, сбросили около 7 тысяч бомб. Три тысячи этих бомб разного калибра были сброшены на конвои и одиночные корабли и суда, совершавшие переход по озеру.

Последний караван судов на западный берег прошел 7 января 1943 года. Неподалеку от пробивающихся во льду кораблей уже действовала автомобильная дорога. А последний корабль с грузом пришел 13 января, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов уже вели наступление.

Озеро сковал сплошной лед.

Настала пора подвести итоги. Надо сказать, что за всю свою историю Ладога, пожалуй, не знала столь интенсивного судоходства. За навигацию по озеру прошло в общей сложности 21 700 судов. Они перевезли в Ленинград 779 586 тонн различных грузов, более 16 тысяч голов скота, 41 638 кубометров леса. Усилия военных моряков и речников Ладоги помогли вырвать Ленинград из тисков голода и обеспечить войска фронта всем необходимым для прорыва вражеской блокады.

12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов начали наступление. 18 января их передовые части соединились юго-восточнее Шлиссельбурга. Это была историческая победа.

Инженерно-саперные части немедленно приступили к строительству железной дороги и мостов в узкой полосе прорыва, чтобы поток грузов из глубины страны в Ленинград пустить сквозным путем.

Немецко-фашистская авиация неистово бомбила район прорыва. Чтобы помочь строителям, химические подразделения флотилии ставили дымзавесы. Весной эту задачу стали выполнять катера-дымзавесчики. Вскоре по железной дороге пошли поезда.

### Праздник на нашей улице

В зиму 1942/43 года ладомцы провели ремонт кораблей уже в более спокойной обстановке. Теперь у нас был и опыт, да и более совершенная ремонтная база. Зима прошла в труде и учебе.

Навигация в 1943 году началась в апреле, значительно раньше, чем в предыдущие годы. Первое время пришлось плавать в тяжелых ледовых условиях. Обстановка требовала риска.

6 апреля мы проводили в рейс транспорт «Вилсанди». Его сопровождал ледокольный корабль «Шексна». Неподалеку от Кабоны транспорт был зажат льдинами. Ничто не помогло. Корпус судна не выдержал страшного давления. В трюмы хлынула вода. Команда и пассажиры, сняв с судна все наиболее ценное, сошли на лед. «Вилсанди» затонул. Это была самая крупная потеря в корабельном составе

за всю боевую историю Ладожской военной флотилии.

Несчастье с «Вилсанди» не остановило перевозок. Мы отправляли в путь все новые суда. Дело было в том, что единственная железная дорога, которую удалось протянуть в Ленинград, проходила всего в 7—10 километрах от линии фронта и подвергалась непрерывному артиллерийскому обстрелу. Поэтому пропускная способность ее была невелика. Значительный поток грузов продолжал идти по озеру.

Наибольшего размаха перевозки по озеру достигли в июле — октябре: мы перевозили войска, готовившиеся к большому наступлению.

Наконец настал день, который мы ждали и к которому готовились так долго. В январе 1944 года могучий удар войск Ленинградского и Волховского фронтов и моряков ныне дважды Краснознаменного Балтийского флота освободил Ленинград от вражеской блокады. 27 января город Ленина салютовал доблестным советским воинам, в том числе и морякам Ладожской военной флотилии и нашим верным соратникам — речникам Северо-Западного речного пароходства.

10—12 июня, когда войска Ленинградского фронта развернули наступление на Выборг, корабли флотилии под флагом командующего поддерживали артиллерийским огнем правый фланг нашей 23-й армии. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров попросил нас также произвести демонстративную высадку десанта в районе мыса Никулясы (о. Коневца). Эту задачу выполнил специально выделенный отряд кораблей. Действия флотилии оказали существенную помощь нашим наступающим частям, сковав значительные силы противника.

В середине июня меня не раз приглашал к себе командующий Карельским фронтом генерал армии К. А. Мерецков. Войска фронта готовились к Свирско-Петрозаводской наступательной операции. Перед нами была поставлена задача: высадить десант в составе 70-й отдельной бригады морской пехоты в районе Гумбарицы или бухты Андрусова у острова Сало. Одновременно мы должны были помочь пехотинцам форсировать реку Свирь и огнем корабельной артиллерии содействовать их наступлению вдоль побережья озера.

Изучив характер побережья и систему обороны противника, мы пришли к выводу, что лучшим местом для высадки десанта является район между реками Видлица и Тулокса. Район этот был в тылу против-

ника, в 70 километрах от линии фронта. Поблизости проходила железная и шоссе-вая дороги. Если мы их перережем, противник не сможет перебрасывать подкрепление своим войскам, а в случае поражения будет лишен возможности отводить части. К тому же характер прибрежной полосы способствовал высадке десанта: ровный берег, глубины возле него позволяют высадочным средствам подходить прямо к суше.

Согласовали наши соображения с командующим 7-й армией генерал-лейтенантом А. Н. Крутиковым. Замысел ему понравился. Вскоре наш план был одобрен командующим фронтом. План операции был разработан под руководством начальника штаба флотилии капитана 1-го ранга А. В. Крученых.

Высаживать десант мы будем на историческом месте. Именно здесь 27 мая 1919 года моряки молодой Онежской флотилии одержали крупную победу над белогвардейцами. Операция вошла в историю под именем Видлицкой. Мы свою операцию назвали Тулоксинской.

Общее командование операцией возлагалось на меня. Для участия в десантной операции флотилия выделила более 70 кораблей и катеров.

22 июня десант погрузился на транспорты и катера. Все корабли первого эшелона вышли на рейд, построились в походный ордер и в 15 часов 30 минут начали движение в район высадки. В полночь вышел второй эшелон десанта. Мой командный пункт был на канонерской лодке «Бира». Начальником походного штаба назначили капитана 1-го ранга К. М. Кузнецова.

Стояла тихая белая ночь. Светло как днем. Берег виден за двадцать миль. Естественно, что и противник нас мог заметить, так что на внезапность рассчитывать не приходилось. Поэтому большое значение мы придавали авиационной и артиллерийской подготовке плацдарма высадки. Точно по времени вывел корабли в точку поворота к берегу флагманский штурман флотилии капитан 2-го ранга В. Г. Паршин.

В 5 часов корабли отряда артиллерийской поддержки открыли огонь по берегу. Огнем управлял флагманский артиллерист флотилии капитан 1-го ранга Г. Н. Слизкой. Через несколько минут появилась наша авиация. Пока наносился удар по вражеской обороне, передовой отряд десанта на катерах и тендерах устремился к берегу. С их подходом огонь был перенесен в глубины вражеской обороны. С передовым отрядом на берег сошли корректировочные посты,

теперь стрельба велась с точным целеуказанием.

Авиация противника пыталась помешать высадке десанта. 18 бомбардировщиков налетели на наши корабли и суда. К нашему счастью, вражеские летчики не блеснули точностью.

Только одна бомба попала в цель — в десантную баржу «ДБ-51», захваченную нами у противника в 1942 году у острова Сухо. На ней были ранены семь человек. Судно получило незначительные повреждения и продолжало выполнять задачу.

Без существенных помех передовой отряд за полчаса высадился и основательно закрепился на берегу. В район высадки на торпедном катере прибыл командующий флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц.

К 9 часам 20 минутам под прикрытием дымовых завес и артиллерийского огня высадились войска первого эшелона. В 14 часов началась высадка второго эшелона.

Противник усиливал противодействие. Он подтянул артиллерию и минометы. Вокруг кораблей выросли высокие столбы воды, взметенные взрывами. Отдельные корабли получили повреждения, появились убитые и раненые. Но порыв моряков был неудержим. Пока одни вели огонь, другие заделывали пробоины, тушили пожары, восстанавливали поврежденные механизмы. Десантники на берегу успешно продвигались вперед. Сражались они героически. Мне вспоминается матрос-десантник Мошкин. Когда его окружили вражеские солдаты и хотели взять в плен, он выхватил гранату и бросил ее себе под ноги. Отважный воин погиб, предпочтя смерть плену. Нашли свою гибель и фашисты, обступившие советского матроса. Александру Ивановичу Мошкину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Морские пехотинцы заняли побережье. На севере они подошли к озеру Линдоя, на востоке перерезали шоссе и железную дорогу, а на юге почти вплотную приблизились к реке Тулокса.

Противник отчаянно сопротивлялся. Он перебросил к нашему плацдарму войска, бронепоезд и минометные батареи, то и дело переходил в контратаки, стараясь сбросить морских пехотинцев. Наши корабельные артиллеристы быстро нацупали бронепоезд и точными залпами заставили его замолчать.

24 июня погода стала резко ухудшаться. Подул свежий ветер, поднялась волна. Низкая облачность не давала взлететь авиации. Поддерживать десант могли только ка-

нонерские лодки и бронекатера. Их орудия стреляли почти беспрерывно. А враг успел перегруппировать силы. Сопротивление его усилилось, он то и дело переходил в контратаки. Наши части были вынуждены перейти к обороне. От командира высаженной морской бригады подполковника А. В. Блэка стали поступать тревожные донесения: в бригаде значительные потери, кончаются боеприпасы. Надо было срочно помогать морским пехотинцам. Еще интенсивнее стали вести огонь корабли. Я приказал отправить на берег все винтовочные патроны, а также 37- и 45-миллиметровые снаряды. Начальник тыла флотилии получил приказание срочно доставить боеприпасы для кораблей и морской бригады. Начальнику штаба, капитану 1-го ранга А. В. Кручных, который находился в это время в Свирице, я приказал ускорить посадку на суда подразделений 3-й морской бригады под командованием инженер-капитана 1-го ранга И. С. Гудимова, выделенной командующим фронтом для закрепления и развития успеха в районе высадки.

К 16 часам при сильной волне, под вражеским обстрелом к пунктам высадки подошли суда и высадили части 3-й морской бригады. Это резко изменило обстановку на берегу. Вражеские контратаки были отбиты. Большую поддержку десанту оказали доставленные речниками на баржах мощные гаубицы и крупнокалиберные зе-

нитные пушки. Артиллерийские дивизионы быстро сошли на берег и открыли огонь.

Наши части снова двинулись вперед. Шторм бушевал. Мелкие суда и катера порой совсем скрывались в волнах. Один катер выбросило на берег.

В полночь 27 июня подразделения десанта соединились с передовыми частями 7-й армии и вместе с ними перешли в наступление на Питкяранту. Наши корабли продолжали поддерживать их огнем артиллерии. Вскоре советские войска вышли на государственную границу СССР.

28 июня Тулоксинская десантная операция завершилась.

Родина высоко оценила героизм моряков. Ладожская военная флотилия была награждена орденом Красного Знамени. Это была награда за самоотверженную работу по снабжению блокадного Ленинграда, за бой у Сухо, за Свирскую и Тулоксинскую операции, за все ратные и трудовые подвиги, которые совершили моряки флотилии и их верные боевые друзья — речники Северо-Западного речного пароходства.

Фронт отодвинулся далеко на запад. Ладога стала вновь внутренним озером нашей страны. Военные моряки покинули его просторы. Впереди было еще много боев. Вчерашние ладожцы вместе со своими кораблями перешли на Балтику, чтобы вписать новые славные страницы в историю Великой Отечественной войны.





Генерал-полковник С. М. Штеменко

## Поездка в Тегеран



Днем 24 ноября 1943 года заместитель начальника Генерального штаба генерал А. И. Антонов сказал мне:

— Будьте готовы к отъезду. Возьмите карты всех фронтов и прихватите шифровальщика. Куда и когда поедете, узнаете позже.

Вопросов мы привыкли не задавать. Все было ясно и без того — предстоит какая-то важная поездка.

В два часа ночи за мной заехал полковник. Я доложил А. И. Антонову, взял портфель с картами, и мы тронулись в путь.

На улицах ночной Москвы, занесенных снегом и по-военному темных, было безлюдно. Лишь изредка встречались патрульные в полушубках и валенках.

Ехали быстро. Маршрута мне не сообщили. Занимая в машине заднее сиденье,

я пытался ориентироваться, вглядываясь в улицы и переулки сквозь неплотно зашторенное боковое стекло. Наконец определил: едем к Киевскому вокзалу. Скоро он остался позади.

На Можайском шоссе, где в то время высокие серые громады новых зданий соседствовали с приземистыми домиками прошлого столетия в один-два этажа, машина прибавила ходу. Промелькнуло еврейское кладбище. Москва закончилась.

Проделав несколько замысловатых поворотов после Кунцева, мы, наконец, выехали к железной дороге, на какую-то незнакомую мне воинскую платформу. На путях темнел поезд. Полковник подвел меня к одному из вагонов и коротко бросил:

— Поедете здесь.

В вагоне, кроме меня, никого не было. Проводник показал купе. Мелькнуло предположение: «Видимо, мне предстоит сопровождать на фронт кого-то из Ставки».

Вскоре за окном послышался скрип снега под ногами. В вагон вошли К. Е. Ворошилов и еще два человека. Климент Ефремович поздоровался и сказал:

— К вам явится комендант поезда. Скажите ему, где и на какое время нужно будет сделать остановку поезда, чтобы к одиннадцати часам собрать данные об обстановке по всем фронтам и доложить их товарищу Сталину. В последующем будете докладывать, как в Москве, — три раза в сутки...

Поезд тронулся. В вагоне я опять остался один. Потом появился комендант и сообщил, что едем мы по маршруту на Сталинград. Договорились с ним быстро: в 9 часов 40 минут будет Мичуринск, там следует остановиться на полчаса и немедленно подключить линию телефона ВЧ.

— Все будет сделано, — заверил комендант и удалился.

Я посидел немного, погасив свет. За окном мелькали телеграфные столбы, проплывали темные перелески и заснеженные пригорки. Изредка виднелись неясные силуэты селений.

Начались размышления: «Зачем едем в Сталинград? Что мы там будем делать, когда война идет уже за Днепром?.. Очевидно, цель поездки — не Сталинград...»

Взобрался по привычке на верхнюю полку и лег спать. Верхняя полка — мой давний и надежный друг. Она всегда спасала меня от многих дорожных неудобств, выпадавших на долю тех, кто ехал внизу. Мне всегда было искренне жаль людей, которые

по старости или по каким-то другим причинам не могли взобраться наверх.

Засыпал я в те годы мгновенно. А проснулся, когда сквозь окно пробивался уже ненастный день. Часы показывали 8. Прощел по вагону. Охрана в тамбуре и проводник бодрствовали.

Захватив портфель, я перешел в салон, где стоял телефон ВЧ. Разостлал на столе карты. По прибытии в Мичуринск сразу же соединился с моим заместителем генералом А. А. Грызловым. Он, как всегда, был наготове. Получив от него все необходимые данные, нанес обстановку на карты.

Около 10 часов в салон зашел Климент Ефремович. Оказывается, я разбудил его своими разговорами по ВЧ.

— Ну и громко же вы кричите, — посетовал он. — Что там на войне?

Я кратко доложил, не разворачивая карт. В тот период войска 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов вели тяжелые наступательные бои в районах Идрицы, Городка, Витебска, не имея сколько-нибудь существенного продвижения. Застопорился и Западный фронт, вышедший тоже к Витебску и на подступы к Могилеву. Значительно лучше обстояло дело в полосе Белорусского фронта. Здесь наши войска под командованием К. К. Рокоссовского обошли Гомель, освобождение которого ожидалось с часу на час, развивали наступление на Жлобин и на Полесском направлении.

Сложное положение складывалось на 1-м Украинском фронте. После овладения Киевом его войска захватили обширный район до рубежа Малин, Житомир, Фастов, Триполье. 17 ноября был освобожден Коростень. И тут противник локализовал наши успехи. Он перегруппировался, ввел свежие резервы и перешел в контрнаступление, нанося удары в направлении Киева под самый корень нашей группировки. Особенно сильный нажим оказывали немецкие танки в районах Житомира и Фастова. 19 ноября враг овладел Житомиром, а 25-го ему удалось окружить Коростень, где продолжала героически бороться 226-я стрелковая дивизия 60-й армии.

В полосах 2-го и 3-го Украинских фронтов шли трудные наступательные бои на Кировоградском, Криворожском направлениях и западнее Запорожья.

В 11 часов начальник охраны Сталина генерал-лейтенант Власик пригласил Ворошилова в салон Верховного Главнокомандующего. Я остался у себя, предупредив Власика, что готов доложить обстановку. Минут через пять за мной пришла.

Кроме Сталина и Ворошилова, в салоне

находился Молотов. Верховный спросил, есть ли что нового на фронтах. Нового было немного, и меня вскоре отпустили.

Вечером собирал обстановку уже в Сталинграде. Затем приготовился к «выгрузке» — сложил карты в портфель и ждал только команды. Однако ее не последовало. Из поезда никто не выходил, и через полчаса мы поехали дальше.

Когда меня вновь потребовали к Сталину, я застал у него тех же лиц. Все сидели за накрытым к обеду столом.

Обстановка докладывалась по общей карте, миллионке. Затем я передал Верховному несколько просьб и предложений А. И. Антонова. Сталин разрешил все эти просьбы, утвердил предложения Антонова и пригласил меня обедать.

Обедали часа полтора. Разговор все время шел о какой-то предстоящей конференции. Мне о ней ничего не было известно.

Минула ночь. Настал новый день. Заведенный порядок оставался неизменным. Проехали Кизляр, Махачкалу. К вечеру прибыли в Баку. Здесь все, кроме меня, сели по машинам и куда-то уехали. Я ночевал в поезде. В 7 часов утра за мной заехали, и мы отправились на аэродром.

На летном поле стояло несколько самолетов СИ-47. У одного из них прогуливались командующий ВВС А. А. Новиков и командующий авиацией дальнего действия А. Е. Голованов. У другого самолета я заметил знакомого мне летчика В. Г. Грачева. В 8 часов на аэродром прибыл И. В. Сталин. Новиков доложил ему, что для немедленного вылета подготовлены два самолета: один из них поведет генерал-полковник Голованов, второй — полковник Грачев. Через полчаса пойдут еще две машины с группой сотрудников МИДа.

А. А. Новиков пригласил Верховного Главнокомандующего в самолет Голованова. Тот сначала, казалось, принял это приглашение, но, сделав несколько шагов, вдруг остановился.

— Генерал-полковники редко водят самолеты, — сказал Сталин, — мы лучше полетим с полковником.

И повернул в сторону Грачева. Молотов, Ворошилов и Власик последовали за ним.

— Штеменно тоже полетит с нами, в пути доложит обстановку, — сказал Сталин, уже поднимаясь по трапу.

Я не заставил себя ждать. Во втором самолете полетели Вышинский, несколько сотрудников Наркоминдела и охрана.

Уже в воздухе мне стало известно, что летим мы в Тегеран. Сопровождали нас три

девятки истребителей: две по бокам, одна впереди и выше.

Я доложил о положении на фронтах. Обстановка у Коростени стала еще более тяжелой. Вот-вот наши войска должны были его оставить. По всему чувствовалось, что противник намерен пробиться к Киеву и сбросить наши войска с завоеванного здесь плацдарма.

Тегеран появился перед нами примерно через три часа. Там нас встречали генерал-полковник Аполлонов, посланный заранее для организации охраны советской делегации, и с ним какие-то штатские, которых я не знал; всего человек пять-шесть. К самому самолету подкатил автомобиль. В него сели Сталин и другие члены делегации. Автомобиль резко набрал скорость. За ним устремилась первая машина с охраной. Я поехал во второй машине.

Скоро мы были в нашем посольстве.

Советское посольство занимало несколько зданий в хорошем парке за надежной оградой. Неподалеку располагались здания английской миссии под охраной смешанной бригады англо-индийских войск. На значительном удалении от нас помещалось американское посольство.

Меня с шифровальщиком разместили на первом этаже того же дома, где жили Сталин и другие члены делегации. Отвели маленькую комнату с одним окном. Рядом был телеграф. Вечером Сталин, отправляясь на прогулку в парк, поинтересовался, в каких условиях мы работаем. Наша комната не понравилась ему.

— Где же здесь разложить карты? И почему так темно? Нельзя ли устроить их где-то лучше?

Результаты визита сказались немедленно. Нам тут же отвели большую и светлую веранду, принесли три стола, переставили на новое место аппарат ВЧ.

28 ноября, уже на закате солнца, открылась конференция руководителей трех великих держав. Она проходила в отдельном здании на территории советского посольства. Мне тоже выдали пропуск туда, и я им, конечно, пользовался. Охрану здания нес международный караул: на каждом из постов стояли три часовых — по одному от СССР, США и Англии. Сменяло их три разводящих. В общем это был особый и, надо сказать, довольно занятный церемониал.

Вскоре по приглашению Сталина Рузвельт совсем переселился на территорию советского посольства. Диктовалось это соображениями безопасности: прошел слух,

что на президента США готовится покушение.

Советская делегация держалась на конференции очень уверенно. По разговорам, которые мне довелось слышать еще в поезде, я понял, что наши намерены решительно поставить перед союзниками вопрос о втором фронте, с открытием которого последние явно тянули. Сталин, неоднократно заставлял меня уточнять количество дивизий противника и его сателлитов на советско-германском и германо-союзнических фронтах.

Данные эти были использованы уже в первый день работы конференции. Они являлись своего рода козырем в руках советской делегации, когда дело коснулось сокращения сроков войны, неотложного открытия второго фронта или, как говорили союзники, выполнения плана «Оверлорд». Цифры, характеризовавшие соотношение сил, били Черчилля не в бровь, а в глаз, дезавуируя все его попытки подменить второй фронт второстепенными операциями. Опираясь на цифры, Сталин показал, что в 1943 году из-за пассивности союзников немецкое командование сумело сосредоточить против нашей армии новые ударные группировки. И тут же было сообщено об осложнении обстановки на советско-германском фронте, в том числе даже о Коростене и в целом о положении дел под Киевом.

Одним из центральных на конференции был вопрос о том, что считать вторым фронтом и где его следует открыть.

Советская делегация буквально вынудила британскую делегацию признать, что операция «Оверлорд» должна представлять собой **главную** операцию союзников, что начинать ее надо не позже мая будущего года и проводить непременно **на территории Северной Франции**. Чтобы отстоять эту правильную точку зрения, Сталину пришлось провести краткий, но исчерпывающий критический разбор возможностей наступления союзников против Германии с других направлений. Наиболее подробно был рассмотрен вариант операций в Средиземном море и на Апеннинском полуострове, где союзные войска подходили к Риму.

Операции на Средиземном море рассматривались Советским Верховным Командованием как второстепенные, поскольку там противник располагал относительно малыми силами и театр этот находился далеко от территории Германии. Что же касается Итальянского театра, то советская делегация считала его очень важным для обеспечения свободного плавания судов союзников в Средиземном море, но совершенно непод-

водящим для ударов непосредственно по гитлеровской Германии: Альпы закрывали путь к границам фашистского рейха.

Не подходили для вторжения в Германию и Балканы, куда прежде всего были обращены взоры Черчилля.

Советские представители предложили своим западным союзникам глубоко обоснованный в военном отношении вариант осуществления трех взаимосвязанных операций, полностью соответствующих сути и масштабам настоящего второго фронта: главными силами действовать по плану «Оверлорд» в Северной Франции, вспомогательный удар наносить в Южной Франции с последующим наступлением на соединении с главными силами и, наконец, в качестве отвлекающей использовать операцию в Италии. При этом достаточно подробно излагался наиболее целесообразный порядок взаимодействия названных операций по времени и задачам.

Особо было сказано относительно высадки союзников на юге Франции. Трудности здесь предвиделись значительные, но эта операция очень облегчила бы действия главных сил. Резюмируя советскую точку зрения по поводу Южной Франции, Сталин заявил:

— Я лично пошел бы на такую крайность.

Сталина, как известно, поддержал Рузвельт, и советское предложение о сроках операции «Оверлорд», а также о вспомогательных действиях на юге Франции было принято. Такое решение, несомненно, способствовало укреплению антигитлеровской коалиции трех великих держав, означало торжество идеи их совместной борьбы.

На протяжении всего срока работы конференции я занимался своим делом: регулярно три раза в день собирал по телефону ВЧ сведения об обстановке на фронтах и докладывал их Сталину. Как правило, доклады мои слушались утром и после заседания глав правительств (а заседали они обычно по вечерам).

Почти ежедневно А. И. Антонов передавал мне проекты распоряжений, которые необходимо было скрепить подписью Верховного Главнокомандующего. После того как Сталин подписывал их, я сообщал об этом в Москву, а подлинники документов собирал в железный ящик, хранившийся у шифровальщика.

Один или два раза Сталин сам разговаривал с Антоновым. Был также случай, когда он лично связывался с Ватутиным и Рокоссовским и выяснял у них возмож-

ности ликвидировать контрнаступление противника под Киевом. Особенно его интересовало мнение Рокоссовского, фронт которого должен был оказать содействие фронту Ватутина на Мозырском направлении.

Меня, как начальника Оперативного управления, живо интересовало, конечно, взаимодействие Советской Армии с войсками союзников в будущих операциях. Этот вопрос был поставлен Сталиным в беседе с Черчиллем 30 ноября и в тот же день, на третьем заседании глав правительств, сформулирован в виде обязательства СССР. В заявлении главы советской делегации по этому поводу не исключалась возможность, что для союзных войск наибольшая опасность будет существовать не в начале действий по плану «Оверлорд», а уже в ходе операции, когда немцы попытаются перебросить часть войск с Восточного фронта на Западный. Однако, забегая несколько вперед, я должен сказать здесь, что, верная принятым на себя союзническим обязательствам, Советская Армия предприняла в 1944 году такие решительные действия, которые не только не позволили противнику снять войска с Восточного фронта и перебросить их на Запад, а, наоборот, вынудили Гитлера снимать дивизии с Запада и бросать их на Восток.

Не без трений решался вопрос о назначении главнокомандующего союзными войсками на западе. Лицо, выдвигаемое на этот пост, должно было нести всю полноту ответственности за подготовку и проведение операции «Оверлорд». Без персональной ответственности за столь важное дело неизбежны были серьезные срывы, а то и полный провал задуманного. Это отлично понимали все участники конференции и в конечном счете договорились назначить главнокомандующим американского генерала Эйзенхауэра.

В итоге работы Тегеранской конференции были успешно разрешены и другие очень важные аспекты проблемы второго фронта, в частности вопрос о силах союзников, которые будут брошены на континент. Черчилль определил численность войск вторжения в миллион человек или около этого.

Там же, в Тегеране, наши союзники заручились принципиальным согласием советской стороны объявить войну империалистической Японии после поражения гитлеровской Германии.

Помню, как много хлопот доставила мне карта Югославии, переданная И. В. Сталину У. Черчиллем. Сыр-бор загорелся из-за

того, что данные британского премьера по этой стране не сошлись с данными, приведенными на конференции главой советской делегации.

В полдень 30 ноября карта поступила ко мне с категорическим приказом: «Проверить». Никаких материалов по Югославии под рукой не было. Пришлось срочно связываться с А. А. Грызловым. Тот продикивал мне самые последние сведения о положении дел в Югославии. Выяснилось, что карта Черчилля была менее точной, чем наша. Но Сталин, насколько мне известно, в дальнейших своих беседах с Черчиллем уже не возвращался к этой теме.

Запомнилась мне также церемония передачи Почетного меча, присланного королем Англии в дар Сталинграду. 29 ноября Черчилль от имени короля вручал меч И. В. Сталину. На этом торжественном акте присутствовал и Рузвельт. Сюда же были приглашены члены делегаций всех трех стран, служащие нашего посольства, советские офицеры и солдаты. Черчилль произнес короткую речь. Сталин принял и поцеловал меч. Несколько месяцев спустя дар короля передал Сталинграду С. М. Буденный.

В обычные же дни работы конференции главы правительств и члены делегаций обедали по очереди то у Сталина, то у Рузвельта, то у Черчилля. Обеды эти были очень поздними (по московскому времени почти в 20 часов), когда мы, рядовые работники, успевали уже и отужинать. Рузвельт не всегда задерживался после обеда. Чаще он сразу же удалялся в свои апартаменты, а Сталин и Черчилль подолгу вели так называемые «неофициальные беседы». Зато Рузвельт любил встречаться со Сталиным в полдень, до заседания конференции, и эти их встречи немало способствовали успеху официальных переговоров.

Мне, понятно, очень хотелось посмотреть Тегеран. И однажды такой случай представился. Служащие посольства предупредили, что появляться на тегеранских улицах в советской военной форме не следует. Кто-то принес мне плащ и шляпу. Я облачился в них поверх военного обмундирования. Плащ был длинен. Шляпа не лезла на голову, но я сделал с ней что мог и в облике заправского детектива отправился на машине в путешествие по вечернему Тегерану. Непривычно было видеть ярко освещенные центральные улицы, разноцветные огни реклам. Поражали контрасты: великолепие дворцов знати с пышными садами и парками, со множеством цветов и ужасающая нищета на окраинах столицы, где за-

крытые чадрой женщины брали воду прямо из грязных арыков.

Поездка моя длилась каких-нибудь полчаса. И я, конечно, видел Тегеран только мельком.

Обратный путь в Москву по окончании конференции был проделан прежним порядком: на самолете Грачева — до Баку и поездом — до Москвы. Я, по обыкновению, собирал и докладывал обстановку. Разговоры, естественно, вращались вокруг конференции.

Через несколько дней из теплой осени мирного Ирана мы прибыли опять в военную зиму родной Москвы.

После Тегеранской конференции каких-то особых указаний Генеральный штаб не получал. Однако все задания, исходившие из Ставки, были явно рассчитаны на то, чтобы наши союзнические обязательства в связи с перспективой открытия второго фронта выполнялись в полном объеме. Основное место в этих заданиях, естественно, занимал разгром гитлеровской военной машины и более скромное — подготовка к войне с Японией.

Конечно, мы не забывали, что природа антигитлеровской коалиции противоречива и таит в себе всякие неожиданности. Особенно много сомнений порождал обусловленный на Тегеранской конференции срок открытия второго фронта. Ведь еще там, в Тегеране, он подвергался всевозможным оговоркам со стороны союзников. Поэтому и Ставка и Генштаб следовали девизу: на союзников надейся, а сам не плошай!

Среди множества вопросов, определявших в ту пору практическую работу Генштаба, возникал и такой: нужны ли поправки к плану зимней кампании, разработанному в сентябре 1943 года?

Если говорить о политической цели предстоящих операций советских войск, то она состояла прежде всего в полном освобождении нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Под их пятой находилась теперь только  $\frac{1}{3}$  ранее оккупированной советской земли. В предстоящем году Советской Армии надлежало быть готовой к выполнению великой интернациональной миссии — подать руку помощи народам других стран. Во имя этого требовалось провести наступательные операции еще более могучего размаха, чем в минувшем году. Старое испытанное правило — бить врага непрерывно, не давать ему передышки — оставалось в силе.

Однако чрезвычайно длительное наступление уже сказывалось на состоянии на-

ших войск: они утомились, требовали пополнения людьми и вооружением. В ходе осенних и зимних боев 1943 года враг ввел в дело сильные резервы, и ему удалось временно создать для нас угрозу на Украине, затормозить наше наступление в Белоруссии, отбить наши удары на подступах к Прибалтике. Немецко-фашистское командование стремилось любой ценой стабилизировать положение на фронтах. Обстановка, таким образом, существенно изменилась, и старые решения уже не годились.

Ставка и Генеральный штаб отчетливо понимали, что при всех обстоятельствах мы не можем упускать из своих рук стратегическую инициативу, не должны позволить врагу перевести борьбу в позиционные формы. Требовались новые серьезные перегруппировки войск, в первую очередь на Украине.

Одновременность наступления Советских Вооруженных Сил на всем фронте от Балтики до Черного моря, являвшаяся характерной чертой осеннего плана 1943 года, теперь практически была невозможна. Военная действительность вынуждала отказаться от одновременного наступления и заменить его более соответствующими новому моменту мощными последовательными операциями или, как тогда говорили и писали, стратегическими ударами.

При определении объекта такого удара, количества и характера участвующих в нем сил и средств, времени его осуществления и взаимодействия с другими подобными операциями Генеральным штабом учитывалась прежде всего та группировка немецко-фашистских войск, которая подлежала разгрому. К началу 1944 года враг имел отчетливо выраженное сосредоточение сил в районе Ленинграда, на Правобережной Украине, в Крыму и в Белоруссии. Разгром каждой такой группировки означал бы создание брешей в обороне противника, закрыть которые он мог главным образом за счет маневра силами с других участков фронта, поскольку стратегических резервов у него не оставалось. Оперативных объединений немецкое командование в резервах, как правило, не имело, а действовало корпусами и дивизиями разного типа, преимущественно танковыми.

Чтобы пробивать вражеский фронт, ломать его на большом протяжении и воспрепятствовать восстановлению, советская стратегия должна была, в свою очередь, предусмотреть возможность создания более мощных, чем у немцев, группировок войск. Каждой такой группировке следовало придать ярко выраженный ударный характер за

счет дальнейшего повышения роли танков, артиллерии и авиации. Требовались крупные массы резервных объединений и соединений, которые позволили бы нам в короткий срок и внезапно для врага создавать решающий перевес в силах на избранных направлениях. Для распыления же резервов противника наиболее целесообразно было чередовать наши операции по времени и проводить их по районам, значительно удаленным друг от друга.

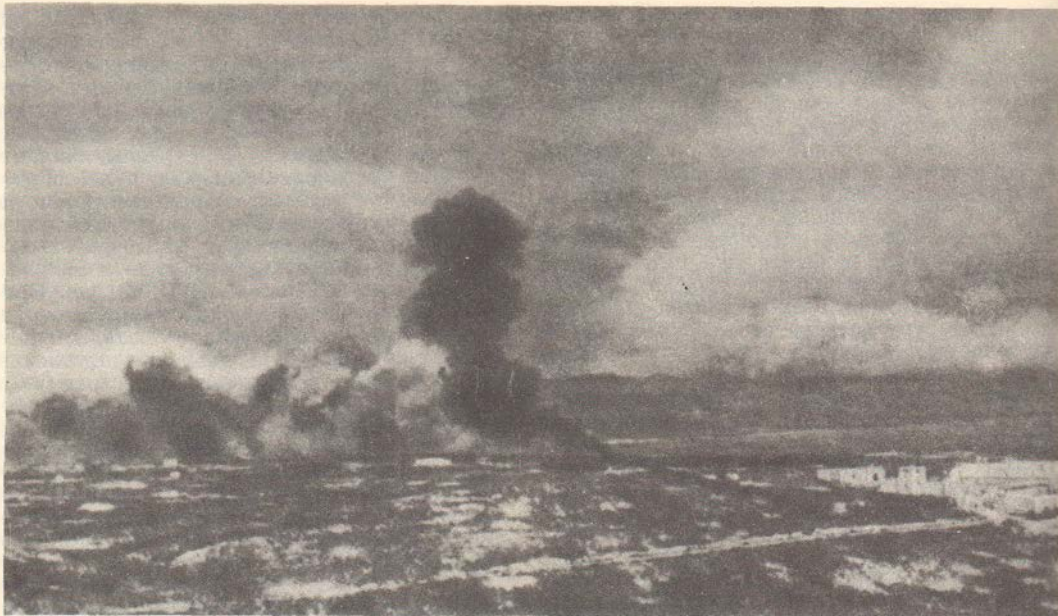
Все это предусматривалось в планах кампании первой половины 1944 года. Кроме того, в них учитывалось принятое на Тегеранской конференции обязательство — «к маю организовать большое наступление против немцев в нескольких местах».

Время начала намеченных операций определялось прежде всего готовностью наших сил к действиям. Были и другие соображения по тому или иному району боевых действий, например необходимость «разблокирования» Ленинграда, подрыв политических позиций Германии в Финляндии и Румынии и т. д.

Главный удар, как и ранее, намечался на Правобережной Украине. Здесь предстояло разгромить армии Манштейна и выходом к Карпатам 1-го и 2-го Украинских фронтов расщепить фронт противника. В то же время войска 3-го Украинского фронта должны были громить его Никопольско-Криворожскую группировку. Под Николаем с ними взаимодействовал и 4-й Украинский фронт, который затем переключался на разгром 17-й немецкой армии в Крыму.

Раньше всех по плану кампании (12 января) переходил в наступление 2-й Прибалтийский фронт. Потом (14 января) к нему присоединились Ленинградский и Волховский. Совместная операция этих трех фронтов именовалась тогда «1-м ударом». 10 дней спустя (24 января) начиналось наступление на главном направлении — на Правобережной Украине. Действия наших войск здесь носили название «2-го удара». В марте — апреле предполагалось провести «3-й удар»: освободить Одессу силами 3-го Украинского фронта, а затем разгромить противника в Крыму войсками 4-го Украинского фронта. Вслед за этим планировалось наступление на Карельском перешейке и в Южной Карелии.

Такая система «ударов», разнесенная по месту и времени, вполне оправдала себя. Враг вынужден был перебрасывать силы то на одно, то на другое направление, в том числе на далекие фланги, растрачивая их по частям.



Над малой землей не рассеивался  
дым сражения...

Капитан 1-го ранга  
И. Ф. Журухин

Партбилет  
№ 1050173



Начало февраля 1943 года. Наша бригада морской пехоты только что высадилась на Малую землю — на Мысхако под Новороссийском.

В блиндаже зазуммерил телефон. Звонит командир бригады полковник Потапов:

— Где комиссар? Я его послал отдохнуть. Трое суток из атаки в атаку... Ты проследи, чтобы он хоть два часа поспал.

Трубка щелкнула, умолкла.

Вылезая из блиндажа, спрашиваю первого попавшегося матроса:

М. К. Видов.



— Не видели комиссара бригады?

— На берегу он. Там боезапас привезли.

Вообще-то комиссаров теперь нет. Они называются иначе: заместитель командира по политической части. Но Михаила Капитоновича Видова по-прежнему все зовут комиссаром...

На берегу морские пехотинцы разгружают мотоботы. Работают быстро, споро. Над головой провыл снаряд. Все разом тргнулись к земле. Ослепительная вспышка, грохот. Кто-то охнул, застонал. Кто-то крикнул: «Носилки!» Новые взрывы. Еще падают с неба камни и комья земли, а матросы уже вскакивают, бегут с тяжелыми ящиками. И тут я увидел подполковника Видова. Он склонился над раненым матросом, поднял его, отнес за штабель мешков. Достал из кармана шинели перевязочный пакет и туго забинтовал раненому ногу. Немного опомнившись, матрос потрогал бинт, пошевелил ногой. Бледное лицо скривилось в улыбку.

— А я, братцы, кажется, живой. Пожалуй, доведу мотобот...

— Ну, ну, герой! Без тебя управятся.

Подбежавшие матросы перенесли раненого в разгруженный мотобот. Подполковник помог им столкнуть судно в море и помахал рукой на прощание.

Подхожу к нему, передаю распоряжение комбрига.

— Говоришь, Потапов отдохнуть приказывает? — улыбается Видов. — А сам ведь там остался. Водит матросов в атаки. Впереди всех ходит. Севастопольскую удаль свою повторяет. Пытался образумить его. Где там!.. И слушать не хочет. Ну ладно, приказ надо выполнять. Пошли.

В блиндаже он стянул с себя шинель. Критически оглядел ее. Смотреть страшно: вся осколками, словно бритвой, искромсана. А лечь так и не успел.

Позвонили из батальона. Видов стиснул трубку так, что пальцы побелели.

— Обходят, говорите? Подымайте людей и ударяйте во фланг. Сил нет? А автоматчики? Последний резерв? Ну и что же, в такой момент ничего жалеть не приходится. Посылайте. А я сейчас к вашему соседу — ударим с другого фланга.

Видов поспешно натягивает шинель.

— Ну, я побежал...

— А отдыхать?

— Потом, потом, успеется.

И всегда он такой. Мне помнится, как выручил он нас прошлой осенью на Суджанской косе. Пять дней гитлеровцы непрерывно атаковали нас. Батальон майо-

ра Хлябича отрезали от своих, прижали к самому морю. И тут появился Видов — с группой моряков пробился через вражеский заслон.

— Что приуныли? Ну-ка расскажите, что у вас тут делается.

Пока командир батальона знакомил его с обстановкой, от бойца к бойцу катилось:

— Комиссар с нами!

И люди приободрились, повеселели.

А спустя несколько минут все увидели: комиссар поднялся во весь рост. Над окопами прозвучал его голос:

— За Родину! Вперед, моряки!

Жаркой была схватка. Мы смяли цепи гитлеровцев, прорвались к батальону капитан-лейтенанта Кузьмина. Не давая противнику опомниться, комиссар оба батальона повел дальше. Моряки заняли высоту у Суджук-Кале, а затем пробившись в город, где вели тяжелые бои остальные наши подразделения. Этот смелый маневр позволил почти без потерь вывести бригаду из вражеского кольца.

Да, за таким человеком матросы пойдут в огонь и воду! Сколько раз мы его просили быть осторожнее.

— Это верно, — соглашался он. — Осторожность нужна. На войне без нее пропадешь. Но запомните: личный пример прежде всего. На кого же должны равняться бойцы, если не на нас, командиров и политработников?

О его бесстрашии матросы готовы говорить часами. До сих пор у всех в памяти случай, когда на горе Сахарная головка гитлеровцы окружили окоп, где находились комиссар и два бойца-корректировщика. Кольцо сужалось. Упали на дно окопа оба матроса. Отбросив пустой пистолет, комиссар схватил винтовку убитого бойца. Но что может сделать один человек против сотни? Гитлеровцы вот-вот подойдут к самому окопу. И тут зазвонил телефон. Не выпуская из рук винтовки, комиссар прижал к уху трубку.

— Артдивизион? Где же вы до сих пор были? Огонь! Да, да, огонь на меня! Что? Приказываю! Бейте!..

Бросив трубку, комиссар уложил выстрелами двух гитлеровцев, которые уже хотели прыгнуть в окоп. А через минуту ударили наши орудия. Мы видели, как склон высотки скрылся в дыму. Снаряды падали кучно. Все, кто был на КП дивизиона, обнажили головы, мысленно прощаясь с отважным комиссаром. Но телефонная трубка захрипела:

— Вы меня слышите? А то микрофон



разбило осколком — в кулак сжимаю. — Голос Видова, веселый, задорный. — Отлично, ребята! Еще поддай! Не бойтесь, свои снаряды меня не тронут...

К комиссару уже спешили на выручку бойцы дивизиона. Десятки вражеских трупов увидели они вокруг окопчика.

Комиссар поднялся навстречу матросам. На почерневшем от гари и пыли лице только глаза светились.

— Вот мы их как! А вы говорили...

...Наверху ухало, грохотало, трещало. Из подразделений поступали донесения о ходе боя. Из 322-го батальона сообщили, что туда прибыл Видов и сейчас участвует в отражении очередной вражеской атаки. А через полчаса я уже слышал в трубке голос самого подполковника. Он спросил, прибыл ли в штаб комбриг. Я ответил, что еще нет.

— Передайте ему, что здесь положение стабилизировалось. Как там в остальных батальонах?

Возвратился Михаил Капитонович на командный пункт бригады только утром.

— Спать, товарищи, хочу, прямо с ног валюсь. Прошу разбудить часа через полтора.

Уснул как убитый. Но не прошло и часа, как ему пришлось подняться. Налетела вражеская авиация. Шум стоял адский. Видов подошел к телефону, чтобы разузнать о последствиях бомбежки. Больше не ложился. Собрал нас, политотдельцев.

— Надо сегодня в подразделениях провести партийные собрания. Вопрос один: о личном примере коммуниста в бою. Давайте наметим, кто куда пойдет.

Я побывал в одной из рот 327-го батальона. Собрание прошло хорошо, я возвращался на КП в приподнятом настроении. По пути встретил инструктора политотдела старшего лейтенанта Проценко. Пошли вместе. Дважды попадали под минометный обстрел. Когда мины стали падать слишком часто, нырнули в подвал разбитого дома. Здесь увидели группу бойцов и среди них подполковника Видова. Поняли: партийное собрание. Заметив нас, Михаил Капитонович дал знак, чтобы мы подождали его.

Усатый сержант вел собрание.

— Кажется, ты, Курнов, хотел выступить? — спросил он молодого бойца.

Тот осторожно положил на пол автомат, снял с головы шапку, встал.

— Да уж все сказано. Я так понимаю: Родину мы защищаем, народ. Социализм защищаем. Так партия приказала. Как

же я, член партии, могу не выполнить ее приказа? Выполнил до конца. Клянусь первым быть в бою!

Михаил Капитонович с улыбкой смотрел на парня. Когда тот замолчал, подполковник поднялся.

— Здесь выступило большинство коммунистов. Говорили они о готовности сражаться до последнего вздоха. Правильно сказал предыдущий товарищ: у коммуниста нет иного места в бою, чем впереди. Таков наш партийный долг.

Где-то поблизости ухали взрывы, захлебывались пулеметы. И может, оттого все особенно остро понимали, как важен вопрос, который решается здесь, в этом полутемном подвале.

— Я ознакомился с проектом вашего решения. — Видов разгладил небольшой лист бумаги. — «Коммунистам роты в бою быть впереди. Личную отвагу считать первейшей партийной обязанностью». Коротко очень. Но, пожалуй, все правильно.

— Правильно! — подхватил хор голов.

Командир бригады А. С. Потапов.



После собрания коммунисты по одному стали выбираться из подвала. Они уходили туда, где нужны были их личный пример, их вера в победу, их горячее призывное слово.

Михаил Капитонович еще минут пять беседовал о чем-то с парторгом, старшим лейтенантом Воронцовым, потом пожал ему руку, и мы вышли на воздух.

— Крепкий народ коммунисты, — задумчиво произнес он. — Потому и люди идут за ними. Вы обратили внимание, как быстро стали расти наши парторганизации? Таков уж закон: чем труднее, тем люди сильнее тянутся к партии.

Траншея вела на пригорок. Мы увлеклись разговором. Вдруг Видов крикнул: — Ложись!

Над нами с визгом пронеслись пулеметные очереди. А потом рядом с траншеей грохнули взрывы.

— Нельзя ходить так беспечно, — отчитал нас Видов. — Срочно меняем позицию!

Мы пробежали за ним двадцать-три-

дцать метров. Потом сделали еще такой же бросок. Остановились. Михаил Капитонович оглядел местность, неожиданно выпрыгнул из траншеи и, пригибаясь, кинулся в сторону, где чуть виднелась пулеметная ячейка. Мы с Проценко никак не могли понять, в чем дело. Но подполковник взмахом руки поторопил нас, и мы где ползком, а где перебежками последовали за ним.

— Сюда, быстрее сюда! — услышали мы его голос.

Подполковник уже за станковым пулеметом, вставляет в него ленту. Рядом лежат неподвижные тела морских пехотинцев.

— Снарядом всех уложило, — вздохнул Видов. — Видите, вон воронка какая.

Возле окопчика дымилась большая яма.

— Приготовить гранаты! — командовал подполковник. — Автоматы и пистолеты зарядить!

— Михаил Капитонович, — сказал я, — полагаю, что немцы сегодня не полезут. Выдохлись за день. Мне рассказы-

Работники политотдела  
К. Милютин, И. Журухин,  
И. Проценко.



вали, что им здесь крепко задали наши моряки.

— А меня, знаете ли, беспокоит то, что наша огневая точка молчит, — возразил он. — Не думайте, что враг глуп. Замечит, что здесь пусто, обязательно этим воспользуется. Одним словом, подождем. Должен же комбат заметить, что пулемет бездействует. Пришлют сюда бойцов, тогда уйдем.

В стороне приглушенный говор. В густеющих сумерках мы не видели людей. А они заметили нас.

— Тихо! — послышался громкий шепот.

Ползут медленно, крадутись. Мы в щекотливом положении. Краснофлотцы не поверят, что в окопе свои, тем более что тут всего полчаса назад шла жаркая схватка. (Пока мы перебежали сюда, несколько раз натыкались на трупы гитлеровцев — наши пулеметчики, видно, держались крепко.)

Пока мы с Проценко думаем, что делать, Видов выпускает в сторону немцев две длинные очереди. Хотел еще, но отдрнул руки.

— Патроны надо жалеть.

За нашими спинами голоса:

— Так это же наши, хлопцы! Лупят по фашистам! Пошли поможем им.

Видова бойцы узнали сразу же. Деликатно начали упрекать его:

— Крикнули бы, товарищ подполковник, и все было бы в порядке. А то ведь ненароком и снять вас могли. Дело-то фронтное.

— А поверили бы?

— Еще бы. Вас я, не видя, из тысячи различу. Своих командиров мы знаем.

— Командиры наши что надо! — подержал другой матрос. — Вот недавно у нас побывал полковник. Я и не знаю его по фамилии, а сразу чувствуется — свой человек. Душевный такой. Из одного котелка с нами кашу ел, потом велел показать, как мы на рубеже закрепились. Все окопы обошел, много советов нам, пулеметчикам, дал. Чувствуется, что из племени он нашенького, рабочего. Уж очень легко с ним разговаривать.

Видов всмотрелся в матроса.

— Старший краснофлотец Иванов, — представился тот. — Вы, наверное, меня не помните. Ничем я не приметен, да и фамилия уж очень обычная.

Вместе с товарищами он начал устанавливать пулемет, который они притащили с собой.

— Вот он у нас заслуженный, — Ива-

нов любовно погладил кожух «максима». — Бьет по фашистам почему зря. Даром что в море купался.

— Как это купался? — спросил Проценко.

— Самым настоящим образом, товарищ старший лейтенант. Просолился насквозь. Когда у нас соли не бывает, мы его лжем. Ничего, сбавивает вкус.

Один из напарников Иванова хихикнул, поглядывая на третьего пулеметчика:

— Расскажи, Куликов, как дело-то было, а?

— Что было, то былшем поросло, — проворчал тот.

Михаил Капитонович заинтересовался. Подсел поближе к бойцам.

— Нехорошо, Куликов, что-то скрывать от товарищей. Расскажи, в чем дело. Хочешь знать, я, например, ничего не могу утаить от друга. Вот и полковник, о котором говорил Иванов, такой же. Любит правду. И выложит тебе ее всю, какой бы горькой она ни была.

— А кто он такой?

— Начальник политотдела нашей армии. Брежнев его фамилия.

— Так это он? — встрепенулся Иванов. — А я все смотрю: лицо знакомое. Он же у нас был, когда мы к десанту готовились.

А к Куликову снова пристали:

— Ну расскажи про пулемет!

— Да чего тут! Ну, было. И не скрываю я ничего. Только не люблю, когда подначивают. А получилось вот как. Стали мы сюда высаживаться, а немцы жарят из всех штатных видов оружия. Не удержался я, пригнулся, ну и упустил пулемет в воду. Нырнул — не достать. Озяб сильно. Ноги судорогой стало сводить. Тогда вот он, — боец показал на Иванова, — четыре раза нырял. Достал все же.

Видов засмеялся.

— Ничего, всяко бывает... А Иванов, я смотрю, у вас молодец.

— Партийный он, — сказал Куликов. — После отругал меня. Да я и сам понял, что главное в нашем деле — крепко себя в руках держать. Тогда никакой страх не одолеет.

Мы еще долго беседовали с бойцами. И почувствовали, что стали еще ближе к этим чудесным парням. Прибыли сюда еще один пулеметный расчет и стрелковое отделение. Они тоже подвели к нашему кружку. Вообще к подполковнику Видову людей тянет как магнитом.

С моря потянуло холодом. Все поежились. Не сладко лежать на сырой земле в такую ночь.

— Эх, растянуться бы сейчас на горячей печке!.. — размечтался кто-то.

— Погоди, немец ударит, сразу согреешься, — пошутил другой.

И, словно в подтверждение, провыл над нами тяжелый снаряд и гулко разорвался в ложбинке.

— Закрываем митинг, друзья, — сказал Видов. — Занимайте свои места и смотрите в оба!

И вовремя! Ночь озарилась яркими сполохами. Огненные столбы выростали тут, то там. Мы оглохли от грома и свиста. А вскоре впереди показались черные движущиеся тени.

Дважды гитлеровцы поднимались в атаку. Доходили совсем близко. Отчаянно дрались наши моряки. И всех отважнее — Видов. Когда ранило наводчика, подполковник лег за пулемет. И даже бывалые бойцы изумились его мастерству. Один раз дело дошло и до рукопашной. На моих глазах Видов уложил штыком и прикладом четырех гитлеровцев. Случилось так, что фашист занес уже штык, когда подполковник лежал за пулеметом. Видов резко повернулся на спину и так ударил гитлеровца ногой в подбородок, что тот опрокинулся навзничь. Для гарантии замполит дважды выстрелил в него из пистолета и вновь взялся за рукоятки «максима».

Наконец все стихло. Бойцы окружили комиссара.

— А умеете вы драться! — с уважением сказал Куликов.

— Да вот учусь потихоньку.

Два матроса были ранены. Товарищи хотели отнести их.

— Мы захватим, — сказал Видов. — Все равно в тыл отправляемся.

Он взвалил на плечо обмякшее тело одного из моряков. Мы с Иваном Проценко вдвоем несли другого. С виду подполковник вовсе не богатырь — невысокий, узкоплечий. Но донес тяжелую ношу до медсанбата.

...Корреспондент флотской газеты Георгий Гайдовский, побывавший на Малой земле, прислал нам письмо: в окопах он много слышал о Видове, но поговорить с ним как следует не сумел.

«Напишите вы о нем в газету. Лучше вас его никто не знает».

Мы засели в политотдельской землянке и начали сочинять статью. Инструктор Миша Малахов положил на стол стопку бумаги, окунул в «непроливайку» перо.

— Начнем с заглавия. Придумывайте.

— «Орел Малой земли», — предложил Костя Милютин, помощник начальника политотдела по работе среди комсомольцев.

— Нет, не то, — возразил Проценко. — Надо что-то другое, наше, партийное...

Старший лейтенант Сергей Тулин встал, открыл небольшой железный ящик, достал список коммунистов политотдела, всмотрелся в него, а потом, взяв из рук Малахова перо, вывел: «Партбилет № 1050173».

— Возражений нет?

— Здорово, — согласились мы.

Мы просидели до утра. Каждый старался припомнить самое яркое, самое особенное из жизни и работы комиссара. Но этого особенного набралось столько, что на громадную книгу хватило бы.

Малахов в бессилии положил перо.

— Трудно писать о нем.

Мы согласились. Действительно, очень трудно написать о настоящем человеке.



Гвардии генерал-лейтенант артиллерии  
Г. Д. Пласков

## Под грохот канонады



### Первые «катюши»

9 августа к нам под Ельню прибыли необычные машины. Над шасси мощных автомобилей высились какие-то сооружения, тщательно укрытые брезентом. Вслед за боевыми машинами следовала вереница грузовиков, кузова которых тоже были обтянуты чехлами. Из кабины головного грузовика вышел высокий офицер. Представился: капитан Флёров, командир батареи гвардейских минометов.

И. А. Флёров нам сразу понравился. Общительный, остроумный, он увлекательно рассказал о своей батарее, об ус-

ройстве и действии этого грозного оружия, которое наши солдаты любовно прозвали «катюшей».

Это была первая советская батарея реактивной артиллерии. В начале войны у нас имелось всего семь боевых установок и около трех тысяч ракет к ним. Они и составляли батарею Флёрова. В ночь на 3 июля она отправилась из Москвы на фронт. 14 июля под Оршей на фашистов обрушилось море огня. Страшные снаряды летели лавиной. Их взрывы за каких-то несколько секунд разрушили железнодорожный узел и переправу через реку, уничтожили сотни гитлеровцев, а остальных ввергли в такую панику, что они не скоро опомнились. Так «катюша» оповестила мир о своем рождении. Потом она воевала под Рудней, Смоленском, а теперь прибыла к нам.

Мы приподнимали брезент, трогали рукой блестящие длинные ракеты. Молчаливый солдат с автоматом настороженно следил за каждым нашим движением, и чуть мы отходили, он старательно застегивал чехол. Словно извиняясь, капитан пояснил:

— Приказано строго охранять батарею. Но пусть это вас не смущает. Секретность не мешает нам вести огонь. Прошу почаще нас использовать в бою.

Скоро мы увидели «катюши» в действии. Они быстро занимали позиции. Мгновение — и огненные стрелы с воем и шипением устремлялись на врага. Только на нашем участке фронта батарея сожгла и подбила около шестидесяти фашистских танков. А сколько от ее огня полегло вражеских солдат, никто и считать не пытался.

После каждого залпа батарея мгновенно уходила в укрытие, и не было ни одного случая, чтобы она подверглась бомбовому удару. Авиация противника никак не могла найти ее.

Пунктуально выполняя приказ командования фронта, мы скрывали, насколько это было возможно, приход батареи капитана Флёрова от излишне интересовавшихся людей. К местам расположения батареи никого не допускали.

Однако скрыть столь мощное оружие было, конечно, невозможно. В стане гитлеровцев его залпы порождали опустошение и панику, а в наших войсках — восхищение.

Личный состав батареи отличался заведной дисциплинированностью и слаженностью, он действовал умело и хладнокровно. Иначе говоря, обладал теми каче-



А. П. Францев.

ствами, которые на фронте делали героизм повседневным, обыденным явлением. Мы восхищались трудолюбием и настойчивостью ракетчиков, их стремлением еще выше поднять эффективность своего оружия.

Батарея капитана Флёрова была крайне нужна нам, ибо в то время мы имели в своем распоряжении очень мало артиллерии, не больше трех-четырех стволов на километр фронта. Командующий артиллерией армии генерал В. Э. Таранович предпринимал огромные усилия, чтобы восполнить недостаток орудий и минометов их умелым применением на поле боя. Передав нам батарее капитана Флёрова, генерал внимательно следил, как мы ее используем. По его указанию мы вместе с капитаном Флёровым разграфили на картах и схемах впереди лежавшую местность на квадраты, пронумеровали их и присвоили им условные наименования — «Волк», «Роза», «Белка» и т. д. Заранее подготовили исходные данные для ведения огня. Достаточно было передать батарее по телефону команду: «По «Волку»

огонь!» — и в этот квадрат летело больше сотни смертоносных ракет.

Капитан Флёров всегда был в курсе дела, хорошо знал обстановку на фронте, держал батарею в постоянной готовности к открытию огня. Не было случая, чтобы его подчиненные не выполнили поставленной перед ними задачи.

Фронтовики быстро убедились в силе «катюш». Зная, что где-то позади стоят эти грозные машины, пехотинцы и артиллеристы увереннее чувствовали себя в обороне. Они верили, что в тяжелую минуту огненный смерч ракет не только остановит, но и опрокинет, сметет атакующую фашистскую пехоту.

Батарея капитана Флёрова отлично взаимодействовала с войсками, стоявшими на переднем крае обороны, и не раз выручала их. Вспоминается такой эпизод из очень многих.

После освобождения Ельни артиллерийский полк подполковника А. П. Францева был поставлен западнее деревни Леонидово для стрельбы прямой наводкой. Это был хороший полк. Он имел на своем вооружении 36 орудий на механической тяге.

В результате многодневных кровопролитных боев гитлеровцам удалось несколько потеснить наши стрелковые подразделения. На наш командный пункт пришел офицер. Он доставил донесение Францева:

«Веду бой с пехотой и танками, нахожусь в окружении. Снаряды на исходе. Жду помощи и указаний. Огневая позиция отрезана от места стоянки средств тяги и простреливается врагом. Пока снаряды есть, танки не пройдут».

Командование приняло решение отвести полк назад, поскольку он уже находился на захваченной врагом территории в 7—8 километрах от своих войск. Мне было приказано пробиться к артиллеристам. Взяв автомашины противотанкового дивизиона, я посадил на них стрелковую роту, оборонявшую наш командный пункт. Позади колонны двигалась батарея капитана Флёрова.

Шоссеиную дорогу уже заняли гитлеровцы. Пришлось ехать лесом. Через 20—25 минут мы уже были у цели. Наше внезапное появление ошеломило немцев.

А тут над нашими головами с гулом полетели ракеты. Это капитан Флёров, установив машины в 3—4 километрах от расположения полка, открыл огонь. Задрожала от взрывов земля. Поле впереди нас скрылось в дыму и пыли. Кострами

запылали вражеские танки и автомашины. Фашистская пехота, подбиравшаяся уже совсем близко к огненным позициям артиллеристов, стала в панике разбегаться. Наши солдаты прыгнули с грузовиков и во главе со старшим лейтенантом Сергеевым и политруком Михайловым бросились в атаку. Дрались они отважно и вдохновенно. Артиллеристы тем временем погнались тягачи, подцепили орудия и повели их в лес. Скоро мы были уже в расположении наших войск.

На опушке артиллеристы встретились со своими боевыми товарищами — ракетчиками. Крепкие рукопожатия, объятия, солдатские шутки. Громкое «ура!» прозвучало в лесу, когда подполковник Францев подошел к Флёрову, молча обнял его и расцеловал. Артиллеристы подхватили флоровцев и начали качать их. Особенно досталось самому капитану.

Мы стояли в сторонке и наблюдали это бурное проявление радости фронтовиков. Нет, никому не победить таких богатырей! Не одна тысяча фашистов полегла

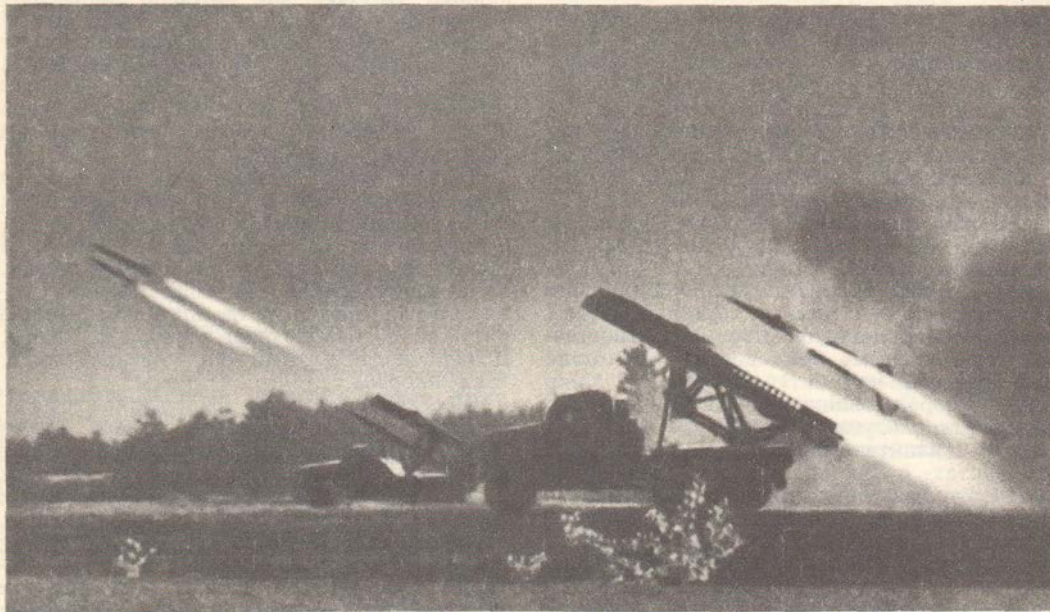
в районе Ельни. И в этом немалая заслуга батареи капитана Флёрова.

Перед лицом истории для нового поколения мы, участники этого сражения, обязаны с предельной точностью передать события тех тревожных дней. Сейчас удалось разыскать уже двадцать солдат, сержантов и офицеров батареи. С их помощью восстановлен весь боевой путь первенца нового оружия.

Время было тяжелое. Враг рвался на восток. Геройски сражались наши войска, но силы были неравными. Мощным ударом танковых и механизированных дивизий со стороны Рославля и Духовщины фашисты прорвали нашу оборону, заняли Спас-Деменск, Юхнов и 6 октября соединились в Вязьме. Наши части в районе Смоленска и Ельни оказались в окружении.

Батарея капитана Флёрова была отрезана от наших войск. Гвардейцам пришлось вести тяжелые машины по бездорожью — по лесам и болотам. Они прошли по вражеским тылам больше 150 километров — от Рославля мимо Спас-Деменска на се-

Залп «катюш».



веро-восток. Шел не один человек и не маленькая группа людей, которым всегда можно укрыться в любом овраге или перелеске. Двигались семь громоздких боевых установок и несколько десятков автомашин.

Капитан Флёров сделал все, чтобы спасти батарею и прорваться к своим. Когда подошло к концу горючее, он днем 6 октября в лесу северо-восточнее Спас-Деменска приказал полностью зарядить установки, а остальные ракеты и большинство грузовиков взорвать, предварительно перелив горючее в баки оставшихся машин. Теперь в колонне следовали лишь боевые установки и три-четыре грузовика с людьми.

Неподалеку от поселка Знаменка капитан остановил колонну на опушке леса и еще засветло выслал на машине разведку во главе с офицером.

Разведка вернулась и доложила, что путь свободен. Флёров приказал разведчикам следовать впереди колонны на удалении не больше километра и в случае опасности немедленно подать сигнал.

Стемнело. Машины с погашенными фарами вплотную шли одна за другой. Вокруг было тихо. И вдруг поле озарилось вспышками выстрелов. Вражеская засада, по-видимому, намеренно пропустила машину разведчиков, и сейчас всей своей мощью обрушилась на колонну. Фашисты стремились любой ценой захватить батарею, чтобы разгадать секрет нового советского оружия. Капитан Флёров и его подчиненные вступили в смертельный бой. Пока одни отбивались от врага, другие кинулись к боевым установкам. Под шквальным огнем они взорвали машины. При этом многие из них, в том числе капитан И. А. Флёров, погибли смертью храбрых. Оставшиеся в живых с боем оторвались от гитлеровцев и перешли линию фронта.

### Совещание комсомольского актива

На рассвете мы с командиром дивизии и начальником политотдела стояли у моста. Регулировали движение войск. После тяжелых боев наша 53-я дивизия отходила, чтобы занять рубеж обороны на восточном берегу Днепра.

Тяжело шагали усталые люди. Мимо нас прошла поредевшая колонна 223-го полка. На самодельных носилках бойцы пронесли тяжело раненного командира подполковника Андрея Владимировича Семенова. Потом подошел 12-й полк. Его командир полковник М. А. Жук с плотно

прибинтованной к груди рукой остановил повозку, придирчиво следя с ее высоты, как подразделения входят на мост, и то и дело подавал распоряжения. Михаил Антонович наотрез отказался отправиться в госпиталь, хотя был ранен в плечо и в руку.

Боевые части почти все уже были на том берегу. Но поток на дороге не иссякал. Переваливаясь на выбоинах, проползли санитарные машины и крытые фургоны госпиталей. За ними ковыляли «ходячие» раненые. Застучали колесами обозные повозки и походные кухни. Вслед за солдатами толпились гражданские люди: женщины с детьми, старики — все, кто не хотел оставаться «под немцем». Натуженно урчали грузовики с имуществом эвакуируемых учреждений. По обочинам в облаке пыли двигались стада — колхозники угоняли скот, чтобы он не достался врагу.

Командир дивизии полковник Ф. П. Новалов торопил людей. Решительно вмешивался, когда образовывались «пробки». Надо было спешить. Враг близко. Мы обрадовались, когда вдалеке на дороге показалась последняя колонна — рота прикрытия.

В сторонке от моста на лужайке сидела группа солдат. Начальник политотдела батальонный комиссар Дмитрий Александрович Старлычанов решил накоротке собрать комсомольский актив, чтобы разъяснить новую задачу. Когда какое-нибудь подразделение приближалось к мосту, помощник начальника политотдела по комсомолу старший политрук В. И. Пальчиков громко выкрикивал фамилии. Комсорги, члены бюро, агитаторы выходили из колонны и направлялись к месту сбора. На лужайке скопилось человек сто сорок.

Взошло солнце. На душе у всех стало веселее, людской поток ускорил движение. Утро теплое, свежее. Небо чистое. Вокруг тихо. Только временами с запада доносится гул канонады.

И вдруг часто и резко забили зенитки. Из-за пригорка на низкой высоте выскочили четыре «фокке-вульфы». С воем полетели бомбы. Мощные взрывы взметнули огромные столбы воды. К счастью, ни одна бомба не задела моста. Еще и еще раз заходят бомбардировщики. Но зенитчики не дают им прицеливаться, и бомбы падают мимо. Тогда самолеты расходятся попарно и пикируют с двух сторон. Новые взрывы. Мы видим, как вздрогнула тяжелая ферма моста, а потом с треском и скрежетом медленно опустилась в воду. По-



том еще один взрыв на берегу. Высоко в небо взлетел столб пламени и черно-красного дыма. Это упал сбитый зенитчиками вражеский самолет.

И снова тишина. Теперь она настороженная, зловещая. Мы смотрим на разрушенный мост, на степь, дрожащую в мареве. На толпы притихших людей.

Мы отрезаны от своих. Позади нас наших войск нет. А враг может появиться с минуты на минуту.

К нам подбежала высокая женщина. Опрятно одетая. Тонкие дрожащие пальцы теребят небольшую красную сумочку. На усталом лице растерянность и страх.

— Как же мне быть с ними? — Сумочкой она показывает на три грузовика.

Над бортами их выглядывают напуганные ребячьи личики. Мы уже знаем, что это машины детского дома имени Янки Купалы.

Полковник Коновалов приказывает бойцам приступить к постройке плотов. В ответ послышалось:

— Это мы в два счета!

— Лесоопильный завод рядом, сейчас накачаем бревен, свяжем их.

— Не волнуйтесь, гражданочка, — весело сказал учительнице кто-то из комсомольцев. — Через полчаса доставим всех вас на тот берег. И ножек не замочите!

Пальчиков уже распределяет ребят — кому подносить бревна, кому доски, кому связывать плот. А детвора кричит из машины:

— Дяди, и нас возьмите! Мы тоже хотим работать!

Все ожили. И, как всегда, первым загорелся кипучий и неутомимый секретарь партбюро полка Федор Тимофеевич Бойков — уже штурмовал штабеля с лесоматериалом.

Но тут на нас обрушился оглушительный треск. Полукоулцом надвинулись мотоциклы. Грохот их моторов враз оборвался. Солдаты в серых мундирах слезли с машин.

Нахальные, наглые рожи. Подняли защитные очки на козырьки фуражек.левой рукой придерживая на груди автомат, правую, как по команде, вскидывают вверх.

— Хайль Гитлер! — вырывается из множества глоток.

Молоденький немец отделился от строя. Не спеша стянул кожаную перчатку с руки. Усмехнулся.

— Рус, сдавайся!

Я и не заметил, как впереди нас оказа-



И. А. Флёров.

лись комсомольцы. Плотной стеной, плечом к плечу, они заслонили командиров.

На всю жизнь я запомнил возглас полковника Коновалова:

— Комсомольцы, огонь!

Грянул залп. А потом разразился шквал огня. Бойцы стреляли торопливо, почти не целясь. Фашисты не ожидали отпора. Первые ряды их попадали. Задние дрогнули, попятились. Опомившись, некоторые застрочили из автоматов. Но мы уже кинулись вперед, хлынули всей массой. Сквозь трескотню выстрелов послышался голос секретаря комсомольской организации старшего лейтенанта Миши Федорова:

— Хлопцы, вперед!

И хлопцы стреляли в упор, кололи штывком, били прикладом, лопатой. Возле меня оказался гитлеровец. Прижал приклад автомата к животу, но не стреляет. Может, патроны кончились? Ногой вышибаю автомат. Поднимаю пистолет... Мне показалось, что гитлеровец упал еще до того, как я

нажал спуск. Врезались в память его глаза — круглые, обезумевшие от ужаса.

Падают сраженные гитлеровцы. Мы тесним и тесним врага... Наши солдаты бросаются к брошенным мотоциклам. В чехлах запасные обоймы к автоматам. Бойцы подбирают оружие убитых немцев, тут же заряжают и длинными очередями косят фашистов. Кое-кто из немцев успевает подбежать к мотоциклам, заводит их, но сейчас же валится под пулями: это их встречают «ходячие» раненые (и попав в госпиталь, они не расставались с оружием).

Я гляжу на наших бойцов. Потные лица сияют. И хотя пули все еще свищут вокруг, солдаты дерутся уверенно и, я бы сказал, весело. Сознание своей правоты сделало их бесстрашными и непобедимыми. И снова — в который уже раз! — я убедился в величии нашего солдата.

А гитлеровцы? Куда подевались их наглость и самодовольство! И хотелось крикнуть этим жалким, подавленным людишкам в серых мундирах, которые все еще отстреливались, надеясь спасти свои шкуры: «Брите, гады! Недолго вам топтать по нашей земле. Все равно остановим!»

Неподалеку от меня орудует автоматом старший техник-лейтенант Дмитрий Щербаков, комсорг управления дивизии. Раньше мы видели его с кинопередвижкой и рацией. На привалах он «крутил кино». Сеансы проходили в любую погоду, под любой крышей, а если ее не оказывалось — под открытым небом. Машину его давно разбомбили. Свою «технику» Щербаков теперь тащил на себе и по-прежнему везде был желанным гостем. Все ждали, когда он включит радио и мы услышим последние новости из Москвы. Но когда началась схватка, киномеханик тоже взялся за оружие и бил врага пулей и прикладом. (Кстати, Дмитрий Иванович и ныне здравствует, работает на авторемонтном заводе в Балашове.)

Миша Федоров лежал весь в крови, зажимая рукой рану в животе. Но, приподнявшись на локте, кричал друзьям:

— Хлопцы, не выпускайте их!

Скоро бой стих. Батальонный комиссар Старлычанов вытер лицо. Платок сразу стал черным.

— Вот и провели совещание...

Пальчиков, собрав людей, возобновил прерванные работы. Солдаты как ни в чем не бывало катали бревна, стаскивали их в реку, сшивали железными скобами. Сверху стелили доски.

К нам подвели двух гитлеровцев —



Д. И. Щербаков и Д. А. Старлычанов.

только они и остались в живых. Страх развязал им языки. Рассказали, что они входили в передовой отряд 17-й немецкой дивизии. В отряде было 220 человек и 200 мотоциклов.

Нас же было человек двести. Значит, можем бить гитлеровцев!

С противоположного берега прислали несколько надувных лодок. Неплохой получилась и наш плот. Первыми перевезли машины детского дома. Переправили госпиталь, обозы и всех, кто был на западном берегу.

А я все не могу уйти с этого обильно политого кровью клочка приднепровской земли. Рядом со скрючившимися трупами гитлеровцев тут и там лежат наши парни. У многих и ран не видно. Словно прилегли отдохнуть. Молодые, сильные солдаты...

Василий Иванович Пальчиков снял пилотку, опустил голову. Постоял безмолвно, потом тронул меня за рукав.

— Идемте, товарищ полковник. Командир дивизии послал меня за вами.

Мы направились к плоту.

На восточном берегу мы заняли оборону. Несколько дней сражались здесь. Солдаты стояли насмерть. Комсомольский актив мы все-таки провели в перерыве между боями. Много говорить не понадобилось. Каждый знал свою задачу: драться. Драться так, как дрались комсомольцы на правом берегу Днепра. Драться, пока враг не будет разгромлен.

### Последняя «психическая»

На разборе большого учения 20 июля 1963 года главнокомандующий войсками НАТО немецкий генерал Шпейдель прочел целую лекцию о роли «психических» атак во второй мировой войне. Напомню, это тот самый Шпейдель, который когда-то с хладнокровием садиста планировал по четырнадцать бомбардировок Великобритании в день, а сейчас как ни в чем не бывало инспектирует английские войска, входящие в НАТО. Говорил он, захлебываясь от восторга. Привел множе-

ство примеров, когда такие атаки приносили успех гитлеровцам. Но о «психических» атаках на советско-германском фронте он не сказал ни слова. И мне захотелось напомнить забывчивому генералу об одной из них.

...В первых числах сентября 1941 года мы оборонялись на рубеже Кузьминичи — Цирковщина юго-западнее Слас-Деменска.

Было очень тепло. На фронте наступило некоторое затишье.

Войска закопались глубоко в землю. Артиллеристы пристреляли все подходы к рубежу. Стрелки изучили и взяли на прицел каждую кочку. Пусть только теперь сунется враг! Зададим ему русскую баню!..

А противник не дремал. Разведка доносила, что он сосредоточивает силы.

И скоро тишине пришел конец. В семь часов утра над нашими позициями появились немецкие бомбардировщики. Посыпались бомбы. Заговорила и вражеская артиллерия. От взрывов земля ходила ходу-

Командование 53-й дивизии.



ном. Но у нас почти не было потерь. Наши зенитчики сбили два бомбардировщика.

Ждем, что дальше будет. Все бинокли и стереотрубы направлены в сторону противника. Наконец он показался.

Мы уже привыкли к немецкому шаблону: после артиллерийской подготовки идут танки, за ними, прячась за их броней, пехота. Но на этот раз все было иначе. Вначале мы даже не могли понять, что это движется на нас. Огромный черный прямоугольник километра полтора по фронту и с полкилометра в глубину. Потом разглядели: в шахматном порядке, со значительными интервалами один от другого, строго выдерживая равнение, идут тысячи эсэсовцев. Черные кители перепоясаны ремнями. Португей через плечо. На головах — фуражки с высокой тульей. Обвешанные гранатами, с автоматами наперевес, немцы маршировали во весь рост, широким чеканным шагом, как на параде. Впереди в линию двигались бронетранспортеры, оглашая окрестность диким воем сирен. В их кузовах солдаты держали большие портреты Гитлера и полотно со свастики. На флангах ползли танки.

Так вот оно что: эсэсовцы решились на «психическую» атаку. Хотят показать силу арийского духа!

Мерный, неудержимый шаг лавины вышколенных головорезов сильно действует на нервы. А тут еще вражеская артиллерия и авиация снова стали долбить наши позиции.

Смотрю на своих друзей. Волнуются, но держат себя в руках.

— Пора, — сказал командир дивизии.

Передаю команду нашим артиллеристам. Ударили орудия, минометы. Заработали десятки пулеметов. Вижу, загорается один, второй бронетранспортер. Похоже, что это дело рук артиллеристов багарей старшего лейтенанта И. М. Клочкова: метко бьют, черти! Подбитые машины остановились, но сирены их воют. Солдаты выскакивают из кузовов и вливаются в марширующую колонну.

Немецкие танки на больших скоростях выскакивают из-за флангов, прикрывают собой пехоту. Наши артиллеристы целятся в танки. И они начинают гореть. Мы видим, как падают гитлеровцы. Но остальные обходят дымящиеся танки и шагают, шагают...

Не скрою, кое у кого начинают сдавать нервы. Вот из окопа выскочил боец.

— Куда? — кричат ему товарищи. — Назад! Сиди и бей!

И солдат приходит в себя, спускается в окоп, кладет на бруствер винтовку, стреляет.

Кажется, уже долго-долго идет бой. Все окутано пороховым дымом. А страшная лавина катится и катится на нас...

Танки расступились и ринулись к нам во фланги. Теперь весь строй эсэсовцев ничем не прикрыт. Мы слышим крики. В многоголосом реве с трудом различаем:

— Рус, капут!

— Рус, сдавайся!

И все потонуло в треске автоматной пальбы. Немцы вели огонь на ходу, не сбавляя шага. Пули метелью летели над нашими окопами, не давая приподнять головы. Даже отсюда, с КП, видно, что потери у нас растут. Но пулеметы наши по-прежнему стреляют по вражеским цепям длинными, злыми очередями. Падают фашисты. Много их падает. И все-таки не сдержать нам этой тучи. Тем более вражеские танки прорвались в наши боевые порядки, уютжат окопы, давят наши батареи.

Н. П. Шелюбский.



И вот в самый критический момент, когда, казалось, судьба наших подразделений решена, к первой линии обороны примчался «газир». Из него выпрыгнули командующий армией генерал-лейтенант К. Д. Голубев и член Военного совета генерал-майор С. И. Шабалов.

Грузный, широкоплечий Голубев оглядел окопы. Стоял он спокойный, как будто не было вокруг вихря пуль. Мы услышали его громовой голос:

— Держись, товарищи, идет подмога!

А Шабалов уже был в окопах, обходил потных, уставших бойцов. Что-то говорил им. И лица людей светлели. Вскоре в окопах появились командующий артиллерией армии генерал В. Э. Таранович, офицер оперативного отдела его штаба майор А. Е. Трунин. Они сразу направились на позиции артиллерийского полка, чтобы организовать отпор танкам.

А эсэсовцы приближались... Правда, уже заметно: цепи их стали значительно жиже. И все-таки немцев оставалось намного больше, чем нас. Передние уже надевают автоматы на шею и отстегивают с пояса гранаты.

Оглушительный рев: «Рус, капут!» — катился из края в край. Но что это? Сквозь рев тысяч глоток, сквозь грохот стрельбы долетела песня:

Широка страна моя родная...

Может, чудится? Но нет, крепнет песня. Вот она уже волной покатила по нашим боевым порядкам.

— Идут! Ура!.. — закричали бойцы.

Я выбежал из блиндажа. Чеканным шагом к нашим позициям приближается стройная колонна солдат. Их много — глазом не охватить. Подтянутые, в ладно пригнанном обмундировании, идут спокойно и уверенно; и дружная песня летит над четкими рядами. Вижу полковника П. В. Миронова, нашего соратника по боям под Ельней. Его 107-я стрелковая дивизия прославилась там и была преобразована в 5-ю гвардейскую. Павел Васильевич жмет мне руку, улыбается.

— Смотри, чтобы артиллерия не подвела, а мы свое сделаем...

Я вернулся к своим артиллеристам. Решаемся на дерзкий маневр. Две батареи — С. И. Беридзе и Н. П. Шелюбского — выбрасываем вперед на флангах. Это рискованно — немецкие танки могут перехватить их. Но пушкари выкатили орудия вперед и ударили вдоль фашистской колонны. Залпы сметают эсэсовцев, как саранчу. Издали различаю командира. Он перебегает от пушки к пушке. Это

старший лейтенант Н. П. Шелюбский. Отважнейший человек! Пушки на виду. К ним устремляются немецкие танки. А они все бьют и бьют по рядам эсэсовцев. На геройскую батарею набрасываются фашистские штурмовики. Пушки скрываются за частоколом взрывов. Но когда столбы земли оседают, пушки снова открывают огонь. Правда, их уже не четыре, а две и стреляют они реже — людей в расчетах совсем мало осталось. Но стреляют. Стреляют наперекор всему.

А гвардейцы, разомкнув ряды, уже перешагивают через наши окопы и с громким «ура» устремляются вперед. В центре строя полыхает алое знамя. На флангах артиллеристы катят орудия, быстро разворачивают их и открывают огонь. Все быстрее и быстрее движение гвардейцев. Первые ряды столкнулись с противником в рукопашной схватке. На выручку своей пехоте кинулись было немецкие танки, но наши артиллеристы стеной огня перегородили им путь.

С волнением наблюдали мы за полем боя. Здесь, на выжженной, перепаханной взрывами земле, столкнулись не просто сила с силой. Это два противоположных мира вступили в единоборство. Черная рать, несущая рабство и смерть, столкнулась здесь с людьми, самыми гуманными на свете, но беспощадными к врагу, когда дело идет о жизни Отчизны, о судьбе народа, о будущем человечества.

И миг преобразился вражеский строй. Эсэсовцы потеряли весь свой лоск и спесь. Заметались, ища спасения. И вскоре остатки их побежали вспять.

Грозная, считавшаяся непобедимой, эсэсовская дивизия «Мертвая голова» показала спину. Мало кому из фашистов удалось спастись. Уцелевшие, бросив оружие, подняли руки. Они стояли перед нами жалкие, трясущиеся. Кажется, даже ростом стали ниже.

Поле было усеяно трупами. Валялись порванные, втоптаные в пыль портреты Гитлера, полотнища с черной свастикой, плакаты на русском языке, призывавшие нас сдаться на милость фюреру...

«Психическая» атака обернулась гитлеровцам гибелью первоклассной дивизии. Конечно, и у нас были потери. Немало отважных гвардейцев пало в бою. Наша дивизия тоже еще более поредела. Недосчитались мы героя-артиллериста Наума Павловича Шелюбского и почти всех его подчиненных — они погибли под гусеницами вражеских танков.

Но победа была на нашей стороне, и наши потери не могли идти ни в какое сравнение с немецкими.

В Москве мы часто встречаемся с бывшим командиром гвардейцев П. И. Мионовым, ныне генерал-лейтенантом, Героем Советского Союза. И каждый раз невольно вспоминаем об этом бое под Спас-Деменском.

К «психическим» атакам фашисты более не прибегали. Во всяком случае, мне больше не довелось слышать ни об одной из них.

### Семья Ляшенко

После разгрома врага под Курском войска 1-го Украинского фронта, продвигаясь

на запад, заняли Житомир, Бердичев, вплотную подошли к Виннице. Но в январе 1944 года наше наступление приостановилось. Гитлеровцы подтянули сюда большие силы. Командующий группой немецких армий «Юг» фельдмаршал Манштейн сосредоточил в районе Винницы и Умани четыре пехотные и шесть танковых дивизий. В них насчитывалось полтысячи «пантер» и «тигров» — самых мощных по тому времени танков.

2-я танковая армия, в которой я служил командующим артиллерией, получила приказ: в случае прорыва противника нанести контрудар и уничтожить его. Стояли мы тогда возле города Белая Церковь.

24 января гитлеровцы перешли в наступление. Им удалось потеснить наши

Один из орудийных расчетов  
батареи Шелюбского.



войска. Форсированным маршем мы бросили наши танки и артиллерию навстречу вражеской стальной лавине. Шесть суток не стихали яростные бои на рубеже Очеретье, Липово, Погребщице.

Мы со штабными офицерами-артиллеристами подполковниками В. Н. Торшиловым и С. А. Панасенко, майорами В. К. Кравчуком и Г. С. Сапожниковым неотлучно находились в боевых порядках войск, организуя взаимодействие артиллерии с мотопехотой и танками. Я видел, как стойко дрались наши танкисты, самоходчики, расчеты противотанковых орудий. Легкораненые отказывались уходить в укрытия. В этих боях наши войска уничтожили около 140 танков.

Мне пришлось быть свидетелем мужества и отваги артиллеристов, занявших позиции за противотанковым рвом, который сохранился еще с 1941 года. Наши пушки хорошо окопались. Стреляли они очень точно. За три дня немцы предприняли одиннадцать атак на этом рубеже. Но каждый раз фашистские танки отказывались. Много вражеских машин, обгорелых, разбитых, навсегда застыли среди степи. Гитлеровцы не жалели снарядов и бомб. Позиции наших батарей иногда тонули в дыму и пламени. Мне доложили, что из 123 человек, которые были в дивизионе накануне боя, сейчас остался 61 боец, да и из них многие ранены. Заменяв выбывших из строя товарищей, к орудиям встали связисты, шоферы, бойцы тыловых подразделений.

— Кто командует дивизионом? — спросил я командующего артиллерией 16-го танкового корпуса полковника И. И. Таранова.

— Майор Ляшенко.

— Это тот, который вернулся после ранения?

— Он самый.

Таранов еще неделю назад сказал мне, что к нему в корпус прибыл новый командир дивизиона. Я все собирался поговорить с ним, да события помешали.

Мы прсшли на НП артиллерийского дивизиона. Здесь властвовал невысокий, чуть грузноватый офицер. Не отрывая глаз от окуляров стереотрубы, он выслушивал доклады, подавал четкие команды. Командный пункт действовал слаженно, уверенно. И не поверишь, что люди смертельно устали и что совсем близко от них рвутся снаряды.

Завида нас, молодой телефонист вскакивает, хочет предупредить офицера о на-

шем прибытии. Жестом заставляю его молчать.

Со стороны наблюдаю за командиром. Где я его видел? И вспомнил. Это же Василий Ляшенко, который служил у меня в 1938 году, когда я командовал 30-м артиллерийским полком. Пришел сразу из училища, лейтенантом, поставили его на взвод. А теперь уже командир дивизиона. Молодец!

Изменился сильно. Возмужал. Лицо стало строгим, суровым. Возможно, таким оно кажется от большого свежего шрама: розовая полоска протянулась через лоб, щеку, подбородок.

Когда чуть стихло, я подошел к нему. Крепко обнял. Оба обрадовались встрече.

Майор смущенно трогает пальцами шрам.

— Не уберегся вот. Девять месяцев штопали меня врачи. — Тон такой, будто он во всем виноват. — После госпиталя хотели в тылу оставить. Кое-как уговорил, чтобы послали снова на фронт.

Разговор наш прервала новая вражеская атака.

— К бою! — скомандовал майор.

Мы выстояли тогда. Мне было приятно в приказе по армии о награждении отличившихся в этих боях прочесть фамилию Ляшенко: он был удостоен ордена Красного Знамени.

Наши танки снова двинулись на запад. В хлопотах наступления я редко видел Ляшенко. Но вскоре мне напомнили эту фамилию. Начальник строевого отдела штаба армии показал письмо из Пугачевского районкома:

«Призывник М. П. Ляшенко просит направить его в вашу армию. Хочет служить вместе со своим братом офицером В. П. Ляшенко. Сообщите, не возражаете ли вы против этого».

Командование дало согласие. И вскоре у нас появился рядовой Михаил Ляшенко, расторопный, смысленный парень.

А спустя еще несколько недель член Военного совета армии генерал П. М. Латышев привел ко мне в блиндаж пожилого человека в гражданском и девушку.

— Григорий Давидович, принимаю новых солдат. Пугачевский райком прислал.

Старик шагнул вперед, щелкнул каблучками:

— Товарищ генерал, бывший бомбардир-наводчик Сорок шестого артиллерийского его императорского величества дивизиона Ляшенко прибыл в ваше распоряжение.

Я удивленно оглядел его.

Высокий, широкоплечий, он выглядел моложе своих лет, несмотря на пышные усы, в которых уже серебрилась седина. На груди поблескивал георгиевский крест. Расспрашиваю его, с чем пожаловал.

— Оба моих сына у вас. Ну, и я не мог усидеть дома. Силенки еще есть, на здоровье не жалуюсь. Вот и пришел. Дома хозяйка одна справится. Захватил с собой и Галину, самую младшую дочь. Она комсомолка, тоже пригодится. Голова колхоза и односельчане согласились отпустить нас. Определите к делу...

Он немного помолчал. Из грудного кармана достал аккуратно сложенный листок.

— Вот вам, товарищ генерал, квитанция... Мы с женой собрали, кое-что дал и Василий. Все наши сбережения — сто тысяч — внесли в банк. Хотим на эти деньги орудие купить.

Я залюбовался стариком. Вот они, какие наши люди! Всех детей проводил на фронт и сам пришел воевать. Все готов отдать Родине — и трудовые сбережения свои и саму жизнь.

— Солдатское спасибо тебе, дорогой!..

Петр Степанович и его дочь были направлены в подчинение офицера Ляшенко. К тому времени он стал подполковником. Квитанцию на внесенные в банк сбережения, врученную мне Петром Степановичем, мы отправили в Главное артиллерийское управление. Дней через пятнадцать генерал-полковник И. И. Волкотрубенко прислал нам пушку. На лафете ее блестела никелированная табличка: «Орудие семьи Ляшенко».

В торжественной обстановке орудие было вручено сержанту Петру Степановичу Ляшенко, назначенному командиром расчета.

Нелегко было старому солдату: многое изменилось в военном деле за двадцать пять лет. Офицеры помогали ему. Учил отца и подполковник Василий Петрович Ляшенко. Спрашивал с него строго, не поверишь, что это сын.

В расчет добавили людей, и орудие семьи Ляшенко вошло в строй. Воевало оно отлично. Мы не раз наблюдали, как смело, быстро и точно артиллеристы Ляшенко в бою разворачивали орудие на виду у врага и били по танкам прямой наводкой.

Старый георгиевский кавалер стал хорошим командиром. Заботливый, требовательный и справедливый, он завоевал любовь солдат.

26 апреля 1944 года в бою на советско-

румынской границе под местечком Тыргул Фрумос броневой снаряд пробил щит орудия. Наводчик Михаил Ляшенко был убит. Командир расчета кинулся к сыну, бережно поднял и отнес в сторону. Приложился ухом к груди. Не бьется сердце. Старик платком вытер кровь с лица сына, тем же платком смахнул слезы со своих щек и, не проронив ни слова, вернулся к орудию и продолжал вести огонь.

Вечером я приехал на батарею. Михаил Ляшенко уже лежал в наспах сколоченном гробу. Вокруг в скорбном молчании стояли солдаты. Отец, брат и сестра склонились над гробом. Галина не выдержала, громко заплакала. Петр Степанович нежно тронул ее за плечо:

— Тише, дочка, не надо...

Поцеловал холодный лоб сына. То же сделали брат и сестра.

— Ну, а теперь пошли. — Петр Степанович обнял за плечи подполковника и дочь-санитарку. — Маме пока ничего не пишете.

Солдаты расступились, давая им дорогу.

Орудие семьи Ляшенко дошло до Берлина. Петр Степанович стал собираться домой. Он снова надел свой гражданский костюм, накануне тщательно отглаженный. На груди старика сияли ордена Красной Звезды, Отечественной войны и целый ряд медалей — награды, которыми Родина удостоила его за ратные подвиги. Здесь же красовался георгиевский крест на потертой ленточке. От подарков старик отказался. Но грамоту за доблестную службу принял с благодарностью. Прощаясь, старый солдат низко поклонился всем. Крепко обнял сына-подполковника. Поднес платок к повлажневшим глазам, разгладил усы. И сказал громко, чтобы все слышали:

— Спасибо, товарищи! И тебе, Васенька, сынок мой, гордость и радость наша, пребольшое спасибо! Прости, если кое-что не так получалось. Но поверь: всеми силами старался тебя не осрамить...

Еще раз обнял сына, трижды поцеловал его.

И заспешил к поджидавшему попутному грузовику. Солдаты и офицеры долго махали фуражками ему вслед.

В 1949 году ушел в отставку по болезни офицер Василий Петрович Ляшенко.

Но прославленное орудие № 001248, орудие семьи Ляшенко, продолжает нести службу. И молодые артиллеристы считают высокой честью попасть в его боевой расчет.





Маршал Советского Союза  
Р. Я. Малиновский

## Испанские встречи



Чем дальше уходят в прошлое сражения, гремевшие на каменной земле Испании, тем пристальнее всматриваются люди в те далекие годы. И это закономерно. Народы не хотят, чтобы снова раздавались залпы, чтобы в жестоком пламени гибли люди, горели города и непреходящие ценности мировой культуры. А ведь события на Пиренейском полуострове явились, образно говоря, прелюдией второй мировой войны.

Битва за Мадрид... Гвадалахара... Арагонское сражение... То были трагические, но вместе с тем прекрасные дни и годы. Трагические потому, что много невинных жизней было загублено фашистскими палачами и наемниками кровавого каудильо

Франко, горький след оставила война на испанской земле и в сердцах людей. Прекрасные потому, что борьба испанского народа с мятежниками была справедливой борьбой за осуществление столетиями вынашиваемой мечты о свободе; потому что в Испании в полный рост встало интернациональное братство честных людей Земли и перед всем миром были продемонстрированы его мощь и его неиссякаемые жизненные силы. Гордо звучало тогда слово «интернационалист». И среди тех, кто вдали от родины защищал Мадрид и Испанию, пожалуй, самым легендарным стало имя Матэ Залки, генерала Лукача.

Он как солдат погиб под Уэской. Но все, кто знал его и сражался с ним бок о бок, приносят ему дань глубочайшего уважения не только из-за традиционной памяти о тех, кого уже нет среди нас, не только потому, что Матэ Залка отдал делу борьбы с фашизмом самое дорогое — жизнь. Если бы Матэ Залка здравствовал и поныне, его заслуги перед мировой интернациональной солидарностью чтились бы с не меньшим благоговением. Он весь был нацелен в будущее, весь в движении, большой писатель и храбрый воин. Сколько бы еще он мог сделать для людей, для нашей партии, для Советской страны, заменившей ему родную землю — Венгрию!

Я познакомился с ним сразу же по прибытии в Испанию — в январе 1937 года. В Мадриде все дышало недавними — ноябрьскими — боями с мятежниками, решившими овладеть городом посредством сильных любовых атак. Но республиканцы удержали Мадрид. И это в условиях, когда правительство Ларго Кабальеро покинуло Мадрид. Его примеру последовали военное министерство и главный штаб — руководство защитой Мадрида легло на плечи Комитета обороны, состоявшего из представителей всех партий Народного фронта.

А Мадрид держался. Держался в жестокой схватке с регулярными частями Франко, Гитлера и Муссолини. И если искать корни этого чуда, то мы найдем их в мужестве и стойкости Коммунистической партии Испании, сумевшей в обстановке паники и растерянности сплотить трудящихся Мадрида в единый монолит, о который разбивались волны вражеских атак. Душой обороны Мадрида стал Пятый полк — детище партии, подлинная кузница революционных военных кадров; решающую роль в борьбе с мятежниками сыграли и только что сформированные Интернациональные бригады —

11-я, которой в первое время командовал Клебер, а затем немец Ганс Кала, и 12-я, которую создал и возглавлял венгр из Советского Союза Матэ Залка.

Эти бригады сражались на главных участках фронта. Изнемогая от потери, они сумели измотать все резервы противника, которые он бросил напролом, будучи твердо уверенным в небоеспособности республиканской армии. Фашисты хотели войти в Мадрид 7 ноября. Генерал Мола должен был въехать в столицу на белом коне, а генерал Франко уже заготовил речь, которую ему предстояло произнести перед толпой со ступеней правительственного здания на Пуэрта-дель-Соль. Не получилось! Толпы людей действительно запрудили Пуэрта-дель-Соль, но отнюдь не для встречи кровавых генералов, а для проводов на фронт интернациональных батальонов. Вместе с ними шли навстречу врагу вновь сформированные батальоны Пятого полка.

Мне предстояло разыскать генерала Купера, и я направился из Мадрида в район Галапагара. По пути заехал в штаб 12-й Интернациональной бригады. Первым, кого я встретил, был начальник штаба бригады полковник Белов — Карло Луканов, болгарин, в дальнейшем видный государственный деятель Народной Республики Болгарии. Генерала Лукача (тогда я еще не знал, кто носит этот псевдоним) на командном пункте не было — он находился на передовых позициях. Я решил не терять даром времени и попросил полковника Белова ввести меня в обстановку на участке бригады, что он и сделал с большой охотой и основательностью.

— А вот и генерал Лукач, — показал полковник Белов в сторону двух человек, вышедших из остановившейся рядом машины.

— Кто же второй?

— Полковник Фриц.

«Фриц! Значит, немец», — подумал я.

Характерная черта Матэ Залки — и в этом я мог убедиться не однажды — располагать к себе окружающих. Не успели мы познакомиться, как я уже оказался во власти его прямо-таки искрящейся энергии. Он широко улыбался, обнаруживая ровный ряд белых зубов, был подвижен и, очевидно, возбужден тем, что увидел на передовых позициях.

— Отбросим на минуту псевдонимы! — воскликнул генерал Лукач и обратился ко мне: — Знакомьтесь, полковник Батов.

«Вот так Фриц!» — подумал я и вторично пожал руку спутнику Лукача. Павел Иванович Батов был подтянут, строен, и по

выправке в нем угадывался прирожденный военный. Таков он, кстати, и по сей день — дважды Герой Советского Союза, генерал армии, прославившийся в годы Великой Отечественной войны.

— Ну, а я — Матэ Залка. Слышали про такого?

— Пойдите, пойдите, не вы ли венгерский писатель Матэ Залка?!

Мне вспомнился рассказ «Ходя» и герой этого рассказа китаец, сражавшийся в гражданскую войну против белогвардейцев. Читал я и другие произведения Залки, но почему-то именно «Ходя» врезался в память особенно сильно.

— Он самый. Действительно, я больше писатель, чем командир, но что поделаешь, пришлось к перу приравнять штык, — и на губах у Лукача заиграла добрая, по-детски непосредственная улыбка. — Впрочем, кое-чему я научился в гражданскую войну. И тут, в Испании, школу проходим солидную. Иногда, правда, и двойки получаем. Не так ли, дорогой Фрицек?

— Ну, тут уж ученики не виноваты. Их можно сравнить с первоклассниками, которых в десятый класс посадили.

Полковник Батов пояснил: бойцы в бригадах горят интернациональным энтузиазмом,

Р. Я. Малиновский. Мадрид, 1937 г.



но одного этого недостаточно. Враг силен, в борьбе с ним нужен опыт, а многие люди в бригаде первый раз винтовку в руках держат.

Несколько минут мы разговаривали с Павлом Ивановичем как профессиональные военные.

— Да, учиться приходится прямо на поле боя. Вот теперь наши советские танки Т-26 появились. Прекрасные машины! Куда против них итальянским танкам, вооруженным пулеметами! У наших-то пушки. Но тут другая беда: пехота еще не умеет взаимодействовать с танками. А при умелом сочетании сил можно мятежников в хвост и в гриву колотить.

И Павел Иванович рассказал о бое, который произошел в первый январский день. Это было на гвадалахарском участке, где республиканцы решили нанести удар по противнику в направлении Альмадронес — Сигуэнса. 12-я Интернациональная бригада с четырьмя батареями и ротой танков наступала во фланг мятежникам — на Мирабуено, Альгору. Атаковали вражеские позиции внезапно и к вечеру выбили фашистов из обоих населенных пунктов. Но поздно ночью батальон интернационалистов, занимавший Альгору, был неожиданно атакован пятью ротами мятежников. В селении завязался ожесточенный щтыковой бой. Трудно

было предугадать его результаты, но тут подоспели три наших танка. Они открыли огонь из пушек и пулеметов вдоль улиц. Фашисты бежали, потеряв в деревне более ста пятидесяти человек.

Генерал Лукач между тем нервно прохаживался рядом. Было видно, что он напряженно размышляет над чем-то, и я подумал: как резко меняется его настроение! Наконец он подошел к нам.

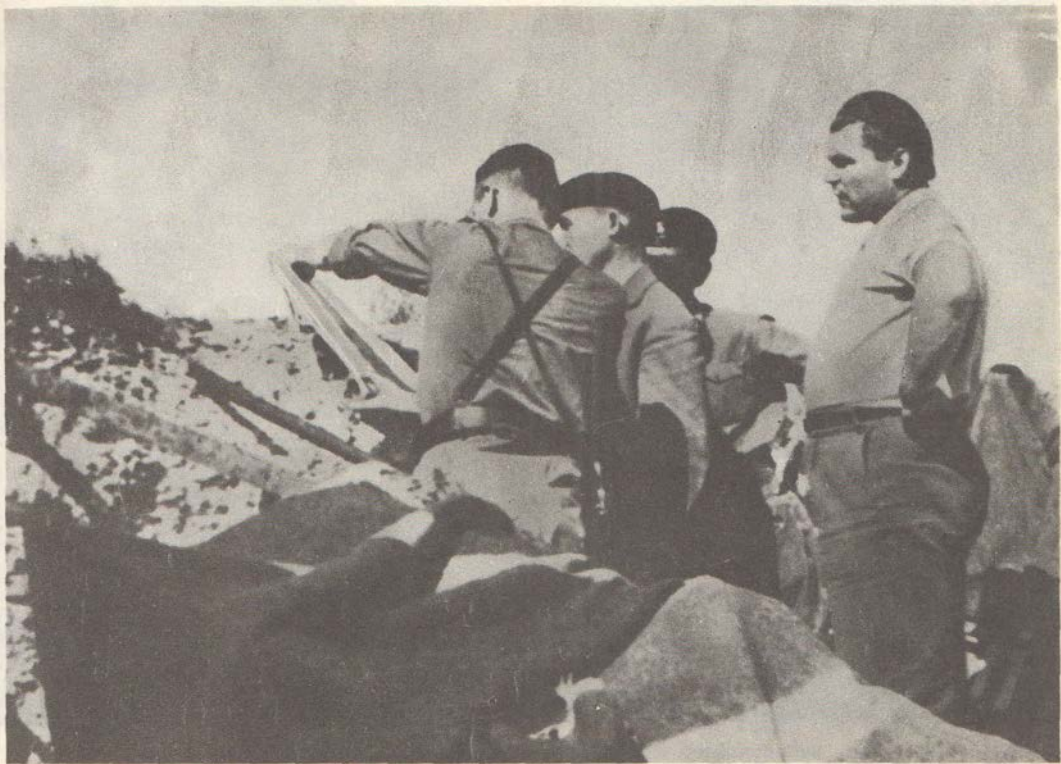
— Испания! Фашисты терзают ее тело, а те, кто выдает себя за поборников справедливости, не хотят ничего замечать. Предательство — вот что это такое!

Генерал Лукач сдвинул темные брови и оперся о стол, на котором лежала военная карта.

— Классовая борьба — вот что это такое! Посмотрите, кто воюет в нашей бригаде. Борцы против фашизма в Германии, Италии, добровольцы из других стран. Они пробирались сюда поодиночке, миновали сотни препон, созданных той же самой пресловутой политикой невмешательства, и стали в строй на стороне испанского народа. А буржуазная печать называет их бандитами. Чудовищно! Кто же эти «бандиты»? Людвиг Рени, которого за его антифашистские книги Гитлер заточил в тюрьму на Александерплац? Или рабочий-строитель

Матэ Залка — генерал Лукач на фронте под Гвадалахарой.





В окопах под Мадридом.

Рихард, ныне полковник? Или ты, дорогой Фрицек?

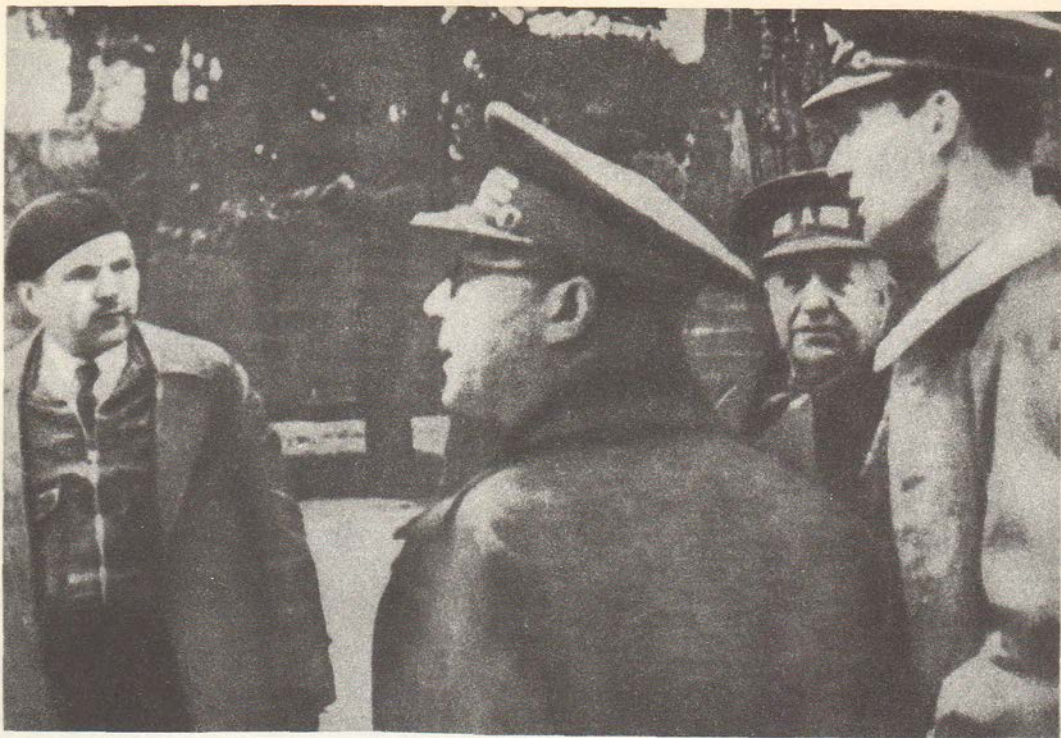
Павел Иванович только развел руками.

— Вы понимаете, товарищи, что происходит в Испании? Это оселок, на котором пробуются люди. Людвиг Ренн и полковник Видаль из французского батальона воевали друг против друга в 1916 году. Итальянец Галиани воевал против меня, когда я служил в австро-венгерской армии. Теперь мы все вместе. Не враги, а друзья. И враг у нас один — фашизм. А наши гарибальдийцы, итальянцы, которых никогда не считали за хороших солдат? Они сражаются как львы. Видели бы вы наших гарибальдийцев в боях за Умеру и Посуэло де Аларкон!

Я слушал генерала Лукача и ловил себя

на мысли, что и мы с ним были во враждующих лагерях первой мировой войны, а теперь оказались вместе, по одну сторону баррикад, по нашу, революционную сторону. И еще я отметил про себя способность генерала Лукача делать из конкретных событий широкие политические обобщения. Он все представлял себе как-то объемно, выпукло, и если бы он не был командиром, то, наверное, был бы прекрасным пропагандистом. Впрочем, эти два свойства очень хорошо сочетались в нем.

А разговор все крутился вокруг Мадрида. Генерал Лукач — он был большой человеколюб, и об этой черте вспоминают ныне все знавшие его — с негодованием рассказывал о бомбардировках Мадрида с воздуха, предпринятых фашистами. Я ус-



Р. Я. Малиновский с испанскими командирами.

лышал о том, как рвались бомбы германского производства в госпитале Сан-Карлос, как горела церковь Сан-Иеронимо и как истекали кровью люди на мостовых Глорiette. Тогда передо мной впервые открылся звериный оскал фашизма. Через несколько лет я увидел все это на родной советской земле...

— Они говорят, что бомбят военные объекты, — продолжал генерал Лукач. — Какая наглость! А сотни убитых женщин, детей, стариков. Что это? А бомбы на Гран-Виа, а разрушенный дворец герцога Альбы? Бедный герцог, он еще протестует через английскую прессу. Но ведь бомбы на его дворец сбросили друзья самого герцога! — Генерал саркастически улыбнулся, и через секунду лицо его вновь приняло выражение негодования. — До чего дошли!

Настоящие каратели! Вы слышали, как они бесчинствуют у себя в тылу? Истязают женщин, остригают наголо жен и матерей республиканских бойцов. Есть случаи помешательства несчастных...

Наша беседа могла бы продолжаться без конца. Матэ Залка умел говорить, умел зажигать собеседников — очевидно, оттого, что слова его были всегда искренни. Но мне следовало торопиться.

Они тепло проводили меня — генерал Лукач, полковник Батов, полковник Белов и присоединившийся к нашей группе Петров, тоже болгарин — Фердинанд Козовский, посоветовали, как найти генерала Купера.

Потом я был советником у командира одной из первых дивизий народной армии легендарного Энрике Листера. С товарищем

Лукача мы были на разных флангах одного боевого участка, но на войне дороги сходятся часто. Да и самому мне всегда хотелось побывать в 12-й Интернациональной бригаде — будь она на фронте или в резерве — и, конечно, встретиться с ним, с его дружным, крепким штабом.

Время было горячее: в начале января мятежники предприняли новую попытку захватить Мадрид, теперь уже с севера. Но, добившись мизерного территориального успеха, они понесли жестокие потери в живой силе и технике. Начали подтягивать резервы. В Испанию был переброшен итальянский экспедиционный корпус. Вскоре началась третья операция мятежников по овладению Мадридом — Харамская. Одновременным ударом с северо-востока от Сигуэнса и с юга по восточному берегу реки Харамы фашисты решили, очевидно, устроить республиканцам своеобразные «Канни». Правда, одновременного удара не получилось. Первый удар пришелся по вновь сформированному, необстрелянному испанским бригадам. А для защиты самого опасного направления, выходящего противника на шоссе Мадрид — Валенсия, была выдвинута 12-я Интернациональная бригада.

Нерадостной оказалась наша встреча с генералом Лукачем в середине февраля. Он только что возвратился из госпиталя, где лежало много раненых бойцов бригады. Лицо его было бледным. Генерал страдал и не мог скрыть этого.

— Проклятые мосты! Нужно было взорвать их, непонятно, почему командование не сделало этого. Я выслал роту с четырьмя пулеметами к мосту Пинтоке. Достаточно? Конечно! Все было тихо. Ребята, очевидно, успокоились, а ночью их внезапно, без единого выстрела, атаковали марокканцы. Ни один из пулеметов не успел открыть огня. От роты осталось четыре бойца. Вы понимаете, полковник Малино?!

Генерал не находил себе места. Он понимал, что командир роты проявил элементарную беслечность.

— Опять урок! Но теперь-то мы уже не первоклассники, а бдительности не хватает. Жаль, жаль бойцов!..

Я попытался успокоить генерала Лукача, но сразу же понял, что словами не поможешь его горю. Он был командир и, как каждый настоящий командир, испытывал отцовские чувства к своим солдатам. Он понимал, что война не бывает бескровной, но за каждую каплю ее враг должен заплатить большой ценой.

А с мостами действительно была допущена

на большая и непоправимая ошибка. Ведь на западном берегу реки Харамы республиканцы имели совсем небольшой плацдарм, да к тому же и закрепиться на нем как следует не успели. Между тем в феврале вода в реке сильно поднялась, и Харам представляла для противника весьма серьезное препятствие. Нетрудно было предугадать, что мятежники сразу же завяжут бои за переправы. Они были гораздо более необходимы им, нежели республиканцам. Здравый смысл подсказывал уничтожить мосты. Но командование Центрального фронта этого не сделало. О причинах судить трудно. То ли это было тактическое недомыслие испанских офицеров, многие из которых привыкли воевать по закатенным канонам старой королевской армии, то ли инерция задуманного ранее наступательного плана. Во всяком случае, мосты облегчили противнику форсирование Харамы.

Все же я напомнил генералу Лукачу, что события на Хараме начали развиваться в пользу республиканских войск, и это тем более приятно, что Харамская операция явилась, в сущности, первой операцией армейского масштаба. Значит, опыт растет. Теперь советские танки уже полностью господствовали на поле боя. Это очень часто решало и ход боев в пользу республиканцев. Большую силу представляла теперь и советская истребительная авиация. Она появилась в небе Испании еще в ноябре, и мадридцы со слезами радости на глазах смотрели, как советские летчики разогнали фашистских воздушных пиратов. Во время Харамской операции фашисты как огня боялись наших истребителей. Они написто отказались от своего излюбленного приема: в течение нескольких часов «долбить» одни и те же позиции республиканцев. Теперь налеты бомбардировщиков были короткими, зачастую они сбрасывали бомбы с первого захода. Но наши истребители все же умели «прихватывать» мятежников над полем сражения, и тогда черные султаны дыма поднимались к небу.

В общем строю защитников Мадрида сражалась на Хараме и 12-я Интернациональная бригада. Несмотря на большие жертвы, она выполнила свою задачу: противник не смог отрезать столицу от остальной части страны, перерезать дорогу Мадрид — Валенсия.

По окончании Харамской операции бригада была выведена в резерв для пополнения. Генерал Лукач не сидел на месте. Его

можно было встретить то в госпитале среди раненых бойцов, то в кабинетах фронтовых снабженцев — помимо всего прочего, Матэ Залка был человеком настойчивым и никогда не уезжал от начала без машины провианта. Штаб же его еще раньше превратился в нечто вроде пресс-центра: в гостях у Лукача постоянно бывали писатели, советские и иностранные журналисты, кинорепортеры. Его часто навещали Илья Эренбург, Хемингуэй, Михаил Кольцов, Роман Кармен. В Мадриде он встречался с либеральным английским журналистом Джеффри Коксом. Кажется, виделся он и с французским журналистом Луи Делапре, посланным в Испанию буржуазной газетой, но не захотевшим лгать в угоду «желтой» прессе Запада.

Однако недолго пришлось быть в резерве 12-й Интернациональной бригаде. Ранним утром 8 марта более полусотни итальянских орудий обрушили огонь на позиции республиканцев у Мирабуэно и на высоты у Эль-Меранчель. Воздух сотрясаясь от рева фашистских бомбардировщиков. В 7 часов 30 минут в атаку двинулись танки интервентов. Так началась Гвадалахарская операция.

Гвадалахара... По праву стала она символом доблести и мужества республиканской Испании.

Враг задумал эту операцию в виде стремительного продвижения итальянского экспедиционного корпуса по Сарагосскому шоссе. 9 марта интервенты планировали захватить Ториху, а уже 15 марта — Мадрид. Все расчеты строились на отсутствии сколько-нибудь серьезных республиканских сил на северо-восточном направлении, на возможности безостановочного движения вперед. Но расчеты эти оказались недалекими. Три дивизии, шедшие в затылок одна другой (четвертая — «Литторио» — была в резерве) по узкой долине, ограниченной горным хребтом Самоснерра и берегом реки Тахунья, могли быть остановлены и поражены гораздо менее мощными силами.

Так оно и случилось. Если 8 марта против трех слабо оснащенных республиканских батальонов интервенты двинули пятнадцать вооруженных до зубов батальонов, то уже на следующий день республиканским командованием сюда была перебросена 11-я Интернациональная бригада с ротой танков. Маневрируя и действуя из засад, эти танки встретили интервентов жесточайшим огнем. Еще через день в сражение вступила 2-я бригада Листера и 12-я Интернациональная бригада. 12 марта

в составе республиканских войск уже действовали три республиканские дивизии и два батальона танков Т-26 под командованием советского добровольца генерала Д. Г. Павлова. Эти значительно уступавшие итальянцам силы благодаря высокой стойкости нанесли поражение врагу. Бомбовые удары и пулеметный огонь наших самолетов сыграли решающую роль в успешных действиях.

Итальянский экспедиционный корпус был разгромлен.

Лично мне непосредственного участия в этих боях принять не пришлось: после Харамской операции я был назначен советником при командире 2-го Мадридского корпуса. Но ни с Листером, ни с Лукачем связи не терял, наезжал к ним под Гвадалахару. И генерал Лукач бывал в Мадриде, так что и в сумятице боев нет-нет да и мельнет его веселое лицо, его энергичная фигура, нет-нет да и выдастся минута-другая для короткого душевного разговора.

Помнится, одна из встреч состоялась где-то в середине марта. Матэ Залка был по обыкновению возбужден. Мы обнялись, и он тут же начал рассказывать о недавних боевых событиях. Я уже слышал о том, как упорно оборонялась и отважно наступала его бригада. А теперь Лукач сообщил мне еще одну новость: бригада овладела Паласио де-Ибарра.

— А дело было довольно простое! — жестикулируя, рассказывал Лукач. — Два моих батальона, в том числе имени Гарибальди, вместе с танками скрытно, по лесу, подошли к дворцу. Танки открыли огонь, пехота начала окружать гарнизон. Им было просто сдать — так нет, видно, боялись раслаты за свои злодеяния. Сопротивлялись зверски. Тогда танки проломили каменные стены ограды, пехота за ними — итальянцы в панике. Все, кто остался цел, сдались... Потом начались контратаки, но мы уже вышли на опушку леса: перед нами открытое поле, подобраться трудно. Правда, итальянцы бросили против нас еще один батальон, потом какие-то резервы, танковую роту. Но тут нам соколики помогли. Представляете: около тридцати истребителей в воздухе!

— И это вы называете «простым делом»?

Генерал Лукач смутился: он не умел хвастаться и в то же время не мог нарадоваться на своих бойцов.

— Да, конечно, дело не простое. — Лицо Матэ Залки потемнело. — Восемьдесят человек оставили в этом проклятом дворце. Восемьдесят! Зато и фашистам не

поздоровилось: два батальона прекратили существование, сто пятьдесят пленных, техника, оружие да в придачу оперативные документы штаба 535-го итальянского батальона.

Генерал Лукач всегда очень берег людей. Но себя он сберечь не сумел. Гибель его глубокой болью отдалась в наших сердцах. Трудно, невозможно было себе представить, что больше уже не встретишь порывистого, улыбающегося Матэ.

Он был весь в движении, весь в будущем.

Он был храбрый солдат и прекрасный семьянин. Он часто вспоминал о своей жене Вере и дочери Наташе, оставшихся в России. Он звал свою дочь — Талочка, — и в этом имени было что-то нежное, веселее: талиночка, проталинка...

Он был полон больших писательских замыслов. Он мечтал создать книгу о сражающейся Испании.

Кто сделает за него это?..

На заключительном этапе Великой Отечественной войны мне довелось командовать войсками 2-го Украинского фронта, которые

участвовали в освободительном походе на Балканы, изгоняли фашистских оккупантов с земли Матэ Залки. Я помню, какие ожесточенные бои разгорелись близ города Ниредьхаза, неподалеку от которого родился Матэ Залка.

Враг отчаянно сопротивлялся, но, казалось, сама земля, по которой бегал мальчишкой будущий интернационалист, горела под ногами оккупантов. И советские бойцы, шедшие под пулями и разрывами снарядов, знали, что бьются за великое дело интернационального братства, которому Матэ Залка посвятил всю свою жизнь, бьются за свободу народа, породившего Матэ Залку...

Не раз приходилось мне бывать в Венгрии и после войны. И каждый раз я убеждался, как любит венгерский народ генерала Лукача и как глубоко чтит его память. Многие улицы, школы, библиотеки названы именем Матэ Залки, много книг рассказывают о его прекрасной жизни.

Такой же любовью окружено имя Матэ Залки в Советском Союзе. И это еще одно доказательство бессмертия того великого дела, которому всего себя, без остатка, посвятил Матэ Залка — генерал Лукач.





Лев Зильбер

## Записки военного врача



Автор этих незаконченных мемуаров, замечательный, советский ученый Лев Александрович Зильбер, прожил жизнь трудную, горькую и одновременно очень счастливую. Горькую потому, что он много раз лицом к лицу встречался со смертью, был в плену, подло оклеветаный, сидел в тюрьме, в лагере. Счастливую — потому, что он был свидетелем великой Революции, военным врачом участвовал в гражданской войне, боролся с сыпняком, душившим молодую республику; потому, что сражался с опаснейшими болезнями, спасал людей от гибели, участвовал в создании одной из важнейших медицинских наук — вирусологии; потому что был исследователем, ученым-новатором по самому складу своей беспокойной души, брался за проблемы, предельно трудные и опасные, а в последние годы, выдвинув вирусо-генетическую теорию происхождения рака, бросил вызов самому грозному врагу человечества — злокачественным опухолям. Счастливой жизнь была еще и потому, что он всегда имел верных учеников, влюбленных в него и в его идеи, идущих за ним по самой крутизне, но не слепо, а своими тропами, с широко раскрытыми глазами. Ведь жизнь ученого продолжается в его идеях, в направлении, стиле и методе его научной

школы, если ученому посчастливилось такую научную школу оставить после себя.

Давным-давно, еще в юности, Лев Александрович прочитал в старой книге, что на могиле неизвестного морехода-помора была надпись: «Там, за чертой горизонта, — пути человеческие». Эти слова он запомнил навсегда, они стали как бы девизом его научной деятельности. Он избирал цели исследований на нехоженых тропах, многим казавшихся непроходимыми, за границами видимого, не страшась трудности задачи, а почти радуясь ей.

...Дмитрий Иосифович Ивановский в 1892 году открыл фильтрующиеся вирусы — мельчайшие возбудители болезней, свободно проникающие сквозь поры бактериологических фильтров. Но прошли десятилетия, прежде чем человечество полностью осознало величие этого удивительного открытия, понял, что перед ним огромный, новый и страшный враг, не менее сильный, чем болезнетворные микробы; грозный и почти неуловимый, притаившийся в глубинах живой клетки и защищенный ею от действия известных науке лечебных препаратов.

Лев Александрович был одним из немногих советских исследователей, которые вовремя предугадали роль вирусов, размер опасности и создали советскую школу вирусологов.

В середине тридцатых годов грянула гроза. Надо было почти безоружными, без всякого опыта выйти из только что созданных лабораторий и принимать бой: на Дальнем Востоке разразилась эпидемия неизвестной болезни, часто кончавшейся смертью или параличами. В те времена первых пятилеток геологи, лесорубы, строители железных дорог вторгались в самое сердце диной, нехоженой, необжитой тайги. На покорителей безбрежного и прежде безлюдного «таежного континента» и обрушилась смертельная болезнь.

Можно было вообразить, что болезнь эта из века жила в тайге, но своей особой, не касающейся человека и незримой для него жизнью, имела в таежной глухомани свои владения, неприступные крепости, а когда люди переступили границы ее царства, напала на смельчаков.

Как оказалось впоследствии, эта картина, похожая на страшную фантастическую сказку, была очень близка к истине.

В тайгу, где болезнь действовала самовластно, выехала из Москвы экспедиция молодых ученых — вирусологов и паразитологов. Экспедицию возглавлял Лев Александрович Зильбер.

Ученые везли за тысячи километров скудное оборудование и подопытных животных — для изучения свойств вируса, если этот предполагаемый вирус удастся найти и выделить. Вирус нашли, но бой был жестоким — некоторым участникам экспедиции пришлось самим на себе изучать механизм болезни, не пощадившей пришельцев.

В истории науки редки экспедиции такие трудные и озаменованные такими победными результатами. За несколько месяцев весны и лета Зильберу и его сотрудникам удалось не только выделить вирус и обнаружить главного его переносчика — особый вид клещей, но и создать первые, пусть и не вполне совершенные, методы предупреждения заболевания этой страшной болезнью — клещевым энцефалитом.

Экспедиция возвращалась с победой, но шесть тридцать седьмой год; и некоторые ее участники оказались жертвами жестокого навета; они, самоотверженные борцы с болезнями, были репрессированы по нелепому обвинению в распространении опасных инфекций.

Никогда, даже в самые тяжелые дни, не меркла в душе Льва Александровича прекрасная черта — неистощимый оптимизм, глубочайшая вера в конечное торжество справедливости. И в заключении Лев Александрович продолжал работать, думать, думать — ничем не давая себе отвлечься от главного — над проблемами вирусологии. Может быть, именно эта поглощенность, непрестанная работа мысли и дали ему силы перенести тягчайшие испытания.

Теперь ученого занимал не энцефалит, а рак. Сопоставляя множество фактов, сохраненных памятью, он создал первый набросок вирусогенетической гипотезы происхождения злокачественных новообразований. «Механизм» рака согласно этой гипотезе как бы «заводится» особыми вирусами, проникающими в ядро клетки и меняющими ее наследственные свойства, выводящими клетку из-под власти мощных регуляторов организма.

Освобожденный и реабилитированный, Лев Александрович вместе с преданными помощниками и сотрудниками развивает свою гипотезу. Год за годом в труднейшей борьбе, в бесконечных опытах отыскивает он методы экспериментальной проверки вирусогенетической теории рака и, как он надеялся до последних секунд жизни, окончательного опыта ее утверждения. От вершин науки идет он, как шел всю жизнь, к одной-единственной цели — к усилению позиций практической медицины в борьбе с болезнями, с самой смертью.

Лев Александрович был человеком, которого люди любили, которому верили, за которым шли: на фронте, в экспедициях, в научных опытах, часто похожих на битву, в обычной человеческой жизни. Верили!

И он оправдал драгоценную эту веру всей жизнью, яркой, богатой событиями, длинной, если мерить ее совершенным, и такой несправедливо короткой, если подумать, как много он еще хотел и должен был, мог бы совершить.

**А. Шаров**

### Врач штаба армии

В Звенигород я попал в начале мая 1919 года во время эпидемии сыпного тифа, разлившейся по всей стране. Больница была переполнена сыпнотифозными больными, врачей не хватало, и районный здравотдел направил меня в распоряжение главного врача больницы д-ра Никитина. Пришлось работать в качестве лечащего врача в сыпнотифозном отделении.

Дело это не было для меня новым. Сыпной тиф в царской России был довольно обычным явлением, и я еще летом 1916 года и позже, работая во время летних каникул в Псковской земской больнице, наблюдал сыпнотифозных больных. Никакого специфического лечения сыпного тифа тогда

не было, и задача врача заключалась главным образом в том, чтобы помочь организму преодолеть инфекцию и не допустить осложнений. Тщательность наблюдения и уход решали в значительной степени успех лечения. Поскольку вошь является переносчиком сыпного тифа, санитарные мероприятия играли большую роль в борьбе с эпидемией.

Все это требовало больших забот, и я до позднего вечера пропадал в больнице. Однако лечить больных мне пришлось недолго.

Недели через две после того, как я приехал в Звенигород, вернувшись вечером в свою комнату, которую снимал в небольшом деревянном домике недалеко от больницы, я нашел у себя Бориса Михайлова. Я не видел его около двух лет. Волосы, зачесанные назад, открывали большой, а уже появившимися морщинами лоб. Черные галифе, высокие сапоги, черный френч.

Он крепко пожал мне руку и тут же начал объяснять причину своего появления.

— Мне в Москве сказали, что вы здесь чистите мусорные ямы. Не верю, Левушка, не верю, что вы можете заниматься подобным делом в наше время. Сейчас решается судьба страны, судьба революции, может быть, судьба человечества, а вы — мусорные ямы. Как можно? Стыдно!

Мы проговорили с ним почти всю ночь. Рано утром следующего дня я зашел в больницу и оставил д-ру Никитину письмо, в котором сообщал, что уезжаю добровольцем на фронт, просил извинить меня, что делаю это без предупреждения, и ссылался на то, что обстоятельства не позволили мне это сделать лично.

Еще через день я сидел в вагоне члена реввоенсовета 9-й армии Б. Д. Михайлова, и мы ехали в Козлов, где стоял штаб южного фронта. С нами ехали жена Михайлова Наталья Васильевна, давняя моя псковская знакомая, и работавшие с Михайловым в Петрограде журналист и моряк.

Из Козлова, где Михайлов должен был задержаться на пару дней, мы поехали в Самару и оттуда пароходом в Царицын.

Впервые я видел Волгу, и величавое спокойствие этой реки удивительно контрастировало с пламенными речами, которые неслись с кормы, где чуть не целый день происходили митинги. Почти на каждой остановке на пароход садилась группа в большинстве добровольцев, рабочих, матросов, красноармейцев. Увешанные пулеметными лентами и гранатами, они клялись задавить «гидру международной контрреволюции» и готовы были митинговать с

утра до вечера. Но во всем этом чувствовался искренний энтузиазм, горячее желание преданно служить революции, не жалея жизни защищать ее от всех врагов.

На пароходе царил полный порядок, хотя никто никому ничего не приказывал. Есть было почти нечего, но радостное возбуждение не оставляло нас ни на минуту.

Посад Дубовка был первым населенным пунктом, где свободно продавали белый хлеб, которого мы уже давно не видели. Он был чудесным, этот белый хлеб, мягким, пушистым, сладким. Хотелось не только его есть, но трогать, держать в руках. Его продавали большими буханками, и я почти бессознательно покупал одну буханку за другой и тащил их в каюту.

Мне не раз приходилось впоследствии голдовать в уже зрелом возрасте в тюрьме, в лагере и затем неожиданно переходить к нормальному питанию. Но никогда я не испытывал такой физиологической радости, как тогда, поедая этот дубовинский хлеб. Все наелись до отвала и завалились спать.

От Царицына мы направились поездом на Дон в станцию Земетчинскую, где стоял тогда штаб 9-й армии. На этом пути следы войны уже были ясно заметны. Попадались дохлые лошади, брошенные разбитые орудия, повозки. Мост через Дон был взорван. Когда мы подъехали к Дону, к берегу пристала большая баржа. Из нее выгружали раненых и больных, почти исключительно сыпнотифозных. Выгрузка продолжалась много часов. В этой же барже переправили ожидавшую воинскую часть и нас на другой берег. По прибытии в Земетчинскую я был назначен врачом 9-й армии.

Врач штаба армии обслуживал служащих штаба и штабную роту. Работы было не очень много, и мои скромные врачебные знания меня не подводили. Больные с небольшими травмами, с кишечными и венерическими заболеваниями и, конечно, сыпнотифозные составляли основную массу больных. В моем распоряжении было два фельдшера (лекпомы) и четыре санитары, позже наш штат пополнился двумя медсестрами — женой Михайлова и женой начальника штаба армия Петрова.

Медицинский пункт состоял из амбулатории и небольшого стационара на пять коек, где больные могли ждать эвакуации. Перевязочный материал и самые необходимые медикаменты были в достаточном количестве, равно как и хирургический инструментарий для небольших неотложных операций.

Очень скоро я увидел, что большинство сыпнотифозных больных — это красноар-

мейцы, прибывшие в армию около двух недель тому назад: было очевидно, что они заражались в дороге. Вспомнилась баржа, которая переправляла через Дон в одну сторону больных, а в другую пополнения, идущие на фронт. По-видимому, заражение происходило именно на этой барже, так как больные были покрыты вшами, которые расплозились в разные стороны. Докладная записка, в которой были изложены и мотивированы эти соображения, была направлена начальнику штаба армии. Но убедиться в действительности принятых мер не пришлось.

Белые армии прорвали наш фронт, и началось бедственное отступление 1919 года. Отступление было успешным и довольно беспорядочным. Штаб армии оказывался иногда ближе к противнику, чем полки, дивизии и бригады. Спать до переправы через Дон почти не пришлось.

Переправа происходила на небольшом импровизированном пароме. На берегу скопились многие сотни повозок с различным имуществом. Мы подошли к переправе вечером. Все попытки добиться разрешения пустить наши две подводки на паром не имели успеха. Пошел дождь. Усталый до последней степени я забрался под телегу, улегся на непромокаемый плащ и заснул.

Я проснулся, когда только что начинало светать. Где-то бухали орудия. По-видимому, всю ночь шел дождь. Почти все воинские части переправились на тот берег. Оставалось десяток подвод с какими-то хозяйственными грузами. Когда паром с нашими подводками пристал к берегу, уже было совсем светло. Мы погнали лошадей возможно быстрее. Связь со штабом была потеряна, и мы двигались в общем потоке отступающих частей. Противник нас не беспокоил.

Штаб армии остановился в городе Балашове, и мы добрались туда без особых трудностей. Через несколько дней меня вызвали в штаб армии и предложили ехать за тяжело заболевшим командующим фронтом против зеленых тов. Белобородовым. Среди отрядов, воевавших тогда с Красной Армией и руководимых разными «атаманами», были и «зеленые», которые воевали и с красными и с белыми и причиняли нам немалые затруднения. Бои с зелеными шли в 60—70 километрах от Балашова. Мне дали машину с шофером и двумя стрелками, пулемет каждому, в том числе и мне, роздали гранаты, винтовки, наганы. Было неизвестно, свободна ли на всем протяжении дорога до повстанческого фронта. Приказ был — прорваться во что бы то ни стало и обязательно привезти Бе-



РСФСР  
Народный Комиссариат Труда.  
ОТДЕЛ  
Отдел Сопоставлений  
Секция Труда.  
1926 г.  
№ 212/а  
В том что на него возложены обязанности по Самостоятельному  
обращению жизни и здоровья всех лиц, занятых  
какими бы то ни было трудами во всех предприятиях, учреждениях  
и хозяйствах (не исключая милитаризированных и военных)  
а также лиц, привлекаемых к работам в порядке трудовой  
 повинности, — и в силу этого Л. Зильбер имеет право  
во всякое время дня и ночи посещать и осматривать все места  
работы, а также вспомогательные учреждения для рабочих и  
служащих (квартиры бани, столовые, клубы, больницы и т. п.),  
как находящиеся на территории предприятия, так и вне ее.

Все органы управления, руководители работ и технический  
персонал предприятий (учреждений, хозяйств) все Профессиональ-  
ные Союзы, а также все ответственные работники Совет-  
ских органов обязаны оказывать Л. Зильберу  
полное содействие при исполнении им своих служебных обя-  
занностей (составлением необходимых объяснений и справок, предо-  
ставлением средств передвижения, места для работы и для но-  
чевки и т. п.)

На основании Правил Народного Комиссариата Путей Со-  
общения от 2 Сентября 1919 года (опубликованы в № 35. Кратко-  
го Пути Железнодорожного за 1919 г.) Л. Зильбер  
имеет право на проезд в вагонах, служебных, (экстренных, ра-  
бочих и др. специальных поездов) и вагонов, а также на полу-  
чение вне очереди железнодорожных билетов

Народный Комиссар Труда Л. Зильбер  
Заведующий Отделом Сопоставлений  
Секции Труда  
Секретарь А. Купцов

Документы и фотографии Л. А. Зильбера.

РСФСР  
УЧЕБНО-РЕВОЛЮЦИОННОГО  
ВОЕННОГО СОВЕТА  
5-ой АРМИИ  
№ 241  
1919 г.  
а. Ближневосточный

Мандат  
Дан сии врану Шарин  
Л. А. Зильберу в том, что  
ему разрешено эвакуировать  
из г. Балашова больных и  
раненых красноармейцев  
и соответствующих санитар-  
ного персонала из г. Балашова  
до места размещения  
Всем ж. д. агентам и  
участникам Шарин пред-  
мету оказывать Л. Зильберу  
содействие в доставлении  
санитарных поездов и раненых  
красноармейцев

Член Военного Совета Л. Зильбер  
Зильбер

лобородова. Дорога оказалась свободной, и только раза два нас издалека обстреляли неизвестные разведы.

Белобородов оказался тяжело болен — возвратный тиф с очень высокой температурой. Он был в сознании, отдавал четкие распоряжения своему заместителю. Уже лежа на носилках, повторил:

— Никакой пощады.

Обратно мы доехали без приключений.

## В плену у белых

Отступление наших войск из Балашова было очень поспешным. На станции скопилось много эшелонов со снарядами, продовольствием, ранеными. Наши две теплушки прицепили к сборному поезду, в состав которого входили вагоны и платформы, груженные различным военным имуществом. Тщетно я старался найти начальника нашего эшелона. После отправлялись один за другим, но у нашего эшелона не было паровоза. Михайлова и Петрова были в нашей теплушке. Накануне вечером Борис сказал мне, что белые обходят нас с правого фланга, что у них значительно превосходящие силы и положение наших войск тяжелое. Ждали одну из отступающих бригад, которая обещала бы защиту Балашова, но ее до сих пор нет и связь с ней потеряна. Вероятно, эта бригада отрезана от нас и, может быть, окружена. Борис просил меня позаботиться о его жене и жене Петрова. Штаб должен был эвакуироваться рано утром. Однако время приближалось к полудню, а наш состав продолжал стоять без паровоза. Артиллерийская канонада, которая слышалась с утра, заметно усилилась, стала слышна ружейная и пулеметная трескотня. Все эти звуки неслись откуда-то с запада.

Вместе с одним из лекпомов я пошел в депо, чтобы еще раз попытаться достать паровоз. Никто не встретился нам по дороге. Перед депо стоял под парами паровоз с тендером, наполненным углем, но никого на нем не было. В депо мы увидели несколько паровозов, но они были безжизненны: ни одного человека не было видно.

Когда мы пошли обратно, я подумал, что, может быть, можно использовать паровоз, стоявший под парами. Из трубы шел дым, слышно было какое-то шипение, он явно подавал признаки жизни. Но ни я, ни мой лекпом никогда не только не управляли паровозом, но и не были на нем. Мы залезли на паровоз и начали осторожно пробовать различные рычаги, паровоз зашипел и дви-

нулся, но не в ту сторону, в которую было нужно!

Из уроков физики в гимназии я знал, конечно, принцип действия паровоза и помнил, что существует какая-то кулиса, от положения которой зависит движение паровоза вперед или назад.

Где же эта чертова кулиса? Была дорога каждая минута. Наконец мы нашли кулису и паровоз двинулся вперед. Пришлось маневрировать и переводить стрелки, но все же мы подогнали паровоз к нашему составу, стукнувшись об него так, что все в наших теплушках попадало, а аптека сильно пострадала. Санитары набросили крюки, соединяющие паровоз с вагонами, и состав тронулся вперед. К сожалению, ехали мы всего несколько минут. Примерно в 2—3 километрах от станции путь оказался взорванным. Оставалось одно — уходить пешком. Меня очень беспокоили чемоданы Михайлова и Петрова: в них могли быть материалы, полезные противнику. Куда их девать? Тащить с собой было невозможно, они были очень тяжелые. Если же оставить их в вагоне или бросить в поле, они обязательно попали бы в руки белых. Кроме того, приказ, который был мной получен утром, предлагал следовать с эшелонам до Тамбова, и уйти, бросив все казенное имущество, было бы прямым нарушением приказа.

Перестрелка к этому времени совсем стихла. Решили вернуться на вокзал и примкнуть к какой-либо нашей отступающей части. Полагая, что мы будем эвакуироваться по железной дороге, я не запасся картой и не знал, какая дорога еще осталась свободной. Когда мы подъезжали к станции, еще издалека было видно, что грабят один из оставшихся эшелонов. На плечах выносили мешки, вероятно с мукой или крупой, и тащили куда-то к городу. Меня поразило, что большинство этих грабителей были женщины. Никакой охраны не было видно. Мы остановились невдалеке от вокзала.

Через несколько минут кто-то открыл двери вагона с противоположной стороны, и мы увидели несколько солдат. Сначала я не разобрал, кто это, показалось, что красноармейцы, но на фуражках были нашиты полоски из белой ткани и на них карандашом написано: «С нами Бог».

— Какая часть? — Я чуть толкнул Наталью Васильевну, которая оказалась рядом.

Наталья Васильевна быстро ответила:

— Околоток и аптека.

— А спирт в аптеке есть?

— Как не быть? Есть, конечно.

— А ну гони сюда!

Двое солдат влезли в теплушку и стали вскрывать ящики.

— Подождите, я дам сама, что есть.

Наталья Васильевна вместе с лекпомом вскрыла ящик и вынула две небольшие бутылки спирту.

В вагон влез третий солдат. Он скользнул взглядом по всем бывшим в вагоне.

— Комиссары есть? Жиды есть?

— Да нет у нас таких. — Наталья Васильевна смотрела ему прямо в глаза. — Вот берите спирт.

Они взяли бутылки и вышли.

Так мы попали в плен к белым.

На станции бродили отдельные группы белых солдат, иногда проходил офицер. Меня удивил жалкий вид их одежды. Некоторые офицеры были в гимнастерках из мешковины, и погоны были нарисованы маршдашом.

Никто из них не интересовался.

Кроме чемоданов Михайлова и Петрова, меня беспокоило еще оружие, которое было у нас в вагоне.

Я с юных лет любил оружие. У отца был револьвер и старинные дуэльные пистолеты, пашка, шпаги, рапиры. Все это в мальчишеском возрасте доставляло много удовольствий, хотя никогда в заряженном виде оружие отец не давал. Во время Февральской революции я набрал себе много оружия, а на фронт взял с собой великолепный браунинг «московской столичной полиции». За короткое пребывание на фронте я стал собирать гранаты. У меня были и наши «бутылки» и французские «апельсины». В околотке гранаты уж никак не полагалось иметь, и необходимо было от них избавиться. Наталья Васильевна выносила их понемногу и бросала в уборную при вокзале. Взрывные капсулы я вынимал и клал в нагрудный карман гимнастерки, собираясь бросить их в какую-нибудь бочку или бассейн с водой. Но я забыл об этом и несколько дней ходил, рискуя «взорваться» при случайном ударе.

Мы решили остаться в вагоне, чтобы вечером спрятать или уничтожить бумаги, которые могли быть в чемодане Михайлова и Петрова.

Через некоторое время я увидел группу военных, человек 10, которая шла по направлению к вокзалу. Во главе шел генеральского вида человек с большой бородой. Все были без погон. Я вылез из вагона и пошел по направлению к этой группе. Когда я подходил к ним, я услышал:

— Лев Александрович! Ты как сюда попал?

Оказалось, это врачи 8-го врачебно-питательного поезда (так, кажется, он назывался) и санитарного поезда, попавшие в плен вместе со своими составами, идут, как они сказали, «представляются новому начальству». Среди них оказался и мой товарищ по медицинскому факультету, кончивший вместе со мной. К сожалению, я забыл его фамилию и буду называть его Нестеровым. Он был главным врачом санитарного поезда. Генеральского вида человек оказался инспектором Красного Креста, только вчера прибывшим в Балашов для ревизии врачебно-питательного поезда. Они предложили мне присоединиться к их группе.

У меня, однако, были другие планы. Я помнил о том, что, по словам Михайлова, к Балашову должна подойти наша бригада, и надеялся ее дожидаться. Если этого не случится, я думал о возможности как-нибудь прорваться к своим, полагая, что белые остановят где-либо недалеко от Балашова. Но необходимо было скрыться хотя бы на несколько дней и скрыть сестер.

Мы немного отстали с Нестеровым от всей группы, и я попросил его взять к себе в поезд моих медсестер, зачислив их приказом задним числом и под другими фамилиями, а также взять в поезд лекпомов и санитаров.

Я мало знал Нестерова в студенческие годы, не больше чем большинство сокурсников. Но дух товарищества был тогда столь крепким, что мысль о том, что он может предать нас белым, даже не шевельнулась у меня в мозгу. И я не ошибся. Он только спросил:

— А они у тебя действительно сестры?

— Да, конечно, но, понимаешь, они жены наших командиров, и это может осложнить их положение.

— Ну, а что же ты решаешь делать?

— Я подожду, может быть, ты дашь мне возможность остаться на пару дней в твоём поезде в вагоне с ранеными.

Нестеров промолчал.

— Без регистрации, с завтрашнего дня, ты можешь и не знать об этом.

— Ладно, но если что обнаружится, я ничего не знаю.

— Спасибо.

На ходу пожал ему руку и пошел в свою теплушку.

Уже смеркалось. На станции появилось много пьяных солдат. Оказалось, что белые захватили цистерну со спиртом (а может быть, наши ее нарочно оставили), и началось повальное пьянство. Но нам это было

на руку. Мои лепкомы нацепили на фуражки белые тряпочки, написав на них «С нами Бог», и перенесли свои вещи и наиболее ценное из аптеки в последний вагон санитарного поезда. В теплушке остались Наталья Васильевна и я. Первым делом мы посмотрели, что было в чемоданах. В них оказалось много всяких бумаг: служебные бланки, копии некоторых распоряжений. Было почти темно, зажигать свет не хотелось, чтобы не привлекать внимания, разобраться в этой гуче было явно невозможно. Необходимо было все уничтожить. Но как? Выносить было опасно. Любой встречный солдат мог поинтересоваться, что за пакет или пакеты мы несем, и тогда все открылось бы. Спрятать? Я оглянулся кругом и вдруг увидел самовар. Он служил нам в околоте в качестве бака для кипяченой воды, довольно большой и пузатый.

Почти полночи мы жгли в этом самоваре, задыхаясь от дыма, содержимое чемоданов. Время от времени, когда длепа в трубе накапливалось много, сжигание прерывали, вытряхивали пепел и вновь жгли. Когда все было уничтожено и пепел небольшими горстками развеян подальше от вагона, стало немного спокойнее.

На следующее утро Наталья Васильевна перекочевала в поезд. Я взял с собой одного из санитаров, на фуражке которого была страшная белая тряпочка, и пошел в город. Я хотел зайти к одному адвокату, в семье которого жил Михайлов в течение недолгого времени нашего пребывания в Балашове. И муж и жена производили впечатление очень милых и вполне советских людей.

Перед домом был палисадник. Когда мы вошли в него, навстречу нам из парадной выбежала девочка лет шести, дочка адвоката. Я поздоровался с ней, и она тут же мне сказала:

— А у нас офицеры.

Это нас никак не устраивало, и мы вернулись на вокзал.

Я перевязал себе здоровую руку и остался в вагоне с ранеными.

Наши лепкомы сказали мне, что они видели белую газету, в которой сообщалось о взятии Балашова, о наступлении на Тамбов и о том, что взят в плен и расстрелян член реввоенсовета 9-й армии Михайлов. Я просил ничего не говорить Наталье Васильевне.

К счастью, это оказалось неправдой.

На следующий день выяснилось, что в поезде оставаться нельзя. Я вошел в вагон к Нестерову и застал у него средних лет врача в погонах и с врачом-знаком

царского времени (двуглавый орел и внизу чаша со змеями). Оказалось, это корпусный врач, который приехал принимать поезд.

Нестерову ничего не оставалось, как представить меня.

— Когда кончали университет? Какой? Какая специальность?

Я ответил, сказал, что бактериолог (будучи на 5-м курсе медфака, я кончил специальные бактериологические курсы в Институте Блументаля).

— Вот и великолепно, нам как раз нужны бактериологи. Бактериологическая лаборатория у нас в Новочеркасске, на днях мы вас туда отправим.

Что было делать? Ясно, что в поезде оставаться дольше было невозможно.

Наталья Васильевна узнала за это время адрес одной семьи, где и отец и сын служили в Красной Армии. Может быть, там нас приютят?

Мы прошли через весь город, избегая, однако, центральных улиц, никто нас не остановил, хотя мы встречали военных. Может быть, сестринская форма Натальи Васильевны страховала от опасного любопытства.

Когда мы подошли к домику по указанному адресу, он оказался запертым. Никто не было видно. Прождали часа два на скамейке за домом, никто не пришел. По видимому, хозяйка сочла за благо куда-нибудь спрятаться, боясь репрессий. Мы пошли обратно, тщетно пытаюсь придумать способ как-нибудь скрыться. Я решил, что единственная возможность — это зацепиться за эвакуопункт, который белые, вероятно, не будут эвакуировать в тыл, по меньшей мере немедленно. Начальника эвакуопункта я встречал два раза во время пребывания в Балашове, и он казался приятным человеком. Может быть, он поможет.

Однако все произошло совсем иначе.

Когда мы тронулись в обратный путь, стала слышна артиллерийская канонада. Она становилась все более интенсивной. И когда мы подошли к эвакуопункту, к ней присоединилась сильная пулеметная и ручейная трескотня. Все это несло откуда-то с южной стороны. Только мы вошли в здание, как увидели шедшего навстречу начальника эвакуопункта. У него в руках был небольшой чемоданчик.

— Вы куда, доктор? Что вам здесь нужно? Немедленно отправляйтесь вместе со мной. Санитарный поезд сейчас эвакуируется.

— Мы хотели навестить наших раненых, которые вчера были сюда доставлены, — пытался я задержаться.

— Никаких раненых! Немедленно идите со мной, и сестра, конечно.

Начальник очень торопился, почти бежал. Я делал вид, что прихрамываю.

— Не могу бежать, очень натер ногу. Вы идите, я догоню.

— Нет, нет, со мной!

Вокзал обстреливался шрапнелью. Снаряды рвались повсюду. Разлетающиеся осколки наполняли воздух своеобразным звуанием. Один снаряд упал совсем близко от нас. Начальник побежал вдоль состава с товарными вагонами по направлению к санитарному поезду. Мы отстали, свернули на другие пути и забрались под товарный вагон, стоящий вместе с несколькими другими на самом крайнем пути железнодорожного полотна. Прошло 10—15 минут, огонь прекратился, и мы увидели, что к станции приближаются кавалеристы. Они так быстро проскакали мимо нас, что было невозможно распознать, кто же они. Я вспомнил, однако, что говорил мне Михайлов о бригаде, которая должна была подойти для обороны Балашова. Может быть, это была бригада, которую ждали. Так и оказалось.

Мы вылезли из-под нашего укрытия и с удивлением увидели, что санитарный поезд стоит на месте. Санитары сбросили крюки, соединяющие вагоны друг с другом, и паровоз увез всего несколько вагонов.

Петрова была цела и невредима, равно как и весь персонал поезда.

Я пошел в здание вокзала. На телеграфе уже были наши военные. Назвал себя, показал документы, просил связать меня с кем-нибудь из начальников. Штаб бригады расположился в доме недалеко от вокзала, и командир бригады быстро принял меня. Уже немолодой человек, бывший офицер царской армии, он сообщил мне малоутешительные вести. Бригада пробивается из окружения с тяжелыми боями. У белых громадное превосходство сил. Трудно сказать, удастся ли пробиться.

— Деремся отчаянно. В составе бригады много добровольцев-казаков, московских и питерских рабочих. Белые в плен наших бойцов не берут. Подумайте, доктор, стоит ли связывать вашу судьбу с нашей.

Позже мы познакомились с ним поближе. В первую войну он попал в плен к немцам, и в лагере для военнопленных в его руки каким-то образом попал микроскоп. Он пристрастился к микроскопированию и рассматривал в свой микроскоп все, что попадалось под руку.

— Вот мечтал, вернусь на родину, развести сад (у него был небольшой домик в

одном из южных городов) и заняться микроскопом по-настоящему. А вот видите, чем заниматься приходится.

Разговор этот происходил под артиллерийскую канонаду в Малиновке, куда мы прорвались по дороге в Тамбов.

— Подумайте, доктор, бои будут тяжелые и в бою вас тоже в плен брать не будут.

— Ну что же, от судьбы, говорят, не уйдешь. Я прошу назначить меня в один из ваших полков. Ведь врачи вам, несомненно, нужны. Две сестры милосердия из моего околотка также просят вас о назначении. Был бы весьма обязан, если бы вы назначили всех троих в один и тот же полк. Фамилии сестер такие-то.

— Врачи, конечно, нужны. Вот в Сердобском полку только один лекпом и больше никого из медиков нет. Если вы уж так хотите, я вас туда назначу.

Я поблагодарил и откланялся. Примерно через час к санитарному поезду подъехал верховой и передал мне письменный приказ, которым я назначался старшим врачом 204-го Сердобского полка, а Михайлова и Петрова — сестрами милосердия в околоток того же полка.

Околоток помещался в полуразрушенном каменном здании, примерно в километре от станции, совсем близко от железнодорожных путей. Я отправился туда, отрапортовал по телефону командиру полка о своем прибытии и получил разрешение ночевать в поезде, так как ночевать в околотке было негде. В распоряжении лекпома было два санитаря. Условились, что он немедленно вызовет меня, если будет нужно, а пока я вернусь в поезд.

Утро следующего дня прошло тихо и спокойно. Среди медперсонала поезда было много разговоров о том, что делать. Большинство надеялось, что в случае отступления успеют эвакуировать поезд. Я убеждал многих присоединиться к бригаде. Но как бросить раненых? Попытки главного врача поезда получить какие-либо определенные указания не увенчались успехом. Перспектива встретиться с белыми в полевых условиях, видимо, никого не привлекала. Под вечер стала слышна артиллерийская канонада, а позже — пулеметная и ружейная трескотня. Сестры и я быстро собрались и побежали в околоток. Никто не пошел с нами, но нас завалили письмами. Мы бежали вдоль полотна, тропинка была еще видна. Когда пробежали с половину пути, стали свистеть пули. По-видимому, косынки сестер были видны в наступивших сумерках



и по ним стреляли. Я сорвал с них косынки, и мы побежали дальше.

Прибежали мы поздно, в околотке уже никого не было. Что было делать? Куда идти? Со мной две женщины, за которых я отвечаю. Я понимал, что пробиваться наша бригада может только на север. Ориентировавшись по Полярной звезде, мы быстро пошли по дороге, ведущей в северном направлении. Через некоторое время нас нагнала телега. Я подбежал к ней и просил крестьянина подвезти нас до ближайшей деревни. Вместо ответа он ударил меня так, что я упал, и погнал лошаденку. Быстро вскочив, я побежал изо всех сил, вскочил на ходу в телегу и попытался отнять вожжи. Завязалась борьба. Хотя крестьянину было уже под пятьдесят, но он оказался очень сильным, и под градом кулачных ударов я еле удержался в телеге. Совершенно озверев, я схватил его за горло. Что-то хрустнуло, он сразу весь обмяк, и я сбросил его с телеги. Сестры были далеко сзади, пришлось вернуться за ними. Быстро подхватив их на телегу, я погнал лошаденку вперед. Было совершенно темно и тихо. Только кузнечники стрекотали в траве да изредка были слышны птичьи голоса. Мы ехали так около часа. Лошаденка устала, вожжи и кнут не оказывали на нее никакого действия. Немного спустя стали слышны какие-то неопределенные звуки, не то постукивание, не то скрипение, потом далеко впереди вспыхнул маленький огонек и ту же погас. Вскоре стало ясно — впереди идет обоз и люди. Кто же это — свои или белые?

Держась на некотором расстоянии от них, мы мучительно вслушивались в каждое долетавшее до нас слово. Наконец поймали «товарищ», еще раз, потом и еще раз. Значит, свои. Мы подъехали ближе. Оказалось, 204-й Сердобский полк. Лекпом сказал мне, что он послал ко мне санитар с приказом об отступлении, но санитар не вернулся. Они ждали меня до последнего и в конце концов подумали, что я, может быть, эвакуировался с поездом. Санитар так и пропал без вести. Командир полка сообщил мне малоприятные вещи. Он не был уверен, удастся ли прорваться в Тамбов. Белье все время пытаются обойти нас с флангов, предстоит тяжелые бои.

И действительно, на следующий день напряженный бой длился много часов под селом Малиновкой. Легкораненых перевязывали и отправляли в строй или оставляли в околотке. Но что было делать с тяжело ранеными, которых нужно было срочно оперировать? Посоветовавшись с команди-

ром, я после первичной обработки раны и перевязки укладывал их на подводы, и вместе с одним легкораненым они двинулись по направлению к Тамбову с белым флагом на первой подводе. Им давалась записка, в которой удостоверился, что «жидов, комиссаров и командиров» среди них нет.

Дважды, пока мы сами не пробивлись в Тамбову, мне пришлось отправлять подобные небольшие транспорты. Позже я узнал, что один из них белые пропустили и он благополучно прибыл в госпиталь. Судьба другого осталась неизвестной.

На следующий день выяснилось, что штаб 9-й армии откатился до Пензы, я получил разрешение вместе с сестрами туда выехать. В штабе нас считали погибшими или взятыми в плен, и никто не ожидал нас видеть.

Сдав Михайлову и Петрову их мужьям, я получил назначение в запасной полк, стоявший в селе Заметчино, и немедленно туда выехал.

#### Этапная линия Саратов — Каменская

Не помню точно причины боевой тревоги. Кажется, нужно было срочно усилить части, действующие против генерала Мамонтова, прорвавшегося в наши тылы. Но в боевых действиях участвовать не пришлось, и через несколько недель полк был переброшен в Саратов, где, насколько я мог понять, формировалась армия для готовившегося наступления наших войск.

Саратов встретил меня малоприятным происшествием. Направляясь в санитарное управление армии, я увидел двигающиеся мне навстречу две подводы, груженные гробами. Гробов было много, они были поставлены друг на друга в несколько рядов и привязаны веревками к подводам. Я был уверен, что это пустые гробы, которые везут в госпиталь. Встречная машина задела одну из подвод, веревки порвались, гробы рассыпались, и из них выпали трупы, которые устлали всю мостовую.

В городе, как и везде в стране, была тяжелая эпидемия сыпного тифа. Борьба с ней было очень трудно. Не было в достаточном количестве ни мыла, ни белья, ни топлива. В примитивных дезинфекционных камерах, которые называли тогда «вошебойками», температура не подымалась до нужной из-за низкого качества или отсутствия топлива, и вши в прогретом белье оставались живыми. Случалось, в «вошебойках» находили беспризорников, которые неплохо там себя чувствовали.

В этих условиях борьба с сыпным тифом в Красной Армии была одной из важнейших ее задач, прежде всего для медперсонала. Военным частям были приданы особые банно-прачечные отряды; хорошо обезпеченные мылом и бельем, они строго следили за регулярным мытьем бойцов, были введены частые осмотры для «контроля нашивость», велась санитарно-просветительная работа.

Когда мы прибыли в Саратов — крупный университетский город, я надеялся, что смогу связаться с кафедрой микробиологии и, может быть, немного поработать там.

Однако это оказалось совершенно невозможным. Работа в полку, где я продолжал оставаться единственным врачом, решительно заполняла все время.

В начале февраля меня вызвал начсанарм Стоклицкий.

— Вы назначаетесь, доктор, начальником этапной линии Саратов — Каменская. Я не имел никакого представления ни об этой линии, ни о характере работы ее начальника.

Стоклицкий рассказал мне, что началось наше большое наступление на Дону, нужно срочно перебросить туда значительные подкрепления, практически всю запасную армию. Но сделать это по железной дороге невозможно, так как в Ртищеве, железнодорожном узле на пути в Донскую область, образовалась пробка, а пропускная способность дороги ничтожна. Командование приняло решение направить армию на Дон пешим порядком. Моя задача — обеспечить медико-санитарное обслуживание армии на всем более чем 600-километровом пути. Необходимо в ряде мест развернуть небольшие госпитали и фельдшерские пункты, где можно оставлять заболевших и обмороженных, организовать бани, дезинфекцию белья и одежды и пр. Я спросил, определены ли те пункты, в которых войска будут останавливаться на ночевки.

— План такой есть, но, вероятно, это будет зависеть от многих условий и определяться решением командиров частей.

Я обратил внимание начсанарма на то обстоятельство, что войска будут двигаться по территории, охваченной эпидемией сыпного тифа, рассказал о барже, которая служила рассадником сыпного тифа в 9-й армии, и высказал мнение о том, что важнейшей нашей задачей будет предупреждение контакта воинских частей с многочисленными больными на пути следования и в местах размещения.

— Но как же это сделать?

Начсанарм явно заинтересовался этим вопросом.

— Мне кажется, что наши лекпомы должны обследовать все села и деревни, в которых предполагается остановка и размещение бойцов по избам, и отметить избы, в которых есть больные, которым, конечно, нужно будет оказать медицинскую помощь. Бойцов в этих избах не размещать. Таким образом, мы в какой-то мере предохраним проходящие части от сыпного тифа и вместе с тем окажем помощь населению.

Эта идея «санитарной разведки», как она была тут же окрещена, очень понравилась Стоклицкому. В сущности говоря, ничего оригинального в ней не было, и она, вероятно, использовалась во многих частях Красной Армии, но соответствующих распоряжений не было. Вскоре она появилась и в различных приказах и директивах.

Мы еще долго обсуждали различные аспекты предстоящей работы.

Почти всю ночь я просидел над составлением проекта организации этапной линии, заявками на различное оборудование и с утра был уже в санитарном управлении армии. Наиболее трудной оказалась проблема транспорта. Нам не могли выделить ни одной повозки или телеги и ни одной лошади, если не считать верховой, предназначенной для меня. Двигаться приходилось на лошадях, мобилизуемых у населения, что было сопряжено с большими трудностями. Необходимо было добывать для них фураж и кормить владельцев, которые шли с подводами. Трудности усугублялись еще тем, что медперсонал, который мне дали, был набран из разных госпиталей. Нужно было какое-то время, чтобы люди узнали друг друга и сработались. Я упрямил Стоклицкого разрешить мне взять с собой двух лекпомов, которые служили со мной в запасном полку. Они во многом помогли мне.

Комиссаром назначили саратовскую жительницу, работницу местной швейной фабрики. Было очень трудно установить с ней нормальные деловые отношения. Ей было тогда, вероятно, около сорока лет, и мой двадцатипятилетний возраст не внушал ей никакого уважения. Очень подозрительная, она контролировала самое пустячное мое распоряжение, и все это мало способствовало добрым отношениям, которые я по мере сил стремился установить с ней.

На первый перегон нам пригнали 50 подвод, мобилизованных в немецких селах вокруг Саратова. Лошади были превосходные, упитанные. Выехали мы из Саратова в конце февраля и по хорошему санному пути двигались быстро, останавливаясь главным

образом в немецких деревнях. Меня поразило достаток, в котором жили немцы. Хорошие просторные рубленые избы с тесовыми крышами, высокие кровати с чистейшими подушками, подымающимися чуть ли не до потолка, свиное сало толщиной в несколько вершков, ситный белый хлеб с хрустящей корочкой. Упитанные коровы, громадные тупорылые свиньи, упитанные лошади, упитанные люди. А почти рядом, иногда с теми же названиями, наши российские деревушки с тесными избами, крытыми соломой, тощие лошади и коровы, остроносые, тощие, на длинных ногах свиньи. И народу в наших деревнях было гораздо меньше, чем в немецких, одни женщины, дети и старики. Когда останавливались в этих деревнях, чаще приходилось делиться своим военным пайком, чем получать что-либо у хозяев.

Сообразно полученным инструкциям, я мог использовать подводы только в течение суток и затем должен был отпускать их домой. Чтобы выполнить этот пункт приказа, необходимо было мобилизовать новые подводы в пункте прибытия. Однако это оказалось весьма трудным делом, несмотря на содействие местных властей. После первого перегона было мобилизовано всего 5 подвод и еле-еле удалось уговорить моих немцев везти нас дальше. К концу вторых суток повторился та же картина. Лошадей не было. Райсовет смог мобилизовать всего три подводы. Что было делать? Немцы категорически отказались ехать дальше и тут же вечером начали разгружать подводы. Пришлось поставить вооруженную охрану.

Рано утром, чуть светало, я проснулся от какого-то шума. В окно увидел, что во дворе собрались все наши подводчики и о чем-то кричат. Я вышел на крыльцо. В страшном возбуждении, перебивая друг друга, они требовали, чтоб я отпустил их. Я пытался установить тишину, обещал отпустить часть подвод сегодня и всех остальных завтра. Они ничего не хотели слушать, кричали и угрожали мне. Один из них забрался на крыльцо и ударил меня в грудь.

Я схватился за кобуру, но не успел вынуть наган. Сильный удар по ногам, и я полетел в эту разъяренную толпу. Началось избиение. В этот момент раздался выстрел, и толпа разбежалась. Оказалось, мои лекпомы вошли во двор, увидели, как меня сбили с ног, и начали стрелять в воздух. Вероятно, меня били не больше минуты, но поднялся с земли я с большим трудом. На голове оказались две небольшие раны, нанесенные чем-то, видимо, металлическим, все тело было в синяках и крово-

подтеках. Но самым неприятным был разговор с комиссаром. Она обвинила во всем этом печальном происшествии меня, говорила, что я обязан был отпустить подводы, что мы могли прожить в этой деревне еще 2—3 дня, пока райсовет не мобилизует достаточное их количество. Наша задача, однако, заключалась в том, чтобы, идя вперед войсковых частей, организовывать их санитарное обслуживание. Это был основной пункт приказа, который я получил. За нами шла артиллерийская часть. Если бы мы пробыли в той деревне хотя бы один лишней день, эта часть нас перегнала бы и приказ был бы нарушен.

Так мы с комиссаром и не договорились. Я немедленно вызвал представителей подводчиков и предложил на выбор: или они будут арестованы и судимы за избиение командира Красной Армии, или все подводы будут задержаны еще на одни сутки и доставят нас до следующего намеченного пункта. Они тут же согласились везти нас дальше.

Одного из лекпомов я послал вперед на своей верховой лошади, чтобы возможно скорее организовать мобилизацию подвод не только в намеченном пункте, но и в соседних деревнях и селах.

В дальнейшем работа протекала более или менее нормально, если не считать еще одного крупного столкновения с моим комиссаром, о котором я расскажу дальше.

Мы целиком выполнили поставленную нам задачу. «Санитарная разведка» сыграла определенную положительную роль. Потери войсковых частей во время всего марша были совершенно ничтожны. Все проходящие части были обслужены по всей этапной линии банно-прачечными отрядами и другими видами санитарного и медицинского обслуживания и избавлены от контакта с большими сыпным тифом и другими заболеваниями.

Вместе с тем мы могли собрать значительные материалы, характеризующие состояние здоровья населения в пунктах, которые мы обследовали. Нельзя сказать, чтобы эти материалы были утешительны. Они легли в основу моего доклада, который я послал в облздрав.

В начале марта начались оттепели. Наше продвижение резко замедлилось. Красноармейцы были в ботинках с обмотками. Уберечься от воды было невозможно, ноги у всех были мокрыми, среди нашей команды появились простудные заболевания.

Ночью лужи подмерзали, и саням и людям было гораздо легче двигаться. Все попытки договориться с комиссаром о соот-

ветствующем распоряжении были безуспешны. Тогда вечером, когда комиссар уже лег спать, я приказал двигаться вперед, оставив комиссару подводу и санитара с моей запиской, объясняющей необходимость нашего продвижения ночью. До Каменской осталось всего два или три перехода, мы прибыли туда без нашего комиссара.

На следующий день по прибытии в станцию Каменскую я получил распоряжение немедленно сдать дела комиссару и явиться к заместителю начальника политуправления армии в Ростов.

Станица Каменская была конечным пунктом нашего этапа. Она расположена на железнодорожной линии, и дальнейшее продвижение войсковых частей совершалось уже по железной дороге. Комиссар прибыла к вечеру, я показал ей телеграмму, уклонился от всяких объяснений, сдал дела и утром выехал в Ростов.

Разговор с помощником по политчасти армии не обещал вначале ничего хорошего.

— Как же так, доктор? Вы издаете приказы, не согласованные с комиссаром, нарушаете распоряжения Советской власти о порядке мобилизации лошадей, бросаете вашего комиссара, не считая даже нужным предупредить его об этом. Придется отдать вас под суд.

Перед ним лежала длинная телеграмма, в которую он изредка заглядывал, когда говорил со мной. Было ясно, что это донесение моего комиссара.

Я подробно объяснил все обстоятельства дела. Сказал, что мне приказали обязательно идти впереди войсковых частей, показал ему этот приказ, который я захватил с собой, упомянул, что выполнение военного приказа должно быть обеспечено всеми средствами вплоть до применения оружия. Я указал также, что, если бы я согласился с комиссаром, основная задача — «санитарная разведка» — не была бы нами выполнена.

Я присидел у него более часа. Разговор окончился мирно.

— Надеюсь, вы не будете больше ссориться с нашими комиссарами, доктор?

Я поддержал его в этой уверенности.

Мне было приказано явиться за новым назначением в санитарное управление армии, которое уже находилось в Азове.

Стоклицкий встретил меня приветливо. Он имел уже подробную информацию о нашей работе, отчеты о которой я посылал ему каждую неделю. Знал и о моих недоразумениях с комиссаром.

Я был уверен, что меня в лучшем слу-

чае отправят в какой-либо полк. К моему великому удивлению, меня назначили дивизионным врачом — начальником санитарной части 2-й Донской стрелковой дивизии. Это было повышение по службе, и весьма значительное для 25-летнего молодого врача.

### Начальник санитарного управления дивизии

Штаб 2-й Донской стрелковой дивизии стоял в г. Азове, и мне надлежало туда отправиться на следующий день. Начальник санитарной части армии вкратце рассказал о круге моих новых обязанностей. Он, между прочим, упомянул, что начальник дивизии тов. Колчигин очень строгий командир, неуклонно соблюдающий все воинские уставы.

Прибыв в Азов, я отправился в штаб дивизии и просил вестового доложить обо мне Колчигину. Он меня тут же принял. За столом сидел человек лет 30, с волевым лицом, очень спокойный. Я подошел к нему и сказал, что я врач такой-то и назначен начальником санитарной части дивизии. Колчигин смотрел на меня серыми холодными глазами и ничего не говорил. Я думал, что он не слышит меня, и вновь повторил, что я врач, прибывший в его распоряжение на должность начальника санитарной части дивизии. Я повторил это чуть громче, чем раньше. Опять никакого ответа, и лицо как будто бы помрачнело. Начдив был явно недоволен. Тут я вспомнил о предупреждении начсанарма — вытянулся, взял под козырек и отрапортовал по всем правилам устава: «Врач такой-то прибыл в ваше распоряжение согласно приказу начальника санитарной части армии».

Колчигин чуть улыбнулся, встал и подал мне руку, сказав: «Садитесь, доктор».

Он рассказал мне очень толково о санитарном состоянии дивизии, о неотложных нуждах, о необходимости организовать дополнительные койки в госпиталях, об усилении мероприятий по борьбе с сыпным тифом и многое другое.

Мне много раз в последующие месяцы пришлось встречаться с Колчигиным, и я был пленен ясностью его ума, умением необычайно кратко и вместе с тем точно выразить свои мысли, очень любезным, но не переходящим служебные грани отношением.

Комиссар дивизии рассказал мне, что Колчигин — бывший офицер царской ар-

мии, но что он служит в Красной Армии очень честно и работает очень активно.

— Вы посмотрите, — говорил мне комиссар, — ведь он один из немногих, уже получивших орден Красного Знамени. А недалеко от его ордена у него на гимнастерке нашита желтая ленточка — цвет лейб-гвардии уланского полка, в котором он служил в царской армии.

Это было, конечно, удивительное сочетание, и мне очень хотелось вызвать Колчигина на откровенный разговор и немного разобраться в психологии этого человека.

Как-то я получил коньяк для наших госпиталей. Коньяк в 1920 году был большой редкостью. Я позвонил Колчигину и доложил, что получены два ящика коньяку для госпиталей дивизии, но что я не могу отправить этот коньяк в госпитали, прежде чем начальник дивизии не произведет дегустацию. В телефоне я услышал легкий смех.

— Хорошо, доктор, давайте продегустируем вместе, но только по одной рюмочке.

Вечером в садике дома, где я квартировал, на окраине Азова, мы с ним попробовали этот коньяк. Сначала мы говорили о делах дивизии, а потом я перевел разговор и на политические темы.

— Знаете, доктор, — говорил Колчигин, — я не политик, и я ничего в политике не понимаю, но я русский человек, и, конечно, мне очень дороги интересы моей страны. Большевики — они же собиратели земли русской, продолжатели великого дела Ивана Калиты. Ну что было бы с нашей страной без большевиков? Англичане отяпали бы Кавказ, японцы — Приморье. Вряд ли сохранились бы в неприкосновенности западные границы. Обкорнали бы нашу матушку Русь. А большевики-то всю нашу землю собирают. Вот поэтому я и с большевиками. А с политикой как-нибудь дальше разберемся.

Он говорил очень искренне и убежденно, и я несколько не сомневался, что именно эти мотивы побуждали его так энергично сражаться в рядах Красной Армии. Эти же мотивы позже прозвучали в известном воззвании генерала Брусилова.

— Мы очень много говорим об интернационализме, — продолжал Колчигин, — и, конечно, наша революция имеет международное значение. Но посмотрите, как одета ваша армия и под каким знаменем она сражается.

Я очень удивился этому замечанию.

— Ну как же — ведь эти шлемы, в которые мы одеваем наших красноармейцев,

и эти широкие красные петлицы на шинелях — это же одежда великокняжеской рати, а красное знамя — это ведь то самое знамя, под которым русский народ сражался при Калке. Это то знамя, под которым русский народ сверг татарское иго. Так что большевики совсем не забывают, что они являются политической партией русского народа.

Мы еще много раз встречались с Колчигиным, но никогда больше не говорили на политические темы.

### Наконец-то в лаборатории!

Гражданская война явно приближалась к концу, Красная Армия била белых на всех фронтах. Невольно думалось о том, что же делать после демобилизации.

Колчигин сказал мне, что готовился приказ о назначении меня помощником начальника санитарного управления одной из армий Южного фронта и что он с трудом отстоял меня. Однако врачебно-административная карьера, столь успешно начатая, меня никак не привлекала.

Совсем рядом был Ростов — большой университетский город. Кафедру микробиологии возглавлял известный профессор В. А. Барыкин. Но как попасть в Ростов, как попасть к Барыкину?

Помощь пришла совершенно неожиданно. Осенью был издан приказ по Красной Армии об обязательном использовании врачей по специальности.

Я срочно затребовал из Москвы диплом об окончании бактериологических курсов Блументаля, которые я прошел, еще будучи студентом, и с этим дипломом явился к Стоклицкому.

После длительной беседы я умолил его перевести меня в Ростов, в лабораторию санчасти фронта на скромную должность лаборанта. Я терял приличную заработную плату, вестового, свою верховую лошадь (эта потеря была самой чувствительной), но зато — работа в лаборатории! Я был счастлив.

Лабораторией санчасти фронта заведовал д-р П. А. Винокуров, гигиенист, высокоэрудированный специалист и прекрасный человек. Мы довольно быстро стали друзьями, несмотря на значительную разницу лет, и эта дружба продолжалась долгое время.

Мне были поручены бактериологические анализы, и я бы совершенно потонул в них, если бы не хорошие помощники. Мы поизобретали много всяких приспособлений, позволявших отчасти автоматизировать мытье лабораторной посуды, приготовление пита-

тельных сред и пр. В результате освобо-дилось некоторое время для научной рабо-ты. Это была уже третья попытка Первый раз — в Петербургском университете в ла-боратории профессора А. С. Догеля — по-мешала война и перевод в другой универ-ситет. Второй раз на чердаке дома, где я жил и в Москве, — помешали кошки, ко-торые съели моих подопытных кроликов. Что же помешает теперь?

Др Винокуров не мог помочь мне как руководитель. Гигиеной я интересовался мало, и мне хотелось заняться каким-либо бактериологическим вопросом. Лаборатория помещалась в сыпнотифозном госпитале. Смертность была высокой. Никакого специ-фического лечения тогда не существовало. Нельзя ли чем-нибудь помочь больным?

Возбудитель сыпного тифа не был тогда открыт, но было известно, что он содержит-ся в крови. Вошь, насасавшаяся этой крови, переносит заболевание от больного к здо-ровому. Что, если взять эту кровь или сы-воротку, убить нагреванием находящегося в ней возбудителя и вводить ее под кожу больному? Может быть, введением этого материала, похожего на вакцину против бак-териальных болезней, мы сможем повысить защитные силы организма?

Я договорился с врачами госпиталя, и мы начали соответствующие опыты. Больные переносили введение нашей «вакцины» очень легко, и, когда накопились наблюде-ния за течением заболевания у получавших «вакцину» и контрольных больных, ее не получавших, стало ясно благотворное влия-ние прививок — сократился температурный период, заболевание протекало легче, с меньшими осложнениями и меньшей смерт-ностью. Я ликовал и решил доложить наши данные на научной комиссии санчасти фрон-та, чтобы и другие госпитали могли исполь-зовать и проверить наши наблюдения.

Председателем научной комиссии был профессор В. А. Барыкин. Он внимательно слушал мой доклад, задал ряд вопросов, а потом резко критиковал наши данные. Предлагаемый метод не имел, по его мнени-ю, никакого теоретического обоснования. Вошь переносит не то количество возбу-дителя, которое находится в высосанной ею крови, возбудитель размножается в орга-низме вши в громадном количестве, и

поэтому ее укус заражает человека. Вирус в крови ничтожное количество, и никакой вакцины из подобной крови не приготовишь. Подкожное введение любого белка вызывает некоторое повышение защитных сил орга-низма, и именно это и наблюдалось в луч-шем случае в наших опытах. Наши «контро-ли» никуда не годятся; чтобы они были достоверны, контрольным больным нужно было бы вводить под кожу какой-нибудь белок, например куриный. Эти и другие возражения сыпались на меня свинцовым дождем.

Я был чрезвычайно расстроен. Добиваясь постановки своего доклада на научной ко-миссии, я надеялся не только познакомиться с профессором Барыкиным, но и показать ему, какой я «умный», и открыть себе до-рогу к нему на кафедру. Теперь все руши-лось. Терять было нечего. Страшно вол-нуясь, я горячо начал возражать ему, стре-мясь разбить по пунктам каждое его за-мечание, и кончил патетически:

— Разве больному важно, поправился ли он от достаточной или недостаточной те-оретически обоснованного лечения? Ему важ-но остаться живым и здоровым.

По окончании заседания В. А. Барыкин подозвал меня к себе. Он улыбался.

— Откуда вы взялись, такой горячий? Я расказал ему, что кончил два факуль-тета и сейчас работаю в лаборатории сан-части армии, и прибавил, что был бы счаст-лив, если бы он разрешил мне слушать его лекции, когда это возможно, и поработать у него на кафедре.

— Ну что ж, приходите, приходите, еже-ли действительно хотите по-настоящему ра-ботать. Только помните, что каждый экс-перимент должен ставиться с контролем — подлинным контролем, а не мнимым.

Я был на седьмом небе. Наконец испол-нится моя давняя мечта.

Однако все случилось иначе. Мне пред-стоял отпуск впервые за два года, и я ре-шил пойти к Барыкину после своего воз-вращения.

Добравшись до Москвы было не так про-сто. Я ехал в теплушке, где было много возвращавшихся из госпиталей красноар-мейцев. Примерно через две недели после приезда в Москву я заболел тяжелейшим сыпным тифом.

Н. А. Белевцева

## Часы и дни

Одна из ведущих актрис Малого театра, на родная артистка РСФСР Наталья Алексеевна Белевцева, закончила книгу воспоминаний, отрывок из которой приводится ниже. Белевцева рассказывает о юности, о становлении советского театра, о первых годах его жизни, полной энтузиазма, борьбы, лишений, трудностей, о его победах и поражениях, о том, как прокладывал он путь к сердцам первых советских зрителей. И правдивый, искренний, бесхитрый рассказ ее не может оставить равнодушными не только любителей театра, для которых имя Н. А. Белевцевой говорит очень многое, но и самый широкий круг читателей, особенно нашу молодежь.

Наталья Алексеевна Белевцева начала свою артистическую деятельность в 1916 году в знаменитой труппе Московского драматического театра Суходольской. В 1922 году она вступила в труппу Малого театра. Решающие для нашего народа, для нашей культуры годы прожиты автором воспоминаний вместе с лучшей частью нашей интеллигенции в романтической суровой, прекрасной атмосфере Великого Октября.

Вспоминая далекие годы, Наталья Алексеевна не пытается показать себя все понимающей, не делает запоздалых обобщений. Но, читая строки воспоминаний, мы как бы смотрим ее умными, честными глазами на происходящие вокруг нее гигантские события, мы прикасаемся к истории, и она остается живой и неофициальной, глубоко личной. Масштаб и стихийность чувствуются только между строк. Всего несколькими чертами описывает Наталья Алексеевна выдающихся деятелей государства и культуры, встретившихся на ее пути, но они стоят перед глазами читателя как живые: Луначарский, Косиор, Певцов, Сахновский, Станиславский, Южин — какие разные и какие интересные люди! О ком и о чем бы ни рассказывала Белевцева, мы всегда видим лицо и индивидуальность автора воспоминаний, умного, интересного собеседника, пронесшего через всю свою жизнь такую трепетную любовь к театру, такое уважение к нашему зрителю и коллегам и товарищам по искусству.

Я был восхищенным свидетелем артистической юности Белевцевой, я был товарищем по сцене в дни ее зрелости, в дни расцвета ее прекрасного таланта и редкого обаяния. И сейчас я горжусь тем, что работаю вместе с чудесным мастером театра, сохранившим весь трепет любви к своей профессии, к своему искусству.

Борис Бабочкин



Осенью 1916 года начался мой первый сезон в Московском драматическом театре. Из дореволюционных частных драматических театров этот театр, созданный Ел. М. Суходольской, был лучшим в Москве. Он находился в Каретном ряду, там, где теперь театр «Эрмитаж». Суходольская бросила на него большие деньги и собрала первоклассную труппу, Радин, Борисов, Блюменталь-Тамарина, Певцов, Полевичкина, Павлова, Нароков, Визаров были ее украшениями.

Из более молодых — Игреньев, Смелков, Фрелих, Развозжаев, Егорова, Валицкая, Малентович и др. Такие спектакли, как «Тот, кто получает пощечины», «Павел I», «Роман», «Дворянское гнездо», прославились не только в Москве, но и за ее пределами. Огромное значение имел хорошо подобранный ансамбль и Певцов, великолепно и умно игравший в нем главные роли. Поступив в этот театр, я сыграла сначала какую-то горничную в какой-то пьесе, не помню, и тут же вскоре получила Татьяну в пьесе Ив. Ал. Новикова «Горсть пепла». Это была значительная роль.

Появилась первая рецензия, меня отмечали в ансамбле, и это мое, по существу, первое выступление сыграло роль в переоценке меня дирекцией. Вскоре я получила Раису в «Касатке» Ал. Толстого. Заболела актриса, которая должна была играть эту роль, и мне ее дали, когда уже шли генеральные репетиции. Я была, конечно, на седьмом небе. Меня пригласил А. Н. Толстой оговорить с ним предвзвешенно образ, и помню, с каким восторгом я мчалась к нему на квартиру.

Когда я прочла роль, Алексей Николаевич сказал мне, что это он хотел занять меня в «Касатке». «Я сказал: дайте-ка мне ту актрису, которая играла горничную в такой-то пьесе это как раз то, что мне нужно».

И вот еще только одна генеральная — и спектакль. Роль была всеми одобрена, и с этих пор я прочно вошла в жизнь нового для меня коллектива.

Осень 1917 года ознаменовалась для меня получением интересного и очень лестного предложения от известного антрепренера Н. Н. Синельникова из Харькова. Соблазн был велик. В то время харьковская труппа Синельникова была отличной труппой, сам Синельников был великолепный режиссер и славился тем, что умел ставить актеров и актрис, работать с ними и делать им имя. Звал он меня на первое положение, звал искренне. Я посоветовалась с Певцовым. Он долго думал и, наконец, сказал: «Что ж, очень заманчиво, но от добра добра не ищут». И посоветовал мне пойти к Суходольской. Я так и сделала. Суходольская не пустила меня к Синельникову.

Начался новый сезон 1917/18 года. Мне сразу же дали роль Консуэллы в пьесе Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины», которую раньше играла Полевицкая. Моим партнером был Певцов. Он же

и взялся ввести меня в спектакль. Начались репетиции. Они были прерваны мировым событием — Великой Октябрьской революцией.

Москва была пустынна, и только выступления громыхали и перекачивались на площадях и бульварах. Мы все жили тогда в помещении драматической школы на Арбатской площади. Спали в коридорах, заставляя окна шкафами. По ночам устраивали дежурства на лестнице. Света не было, сидели с огарками и в темноте ощупью передвигались с места на место. Тревожные вести распространялись одна за другой. Ожесточенные бои были у Никитских ворот. И наконец, мы узнали, что большевики продвинулись ближе к нам, то есть к Арбатской площади, и что юнкера отстреливаются с нашей крыши.

Все это время мы жили и действовали по команде моей старшей сестры Они. Когда выстрелы отдавались, мы выбегали наискосок в булочную за хлебом. Помню, как бежала я однажды домой под свист пуль с булкой в руках.

Но вот пришла весть: большевики победили, стрельбы больше нет, можно выходить свободно. Признаться, в эту пору я так была охвачена страстью к театру, что недооценивала свершившегося на моих глазах переворота, я только стремилась скорей иметь возможность добраться в Каретный к Певцову, чтобы пройти с ним роль Консуэллы.

В первый же день затишья я отправилась к нему по безлюдной еще и израненной Москве. Я шла левой стороной Тверского бульвара, как вдруг появившиеся с правой стороны грузовики открыли стрельбу. Они стреляли как раз в тот дом, мимо которого я шла. Там, как мне сказали потом, была какая-то засада. Я укрылась в каком-то подъезде ни жива ни мертва от страха. Немного погодя я очутилась в незнакомой мне семье, где все сжались в коридоре и ждали, когда кончится стрельба. Когда все успокоилось, они долго не отпускали меня и, наконец, вышли проводить, наказывая быть осторожней. К Певцову теперь уже было идти поздно. Завернув в Борисоглебский переулок, я помчалась в Трубниковский к Игреньеву, которому мне хотелось подробно рассказать о случившемся.

Владимир Федорович Игреньев принял революцию безоговорочно, сразу. Далеко не вся интеллигенция была так последовательна. Он горячо рассказывал мне о значении свершившегося и рисовал перспек-



тивы, которые меня тогда необычайно захватили. «Голько те, кто смело идет вперед, не останавливаясь и не сомневаясь, только те проложат путь к будущему».

Как сейчас, вижу его горящий взгляд, чувствую его крепкое рукопожатие. Не без его влияния пробудились и окрепли у меня гражданские чувства.

Дома между тем Оля прицепила за оконный кусок красной материи, которая, раздуваясь по ветру, приветствовала революцию.

Постепенно жизнь стала входить в свои берега: шкафы встали на место, театр вновь открылся, и я начала прерванную театральную жизнь. Я работала с Певцовым над ролью Консуэлы и прозодила забываемые часы с этим изумительным педагогом и человеком.

Я болтаю с Тотом, сидя на кушетке. «Почему ты такой грустный, Тот?» Я прожужжал пальцем по его лицу. «Тот, ты сам нарисовал смех на своем лице?» Тот не отвечает. «Тили-поли, тилиполи», — напеваю я песенку клоунов. Опять молчание, и наконец: «Тот, а что такое смерть?» — спрашиваю я, вглядываясь в его глаза.

«Неверно, — говорит Певцов, — у вас все одинаково важно, а вам должно быть важно только одно: а что такое смерть? Попробуйте посмотреть на муху, которая ползет по стене, и думать — доползет она до этой точки или не доползет, доползет или не доползет. Только это вам важно. Следите за мухой внимательно, а в это время спрашивайте меня, о чем хотите. Отвлекайтесь на секунду, смейтесь, если вас что-нибудь рассмешило, но сейчас же возвращайтесь к мухе и следите за ней со всей остротой внимания. Вот, вот еще немного. Наконец она доползла. «Доползла», — говорите вы, и это и есть самое главное, что вы хотите мне сказать. И если вы будете об этом напряженно думать, то это и выльется как главное».

А теперь давайте репетировать, болтайте со мной, о чем хотите, но все думайте о смерти, и тогда ваш вопрос: «Тот, а что такое смерть?» — и выльется как самый главный вопрос. Понятно?»

Все было понятно: наши сцены пошли довольно быстро, и вскоре уже я играла спектакль. Мне кажется, это был лучший спектакль в моей жизни.

Все это ушло, уплыло, как уплыла сама жизнь, но этот спектакль, волнующий и красивый, всегда со мной, в моей памяти, в моей душе. Сколько потом было похвал, разговоров, но не это имело решающее

значение. Решало то внутреннее чувство, та направленная мысль, наконец, то ощущение покоя, которое было мною достигнуто, которым я была всецело обязана моему дорогому учителю. Сознаюсь, пусть это и горькое признание, никогда после я не достигала этого ощущения в такой мере.

Летом 1918 года я уехала работать в Казань в антрипризу Розенберга, где художественным руководителем был Певцов и где под его руководством я сыграла ряд значительных ролей. Из них самая интересная была Лиза в «Дворянском гнезде».

На генеральной, помню, случилась беда. Я решила не надевать парика, а причесать волосы гладко, просто, естественно, как это описывает Тургенев, но, к сожалению, у меня волосы были светлее, чем требовалось, и вот я решила покрасить их. Все было очень хорошо, стильно, выразительно (я говорю о внешней стороне), но, увы, на спектакле краска потекла, отмыть ее удалось не скоро, так я и мучилась с нею и на сцене и дома.

Труппа в Казани была очень сильная, публика чрезвычайно театральная, и сезон был очень интересен. Но закончился он раньше, чем предполагалось. К городу подходили белочехи, и мы вынуждены были укатить в Москву. Укладывались быстро, да и укладывать-то, в сущности, было нечего. Пара белья, простое платьице, две подушки да несколько серьезных книг об искусстве — главная ценность Владимира Федоровича Игренева, за которого я в Казани вышла замуж. Все наше нехитрое имущество легко упаковывалось в деревянные ящики.

Ехали в отдельном купе. Владимир Федорович говорил о жизни, о любви, о призвании, об искусстве. Он вспоминал слова Листа, сказанные Бородину: «У вас свежая струя, у вас будущность». Говорил увлечательно, горячо, и верилось, что все победишь, всего достигнешь.

В Москве голод, разруха, нищета надвигались все больше и больше, и наша жизнь становилась все труднее и трудней.

В театре в этом сезоне я играла «Дворянское гнездо», подготовленное с Певцовым еще летом. Незабываемая М. М. Блюменталь-Тамарина в роли Марфы Тимофеевны, Певцов — Лемм, Фрелих — Лавренкий. Алексеева-Месхиева — Леночка. Ансамбль исключительный, и играть с такими партнерами было наслаждением.

Публика принимала хорошо, и с чувством удовлетворения возвращалась я к мороженой картошке и морковному чаю.

Весной 1919 года мне передали, что Книшпер-Чехова, бывшая на спектакле «Дворянское гнездо», похвалила меня Станиславскому, сказав: «Вот актриса нашего тона». Константин Сергеевич пригласил меня к себе для переговоров, и я, взволнованная и радостная, отправилась к нему.

Станиславский произвел на меня огромное впечатление. Седые волосы, черные густые брови на тонком породистом лице и чуть смеющиеся глаза приковывают к себе. Его простота в обращении, его обаяние и едва ощутимый юмор сразу сбили с меня скованность. Я как-то очень быстро стала сама собой, и мы говорили попросту, непринужденно.

Константин Сергеевич как-то по-родственному расспрашивал меня — почему я пошла на сцену, что играю, что люблю играть. Выслушав меня, он сказал: «Если вы придете в наш театр, вам придется раньше забыть все, что вы делали до сих пор, а уж потом только начинать все сначала. Ваш учитель Певцов, это хорошо. В таком случае кое-что и не надо будет забывать. — И Станиславский засмеялся веселым заразительным смехом. — Я вам ничего не обещаю. Или вы будете несколько лет присматриваться к нам и, возможно, сидеть между двух стульев, или будете играть «Чайку». Важно, чтобы вы поверили нам, а там видно будет».

Вернувшись от Станиславского, я сразу же направилась к Певцову. Выслушав мой рассказ, он сказал коротко и ясно: «Нет, не ходите в Художественный театр. Во-первых, больше шансов на то, что вы просидите несколько лет, ничего не делая. Во-вторых, если вы получите «Чайку» — это не ваше дело, — вы ее не сыграете. Надрыв, который есть в этом образе, не ваша природа. Между тем Московский драматический театр закрывается и на том же месте, в этом же помещении открывается Государственный Показательный театр, и мы с Сахновским будем его возглавлять. Планы чрезвычайно заманчивые. Луначарский будет непосредственно принимать участие в художественном совете, репертуар обширный, много классики: у вас будет интересная работа».

Открываем мы «Королем Лиром». Я Лир, вы Корделия, постановщик Сахновский. Дело молодое, серьезное. Решайте».

Я так верила Певцову, так высоко ста-

вила его мнение, его интуицию, что сразу решила стать актрисой Московского Показательного театра.

Еще один довод был в пользу этого решения. Мой муж В. Ф. Игреньев состоял не только в новой труппе, но и вообще принимал большое участие в этом молодом деле, увлекался его жизнью и его планами. Он считал, что у этого театра есть все возможности стать образцовым. И действительно, к тому были все предпосылки. Во-первых, театр возник под личным шефством и покровительством наркома просвещения Луначарского, репертуар обещал быть своеобразным и богатым, и, во-вторых, в нем были собраны такие крупные силы, которые могли бы стать украшением любого театра в Москве. В нем сверкали имена золотого фонда нашей театральной культуры: Блюменталь-Тамарина, Певцов, Крамов; талантливая молодежь — Нторов, Игреньев, Фрелих, Валицкая. Влилась в него группа крупных актеров Малого театра, покинувших временно свой родной дом, — Массалигинова, Ленин, Худолеев; необычайно талантливый, очень смелый в своих решениях художник Якулов и, наконец, главный режиссер и художественный руководитель дела — крупнейший, эрудированный искусствовед-новатор, впоследствии художественный руководитель Московского Художественного театра Василий Григорьевич Сахновский. У руля, так сказать, в непосредственной близости к руководству стояла еще одна интересная фигура, человек, вкус которого отличался исключительной тонкостью, а театроведческая эрудиция могла бы соперничать с эрудицией Луначарского. Это мистер Суворов-ди, индус по происхождению, окончивший Оксфордский университет и приехавший к нам как консультант-шекспировед. Но он не ограничивался узким кругом своих обязанностей, он жил жизнью театра, вникал во все его поры и вносил всегда интересные, перспективные и смелые задачи. Анатолий Васильевич Луначарский, в свою очередь, забрасывал театр новыми пьесами, новыми идеями.

Помнится, с какими головокружительными планами возвращался Игреньев с художественного совета. «Черт возьми, — говорил он, — в наших руках все, мы можем подняться на большую высоту, и наш театр станет действительно Показательным». Глаза у Владимира Федоровича горели, и мы не думали о том, что прошли из Каретного в Трубниковский в стоптаных башмаках, что завтра надо идти на Смоленский рынок и торговать старыми

тряпками, а потом на вырученные деньги покупать пшено или постное масло. Всего этого мы не замечали: мы были охвачены большими мыслями и согреты большими чувствами.

Осенью 1919 года Московский Показательный театр открыл занавес пьесой Метерлинка «Адриана и синяя борода». «Король Лир» почему-то не пошел. Н. Бершадская в роли Адрианы, юная, красивая и стильная, была прекрасна.

Следующая постановка — «Мера за меру» Шекспира. Я играла Изабеллу и была очень увлечена этой ролью. Это один из самых ярких шекспировских образов. Анжелло играл Ленин. Ставил пьесу Худолеев, оформлял своеобразно и с большим вкусом Якулов.

В этом спектакле все было чрезвычайно ярко и красочно. Билась беспокойная человеческая мысль. Это был подлинный

Шекспир, веселый и глубоко гуманный. Этот спектакль оставил большой след как в нас, исполнителях, так и в публике, его смотревшей. Скажу не преувеличивая: в условиях холодной и голодной Москвы дух художнического подвижничества всецело сказался в этом одухотворенном спектакле. Классическая четкость рисунка была великолепно показана Лениным. О себе невозможно говорить, но мне казалось, что мы сливаемся с ним в нашем дуэте и что чувство, с которым я проводила свою роль, было, несомненно, полным и искренним.

Вот что писали об этом спектакле: «Прежде всего очень интересный художник Якулов. Поражает, как эти на первый взгляд громоздкие сооружения облегчают возможность непрерывного действия и видения всей пьесы при одной декорации. Якулов хочет, чтобы зритель все видел: и трущобы города, и кельи монастыря, и башню тюрьмы, и дворец наместника, и видел при этом одновременно все сразу, ни на минуту не упуская из виду ту центральную площадку, на которой течет беспрерывно вся пьеса.

Режиссерская сторона спектакля была как бы предreshена заранее всем построением сцены. В ней сказались отчетливое выявление общего замысла и верная трактовка характеров действующих лиц. Ленин — Анжелло — дал внешне очень интересный, впечатляющий образ, строгий, благородный. Белевцева — Изабелла, яркая и сильная артистка, верно, взволнованно и трепетно передала этот нежнейший и трогательный женский образ Шекспира. Очень хорош, ярок и как-то пошекспировски весел и циничен Крамов в роли Помпея».

Итак, прежде всего отмечается художник Якулов. Эта рецензия, мне кажется, дает исчерпывающую характеристику его творческого почерка. Якулов, крупнейший, каких я только знала, художник сцены, был настолько своеобразен, настолько самобытен, что он именно и определял лицо спектакля, его стиль и даже его ритм и действие, его вечно современное звучание. «Все века лежат в сегодня», — было его художественное кредо. Георгий Богданович не подчинялся слепо замыслу режиссера, он непременно выдвигал свой план и отстаивал его. У него был свой взгляд на вещи и свое, глубоко продуманное, непоколебимое убеждение. Он был, по выражению Сахновского, «организатор и оформитель сценического пространства». Его конструкции были всегда легки, остро-

Н. А. Белевцева в роли Консуэлы.



умы и способствовали внутреннему движению пьесы, раскрытию ее смысла, ее идеи. Они углубляли решение режиссера и, что очень важно, шли за актером. Это особый дар художника — понять, угадать актера. Георгий Богданович говорил: «Декорация должна идти за актером, а не актер за декорацией».

В те времена, то есть в 1919—1920 годах, было много различных точек зрения на искусство, много течений, и естественно, что последовательная убежденность, какую проявлял Московский Показательный театр и в его лице художник Якулов, а именно открытая театральная реализация в выявлении идеи пьесы, вызвала споры и подчас даже враждебные выпады. Якулова укоряли за возврат к примитиву, в ретроградстве. Его противники утверждали, что эстетизм Возрождения не нужен сегодняшнему дню. Особенно громко поднимали свой голос преткультовцы. На это Якулов отвечал: «Театр, который я почувствовал и осознал во время революции, все еще не осознан современностью». Это чрезвычайно верно сказано. Без крика и без декларативности Георгий Богданович проникся нашей современностью глубже и верней, чем кто-либо другой из художников того времени, и поэтому искусство его было всегда легким, динамичным и вместе с тем искренним.

В защиту Показательного театра, зная, как говорится, всю его кухню, всю закулисную сторону его жизни, его зачатие и рождение, выступал Анатолий Васильевич Луначарский. После постановки «Мера за меру» он писал: «Показательному театру пришлось с невероятными, гигантскими трудами родиться на свет, ибо театр этот новый. Я знаю, что вследствие этого родилось немало предубеждений против театра, и я рад высказать уверенность в том, что всякий, кто придет посмотреть на этот плод художественных усилий его коллектива, сменит предубеждение симпатией к артистической группе, — те, кто знает ее усилия в невероятно тяжелых условиях и тот идеальный порыв, который она продолжает хранить. Я смело могу звать на этот спектакль Показательного театра, как на одно из самых глубоких, разнообразных и художественных зрелищ, какие сейчас можно видеть в театральной Москве».

Первый народный комиссар просвещения Луначарский с убежденностью, с жаром звал нового зрителя на молодой спектакль нового, молодого театра. А вместе с тем в новорожденном деле далеко не все совпадало с установленными традициями старых театров. Но Анатолий Васильевич

умел раздвигать рамки оценок, видеть, понимать и принимать новое, если оно талантливо и интересно. «Никто не может считать себя носителем объективной истины», — говорил Анатолий Васильевич, и это свое убеждение он проводил в жизнь.

Здесь уместно вспомнить не только многостороннюю эрудицию, выдающийся ум и талант Луначарского, но и его необыкновенную скромность. Анатолий Васильевич никогда не пользовался своим положением, не подчеркивал его. Он естественно и просто держался с нами, молодыми актерами.

Случалось, что после спектакля Анатолий Васильевич развозил актеров на своей машине. Большею частью мы с Игрневым оказывались по этому маршруту последними. Анатолий Васильевич не любил прерывать начатую им в машине тему, выходил, продолжал ее у калитки нашего дома и даже захаживал к нам, в наш более чем скромный уголок. Как молод и обаятелен он был в такие минуты! Он не только развизал перед нами захватывающие перспективы нашего театра, но и обращался к нам за советами. Мечтая устроить при театре литературный совет, желая привлечь туда молодежь, он спрашивал нас, кто, по нашему мнению, мог бы быть ему полезен. Я была смущена, мне было неудобно говорить о своих товарищах. Я сказала как-то Анатолию Васильевичу: «Как жаль, что вы нарком! Если бы вы были только нашим товарищем, все было бы проще». Анатолий Васильевич хохотал и говорил: «Повторите-ка, Наташенька, что вы сказали, я хочу это запомнить».

Однажды на каком-то ответственном собрании, когда мнения по какому-то вопросу раскололись, Анатолий Васильевич перевернул мне записочку, в которой стояло: «Наташенька, как вы скажете, так и будет». Полагаю, что он имел свое собственное мнение, но узнать через меня, что думает молодежь, он, несомненно, хотел, и мне остается только поблагодарить его за такое доверие.

Я пишу об этом для того, чтобы показать отношение Анатолия Васильевича к молодой актрисе. Чистое и искреннее, оно было тонким и всегда необыкновенно внимательного поощрения.

Наступила зима 1920 года. Московский Показательный театр осуществил несколько интересных постановок. С успехом прошли «Служанка Памелла» Гольдони, «Разбитый кувшин» Клейста и две пьесы Л. Андреева, «Собачий вальс» и «Савва», с Певцовым в главных ролях. Я получила

роль Липы в «Савве» и с наслаждением ее готовила.

Москва была занесена снегом, транспорт не работал, люди в домах обогревались «буржуйками», а по улицам передвигались закутаные, в валенках, с неизменными авоськами, в которых таскали свой паек. Театр почти не отапливался, и публика, наплевывая его зал, зачастую сидела, не снимая верхней одежды.

Дома по холодным комнатам бегали крысы. Пока я варила мороженую картошку на примусе в холодной кухне, Владимир Федорович раздувал маленький самовар, который был у меня с детства и, сколько я его помню, всегда стоял на трех ножках, наклонившись набок. За этим самоваром мы просиживали целые ночи. Владимир Федорович верил в революцию, в большую ломку, в большевиков и внушал мне уважение к происходящим событиям. Читали мы много — Белинского, Герцена, историю Ключевского и другие книги.

Однажды я заболела гриппом, но Владимир Федорович и слышать не хотел, что можно манкировать спектаклем. С температурой 39 градусов я поехала играть в неотапливаемый театр и заболела воспалением легких, а потом и плевритом, но молодой организм быстро справился с болезнью, и я снова продолжала прерванную работу над Липой в «Савве». Сдав премьеру, мы стали много и часто играть этот спектакль и на основной сцене и на периферийных площадках.

На теперешнюю Пушкинскую площадь, к Страстному монастырю, подавались полки, мы все, участники этой пьесы, усаживались на промерзлые брезенты и отправлялись в самые отдаленные клубы. Входили в холодное помещение, гримировались в каких-то закутках, где стоял гнусный запах из уборной. Там же с жадностью набрасывались на угощение, состоявшее из селедки с черным хлебом и чая с сахаром в жестяных кружках. Потом играли на маленькой сцене, где почти у ног, вплотную, сидел зритель. Певцов играл Савву без грима. Он возил с собою жиденький, легкий парик, который быстро, как чулок, натягивал на голову. Он отрицал грим: только ясно отточенная мысль и верно направленное действие плюс огромная сосредоточенность им руководили.

Перед началом он выключался, молча ходил взад и вперед в стороне от всех. Зато как он играл! Какой это был живой человек с большими, масштабными мыслями, как верно и точно он направлял их в зри-

тельный зал! С Певцовым не могло быть халтуры, в те времена развозимой по разным клубам всевозможными «жучками». С Певцовым всегда был полноценный, вдохновенный спектакль, который он сознательно и с восторгом нес новому зрителю. Илларион Николаевич говорил: «Какое счастье играть для красноармейцев или для рабочих!» И когда мы тряслись обратно на этих же промерзлых полках, сколько он высказывал интересных мыслей, новых, свежих наблюдений! В разговоре с ним всегда приоткрывалась завеса, из-за которой искусство, жизнь, космос казались ближе и реальной. Певцов любил, изучал и знал астрономию. Смотря на небо, он легко определял созвездия, называл их расположение. Его лицо бывало вдохновенно, когда он говорил о стройности вселенной, о законе, которому послушны как самые большие, так и самые малые величины.

Иногда он так же проникновенно говорил о музыке: «Слушайте побольше музыку, это важно для актера». После клубных спектаклей он всегда проверял как себя, так и других с большой зыскательностью. «Обидно, — однажды сказал он, — я еще не дорос до этой публики».

Можно себе представить, каким толчком для моего развития являлись эти поездки, как они для меня были важны и дороги.

Показательный театр с каждой постановкой все больше и больше завоевывал симпатию зрителей и утверждал себя как первоклассный театр.

Летом 1920 года правительство и лично Луначарский нашли возможным, более того — нужным отправить наш театр на фронт гражданской войны. Несмотря на то, что в то время не только тыл, но и армия была не обута, не одета, а часто и голодна, правительство, оценивая наш театр чрезвычайно высоко, санкционировало посылку на фронт труппы в 105 человек, с декорациями, костюмами, реквизитом, инвентарем и со всеми подсобными рабочими. Был составлен специальный поезд из десяти вагонов и вагона-ресторана с двумя квалифицированными поварами. По тому времени голода и разрухи это многим казалось совершенно невероятным, и к моменту отправления поезда его пришли провожать деятели крупнейших театров, среди которых был и Владимир Иванович Немирович-Данченко. Злые языки говорили, что народу пришло так много, чтобы убедиться в реальности басни об этом фронтовом поезде. Кто-то из провожавших, увидев в вагоне-ресторане настоящее первоклассное пиани-

но, не удержался и поднял крышку, чтобы проверить, не бутафорский ли это инструмент.

Курсировал этот поезд как 7-я фронтовая группа Политуправления Резвоенсовета республики. Начальником агитпоезда и ответственным руководителем был назначен Исидор Яковлевич Румянцев. Он великолепно, можно сказать, образцово организовал эту ответственную поездку и, как человек, снискал к себе чувство уважения и симпатии. Мы были направлены на юг, на деникинский фронт. Маршрут — Харьков, Ростов, Таганрог, Грозный, Баку. Репертуар — Шекспир, «Мера за меру», Гольдони, «Служанка Памелла», Клейст, «Разбитый кувшин».

Я взяла с собой маму, с которой не хотела разлучаться в тяжелое время, и началась новая, хотя короткая, но очаровательная эпопея, похожая на сказку из «Тысячи и одной ночи». Ехали весело, дружно. Помнится, в Харькове Владимир Федорович принес мне белую булку: я обняла ее, поцеловала и потом медленно, не веря себе, ела.

Спектакли шли с подъемом, театры были полны, и все это приносило нам настоящее удовлетворение. Мы чувствовали, что наш Показательный театр имеет свое лицо, отличается хорошим вкусом, великолепным ансамблем и интересным репертуаром.

Казалось бы, таким малоподготовленным, недостаточно грамотным, измотанным в тяжелых условиях фронта зрителем, какими в то время являлись бойцы нашей армии, этот репертуар должен был бы быть малоинтересен и малопонятен, однако этот неискушенный зритель переполнял театры, в которых мы играли, и с непередаваемым восторгом и жадностью воспринимал каждое слово, идущее со сцены.

Во всех пунктах нашего маршрута по требованию высшего военного командования приходилось продлевать срок пребывания. В Таганроге командование устроило для всего коллектива особый банкет и преподнесло всей труппе подарки за счет своих собственных фондов и пайков. В то голодное время это было куда более ценно, чем какое бы то ни было денежное вознаграждение, и мы не могли этого не оценить. Мы продолжали работать с еще большим чувством ответственности, с еще большим горением.

В наш поезд, который стоял на станции у самого моря, на той самой станции, от которой только что был отброшен Деникин, мы возвращались обычно веселыми и воз-

бужденными. Долго не укладывались спать, спорили и шумели, обсуждая полученные впечатления. Потом, выйдя к морю, вбирали в себя его крепкий соленый запах и бродили до рассвета.

Вспоминаются вечера, когда свободные от спектаклей актеры располагались где-нибудь на траве, недалеко от поезда, закидали костер, и Василий Григорьевич Сахновский делился своими планами на будущее. Он интересно и красноречиво, умно и тонко говорил о нашем театре, о его работе в будущих мирных условиях, о том, каким должен быть актер.

Василия Григорьевича называли Златоустом, и действительно, его речь лилась образно, ярко, сверкала остроумными находками, интересными, неожиданными сравнениями. Талантливый оратор, большой эрудит, Василий Григорьевич поражал воображение, он звал нас к острому наблюдению, к осмысливанию окружающей действительности, общественных событий, человеческих взаимоотношений, быта, людей, природы. «Для того, чтобы показать и выразить действительную жизнь, — говорил он, — выразить правдиво и просто, во всем ее многообразии, нужно проделывать постоянную работу вбирания окружающего, нужно фиксировать в своей памяти впечатления от встреч с людьми». Эти слова западали в душу, мы старались как можно серьезнее и внимательнее вглядываться в окружающую обстановку и ценить нового зрителя, который не мог не влиять на нас и не накладывать свой отпечаток на наше творчество.

Из Таганрога по приказу начальника политуправления главного командования Кавказского фронта нас направили в Грозный, который был только что освобожден от белых. Обстановка там была беспокойная. Перед первыми выборами в Советы шла активная агитация против Советской власти, и на нас упали, что мы, неся культуру и искусство в массы, будем способствовать ослаблению этой агитации. И действительно, наши спектакли, имевшие совершенно ошеломляющий, бурный успех, сыграли положительную роль. Выборы в Советы прошли под знаком победы большевиков.

В Грозном нас очень тепло провожали. После нескольких спектаклей, данных исключительно для частей 8-й трудармии, нашей труппе был устроен благодарственный ужин-банкет в ставке главнокомандования. Лагерь-ставка был расположен в 25 километрах от города. Встречу устроили в павильоне-палатке, в огромном абрикосо-

вом саду. Стол был великолепно сервирован, с личными карточками у каждого прибора. Командарм Иосиф Викентьевич Косиор вел себя, как добрый хозяин, сохраняя при этом большое достоинство. Трудно было понять, откуда у этого человека, бывшего слесаря, а теперь командующего многотысячной армией, могло оказаться столько дипломатического такта и умения себя держать с теми, кого он раньше не мог даже близко видеть. Я вспоминала слова Сахаровского: «Вглядывайтесь в жизнь, в людей, запоминайте все и делайте для себя запас для вашего художественного багажа». Да, надо было вглядываться в этого нового, умного, энергичного человека, и тут было что запоминать.

Вообще эта поездка была чрезвычайно богата впечатлениями. Вспоминая теперь триумфальную поездку Показательного театра по фронту, вернее, по следам фронта, надо сказать, что она явилась прекрасной иллюстрацией к давнишнему спору между деятелями культуры, каким должно быть искусство для народа, надо ли снижать высокое искусство до уровня масс, или же поднимать вкус масс до высокого уровня настоящего, большого искусства.

Обратно наша труппа возвращалась не только морально обогащенная, но и подкрепленная материально. У всех были большие запасы муки и соли. Роскошные дыни были подвешены к потолку в каждом вагоне. Лишь только мы с Владимиром Федоровичем ни о чем не позаботились. Наконец наш администратор буквально силой заставил нас запастись хотя бы в небольшом количестве крупчаткой и солью. Проклиная все, Владимир Федорович втащил в вагон какой-то мешок и со словами: «Позор, на кой черт я его послушался!» — бросил его под лавку.

Это была соль, которая потом выручила меня необычайно. На обратном пути в нашем поезде началась эпидемия тифа. Трех товарищей мы похоронили в дороге. Больных перевели в отдельный вагон. Среди них лежал не избежавший этой заразы и Владимир Федорович. Он был несколько дней без сознания, и я кормила его крепким куриным бульоном. Кур я получала по дороге в обмен на приобретенную в Баку соль. За деньги никто не хотел отдавать продукты. Миллионы тогда уже ничего не стоили. За эту же соль я наняла извозчика в Москве и перевезла Владимира Федоровича в больницу. Наконец вышел он оттуда, но жить нам было негде, так как мы перед отъездом бросили на произвол судьбы наши комнаты в Трубниковском пере-

улке. Поступок ничем не оправданный, но еще раз доказывающий нашу полную оторванность от практических житейских вопросов.

Нам театр любезно предложил одну из очень больших уборных, где гримировались статисты и где, кроме нескольких картонных лошадей с длинными ушами из постановки «Укрощение строптивой», не было никакой мебели. Я купила три матраца, заказала козлы и переехала на житье с беспомощной, уже очень старенькой мамой и с едва державшимся на ногах Владимиром Федоровичем.

Начался беспокойный период существования Московского Показательного театра. Дело в том, что часть крупных артистов временно откололась от него, оставшись на юге, а большая часть, возвратившаяся на место, не могла составить спектаклей в прежнем ансамбле. Приходилось делать замены, искать актеров, а в это время на наше помещение посягал Пролеткульт, наш давнишний враг, и мы с пеной у рта отстаивали на всех собраниях наш любимый театр, но его все же отстоять не удалось. Пролеткульт был сильной организацией, и нам пришлось уступить.

С болью приняли мы распад любимого дела, но факт оставался фактом, и нам пришлось искать новых возможностей. Меня в себе в театр пригласил Мейерхольд, предложив играть Офелию, но после встречи с ним, надо сознаться, охота идти туда опала. Натуралистично и грубо нарисовал мне образ Офелии. «Офелия любит Гамлета, — говорил он, — но любит земной любовью. Она ждет от него ребенка, и здесь не следует заниматься лакировкой. Беременная, тяжелая, простая, без облаков».

Пришло приглашение из Курска, где в это время работала Оня, и мы с Владимиром Федоровичем подписали контракт.

В Курске мы работали сезоны 1920/21 и 1921/22 годов. Труппа была составлена из хороших актеров как провинции, так и столицы. Режиссеры — моя сестра Оня и В. Ф. Игрнев. Театр назывался «Госпоказ» и находился в ведении губоно. Репертуар — Достоевский, Островский, Грибоедов, Чехов, Лопе де Вега, Луначарский.

Спектакли готовились тщательно и вызвали большой интерес в городе — театральном и, надо сказать, требовательном. Вначале спектакли выпускались с месячной подготовкой, а потом срок работы сократили до десяти дней, но и этого оказалось достаточно.

Владимир Федорович был талантливым

чрезвычайно культурным деятелем театра и отдавал своему делу с предельной требовательностью к себе и к другим. Он, несомненно, спаял коллектив, его уважали и любили, работали горячо и молодо. Когда я теперь сравниваю возможности столичных театров в смысле отпущенных средств на постановку и сроков для ее осуществления, я понимаю, как интенсивно и плодотворно мы работали, как умели не упустить ни одной минуты драгоценного времени и как разумно пользовались нашими весьма скромными фондами.

Некоторые спектакли шли с вступительным словом Владимира Федоровича. Он был человеком эрудированным, прекрасно знал литературу, и вступительное слово, которое он читал перед поднятием занавеса, вызывало большой интерес у публики. Особенно интересно было его выступление перед спектаклем «Гроза» Островского. Как только Владимир Федорович кончал говорить, на сцене возникала чудесная, льющаяся прямо в душу мелодия, замиравшая при поднятии занавеса и вновь нарастающая при его закрытии. Эта мелодия была как бы спутником спектакля и должна была передать всю ширь и волюность волжских просторов, тоску и удаль русской души. Как потом говорили, она удивительно гармонировала со спектаклем.

Декорации к «Грозе» были написаны художником Дейнекой, в настоящее время действительным членом Академии художеств.

Спектакль имел большой успех и большое признание.

Я играла Катерину, но, несмотря на ряд удачных мест, не считая эту роль своим достижением, своей победой. Более того, скажу, что она принесла мне вред как актрисе. Не будучи непосредственно знакомой с системой Станиславского, я играла непрерывно состояние, не действовала, а переживала. Я через всю пьесу играла только одно — люблю Бориса. А надо играть целый ряд конкретных действенных задач: «хочу удержать Тихона», «хочу бросить ключ», и т. д. — уже через них, через эти задачи, должна как результат обозначиться любовь к Борису. Образ — это сумма поступков, и поступать, то есть хотеть на сцене, и действовать в направлении своего хотения — это единственное, что нужно делать.

Певцова со мной не было, а Владимир Федорович при всей своей культуре не мог мне дать нового, так необходимого ключа для работы.

Публика и пресса хвалили, а я лишь интуитивно сознавала, что всех обманываю и по-настоящему с образом не сливаюсь. Владимир Федорович был очень строг ко мне, если ругал, то беспощадно, но тут он был покорен двумя-тремя удавшимися местами и за этим не увидел целого. Она в этом случае с ним не согласилась и сказала прямо, что Катерина не моя роль. И это вернее всего: драма, переходящая уже в область трагического, не моя природа.

Жизнь в Курске вспоминается как непрерывный трудовой процесс. Кончается одна роль — начинается другая, сдается третья — задумывается четвертая, и так все время все эти два года.

Летом перерыва не было. Мы играли в Пушкинском саду, где была удивительно поэтическая обстановка. Играла музыка, цвели белая акация, сирень, пионы, а на небольшой провинциальной сцене было так трепетно, так заразительно молодо.

Театр отнимал почти все наше время. С репетиций частенько бежишь к портнихе (одевались мы на свои средства), пообедать на ходу — и на спектакль. А после спектакля нередко бывали и ночные репетиции, и возвращаешься домой уже в третьем часу ночи. Но мы были так увлечены своим делом, что не замечали усталости: она сказалась уже ко второму сезону, когда я однажды перед гримированием упала в обморок.

Весной 1921 года заведующий культпросветом, считавший, что театр слишком много тратит средств на постановки и вообще в целом дорого обходится, сумел кому-то доказать это и разогнал театр. Вместо драмы он выписал из Пензы оперу с оркестром, хором и кордебалетом. Артисты драмы в течение трех месяцев были безработными. Но они не молчали, а протесовали. Шли митинги общественных и профсоюзных организаций. Дело разбиралось в губпрофсовете, после чего было постановлено оперу отправить обратно, заплатив артистам 50 процентов жалованья, а драматический театр оставить.

Под овации зрительного зала открыли мы сезон 1921 года.

Наступила весна 1922 года. Трудно было расставаться со зрителями, друзьями, коллективом и городом. Трудно оторваться от милого Курска. Сколько было пережито, переговорено во время пути по протоптанной дорожке из театра к дому, сколько прослушано соловьев в городском саду летнего театра, сколько дум продумано на буфаторских диванах, заменявших нам крова-



ти, сколько было споров, мечтаний, промахов и достижений! Но надо было уезжать, начинать новый этап. Оня с Владимиром Федоровичем считали, что я должна работать в Москве, в Малом театре, и что с провинцией пора кончать.

Правление Курской железной дороги, несмотря на трудное время, предоставило нам отдельный вагон.

С каждым километром, приближавшим нас к Москве, все острее вставал вопрос, где и как мы будем жить, у кого найдем хотя бы временный приют. Маму я устроила к двоюродной сестре, а мы с В. Ф. бегали по всей Москве, но поиски были тщетны. Наконец Владимира Федоровича осенила мысль: «У меня племянница живет на Плющихе». Через несколько часов с волнением я вносила свои картонки и чемоданы в квартиру доктора Консторума, мужа племянницы Владимира Федоровича.

Эта первая встреча с Семеном Исидоровичем и Настасьей Васильевой была знаменательна: она определила дружбу между нами — дружбу, дыхание которой я чувствую и теперь, когда хозяева квартиры на Плющихе лежат под скромным холмом на Немецком кладбище.

Семен Исидорович устроил нас работать в системе Наркомздрава, где мы обязались давать за продовольственный паек концерты по периферийным санаториям.

Почти одновременно я подписала контракт в театр, бывший Корша, где должна была играть на открытии сезона Софью в «Горе от ума». Вдруг на улице я встречаю артиста Малого театра Головина, который останавливает меня словами: «Как хорошо, что я вас встретил! Я собирался вам писать». — «Вы? Почему?» — «А потому, что мы хотим вам предложить работу в Малом театре (С. А. Головин был в то время членом правления). Прошу вас, — продолжал он, — зайдите к Прову Михайловичу Садовскому лучше всего завтра часов в восемь вечера».

Что было со мной! В крайнем возбуждении провела я эти сутки и, наконец, пошла на переговоры к П. М. Садовскому. Он встретил меня милой улыбкой и сказал, что давно думает обо мне, рад, что меня нашел, и предлагает играть Снегурочку в Малом театре. «У нас есть молодая акт-

риса — Гоголева, красавица, я мог бы из нее сделать Снегурочку, но думаю, что это будет насилием над ней. Пожалуй, не стоит. А у вас должно получиться».

Я объяснила Прову Михайловичу, что, к сожалению, уже подписала контракт к Коршу. На это он сказал, что А. И. Южин переговорит со Шлуглейтом и все уладит. Я, конечно, была счастлива. Моя заветная мечта — работать в Малом театре — осуществлялась. Я понимала, что в моей жизни произошел поворот, значение которого я еще не в силах осознать.

Вскоре я была вызвана к Александру Ивановичу Южину. Он меня принял у себя в кабинете в своей квартире. Когда я вошла, там сидел директор театра бывшего Корша Шлуглейт, который встретил меня словами: «Отнимают вас у меня». Я была сконфужена до последней степени, не знала, что делать и что говорить. Не помню теперь, что именно говорили тогда руководители театров, но инициатива, безусловно, была в руках Южина, и в ближайшие минуты все как-то сразу стало на место, все стало ясным.

Мы простились с Шлуглейтом вполне дружески, и я осталась с глазу на глаз с Александром Ивановичем. Он почему-то попросил меня пройтись по кабинету. Он явно разглядывал меня, мою внешность, рост, походку. Он прикидывал мои данные к Снегурочке. Мне было очень неловко, я сказала Южину, что, вероятно, Снегурочка должна быть меньше ростом, на что А. И. отвечал: «Снегурочка — дочь Весны, она должна быть стройна и никоим образом не мала. Ваш рост именно тот, который нужен».

Дальше разговор зашел о театре вообще, о Малом в частности, перебирались общие знакомые, его товарищи, а мои любимые корифеи.

Я ушла очарованная Южиным, его тактом, его обаянием. Я уносила с собой образ большого артиста, чуткого товарища, умевшего так просто, так хорошо и ободряюще принять молодую артистку. На следующий день я подписала контракт в Малом театре; таким образом было уже формально зафиксировано мое вступление в его труппу.

Это было весной 1922 года.

**Т. Лишина**

(Ленинград)

## «Так начинают жить СТИХОМ...»

Отрывок из книги  
воспоминаний

Члены будущего объединения  
«Хлам». Стоят: Сигизмунд  
Олесевиц, Александр Шапиро,  
Эдуард Багрицкий, Наум Соколик.  
Сидят: А. Адалис, Андрей  
Соболь, Георгий Шенгели,  
Александр Соколовский,  
Зинаида Шишова, Юлия Шенгели.



## «ПЕОН ЧЕТВЕРТЫЙ» и «МЕБОС»

В трудное голодное лето 1920 года в Одессе, только недавно освобожденной от белогвардейцев, местная Советская власть организовала в помещении бывшего первого-классного ресторана обеды для литераторов. Обед — тарелка ячневой каши и сколько угодно стаканов желудевого кофе или морковного чая, но только с одной-единственной конфеткой на сахарине — был немалым подспорьем в полуголодном рационе писателей. Но не только это привлекало их сюда. В одесском «Коллективе поэтов» собирались всего два раза в неделю, а здесь ежедневно допоздна засиживались за столиками, спорили о поэзии, встречались с друзьями, обменивались книгами. Нередко можно было услышать: «У кого есть Григорий Петников? Меняю на Божидара»; «Предлагаю Асеевскую «Оксану» за «Облако в штанах». Часто кто-нибудь из поэтов, перекрывая стук жестяных тарелок, в которых стыла каша, самозабвенно читал только что написанные стихи, и на мгновение шум смолкал. Здесь впервые молодой застенчивый поэт Эзра Александров, которого невозможно было уговорить выступить в «Коллективе поэтов», неожиданно прочел свои стихи о недавней иностранной интервенции и терроре белых в Одессе. В них были такие строчки: «Волосы рыжие — цвет Эльдорадо, нам Калифорнии вовсе не надо, к черту все золото Южной Америки, стынут от холода русские скверики, в небо высокое бьет офицер, в небо высокое бьет без потерь, кружится даль, рушится льдина, ветер — миндаль, двор — мандолина».

Стихи очень нравились Багрицкому, и он часто их цитировал.

Не знаю, кому первому пришла мысль открыть вечернее кафе поэтов для широкой публики. Возможно, это был предприимчивый молодой человек, о котором ходили слухи, что он внебрачный сын турецкого подданного (много позже мы узнали его черты в образе Остапа Бендера), но тогда он только начинал бурную окололитературную деятельность. Во всяком случае, летом 1920 года первое одесское кафе поэтов с загадочной вывеской «Пэон четвертый» было открыто. Название привлекало, но оно нуждалось в разъяснении, кроме того, следовало украсить стены. Инициативная группа, в которую вошли Багрицкий, журналист Василий Регинин (будущий редактор известного советского журнала «30 дней») и художник Мифа — Михаил Арнольдович Файнзильберг, брат Ильфа,

занялась этим. Развесили плакаты, сатирические рисунки, стихотворные лозунги. У входа поместили плакат с четверостишием из сонета Иннокентия Анненского: «На службу лести иль мечты, равно готовые консорты, назвать вас вы, назвать вас ты, Пэон второй — Пэон четвертый?». Привлекал внимание рисунок с изображением огромного металлического ключа и маленького фонтанирующего источника с надписью «Кастальский ключ» и шуточными стихами Багрицкого: «Здесь у нас, как сон невинен и как лезвие колюч, разъяснит вам всем Регинин, что за ключ — Кастальский ключ».

Багрицкий написал куплеты песенки, в которой на все лады разъяснялись смысл и значение непонятого названия кафе. Куплетов было много. Скандированием первого куплета: «Четвертый Пэон — это форма стиха, а каждая форма для мяса нужна, а так как стихов у нас масса, то форма нужна им как мясу», — часто заканчивались выступления поэтов перед публикой.

Кафе просуществовало недолго и к осени закрылось. Из-за отсутствия топлива и света стали редко собираться и в «Коллективе поэтов», и зимой 1920/21 года литературная жизнь в Одессе почти замерла. Некоторое оживление в нее внесли вечера застрявшего в Одессе из-за транспортного разлухи московского поэта-конструктивиста Алексея Чичерина. Афиши его вечеров извещали: «Читаю вслух московским говором свои стихи и других поэтов». Автор книжки заумных стихов «В плафь», напечатанной фонетической транскрипцией, ломавшей привычное представление о русской письменности, обладал красивым голосом и выразительно читал Маяковского, Хлебникова, Каменского. Запомнилась в его исполнении поэма Василия Каменского «Степан Разин!». В чтение главы о персидской княжне Чичерин ввел танец княжны, который исполняла талантливая ученица местной школы ритмики и пластики. Под четкий ритм этих стихов вначале робко и медленно, а потом все быстрее и быстрее развивался танец. Движения сливались с голосом чтеца и иллюстрировали драматическую ситуацию в столкновении Степана Разина и княжны. Несмотря на скромный костюм княжны и слабое освещение сцены, впечатление было сильным, тем более что с возможностью сочетания звучащего слова и движений зрители встретились впервые.

К лету 1921 года литературная жизнь в Одессе снова оживилась. Тот же энергичный «окололитературный» молодой чело-

Andantino

сту - лит май, и в ще.бе. та. лды пти. чок

стаи вос. крес. нет сно. ва. мир чу. дес. ный.

Джен го. во. ри. ла: - Не ез. жай, мой ми. лый,

в дугь о. пас. ный! Прой. дет ап. рель, ма.

Мой лиг, вста. ю. щий за ту. ма. ном.

Ноты к песенке Э. Багрицкого.

век организовал в полуподвальчике бывшего ванного заведения новое кафе. Вначале оно называлось «Хлам» (художники, литераторы, артисты, музыканты), но вскоре было переименовано в «Мебос», что означало мебелированный остров.

Десяток стульев и столов, буфетная стойка и расстроенное пианино, над которым висела надпись: «В пианиста просят не стрелять — делает, что может» — составляли всю мебелировку «острова». За единственным маленьким зальцем нового кафе, в тесных кабинках почему-то остались мраморные ванны, пугая неожиданностью случайно попавшего туда посетителя. Участникам выступлений они служили и раздевалкой и местом отдыха и перекура между выступлениями, за которые полагался бесплатный ужин. Но читать стихи под стук и грохот посуды и шум разговоров было трудно. Надо было придумать, чем заинтересовать посетителей, и заставить их быть внимательней к поэтическому слову. Багрицкий предложил инсценировать свою драматическую поэму «Харчевня». В ней

участвовали знаменитый старый поэт — теперешний хозяин харчевни — и два проезжих молодых поэта, едущие в Лондон на состязание поэтов. Между старым поэтом и молодыми возникает спор о поэтическом мастерстве. В стихотворном поединке побеждает старый поэт, но, уйдя на покой от суеты и брэнной славы, он нашел свое место за трактирной стойкой, где продолжает сочинять стихи. Багрицкий играл старого поэта, Ильф и Славин — молодых. Нам, юным участникам «Коллектива поэтов», в этой инсценировке были отведены роли посетителей «Харчевни». Нехитрые костюмы и грим, широкополые шляпы, шарфы и трости, бакенбарды и передники были принесены из дома. На столах зажгли свечи, и «Мебос» превратился в старинную английскую харчевню, где хозяин и гости читали белые стихи, а посетители — простые рыбаки и рыбачки, крестьяне и конохи — в конце представления запевали песню о Джен, написанную Багрицким. Ее подхватывали и пели вместе с исполнителями все посетители «Мебоса».

Давно утеряна поэма «Харчевня» и ее инсценировка, и судьба их неизвестна. Не все слова песенки запомнились правильно теми, кто исполнял их тогда. Только недавно, к 70-летию со дня рождения Багрицкого, удалось полностью восстановить слова и мелодию этой милой песенки, так отчетливо заново звучащей в памяти друзей юности Эдуарда Багрицкого.

Э. Багрицкий

Песенка о милой Джен

(Из инсценировки поэмы «Харчевня»)

Джен говорила: не езжай,  
Мой милый, в путь опасный,  
Пройдет апрель, наступит май,  
И в щебетанье птичьих стаи  
Воскреснет снова мир прекрасный.  
Но судно быстрое не ждет:  
Оно расправит крылья  
И вновь направит свой полет  
В кипучих волн водоворот,  
Овеянный соленой пылью.  
А я грущу о милой Джен,  
О, этот взор далекий,  
Томит морей холодный плен,  
И корабля тревожен крен,  
И пена плещет в борт высокий.  
Прошел апрель, настал уж май,  
Я сплю на дне песчаном,  
Прощай, любимая, прощай  
И только чаще вспоминай  
Мой взгляд, встающий за туманом.

### ТРИ ПИСЬМА ИЛЬФА

Передо мной несколько писем. Слезаюсь их страницы, прогнувшись на сгибах, выцвели чернилами...

Это письма молодого Ильфа. Они адресованы двум подругам, двум молодым девушкам, жившим в двадцатые годы в одном с ним городе.

Не помню, где мы познакомились. Возможно, на литературных средах в одесском «Коллективе поэтов», где до поздней ночи бурно обсуждались стихи, либо в кафе поэтов с заимствованным у поэта Анненского названием «Пэон четвертый». Мы еще не знали, что этот «Пэон» означает. Мы это узнали позже, когда вместе с Ильфом и другими распевали песенку, сочиненную Багрицким, «Четвертый Пэон — это форма стиха»...

Ильф часто бывал на собраниях поэтов.

Худощавый, в пенсне без оправы, с характерным толстогубым ртом и с черным родимым пятнышком на губе, он обычно сидел молча, не принимая никакого участия в бурных поэтических дискуссиях. Но стоило кому-нибудь прочесть плохие стихи, как он с ходу делал меткое замечание, и оно всегда било в самую точку. Ильфа побаивались, опасались его острого языка, его умной язвительности. Никто не знал, что он пишет — стихи или прозу. Было известно, что он брат талантливого художника и что служит он статистиком в Губземаотделе. Но его абсолютный слух к стихам, нетерпимость к пошлости, ложному пафосу, нарочитым стилистическим красотам признавались безоговорочно.

Ильф хорошо относился к нам, молодым, только что окончившим среднюю школу и сначала очень робевшим на поэтических собраниях. Он принесил нам старые номера «Вестника иностранной литературы», читал понравившиеся страницы из Рабле, Стерна, знакомил нас со стихами Вийона, Рембо, четверостишиями Саади и Омара Хайяма.

Хотя Ильф был старше нас, но любовь к книгам, меткому слову, шутке, житейским невзгоды и маленькие праздники сблизили нас, и мы подружились. С ним было нелегко подружиться. Нужно было пройти сквозь строй испытаний — выдержать иногда очень язвительные замечания и насмешливые вопросы. Ильф словно проверял тебя смехом — твой вкус, чувство юмора, умение дружить, и все это делалось как бы невзначай, причем в конце такого испытания он деликатно спрашивал: «Я не обидел вас?»

Виделись мы с ним часто, но иногда, без всякого внешнего повода, он писал нам письма и искал удобного случая их передать. В них почти не было ничего личного, относящегося к кому-нибудь из нас. Мы удивлялись и считали это своеобразным чудачеством. Много позже стало понятным, что письма выражали естественную потребность Ильфа еще в те ранние годы заняться литературой. В письмах он определял свой стиль, свою манеру, литературный вкус. Ильф искал применения своему таланту, силам, и письма были проверкой. Не было еще будущего писателя-сатирика, не было еще своей темы, но за литературным озорством или грустью этих писем можно разглядеть, как накапливались и отбирались впечатления, росла меткость и точность образного слова, определялась нетерпимость к пошлости и банальности.

События и обстоятельства, затрагивае-



мые им в письмах, часто были случайными и не очень значительными. Но они связаны с жизнью молодого Ильфа, и в этом их непреходящее значение. Мне кажется, они заслуживают того, чтобы рассказать, как жил, грустил и смеялся молодой Ильф.

### Письмо первое

«Еще Вы, любезная Тая, совершаете своекорыстные переходы в Аркадию, еще Вам, Лилия, может быть, милы жаркие гиперболы лета, и даже я еще предаюсь размышлениям о нравственности и насморке Робеспьера, но в небе уже осень, ветер сбивает звезды, и к зиме оно раздвинется над нами огромной черной лисицей. Еще

раз нам предстоит увидеть прощальные солнца осени. Это как пушечный салют кораблей, которых больше не увидишь никогда. А после татарской конницей легкой и яростной во весь опор помчится снег, это плен и невзгоды. Тогда Вы увидите меня иным, в чугунной походке памятника, с привязанной к лицу улыбкой, в молчании человека, отчаянно расточившего дар разговорной речи. И я думаю о Вас и о том, что Вы такое зимой, о комнате маленькой и совершенной, где Вы живете среди разгромленных книг и где в отваге смелых сердец и в милом извращении приличий Вы реабилитируете одни из пороков и судорожно создаете новые. И я вижу Вас провождающими свои дни в веселом умерщ-

влении плоти и в гуле пожираемого шоколада».

Аркадия, о которой пишет Ильф, это не идиллическая страна аркадских пастушков, а одесский курортный пригород. До революции он славился не только своим великолепным естественным пляжем и даже не оборудованной на заграничный манер водолечебницей, а дорогим рестораном над морем с летней эстрадой, где выступали международные кафешантанские звезды. В голодное лето 1920 года в Аркадии, как и во всех одесских пригородах, каждый клочок земли был занят под огород. Там, где раньше были дачи со стеклянными шарами на цветочных клумбах, теперь пробивалась чахлая зелень моркови и низко стелилась картофельная ботва. Одесситы неумело возделывали землю, и она приносила им тощие плоды. Я помогала знакомым, у которых был маленький огород в Аркадии, окучивать картошку и поливать помидоры. Позже мне предложили собрать для себя часть небогатого урожая, и я несколько раз совершала многочасовые «переходы» из дома в Аркадию за овощами. Днем я бодро шагала мимо заключенных и разрушенных дач с покосившимися заборами, заглухшими фонтанами и остовами беседок, снесенных на топливо. Провозившись дотемна на огороде, я возвращалась в крошечной тьме с тяжелым рюкзаком. Примерно на полдороге, у здания полуразрушенной трамвайной станции, Ильф встречал меня, отбирал рюкзак, и мы вместе возвращались в город. Всю дорогу он занимал меня всевозможными историями и пересказом прочитанных книг. Именно здесь, на темных улочках приморской окраины, я впервые услышала от него о Лоренсе Стерне и его книге «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Он знал наизусть главы из этой любимой им книги, часто цитировал ее и восклицал по любому поводу: «Чего?» — с улыбкой спросила Маргарита Наваррская. «Усов», — ответила Ля Фоссез», — и потом он тихо и заразительно смеялся.

У меня дома, растопив чугунную печурку пухлыми пачками журнала «Нива» за 1916 год, мы пекли в горячей золе картошку, обжигая пальцы и губы, ели ее без соли, которая тогда была дороже золота, грызли пахнущую острой свежестью морковку и мечтали о шоколаде.

Ильф с тревогой ждал зиму, тогда он ее не любил. Милей его сердцу были «жаркие гиперболы лета». Они были связаны с домом тетки, о котором он пишет дальше в письме:

«А над домом «тетки» обезумевшим фонтаном взлетают кальсоны девственниц, сорочки честных матерей и фланелевые набрюшники холостяков. Он бьет в Вашу честь, этот фонтан, и на Вас же он опадает золотым и разнообразным дождем».

«Тетка» — моя родная тетя Лиза — переехала к дочери в Москву. Одной ей было не под силу ликвидировать свои домашние вещи, и она попросила меня помочь. Единственным местом, где можно было продать и купить что угодно, от тонкой севрской чашки до потертого кавалерийского седла, была толкучка Нового базара. Попавшему туда впервые человеку трудно было не растеряться от шума, криков, ржания лошадей, запахов навоза и конской мочи. Мое желание помочь тете вызвало резкий протест Ильфа.

— Вы не справитесь одна. У вас все разворуют. Надо что-то придумать. Кроме того, — он лукаво улыбнулся, — я поговорю кое с кем, и мы войдем в игру.

Эта «игра» продолжалась несколько дней. Я выходила из дома, напутствуемая тетиними наставлениями быть осторожной, нагруженная корзиной с носильным, постельным и столовым бельем. У ворот дома меня поджидали Ильф, Багрицкий и Бондарин. Они сопровождали меня до улицы, ведущей к базару, а там по нашему уговору рассредоточивались, чтобы появиться по условиям игры в нужный момент.

Базар начинался с пустырей и пыльных тупиков, задолго до его месторасположения, и уже здесь бродили какие-то подозрительные личности, которые, не дав опомниться, налетали на меня, выхватывали из корзины белье, предлагая за него смехотворно низкие цены. Я еле успевала следить за вещами, которые они перебрасывали друг другу, не соглашалась и отчаянно мотала головой. И тут мне на помощь приходили поодиночке мои друзья, которые издали следили за мной. Первым подходил Багрицкий. Высокий, с покатыми плечами, в лохматым чубом, свисающим на лоб, в гимнастерке, подпоясанной ремнем, в галифе и солдатских ботинках с обмотками, он отбирал у опешивших перекупщиков белье и хриплым голосом почему-то с сильным украинским акцентом спрашивал: «Почем це, дівчина?» Перекупщик, не давая мне ответить, называл свою цену. Тогда Багрицкий предлагал немного больше, и перекупщику приходилось повышать свою цену. Багрицкий, войдя в роль, хлопал меня по плечу, подмигивал, вращал глазами и весело предлагал мне: «Давайте по рукам. Идет?» — кричал он. На крик сбегались

другие перекупщики. Видя, что белее добротное и крепкое, переругивались между собой, рвали его из рук и набавляли цену. Наконец, переглянувшись с Багрицким, который продолжал теревить меня вопросами: «Ну, пойдет? Цена хорошая!» — я уступала перекупщику и получала деньги. Багрицкий показывал головой, сокрушенно вздыхал, мол, дешево отдала дивчина, и, подмигнув мне, отходил. Я шла дальше, туда, где было сердце базара. Там стояли возы богатых немцев-колонистов. На возах, среди своих покупок — штук мануфактуры, тюков ковров, медной утвари, восседала молчаливая Амалхен или Гретхен, которая, распродав по баснословным ценам масло, муку и прочую снедь, теперь только пальцем изредка указывала на понравившуюся ей вещь в руках у кого-нибудь из толпы, осаждавшей повозку в надежде что-нибудь продать.

Я совсем терялась в людском водовороте, где было гораздо больше продающих, чем покупающих. В новом месте появлялся Бондарин. Спокойный, с наголо обритой головой, в ситцевой косоворотке и в сандалиях на босу ногу, он всем своим видом успокаивал меня. Неторопливо и деловито он рассматривал какую-нибудь мою вещь. Причмокивая губами и удовлетворенно кивая головой, предлагал мне немного больше денег, чем кто-нибудь из шнырявших здесь перекупщиков, чем и втягивал их в торг. Но как-то мы с ним «переиграли». Увлечись, он так набил цену на фланелевое мужское белье, что мы не заметили, как отступили все заинтересованные покупатели, как последним отошел рыжий веснушчатый дегина, который торговался дольше всех, и мы с Бондариним остались вдвоем лицом к лицу. Мы расхохотались и разошлись. (Потом мне пришлось отдать белье за меньшую цену, чем предлагал рыжий детина.)

К концу моей распродажи появлялся Ильф. У него давно была какая-то особенная мохнатая кепка, которую, несмотря на жаркий день, он надевал для своей роли. Кепка вместе с его очками без оправы и короткая пенковая трубка в зубах делали его похожим на иностранца, а их было в Одессе немного. Со скачущим лицом он раздвигал кучку приценивающихся покупателей и, небрежно указывая на простыню или полотенце в моих руках, бормотал что-то неразборчивое, вроде по-английски. «Что он говорит?» — «Наверное, сколько стоит?» — отвечал кто-нибудь в толпе. Я на пальцах показывала стоимость вещи. Ильф отрицательно покачивал головой и

тоже на пальцах показывал цену значительно ниже названной мной. Видя, что я не соглашаюсь, он указывал на скатерть и с огромным интересом рассматривал ее. Казалось, вот-вот он согласится и купит, и тут кто-нибудь из перекупщиков, подбадриваемый возгласами и выкриками из толпы: «Вещь-то хорошая, раз иностранец покупает», — не выдерживал, называл подходящую цену, и я уступала ему покупке. Ильф отходил недовольный, а вслед ему неся злорадный смех перекупщиков.

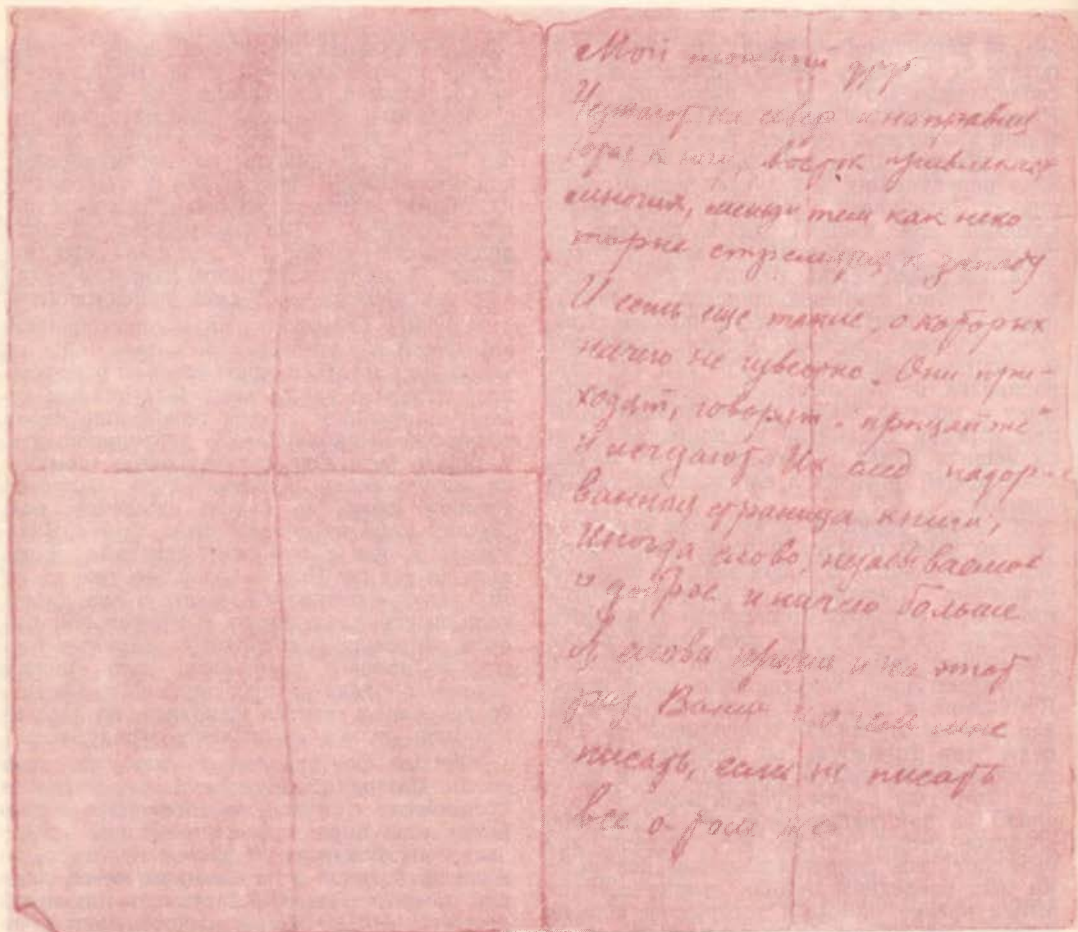
К концу базарного дня с опустошенной корзинкой я возвращалась к тете. Она не могла нарадоваться моим успехам и настаивала, чтобы я взяла часть вырученных денег. «В крайнем случае накормишь своих приятелей-голодранцев», — добродушно угваривала тетя. Она отлично знала, чем меня можно взять. Действительно, напротив тетиного дома, на чужом крыльчике, поджидали меня не очень сытые друзья. Я выходила к ним с тетиними деньгами, и мы шли на тот же Новый базар, но уже не на толкучку, а в съестные ряды и ели до отвала пышные оладьи из картофельной шелухи, пирожки с потрохами, жареную чесночную колбасу и кляжились, что ничего вкуснее в жизни не пробовали. Мне отдельно покупалась плитка шоколада, но я великодушно делила ее поровну между всеми.

«Теткин фонтан» через несколько дней иссяк. Оставалось еще немного денег, и я предложила устроить на последние «щедроты лета» пиршество с угощением галантным и изысканным. В нашей юности было мало праздников и не слишком много поводов для них. Затея понравилась, и по предложению Ильфа было решено отпраздновать 14 июля — день взятия Бастилии. Ильф очень интересовался французской революцией, отлично знал историю ее величия и падения и часто образно рассказывал нам об этом. Всех эта дата устраивала.

Мы с подругой деятельно принимались за подготовку. Мы мало разбирались в меню праздничных ужинов; нам казалось, что пирожные и мороженое, которых мы давно не пробовали, будут верхом изысканного гурманства.

Мы вовсе старались осуществить эту нелегкую по тем временам задачу и скрывали от наших мужчин, что за угощение ждет их на празднике. Каких трудов стоило нам достать муку и испечь пирожные со сливовым повидлом на сахарине, сварить сироп из абрикосов, тоже на сахарине, выпросить немного льда и старую заржавленную мороженицу у домашних! Все это мы доста-





Странички из писем Ильфа  
Т. Лишиной.

вили к приятелю Ильфа, фотографу ЮГРОСТА, занимавшему комнату в доме Советов (бывшей гостинице «Савой»). Комната была большая и по-холостяцки захламленная обрезками фотобумаги и пачками негативов. Мы еле уговорили доброго фотографа вертеть мороженицу, а сами принялись за уборку. Вскоре пришли Ильф и Славин. Выставленные нами на столе пирожные и мороженица, плясавшая в ру-

ках фотографа, произвели на них ошеломляющее впечатление: «Это единственное блюдо нашего пиршества? — всплеснув руками, воскликнул Ильф. — Но где же сама еда?» Увидев наши растерянные, несчастные лица, он смягчился. «Ну, будем великодушны, Лева? — обратился он к Славину. — В конце концов это уже не яч-каша, а пицца богов». Мы немного повеселели. К счастью, у фотографа оказались

Неувдаешине дожди,  
 сияющий свет сияющий,  
 вечер и пожар, а ночью  
 Ваше имя, корючее как  
 расщепленный меч. В торговле  
 Ваши пальцы и говорят  
 торговлю и ритмику:  
 - Хлеб тоже кошкой, это  
 все равно так же зовут.  
 А Вы называетесь Аи и  
 что сияющий Ваш короче!  
 Но Вы подождали руку и  
 свои намерения сразу и это  
 не смел, и дороги свои  
 знаки, это плечи и

это все пережить в аэрозоль,  
 вечер, пожар, это и торговля  
 А просят к Аи аматоры  
 и чужим хлеб. Немного  
 аловитного парена, дожди  
 иступают по всей линии,  
 если осуждают деревья из  
 неба и парк нападении  
 иней рукав сокка и ритмика.  
 Это слово сам. Во время  
 Бога, какой шажок  
 Так всегда. Вураг покуда  
 завернуло и круглый предмет  
 глау, сияет до этого  
 слово и чаша мысли. И гово-  
 рить не ушакал, выбити  
 варт все, когда единично и  
 завернуло руку.

кусок солонины, банка соленых огурцов и  
 кофе. За столом Ильф торжественно вы-  
 таскил из кармана темную бутылку и ска-  
 зал, что в ней старое вино — разлива про-  
 шлого столетия. Ильф осторожно откупил  
 ее и с таинственным видом налил в  
 стаканы из зеленого бутылочного стекла  
 каждому немного вина. Его хватило на один  
 раз. Единственный тост прозвучал в тот ве-  
 чер за нашим столом. Он был лаконичен  
 и выразителен. «Так выпьем же за рас-  
 стояние, которое остается между губами и  
 чашей», — сказал Ильф, и, чокнувшись  
 стаканами, мы выпили.

Не знаю, какого года разлива было дей-  
 ствительно это вино, но, кажется, и

сейчас я помню его вкус, тягучий и терп-  
 кий.

Письмо заканчивается словами: «Так я  
 думаю о Вас в промежутках между крово-  
 смещениями Катюля Мендеса, трагическими  
 любовями Гамсуна и ошибками и тайнами  
 Теодора Амедея Гофмана. Пребываю в неж-  
 ном Вашем дыхании. Иля, Вам преданный  
 и верный».

### Письмо второе

Летом Ильф неожиданно получил на ра-  
 боте путевку в дом отдыха на Хаджибеев-  
 ском лимане. Целебные свойства лиманной  
 грязи привлекали туда желающих поле-

читься. Случилось так, что в срок его пребывания в доме отдыха находились преимущественно женщины, и Ильф оказался там чуть ли не единственным мужчиной. По этому поводу он написал нам веселое и остроумное письмо. Может быть, сегодня оно покажется кому-нибудь недостаточно пристойным, тем более что оно адресовано молодым девушкам, но у нас в юности был свой критерий приличного и неприличного. По молчаливому уговору пошлый анекдот, двусмысленные остроты и плоские шутки воспринимались как плохая литература, считались неприличными и были начисто изгнаны из нашего обихода. Письмо Ильфа не могло оскорбить нас. Мы понимали, что свойственная ему и в устной речи словесная гиперболочность, образное преувеличение событий и отношений к ним понадобились ему в этом письме, чтобы сильнее заострить забавную ситуацию, в которую он попал. Великолепный язык, которым оно было написано, совсем очищал письмо от кажущихся непристойностей и натуралистического правдоподобия. Образцом литературного стиля и вкуса молодого Ильфа было это письмо, которое начиналось обращением:

«Нежные и удивительные! Желание временной женщины, чувство странное и неукротимое овладело мною, моими внутренностями и мыслями, это желание лизнуть кого-нибудь из тех, что ходят здесь обугленными и просоленными. Но лизать всех невозможно, лизать же одних, отдавая им предпочтение перед другими, — неудобно. В желании проходит день и лето, обреченное любви, славе и толстым женщинам, которые иступленно хотят у меня стеного прибора для измерения чувств. Я привез с собой свое черное сердце и палладиум семейной чистоты и невинности. Глупый и немой садовник, среди разъяренных благочестивыми псалмами монахинь, я принес себя в жертву. Он никогда не поднимется больше, ртутный столбик моего прибора для измерения чувств. Мне остались только поцелуи и мое черное сердце. Что же касается до семейного палладиума чистоты и невинности, то он утерян. Новый поэт, соединив в себе достоинства Гомера и Банделло, в свое время расскажет историю этой пропажи. Это будет забавно и торжественно. Все дело в толстых женщинах, плохо и поспешно воспитанных на ускоренном губузе, оборудованных трагическим профилем и злоупотребляющих привычками героев. Истинному герою необходимо восхваление своих подвигов народом. Он требует у него криков и кликов, и народ

послушно дает их. От меня тоже требовали кликов, по ночам я ревностно кричал, и все священный признак моей мужественности превращен в орудие домашнего и частого обихода. От этого гибли Империи, и я тоже погиб, как погибали Государства и Нации, — от чрезмерного напряжения сил в крайнего изнурения.

Вот почему мне остались только поцелуи: наблюдения за летящими звездами, лиманная помойница и три сестры, джигитующие на моих, увы, уже безвредных коленях. И еще остались сны».

В письмах, как и в разговорах, Ильф часто вспоминал свои сны. Не было ясно, снились ли они ему действительно или он их придумывал. Прибегал он к этому приему, когда это касалось его личных переживаний и чувств. Очевидно, так ему, по природе скрытному и застенчивому, было легче спрятать то, что никогда бы не рассказал он прямо и лично от себя и о себе. И в этом письме он дальше пишет:

«Ночь обводит стенами смутных комнат, подкладывает под ноги мягкий асфальт, вывешивает неверную луну, и, когда она в первый раз привела сны, мчалась звездная стая, сердце моталось и билось, как взбунтовавшиеся часы, меня целовали в губы, это была она и ее внимательные глаза. И во сне вспомнил, что ей нравились войны: «Ведь пушки дышали розами, клубами алых и чайных», — вспомнил весеннюю холодную ночь, единственную и последнюю паровоз, зло кричавший, ее, в любви и слезах, и себя, выходявшего в темноту плакать и жаловаться. Сон кончился в звоне, смятении уходящих поездов и в плеске отплывающих пароходов».

Как всегда, словно пугаясь откровенного разговора, не желая выглядеть слишком чувствительным, он и в этом письме, неожиданно уже совсем другими словами, резкими и контрастными, переходит к сатирическому изображению того, что его окружало. Необычайное своеобразие его личности и заключалось в столкновении и сочетании высокого и низкого, тонкой лирики и едкой сатиры. Он заканчивает письмо:

«А проснулся — и небо пустынно, как бильярд, лишенный шаров, унесенных любителями слоновой кости, а мимо ходят толстые погубительницы моей чести и проходят сверкая ребрами и сорокалетним стажем невинности, тощие девы, сверху валится солнце, тишина, пространство и птичий помет. Этот день, он несет преувеличенную лень, вкусный табак, любовные сти-

Пушкина, дары моему ошеломленному залудку и шумящие и нежные битвы Асева, где... «от дыханий пушечных бежали по небу розы». Эти пушки и розы соединяет день и сон, и глаза покачнулись, и день идет, как сон. «И это надо так, чтоб сучились к свече преданья коридоров».

Это моя жизнь в климате милом и приятном.

В этот город, великолепный и злой, где остались Вы, я эвакуирую себя скоро. Имя, Ваш преданный и верный».

### Письмо последнее

Шел 1922 год. Блокированная страна, разгромив и выгнав интервентов, боролась с разрухой и голодом. Жизнь в Одессе была суровой, совсем замерла в ней и литературная жизнь. Давно закрылись кафе поэтов «Пеон четвертый» и «Меблированный остров». Не было бумаги, в одесских газетах еле хватало места для сводок с трудового фронта и важнейших международных новостей, и они редко могли печатать художественные произведения. Сократилась работа в ЮГРОСТА, которую долгое время предоставлял литераторам и художникам замечательный человек и великий поэт В. Нарбут, заведовавший одесским отделением. Из-за отсутствия топлива и света редко устраивались литературные вечера в университете и рабочих клубах, которых тогда было немного. Негде было печататься, негде было прочесть новые работы, и литераторы поспешно уезжали из Одессы. Ильф, как и остальные, тоже собрался в Москву, но тяжелое материальное положение семьи не сразу позволило ему сделать это. Почти каждый день мы провожали кого-нибудь из друзей, и Ильф неизменно напутствовал их своей любимой фразой: «Да пребудет с вами буйство, нежность и путешествия!»

Мы возвращались с ним с вокзала и долго бродили по вечерней Одессе. Сейчас в нем трудно было бы узнать остроумного блестящего рассказчика и собеседника. Он был сосредоточен и молчалив. Ему не хотелось возвращаться домой, где недавно умерла мать и оставался больной отец с младшим сыном, которого Ильф очень любил и в веселые минуты называл не иначе, как «Мой младший брат Бенжамен или просто Веня».

У меня дома было тоже темно и холодно, и мы молча шагали по многочисленным приморским переулкам и улочкам, пересекали Александровский парк с вековыми де-

ревьями и заброшенный городской сквер. «Хороший собеседник тот, кто умеет не только красноречиво говорить, но и не менее красноречиво молчать», — часто говорил Ильф, и в этот вечер молчание нас не тяготило. Мы забрели на Николаевский бульвар, находившийся в центре города. Неожиданно мимо нас проехали пожарные, свернув в Театральный переулок, граничащий с бульваром. Мы последовали за ними. В этот узенький уютный переулок, выложенный, как изразцами, одесским плитняком, кроме фасадов богатых особняков, теперь занятых моряками Черноморского флота, выходили подсобные помещения и служебный ход Одесского оперного театра. Приезд пожарных привлек много народу. Узкая горловина переулка была до отказа набита людьми, и колеблющееся пламя над какой-то из крыш придавало их лицам зловещую окраску. Так и не узнав, что загорелось, мы вернулись на бульвар. Внизу синело море и лежал мертвый порт.

...«А пистолет в руке лишь свечка, упала голова седая, упало зеркало все в трещинах...» Так, кажется, у вас?» Ильф прочел строчки моего стихотворения «Пиковая дама», которое я читала только Багрицкому, и тот разругал его концовку. «Не надо», — запротестовала я, но Ильф продолжил последнюю строчку: «И льется голубая кровь из ее лайковой перчатки». Он усмехнулся: «Красивее не скажешь». — «Да, это, наверное, очень плохо», — с трудом выдавила я из себя. «Я сказал именно то, что сказал, — прервал он меня. — На окраинах (Ильф всегда называл так район, в котором жили мы с подругой) утверждают, что вы больше не пишете. Но у вас же есть стихи, ну вот хотя бы о памятнике Пушкину: «Их, влюбленных в полночное небо, полюбивших звездную быстрь, с их помостов в такую небель смуглый ведет лицеист». Он явно хотел утешить меня и прочел стихотворение целиком, а запоминал он только то, что ему нравилось, и мне стало легче. «Простите, я не поблагодарил вас за книги (речь шла о подаренных ему гравюрах французских художников и книге Назона «Наука любить»). Они великолепны. Овидий учит терпению и терпимости, а Домье и Гаварни трагичны в своей кажущейся несерьезности. Спасибо». Он стал разговорчивей к концу нашей прогулки. «Одессу покидают все — всем нужна работа, любовь, поездки... Буйство, нежность, путешествия...» — повторил он несколько раз. Потом неожиданно спросил: «Да, на окраинах еще утверждают, что вы тоже хотите покинуть этот город, этот мертвый Брюгге?» —

Он махнул рукой в сторону порта и выжидательно посмотрел на меня. Я действительно собиралась ненадолго в Ленинград и подтвердила это. Он опять замолчал на всю длинную дорогу до моего дома. На этот раз обоюдное наше молчание было не легким.

Накануне моего отъезда, который наступил через несколько дней после нашей последней прогулки, Ильф вручил мне маленький пакетик. В нем оказалась хрустальная печатка с двенадцатью гранями, на каждой из граней было вырезано по знаку зодиака. К печатке было приложено письмо. Вот оно полностью, это печальное письмо загрустившего человека, расстающегося с другом:

«Мой мощный друг! Уезжают на север и направляются к югу, восток привлекает многих, между тем как некоторые стремятся к западу. И есть еще такие, о которых ничего не известно. Они приходят, говорят прощайте и исчезают. Их след — на-

Не часто встречаешь в жизни людей, которые так преданно и так вдохновенно любят и понимают литературу, как любила и понимала ее Тая Григорьевна Лншина. Бывает «абсолютный слух» у музыкантов. Тая Григорьевна обладала «абсолютным слухом» по отношению к поэзии, к слову. Общение с ней, вся ее личность — безошибочный вкус, ум, широчайшая культура, высокое благородство, беспредельная скромность в сочетании с редкой властной способностью утверждать в тебе веру в твои собственные возможности — как это было важно для нас, как много!..

Она не состояла в секции критики, не выступала со статьями в печати. В продолжение многих лет работала в ленинградском отделении Союза писателей — консультировала тех, кто обращался в союз с просьбой помочь устроить встречу с писателем, организовать вечер поэзии. Она постоянно бывала на наших выступлениях — в студенческих клубах и на

дорванная страница книги, иногда слово, забываемое и доброе, и ничего больше. Я снова продан, и на этот раз Вами, и о чем мне писать, если не писать все о том же? Неувядаемые дожди, сигнальный свет молний, вечер и пожар, а ночью Ваше имя, короткое, как римский меч. Я трогаю Ваши пальцы и говорю торопливо и хрипло: Хлоя или Помпей, это все равно. Так ее зовут. А Вы называетесь Ан, и что может быть короче? Но Вы подымаете руку, и снег налетает сразу, и это не снег, а дорожные мне знаки, это пчелы, и все переputывается: вечер, пожар, свеча и перчатка. Я просыпаюсь к «Ar samatoria» и черному хлебу. Нет больше оловянного потопа, дожди отступают по всей линии, мне остаются деревья из пепла и парк, наполненный рукоплесканиями. Это снова сон. Во имя Бога, какая жизнь! Так всегда. Ждать, откуда завертится круглый птичий глаз, молчать до этого, молчать после и говорить не умолякая, выбалтывать все, пока сдвинется и возвращается круг. Иля».

заводах, в школах, в библиотеках, поддерживала связь с тысячами людей и знала, как воспринимается каждая наша строка!

С горечью произносим мы эти слова: «знала», «была»... Тая Григорьевна скончалась 15 марта 1968 года, не дожив до выхода этой книги, где печатается ее воспоминание о пенсене, звучавшей в первые революционные годы в Одессе, в кругу молодых в ту пору Эдуарда Багрицкого, Ильи Ильфа, Юрия Олеши...

Всю жизнь Тая Григорьевна оставалась верной этой далекой поре, этой талантливой молодости, полной романтики, поэтической отваги и влюбленности в революцию.

Всеволод Азаров.  
Ираклий Андроников.  
Сергей Бондарин.  
Даниил Гранин.  
Александр Розен.

Н. Ф. Андреев

## Нечто о Н. В. Гоголе

Первый биограф Н. В. Гоголя П. А. Кулиш, рассказывая о последних годах жизни Гоголя, создавал образ уставшего, мрачного, «погруженного в себя человека». К сожалению, общий тон Кулиша при изображении Гоголя в последние годы жизни, сохранился во многих биографиях писателя вплоть до настоящего времени.

Автор публикуемых воспоминаний Андреев Николай Федорович (1795—1864) — помещик Тульской губернии, отставной артиллерийский офицер, писатель-краевед, очень начитанный — показывает другого Гоголя: общительного, разговорчивого, добродушного, шутиwego. Воспоминания Н. Ф. Андреева написаны ярко, со многими подробностями, да к тому же, вскоре после встречи с Гоголем, и от них можно ожидать большей точности, чем от написанных много позднее, тем более что автор относится к точности мемуаров с большой серьезностью, понимает необходимость их критической проверки и стремится «к одной цели — добросовестности».

Воспоминания Н. Ф. Андреева, напечатанные единственной раз в малоизвестных «Тульских губернских ведомостях» в 1855 году, забыты совершенно. Их нет ни в одном из общедоступных сборников мемуаров о Гоголе, даже у В. В. Каллаша и В. В. Вересаева, ни в ряде библиографических указателей, даже таких новых, как «История русской литературы XIX века» (1962); не использованы они и в биографиях Гоголя, начиная с первых — у А. Кулиша и В. И. Шенрока и кончая последними — Ю. Гаецкого, Н. Л. Степанова и др.

Биография Гоголя не очень богата точными данными, воспоминания Андреева позволяют установить еще одну дату. Гоголь и Андреев встретились в Туле, когда Гоголь ехал в Москву летом 1851 года. В Москву он приехал во вторник 5 июля. Андреев отмечает, что встреча его с Гоголем произошла в понедельник. Следовательно, Гоголь был в Туле в понедельник 4 июля, и эта новая дата теперь войдет в летопись его жизни.

Публикация подготовила  
Е. Смирнова-Чикина.

Внимательно читая русские наши журналы и газеты (от доски до доски), мы время от времени находим в них много недосмотров, очевидных ошибок и немало важных погрешностей, происшедших, вероятно, от спешной, срочной работы. (Мы отнюдь не обвиняем редакторов... Боже нас сохрани обвинять редакторов!) Скажут: авторские промахи легко заметить; согласны, но если эти промахи так рельефны, то почему же и не заметить их, имея одну благонамеренную цель — добросовестность; почему не указать на них сочинителю, который, издавая в свет свои произведения отдельною книгою, может исправить то, что действительно оказалось несправедливым, утрированным? Кто без греха, а литературные грехи невесть беда какая. Он описался, обмолвился во всеулышание, как иной говорун оговорится: ему заметят его описку, его обмолвку — и конец этой истории. Продолжительная полемика нынче не в моде. Мы думаем, что из суммы достоверных сведений получают данные. Вы, например, напечатали биографический очерк известного писателя... Позвольте у вас спросить: отколы вы заимствовали ваши о нем сведения? Вы, положим, будете отвечать: я так слышал! Но вам могут возразить русским словом: «Не всякому слуху верьте». Мало ли что говорят! «На чужой роток не накинешь платок», — гласит другая русская поговорка. Из этого следует, что при составлении биографий надобно руководствоваться осторожностью. Осторожность — дочь благоразумия. Приступая к заметкам и мелочам литературным, мы далеки от мысли затронуть, огорчить авторское самолюбие (которого, заметим в скобках, ничего не может быть раздражительнее), напротив, мы надеемся (и не шутя это говорим) заслужить от авторов разбираемых нами статей небольшую благодарность. Заслуга за заслугу. «Укоряющие нас более приносят нам пользы, нежели те, которые нам льстят», — сказал кто-то, не помним, из древних писателей.

Итак, начнем с «Московских ведомостей» как старшей газеты на Руси, газеты, читаемой всеми званиями и на всем пространстве необозримого нашего отечества. В прошлом, 1852 году (№ 124, см. литер. отдел) напечатана была довольно любопытная статья, принадлежащая перу г. Данилевского<sup>1</sup>. Многие биографические подробности этой статьи о Н. В. Гоголе написаны прекрасно, местами даже увлекательно, и мы от души благодарили редактора «Московских ведомостей» за по-

мещине статьи г. Данилевского. Кто не согласится, что незабвенный Н. В. Гоголь составлял в нашей литературе одно из светил первой величины? Следовательно, каждый момент, каждая черта из его кратковременной жизни драгоценна для почитателей столь редкого таланта...

В упомянутой статье г. Данилевский, по-видимому, желал только придать интерес описанному им хутору и свои предположения и впечатления выдал нам за несомненную былинку, что дело идет о материалах для будущей истории русской литературы. Биография кого бы то ни было не требует никаких излишних украшений, риторической обстановки, а тем менее гадательных предположений.

«Осенью прошлого года (1850), — говорит г. Данилевский, — он (Гоголь) было опять поехал на хутор, к свадьбе своей сестры; но по причине болезни вынужден был остановиться в Туле, провести несколько времени в близлежащем монастыре, а потом приехал обратно в Москву».

Если вам угодно, то событие, о котором рассказывает биограф, само по себе мало важно, ибо что из того следует, что Н. В. Гоголь, приехав в Тулу, заболел и, прорадав несколько времени в каком-то близлежащем монастыре, возвратился в Москву? Решительно ничего потому, что все это взятое вместе, если бы и действительно было, ничего не доказывает, ничего не объясняет. Не бросает яркого отблеска на литературные произведения покойного, не обрисовывает его характера. Словом, этот маленький эпизод одни слова, слова.

Нижеподписавшийся свидетельствует, что такого события никогда не было потому, что сам покойный Н. В. Гоголь говорил нижеподписавшемуся, что «Тула, может статься, его знает, но он с Тулою не знаком». Он жалел о том, что обстоятельства не позволили ему осмотреть наш славный оружейный завод. «Сколько раз, проезжая ваш город, говорил нам Н. В. Гоголь, я не выберу времени посмотреть, что делается на вашем оружейном заводе, едва ли не лучшем, как уверяли меня, во всей Европе». Так, или почти так, говорил нам Н. В. Гоголь, с которым мы... Но об этом речь будет впереди.

Г. Данилевский положительно утверждает, что Н. В. Гоголь, по причине болезни, «принужден был остановиться в Туле»... Всем и каждому известно, что Гоголь действительно страдал хроническим недугом (от которого это литературное созвездие угасло), но он в Туле всегда оста-

навливался только для перемены почтовых лошадей, или во время обеда, ужина, или когда пил чай, кофе. Но Гоголь никогда не проживал ни в Туле, ни в ее окрестностях одного дня. «Мне никогда не удавалось пробыть в Туле более двух, много трех часов», — говорил нам знаменитый путешественник. А г. Данилевский, получив сведения из неверных источников, рассказывает, что Гоголь, напротив, «провел несколько времени в близ лежащем (от Тулы) монастыре». С того начать, что никаких монастырей близ Тулы нет и никогда не существовало. У нас в городе находится одна иноческая обитель, и то женская, а мужская упразднена еще в 1764 году. Мы, кажется, доказали, что Н. В. Гоголь не мог прожить в близлежащем монастыре от Тулы несколько дней потому, что монастыря нет ни в ближайших, ни в дальних окрестностях нашего города.

Напротив, в «Современнике» (см. № 4 1854 г.) господин Николай М.<sup>2</sup> рассказывает об одной и той же поездке из Москвы Н. В. Гоголя совсем иначе. Почтенный биограф, изучив свой предмет, как кажется, довольно основательно, говорит, что Н. В. Гоголь поехал из Москвы к сестре на свадьбу\*, но близ Калуги заболел, остановился в «Оптиной пустыне», где и провел несколько дней. Потом, находясь под влиянием грустных ощущений, продолжал путь свой на родину. Вот это дело другое. Словом, обширная и во многом удовлетворительная статья г. Николая М., напечатанная в «Современнике», заслуживает безусловного доверия относительно своих выводов; ибо факты ее — не сомнительны, между тем как известие г. Данилевского, к сожалению, оказывается несправедливым.

Статья г. Данилевского пробудила в нас грустные и вместе приятные воспоминания о знакомстве нашем с покойным Н. В. Гоголем. Кстати, или не кстати, расскажем здесь (как утерпеть!) благосклонному читателю (мы не льстим) о первой и последней встрече нашей с бессмертным творцом «Мертвых душ» (создании, которое мы не признаем, впрочем, за поэму, а сочинителя ее за второго Гомера, но о котором, как носят слухи, до сих пор жалеют друзья и недруги его).

\* Вероятно, Г. Покровский (см. «Московитянин» 1853 и 1854 годов) заметил, что говорится и, следовательно, пишется. — поехал куда? На свадьбу, а не к свадьбе. Это слово произошло от глагола «сватать», «сватать», следовательно, вместо буквы «д» надлежит писать «т». (Примечание Н. Ф. Андреева.)

Постоянно живши в поместье нашем, селе Торхове (счастлирое время!), лежащем на тринадцатой версте от Тулы, мы также постоянно приезжали в город по делам: един только дела вызывали нас из мирного нашего убежища...

В одну из таких поездок — то было лето в 1851 году, по обыкновению, в понедельник были в Туле и, окончив бесконечные дела наши, отправились обедать в Петербургскую ресторацию, которую с незапамятных времен содержит тульский гражданин В. К. М. . . . . из, гражданин, уже чрезвычайно бойкого, светлого, проницательного... Словом — это наш Излер!.. Итак мы, окончив дела, говорим, явились в сказанную гостиницу. (Увы! теперь мы являем и о конченных делах наших, сданных уже в архив... Таков человек!)

Невольно вспоминается глубоководная знаменательный стих поэта:

А старой нам печали жаль! <sup>5</sup>

В общем зале, куда мы вошли, один-единственный расхаживал из угла в угол проезжающий, которого экипаж без лошадей стоял у подъезда упомянутой нами гостиницы.

Проезжающий на вид имел лет около сорока (так с первого взгляда показался он нам), среднего роста, белокурый и вообще чертателность лица довольно схожая с портретом, приложенным к одной из книг «Москвитянина», кажется, 1842 года <sup>6</sup>. Тогда нам и в голову не приходило вспомнить об этом портрете; но, рассматривая лицо проезжающего, убеждались в том, что где-то его видали; все в нем было что-то знакомое, и мы глядели на безмолвного собеседника нашего с удвоенным вниманием. (Это он заметил, как мы узнали после от него.) Захватив мимоходом листок, лежавший на длинном столе, мы сели на стул, стоявший в амбразуре окна, обращенного к крепости; потом взглянули в листок, на котором написаны были названия яств. Мы отметили карандашом, что хотелось нам есть, отдали карту обеда служителю и — закурили сигару. Проезжающий продолжал ходить по зале, мы продолжали курить и оба молчали. Этот господин, думали мы, удивительно как похож на кого-то, но не того именно, мы не могли отдать себе в том удовлетворительного отчета. Значит, речь о портрете мелькала в нашей памяти и мгновенно уносилась, как мечта, в безграничную область воображения... «Одни люди, — говорит Мармье <sup>7</sup>, — иногда са-

мые превозносимые, не пробуждают в нас никакого симпатичного чувства, другие, о которых не слышали, с которыми встретились случайно, увлекают нас с первого взгляда каким-то неизъяснимым очарованием. Мы чувствуем, как наш взор мирно покоится на них; как наша душа, при других сжатая, отворяется здесь, чтобы пройтись в сладостной откровенности самые веселые свои мысли». Заложив руки за спину и ходив крупными шагами по комнате, незнакомец начинал и сам бросать на нас неумовимые взгляды; иногда он останавливался, смотрел на ехавшие по улице экипажи, стирал фулярным платком пыль с своего лица и опять продолжал ходить. Ни один проезжающий и не один служитель во все это время не беспокоили нас — мы остались одни...

Наконец на соборной колокольне ударило три часа, через пять минут и столовые часы, стоящие в зале, пробили три часа пополудни.

— Пора обедать! — сказал собеседник наш служителю, который в это время принес в обеих руках две маленькие фаянсовые мисы с горячим супом.

— Все готово, извольте кушать, — отвечал расторопный служитель, принимая от мальчика две тарелки с пирожками и помещая их на стол близ двух приборов, назначенных один для проезжающего, а другой для нас.

Мы оба подошли к столу и сели один против другого.

— Я всю ночь ехал, не останавливаясь, — сказал незнакомец, доверчиво обращаясь к нам, — и это, может быть, возбуждало порядочный аппетит, что со мною бывает очень редко.

— Вы едете в Москву? Откуда? — спросили мы его с каким-то неведомым, смутным чувством боязни.

— В Москву, из Полтавской губернии, и, если хотите, из Миргородского уезда, — отвечал приезжающий, кушая суп и держа в левой руке пирожок с очевидным намерением не оставить от него ни кусочка.

Слова незнакомца «Миргородского уезда» чуть-чуть не навели нас на мысль о городе, в котором когда-то будто бы происходили прелестные сцены, так превосходно описанные в сочинении, известном под этим названием. Само собою разумеется, что тогда мы вспомнили бы и о портрете, о котором выше упоминали, но мысль о Миргороде, мелькнувшая в голове нашей,



опять улетела в то мгновение, когда проезжающий спросил нас:

— А вы здешние, туляне, или такие, как и я, приехали из уезда дальней губернии?

— Да, мы из поместья, верст за тринадцать, — отвечали мы со всевозможной учтивостью.

— Такое близкое расстояние от города дает вам возможность вместо прогулки часто бывать в Туле, — продолжал незнакомец.

— Согласны, что летом прогулка в деревне имеет истинное наслаждение, но позволите вам доложить, прогуливаться против своего желания каждую неделю два раза за тринадцать верст, и притом по чрезвычайно дурной дороге, — это, воля ваша, тяжелое наказание, мука: это то же, что читать несколько раз одну и ту же скучную, пошлую книгу...

Незнакомец внимательно посмотрел на нас, несколько нахмурился, но через секунду лицо его опять прояснилось, и он сказал:

— Жалею, что ваше поместье лежит не на шоссе... — и прибавил после короткой паузы: — Я имею порядочное понятие о хороших и в особенности о плохих дорогах... Действительно, последние хоть кого выведут из терпения.

Несмотря на эту учтивость, мы благодаря нашей наблюдательности заметили, что сравнение наше дурных дорог со скучными книгами не нравится собеседнику нашему. Быть может, подумали мы, что он любитель книг, библиоман, собирающий повсюду редкие издания. Опять догадка наша довольно близко подходила к истине.

Разговаривая таким образом, мы уничтожили наши порции супа с омлетом и принялись за духовую говядину, как названа она была на карте, хотя в говядине не оказалось никакого запаха. Вошел служитель проезжающего<sup>8</sup>, поставил на стол бутылку хересу, которого налицо было немного более половины. Вслед за служителем явился мальчуган из книжной лавки с озабоченным видом. Положив на стол «Отечественные записки», мальчуган сообщил нам важную весть, а именно, что этот превосходный журнал... «прислан к нам хозяином его...»<sup>9</sup>.

Собеседник наш, казалось, не замечал лежавшего журнала на столе, что и подало нам повод думать о нем совсем противное тому, что прежде мы думали. Он предложил нам выпить с ним рюмку хересу.

— Это подирешительный, — проговорил

он шутливым тоном, наливая в рюмку вино. — Так по крайней мере называют его в Харькове, где я приобрел столь редкую драгоценность, которая, в сущности, есть не что иное, как весьма обыкновенный херес.

Странная вещь! Люди с неизмеримо высоким дарованием, с огромными сведениями (сколько раз удавалось нам быть тому очевидными свидетелями) всегда уклоняются от дельного, умного, серьезного разговора с теми, которых они все не знают. Видно, правда, что «человеческая природа, когда брать ее гуртом, — горда, себялюбива». Исключения редки, и к таким отпадным исключениям принадлежал наш собеседник. Он рассказывал нам о далеких своих странствованиях: о Риме, Неаполе, Генуэ, Пизе, Флоренции, Венеции... Слова текли рекою. Мы слушали его с возрастающим вниманием. Начитавшись всевозможных и даже невозможных путешествий, мы иногда осмеливались не согласиться с ним, противоречить ему, но снисходительный незнакомец объяснял дело так ясно и с такой любезностью, с таким добродушием, что мы невольно принимали его светлые замечания за несомненную истину. Мы говорили мало, но когда говорили, то высказывались нараспашку. «Есть благородные люди, — пишет, кажется, Бурьен<sup>10</sup>, — способные понимать и разделять все наши мысли, все наши воображения: им желаешь поверить все тайны сердца, все доброе и прекрасное». Замечательно, что собеседник наш во все продолжение своего рассказа о путешествии своем по чужим краям ни разу не упомянул о литературе, между тем как после он только и говорил об одной литературе (смотри ниже).

После обеда нам подали кофе, мы закурили сигары. Время летело, было уже около пяти часов. Тучи, гонимые юго-восточным ветром, корсарами носились по серому небу; накрапывал крупный, но редкий дождь, и мы спешили оставить город прежде разгула непогоды. Между тем в коридоре раздался шум, топанье, как будто целый кавалерийский взвод ворвался в почтовую гостиницу и ведет атаку на общую залу. Дверь из коридора растворилась, и к нам нахлынула полдюжины голодных путешественников, приехавших в дилижансах. Они все потребовали обедать.

— Живей! Проворнее! — кричала нетерпеливая молодежь, снимая с себя плащи, пальто и пальто-саки, а рейзе-саки и фуражки побросала она на диван и столики, стоящие перед зеркалами.

Все пришло в движение! Служители зашумелись, забегали, посуда зазвенела, двери захлопали; буфетчик (Степан), один из отличнейших буфетчиков во всей средней полосе России, находясь за своим прилавком, бросался за графинами и легкой закуской из шкафа в шкаф так ловко, с такой быстротой и энергией, что надобно было удивляться, как он вдребезги не перебьет своего хрустала и фаянса; как он не отхватит себе всех четырех пальцев на левой руке острым ножом, которым акробатически резал хлеб, икру и сыр!..

— Прощайте! Нам пора ехать, — сказали мы, кланяясь и подходя к тому, с кем обедали.

Он встал со стула, на котором сидел, протянул руку с особенною вежливостью и отвечал:

— До приятного свидания; прощайте! прощайте!

Казалось, он хотел что-то еще сказать, но молчал, держа нашу руку в своей руке с искренним радушием.

Бросив прощальный взгляд на незнакомца, мы пошли «бесшумною стопою» в галантерейный магазин, примыкающий к коридору, с намерением взять покупку нашу, сделанную еще до обеда, как вдруг слышим, что нас громко называют по имени и отчеству. Оглянувшись, мы увидели служителя гостиницы (Осипа), безавшего за нами: он просил нас возвратиться. Собеседник наш стоял на конце коридора, у открытой двери залы, и, когда мы подошли к нему, полные недоумения, он сказал:

— Извините, что я обеспокоил вас: желаю знать, с кем я имел удовольствие обежать?

Мы сказали ему нашу фамилию.

— А моя фамилия Гоголь... Слышали вы о таком прозвище?

Надобно знать, что у нас в Туле незадолго до того служил полицеймейстером однофамилец его, и мы вместо ответа обменялись с ним вопросами.

— Наш бывший полицеймейстер родня вам?

— Может быть, дальний родственник, не знаю... Меня зовут Николай Васильевич...

Торжественный момент в нашей жизни! Тогда мы вспомнили о портрете, который олицетворился, вышел из рамы, как живой... Н. В. Гоголь стоял перед нами с улыбкою, которой мы не умеем назвать, но значение ее мы хорошо понимали.

Проникнутые необыкновенным воодушевлением:

— Николай Васильевич! — вскричали мы вне себя от радости. — Так это вы, наш знаменитый писатель, честь и слава нашей литературы? Ура!..

Не отрицаем, что неумеренный наш возглас, конечно, далеко заходил за пределы позволительного; но так как мы, энтузиасты, всегда находимся под влиянием первых впечатлений, то, забывая все на свете приличия, обнаружили его по-военному, по-артиллерийски; а к рядам артиллеристов мы когда-то имели честь принадлежать.

Н. В. Гоголь взял нас под руку, как давнишнего знакомого, и сказал вполголоса, убедительным тоном и насмешливо улыбаясь:

— Тише, тише! Мы можем обратить на себя общее внимание.

— Так что же? — возразили мы, еще находясь под влиянием нашего восторга. — Пусть все узнают, что между нами, будничными людьми, находится один из величайших романтических гениев.

Сказав эту фразу, внушенную нам присутствием Н. В. Гоголя, который, если мы не ошибаемся, был тронут до глубины души нашей провинциальной бесцеремонностью, мы оба вошли в зал и заняли прежние места за столом.

Предлагаем вам, господа биографы Н. В. Гоголя, одну черту из жизни его или один случай в его многочисленных поездках, как угодно. Согласитесь, что все это обрисовывает характер Гоголя несравненно вернее собственноручных его записок, например, записки его к лавочнику. Мы думаем, что одни только случайные элементы движения души обнаруживают характер ощущений, а не обдуманное наше действия в обществе. То, о чем мы вам рассказали, заслуживает, по мнению нашему, некоторого размышления и соображения. Спрашивается: для чего Н. В. Гоголь, прощаясь с нами, не хотел узнать нашей фамилии, тогда как он это легко мог сделать? По всему видно, что он выжидал от нас того же; но мы не решились быть любопытными потому, что не имели права спрашивать у проезжающих, кто они такие...

Если то, что мы рассказали вам, читатель, требовало бы положительных доказательств, личных удостоверений, подкрепляющих наши слова, в таком случае нам оставалось бы одно средство — защищать нашу добросовестность свидетелями всей этой патетической сцены; а у нас ввиду «таковых» три налицо; следовательно, более нежели определяет закон в делах поважнее

того, о чем здесь идет речь. Будем продолжать наш правдивый рассказ.

Молодые путешественники, не занимаясь нашими объяснениями, один по одному ушли в бильярдную играть напролаз и пить допель-кюммель. Мы опять остались вдвоем. Мы могли бы украсить статью нашу блестящими мыслями, юмористическими очерками, оригинальным взглядом на периодические издания и другими прекраснейшими литературными вещами, выказанными знаменитым нашим собеседником (он был в самом веселом расположении духа, в ударе, как говорится); но, разбирая в наступающую минуту заметки, набросанные торопливою рукою в тот же вечер, в который мы расстались с ним, мы не решаемся украсить ими статьи нашей... Может быть, «покоившийся в саване своей славы», как выразился Жюль Жанен<sup>11</sup> о Байроне, не пожелал бы видеть в печати того, что говорилось им не для читающей публики... А жаль! Те, которые коротко знали его, уверились бы, что выдаваемое нами за гоголевское, никому не могло принадлежать, кроме Н. В. Гоголя.

Несмотря на то, что ненасытная наша жажда ловила каждую его мысль, каждое его выражение, но мы не имели физической возможности запомнить всего, что он говорил в течение четырех с лишком часов. Однако ж смеем вас уверить, главные положения рассказа от нас не ускользнули. мы уловили их. Мимоходом скажем, что мы имеем маленькую способность надолго сохранить в памяти чужие мысли, которые, однако ж, никогда не выдаем за свои. Умываем руки в литературном хищничестве.

И теперь, когда мы по какому-нибудь редкому случаю бываем в общей зале Петербургской гостиницы, глаза наши невольно ищут того места за столом, где он сидел, где ходил... в которое окошко наблюдал за нашею гражданскою деятельностью. Во все это мы влюбались, как Гофман влюблялся в неодушевленные предметы, с тою только разницею, что нас увлекает былое, действительное, а Гофман описывает фантастические образы, созданные собственным его воображением. В то время мечты теснятся в душе нашей, которые призывают великую тень усопшего стихами великого поэта:

Приди ж...  
Минувшею мне жизнью повеи;  
Побудь со мной, продли очарованье,  
Дай сладкого вкусить воспоминанья...

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Данилевский Г. П. (1829—1890) — автор исторических романов. В его статье «Хуторок близ Диканьки» было много ошибок.

<sup>2</sup> Статья г. Николая М\* — в «Современнике» в 1854 году печатался «Опыт биографии Н. В. Гоголя со включением до 40 его писем» П. А. Кулиша, скрывшего свое имя под псевдонимом «Николай М\*».

<sup>3</sup> В. К. М...н, тульский гражданин — Василий Константинович Мурзин, 2-й гильдии купец.

<sup>4</sup> «Наш Излер» — Андреев сравнивает Мурзина с И. И. Излером (+1877), который приобрел известность устройством увеселительных вечеров на минеральных водах в Петербурге.

<sup>5</sup> «А старой нам печали жаль!» — неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. VI, строфа XIV). Надо: «А старой мне печали жаль».

<sup>6</sup> Портрет Гоголя... — анварельный портрет работы А. А. Иванова в Риме в 1841 году, напечатанный в № 11 «Москвитянина» за 1843 год.

<sup>7</sup> Мармье Ксавье (1809—1892) — французский писатель и путешественник.

<sup>8</sup> Служитель Гоголя — подросток 14—16 лет Семен Григорьев, крепостной, дворовый человек М. И. Гоголя, из Васильевки. Он провел с Гоголем зиму 1851/52 года.

<sup>9</sup> «Журнал прислан... хозяином его» — видимо, П. И. Пантелеевым, владельцем лучшей в Туле книжной лавки.

<sup>10</sup> Бурьен Луи-Антуан (1769—1832) — секретарь Наполеона. Единственное его произведение: «Записка Бурьенна о Наполеоне, Директории, Консульстве, Империи и восшествии Бурьенов», перевод С. де Шаппета. Спб., 1831—1838.

<sup>11</sup> Жюль Жанен (1804—1874) — французский критик.

С. А. Розанова

## Забытые воспоминания о Герцене

Письма Д. В. Каншина  
к В. Г. Черткову

Удивительна судьба некоторых исторических документов. Минюта жандармов и цензура, они уходили в вольные русские заграничные издания. Шли годы, запретные издания становились библиографической редкостью, недоступной новым поколениям читателей, даже специалистам, и вот уже важный документ затерян, забыт... Вдруг его открывают снова, перепечатывают — и прочно забытое воскресает, становится хорошо известным.

В 1940 году в «Бюллетене Гослитмузея» (№ 6) появилось сообщение, что музей приобрел два письма Герцена к Д. В. Каншину и автограф его рукописи, начинавшейся словами: «Правда ли, что во время последнего денежного кризиса...» Это была статья о преступных махинациях придворного банкира барона Штиглица. На рукописи сохранилась надпись Герцена: «В конце Колокола» и «Если есть место». Статья о Штиглице действительно была напечатана в 10-м листе «Колокола» от 1 марта 1858 года.

Два письма Герцена и его статья были обнаружены в архиве единомышленника и друга Л. Н. Толстого — В. Г. Черткова, что позволило предположить существование каких-то неизвестных или «забытых» связей круга Герцена с кругом Л. Н. Толстого. Спустя десять лет Л. Барсукова опубликовала письма Герцена к Каншину («Звенья», т. VIII, 1950). Письма — одно из них датировано 7 июня 1858 года, а другое — 14 июня 1859 года — позволили установить, что Герцен был лично знаком со своим корреспондентом, который бывал у него в Лондоне, выполнял в Москве его поручения, получал нелегальным путем «Колокол». Л. Барсукова попыталась также выявить личность и восстановить биографию самого Каншина. Это было нелегко, ибо сведений о нем почти не сохранилось.

Д. В. Каншин (1829—1904) родился в семье откупщика, воспитывался в Александровском лицее, был, по-видимому, крупным дельцом, занимался литературно-публицистической дея-

тельностью. Л. Барсукова, а вслед за ней и комментаторы XXVI тома академического Собрания сочинений А. И. Герцена считают Каншина сотрудником «Отечественных записок». Нам не удалось, однако, найти его статей в этом журнале, не значится его имя и в соответствующих справочниках. Д. В. Каншин известен как автор двух трудов: «Опыт исследования экономического значения железных дорог» и «Энциклопедия питания», однако следовало бы проверить, не имел ли Д. В. Каншин «двойника»: обе книги сильно отличаются по своему характеру и области исследования. Автор работы «Опыт исследования экономического значения железных дорог» (СПб., Изд-во Академии наук, 1870), на титуле которого значится: «Родителям моим посвятил я сей труд», трактует промышленно-экономические проблемы, доказывает преимущество конных дорог перед паровыми (полагая, впрочем, что в России более нужны конно-железные дороги). Своим читателям автор сообщал, что краткое изложение работы в виде специальной записки подано военному министру. Такого рода книгу вполне мог написать дельец Каншин, бывавший за границей, заинтересованный в экономическом прогрессе. Другая книга Каншина трактует медицинско-гигиенические проблемы. Комментатор академического Собрания сочинений Герцена в разделе «Дополнения и поправки» приписал «Физиологию питания» упоминаемому Герценом в письме к И. С. Аксакову «доктору» (см. т. XXX, поправка к письму № 142)<sup>1</sup>.

С именем Каншина связано еще одно обстоятельство. Он привлекался по «Делу о сношениях с лондонскими пропагандистами».

М. К. Лемке в своей книге «Освободительное движение 60-х годов» на основании архивных материалов сообщал, что арестованный в 1862 году по делу 32-х чиновников особых поручений VI класса ведомства Государственного контролера маркиз Николай Александрович де Траверсе показал, что он в январе 1862 года посетил Герцена, с которым его тогда познакомил купец Д. В. Каншин. В другой своей работе, «Политические процессы в России в 1860-х годах», М. К. Лемке опубликовал тот список «злумышленников», который был составлен предателем В. И. Костомаровым и передан им в Третье отделение. В этом списке — критик А. В. Дружинин, литератор Н. А. Мельгунов, армяллерийский полковник П. Л. Лавров, Д. В. Каншин. Однако никаких дополнительных подробностей о причастности Каншина к крупнейшему политическому процессу 60-х годов не имелось. Теперь сам Каншин засвидетельствовал этот факт. В целом биография Каншина и сегодня остается не проясненной в своих главнейших моментах, не наполнена реальным содержанием и фактами. К сожалению, много еще неясного и в истории его отношений с Герценом. Известно, что в январе 1858 года Д. В. Каншин вместе со своей женой посетил Герцена, привез ему письмо от И. С. Аксакова. «Дружески благодарю вас за письмо, доставленное дамой и ее мужем», — писал Герцен в письме от 13 января 1858 года Аксакову. К этим же посетителям относятся строки в письме к М. Мейзенбуг: «Появились новые русские, и даже одна дама, которая в прошлом была очень красивой» (т. XXVI, стр. 154). С Каншиным после

<sup>1</sup> В дополнение это, к сожалению, вкралась опечатка, запутывающая и без того неясную проблему: вместо Д. В. Каншина в нем появился внезапно Д. И. Каншин.

этой встречи у Герцена устанавливаются деловые связи. С ним Герцен посылает образцы «Литографированных корреспонденций», издаваемых его лондонскими знакомыми Шлезингером и Кауфманом (для того, чтобы Аксаков мог в Москве их распространить, организовать подписку). «А отчего же никто не выписывает «Литографированные корреспонденции» Шлезингера и Кауфмана — у нашего приятеля есть образцы?» — спрашивал он Аксакова (там же, стр. 161). Нелегальные связи Герцена и Каншина, установившиеся в январе 1858 года, продолжались и позже. «Я очень усердно прошу вас доставить в Москву сухие листы, я бы охотно послал вторые, но не знаю, можно ли, — писал ему Герцен 7 июня 1858 года, — впрочем, если неверна оказия, то вы найдете их у вас... Нанищите мне, пожалуйста вам, что я пишу этим путем. Я всячески рекомендовал, но был бы очень рад, если бы вы мне подтвердили, что и впредь можно посылать» (там же, стр. 183).

Понятно, письма носят конспиративный характер и, видимо, связаны с распространением «Колокола» («сушеных листов») и с освоением каких-то новых путей для таких корреспонденций. Однако конкретного содержания тех поручений, что выполнял в Москве Каншин, мы пока, в сущности, не знаем.

В июне 1859 года «экспейер» (так именуется его Герцен) Каншин вновь приезжает в Лондон, останавливается в районе Сити и получает свою корреспонденцию через некоего Чобарта. Судя по письму, Герцен охотно соглашается принять Каншина у себя, а также захватить к нему. Он относится к приехавшему из России гостю как к человеку, в котором находит сочувствие к деятельности Вольной русской типографии, и в посланной коротенькой записке спрашивает: «Читали ли последний «Колокол» и 5-ю «Полярную звезду?» (т. XXVI, стр. 273). В этой книжке «Полярной звезды» печаталась глава «Было и дум», та часть, которая, по мнению самого автора, «смела по вводу за кулисы революционных движений», и поэтому ему очень хотелось «знать ее действительные» (там же, стр. 275). Каншин, по-видимому, привез Герцену письмо от Аксакова и захватил с собой ответные письма Герцена к Аксакову и Астраховым, а также еще какую-то книгу для них («Письмо Герцена к Аксакову от 17 (5) июня 1859 года»; см. т. XXVI, стр. 275).

Из показаний маркиза де Траверсе можно было сделать вывод, что в январе 1862 года он вместе с Каншиным был в Лондоне и они вместе посетили Герцена. Других сведений об этом свидании не имелось. Затем, очевидно напуганный разгулом реакции в России и преследованием тех, кто так или иначе был связан с Лондоном, Каншин прекращает свои старые связи. Герцен это знает и не без иронии пишет Огареву 18 мая 1869 года: «На таможенные в Бельгарде встретил (я его везде встречаю: в Лугане, в Лионе, в Марселе) Каншина, который без жены меня не боится — он пересел ко мне в вагон... Из Петербурга он уехал в конце апреля — едет прямо туда через Париж (пять ночей в вагоне), говорит, что в России больно плохо, а сам все богатеет» (т. XXX, ч. I, стр. 117).

Приведенными фактами недавно исчерпывалось все, что известно о сношениях издателя «Колокола» с одним из его корреспондентов. Но, к сожалению, и публикатор писем Герцена в «Звеньях» и комментаторы академического тридцатитомника Герцена упустили из виду важный эпизод, некогда известный, но забы-

тый, имеющий самое прямое отношение ко всей истории.

Через сорок лет после того, как Герцен писал Каншину, эти письма и некоторые другие материалы появились в другом русском вольном заграничном издании — «Листках Свободного Слова» (1901, № 23). (Автографы сохранились в архиве В. Г. Чертова и находятся в ЦГАЛИ.) Это был орган, издаваемый в Лондоне В. Г. Чертковым, где публиковались запрещенные в России статьи Л. Н. Толстого и корреспонденции, отличающие политику самодержавия. В. Г. Чертков поместил письма Каншина (выполняя его просьбу, анонимно под заглавием «Два письма Д. В. К. о Герцене») именно в издании, которому Л. Н. Толстой предъявлял требование: «Быстро и бойко, по-герценовски, по-журнальному писать о современных событиях»<sup>2</sup>. Факт публикации в «Листках» легко объясняет, почему автографы Искандера очутились в архиве В. Г. Чертова.

Однако публикация «Листков Свободного Слова» содержит и другие ценные для биографов Герцена сведения. Если «забытые» письма Герцена спустя полвека все же стали достоянием историков, то сопровождавшие их письма самого Каншина, кажется, совсем не исследовались. Между тем мы узнаем из них, что Каншин был в числе тех, кто материально субсидировал лондонское вольное слово; именно по информации Каншина была написана Герценом и опубликована заметка об отправке Штиглицем золота за границу (см. т. XIII, стр. 207). Письма Каншина подтверждают также показания де Траверсе: в январе 1862 года, вероятно, в самых первых числах, вскоре после того, как бежавший из сибирской ссылки М. А. Бакунин очутился в доме своего старого приятеля (он приехал 27 декабря 1861 года), Каншин вновь побывал у Герцена, общался с ним и с Бакуниным.

Эти затерявшиеся в недрах старого чертковского издания письма носят мемуарный характер. Достоверными и ценными представляются его воспоминания о встрече и разговоре с Герценом в театре, о передаче Каншину одного из первых изданий Вольной типографии — «Видения отца Кондратия»<sup>3</sup>.

Что касается самого Каншина, то мы узнаем из его писем, что он после смерти А. И. Герцена встречался с его сыном, известным ученым, что в старости он жил в Париже, разошелся и навсегда сохранил благоволение чувств к великому русскому революционеру. На зкате жизни он посылает последователям Л. Н. Толстого драгоценный дар — автографы Герцена. Он как бы подчеркивает этим преемственную связь последователей Герцена и Толстого. В какой мере был прав Каншин — вопрос особый. Однако рассматриваемый эпизод, без сомнения, является частью громадной и еще далеко не изученной литературно-исторической проблемы о связи и преемственности Герцена и Толстого.

<sup>2</sup> Л. Н. Толстой, Собр. соч. М., 1965, т. 18, стр. 260.

<sup>3</sup> Прокламация В. А. Энгельсона была напечатана отдельным листком в 1854 году и была одним из первых изданий Вольной русской типографии.

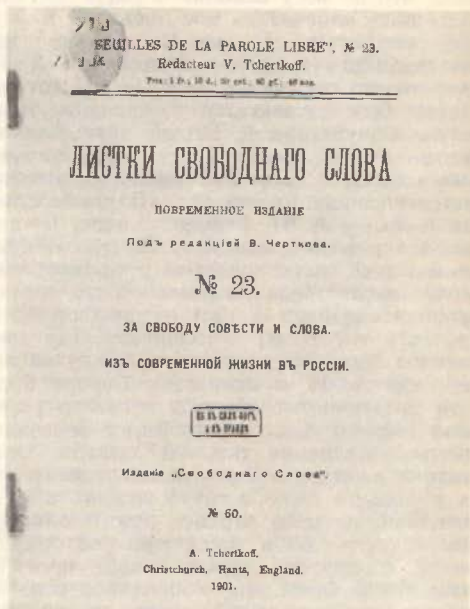
Париж, 5 июня 1901 г.

Глубокоуважаемый господин Чертков!

Преклонные годы мои вынуждают меня переслать Вам прилагаемое. Во время оно, когда покойный А. И. Герцен только что начал издавать свой «Колокол», он лично мне передал листок, явившийся первым, что было напечатано за границей русским шрифтом, и если память мне не изменяет, то листок «Второе видение отца Кондратия» был отпечатан на ручной типографии в Джерси Энгельсоном. Листок этот по праву должен быть сохраняем Вами как продолжателем русской свободной печати в Англии, как священная реликвия в память и назидание потомства. К этому присоединяю еще сохранившиеся у меня автографы А. И. Герцена, относящиеся к 1857 году в виде двух его ко мне писем<sup>4</sup>, а равно черновик для помещения в одном из номеров «Колокола», в котором со слов моих затронут был вопрос о вывозе золота Штиглицем. А. И. Герцен мне привез черновик для просмотра, прежде чем он был напечатан. Явился я к А. И. с рекомендательным письмом от И. С. Аксакова, который был у меня перед моим отъездом, написал карандашом прилагаемые стихи о «Парусе». Писано это было им, когда он собирался издавать свой «Парус»<sup>5</sup>. Все эти драгоценности, конечно, по праву должны быть сохраняемы Вами, как продолжающему идти по пути, указанному нам А. И. Герценом. Вполне сочувствуя Вашей деятельности, я крайне сожалею, что мои средства теперь далеко не находятся в том же положении, как тогда, когда я был в состоянии не раз предоставлять А. И. Герцену денежные средства для разных расходов<sup>6</sup>, но, не желая оставлять затейное Вами дело без выражения сочувствия, я позволяю себе приложить мою скромную лепту и если она даст возможность напечатать только несколько лишних строк, то и то уже будет благо. Верьте искреннему к Вам сочувствию Вам преданного и уважающего Вас покорного слуги Д. Каншина.

Мой адрес пока М-г Каншин, 10 rue Lord Byron, Paris, но на днях собираюсь переменить квартиру и, во всяком случае, крайне буду рад, если чем-либо смогу Вам быть полезным. Может быть, реликвии эти могут быть превращены в деньги; тогда охотно жертвую их в пользу Вашей типографии.

Д. К.



Париж, 9 июня 1901 г.

Многоуважаемый господин Чертков!

Несказанно радуюсь, что автографы А. И. Герцена доставили Вам удовольствие. В моих воспоминаниях сохранилось, что он давал большое значение листку, в котором напечатано «Видение св. Кондратия», как первому опыту набора русскими буквами, который был напечатан на ручной станке в Джерси. Этот оттиск был сделан за несколько лет раньше появления первого русского печатания за границей, он и должен сохраняться как великая святыня в Вашей типографии, продолжающей великое дело свободного слова. Я своими делами, к несчастью, настолько еще связан с Рос-

<sup>4</sup> Д. В. Каншин ошибается: материалы Герцена в его архиве относятся к 1858—1859 годам.

<sup>5</sup> Газета И. С. Аксакова. В 1857—1858 годах он хлопотал о разрешении на ее издание, однако в январе 1858 года, после второго номера, она была запрещена.

<sup>6</sup> Это утверждение Д. В. Каншина требует проверки. Как известно, А. И. Герцен всегда содержал свою типографию на свой счет и, за редкими исключениями, не принимал денежных пожертвований.

сию, что не могу исполнить Ваше желание разрешить напечатать мое письмо к Вам за моею подписью, если же Вы можете напечатать только с моими инициалами Д. К., то я ничего против этого не имею, хотя не считаю свое письмо заслуживающим такой чести. Сочувствие к Вашей деятельности, несомненно, в России у всего интеллигентного класса, а если Вас лично интересуют мои воспоминания, то могу Вам сообщить, что я был у А. И. Герцена в один из первых вечеров по прибытии в Лондон Бакунина, который после какого-то русского блюда сейчас после обеда завалился спать, а проснувшись, пришел к нам и упросил А. И. прочесть тот номер «Колокола», где говорится о том, как постится наше духовенство<sup>7</sup>, что А. И. и исполнил. Вскоре после того мне пришлось быть в каком-то театре близ Leicester Square, где Rarey показывал опыты укрощения горячей лошади. Опыт состоял в том, что Rarey ловил момент, когда у лошади было согнуто колено, и накидывал ей на шею заранее приготовленную ремennую петлю и тогда уже повторял то же и с другою ногою, после чего лошадь была бессильна сопротивляться. Во время представления меня кто-то тронул за плечо; оборотившись, я увидел Герцена, который сказал, что подобные приемы, вероятно, употреблял и Гутцейт, какой-то варвар, орловский помещик, который насилывал своих крепостных девок<sup>8</sup>. Помню еще, что в одно из моих посещений А. И. пришел с сыном, который с ужасом рассказывал нам, что в зоологическом саду [прз] что в одной из аллей встретился со львом, случайно вышедшим из клетки по недосмотру сторожа, который его опять увел в клетку. А. И. при этом более чем сдержанно отозвался о способностях своего сына, на что я ему возражал, а когда много лет спустя я укорял покойного перед его сыном, теперь светилор Академии в Лозанне, в тогдашней несправедливости отца, то сын мне сказал, что «отец был тогда прав, потому что я был тогда никуда негодным лентяем, а стал заниматься у знаменитого Шиффа много позднее»; у сына есть великолепный портрет отца масляными красками, кажется Крамского<sup>9</sup>.

Сохранился у меня прилагаемый конверт с одного из писем Герцена. Я был подвергнут уголовному суду при Сенате по делу Серно-Соловьевича и по окончании суда на моем паспорте была сделана надпись, что я был под судом по обвинению в сношениях с лондонскими изгнанниками, но противозаконного в сношениях этих не открыто. Этим суд следовательно признал,

что с изгнанниками могли быть сношения и законные. К сожалению, этот паспорт и ее аттестат у меня был отобран при обмене его на новый вечный паспорт, с которым живу ныне. Многое я еще могу припомнить, но боюсь, что старческая болтовня Вам наскутит.

Перехожу к деятельности Л. Н. Толстого по уничтожению религиозных предрассудков. Я его называю русским Лютером, и он явился нам теперь, чтобы воочию доказать, как мало подвинулся род человеческий за 500 лет, или, может быть, дабы доказать, насколько мало развит наш Синод, который не нашел ничего лучше, как взяться за старое орудие отлучения от церкви. Не того жаждаем все мы и Л. Н. Толстой. Мы чувствуем потребность в духовной пище, и его философские исследования более чем интересны. Это тот хлеб, которого все мы жаждем, и я с великим нетерпением жду появления его «Изложения Евангелия», так как 19 веков далеко не умалили его значения, но давно пора откинуть из него все последующие людские толкования и дать одну неоспоримую сущность, причем мощное слово Л. Н. много выяснит эту сущность... Почтите меня сообщением имени отчества и Вашего и супруги Вашей, которой прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее уважение и сочувствие, так как несомненно, что она участвует во всех Ваших работах.

От души желаю Вам успеха в Вашей деятельности и при случае конечно готов Вам помогать по мере сил.

Глубоко Вам преданный  
Каншин Дмитрий Васильевич

<sup>7</sup> По-видимому, Бакунин просил прочесть из 105-го листа «Колокола» (от 15 августа 1861 года) знаменитую статью Герцена «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ», где, между прочим, сказано о русском духовенстве, которое при всех страданиях народа «с невозмущаемым покоем ело свою семгу, грузди, вязигу», и всегда все то же «афинское молчание, семга, вязига, похороны; освящением храма, купеческие кулебяки да вино — благо гроздия винолазы постыныя суть» («Колокол», л. 105, стр. 878).

<sup>8</sup> Гутцейт стал благодаря «Колоколу» в конце 1850-х — начале 1860-х годов нарицательной фигурой крепостника-помещика. См.: А. И. Герцен, Собр. соч. тт. XIII, XIV.

<sup>9</sup> Очевидно, речь идет о живописном портрете работы Н. Н. Ге. В семье Герценов имелась его копия, сделанная Н. А. Герценом.

М. М. Штерн

(Ленинград)

## Эмиль Золя в «Вестнике Европы»

Неопубликованное письмо  
Э. Золя М. М. Стасюлевичу

Более полувека — с 1866-го по март 1918-го — выходил в Петербурге журнал «Вестник Европы». Ежемесячно читатель получал толстые книжки этого издания «истории, политики и литературы», как значилось на обложке.

Состав сотрудников был многочислен и разнообразен и не мог не привлечь подписчиков. В отделе поэзии и прозы сотрудничали Гончаров, А. К. Толстой, Н. Успенский, Боборыкин, Эртель, Левитов, В. Курочкин, Полонский, Надсон, В. Соловьев, Минский и, конечно, прежде всего Островский, Салтыков-Щедрин и Тургенев. В журнале были напечатаны мемуары И. И. Панаева, Гончарова, Анненкова, С. Ковалевской. В отделах критики, публицистики и науки мелькали имена Александра Веселовского, Пыпина, С. Соловьева, Костомарова, Кареева, Кавелина, Драгоманова, М. Семевского, Стасова, Мечникова, Сеченова. Не удивительно, что журнал быстро приобрел популярность и занял видное место в рядах русской журналистики второй половины XIX века.

«Вестник Европы» всегда был проводником реалистических традиций в литературе — и в этом его бесспорная заслуга. Но политическая его программа была весьма умеренная, не выходящая за пределы либерально-буржуазных требований.

Основателем и многолетним (с 1866 по 1909 год) редактором журнала был М. М. Стасюлевич (1826—1911). Профессор истории Пе-

тербургского университета, он в 1861 году в знак протеста против действий правительства (в связи со студенческими волнениями) вышел в отставку. Превосходный организатор, опытный журналист и дипломат, умевший ладить с властями, он сумел привить читателям постоянный интерес к журналу и добился того, что тираж его достигал очень большой по тем временам цифры — 8 тысяч экземпляров. Несомненно, большое значение имели многочисленные личные связи Стасюлевича со многими писателями и его большая общественная деятельность (в городской думе и других местах).

В частности, стремясь привлечь подписчиков известными и новыми именами, Стасюлевич постоянно предоставлял страницы журнала наиболее популярным писателям Запада — Флоберу, Мопассану и др. К числу их, бесспорно, принадлежал и французский романист Эмиль Золя (1840—1902).

Сотрудничество Золя в «Вестнике Европы» продолжалось шесть лет (1875—1880). За это время журнал напечатал два романа писателя, «Проступок аббата Мурэ» и «Его превосходительство Эжен Ругон», статью о переписке Бальзака и шестьдесят два «Парижских письма»<sup>1</sup>. Это сотрудничество вызвало деловую переписку редактора со знаменитым французским писателем. Сорок четыре письма писателя, относящиеся к этому времени, были напечатаны еще в 1912 году<sup>2</sup>. Одно из писем каким-то образом отделилось от основной группы. Оно оказалось среди бумаг близкого к Стасюлевичу видного общественного деятеля, юриста и мемуариста А. Ф. Кони (1844—1927). Кони, в свою очередь, подарил автограф письма В. М. Федорову-Курганову. В 1945 году письмо поступило в Пушкинский дом Академии наук СССР<sup>3</sup>, где оно числится в качестве «письма к директору». Адресат установлен по содержанию. Письмо датировано самим Золя, и место его определяется без труда: оно должно следовать непосредственно за вторым письмом публикации 1912 года.

В очередной, третьей по счету, статье, напечатанной в июньской книжке за 1875 год, действительно идет речь о «Салоне» — выставке новейших произведений искусства, периодически устраиваемой в Париже с XVII века. В статье Золя дает положитель-

<sup>1</sup> В начале 1878 года «Парижские письма» были изданы М. М. Стасюлевичем отдельной книгой (раньше, чем во Франции).

<sup>2</sup> М. М. Стасюлевич и его современники, т. 3. М., 1912.

<sup>3</sup> РО ИРЛИ, р. 1, оп. 41, № 50.



Paris, 13 mai 75. -

Mon cher Directeur,

Je vous envoie le 20 de ce mois mon troisième article. Je vous avais, ainsi que vous me le demandez, - L'article aura vingt-quatre pages.

Cette fois, je m'occupais de peinture. Je compte vous donner un jugement sommaire du Salon annuel, où un de vos compatriotes, M. Herbasoff a exposé de très-bons portraits. L'école française est très-intéressante à étudier en ce moment.

Je prends bonne note de tout le mécanisme postal que vous m'indiquez, pour nos correspondances. Tout se trouve réglé le mieux du monde.

Mille fois merci, et tout à vous.

Emile Zola

21, rue Saint-Georges,  
(Batignolles.)

ную характеристику портретов Полины и Луи Виардо (1874) работы художника А. А. Харламова<sup>1</sup>, о котором Золя написал по совету Тургенева.

Тургенев очень ценил Харламова, и, конечно, именно он рекомендовал его в качестве портретиста Полине и Луи Виардо. В 1875 году Харламов написал и портрет Тургенева (ныне в Государственном Русском музее в Ленинграде). Портреты Виардо работы Харламова вызвали ряд положительных оценок Тургенева в письмах к Дюран-Гревиллю, Писемскому, Пичу, Салтыкову-Щедрину, Стасову и др. Слова Золя о французской школе — намек на зависимость Харламова от творческой манеры французского художника Леона Бонна (1833—1922)<sup>2</sup>.

Париж, 13 мая 1875.

Мой дорогой директор,

Я Вам пришлю 20-го сего месяца мою третью статью. Предупреждаю Вас об этом, как Вы меня просили. В статье будет 24 страницы.

На этот раз я займусь живописью. Считаю, что я дам общий обзор ежегодного «Салона», где один из Ваших соотечественников, господин Харламов, выставил прекрасные портреты. Французская школа очень любопытна для изучения в настоящее время.

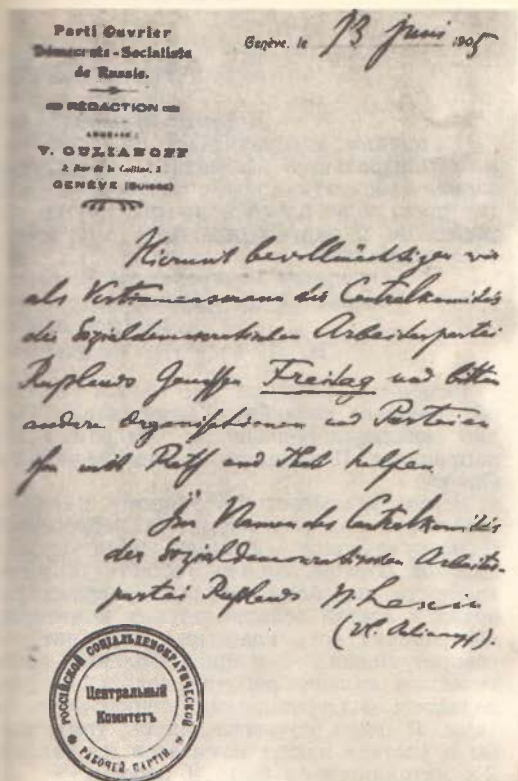
Я хорошо усвоил предложенную Вами механику для нашей корреспонденции. Я нахожу такое устройство превосходным.

Тысяча благодарностей,  
весь Ваш  
Эмиль Золя

21, улица Сен-Жорж  
(Батиньоль)

<sup>1</sup> Харламов Алексей Алексеевич (1842—1922?), окончил Академию художеств в Петербурге в 1868 году, с 1872 — член Товарищества передвижных выставок, с 1874 года — академик живописи; навсегда поселился в Париже.

<sup>2</sup> Ср.: И. С. Зильберштейн, Репин и Тургенев. М.—Л., 1945, стр. 26—39.



А. Алов

(Ленинград)

## По мандату Ленина

...1905 год. Необъятная Россия полыхает в огне первой русской революции. Пролитая царскими сатрапами 9 января 1905 года кровь петербургских рабочих, направлявшихся к «батюшке»-царю с мирной демонстрацией, всколыхнула всю империю и многим открыла глаза на суть самодержавия.

Одна за другой вспыхивают крупнейшие в истории рабочего движения России стачки пролетариата в Петербурге, Москве, Варшаве, Риге, Баку...

Собравшийся в апреле 1905 года в Лондоне III съезд РСДРП под руководством Ленина разрабатывает тактическую линию партии в революции, призывает к свержению самодержавия и установлению демократической республики.

С подробными инструкциями Ленина делегаты съезда возвращаются в Россию. Их переправку через границу осуществляет опытный конспиратор, испытанный агент ленинской «Искры» И. Пятницкий, который с 1902 года по заданию Ленина возглавлял Берлинскую техническую груп-

пу, являющуюся, по воспоминаниям старшего члена КПСС М. Н. Лядова, основным нервом всей партийной подпольной техники по снабжению России заграничной литературой и переправке работников из-за границы в Россию и обратно.

Фрейтаг, то есть Пятница, Пятницкий — партийный псевдоним одного из старейших деятелей Коммунистической партии и международного коммунистического движения, профессионального революционера Иосифа Таршиса.

За двадцать лет подпольной борьбы с царским самодержавием член партии с 1898 года И. Таршис по условиям конспирации многократно менял свои партийные псевдонимы: Шварц, Осип, Черный, Альберт, Цыган, Самара, Миша и др., но псевдоним Пятницкий, присвоенный Таршису в 1902 году в Берлине, остался у него на всю жизнь и стал его фамилией, под которой он и вошел в историю видных деятелей Коммунистической партии и Советского государства.

Одного за другим переправляет через границу И. Пятницкий и русских политэмигрантов, направляющихся по решению ЦК большевиков на нелегальную работу в революционную Россию. Тоскливо сжимается сердце Пятницкого — долгих три года он ведет работу за границей, выполняет важнейшее дело по распространению ленинских идей по всей России, но его так тянет «домой», он так давно не видел родных русских берез и полей...

К маю 1905 года из-за предательства пробравшегося в ряды партии провокатора Житомирского и непрерывной усиленной слежки заграничной агентуры охраны дальнейшая работа Пятницкого в Берлинской технической группе становится невозможной и он по решению ЦК выезжает к Владимиру Ильичу в Женеву.

Ленин хорошо знает и высоко ценит Пятницкого как преданного делу партии работника и непримиримого борца с меньшевиками.

(Н. К. Крупская в своем приветствии Пятницкому ко дню его пятидесятилетия писала в «Правде»: «Пятница был убежденный большевик, цельный, у которого никогда слово не расходилось с делом, на которого можно было положиться. Таким его считал Ленин».)

От Ленина Пятницкий узнает радостную весть — Центральный Комитет партии посылает его на работу в Россию!

Российский  
социал-демократический  
рабочая партия  
Женева, 13 июня 1905

Настоящим мы назначаем уполномоченным Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии товарища Фрейтаг и просим другие организации и партии оказывать ему всяческое содействие.

От имени Центрального Комитета  
Российской социал-демократической  
рабочей партии

Н. Ленин (В. Ульянов)

Выполняя решение III съезда партии об усилении партийных комитетов в России квалифицированными кадрами, ЦК направляет Пятницкого в революционную Одессу.

Ленин указывает Пятницкому на необходимость ведения наряду с подготовкой к вооруженному восстанию и профессиональной борьбы, горячо говорит об архиважности массового ввода передовых рабочих в состав большевистских комитетов. «У рабочих есть классовый инстинкт, — говорит Ленин, — и при небольшом политическом навыке рабочие довольно скоро делают выдержанными социал-демократами. Я очень сочувствовал бы тому, чтобы в составе наших комитетов на каждые 2-х интеллигентов было 8 рабочих».

Пятницкий хорошо понимает Ленина, он сам является рабочим.

Близкий друг Пятницкого по партийной работе в международном коммунистическом движении, один из создателей Коммунистической партии Венгрии, Бела Кун, в предисловии к венгерскому изданию книги И. Пятницкого «Записки большевика» писал в 1932 году, что Пятницкий — «...один из тех рабочих, которые с ранней юности служили делу освобождения рабочего класса и отдавали ему не только свое рабочее время, а сделали революционную борьбу своей профессией...».

Получив от Надежды Константиновны Крупской явки и деньги на дорогу, Пятницкий с ленинским мандатом выезжает в Одессу, где его уже заочно кооптировали в состав Одесского комитета большевиков.

Радостной была встреча Пятницкого в Одессе со старыми друзьями по подпольной работе С. И. Гусевым, С. Б. Бричкиной, Л. М. Книпович...

Так начался новый этап подпольной работы в жизни революционера по призыву И. А. Пятницкого.

А. П. Купайгородская

Листовки  
гражданской  
войны



# КО ВСЕМ РАБОЧИМ ПЕТРОГРАДА!

## ТОВАРИЩИ!

Выяснилось, что в Питере орудуют филиалистские шпионы, совместно с белогвардейцами.

Левые эс-эры соединились с белогвардейцами и затеяли провокацию. Вчера, в пятницу вечером, в Рождественском районе, около трамвайного парка, левые эс-эры бросили несколько бомб в красноармейский отряд. Девять человек красноармейцев лежат ранеными, один при смерти. При этом красноармейцы не сделали ни одного выстрела.

От имени всего Петроградского гарнизона, от имени петроградских матросов, от имени матросов кронштадтских, которые вчера уже пришли защищать Питер от левых эс-эров и белогвардейцев, заявляем:

— Все сознательные рабочие против провокаторов левых эс-эров. Вчера Петроградский Совет Рабочих и Красноармейских Депутатов единогласно заклеял этих провокаторов.

Рабочие и работницы! Дайте отпор наглецам и негодяям.

От имени всего гарнизона заявляем, что мы расправимся самым беспощадным образом с левыми эс-эрами, если они продолжают свою провокацию.

Не слушайте негодяев. Если левые эс-эры затеют уличные шествия, мы не остановимся ни перед чем, чтобы их уничтожить. Предупреждаем об этом всех и каждого.

Мы не позволим провокаторам в тылу у наших братьев-фронтовиков помогать белогвардейцам.

**ДОЛОЙ ПРОВОКАТОРОВ ЛЕВЫХ ЭС-ЭРОВ!**

**ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!**

Представители всех красноармейских и матросских частей Петрограда.

Листовки гражданской войны.

Желтые, серые, розовые, они лежат в аккуратных папках или коробках на полках архивов, музеев, библиотек, и в них редко кто заглядывает теперь — разве что особо дотошные историки.

Между тем в грозные годы гражданской войны враги Советской власти боялись этого «старого, но грозного оружия» едва ли меньше, чем винтовок и пулеметов.

В битве за власть Советов могла победить лишь партия, поддерживаемая народом, и большевики не жалели ни сил, ни средств на ведение агитационно-пропагандистской работы. В. И. Ленин писал в ноябре 1919 года: «Причина наших побед: прямое обращение нашей партии и Советской власти к трудящимся массам с указанием на всякую очередную трудность и очередную задачу...»<sup>1</sup>

Характерна в этом смысле листовка «Черная шайка», опечатанная в типографии поезда командующего Южным фронтом, которую мы здесь приводим полностью:

«Черная шайка, которая воюет против Советской Российской Республики, давно рассеялась бы как пыль, если бы из-за границы не получала все время деньги, оружие и орудия, патроны и снаряды. Какие же это «благодетели» посылают черной шайке эти орудия смерти для убийства и покалечения русских крестьян и рабочих? Заграничные капиталисты. Они подрядили Деникина и Колчака воевать против Советской России, и эти проклятые иуды гене-

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 39, стр. 305.

## Российская Коммунистическая Партия (Большевиков).

„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“

### „Долой коммунистов! Долой большевиков!“

**Буржуазия** всех стран мира в своих газетах, листах, на собраниях и митингах настойчиво и громко **кричит об опасности и авантюристности большевизма**; коммунистов изображает дикарями и разбойниками, грабителями и убивающими всех и вся без разбору среди белого дня.

**„Долой коммунистов!“**

**Кричат помещики.** — Почему же помещики и буржуи так яростно озлобились на коммунистов—большевиков? — Потому, что просвещенные и организованные коммунистами рабочие массы свергли гнет буржуев и, вместо них, сами стали полными хозяевами фабрик и заводов: потому, что просвещенное, организованное и руководимое коммунистами крестьянство отобрало землю у помещиков, — потому, что коммунисты объединили бедноту деревни и города и научили ее покончить с засильем этих „благородных“ туесков.

**„Долой коммунистов!“**

**Кричат царские генералы**—Колчаки, Деникины, Юденичи и многие другие. Почему же они так ненавидят нас? — Потому, что Октябрьской Революцией они лишены всех своих господских привилегий, лишены возможности грабить народ для своей разгульной жизни паразитов: потому, что коммунисты призывают рабочих и крестьян всего мира революционным вооружением прекратить преступный разгул кровавых генералов. Им не нравится, что в Советской России нельзя больше пороть рабочих и крестьян, как порали они при царе.

Товарищи рабочие и крестьяне, все трудящиеся бедняки города и деревни, мужчины и женщины! Те из вас, которые могут и готовы сознательно стоять за царя и его генералов, за фабрикантов, помещиков и деревенских кулаков, за „союз“ овец с волками, за „союз“ трудящихся с их вековыми угнетателями, — пусть скажут вместе с ними: „Долой коммунистов!“

Но нет, бедняки города и деревни, вы не пойдете с ними. Вы не можете идти с ними; и если это случается, то лишь по недоразумению, по невинной темноте и несознательности, ибо богачам было выгодно закрывать глаза народу, держать крестьянство и рабочий класс во тьме невежества, чтобы они не могли отличить врага от друга.

Теперь же знайте и крепко помните: ваш путь иной—это наш путь рабоче-крестьянской, коммунистической революции и, значит, все мы вместе на злобные крики врагов рабочих и крестьян: „Долой коммунистов!“—должны единодушно ответить им:

**Да здравствует Российская Коммунистическая Партия (Большевиков)!**

**Все трудящиеся—в ее ряды!**

Петербургский Губернский Комитет Р. К. П. (Большевиков).

27-го ноября 1918 года.

ралы, предатели трудового народа России, идут войной на крестьян и рабочих, грабя и разоряя города и деревни, уничтожая фабрики, заводы, железные дороги.

Английские, японские, американские разбойники сидят да радуются. Они натравили Колчака на Советскую Россию, а сами тем временем захватили всю Сибирь и побережье Белого моря! У кого в руках золотые россыпи, богатейшие рудники Сибири? У японцев. У кого наши Сибирские железные дороги? У американцев. Кто в Архангельске вырубает русский лес и каждый день на пароходах бесплатно, беспощадно отправляет в Лондон? Англичане. Вот такой грабег идет на Севере. Но та же картина на Юге. «Союзные» мошенники взяли на свое содержание ген. Деникина. Он «работает» для них со своими офицерами и белогвардейско-казачьими отрядами.

Тем временем англичане, которые мало поживились в Сибири, захватили Кавказ. Они расположились в Багуме и в Баку и миллионами пудов грабят русскую нефть, которой уже отправили в Англию свыше двадцати пяти миллионов пудов!

Ты, крестьянин, ты, рабочий, сиди в тесной халупе — зато английские и французские миллионеры еще больше разбогатеют на русском лесе! А если нет у тебя керосина, если остановилась мельница или завод, если сократилось движение по железной дороге — зато светло и тепло «союзным» разбойникам, расхитившим твои нефтяные запасы. Но подожди, то ли еще будет, если ты не отобьешь нападения сострипанной «Союзниками» колчаковско-деникинкой шайки! Ведь «союзные» мошенники хотят захватить весь уголь, весь хлопок, из которого работалась твоя одежда. Они метят на

## ДОБЕЙТЕ ВРАГА!..

Последние радужные надежды белых разбойников в золотых погонах, мечтавших о взятии Красного Питера, лопаются, или мыльные пузыри.

Лживым посулам черносотенных генералов на близкую помощь немцы и продовольствием от союзников, их, обманутые и забытые солдаты уж давно не верят.

Они дрогнули, они стремительно отступают перед нашими смелыми частями.

На Олонском фронте неожиданным нападением мы разгромили знаменитый штаб противника в Видлице и заставили его откатиться и встать Финляндии.

Между Олонцом и Петрозаводском у нас нет ни одного белого.

На Ямбургском фронте враг отнесен за Волосово и Вруду.

Нет сомнения, что через несколько дней Ямбург будет в наших руках.

В то же время на Восточном фронте наши героические войска за короткое время взяли Уфу, Пермь, Кунгур, Исаусофинск и гонят прочь жлоботоропную банду царского опричника Молчанова. От таких ударов ушку верховному правителю Юденичу, Родзянко и Балдоховича уже не справиться во век..

Заметно улучшается наше положение за последние дни на Емвоном фронте. Зарвавшийся назачий генерал Деникин уже нами установлен.

Не удивительно поэтому, что отступающая армия русских и денкинских помещиков падает духом все сильнее и сильнее. Ряды ее истраиваются. Нужен еще один сильный нажим, один удар, чтобы эта банда превратилась в ничто..

Надо использовать до конца эту слабость противника. Гоните его непрерывно красивые бойцы.. Не давайте ему останавливаться. Не позволяйте ему вновь организовать уже дрогнувшие, разбитые ряды.

Помните, что только ваша нерешительность может его еще спасти!

Прочь малодушие, усталость и разгильдяйство!  
Нам жгут с нетерпением рабочие и крестьяне в Ямбурге и Чарасе!

Теснее сминайте свои красивые ряды!..

Вперед!!! К решительной победе над контр-революцией!..

Подполковел 7-й армии.

Туркестан и на Донецкий бассейн. Они мечтают на то, чтобы вконец разорить, разграбить и расхитить Советскую Россию, твоё народное достояние.

Но «союзные» разбойники своих солдат ж нам не шлют. Знают, что не пойдут. Попробовали, да обожглись. Английский и французский крестьянин или рабочий вовевать с Советской Российской Республикой не желает. Он сам за Советскую власть стоит.

На счастье заграничных капиталистов за них воюет против Советской России черная шайка русских генералов, дворян, помещиков, заводчиков-миллионеров, фабричных, тузов и кулаков. Эта черная шайка бывших царских министров составила в Лондоне и Париже мерзкий заговор против трудовой России. Бывший министр кровавого романовско-распутинского правительства — Сазонов до сих пор вертится в кабинетах продажных английских и французских министров, умоляя их осчастливить русский народ новым идиотом на троне.

Бжавшие за границу в страхе перед

## К трудящемуся населению.

Кагда белогарайцы идут в поход на власть рабочих и крестьян, они обещают народу белые бунды.

А когда приходит в кату-шубу зерению, то не только никаких бундов не приносит, а отравляет у крестьянина последнее и грабят, съедая им хлеб в душу. Белогарайцы-помещики и капиталисты отравляют власть крестьян обманом и лживо говорят, что они будто бы борются не за помещика (это сами те помещики), а за крестьян.

На деле же помещичью землю они привлаживают крестьянам вернуть прежним владельцам.

Белогарайцы говорят крестьянам. Вас же красные насильно мобилизуют. А сами, когда занимают какую-либо местность, сейчас же объявляют общую мобилизацию.

Революция получается вот такая: прежде, когда мобилизовали красные, крестьяне сражались против помещиков за свою землю и волю.

А когда его мобилизовали белые, так крестьяне вынуждены встать за помещиков, под их чужую, чтобы вернуть им их же помещичью землю.

Белые говорят: мы же против комиссаров, которые Вас красными грабят. Советская власть совсем не говорит, что у них все комиссары точно агалды безгрешны.

Сильная угроза выдвигается среди комиссаров таных, которые притесняют население, берут взятки, незаконные налоги и т. д.

Но Советская власть таных негодяев не ищет. От таких крестьян выкашивает выметает на чистую воду шилого дружка. А Советская власть по постыдится, сейчас оставит и стены.

На комиссара суда никто крестьянину не ищет.

А вот какой им суд ищется, когда белые помещики поставят над крестьянином временное управление, ставного да кулака! Советская власть сейчас бегаете их ищет. А управления и становые все кровью выпьет вместе с помещиком и кулаком у крестьянина обидя и срединя.

Советская власть знает очень хорошо, что много михатов у крестьянина, много в деревне и в деревне злоупотреблений от разных свистаких их властей. Но чтобы дело привело в полный порядок, т. е. в газодомашние, губернии известия хлеба, пусть в городах фабрики, чтобы дать деревне и ситцу и газоду и слугам, потом строго дергать на учете всех местных властей, чтобы не было ее старыми их никакого беззакония, надо прежде всего время.

А кроме времени подобно име мир.

Ничего же нет у рабочих и крестьян, потому что белые помещики и капиталисты вот уже сколько годков поимет с Советской Россией, чтобы вернуть себе свою власть, землю и фабрики.

И слово было обречь нажить вода разбить помещика, капиталиста и из белогарайские банды.

Советская власть и говорит поэтому трудящимся крестьянам.

Хотите снова шоры в все церкви продадут! Хотите, чтобы ваша земля снова стала помещичьей? Хотите, чтобы вас зарезали револьвером, да по нодре колотели адресные помещичьи-генералы? Если вы всего этого хотите, то принимайте белые!

А если наоборот вы трудящиеся крестьяне, то вы, чтобы вся земля была народной, чтобы установилась советская власть, где бы не было трудовому крестьянину обиды ни от кого, дерните за Советскую власть с белыми негодяями.

Ищите же их, да похороните!

Подполковел 7-й армии.

М. Кулайгородская (подпись), Петрозаводск, Ленинградский фронт, Ленинградский фронт.

народным гневом дворяне, царские чиновники, фрейлины, генералы, князья и прочие придворные проходимцы изо всех сил умоляют иностранных министров и иностранных капиталистов прийти им на помощь и вернуть им в России старые насильственные гнезда.

Черная шайка врагов народа работает не покладая рук! Русские беглые генералы, дворяне и буржуи выманивают за границей помощь Колчаку и Деникину, а здесь в России генеральская компания, получив из-за границы оружие, мобилизует казаков и крестьян и ведет их против своих же братьев, против Советской России, на радость иностранным хищникам-капиталистам, которые под шумок грабят Россию со всех сторон.

Но черная шайка, несмотря на все свои усилия, ничего не добьется. Ее обман раскроется. Старый черносотенец Пуришкевич напрасно пишет воззвания против коммунистов. Рабочие и крестьяне пойдут вместе с коммунистами против черной шайки. Советская Российская Республика крепнет

# ОБРАЩЕНИЕ К КРАСНОЙ АРМИИ.

Товарищи-красноармейцы, застигнутые врасплох некоторые красноармейские части на подступах красного Петрограда, поддались панике и отступили. Они забыли при этом, что им придется дать отчет рабочим и работницам, которые не знают страха и презирают тех, кто ему поддается. Они забыли также и о том, что своим отступлением они предали тех, кто остался на своем посту, честно выполняя свой долг перед Советской родиной.

**От имени всего пролетариата красного Петрограда Совет Рабочих и Красноармейских Депутатов клеймит позором всех, кто в такую грозную минуту изменяет общему делу.**

**Совет призывает всех активных и мужественных борцов беспощадно бороться с самыми ужасными врагами Советской власти—паникой и трусостью.**

**Пусть не будет места измене среди нас. Пусть каждый знает, что огня и воды будет лишен всякий, кто в минуту решительной борьбы осмелится думать о себе, а не о всеобщем благе.**

**Да здравствует гордая, непоколебимая Красная армия!**

**Да здравствует стойкая сила красноармейцев в матросов!**

**И позор навсегда всем трусам, лижущим сапоги палачам-белогвардейцам.**

*Петроградский Совет Рабочих и Красноармейских Депутатов.*

*Петроградский Совет союзов.*

*Жокеферекция работниц Петрограда.*

с каждым днем. Возврата к полицейско-помещичьей царской России нет и не может быть!

Адмирал Колчак разбит за Волгой рабоче-крестьянской армией. Генерал Родзянко, сунувшись к Петрограду, потерпел полное поражение. Теперь нужно разбить генерала Деникина! Нужно **ПОКОНЧИТЬ** с черной шайкой. Нужно **ВОССТАНОВИТЬ** мир, трудовой порядок и начать спокойное строительство новой жизни.

Долой черную шайку предателей!

Долой генеральско-кадетских заговорщиков!

Да здравствует победа Рабоче-Крестьянской России!

Революционный Военный Совет Южного Фронта».

Для ведения систематической печатной агитации и пропаганды требовались усилия поистине героические. Не хватало бумаги, топлива, электроэнергии. В нетопленных, плохо освещенных типографиях голодные рабочие срочно (всегда срочно в то стре-

мительное время!) печатали обращения к народу.

О значении, которое Советское правительство придавало агитационной работе, свидетельствует постановление ВЦИК «О распространении периодической печати», где, в частности, было сказано: «Газеты и литература объявляются срочным военным грузом, и перевозка их по железным дорогам, водным путем и гужем производится в первую очередь»<sup>1</sup>.

Десятки и сотни тысяч листовок расклеивались на стенах домов, агитаторы несли их в рабочие квартиры. Над занятой белыми территорией их сбрасывали с аэропланов. В 1919 году их было сброшено около 150 пудов (лишь немного менее чем в два раза по сравнению с весом сброшенных бомб)<sup>2</sup>.

Разоблачению политических махинаций

<sup>1</sup> «Известия ВЦИК», 1919, 16 мая, № 104.

<sup>2</sup> «Военное дело», 1920, № 11, 22 мая, стлб. 344.

монархистов, выступавших под прикрытием требования созыва Учредительного собрания, посвящена листовка «Знайте, белые солдаты: вы воюете за царя!».

«Ваши генералы уверяют, — говорится в листовке, — будто они борются за Учредительное собрание. Они говорят, что не хотят восстановления монархии. Они отпираются от правды о том, что хотят посадить царя на Всероссийский престол.

Знайте, белые солдаты: ваши генералы идут вам! Белые генералы — верные холопы царской власти. Колчак, Деникин и Мещенич хотят восстановить в России царскую монархию.

Во французских газетах напечатано письмо первого министра Деникина — генерала Драгомирова. Что же пишет матерый деникинский белогвардеец? Слушайте!

«Военная диктатура необходима. Назовется ли она именем Колчака, Деникина или кого-нибудь другого, самое важное это то, что у нее будет железная рука и что она может покорить народ своей воле. Позднее, когда все будет спокойно, диктатор может исчезнуть. До своего устранения он все же должен назначить нового царя, имя которого неизвестно. Учредительное Собрание пока не нужно!»

Вот правда о том, чего хотят ваши генералы! Вот то, что они тщательнее скрывают от вас! Они прикрываются, как маской, Учредительным собранием. Они хотят возвратить трудовой народ России под царскую пугу...»

Листовка кончается призывом: «Смерть царским холопам! Да здравствует Советская власть!» Отважные разведчики с риском для жизни проносили их на вражескую территорию. Газета «Боевая правда», орган 7-й армии, оборонявшей Петроград, сообщала, что комиссар Слесарский был тяжело ранен «при попытке перебраться через озеро для распространения листовок среди белых»<sup>1</sup>. Насколько белые боялись воздействия большевистской агитации на своих солдат, свидетельствует тот факт, что во время войны с Польшей за каждую большевистскую листовку офицеры платили солдатам по 10 марок, «чтобы этим извлечь их из армии»<sup>2</sup>.

Особое внимание было обращено на политическое воспитание Красной Армии ввиду того, что «Красная Армия ведет борьбу со своими многочисленными вра-

## Российский Коммунистический Союз Молодежи.

..Приветствуем всех стран, соединяющихся!

# К МОЛОДЕЖИ ДЕРЕВНИ.

## ТОВАРИЩИ!

Наступающие победоносные ряды банды Юденича разгромили на голову Золотопогонная шпора носится как и утаре, не зная, куда девать свою шпору. Почему это? Ведь так недавно они имели успех? Почему удача изменила им! Это объясняется тем, что рабочие и крестьяне, организовавшие в одну мощную Красную Армию и партизанские отряды, дали жесткий бой белым канцлерам, что пролетарии не отдадут завоеванной свободы даром, потому, что рабочие отдают себя отчаянно, за что борются они долгой ценой, за что мучились и казались, подвергались пыткам и наполняли своим телом старую, разбитую Россию.

Советская Россия существует уже два с лишним года, и если взглянуть ее историю, то можно узнать о том, что у нее были моменты горького суровей, чем теперь — то время, когда наступала белогвардейская Юденич.

Были времена, что нас окружали не только окрестные белогвардейцы, но и приходилось чувствовать опасность буржуазного гнета со стороны мировой банды союзников царя буржуазии. Были серьезные моменты, но они выжились на единую мощную железную беду города и деревни — во что бы то ни стало — победить. В этих отпорах генералы и помещики — «единой, неделимой» России особенно активное участие принимала молодежь. Мы знаем, что Февральская и Октябрьская Революция. Революция рабочих и крестьян, — прошла при непосредственном участии пролетарской молодежи города и деревни. И когда затрещал этот гражданский войной, унесшая столько рабочих классов жизни, — все за улья большевистские были убиты волею рабочего движения и Советской власти, освобожденные товарищи Володарский, Урицкий, Нахимов и Роншалъ, затем потонула траурная пологла доблестных на фронте за святое дело освобождения рабочего класса от гнета капитализма, имена которых будут запечатаны золотыми буквами в истории рабочего движения.

Молодежь, как активная часть рабочего класса, всегда и везде старалась дать свою посильную лепту. Во время колчаковского наступления на восточном фронте был влиятелен кавч, чтобы все, кому дорого освобождение от помещичьих, кулацких и барских, шли в Красную Армию, на Колчак. И молодежь не заставила себя долго ждать. Она дружно откликнулась на этот призыв и потонула в красной битве, объединившая желанный победой.

И враг был разбит! Сталина колчаковского царства, Омск, захята наши бойцы. Наступление Деникина на Дону остановлено и враг отброшен за Дон.

Не смотря на эти победы, мы не говорим, что уже покончили с этим вражеским капиталистическим строем. Для окончательной победы над врагом нужно сделать еще в несколько раз крепче нашу организацию. Нужно, во что бы то ни стало, окончательно разбить врага. — И ОН БУДЕТ РАЗБИТ!

Молодежь всей России объединяется в Российский Коммунистический Союз Молодежи и потому все те, кто еще не состоит членами Союза, пусть идут в его ряды. Они там будут приняты радушно, с рапортерскими облатками. Ведь Союз Молодежи также проникнут сознанием победы врагов рабочих, крестьян и всех трудящихся.

Молодежь, все в ряды Российского Коммунистического Союза Молодежи!

Да здравствует мировая рабоче-крестьянская Коммунистическая Революция!

Да здравствует Российская Коммунистическая Партия!

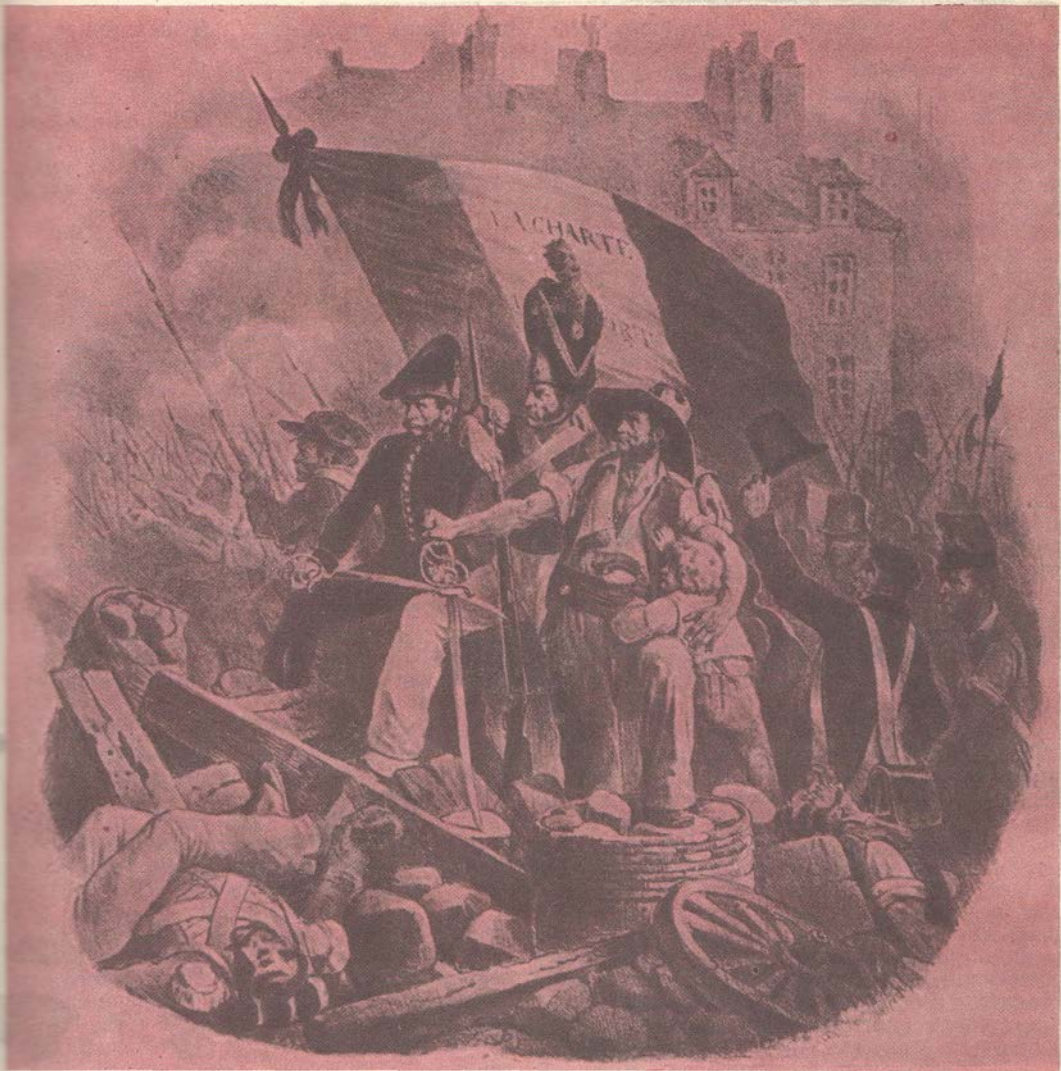
Организованные Борс Р. К. С. И. Петербургской губернии

<sup>1</sup> «Боевая правда», 1919, 9 сент., № 2.

<sup>2</sup> «Боевая правда», 1920, 2 июля, № 144.







О. Орлик

## Русские на баррикадах Парижа в 1830 году

Вот и последняя пожелтевшая от времени страница одного из следственных дел, начатых в 1830 году. Округлым почерком канцелярского чиновника старательно выведено: «...Приговорить к смертной казни через повешение».

Кто же он — этот преступник? За что так сурово карает его царский суд? И снова загадка: осужденного не казнили, осужденного нет. Новая запись на странице:

в связи с отсутствием осужденного подвергнуть его заочной казни — «выставить имя и фамилию» на позорных досках «в обеих столицах», «письма его сжечь». Этот приговор был объявлен в феврале 1831 года. Значит, этим бумагам, хранящимся в одном из центральных архивов нашей страны, уже более 135 лет. И за все прошедшее время только очень немногие знали имя, «преступление» и судьбу осужденного.

Долго и не прост путь от одного архива к другому, от дела к делу, от листа к листу... И вот уже многое становится ясным. Он не один — их двое. Нет, уже трое, пятеро, семеро, нет... больше. И опять мелькает страница за страницей: тревожные донесения посла из революционного Парижа, письма из различных французских городов, где на конвертах русские, уже ставшие знакомыми фамилии, донесения шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа царю Николаю I. Вот рукою царя надпись наискосок: «Расследовать связи в России, узнать о происхождении, семье». А вот и другая: «Объявить политическим преступником...»

Кто же были эти русские, чьи имена оказались связанными с историей Франции и которые столь возмутили Николая I и его окружение?

Шел 1830 год, один из мрачных годов николаевской реакции. И вдруг волнующая неожиданная весть: «Во Франции революция!» Свергнута власть ненавистного народу отпрыска Бурбонов — короля Карла X. Раскаты июльских революционных боев во Франции громко отозвались за рубежом. Нашли они свой отзвук и в России, там, где в памяти еще были свежи декабрьские дни 1825 года и где вновь и вновь втайне продумывались возможные пути свержения самодержавия. Передовые представители России даже в глухую николаевскую эпоху сумели откликнуться на революцию во Франции, приветствовать победу французского народа. Наиболее сильное впечатление революция произвела на самых молодых представителей передовой русской интеллигенции, воспитанной на героических традициях 1812 года и на свободолюбивых идеях декабристов.

Ну, а те сыны России, которые оказались во время революции во Франции, как восприняли революцию они, что стало с ними? До сих пор это оставалось почти неизвестным.

В гуще революционных событий Франции 1830 года находилось, даже по далеко не полным сведениям, около сорока

русских подданных<sup>1</sup>. И некоторые из них стали не только сторонниками революции, но и ее активными участниками. Среди них М. А. Кологривов, С. Д. Полторацкий, В. П. Росси, М. М. Кирьяков, С. А. Соболевский, Л. Л. Ходзько, А. И. Тургенев, Мирецкий и др. Это их имена так часто появлялись в донесениях царю, в сообщениях жандармских агентов из провинции, в частной переписке многих известных людей того времени.

История каждого из них полна романтики и героизма. Вот 18-летний Михаил Кологривов. На родине, в его доме, часто бывали декабристы и А. С. Грибоедов, верные друзья отца, героя Отечественной войны 1812 года. Тяжелые дни расправы с декабристами болью отозвались и в их семье: были осуждены два двоюродных брата Михаила — декабристы Челищевы. Свободолюбивые настроения в семье рано пробудили в юноше ненависть к угнетению, стремление к борьбе. Эти настроения были не чужды и его воспитателю, бывшему наставнику и другу Грибоедова, швейцарцу Б. И. Иону. Однако, полагаясь на «ум, хладнокровие и опытность» этого человека, родные Кологривова решили отправить с ним Михаила для продолжения образования за границу.

Июльская революция застала Михаила Андреевича Кологривова в Париже. И сразу же, не колеблясь, он перешел на сторону восставших, сражался вместе с парижскими рабочими и студентами на баррикадах, готовый, по его словам, скорее погибнуть, нежели отступить. «Свобода или смерть!» становится его девизом в борьбе. Пребывание во Франции, участие в революционных событиях были для Кологривова, как и для других его соотечественников, школой политического воспитания, укрепление духа интернациональной солидарности. Поэтому когда Николай I потребовал от всех российских подданных во Франции немедленного удаления за ее пределы, Михаил Кологривов, так же как и другие его соотечественники — участники революции сознательно не выполняют этого приказа и долго еще, а кто и навсегда, остаются в мятежной стране. Вот как объяснил М. Кологривов свое неподчинение в одном из писем в Россию, к матери: «Последняя революция ме-

<sup>1</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР (ЦГАОР СССР). ф. III отд., 1 эксп., 1830 г., № 286, ч. 2 (списки за 1830 год).

не утвердила окончательно в моих взглядах, в моей ненависти к тиранам. Принимая активное участие в этой революции в Париже, в борьбе против роялистов, жалких рабов, посвятив мою жизнь делу высшей свободы [считаю] невозможным возвращение в Россию по приказу императора»<sup>1</sup>.

Победа французской революции подняла боевой дух других народов. Усилилось революционное движение и в Испании. На территории Франции начал создаваться интернациональный корпус — «Священный легион» под командованием закаленного революционера генерала Ф.-Э. Мина.

Этот легион должен был у границ Испании соединиться с другими испанскими повстанцами и начать наступление на Мадрид — мрачную цитадель короля Фердинанда VII и его клевретов. И вот в этот момент решается вступить Кологривов, в его рядах продолжать борьбу за освобождение народов «от деспотизма и тирании». Одним сентябрьским утром он направляется в Орман, где вступает в «Священный легион».

Вскоре Кологривов узнает, что по требованию Николая I его усиленно разыскивают во Франции. Он понимает, что его виновность, переход на сторону испанских борцов поведет к тяжкому обвинению царским правительством. Но преданность делу революции настолько сильна, что Михаил готов на все ради осуществления своих идеалов.

Преданный наставник пытается скрыть от русского посольства причины отсутствия своего воспитанника. Он заявляет в гостинице, где они жили, об их якобы внезапном отъезде, старательно прячет вещи и бумаги Михаила и сам выезжает из Парижа. «Я не объявлял о сем посольству (о местонахождении М. Кологривова — О. Ор.), — писал он взволнованно и немного растерянно в сентябре в Воронеж опекуну Кологривова Д. Н. Бегичеву, — и когда будут спрашивать в нашей квартире, то скажут, что мы уехали, потому что мне хотелось бы, чтобы это оставалось в тайне и не дошло до сведения государя императора. Постарайтесь также со своей стороны, чтобы слух об этом не распространялся в Москве, может быть, и успею все это переделать»<sup>2</sup>.

Но слух о революционной борьбе русских во Франции уже просочился в Россию. Важным источником сведений о ней были их же письма, перлюстрированные к тому же царской цензурой. А письма

были смелыми и дерзкими! «Я клянусь... всем тем, что для меня самое святое, что никто, ни мать, ни родные, ни даже сам бог, ничто бы не могло изменить принятого мною решения», — заявлял Кологривов в одном из писем. «Я не колеблюсь... — продолжал он из Ормана, — лучше соглашусь бедствовать, даже умереть, чем жить в рабстве... Я ненавижу деспотизм»<sup>3</sup>.

Передовые представители России, особенно молодежь, рассуждая «с жаром» о французских событиях, говорили с восторгом об участии своих соотечественников в революционной борьбе. Реакционно настроенная часть общества была возмущена. Так, обласканный царем камергер А. Я. Булгаков писал тогда: «Кологривов, сын покойного генерала Андрея Семеновича, живущий в Париже... поехал служить адъютантом при известном бунтовщике Мине... Сей Кологривов написал сюда письмо, наполненное дерзостями, в коем говорит, что гнушается рабством... и что надеется, что все последуют его примеру. Таких дерзостей ни один русский никогда себе не позволял... Не было примера, чтобы русский служил какой-нибудь другой державе»<sup>4</sup>.

Дела Михаила Кологривова оказались достойными его благородных помыслов. Вместе со «Священным легионом» он прошел тяжелый боевой путь вплоть до начала 1831 года. За смелость 18-летний русский юноша был не только произведен в лейтенанты испанской армии, но и отмечен генералом Мина. Кологривов был направлен в Главный штаб испанских повстанцев.

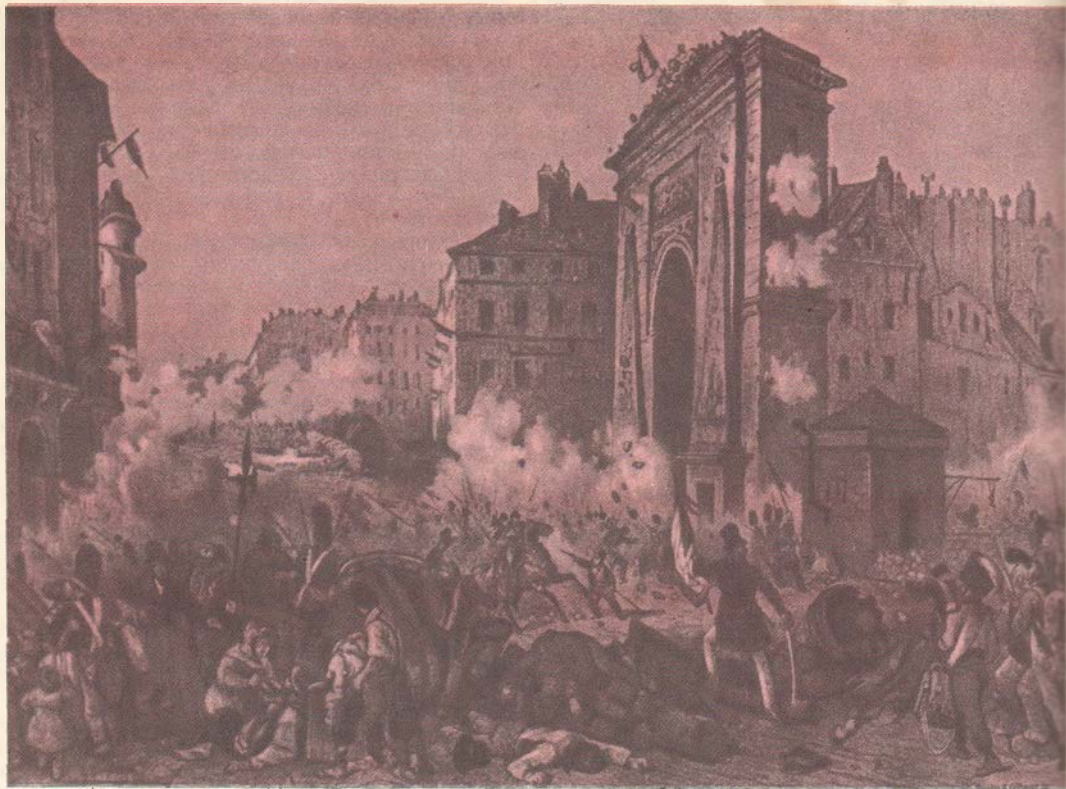
В «Священном легионе» сражался и другой русский — Валериан Петрович Росси, сын придворного художника в Петербурге. Проведя несколько лет в Италии и Франции, он должен был в 1830 году возвратиться в Россию. Однако французская революция изменила его планы. Валериан Росси также смело сражался

<sup>1</sup> ЦГАОР СССР, ф. III отд., 1 эксп., 1830 г., № 351, л. 8 об.

<sup>2</sup> «Исторический вестник», 1904, № 7, стр. 179.

<sup>3</sup> ЦГАОР СССР, ф. III отд., 1 эксп., 1830 г., № 351, л. 9 об.; «Красный архив», 1937, т. 4 (83), стр. 112—113.

<sup>4</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ СССР), ф. 79, оп. 1, № 5, л. 65.



в рядах испанской армии и был за храбрость произведен в офицеры<sup>1</sup>.

Активно участвовал в Июльской революции 20-летний Михаил Михайлович Кирьяков, чиновник канцелярии генерал-губернатора Новороссии М. С. Воронцова в Одессе. Там, в Одессе, еще в ранние юношеские годы он встречался с А. С. Пушкиным, который был почти «ежедневным посетителем» их дома. Дом Кирьяковых был вообще любимым местом сбора писателей, поэтов, ученых, проживавших тогда в Одессе. Так, с Пушкиным часто приходили А. Н. Раевский и П. С. Пущин, бывали поэт А. И. Подолинский, хирург В. П. Малахов, А. С. Стурдза, генерал И. Н. Инзов и многие другие. Михаил Кирьяков восторженно относился к Пушкину и находился под влиянием его вольнолюбивых стихов и передовых взглядов. Демократическая обстановка Московского университета, куда он поступил в 1825 году, довершила формирование общественно-политических взглядов юного Кирьякова.

Еще со студенческой скамьи Кирьяков мечтал о поездке во Францию. И вот в 1830 году его мечта сбылась! В Париж он попал в начале июля 1830 года и прожил там более семи недель<sup>2</sup>. И сразу же этот «красивый, смуглый, темпераментный» юноша с головой ушел в изучение общественной и культурной жизни страны. Его можно было видеть то в Палате депутатов и Дворце юстиции, то в Королевской библиотеке, где он «разбирал редкие книги», то в ботаническом саду, в Пантеоне, Лувре, Люксембургском дворце... Ему вскоре удалось познакомиться с такими прогрессивно настроенными учеными Франции, как академик Сталь, будущий активный участник революции профессор Ремюза. О своих разнообразных

<sup>1</sup> ЦГАОР СССР, ф. III отд., 1 эксп., 1830 г., № 54, л. 1.; № 286, ч. 2, л. 67.

<sup>2</sup> ЦГАОР, ф. III отд., 1 эксп., 1830 г., № 334, л. 5 об., 6, 14.

впечатлениях о Париже и парижанах Михаил писал друзьям на родину, но «продолжение, объяснение, дополнение и окончание» обещал «словесное в розовой гостиниой» своего дома «в октябре»<sup>1</sup>. Однако революционные дни не только захлестнули его прежние впечатления, но и изменили дальнейшую судьбу.

В дни революционных боев М. Кирьяков также сражался на парижских баррикадах, был вместе с восставшими на площадях и улицах Парижа, там, где рядом с ним «в двух шагах» падали убитые. Убитых в эти дни было так много, что подчас приходилось пробираться по улицам, спотыкаясь о трупы<sup>2</sup>. Кирьяков, видимо, боролся в рядах рабочих и студентов Политехнической школы, с помощью которых в ночь с 27 на 28 июля была освобождена большая часть города от войск короля и водружено трехцветное знамя — символ свободы. После победы вместе с ликующими горожанами он был на улицах и площадях, в театрах Парижа, где проходили многотысячные митинги. «На четвертый день важного события, — рассказывал позднее Кирьяков, — на всех театрах что-нибудь было помещено по сему предмету в критику. И народ... кричал и рассуждал в театрах свободно»<sup>3</sup>.

Некоторые письма Кирьякова также попали в Третье отделение. Они послужили причиной установления за ним слежки уже за границей.

Подобно этим смелым соотечественникам, в Июльской революции принял активное участие Сергей Дмитриевич Полторацкий — известный в свое время в России и за границей талантливый журналист, друг Пушкина и многих декабристов.

Аристократическое происхождение Полторацкого, большие связи в обществе обещали ему успех в высшем свете, быструю карьеру в избранной им вначале военной службе. Но молодого прапорщика свиты царя Александра I, а затем поручика Киевского гренадерского полка давили пустота высшего света, гнетущая атмосфера николаевской армии. Поэтому в 1827 году, двадцати четырех лет, он вышел в отставку. Но наряду с этими причинами были и другие — начавшиеся преследования по службе за связи с передовыми деятелями Франции, за статьи во французской прессе о русской литературе с высокой оценкой свободлюбивых, антикрепостнических настроений Пушкина<sup>4</sup>. Дружба Полторацкого с поэтом особенно крепла в тяжелое время после поражения декабристов, когда они оба потеряли много

близких друзей. Пушкин тепло относился к молодому талантливому журналисту, двоюродному брату А. П. Керн. Он читал ему свои запрещенные произведения, списки с которых Полторацкий бережно хранил у себя.

Царское правительство долго не разрешало Полторацкому выезд во Францию, куда он стремился для пополнения своих знаний, а также для упрочения личных контактов с французскими деятелями. Только в июне 1830 года Сергею Дмитриевичу удалось выехать во Францию. В Париж он попал всего за несколько дней до начала революции. Как стало известно в России, Полторацкий тоже не только восторженно встретил революцию, но сражался на парижских баррикадах, выступал на митингах, принимал «участие в уличных криках и революционных заявлениях», призывая народ бороться до победы<sup>5</sup>. После победы Полторацкий горячо поздравлял французов «с блестящим и величественным триумфом, который только что одержала их прекрасная нация», отмечал, что июльские дни 1830 года вписали «замечательные страницы» в историю Франции<sup>6</sup>. Затем он вступил в национальную гвардию под командованием генерала Лафайета. Как бывший офицер, Сергей Дмитриевич, несомненно, был очень полезен для молодой революционной армии. Его хорошо знали не только в революционной среде Франции, но и в Бельгии, революция в которой началась в конце августа того же года. Так, он был одним из участников патриотического банкета, устроенного бельгийскими революционерами-эмигрантами в Париже, на котором стоял вопрос о подготовке революции в Бельгии. Банкет проходил под девизом «Свобода — власть народу»<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (ИРЛИ), Р. I, оп. 12, № 271, л. 2 об.

<sup>2</sup> ЦГАОР СССР, ф. III отд., 1 экзп., 1830 г., № 334, л. 32—33 об.

<sup>3</sup> Там же, л. 5 об., 61.

<sup>4</sup> «Русская старина», 1901, № 9, с. 622; «Литературное наследство», М., 1952, т. 58, с. 299—301.

<sup>5</sup> «Русский архив», 1901, № 12, с. 540; там же, 1909, № 4, с. 567.

<sup>6</sup> Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (РО ГПБ), ф. 603, № 70, л. 1.

<sup>7</sup> Отдел рукописей Всесоюзной государственной библиотеки имени В. И. Ленина (РО ГВЛ), ф. 233, карт. 3, № 83.



О революционной деятельности Полторацкого также зло писал 25 ноября 1830 года из Москвы в Петербург А. Я. Булгаков. Он подробно описывал, как Полторацкий «держал речь, ораторствовал» среди восставших, а потом вошел не «в какое-нибудь ученое общество членом (ибо хороший литератор), нет, вошел солдатом в Парижскую национальную гвардию!» «Можно ли дожить до большего сраму?.. — заключал Булгаков. — Какое же будут иметь о русских понятие парижане?..»<sup>1</sup>

Но парижане — участники Июльской революции отдали дань глубокого уважения этим сынам России, сражавшимся вместе с ними на баррикадах. До нас дошли восхищенные отзывы современников-французов о героизме, например, Леонарда Леонтьевича Ходзько и его друга Мирецкого, которые были названы «настоящими героями баррикад»<sup>2</sup>. Ходзько, сын обедневшего помещика Виленской губернии, особенно отличился при взятии Тюильри. Он был дважды ранен, но продолжал сра-

жаться. После победы Леонард Ходзько сразу же записался в ряды национальной гвардии и был приближен к Лафайету, отметившему его еще в дни революционных боев. Ходзько хорошо знал Полторацкого, вместе с которым служил в национальной гвардии<sup>3</sup>.

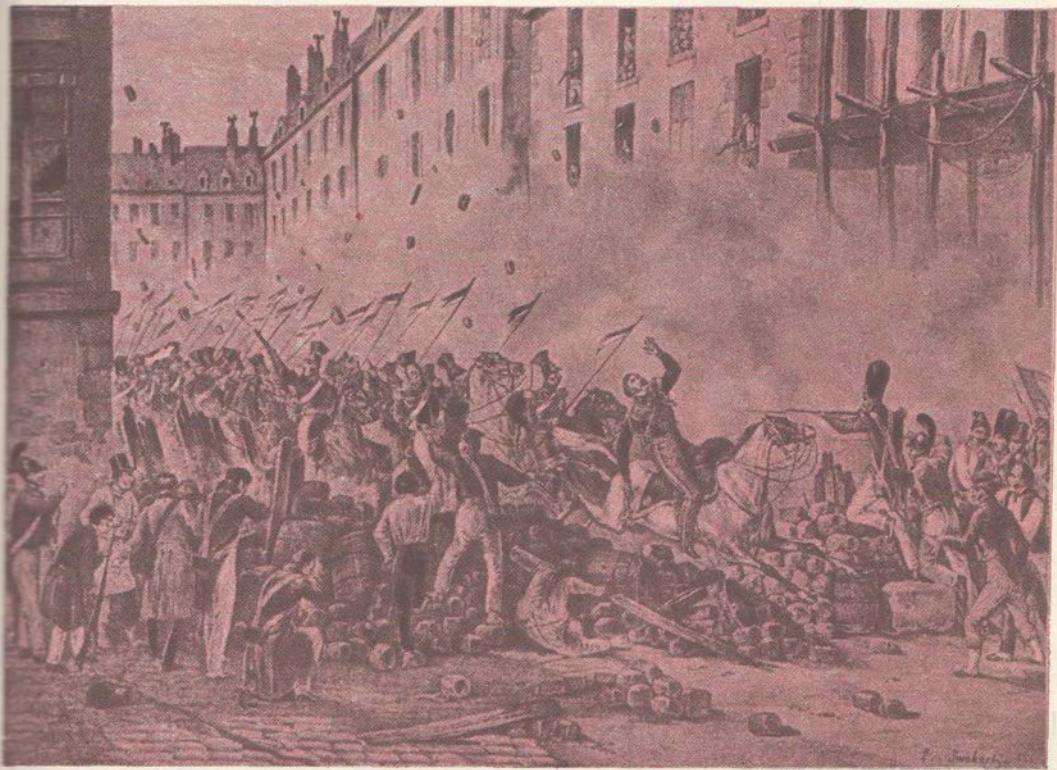
Рядом с именем Полторацкого в числе участников революции в письмах некоторых современников стоит имя известного общественного деятеля и литератора С. А. Соболевского. По проникшим в Россию слухам, Соболевский участвовал «в толпе народной, штурмовавшей здание парижского муниципалитета, и был ранен».

Какова же была дальнейшая судьба участников событий во Франции, что стало с ними? На все пограничные пункты был разослан приказ царя, требовавший

<sup>1</sup> «Русский архив», 1901, № 12, стр. 540.

<sup>2</sup> «Исторический вестник», 1914, № 6, с. 1109.

<sup>3</sup> РО ГПБ, ф. 603, № 227, л. 1.



при появлении Ходзько, Росси или Кологривова «немедленно схватить их», «опечатать все найденные при них бумаги и за строжайшим надзором» отправить в Петербург. А вскоре в Петербурге над М. Кологривовым уже шел суд и был вынесен заочный приговор. Приговор необычный — взяли бумаги и письма. Эти письма казались царю столь же опасными, как и их автор, смелый вольнодумец и борец за дело освобождения народов.

В дальнейшем поражение испанских повстанцев сделало невозможным пребывание Кологривова во Франции, и он решил вернуться на родину. Боясь снова привлечь внимание общества к участию русских в революционных событиях на Западе, царский суд заменил в 1832 году первоначальное заочное осуждение Кологривова ссылкой на Кавказ, под строжайший надзор Третьего отделения<sup>1</sup>. Тяжелая солдатчина подорвала силы и здоровье М. Кологривова. Он умер 38 лет.

В. Росси и Л. Ходзько не вернулись на родину. Они продолжали во Франции

активную борьбу за укрепление международной солидарности революционеров всех стран.

Полторацкий находился в течение долгих лет под надзором полиции<sup>2</sup>. Но во время февральской революции 1848 года он снова был во Франции. На закате же своих дней С. Д. Полторацкий стал очевидцем еще одной революции — Парижской коммуны.

М. Кирьянов, узнав о подозрениях Третьего отделения, сочинил для допроса версию о том, что якобы он был болен 26—28 июля, а потому ничего о событиях не знал и в них не участвовал. Это помогло ему избежать царской тюрьмы. Он был отстранен от службы и выслан в глухую степную деревушку Ковалевку под надзор

<sup>1</sup> ЦГАОР СССР, ф. III отд., 1 экзп., 1830 г., № 351, л. 18, 47—47 об.; «Красный архив», т. 4 (83), стр. 118.

<sup>2</sup> ЦГАОР СССР, ф. III отд., 1 экзп., 1831 г., № 168, л. 5; «Красный архив», 1930, т. 1 (38), стр. 141—142.



полицей. М. М. Кирьяков умер в 1839 году, 29 лет. И только накануне его смерти пришло «милостивейшее» решение Николая I снять надзор с умирающего.

Еще много интересных, столь же ярких и неожиданных фактов об участии наших соотечественников в революционных событиях 1830 года рассказали и другие листы старых следственных дел. И конечно, больше всего поведали нам письма самих очевидцев и участников революционных боев. Их письма были написаны подчас наспех, на обрывках бумаги, при тусклом огарке свечи, в перерывах между сражениями. Но они во многом помогли рассказать о неизвестной до сих пор странице истории, оживить имена ее героев.

Совсем недавно мною были найдены письма еще одного русского — очевидца Июльской революции во Франции, написанные в Париже в дни революционных боев, под свежим впечатлением событий. Это письма русского дипломата, тогда секретаря посольства России во Франции Николая Дмитриевича Киселева, адресованные брату — Сергею Дмитриевичу Киселеву в Москву<sup>1</sup>. Одно из них, публикуемое ниже, было начато в первый день революции и продолжало дополняться изо дня в день в течение двух недель, отражая ход революционных событий в Париже. Письмо было отправлено в Москву с дипломатической почтой, с просьбой передать его «лично в руки» С. Д. Киселеву.

Н. Д. Киселев, в то время еще либерально настроенный и втайне разделявший некоторые вольнолюбивые мечты своих друзей — А. С. Пушкина и Д. В. Давыдова, во многом по-иному понял и оценил Июльскую революцию, чем другие официальные представители царской власти во Франции.

Как очевидец революции, он нарисовал в этом интереснейшем письме яркую картину революционного Парижа, раскрыл ход революционных боев, в которых смело участвовали некоторые его соотечественники, показал с симпатией, а порой и с восторгом энтузиазм и героизм восставших, а также ликование народа после победы революции.

Понимая, насколько его отношение к революционному перевороту во Франции расходилось с отношением к этим событиям царизма, Киселев убедительно просил брата «никому не показывать этого письма». Сергей Дмитриевич был единственным человеком, кому Н. Д. Киселев

доверил свои взгляды на французскую революцию. Написанные в те дни письма к матери и к другому брату — П. Д. Киселеву, генерал-адъютанту, тогда полномочному представителю России в Молдавии и Валахии, отличались большой сдержанностью в суждениях о революции.

Свидетельства очевидца французской революции Н. Д. Киселева — ценный источник о революционных событиях в Париже; в то же время они раскрывают отношение к Июльской революции 1830 года одного из представителей русского общества. Эти письма интересны также и тем, что становились, как это видно из заметок некоторых его друзей (несмотря на предосторожности Н. Д. Киселева), одним из неофициальных источников информации в России о происходящих событиях во Франции.

Публикуемое письмо Н. Д. Киселева к С. Д. Киселеву дается с некоторыми сокращениями. Опущены места, не относящиеся к рассматриваемым событиям.

Париж.

26 июля (7 августа) 1830

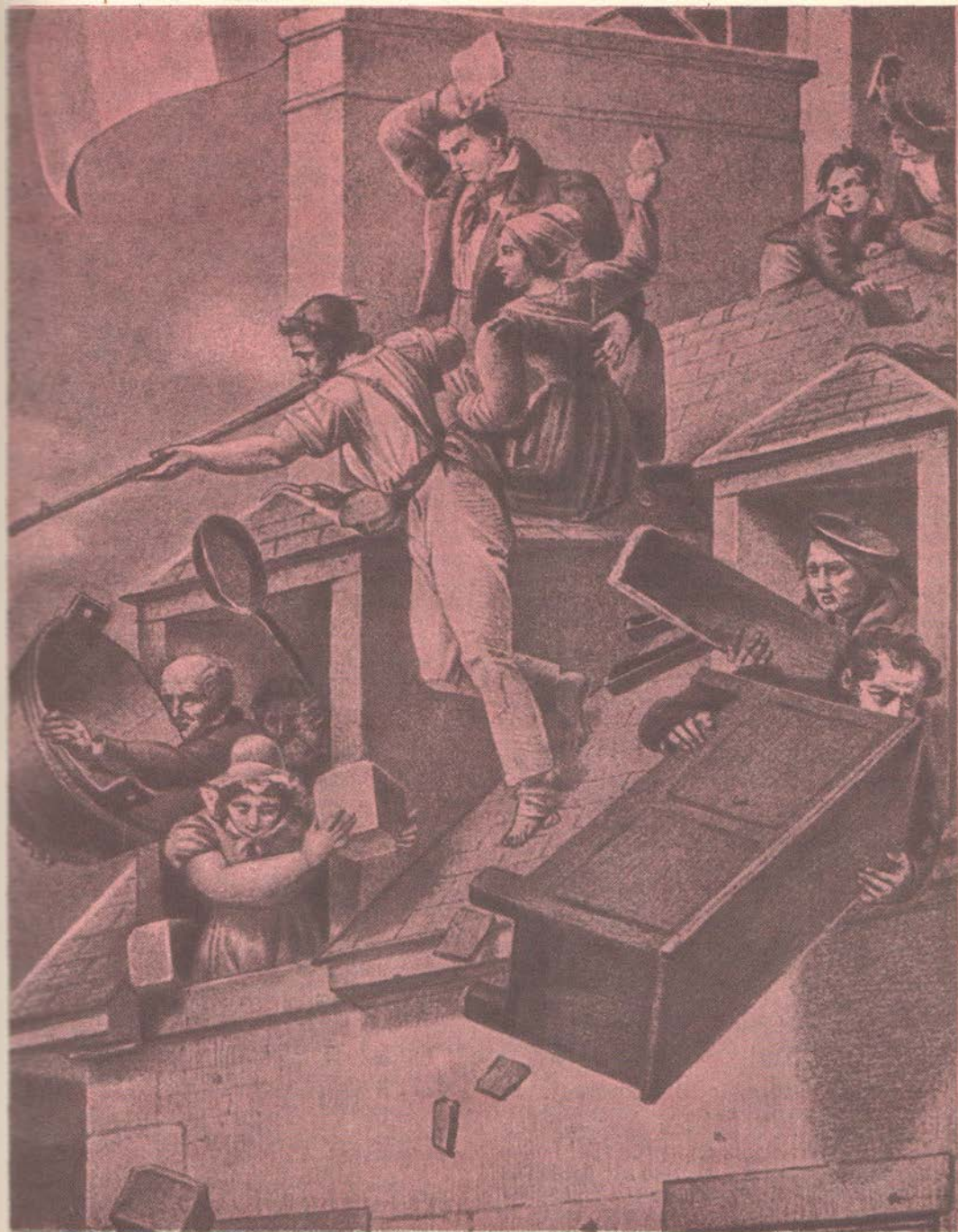
Неужели месяцы проходят, и ни курьеры, ни почта не приносят мне от вас никаких известий. Наконец сего дня я получил твоё письмо, любезный друг, от 3 июля...

Известие о здешних возмущениях, верно, до вас уже дошло, но, не смотря на то, вкратце скажу тебе, что около нас происходило и что теперь происходит.

Карл X, окружив себя попами и дурными советами, не переставал стараться во многом изменить Хартию, данную братом его усталым от угнетения французам<sup>2</sup> и по немногому уничтожить слишком неограниченные права их и восстановить прежнее правление самовласти. С этим желанием и в полной уверенности успеть в своем предприятии изгнанный теперь король составил министерства свои из людей, противных правилами своими духу нации и возстановил против себя всех тех, которые отгадывали его намерения и которые начинали ощущать благое действие независимости. Наконец вверил он браз-

<sup>1</sup> РО ГБЛ, ф. 129, карт. 15, № 35.

<sup>2</sup> Речь идет о конституции, которую под давлением общественного настроения издал в 1814 году король Людовик XVIII. После его смерти новый король Франции Карл X (брат Людовика XVIII) приступил к систематическому наступлению на конституционные права.



ды правления любимцу своему князю Полиньяку<sup>1</sup>, которой во всем разделяла мысли короля, и вместе вздумали выдать новые указы (ordonnances)<sup>2</sup> о цензуре и о выборах депутатов, совершенно противные духу Хартии. Эти противозаконные меры взволновали жителей Парижа, и на другой день обнаружения новых повелений начался ропот, слушание, а к вечеру — сборища народа, который вооружился против войска, посланного для усмирения бунтовщиков. Королевские повеления вышли в понедельник 26 июля; во вторник к ночи началась перестрелка между войском и народом; а в среду во всех улицах Парижа жители сражались с гвардией, и пушечная пальба, звон колоколов и крики народа продолжались весь день и всю ночь. В четверг битва продолжалась, но к полдню войско не могло более держаться в узких улицах Парижа и принуждено было ретироваться. Народ занял Лувр и Тюльери и переменял белое знамя на трехцветное, которое теперь развевается по всей Франции. Все войско выбросилось из города, и жители начали укрепляться барикадами. Король все время был в Сен-Клу<sup>3</sup> и не соглашался ни на какие предложения со стороны жителей Парижа; но в четверг после ретирады войска он сам хотел мириться, но победители отвергли его предложения и назначили временное правление. В пятницу 30-го числа депутаты, находившиеся в Париже, предложили герцогу Орлеанскому титул наместника (Lieutenant Général du Royaume)<sup>4</sup> и тем принудили короля удалиться и сложить с себя корону. Теперь герцог Орлеанский всем правит, и, кажется, завтра Каммеры<sup>5</sup> провозгласят его королем. Нецарственный Карл X отправился в Шербург, оттуда переедет в Шотландию вместе с дофином, герцогинею Берийской и маленьким герцогом Бордосским<sup>6</sup>. Он потерял свою корону вопреки всем советам доброммыслящих людей, и, кажется, Бурбоны более не возвратятся во Францию. Слепление короля и министров его было не понятно; но теперь дело сделано и остается только их жалеть и просить бога избавить Францию от больших возмущений и более всего от междоусобной войны.

Революция сделалась с непонятно скоростью и ознаменовалась удивительным единодушием и каким-то непостижимым порядком. Посреди кровопролития и всеобщего возмущения не было ни грабевей, ни насилей, ни даже малейшего воровства. Все заняты были одною мыслию: защите-

нием своих прав и независимости. В день последнего сражения все к вечеру ходили по улицам без малейшего опасения и на другой день, хотя весь город был изувечен: дома избиты ядрами и картечью, на бульварах деревья срублены, мостовые испорчены для построения барикад и так далее, а все вместе походило на народный праздник, на котором друг друга поздравляли и всяк торжествовал всеобщую победою. Теперь приходит все в порядок; но умы так еще экзальтированы, что с каждым днем можно ожидать новые хлопоты. Я не имею времени описывать тебе с некоторою подробностью достопримечательные происшествия прошедшей недели и теперешнее положение Парижа и всей Франции; но краткой и нескладной мой расказ даст тебе некоторое понятие о внезапной перемене целого государства. Прощу тебя, однако, любезный друг, никому не показывать этого письма. Малейшая нескромность с твоей стороны может тебе быть очень вредна, и потому могу надеяться, что ты не оставишь моей просьбы без внимания. Если бы время позволило, я мог бы тебе вдесятеро более написать и порядочнее расказать самые странные происшествия, но ты сам сжалишься надо мною и простишь мое нестройное по-

<sup>1</sup> Огюст Жюль Полиньяк — один из реакционнейших деятелей Франции в период правления Карла X. С августа 1829 по июль 1830 года — глава ультрароялистского кабинета министров.

<sup>2</sup> «Ордонансы 26 июля» — реакционные законы Карла X, фактически уничтожившие конституцию 1814 года. Они появились утром 26 июля и послужили одним из поводов для революционного переворота во Франции.

<sup>3</sup> Сен-Клу — предместье Парижа. Там, в загородном дворце, застала Карла X весть о начале революции. В Сен-Клу он пробыл по 31 июля, затем бежал в Рамбуайе, а оттуда в Англию.

<sup>4</sup> Герцог Орлеанский, Луи Филипп — представитель младшей линии династии Бурбонов. 31 июля он был провозглашен наместником королевства. 7 августа на совместном заседании палат пэров и депутатов — королем Франции. С 9 августа вступил на престол под именем Луи Филиппа. По существовавшим монархическим принципам он не мог занять королевский трон. Его власть утвердилась только в результате Июльской революции буржуазной, не переросшей в буржуазно-демократическую.

<sup>5</sup> Каммеры («Chambres») — палата пэров и депутатов.

<sup>6</sup> Дофин — сын Карла X, герцог Ангулемский; герцог Бордосский — внук короля.

вестование. Вот шестой день сряду, что я не перестаю писать и теперь почти 2 часа ночи, а я все еще мараю. Завтра не успею уделить ни минуты частной моей переписке, и потому тороплюсь сего дня окончить это письмо...

Прощай; ни место, ни силы не позволяют продолжать. Еще раз не сообщай никому моего письма и напиши поскорее к другу и брату Николаю К.

У матушки целую ручки. Я к ней на днях два слова написал, чтобы успокоить и на мой счет, если известие о здешних хлопотах дошло прежде моего письма. Сестер целую. Прощай.

Приписка вдоль страницы:

8 августа: Посылаю тебе печатное повествование последних происшествий в Париже. — Сегодня герцог Орлеанский провозглашен королем Палатою Депутатов. Прошу тебя не казать приложенной книжечки.

К сожалению, не о всех сынах России, ставших очевидцами или участниками революции во Франции, сохранились или пока найдены архивные документы. Но и то, что стало известно, позволяет осветить по-новому русско-французские революционные связи в 1830 году. А поиск продолжается...

А. Зимин

## Федор Карпов, русский гуманист XVI века

В декабре 1504 года Москва стала свидетельницей невиданного до того зрелища. В деревянной клетке были сожжены еретики и среди них Иван Волк Курицын, брат главы Посольского приказа Федора Курицына, незадолго до этого умершего. Так правительство Ивана III расправилось с русскими вольнодумцами, осмелившимися посягнуть на основные догмы православия.

Искра, зажженная вольнодумцами XV века, не угасла. Из религиозно-философской сферы, ставшей запретной, пытливая мысль их идейных наследников перенеслась в естествознание. Глубокий интерес к математике, астрономии и медицине помогал по-новому понять отношение человека к природе, подготавливал кризис церковного мировоззрения, наступивший значительно позже.

К этому новому поколению русских гуманистов принадлежал Федор Иванович Карпов. Происходил он из семьи тверских бояр, перешедших на московскую службу. А Тверь в конце XV века была одним из очагов еретического вольномыслия, с нею тесными узами был связан малолетний наследник престола, внук Ивана III, Дмитрий, являвшийся знаменем московского кружка еретиков.

Время рождения Федора Карпова неизвестно. На страницах источников впервые

он появляется в 1495 году в качестве одного из многочисленных постельников во время поездки Ивана III и Дмитрия-внука в Новгород<sup>1</sup>. К этому времени он, очевидно, уже был знаком с братьями Курицыными — Федором и Иваном Волком, которые также находились в свите великого князя. Впечатления, вынесенные Ф. И. Карповым от знакомства с русскими вольнодумцами, убежденными сторонниками упрощения великокняжеской власти, сыграли известную роль в формировании его взглядов.

Дальнейшие известия о Ф. И. Карпове относятся уже ко времени, наступившему после трагических событий 1504 года. Карпов вступает на дипломатическое поприще, во всяком случае, с 1508 по 1539 год является одним из руководителей восточной политики Василия III. Сравнительно поздно (в 1538 году) он получил думный чин окольничего, а уже при дворе Елены Глинской в малолетство Ивана Грозного стал оружничим (один из высших дворцовых чинов). Вскоре после

Портретные изображения  
Ивана III и членов его семьи.  
Художественное шитье — деталь  
подвесной пелены. 1498 г.

1539 года, по всей вероятности, Карпов умер.

Федор Карпов принадлежал к числу передовых людей своего времени. По роду своей деятельности он знал восточные языки, был знаком с греческим и латинским. Ему были известны произведения Аристотеля, Гомера и «Метаморфозы» Овидия. Карпов переписывался с образованнейшими людьми России — писателем Максимом Греком, старцем Филофеем, создателем нашумевшей теории «Москва — третий Рим», и другими. К сожалению, наши сведения о Карпове как писателе-публицисте ограничиваются его четырьмя посланиями. Но современники награждали его эпитетами «премудрый», «разумный» и т. п., которые говорят об их глубоком уважении к этому незаурядному просвещенному деятелю.

Круг интересов Карпова был широк. Его волновали и естественные науки (астрономия, медицина), и политические учения, и классическая поэзия. Задумывался Карпов над вопросом о происхождении

<sup>1</sup> Разрядная книга 1475—1598 гг., М., 1966, стр. 26.





Василий III. Гравюра из книги  
Тевя. XVI в.

Земли и жизни на ней. Он пытался почти «законы естества», то есть природы. Жажда познания, глубокое уважение к «философии» (как совокупности известных тогда наук) и силе человеческого разума сочетались у Федора Карпова с отчетливым сознанием собственного несовершенства. «Изнемогаю умом, в глубину впад сомнения», — писал он Максиму Греку. В этих словах так и слышится голос мятущегося Гамлета, воплотившего в себе лучшие черты человека эпохи Возрождения. Карпов уже почувствовал терпкий вкус того самого «горя от ума», который ощущали позднее многие поколения русских передовых мыслителей.

Программным сочинением Карпова является его послание митрополиту Даниилу, главе воинствующих церковников, который насаждал реакционную осифлянскую идеологию<sup>1</sup> в годы правления Василия III<sup>2</sup>. Острые своей полемики Карпов направил против доктрины терпения, которую проповедовала русская церковь. Особенно возражал он против распростра-

нения этой доктрины на весь строй общественной жизни страны.

«Если будем говорить, — писал Карпов, — что в государстве или царстве прежде всего следует руководствоваться терпением, то зачем же тогда составляют законы? Тогда священные обычаи и добрые установления разрушаются и в царствах и в поместничествах, человеческое общество будет жить без всякого порядка».

Карпов выступает здесь с позиции политического деятеля, размышляющего над судьбами общественного строя страны. Всю свою политическую теорию он строит на светских началах, широко используя для этой цели античное наследие. Он резко возражает против переустройства общества на основе церковной идеологии. Ведь это могло привести не только к духовной диктатуре церкви, но и подчинению великокняжеской власти воинствующим церковникам.

Обращаясь к митрополиту Даниилу, Карпов писал: «Если заставить жить по нормам терпения, то тогда не нужно для государства или царства правителей и князей. Тогда исчезнет правление и господство, а будет жизнь без всякого порядка... не нужны будут в царстве и судьи». А людям нужно жить «при царях, которые справедливо управляют нами в царствах и городах по своему усмотрению, защищают невинных, вознаграждают обиженных и наказывают обидящих».

Внедрение церковной доктрины терпения в гражданское общество может вредно отразиться и на отношениях слуг с их господами, обладающими многочисленной челядью, дорогостоящим имуществом, оружием и деньгами. Если заявить: «Так как

<sup>1</sup> Осифляне (иосифляне) — идейное направление в русской православной церкви конца XV—XVI веков, основателем которого был игумен Иосиф Волоцкий. Осифляне были сторонниками преобладания церковной власти над светской, проповедовали необходимость крупного монастырского землевладения, отвергали критику церковных догм и требовали расправы с еретиками. Им противостояли нестяжатели во главе с Нилом Сорским, которые выступали против церковной собственности, проповедовали аскетизм, критиковали отдельные стороны организации православной церкви и допускали известную свободу в толковании церковных догм. Большинство еретиков конца XV—XVI веков были в той или иной степени близкими к нестяжателям.

<sup>2</sup> Все цитаты приводятся в переводе на современный русский язык. Подлинные тексты см.: В. Г. Дружинин, Несколько неизвестных литературных памятников из сборника XVI века. «Летопись занятий Археологической комиссии». Спб., 1904, вып. XI, стр. 109—110.

и терплю, что всем этим мне не следует владеть, — рассуждает Карпов, — то я не буду в состоянии исполнять служебные обязанности и буду бесполезен для отечества. Дело народное (очевидно, это дословный перевод латинского *res publica*) погибнет в городах и царствах из-за долготерпения».

Подобные рассуждения Карпова имели огромную взрывчатую силу. Если бы он ограничился только своим ниспровержением «терпения», то он дал бы могучее оружие униженным и оскорбленным, но сам Карпов заботился, чтобы удержать их в повиновении. Ведь митрополит Даниил мог ему возразить, что если не будет церковной проповеди терпения, то что же заставит крестьян повиноваться землевладельцам, а ремесленников нести государственные повинности?

И вот Карпов раскрывает свою положительную программу. Оказывается, он отнюдь не против терпения вообще. Он допускает его существование для духовного сана, например для монашеской братии, — ведь «один порядок существует для духовных лиц, а другой в светском обществе». Надо сказать, что Карпов призывал духовенство терпеть не без внутренней иронии (хочешь терпения — терпи сам!), хотя и имел в виду полное подчинение церкви светской власти.

Светское общество должно строиться, по его мнению, не на основах христианской морали, а на началах «правды» и «закона». Теории теократического самодержавия, проповедовавшейся воинствующими церковниками, Карпов противопоставляет идеал правового государства, зарождавшийся в европейской политической мысли XVI века. «Правда, — писал он, — необходима в каждом деле по управлению на местах и во всем царстве. Если каждому воздается то, чего он достоин, то всем праведно и свято живется, а тогда и (пресловутая) хвала терпению исчезнет». Без правды и закона долготерпение способно только разрушить строй жизни государства («дело народное ни во что превращает») и делает людей непослушными своим государям. Ведь «каждый город и каждое царство, как писал еще Аристотель, должно управляться начальниками по правде и праведным законам, а не терпением». Грозою правды и закона самодержец должен приводить к согласию враждующих между собой, а добрых подданных награждать и защищать. Человечество, по мнению Карпова, всегда жило и должно было жить по закону, иначе



Посольский дьяк.

«сильный будет угнетать слабого». Всю историю Карпов делит на три периода. Первый («время естества»), когда люди жили «по естественным законам», второй — «по законам Моисея», третий — «по законам Христа». Итак, если «правда» у Карпова — это справедливое управление государством, то закон — нормы человеческого общежития, понимаемые сквозь призму христианства.

Но кто такие «сильные» люди, хищническими действиями которых Карпов возмущен?

«В наши времена, — писал Карпов, — многие начальники не заботятся о своих подвластных и убогих». Не радея о порученном им стаде, они допускают, чтобы их приказники угнетали подвластных «тяжкой работой». Если публицисты нестяжательского толка (в их числе Максим Грек) мрачными красками рисовали положение крестьянства в монастырских вотчинах, то Карпов впервые показал тяжкий гнет, которому подвергались крестьяне во владениях княжат и бояр. «Начальники» у



Карпова — это представители удельного княжества и титулованной знати. Выступая идеологом широких кругов феодалов, Карпов мучительно ощущал неустойчивость современного ему общества. Ведь «ныне земная власть и все человечество бредут неверными путями на хромих ногах и со слепыми глазами». Власть денег растлевает всех и вся. «Поистине золотой век ныне наступил, — с горечью пишет Карпов, — раз золотом приобретается сан и добывается любовь». Взаимные распри доходят до того, что «хозяин боится гостя, тещь — зятя, а братская любовь вообще редка». Возросла и жажда стяжания: «Берущий одежду хочет взять также и белье; крадущий овцу намеревается также увести и корову, а если может, похищает все принадлежащее ближнему». Таковы некоторые из недостатков социального строя в России, которые подметил зоркий взгляд Федора Карпова.

При всем этом критическая сторона воззрений Карпова была, несомненно, более яркой и разносторонней, чем положительная. Понятие «правды», как справедливо-общественного строя, у него только декларируется, но не раскрывается во всем многообразии. Ему были еще неясны те пути переустройства общества, которые определяются только в середине XVI века в ходе реформ Ивана Грозного.

Послание митрополиту Даниилу — единственное сколько-нибудь значительное произведение Карпова. Остальные дошедшие до нас его послания скорее являются пробой пера, чем изложением общественно-политических взглядов. В чем тут дело? Может быть, многое из творческого наследия Карпова не сохранилось, а возможно, Карпов-дипломат просто загубил талант Карпова-писателя.

Политическая теория, развивавшаяся Федором Карповым, имела своими истоками не только учение Аристотеля, но и идеи русских реформаторов конца XV века. Уже Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую «неправду» и зло жестокими мерами и среди них прежде всего казнями и мучительствами<sup>1</sup>. «Толико грозен был[т]ь этот Дракула» (порусски «Дьявол»).

Но «грозная власть», на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собою власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на

взгляды наследников Федора Курицына. По Федору Карпову, самодержец должен править «грозою правды и закона», а не грозою произвола. Но и это, по мнению Карпова, было недостаточной гарантией торжества справедливости. Нужна еще «милость» — милосердие, ибо «именно из-за милости подвластные любят князя и управителя. Милость без правды — малодушие, а правда без милости — мучительство. В обоих этих случаях разрушаются города и царства. Но если милость дополняется правдою, а правда смягчается милостью, то царства сохраняются на многие века». Федор Карпов видел уже неизмеримо далее, чем Федор Курицын.

Но как легко забываются уроки истории! Прошло два-три десятилетия, и новую политическую теорию изложил в своих челобитных Ивану Грозному писатель-воинник Иван Пересветов (1549). Это была заря реформ «Избранной рады» и нового подъема реформационного движения. Как и Карпов, Пересветов полагал, что государство должно основываться на началах правды и закона: «если нет правды, то и

---

Прием послов при дворе  
Московского государя.

---

всего нет». Он договаривался до того, что «бог не веру любит, а правду». Под «правдой» Пересветов разумел совокупность государственных преобразований, которые должны были укрепить власть монарха и обеспечить права и привилегии широких кругов служилых людей (воинников). В отличие от Карпова Пересветов подробно рассматривает все стороны этой «правды», негодуя против вельмож, безудержную алчность которых он видел в годы малолетства Ивана IV. Пересветов, как и его дедлений предшественник Федор Курицын, настаивал на том, что монарх должен править «с грозою»: «Царь не может обходиться без грозы: как конь под царем без узды, так и царство без грозы»<sup>2</sup>. Он советовал Ивану Грозному руководствоваться в своей деятельности примером турецкого правителя Махмет-салтана, кото-

<sup>1</sup> «Повесть о Дракуле». М. — Л., 1964, стр. 118.

<sup>2</sup> Сочинения И. Пересветова. М. — Л., 1956, стр. 153.



рый вводил правду казнями и жестоко-стями.

Милость, о которой писал Федор Карпов, для Пересветова стала чуть ли не основным препятствием утверждения справедливого государственного строя. Ведь византийский царь Константин потому и погиб, что был кротким правителем, а «укротили» (сделали кротким) его вельможи, желавшие править сами. И на этот раз «мудрый монарх» зло посмеялся над апологетами его власти: Пересветов, как и другие вольнодумцы середины XVI века, очевидно, окончил свои дни в заточении. А чего стоила деятельность Грозного царя по «искоренению измены» в суровые годы oprичины, известно достаточно хорошо.

Федор Карпов, как и Иван Пересветов, принадлежал к числу русских мыслителей, затронутых гуманистическими настроениями. Гуманизм в европейских странах складывался как форма бюргерской (предбуржуазной) идеологии. В нем новое, светское мировоззрение было противопоставлено религиозно-схоластическому, а идея свободного развития человеческой личности — церковному авторитаризму. Вместе с тем в различных странах гуманизм имел свои специфические черты, объяснявшиеся конкретно-исторической обстановкой. В России XVI века буржуазия еще едва зарождалась, удельный вес городских элементов как в общественно-политической, так и в культурной жизни был невелик. Поэтому идеологами нового гуманистического движения выступали передовые элементы дворянства. И позднее, вплоть до первой четверти XIX века, именно в среде передового дворянства возникали представления, объективно отражавшие потребности буржуазного развития общества.

Особенности общественного развития

России наложили отпечаток и на характер русской гуманистической мысли XVI века. Если посмотреть на основные черты мировоззрения Федора Карпова (как, впрочем, и Ивана Пересветова), то увидим, что становление нового светского миропонимания происходило в форме противопоставления духовной диктатуре церкви не человека вообще, а политического человека. Мудрый и сильный человек выступает прежде всего в качестве мудрого монарха. И в других европейских странах гуманистические кружки создавались при дворах державных покровителей, а из среды гуманистов вырос не один из идеологов сильной княжеской власти. В России эти черты выступили наиболее рельефно.

Поколение русских гуманистов, к которому принадлежал Федор Карпов, поняло преобразующую роль знаний и сыграло выдающуюся роль в истории русского самосознания. Они не стали активными борцами за переустройство жизни, но им суждено было сделаться учителями тех, кто в середине XVI века снова поднимет свой голос протеста против церкви и иссушающих душу условий крепостнического государства. Такова была диалектика жизни. Кабинетный ученый-гуманист Эразм Роттердамский фактически подготовил выступление пламенного Томаса Мюнцера — вождя крестьянской войны в Германии. В России вслед за вполне благонадежным Федором Карповым и резонером Максимом Греком пришли смелый мечтатель Иван Пересветов, еретик Матвей Башкин и борец за счастье угнетенного люда беглый холоп Феодосий Косой. Поэтому историк, изучающий русскую общественную мысль XVI века, с глубоким уважением вспоминает деятельность одного из первых русских гуманистов, писателя и дипломата Федора Ивановича Карпова.

М. Коган

(Ленинград)

# «Неладно что-то в Датском королевстве...»

Струензе

его реформы)

Но жизнь заставляла их идти на некоторые реформы.

Эти реформы в духе просвещенного абсолютизма не ликвидировали феодальной системы, не привели к власти буржуазию. Многие из этих преобразований были вскоре отменены, а смелые реформаторы изгнаны. В Португалии Помбаль был приговорен к смерти, замененной изгнанием; во Франции Тюрго уволен в отставку.

И все же реформы просвещенного абсолютизма имели немалое значение. Отменялись старинные и вредные пережитки, улучшалась судебная система, рушился цеховой строй, облегчалось развитие капитализма. С другой стороны, неудачи реформ открыли многим глаза: только революция свергнет феодальный строй!

Самая сенсационная попытка осуществить «союз монарха с философом» была предпринята в маленьком Датском королевстве.

## I

Еще в XVII веке наступил упадок феодальной Дании. Сильная морская держава, когда-то подчинившая себе и Швецию и Норвегию, потерпела поражение в вековой борьбе за владычество на Балтике.

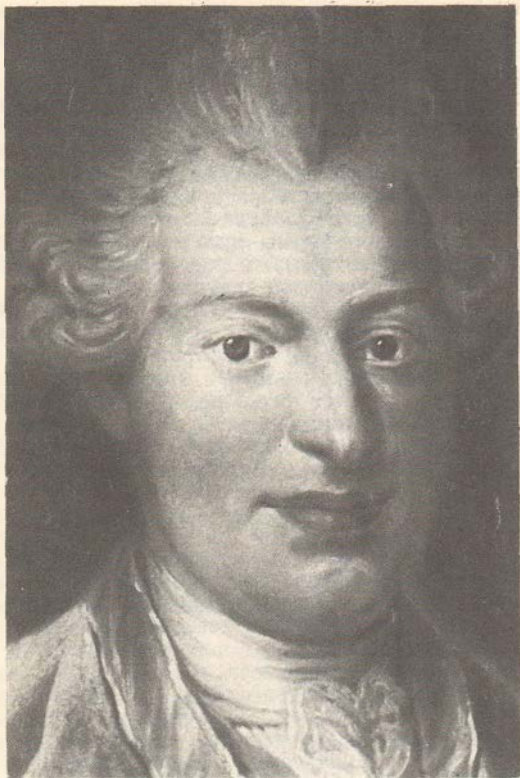
Крушение завоевательной политики и утрата богатых земель усилили разброд среди датских феодалов. Страну терзал постоянный финансовый кризис. Внешняя политика Дании вершилась теперь в столицах великих держав — в Париже, Петербурге, Лондоне.

В Дании медленно зрел капиталистический уклад. Но крепостное право оставалось незыблемым. С 1764 года оно распространялось на крестьян мужского пола в возрасте от 4 до 40 лет.

Пережитки феодальной старины опутывали и государственный аппарат. Король считался абсолютным монархом, но на деле его воля была связана Тайным Государственным советом, где царил произвол.

Чинный, чопорный и неблагоустроенный Копенгаген слыл скучнейшим городом Европы. Официальной идеологией государства был пиетизм — самая ханжеская разновидность лютеранства. Даже невинные развлечения — балы и маскарады, театральные представления и вечеринки — считались греховными. Цензура душила печать. Упорно сохранялись бессмысленные сословные пережитки. Так, бюргеры могли разъезжать в карете, но запрягать в нее коней цугом, иметь фонари и держать лакеев на запятках разрешалось только

Восемнадцатый век перевалил за середину. В Европе господствовал феодальный строй, но в его недрах уже росли могучие производительные силы и крепились капиталистические отношения. Во Франции сложилась идеология передовой буржуазии — Просвещение. Его идеологи своеобразно понимали заботу о благе народа. Они полагали, что пороки и беды общества зависят не от несправедливого распределения собственности, а от дурных законов. Стоит лишь даровать народу хорошие законы, и тогда само собой наступит царство счастья и правды. Дело лишь за небольшим. Необходим союз королей с философами, которые создадут мудрые законы. Король — союзник и покровитель философов — вот идеал Просвещения. Далеким от жизни был этот идеал. Почти везде в Европе власть была в руках дворян. Они и не собирались от нее отказываться.



Иоганн Фридрих Струензе.



Кристиан VII — король Дании и Норвегии.

дворянам. Бюргеры не имели права снимать в театре ложу, носить шляпы со страусовыми перьями или иметь пряжки с камнями на башмаках. Дворянину запрещалось сидеть с бюргерами за обеденным столом, поэтому дворяне наносили визиты в бюргерские дома либо утром, либо после обеда.

В этой-то небольшой и отсталой стране и происходили стремительные и прогрессивные реформы Струензе.

## II

Иоганн Фридрих Струензе родился в Саксонии в семье протестантского пастора 5 августа 1737 года. Детство его и юность прошли в городе Галле. Здесь же

он окончил университет и получил диплом врача. В 1757 году он занял в Альтоне должность городского медика. Теперь Альтона — предместье Гамбурга, но в то время это был город под верховной властью датского короля.

Молодого, преуспевавшего врача влекла журналистика. Он печатал статьи в различных изданиях, а в 1763 году даже издавал в Гамбурге журнал, вскоре прекративший существование за недостатком подписчиков. Осторожно, дабы не навлечь на себя гнева цензуры, Струензе проводил идеи Просвещения. Он отстаивал свободу печати. Бедность народа, по его мнению, результат безземелья и помещичьего произвола. Струензе, дейст в духе Вольтера, признавал бога первопричиной мира, но

восставал против веры в загробную жизнь и в воскрешение мертвых. Религия, по его словам, лишь «извращение разума», библея не более чем памятник древней литературы, подобно поэмам Гомера. Здесь Струензе шел за Юмом, Руссо и Гельвецием.

Однако не литературным занятиям суждено было сыграть определяющую роль в судьбе Струензе. Его таланты врача привлекли ему известность, он стал жить на широкую ногу, у него появились влиятельные друзья и высокие покровители. Благодаря им в жизни Струензе произошел перелом. Датский король Кристиан VII, совсем еще молодой человек, нуждался в хорошем враче. Знатные пациенты Струензе рекомендовали королю своего медика. 6 июня 1768 года тот был возведен в ранг придворного хирурга и присоединился к королевской свите.

Кристиан VII вззошел на датский трон за два года до этого, тогда же он вступил в брак с английской принцессой Каролиной Матильдой. Король страдал тяжелой душевной болезнью, а поэтому обязанности лейб-медика были сугубо деликатны.

Струензе сопровождал короля в Лондон и Париж. В январе 1769 года Кристиан спешно возвратился в Копенгаген в связи с русско-турецкой войной. Он опасался возможного военного конфликта между Россией и Швецией. Король все больше доверял Струензе, он сделал его действительно тайным советником и тем самым пожаловал ему дворянство.

С юности сторонник идей Просвещения, Струензе задумал использовать свое растущее влияние на короля, чтобы преобразовать датское общество.

В своем стремлении к реформам Струензе не был одинок. С конца 60-х годов при дворе сложилась группа либеральных дворян. В нее входили паж Варнстед, граф Шак Рантцау, генерал Гелер. С 1769 года в донесениях иностранных дипломатов сообщается, что к либеральным придворным примыкает лейб-хирург Струензе и его друг Эневольд Брандт. В переписке Рантцау, Варнстеда и Гелера проглядывает замысел — отстранить от короля придворных, приверженцев старины — и осуществить ряд реформ.

Документы не позволяют точно установить, когда и как Струензе, скромный врач, превратился во всемогущего правителя Дании. Видимо, серьезным пунктом в его судьбе была эпидемия оспы, разразившаяся весной 1770 года. Именно тогда, опасаясь за здоровье маленького наследни-



Каролина Матильда — королева Дании и Норвегии.

ка престола, Струензе решился на дерзкое новшество и привил ему оспу. У постели кронпринца лейб-хирург постоянно встречал молодую королеву. Здесь, по слухам, и зародился их роман. Но имело ли это обстоятельство определяющее значение для возвышения Струензе? Иностранные дипломаты еще осенью 1769 года сообщали, что Кристиан VII ничего не решает без своего лейб-хирурга.

Весной 1770 года Струензе был возведен в ранг конференц-советника и назначен чтецом короля.

В июле оппозиция добила от большого монарха отставки гофмаршала Холька, известного своей непримиримостью в вопросе о проведении аграрной реформы. 15 сентября уволен в отставку первый министр

граф Бернсторф. Его падение и было началом всевластия Струензе.

Струензе оставил за собой пост первого министра. Бернсторф был и министром иностранных дел. На эту должность метил Рантцау. Но Струензе уже не доверял своему союзнику. Кроме того, он, видимо, не хотел раздражать Петербург назначением враждебного России Рантцау.

Струензе был неподкупно честен. Даже враги не могли обвинить его в протекции друзьям. Лишь впоследствии он поручил руководство финансами своему старшему брату Карлу Августу. Младший же его брат служил лейтенантом в датской армии и не был повышен ни на один чин.

### III

Началом реформ был указ 4 сентября 1770 года, объявивший, что впредь пожалование дворянского достоинства будет производиться только за крупные заслуги и верную службу. Тем же днем датирован указ о свободе печати и упразднении цензуры. Этот неслыханный акт верховной власти вызвал восторг Вольтера.

Новый режим с первых же шагов хотел завоевать доверие русской императрицы. В Петербург был послан Варнстед с личным посланием короля Кристиана. Письмо составлял сам Струензе. Король заверял Екатерину в преемственности политики Дании. Внешняя политика Струензе не была антирусской, как утверждают многие авторы. Показательно, что министром иностранных дел был вскоре назначен граф Остен, в прошлом посланник Дании в Петербурге. Выбор этой кандидатуры объясняется тем, что она была угодна России. Дания не должна участвовать в конфликтах великих держав, она не в состоянии вести войны, и ей незачем содержать огромную армию — вот принципы внешней политики Струензе.

После падения Бернсторфа реформы следовали вереницей. 18 сентября уволен морской министр, тесть Бернсторфа. Были лишены должности многие чиновники гражданской службы, церковного и военного ведомств. Они увольнялись большей частью без пенсии и без объяснения причин отставки.

Струензе был одержим жаждой реформ. Из-под его пера выходили десятки и сотни указов, законов, распоряжений. Он не знал покоя ни днем, ни ночью. Сколько всего в Дании надо менять и перестраивать! Его рвению преобразователя способствовала податливость безвольного мо-

нарха. Техника издания законов была упрощена до предела: Струензе составлял текст и давал его на подпись королю. Кристиан ни разу не отказал ему в подписи. Формально всего лишь тецц короля, ведущий его корреспонденцию, Струензе был на деле всемогущим временщиком.

Историки и беллетристы извели горы бумаги, повествуя о романе Струензе и королевы. Однако Каролина Матильда не имела ни малейшего влияния на направление политической деятельности Струензе. Королеве, не блиставшей ни умом, ни красотой, едва минуло 19 лет. Политикой она не занималась и ничего в ней не смыслила. Если и упоминать о Струензе как интимном фаворите монархини, то надо подчеркнуть лишь одно — любимец королевы мог считать свое положение прочным только до поры до времени. И он торопился. Законы сыпались как из рога изобилия.

24 сентября 1770 года был опубликован указ о преобразовании Тайного совета. Из него удалялись знатные и почетные члены. Совет превращался в совещательную коллегию из высших чиновников. У совета отнималось право издания законов, он лишался роли верховного суда. Так воплощалась идея Монтескье о разделении властей. Тайный совет перестал быть оплотом феодальной аристократии и утрачивал всякое значение. А через три месяца Тайный совет вовсе упразднился, что мотивировалось необходимостью восстановить власть короля, которую по абсолютистской конституции 1660 года «нация вручила короне». Эти слова кажутся выхваченными из законодательства Великой французской революции. Первые реформы были вдохновлены идеями Просвещения.

Исключительно важной была реорганизация суда. Вместо невообразимо сложной и запутанной системы различных судов создавался единая судебная организация во главе с верховным судом. Обвиняемый получал право на защиту со стадии предварительного следствия, и ему сообщалось имя судьи. Введена была гласность суда, и судебная хроника стала печататься в газетах. Позднее отменено утверждение приговоров королем: суды должны быть независимы от исполнительной власти, как требовал Монтескье.

Впервые в мире было провозглашено равенство всех перед судом. До сих пор титулы графа и барона были гарантией от долговой тюрьмы; эта привилегия отпала. Отменены были телесные наказания. Запрещены пытки и допросы с пристрастием. Отменена смертная казнь за кражу. Запре-

щены процессы ведьм: доносы на ведьм предписано было не принимать. Отменен закон о праве отца посадить сына в тюрьму. Наконец, к величайшему ужасу духовенства, была отменена уголовная ответственность за нарушение супружеской верности.

Для руководства финансами Струензе пригласил своего старшего брата, преподавателя математики из Силезии.

Карл Август Струензе оказался на редкость способным финансистом. Впервые за десятилетия бюджет сводился с превышением доходов над расходами. Чеканулась добротная монета. Остановился рост государственного долга.

Решительно пресекались непомерные траты двора: пересмотрены пенсии, многие отменены или уменьшены; сокращен приворный штат, уволена часть фрейлин, упразднен институт пажей, вместо них во дворце дежурили кадеты. Сокращено на сотню число королевских лошадей — лишние проданы. Прекращены перестройки дворцов, контракты с архитекторами и художниками расторгнуты.

Военное ведомство Струензе поручил полковнику Фалькеншильду, отозванному для этого с русской службы. Широко образованный военный, Фалькеншильд был либералом. Написанные им много лет спустя мемуары свидетельствуют о влиянии на него Монтескье. Реформы Фалькеншильда продолжали преобразования, которые пытался провести в Дании французский военный деятель Сен-Жермен. Тот считал, что на командные должности надо назначать не по знатности рода, а по заслугам, что следует сократить или вовсе упразднить гвардию, это «войско для парадов» (ведь победу приносит линейная пехота!), улучшить военное образование, отменить телесные наказания, ввести строгую дисциплину. Реформы Сен-Жермена встретили яростное сопротивление датской аристократии, и он получил отставку. Струензе вновь пригласил его в Данию, но Сен-Жермен отказался. Тогда Струензе предложил Фалькеншильду деятельно взяться за перестройку армии.

Эневольд Брандт, друг Струензе, никакого поста не получил. Человек весьма образованный и неглупый, он слыл весельчаком и прожигателем жизни. В сущности, он не мог нести ни малейшей ответственности за деятельность Струензе, судьбу которого ему позже пришлось разделить.

Струензе принялся решительно ломать застойный уклад жизни. 26 октября 1770 года было объявлено об отмене

празднования рождества, пасхи и ряда других религиозных праздников. Эта мера мотивировалась тем, что праздники-де «служат только поводом для пьянства и распустства». Легко представить себе, сколько озлобленных врагов принесли Струензе эти реформы!

Провозглашена была полная свобода совести, впервые в Европе, для всех и любых исповеданий. Закон признал равноправие евреев, и им открыт доступ в цехи и магистраты. Прекращена была постройка и реставрация церквей — вольтерьянец Струензе полагал, что их в столице и так слишком много. Несколько церквей были превращены в больницы и дома престарелых.

Впервые в Дании учрежден дом для подкидышей по образцу, очевидно, петербургского «Дома для несчастно-рожденных», открытого в 1763 году.

К негодованию духовенства, была запрещена всякая дискриминация внебрачных детей, запрещен и сам термин «незаконнорожденные». Родителям вменили в обязанность воспитывать внебрачных детей, были введены алименты. Церковникам пришлось узнать и более страшные вещи: крещение в церкви стало необязательным, был упразднен полицейский надзор за проституцией, отменены штрафы за «греховную» работу в воскресенье.

Конечно, реакция немедленно объявила Струензе безбожником, разрушителем семьи и морали, чудовищем разврата. Свобода печати тут же была использована для клеветы на прогрессивные начинания Струензе.

Нелепые сословные ограничения бюргеров были отменены. Право запрятать карету углом и носить башмаки с драгоценными пряжками получили теперь все!

Для публики открыли королевские парки, там стали играть военные оркестры. Желающим разрешили осматривать дворцы короля. Двор заметно опростился и обуржуазился. Посетивший Копенгаген шведский кронпринц был весьма уязвлен тем, что его посадили рядом с двумя бюргершами!

В столице сооружали мостовые, улицы получали названия, а дома — номера, ввели уличное освещение. Специальный закон предписал домовладельцам немедленно соорудить водосточные трубы.

Однако эти разумные меры были непопулярны. Раздражал немецкий язык законов, в спешке обходились иногда даже без перевода их на датский. Обилие актов исключало контроль. Впрочем, Струензе не



имел времени для проверки исполнения даже самых важных своих распоряжений. Их часто саботировали. Некоторые законы были плохо отредактированы, некоторые недостаточно продуманы. Для борьбы с роскошью при погребении, например, было приказано хоронить покойников только с наступлением темноты. Это, естественно, причиняло множество неудобств и озлобляло население.

Печатью полумер и компромисса отмечено крестьянское законодательство Струензе. Так, размеры барщины устанавливались в зависимости от ценности земли и удаленности надела от помещицкой усадьбы, однако барщина сохранялась. Крепостными отныне считались крестьяне мужского пола в возрасте от 15 до 34 лет (прежде — с 4 лет до 40). Помещику запрещено сдавать в рекруты непригодных к военной службе, но принцип сдачи крестьян в ландвер по воле господина сохранялся. Денежные сборы с крестьян вместо помещика теперь получало государство. Казна выплачивала крестьянину ссуду при переносе его дома, однако помещик мог по-прежнему согнать арендатора с надела. Струензе, правда, поручил особой комиссии разработку закона о полной отмене барщины и крепостничества, но осуществить свое намерение не успел.

Вместе с тем правительство продолжало распродажу коронных земель, начатую еще Бернсторфом в 60-х годах. Возникли десятки новых поместий, владельцы которых повышали ставки аренды, увеличивали повинности и безнаказанно стогнали крестьян с земли. Для многострадального крестьянства в конечном итоге не сделано было почти ничего.

Струензе и его друга Брандта король пожаловал землей — они сами стали владеть крестьянами.

7 июля 1771 года Струензе как лейб-хирург присутствовал при родах королевы. Это дало обильную пищу сплетням. Вся Европа называла новорожденную «мадемуазель Струензе». Пасквилянты вовсю использовали свободу печати. В день крещения принцессы Струензе получил звание рекетмейстера и чин второго класса. Бриллиантовая звезда только что учрежденного ордена Матильды украсила грудь фаворита.

17 июля Струензе был назначен кабинет-министром (пост ранее не существовал) с властью в стране еще невиданной. Он получил право издавать законы именем короля, даже не скрепляя их подписью монарха. В сущности, теперь верховная

власть переходила к кабинет-министру. Коллегии и министры могли обращаться к королю только через Струензе. Его диктатура получила юридическое оформление.

Безграничная власть вскружила голову фавориту. 30 июля Струензе и Брандт были возведены в графское достоинство. Вольнодумец и ученик Руссо, всегда с сарказмом говоривший о дворянстве, Струензе теперь, не жалея ни времени, ни сил, сам составляет себе герб и велит изобразить его на своих каретах, ливреях слуг, сервизах, книгах.

Реформы, впрочем, продолжались с неослабной энергией. Именно теперь прекратили выплачивать дотацию убыточным мануфактурам, приступили к окончательной ликвидации цехов, ввели свободу внешней торговли, открыли страховые конторы. Струензе пытался подчинить государственному контролю Датскую Ост-Индскую компанию.

Крупные преобразования проводились и в области культуры. Академия живописи, скульптуры и архитектуры была превращена в высшее учебное заведение, куда мог поступить всякий проявивший необходимые способности. Рыцарская академия в Сорё (Шляхетский корпус) была открыта для детей бюргеров. Готовилась реформа начальной школы, которая должна была стать светской (начальная школа в Дании конфессиональна и в наши дни). Струензе дал согласие учредить университет в норвежской столице Христиании (ныне Осло).

Указ следовал за указом. Реформы Струензе трудно даже обозреть. Законодательные акты появлялись непрерывно, в исключительно быстром темпе. Струензе занимался всем: реорганизовывал высшую администрацию, предписывал, как преподавать немецкий язык, закрывал церкви, перестраивал работу почты, реформировал университеты, велел насаждать леса, давал распоряжения относительно карнавалов, устройства мостовых, водостоков, фонарей; он сам составлял репертуар военных оркестров, игравших в отныне доступных публических парках. Главное — составить побольше хороших законов и охватить по возможности все стороны жизни. За 18 месяцев он издал 1069 новых законов! Все это делалось с быстротой, исключавшей всякую возможность следить за тем, как исполняются обнародованные указы, либо наказывать людей, саботирующих разумные нововведения.

Убеденность Струензе в том, что составление мудрых законов уже само по

себе панацея от всех бед, была настолько глубокой, что первое же серьезное противодействие отدانым им распоряжениям свергло его в растерянность. Военные реформы, подготовленные Фалькеншильдом, были начаты и тотчас же... отменены. 19 мая 1771 года объявлено о расформировании двух эскадронов кавалергардов, самой аристократической части армии. Эта мера была задумана еще Сен-Жерменом, Фалькеншильд тоже считал, что кавалергарды совершенно бесполезны, хотя и обходятся казне очень дорого. Офицеры увольнялись с половинным окладом, нижним чином а унтер-офицерам разрешался переход в пехоту. Мера эта, несомненно, была разумной, и Струензе не ожидал сопротивления. Но кавалергарды взбунтовались. Офицеры окружили ненавистного кабинет-министра и в ярости грозили ему смертью. Он был застигнут врасплох. Дрожаящей рукой вырвал Струензе листок из записной книжки и написал распоряжение об отмене указа. Так совершенно неожиданно обнаружилась слабость диктатора.

Правда, несколько позже Струензе все же уравнивал в правах офицеров гвардии и линейных войск. Это создало ему сотни новых врагов.

В начале сентября 1771 года забастовали норвежцы, нанятые на строительство фрегатов. До спуска кораблей на воду матросам платили половинное жалование. Строительство затягивалось, и терпение моряков истощилось. Матросы, человек двести, двинулись с челобитной к королевскому замку. Настроены они были мирно, но двор охватила неопишуемая паника. Королевская семья и кабинет-министр спешно перебрались в другой замок. Струензе проявил широту взглядов и мягкость, приказав выплатить морякам полное жалование за все прошедшее время. Кроме того, он распорядился выдавать впредь матросам водку и жареное мясо. Эта невиданная в тогдашней Европе гуманность не пошла, однако, на пользу кабинет-министру — его уступчивость только еще больше подстегнула рвение его многочисленных врагов.

Постылого временщика проклинали духовенство. Возмущалось и военное дворянство. кипели злобой чиновники. Негодовали собственники закрытых мануфактур. Рогогали рабочие, лишившиеся заработка из-за сокращения производства предметов роскоши. Современники единодушны в утверждении, что ненависть к режиму Струензе ярче всего горела именно среди низших и средних классов.

Трудно найти более разительный пример одиночества реформатора. Его преобразования объективно являлись буржуазными — таковы отмена цехов, равенство всех перед судом, отмена привилегий дворянства, реорганизация кредита и пр. Но реформы Струензе не завоевали поддержки ни буржуазии, ни крестьянства. Опорой диктатора был только узкий круг его сорудников — либеральных дворян.

...Заговор возник месяцев за пять до переворота. Организаторами были Юлиана Мария, вдовствующая королева, мачеха Кристиана, и его брат кронпринц Фредерик. Деятельное участие в заговоре приняли несколько энергичных и неразборчивых в средствах людей. Едва ли не виднейшим из них оказался Рантцау, еще недавно сыгравший большую роль в возвышении Струензе. В заговор вовлекли командиров обоих столичных полков. Одним из организаторов переворота был Ове Хег Гульдберг. Сын купца, получивший дворянство, он после падения Струензе стал первым министром. Технические вопросы переворота взял на себя Магнус Беринг, родственник знаменитого мореплавателя. Магнус Беринг ряд лет прожил в Петербурге, где участвовал в перевороте 1762 года. Его опыт теперь весь ма пригодился.

В начале 1772 года двор находился в Кристиансборге. Для выступления была избрана ночь на 17 января, когда караул в замке несли солдаты столичных полков, офицеры которых участвовали в заговоре. В 4 часа утра заговорщики собрались в покоях вдовствующей королевы. После молебна они направились в опочивальню короля.

Разбудив Кристиана, они сообщили ему потрясающую новость: раскрыт, мол, заговор, его драгоценная жизнь в опасности — Струензе намерен отравить его и жениться на королеве!

Кристиан тут же подписал заранее составленные указы об аресте Струензе, его брата, Брандта, Фалькеншильда, генерала Гелера — всего 15 человек. Жене король написал по-французски коротенькую записку, объявляя свою волю, — она немедленно сылалась в замок Кронборг.

Режим Струензе пал. Рано утром весть об этом разнослась по городу. В церквах служили благодарственные молебны. Толпа принялась громить дома друзей Струензе. Вечером столица сверкала огнями иллюминации.

Процесс Струензе и Брандта превратил-



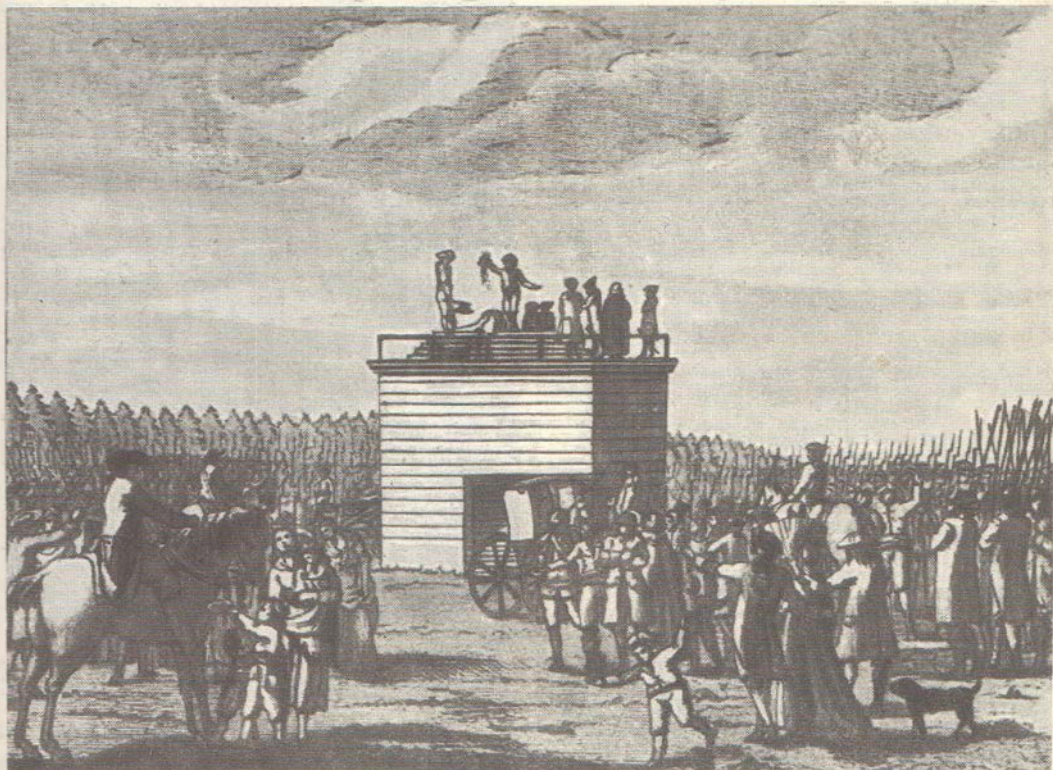
Струензе дает показания перед судом. Современная гравюра.

ся в судебный фарс. Низвергнутого правителя обвиняли в дурном обращении с королем, в «оскорблении величества», в преступной связи с королевой, в расхищении казны. Некоторые обвинения были совершенно вздорны. Струензе, поклонник Руссо, настаивал, например, чтобы маленького принца закаляли, приучали спать при открытом окне, ходить босиком, довольствоваться простой пищей. Это дало повод обвинить Струензе в «жестокости отношении к наследнику престола».

В тюрьме, прикованный цепью к стене, в кандалах, страдая от темноты и стужи, Струензе пал духом. Он признался в греховой связи с королевой. Ученик Вольтера и Гельвеция, враг попов и религии,

он принял исповедника и принес покаяние. Правда, он содержался в исключительно тяжких условиях.

Однако в ожидании казни Струензе написал и представил следственной комиссии «Апологию». В ней он изложил свои взгляды и подчеркнул, что сама жизнь навела его на мысль о необходимости реформ. Тяжелое положение страны не могло оставить его равнодушным. В своей «Апологии» Струензе уделил немало места тому состоянию, в котором находилось Датское королевство перед его реформами. Но вопроса о крепостном праве он здесь касаться не стал. Он, правда, сослался на особую записку по аграрному вопросу, но она до нас не дошла. Может быть, ее уничтожили.



Казнь Струензе 28.IV 1772 г.  
Современная гравюра.

Писал Струензе по-немецки. Датского языка он не знал.

В «Апологии» Струензе смело отстаивал правоту своего дела.

За этим громким процессом следила вся Европа. Лессинг язвил по поводу «победы попов» и выражал симпатию Струензе. Екатерина II ходатайствовала о смягчении его участи. Но тщетно.

28 апреля 1772 года Струензе и Брандт вошли на эшафот.

Реформы Струензе были попыткой воплотить в жизнь идеи Просвещения. Некоторые его нововведения предвосхитили законодательство Великой французской революции на первом ее этапе.

Что произошло с соратниками Струензе? Его брат Карл Август как прусский

подданный был освобожден и получил разрешение покинуть Данию с обязательством молчать о событиях, свидетелем и участником которых он был. Впоследствии он стал прусским министром финансов. Фалькеншильд провел четыре года в одиночном заключении. После освобождения он переселился в Швейцарию.

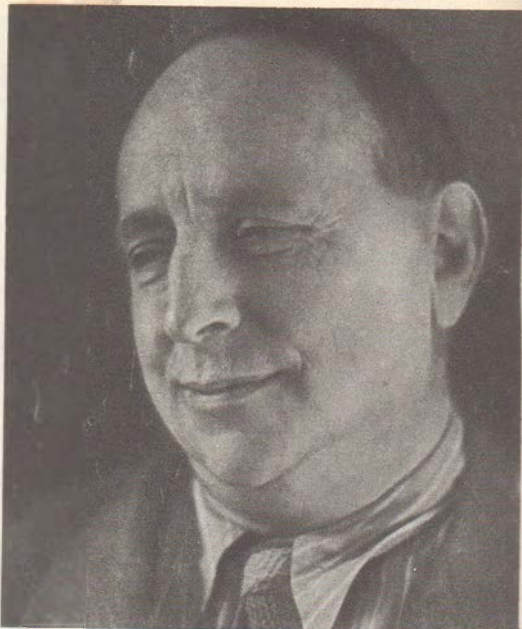
Уделом Каролины Матильды стала тюрьма. Брак ее с Кристианом был расторгнут. Впоследствии по настоянию английского двора ей разрешили уехать в ганноверские владения. Там она вскоре умерла от чахотки.

Все законы Струензе были отменены. Единственно, что уцелело от его нововведений, — это воспитательный дом.

Памятника Струензе в Дании нет.

Евгений Шварц

## Тетрадь № 1



Друзья и близкие Евгения Львовича Шварца рассказывают о его пристрастии к толстым и большим тетрадам. Если его спрашивали, что подарить ему на день рождения, он говорил: амбарную книгу. В объемистую тетрадь больше входило, в нее можно было дольше писать. В сорока амбарных книгах он записал всю свою жизнь, воспоминания о друзьях и недругах.

Предлагаемая читателю «Тетрадь № 1» имеет формат обычной тетради, но переплетено в ней около 500 листов. Если бы выполнялся первый пункт правил (писать ежедневно), тетради хватило бы ненадолго, а мы узнали много больше, нежели знаем сейчас (заимствовано у Андерсона и Шварца). Но это правило не выполнялось. И сейчас тетрадь более чем наполовину пуста. Шварцу же принадлежит там только 18 листов.

«Тетрадь № 1. Начата 19 июля 1928».

Ровно четыре года назад в июльском номере журнала «Воробей» было напечатано первое произведение, написанное Евг. Шварцем, — «Рассказ старой балалайки». В следующем году выходит несколько его книжек для детей в стихах и прозе, а журнал «Новый Робинзон» в шестом и девятом номерах публикует одну из интереснейших, на мой взгляд, сказок Шварца — «Два друга: Хомут и Подпруга», написанную великолепным раешником. Он становится редактором этого журнала и ведет отдел писем. Его ответы ребятам на смешливы и остроумны. Их он подписывает так же, как подписывал свои заметки и фельетоны в «Кочегарке» и «Забое» — Щур.

К июлю двадцать восьмого года вышло более десяти небольших книжек Шварца. Их иллюстрировали замечательные художники — В. Конашевич, В. Ермолаева, А. Пахомов.

К июлю двадцать восьмого года у него накопился уже солидный редакторский опыт — «Всесоюзная кочегарка», «Забой», «Новый Ро-

бинзон», детское отделение ГИЗа, с января начал выходить новый ежемесячный журнал для детей младшего школьного возраста — «Еж».

В двадцать восьмом году он работал над «Ундервудом».

В двадцать восьмом году ему исполнилось тридцать два года.

Пора было осмыслить сделанное, свое восприятие мира, заставить себя записывать ежедневно свои впечатления, мысли, увиденное в поезде, в трамвае, в редакции, на улице. И тут подвернулась толстая тетрадь, которую он и надписал первым номером.

Ни одна из записей не датирована, поэтому трудно установить, когда та или иная сделана, но первые — «По дороге в Псков» — написаны сразу же по возвращении из Пскова и соответствуют, по-видимому, дате 29.7.28. А последняя — «Туапсе» — сделана осенью 1929 года, после поездки на юг летом того же года.

Для исследователя творчества Шварца или его биографа наибольший интерес представляет, по-моему, первая часть тетради — «Философский кашель», «По дороге в Псков». Это небольшая повесть. Первая ее глава «Я все вижу!» — это вступление, план. «В дороге человек умнеет. Пока он сидит на месте, любой пустяк: скверный разговор, коррентура, заседание — могут заслонить от него весь мир. В дороге ты оторвался от всего — и все видишь. Я понял все: что нужно делать, как быть, как интересно стоят вагоны на рельсах, какая трава».

И в последующих он пишет, что же он увидел в том, как стоят вагоны, какая трава, что нужно делать и как быть.

Мир — это ковер с замысловатым рисунком, расшифровать который не так просто. А чтобы не сбиться и не запутаться, нужно наблюдать, записывать и осмысливать записан-

ное. «Есть мир, ты, бумага, перо. Только эти данные помогут тебе решить задачу».

Трудно удержаться, чтобы не цитировать еще и еще отдельные выражения, предложения, целые куски из «Философского кашля», но читатель прочтет их и без меня.

Следующим идет раздел «Факты и догадки». Это небольшие картинки-зарисовки с того громадного ковра жизни, о котором он писал вначале. Здесь и сценка в трамвае и в редакции, и услышанные разговоры, и вырезки из газет.

Работавшие в то время в редакции «Ежа» рассказывают, как по-разному относился Евгений Львович к авторам, приходившим туда. Редакционная комната была почти квадратной. Посередине стоял большой стол. Вернее — несколько составленных вместе столов, покрытых красной скатертью. С одной стороны сидели редакторы, с другой — художники. Большое окно, почти во всю стену, а напротив — дверь. Евгений Львович должен был сидеть за столом лицом к двери, но чаще его заставляли на подоконнике. Если в редакцию приходил самоуверенный автор и спрашивал: «Кто тут редактор Шварц?» — Евгений Львович каким-то чудом перемахивал через этот стол и, приземлившись перед носом удивленного автора, отвечал: «Я — редактор Шварц». Если же приходил застенчивый, не уверенный в себе автор, Евгений Львович бывал к нему очень ласков, боялся чем-нибудь обидеть и непременно прождал того до выхода.

Так, однажды пришел в редакцию «прихрамывающий, интеллигентный, красногубый, немолодой безработный человек» и принес четыре бездарные книжечки для детей. Приводя в «Тетради» стихи оттуда, Шварц не веселится над их автором. В записи «Мой девиз» чувствуется боль за человека, которому нечего есть, и боль за литературу, в которую бросаются за куском хлеба.

Мне не удалось разыскать газету, из которой сделаны вырезки, не переписанные, а просто вклеенные Шварцем в «Тетрадь», и потому даже здесь мне неизвестна дата. Заголовок «Что надо» дал этим вырезкам скорее всего сам Евгений Львович: Вот они:

«Рабочий в книге хочет видеть красивые выражения, чтобы впечатление от книги осталось на многие годы».

«— Даже у пролетарского писателя Серафимовича и у того тип рабочего надуманный! — говорит рабочий Коровин с фабрики «Дукат». — Не короткими рассказами писать, а длинными романами».

«Основное же совершенно справедливое требование рабочего читателя и новой книге — это «Дайте нам книгу занимательную, рисующую подлинную жизнь и написанную простым, понятным, красивым языком». Это, по видимому, отчет о какой-то читательской конференции, подписанный С. Е. Нелеповъ его положений не требует комментариев, не комментирует их и Шварц.

После этих наплек он долго не делает записей в «Тетради». Последующие страницы исписаны другими корреспондентами.

И вот — «Туапсе». В обращении к друзьям-соавторам он называет «Туапсе» очерком, отрывком из романа. Здесь уже чувствуется рука превосходного мастера слова. Описание города, его улиц, строящегося мола создают реальное ощущение зноя, духоты, пропыленности южного города. «А на улице с самого раннего утра жара, жара, пыль. Серые деревья, мягкие дороги, на столбах можно писать пальцем, на скамейку не сядешь — пыль, пыль». «Клубится, не уходя, сплошным облаком пыль».

Читаешь эти строки и чувствуешь, как пыль начинает скрипеть на зубах, как весь покрываешься серым облаком — волосы становятся бесцветными и жесткими, как спирает дыхание от духоты и хочется вместе с автором стоять в очередь к одной из бутылок, где продают холодное пиво.

«У домов серые кипарисы, серые акации, серые кусты».

На такой жаре недолго потерять человеческий облик. На наших глазах веселый армянин превращается в озверевшее животное. И для этого Шварцу нужно всего несколько строк.

Каждая зарисовка в этом очерке поражает подробностью, точностью, наблюдательностью и авторским отношением к происходящему. Последняя запись, сделанная рукой Евгения Львовича в этой тетради, — «Письмо». Это призыв писать!

«Пишите!»

Я больше не будет задерживать очередные статьи. Сейчас у нас пойдет живой обмен.

Пишите!

И не написал. Ни одной строчки.

Так еще не раз будет в его жизни.

В шестом номере «Нового Робинзона» за 1924 год появилось начало сказки «Два друга: Хомут и Подруга», о которой я уже упоминал. В девятом номере — продолжение. Конец так и не был написан.

Почти с самого рождения «Еж» стал печатать «Карту с приключениями». В тридцатом году Шварц выпустил «Карту» отдельным изданием и, по-видимому, стал охладевать к придуманному самим жанру. В 1933 году «Карта» печаталась уже всего в двух номерах (первом и девятом) и то на одной-двух страницах. В последнем номере этого года в «Письме «Ежа» читателям писатель Е. Шварц торжественно обещал, что будет писать для каждого номера «Карту с приключениями». И не написал. Ни одной строчки.

Так он не написал и романа, главой которого должна была стать статья «Туапсе».

И только в сорок девятом году, начав писать воспоминания, которые он так не хотел называть мемуарами, он писал их до самых последних дней своей жизни.

Евг. Биневиц

Тетрадь № 1 Начата 19 июля 1928.

## ЖУРНАЛ

### П р а в и л а:

1. Писать ежедневно.
2. Не вырывать ни одного листика.
3. Сотрудников три.
4. Записи в журнале не подлежат оглашению.
5. Один из сотрудников может давать задания двум другим.
6. Черновики запрещаются.
7. Вычеркивать прозрачно.
8. Писать можно о чем угодно, что угодно и как угодно.
9. Все на свете интересно.

19/VII 28.

Ленинград.

## ПО ДОРОГЕ В ПСКОВ

(Философский кашель)

### Я все вижу!

Когда я ездил в Псков — я поумнел. В дороге человек умнеет. Пока он сидит на месте, любой пустяк: скверный разговор, корректура, заседание — могут заслонить от него весь мир. В дороге ты оторвался от всего — и все видишь. Я понял все: что нужно делать, как быть, как интересно стоят вагоны на рельсах, какая трава.

### Как стоят вагоны

Если смотреть издали — ясно видишь: до чего легко стоит вагон на рельсах! Колесо касается рельсы только одной точкой.

### Трава

Даже на самых больших станциях между путями растет трава. А в Пскове курица привела на траву цыплят. Цыплята прыгали по рельсам и шпалам, а когда подходил паровоз, цыплята бежали во всю прыть опять на траву. Рельсы и паровоз — железные, цыплята — пуховые, но они сосуществовали вместе, и приятно было на них смотреть.

Один цыпленок попробовал напиться из лужицы нефти — и закашлялся.

### Как быть

Человек ждет событий, ясно выраженных указаний, чистого цвета и полного счастья. Начитанный, мечтательный человек!

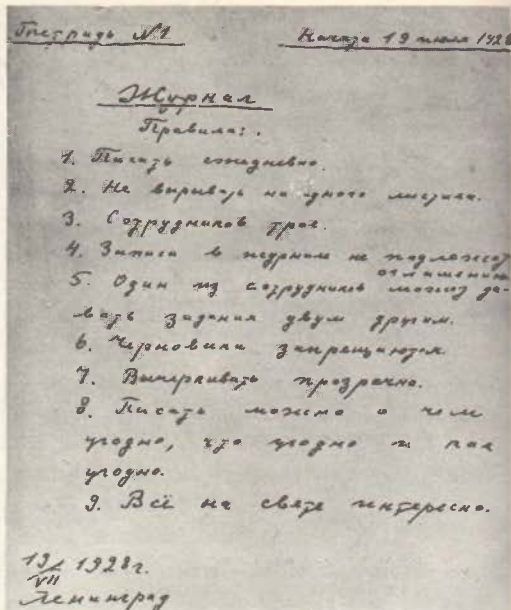
Все в мире замечательно и великолепно **перепутано**<sup>1</sup>. Это же форменная ткань. Это такой ковер, что хоть плачь. Но начитанный и мечтательный человек обижается, ловит мир на противоречиях, устает от сложности и засыпает. Он плюет на этот ковер. Он себе его не так представлял. Он вообще не верит, что на свете есть вещи, достойные внимания, то есть ясно выраженные.

Но они есть, о мечтательный человек! Правда, концы и начала замечательных вещей прячутся в серединах и продолжениях других замечательных вещей.

Правда, очень легко человеку сбиться, но есть один чудесный способ не сбиваться. Я продам тебе этот способ, о мечтательный человек. На, бери его. Вот он: **смотри**.

### Смотри. Смотри

Вот и все. Смотри — и все. Смотри, даже когда хочется щуриться. Смотри, даже когда обидно. Смотри, даже когда непохоже. Помни — мир не бывает не прав. То, что есть, то есть. Даже если ты



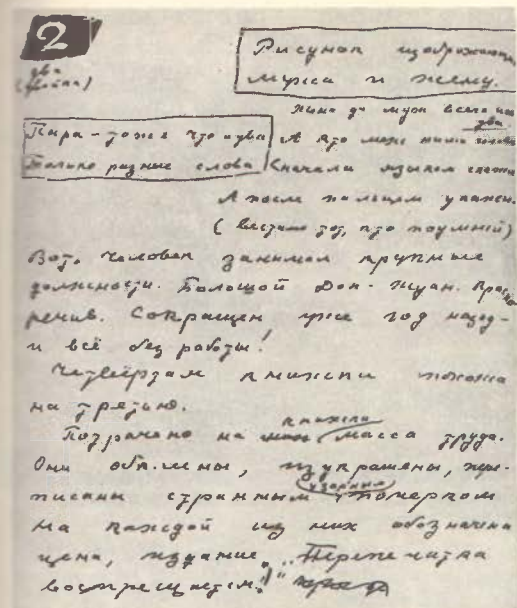
ненавидишь нечто в мире и хочешь это нечто уничтожить — смотри. Иначе ты не то уничтожишь. Вот. Понятно?

По железным рельсам бегают мягкие цыплята, один очень хороший человек вдруг повел себя как дрянь, ты всю жизнь ждал одной вещи и, получивши, обрадовался меньше, чем думал: то ты едешь к морю, и море не похоже на то, которое ждал, то слон меньше ростом, чем думал, — нет чистых красок, полного счастья, ясно выраженных указаний.

Как это хорошо! Ты окружен Америками, а Колумб ты один. Золото и драгоценные камни, колонии, леса! Обратите ваше внимание! Смотрите!

### Что нужно делать

1) Все нужно делать. Человек, который делает работу плохо на том основании, что она маленькая, пропал! 2) Мир перепутан, но паровоз остается паровозом, а цыпленок — цыпленком. Когда подходит паровоз, цыпленок удирает в траву. Будь паровозом или цыпленком. Помни о чужих, непоборимых и враждебных стихиях. Если ты попробуешь быть всем — ты все поймешь, перестанешь удивляться, пугаться, удирать. О чем же ты тогда будешь писать или, скажем, играть? Ну? Дурак! Пугайся! 3) Итак: оставаясь собой — тарачи глаза на мир, будто видишь его первый раз.



ди, которые знают, что хотят. А цыпленок, который выпил паровозной нефти и закашлялся, — это я, полезший в чужую мне стихию. Это я — философствующий.

## ФАКТЫ И ДОГАДКИ

### Милиционеры

Сегодня утром я видел, как пять милиционеров шутили, толкались и щекотали друг друга. Они, видимо, ехали с дежурства и радовались. Это было на трамвайной площадке.

Мой сосед по трамваю сказал:

— Наверное, взятку взяли, что такие веселые.

Моему соседу было сорок два года. В руках он держал газету, полную обличений, отчетов о судебных процессах, писем в редакцию.

### Революционные вещи

Вчера в редакцию пришла старая женщина в шляпе и в митенках. Она сказала: «Сейчас такой недостаток в подлинно революционных вещах для маленьких...»

### Мой девиз

Сегодня прихрамывающий, интеллигентный, неудержимо вежливый, красогубый, немолодой безработный человек принес четыре книжечки для детей.

Книжечки самодельные. Для печати. Одна называется «Пионерская песня «Мой девиз». Над заглавием автор нарисовал пионера. Под заглавием: «Цена 5 коп». По краям книжечка обклеена цветной бумагой. Стихи, например, такие:

Я малолетний пионер,  
Но уж во мне живет мечта:  
Встать грудью за Союз С Эс Эр,  
Коль подойдет к нему беда.

На оборотной стороне написано:

Ноты для хорового пенья к песне  
«Мой девиз» продаются особо  
по цене 35 коп. экз.

Перепечатка воспрещается!  
Другая книжка называется «Неведомый герой». Стихи, например, такие:

О жизнь! Тебя хоть люди кланут,  
Но умирать все ж не хотят.  
И лишь в лицо кончине взглянут,  
Тебе все горести простят...

Третья книжка: «Дед Борзодум». «Книжка цифирья». Стихи такие:

Угадывай течения и линии в великолепном мировом клубке. Записывай. И никому не верь! Есть мир, ты, бумага, перо. Только эти данные помогут тебе решить задачу. Помни — ты ничего не знаешь. Но забудь, ради бога, что ты занят величественной работой, миропониманием. Если ты будешь об этом думать все время, ты надорвешься, высохнешь, потеряешь всю легкость и веселость, без которых мир окончательно непонятен. Но **чувствовать** все время, что ты занят задачами мирового масштаба, нужно. Тогда (возвращаясь к пункту 1) — делай все. И во всем у тебя будут отклики великих пространств! Бесконечных времен!

Пример. Когда Чехов<sup>2</sup> играет Хлестакова, он **чувствует** задачи мирового масштаба. Когда Чехов играет Гамлета, он **думает**, что ворочает мирами, и — где легкость? смех? Негу ничего.

### «Ваши билеты!»

Все вышеизложенное есть попытка восстановить памятный мне ход мыслей по дороге в Псков. Мечтательный человек, которого я ругаю и pouчаю, — это я сам, я — лентяй. «Ваши билеты!» — это говорит кондуктор. Это значит — доехали: за окнами уже пошли псковские сады, семафоры, вагоны. Собирайте вещи, выходите. Ход мыслей обрывается. Вагоны, которые легко стоят на рельсах, очень хорошие лю-



## 1

один  
(единица)

Жить не сладко бобылю,  
Если даже он с деньгой.  
Все же думушку свою  
Разделить нельзя с другой...  
И всегда, как сыч в лесу,  
И в погоду и в грозу  
Он один, один, один...

## 2

два  
(двойка)

Пара — то же, что и два,  
Только разные слова.  
Жена да муж — всего их два.  
А кто меж ними голова?  
Сначала языком скажи,  
А после пальцем укажи.  
(Вестимо, тот, кто поумней.)

Рисунок, изображающий  
мужа и жену.

Вот. Человек занимал крупные должности. Большой Дон-Жуан. Красноречив. Со-  
кращен уже год назад, и все без работы!  
Четвертая книжка похожа на третью.

Потрачена на книжки масса труда. Они  
обклеены, изукрашены, переписаны стран-  
ным узорным почерком. На каждой из них  
обозначена цена, издание. «Перепечатка  
воспринимается!»

**Видишь, милка!**

Портника рассказывает: «Муж у меня,  
видишь, милка, с ума сошел. Родилось у  
нас двое, а потом девять лет детей не было.  
А на десятый год — видишь, милка — я  
и забеременела. Так он, милка, возьми и  
сбесись. Ребенок, говорит, не от меня! Я в  
больницу легла рожать, а он детям гово-  
рит: если черненький ребенок будет, я мать  
с дому выгоню. Родился, видишь, милка,  
верно, черненький. Муж молчит, ни слова.  
Подошел поздравить. А я ему говорю:  
«Сволочь! За десять лет что я от тебя за-  
служила? Перед детьми срамишь? Жизнь  
моя перед тобой — с кем я могла ребенка  
прижить?» Молчит. И пошел у нас, милка,  
бойкот. Как он денег на обед не даст —  
мы его за стол не пускаем. Дети его драз-  
нят. Я его, знаешь, милка, не ругала, но  
начну подругам говорить: есть, мол, такие-  
то и такие-то люди — а он понимает, что  
это я шро него. Ну вот. С год так прошло,  
и он, видишь, милка, помешался. Тихо  
помешался. Сидит и плачет. Пришлось мне,  
милка, ходить за ним как за маленьким.

Доктор говорит — расположение, почва  
как-то... Два года проплакал. Мне, видишь,  
милка, и жалко, и уж я ему смерти жела-  
ла. Квартира у нас, милка, маленькая. Ду-  
хота от него. Грязно. Ну, он и верно помер.  
Перед смертью смотрит на ребенка и пла-  
чет: прости, говорит, мальчик! Ты, говорит,  
мой, мой. А мальчик, видишь, милка, вы-  
литый он, только черненький — в бабушку.  
Похоронила — поплакала. Десять лет со-  
здоровым да два с больным прожила!  
И сейчас, по старой памяти, как беда ка-  
кая, я и думаю — с Васей надо посовето-  
ваться. А потом и вспомню: что же это  
я, господи! Ведь, он помер!»

**Разговоры**

«Такая я была хорошенькая, а теперь  
смотрю в зеркало — голова прямо не моя  
стала!»

«Мяжонькое дело — какое право! Меня  
же ударили, меня же и в отделение. Мя-  
жонькое дело!»

«Жена. Знаете, мне даже стыдно. Ска-  
жешь ему ночью: дай воды — и он шлепает  
босой на кухню.

Муж. Да, во мне этот стоицизм очень  
развит».

«Меня бить? Где мой наганчик?! Где  
мои стальные пульки!»

«Жена молодая, а он уже не так мо-  
лодой. Ему бы пивную открыть, а он же-  
нился».

«Ох, какое умное лицо у этого Бетхова-  
на! Теперь нет таких гениев!»

**Нищий**

Нищий сидел у моста. Перед ним пустой  
мешочек. На пустом мешочке копейки —  
черные большие и желтые маленькие.  
У ворот дома напротив — ломовая! Ло-  
шадь, битюг. Сам ломовой куда-то отлу-  
чился.

Вдруг битюг пошел на тротуар, заржал,  
заноровился.

Старик нищий вскочил, подбежал  
к страшному битюгу, ловко цапнул его под  
уздцы и заорал полным голосом:

— Эт-та что? Нн-у! Куды!

Битюг испугался, стал на место.

Нищий выругал его нехорошим словом  
и пошел к своим копеечкам.

**Туапсе**

На перекрестке стоит бутылка в две са-  
жени вышиной. В бутылке сидит человек  
и продает пиво. Тяжелые кружки то и дело

выряют в цинковый таз, потом мокрые — под пивной кран, а потом полные ледяным пивом — через ошощечко на улицу.

А на улице с самого раннего утра жара, жара, пыль.

Серые деревья, мягкие дороги, на столбах можно писать пальцем, на скамейку не сядешь — пыль, пыль.

Покупатель стоит у бутылки и вытирает лицо платком. Потом кончиком платка протирает углы глаз, потом сморкается, взглядывает на платок и укоризненно качает головой — пыль, пыль.

Бутылка сделана из фанеры и покрашена в темно-зеленую краску. Из горлышка лезет пена, вылиленная из фанеры. На пене, серой от пыли, сидит живой голубь с открытым клювом. Он вертит головой вправо, влево, смотрит, где бы напиток.

Негде напиток — везде пыль, жарко.

Бутылки стоят на каждом перекрестке. Торговля в бутылках идет без перерыва. Город растет.

[Вот вывески на одном квартале:]<sup>3</sup>

Упаковываем лучший виноград для уезжающих.

Мед, воск, фрукты и вина союза кустарей.

Галантерейная торговля:

Все для Вас.

Для подарков. Местные вещи. Для подарков.

Мануфактура братьев Аскиназий.

Чувяки, пояса, кинжалы.

В парикмахерской вместо двери — разноцветные ленты. Через все окно написано — бумажный плакат: «Электрические, охлаждающие веера для всех ожидающих».

В городе беспокойно, как в квартире во время большой уборки. Клубится, не уходя, сплошным облаком пыль. Тут дом в лесах, там рюк фундамент. Около Троицких казарм строят бензинный завод. У базара строят Центральный междусоюзный клуб.

Все школы полны до отказа: в классах, в коридорах, в физических кабинетах, в красных уголках — всюду экскурсанты. Школы сейчас не школы, а экскурсбазы.

Город стоит на холмах, улица то вверх, то вниз. Дома невысокие, белые. У домов серые кипарисы, серые акации, серые кусты.

Прямо перед городом прежде было море. Теперь море стоит синей, узкой полосой за портом, за молами.

Порт еще строится.

От двух мысов навстречу друг другу протянулись два мола. От мола до берега — сплошь кишат землечерпалки, барки непонятной формы, моторные лодки с вы-

сокими насосами, фелюги, баркасы. Плывет широкая машина с колесами. Странный пароход — мачты сдвинуты к носу и к корме, а середина длинная, несуразная, как туловище таксы. Вода не морская — желтая, зеленая, в радужных нефтяных пятнах, несвежая.

Берег — новый. Он вдвинут в море на двадцать саженей. Землечерпалки вычерпали со дна моря ил. Новый берег слеплен из ила.

Влево от старого порта новый берег уже готов, высох. По плоской долине ветер гоняет тяжелую пыль. У старого порта еще кончают постройку берега.

Здесь илистые болота. За болотами плавают большая машина. От машины на болоте идет толстейшая резиновая труба. Из трубы невысоким тяжелым фонтаном бьет ил.

По мягкому илу проложены доски. От старого берега по болотам, вытянувшись в ниточку, идут к машине столбы с электрическими проводами. На столбах фонари.

Машина шумит, свистки свистят, стучат цепи, плещет ил.

По доскам ходят люди с ведрами и собирают что-то в болотцах.

Рыбу собирают.

Рыбы ошалели от шума, мечутся, не знают, куда деваться. Иные попадают в машину и вылетают из трубы с илом, иные выбрасываются на берег сами.

У нового берега глубина будет 40 саженей. Могут приставать океанские пароходы. В городском парке заиграла музыка. Обеденное время.

Дорожки в парке усыпаны камушками. Низкие серые кусты, редкие серые деревья. Листья от пыли кажутся железобетонными.

Столики на веранде. На столиках судки.

Порция чебуреков 45 копеек.

Порция — 8 штук.

Музыканты в белых апашах. Их четверо. Пианист, скрипач, альтист, виолончелист.

Когда они отдыхают, слышно, как отчаянно в сухой траве палят цикады.

Против парка — милиционер, худой, желтый, востроносый. [Лица нет — один профиль.] Тощая цыплячья шея торчит из широкого воротника.

Милиционер поминутно зевает. Милиционер болен малярией. Здесь все болеет малярией. Однажды два малярика бредили друг с другом ночью. Окна у них закрыты. Жужжит малярийный комар. Духота.

— Я иду по тоне. По то-не.

— Потонет?

— По тоне!

- Кто потонет?
- Тоне!
- Тоне?
- По тоне!
- Тоне?

Юг ядовит. Раньше через этот город текла речонка. Теперь вместо речонки — засохшее гнище. Коровьи ребра, кости, дохлые кошки, обрывки шерсти, банки, солома.

У вокзала режет кур веселый армянин. У армянина длинный нож, как в сказках у людоеда. Куры в деревянной, низкой, большой клетке. Армянин хватает курицу за ногу и на верхней перекладине клетки — раз ножом. Голова летит в клетку, в клетку к живым курам брызжет кровь, куры кудахчут, а зарезанная прыгает и летает по пыли вокруг армянина. Вот вокруг него пляшут уже пять кур, вот — десятая, пыль, перья.

Армянин разошелся.

Последних кур он насаживает в клетку на кончик ножа, достает их на ноже наружу и сбивает им головы на лету. Куры уже не кудахчут, а каркают.

Вот и нет кур.

Клетка пуста. Тихо.

Иные зарезанные куры уже застыли, иные еще трепыхаются, иные летают.

Проехал конный милиционер. Лошадь испугалась — под самыми ее ноздрями пролетала пестрая курица. Вместо головы между крыльями птицы торчал кровавый пенек.

Милиционер нагнулся и хлестнул курицу кнутом.

Бац! — выстрел. Это на базаре. Взвизгнула женщина.

Бац! Бац! Посыпались стекла. Кто-то закричал: «Матушки, кончился я!» Бац! Бац! Бац!

У вокзала спят, не просыпаясь, люди. Стрельба их не разбудит. Они три ночи простояли у кассы, чтобы уехать отсюда. Сейчас они отсыпаются, а вечером у кассы опять подымут драку, крик. Они и спали бы у кассы, но сейчас вокзал моют. Люди спят в серой тени под редкими деревьями.

На вокзале моют кафельный пол. Моют его черной водой с карболкой. Стоит неблагоприятный, расстроенный запах.

Буфетчик сидит, подобрал ноги, на стойке рядом с бутербродами. Он взволнованно смотрит на согнувшихся до полу босых уборщиц и пристает к ним.

Начальник станции работает в духоте.

Перед ним счеты и регистратор. «Из четырнадцати семь — будет восемь», — шепчет начальник и откидывает на счетах восемь и пишет в книгу — восемь.

Стены в кабинете начальника до середины выкрашены серой клеевой краской, а выше — побелены.

— Вот если бы до верха этого серого была бы вода, — мечтает начальник. — Поплыть бы. У милиционеров есть бассейны в комнатах.

За окном — горячие паровозы, нагретые солнцем вагоны, мягкий асфальт.

## Письмо

Дорогие друзья! Этот год отличается тем, что он вертит человека как игрушку. Я уже перестал понимать что к чему. Никогда я так много не был занят, никогда я так мало не работал. Самые лучшие вещи вдруг упрятали все зацепки и проस्कальзывают через тебя как дым. Ничто не выводит тебя из состояния равновесия. Тупое равновесие!

Я ко многому отношусь сейчас как извозчика лошадь к вывескам. Вывески яркие, с картинками, но кнут, экипаж, оглобли и хомут!

Дорогие друзья, мне необходимо несколько очутиться. Нужно принять душ. Нужно взять себя за шиворот. Дорогие друзья, я прошу вас — не ругайте меня.

Я сейчас пишу довольно много — это душ, шиворот, пробуждение. Предыдущая статья «Туапсе» — это отрывок из романа. Может быть, я спасусь и начну понимать что-нибудь.

Я к чему это клоню — к журналу клоню. Пишите!

Я больше не буду задерживать очередные статьи. Сейчас у нас пойдет живой обмен.

Пишите!

Мы все в суете. Жизнь летит, как камушек. Ездят извозчики. Свистят мильтоны.

Пишите!

## Три коротких примечания:

<sup>1</sup> То, что подчеркнуто здесь, подчеркнуто и в подлиннике.

<sup>2</sup> Речь идет о великом русском актере Михаиле Чехове.

<sup>3</sup> Заключенное в квадратные скобки — прозрачно вычеркнуто автором согласно седьмому пункту правил.

Николай Чуковский

## Каторжник

День был небывалый — с утра шепоты в доме между отцом и матерью. Каторжника привезли со станции ночью, когда я спал, и заперли в комнате над лестницей. Эту комнату не отапливали всю зиму, она была пуста. Там держали масло, мясо. В углу, возле голой дощатой стены, стоял ящик с крокетными молотками и шарами. Но еще с вечера, еще до приезда, отец отнес туда деревянную складную кровать, и, засыпая, я слышал, как он таскал дрова, как ножом колот щепки на лестнице.

Вернувшись к нам в спальню, он сказал, чистя ладонью пиджак:

— Машенька, нужно завесить окно простыней, чтобы не было видно с дороги.

Мать вышла, растопырив перед собою простыню и держа булавки в губах.

А утром по мутному сияющему окну столовой прыгали тени от капель — был апрель. Мы пили чай вдвоем — каторжник из комнаты своей не вышел. Было решено, что он весь день просидит у себя в комнате. У отца и матери новые лица, они говорят шепотом. Я уже знал: он бежал из Сибири. Смутные ужасы были за его спиной — цепи, топоры, подземелья. Если его поймают, его будут бить и отправят назад на всю жизнь.

Мне было сказано, чтобы я сегодня никуда не ходил, ни с кем не говорил, не дай бог никому не рассказывал, что у нас в доме чужой человек. Я заранее тосковал от боязни проговориться.

Мать ставит на поднос стакан чаю, сахар,

масло, хлебницу. Поднос весь в белых никелевых искрах от солнца. Зайчик скачет по маминим пальцам, по груди, по лицу. Потом по буфету, по стенам. Мать выходит, вот она уже на лестнице. Я слышу, как наверху она стучит в дверь.

Лента матросской шапки щекочет меня за ухом. Я стою на крыльце и жмурюсь. На твердом утоптанном снеге перед домом — вода. Падают сосульки и звенят. Я спускаюсь с крыльца и толкаю носком калоши льдинку. Она разбивается на тонкие острые клинья.

Я иду по дорожке от дома, чтобы посмотреть на окно каторжника. Вокруг каждой сосны растаял снег, и на голой земле видна подсохшая хвоя. Но под елками снег толст и грязен. Я дохожу до калитки и оборачиваюсь. Окно завешено простыней, угрюмо глядит на меня белесым глазом.

Вдруг вижу: отец выходит из дому с деревянной лопатой в руках. Он в одном пиджаке, без шапки и даже без галстука. По утрам он всегда занимается, но сегодня, вижу, взволнован и не усидел за столом. Он начинает торопливо копать снег и швырять его под сосны, где уже растаяло, где голая земля. Комья снега летят, переворачиваясь. Они сияют снизу, они набухли водой.

— Не надо! — кричу я, хватая отца за руку. — Ты портишь весну.

Мне невыносимо, что он засыпает снегом оттаявшие места.

— Здесь солнце греет жарче, — пытается он мне объяснить. — Если я набросаю сюда снегу из-под елок, он скорее растает.

Но я неумолим. Я хватаюсь руками за лопату. Отец сдаётся. Он бросает лопату в снег, мы выходим за калитку и идем по дороге.

— Мне сегодня тридцать два года, — говорит он торжественно и печально.

На солнечной стороне дороги снег уже растаял, из-под забора торчит серая мокрая травка. Но на теневой стороне снег глубокий и ровный.

— Слева лето, справа зима, — говорю я.

— Хочешь, я сделаю так, что справа будет лето, а слева зима? — спрашивает отец.

Я не хочу. Я знаю, что он собирается делать. Он возьмет лопату и перебросит снег слева направо. Меня приводит в отчаяние эта его страсть засыпать оттаявшие клочки земли. И сочувствую весне, мне хочется, чтобы она победила зиму как можно скорее.

Но у отца умысел хитрый. Он берет меня за плечи и поворачивает.

— Видишь, теперь справа лето, а слева — зима, — говорит он.

Мы идем обратно к своей калитке. Нам навстречу идет знакомый рыбак по фамилии Пукка. На голове у него большая корзина. Издали слышно, как она скрипит при каждом его шаге.

Мы встречаемся как раз возле нашей калитки. Пукка здоровается с отцом одними бровями — корзина мешает ему кивнуть головой. Он хочет войти в калитку. Но отец взглядывает на окно, завешенное простыней. Я тоже. Я вижу — отец не хочет сегодня пускать посторонних в дом.

— Поставьте корзину здесь, на скамейку, — говорит он и машет рукою матери. Мать стоит в дверях.

Пукка ставит корзину на скамейку возле забора. Борода у него растет из шеи — от уха до уха, — а маленький розовый подбородок гол. На темной ватной куртке седая пахучая рыба чешуя.

Мать медленно идет к нам между сосен, в коричневой шали на плечах, с лоханкой в руке. Когда она подходит, Пукка снимает мешок, которым покрыта его корзина. В корзине горбатые окуни. Они бьют хвостами. Дергаются красные плавники и розоватые жабры. Один из них взлетает в воздух, блеснув на солнце светлым животом. Пукка ловит его рукою на лету.

— Живой, — говорю я, задыхаясь.

Мать начинает торговаться, но я умоляю: — В воду! В воду!

Отец берет двух окуней — того, что взлетел, и другого. Они изгибаются у него в руках. Он подходит к яме возле калитки, вырытой еще прошлым летом. Она доверху полна светлой сияющей водой. На дне ее примерзшая ледяная корка, сквозь которую торчат черные стебли травы.

Оба окуня падают в воду. Тот, который взлетел, кружится стремительно вдоль стенок ямы, потом вдруг замирает вытянувшись. Но другой переворачивается брюхом кверху. Жабры его жадно раздуваются.

Мать покупает еще пятерых, кладет их в лоханку и платит. Пукка уходит, поскрипывая корзиной.

Мы с отцом склонились над ямой. Окунь, который взлетел, неподвижен. Только если взглядишься, увидишь, как колеблются румяные плавники. Но он весь напряжен, он готов ринуться вперед. Отец прутиком касается воды, и он вдруг начинает кружиться с такой быстротой, что мы теряем его из виду. Потом замирает вновь.

— А этот уже не поправится, — говорит папа про второго. — Отдадим его маме.

Мать еще не ушла. Она стоит у калитки с лоханкой в руках и смотрит на нас.

— Не надо! — прошу я. — Погоди.

Второй окунь плавает по самой поверхности, спиной вниз, движет хвостом и даже пытается перевернуться. Но безуспешно — вспученный белый живот его опять выплывает наверх.

Мы спорим. Мы не видим, что мать смотрит уже через нас вдаль, в конец дороги. Мы не слышим, как трещат, приближаясь, колеса.

— Ленсман! — говорит мать и хватается отца за плечо.

Отец выпрямляется. По дороге катит двуколка на красных колесах. Лошадка мирно потряхивает крупом. Когда колеса въезжают в лужу, раздается звук, будто рвут бумагу. Брызги летят, двуколка качается. Уже издали вижу я полицейскую фуражку и рыжие усы.

— Ленсман! — говорит отец приглушенным голосом. — Неужели к нам?

Они оба взглядывают на окно, завешенное простыней. Я вспоминаю о каторжнике. Ужас охватывает меня. Сейчас случится самое страшное, чего я даже представить себе не могу. Все обнаружено, все открыто.

— Проедет... — шепчет мать.

— А вдруг не проедет?

Отец опять наклоняется над ямой и разглядывает окуней. Здоровый окунь неподвижен — дрожат только кончики плавников. Большой — животом вверх — тяжело дышит. Но я знаю: отец не видит окуней, хотя смотрит на них. Лицо его серо, глаза неподвижны.

Я тоже наклоняюсь над ямой, повернувшись к дороге спиной. Мы притворяемся, будто нам необычайно интересно все, что происходит в яме. И тайком слушаем треск приближающейся двуколки. Мы ждем.

Как долго приходится ждать! У меня начинает болеть спина. Но обернуться я не решаюсь.

Вот рядом — шлепанье копыт по снежной липкой грязи. Отец еще пристальней смотрит на воду.

Двуколка останавливается за моей спиной. Колесо почти касается моего пальца. Но я не оборачиваюсь.

Я ничего не вижу, кроме воды, черных травинок на дне, окуней, но чувствую затылком, плечами, лопатками, что ленсман нагнулся надо мной с сиденья и смотрит через мою голову в воду. Яма темнеет — на поверхность воды упала его грузная тень.

— Рипа, — говорит ленсман.

Отец выпрямляется и оборачивается.

— Да, рыба, — отвечает он.

Я тоже разглядываю ленсмана. Он сидит на высокой двуколке, как на троне. Черная шинель его расстегнута, и наружу выползает живот в белом кителе. Красноусый, синеглазый, он сам похож на окуня. На груди его, под расстегнутой шинелью, висят рядом медали, которые я простодушно считаю полтинниками.

Он больше не смотрит в яму — любопытство его удовлетворено. Мы ждем молча. Руки его в белых перчатках — он держит вожжи. Вот он выпячивает тонкие губы и чмокает. Вожжа щелкает по спине лошади. Двуколка катится дальше.

Мы смотрим ей вслед.

— Он едет в Кювенепский приход, — говорит отец, счастливый. (В Финляндии губернии делились не на уезды, а на приходы.)

Отец ловит больного окуня и швыряет его матери в лоханку.

— Хватит тебе одного.

Я не спорю. Окуни меня больше не забирают. Проехал, проехал! Наш каторжник спасен.

Мы тродем между сосен идем к дому.

— Это долг каждого честного человека, — говорит отец и смотрит на мать многозначительно.

Мать вздыхает.

В тот день весь дом был полон каторжником. Иногда я забывал о нем, начинал следить за мухами, вдруг ожившими на окнах, за каплями, прыгающими по карнизам, за солнечным лучом, который пыльной трубой тянулся через всю столовую, чтобы поиграть на рюмках в буфете. Но затем я снова все припоминал, луч тускнел, мухи наводили уныние, и, слоняясь, брел от окна к окну, от стула к стулу.

Отец сел на диван с книгой в руках. Но я видел, что он только притворяется, будто читает. Помолчав немного, он заводил с матерью разговор вполголоса, потом опять молча смотрел в книгу.

Иногда наверху, в комнате каторжника, раздавался стук шагов — он начинал ходить. Мы вздрагивали и подымали лица к потолку. Мы не двигались и не произносили ни слова, пока шаги не замолкали.

За полчаса до обеда отец встал и поднялся по лестнице наверх.

— Пойду посижу у него, — сказал он, уходя.

Пока он сидел у каторжника, внизу ничего не было слышно — они, вероятно, разговаривали шепотом.

— Неинтеллигентный человек, а такой развитой, — проговорил отец, возвра-

тясь. — Маляр из Николаева. Читал все брошюры, — прибавил он, усмехнувшись. — Это уже второй побег. В первый раз он бежал из киевской тюрьмы. Его поймали и закатили в Сибирь. Теперь бежал с этапа. Упорный малый.

Он сказал еще что-то — о русском народе, — чего я не понял.

Мать слушала его, стоя в дверях и держа перед собою миску. В миске была уха, пар клубился над ней, и мамины щеки краснели от влажного жара.

— Смелые люди, — сказала она, вздохнув. — Какая страшная жизнь!

И поставила миску на стол.

Во время обеда она дважды подымалась наверх к каторжнику — отнесла ему уху и второе. Мы из столовой слышали, как она осторожно стучала в дверь.

К концу обеда на столе появился яблочный пирог — сегодня папин день рождения. Я, сдерживая дыхание, сосредоточенно смотрел, как нож в маминой руке разрезает рыхлое сладкое яблочное золото на ровные четырехугольники.

— Он получит пирога? — спросил я заботливо.

— А как ты думаешь? — Мама рассердилась. — Не спрашивай глупостей.

Она отрезала ровно четверть пирога, положила на большую тарелку и торжественно понесла наверх.

После обеда отец ушел к себе в кабинет и лег — он, утомленный волнением, прятался от своего беспокойства. Мать мыла на кухне посуду. Я бродил по комнатам в тоске. Уж давно я слышал странный, мягкий, мерный стук, доносившийся сверху: раз-два, раз-два.

Этот стук тревожил меня — я не мог найти ему объяснения. Если бы это был стук шагов, он не раздавался бы на одном месте и так равномерно, с одинаковыми промежутками. Что делает там каторжник? Я прислушивался к стуку, и у меня все замирало внутри.

Я до сих пор еще не видел его и, должно быть, не увижу. Какой он? Почему-то представлялся он мне высоким, с огромной черной бородой, в синей русской рубашке, в мужицких сапогах. Такие люди порой снились мне по ночам, когда я засыпал, лежа на спине.

На носках подошел я к двери кабинета. Но войти туда не решился — отец кричал на меня, когда я мешал ему спать. Постояв возле двери, я медленно побрел на кухню.

— Сколько раз я тебе говорила, — (милая мамин обычай — все разговоры со мной начинать словами: «Сколько раз я те-

бе говорила!» В этих словах звучало отчаянье. И, должно быть, теперь я был бы совсем другой, гораздо лучше, если бы всегда делал то, о чем она мне говорила столько раз), — сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не ходил на кухню.

Я вышел из кухни в сени. В сенях началась лестница, которая вела вверх. Мерный стук наверху раздавался по-прежнему. Он привлекал меня и тревожил, он не давал мне покоя. Еще не зная, что сделаю дальше, я осторожно поставил ногу на первую ступеньку.

Вот я иду по ступенькам все выше и выше, в темноту, останавливаясь, замирая. С ужасом слушаю я протяжное пение досок у себя под ногами. Это певучая лестница, каждая ступенька поет на свой голос. Я подымаюсь, зная наверняка, что никогда не осмелюсь открыть дверь и войти.

Лестница делает крутой поворот. Там, за поворотом, всегда мрак, пугавший меня еще и раньше, еще до приезда каторжника. Я останавливаюсь, треща. Все тихо. Только наверху — мерный стук.

Я иду выше.

И за поворотом вдруг вижу тусклый столб света.

Дверь в комнату каторжника приоткрыта. Из щели течет свет, белесый, как сыворокна от простокваши. За дверью размеренный, точный стук: раз-два, раз-два.

Ступени так пронзительно воят под ногами, что, сделав шаг, я останавливаюсь, мокрый.

И все же я иду выше, выше, выше.

Вот, наконец, я у самой двери. Я придвигаю лицо к щели и смотрю внутрь, в комнату.

Я вижу край окна, завешенного простыней. Свет проникает сквозь простыню, и комната полна тусклым молочным сумраком. Слегка скосив глаза, я вижу каторжника. Он стоит ко мне боком возле складной кровати.

Это человек небольшого роста, круглолицый, бритый, в сером пиджаке и черных башмаках. Ни бородищи, ни великанских сапог, ни синей русской рубашки.

Прежде всего я замечаю его мелькающие руки.

Он подбрасывает в воздух четыре крокетных шара. Они возносятся кругами и, чуть-чуть не достигнув потолка, падают в подвижные ладони, чтобы мгновенно опять взлететь. Они не сталкиваются там, в воздухе. Они постоянно на равном расстоянии друг от друга. Они крутятся мерно, как спицы колеса.

Одна нога каторжника выставлена впе-

ред. Он качается, как заведенный, переступая с ноги на ногу. Подошвы его мягко стучат об пол. И это тот самый таинственный стук, который привел меня сюда.

Лицо его приподнято кверху. Он мне кажется совсем молодым. Маленький вздернутый носик. Торчком стоят короткие светлые волосы — он недавно был острижен наголо, и они только начали отрастать. Над ним в стройном порядке летают деревянные шары с синими и красными полосками.

Я все глубже засовываю лицо в щель. Я толкаю головой дверь. Я не замечаю, как она мало-помалу отворнется все шире. Я забываю обо всем, я вижу только шары и стремительные руки.

Дверь открыта настежь, и я стою на пороге. Он меня не замечает. Он поглощен шарами. С машинной точностью качается он. Голубой шнурок с помпонами, завязанный вместо галстука, прыгает у него на груди в такт качанью.

Вероятно, он слышит мое дыханье. Шары внезапно один за другим летят на кровать, и он оборачивается.

— Мальчик! — говорит он.

Я отпрыгиваю к лестнице, в тьму.

— Постой, постой! Куда ты? Я очень рад, что ты пришел.

Он стоит передо мной в дверях. Я бычусь, стесняясь, я не смею взглянуть ему в лицо и рассматриваю серые брюки, побуревшие внизу, с мешками на коленях.

— Я знал, что в доме есть ребенок, — продолжает он. — Я слышал, как ты бежал и кричал. Только я думал, что ты девочка. Отчего у тебя голос, как у девочки, а?

У него мягкий южный говор. Я слышу такое произношение впервые, и оно мне чрезвычайно нравится. Я не знаю, что есть места, где все люди говорят так же мягко, и считаю, что это его личная особенность. Такой необыкновенный способ выговаривать слова кажется мне признаком доброты, кротости. Да он вообще добрый и не страшный, этот каторжник.

Он берет меня за плечо и выводит на середину комнаты. Я не упираюсь.

— Молодец, — говорит он, щупая мои бицепсы. — Ты, видно, здоровый мальчик. Ты здесь всегда живешь, и зиму и лето?

Рука моя, в самом толстом месте, возле плеча, целиком помещается между двумя его пальцами — большим и средним.

Я молча киваю головой.

Он садится на кровать, продолжая меня разглядывать. У него простое лицо, такое обычное, что мне кажется, будто я с ним давно знаком. Теперь я вижу, что он не

так уж молод — на щеках у него сероватая, тусклая кожа.

— Не уходи, оставайся, — говорит он, хотя я уже не собираюсь уходить.

Ему, вероятно, скучно.

— Сколько тебе лет? Десять? Нет, меньше... Восемь?

Я опять киваю головой.

Он молчит. Я тоже. Во всем доме — ни звука. Слышно, как капли стучат за окном. В этой комнате зимние рамы не вставлены.

— Тебе нравится, что весна? — спрашивает он наконец. — Я люблю весну, — продолжает он, не дожидаясь ответа. — Но вот проехал всю Россию, а мне никак не удастся ее повидать. Гляжу только из окна вагона. Тут у вас даже окно завешено...

— А где вы научились бросать шары? — говорю я, осмелев.

Он смеется.

— Я все умею ловить и подбрасывать, не только шары. Шары я бросаю в первый раз. Когда я учился этому, у меня не было шаров. Я подбрасывал ложки, вилки, кружки, тарелки, башмаки, книги. У меня времени свободного было очень много. Весь день нечем заняться. Я скучал. И чтобы что-нибудь делать, я стал бросать и ловить вещи, которые у меня были. Я провел совсем один целых два года...

Он замолкает, решив, вероятно, что не стоит мне рассказывать о своем заключении.

— Я могу подбрасывать сразу пять-шесть вещей и ничего не уронить на пол, — продолжает он. — Здорово, а?

— Где вы были один? — спрашиваю я уже совсем бесстрашно. — В тюрьме?

Он видит, что я знаю, и молчит, нахмурившись.

Мне становится его жалко. В этих коротко остриженных, торчащих щеткой волосах есть что-то мальчишеское, школьниче. Я вспоминаю картинку: каменные своды и узник, прикованный к стене цепью.

— А вы были прикованы к стене цепью? — спрашиваю я его.

— Нет, — отвечает он.

— Ага. Ну тогда лучше, — успокаиваю я его.

Он смеется, и я смущаюсь. Его пальцы касаются моих плеч, моего подбородка. Он трогает и ласкает меня, как зверюшку.

— Я давно не видел детей, — говорит он.

И, вскочив, начинает ходить по комнате.

— Ты, верно, последний русский мальчик, которого я вижу, — говорит он, шагая. — Там все чужое, ничего своего не

останется. А я говорю только по-русски. Как я буду там? Нет, я вернусь, непременно вернусь, попрошусь на какую-нибудь работу и вернусь. А впрочем, когда это еще будет? Может быть, через многие годы. Приеду, а ты уже большой, а я седой и старый. Встретимся, а?

Он останавливается, засунув руки в карманы, и глядит на меня. Потом продолжает, отвернувшись:

— Я говорю, будто я уже там. А удастся ли мне еще перебраться — бог его знает. Еще два дня, целых два дня до переправы. Тогда будет все известно, ясно и решено, если я не попадусь раньше.

Он говорит это не мне, а самому себе. И говорит еще что-то много, долго. Я с наслаждением слушаю эту непривычную мягкую речь, эти круглые слова, эти «г», произносимые почти как «х», эти «ы» — почти как «и». Из всего я понимаю только, что он тоскует, что он измучен тревогой.

— Вот уже две недели, как я двигаюсь только по ночам, — слышу я, — а днями отсиживаюсь где-нибудь, как сегодня.

— Вы долго будете у нас? — спрашиваю я.

Каторжник вспоминает обо мне, опять глядит на меня и начинает улыбаться.

— Я уеду сегодня ночью, когда ты будешь спать, — говорит он.

— Оставайтесь, — прошу я, огорченный.

— Не могу, никак не могу.

Мне хочется сделать ему приятное, что-нибудь подарить. Я вспоминаю об окуне в яме.

— Оставайтесь, я подарю вам окуня.

— Какого окуня?

— Живого.

Я начинаю рассказывать ему, как в корзине Пукки оказались живые окуни, как один из них подпрыгнул и как отец бросил его в яму с водой. Он слушает меня внимательно, восклицает: «Да ну!», «Не может быть!» Это подбадривает меня, я рассказываю торопливо, возбужденно, довольный, что есть кому рассказать.

И вдруг слышу — мама зовет меня снизу.

— Сейчас! — кричу я. — Погоди минутку!

Мне не хочется уходить. Я уже рассказываю о том, как второй окунь перевернулся брюхом вверх.

Но мать неумолима. Она стоит в сенях возле лестницы и кричит:

— Скорей! Иди! Я жду!

Я беспомощно смотрю на каторжника.



Я хочу, чтобы он попросил мать позволить мне остаться еще немного.

Он подходит к двери и говорит вполголоса, но раздельно и очень учтиво:

— Оставьте его! Нам с ним тут весело.

Однако мать с вежливым смехом, но непреклонно отвечает:

— Нет, он мне нужен.

Я смотрю на каторжника, он на меня. Я вижу, что ему тоже не хочется расставаться со мной. Лицо у него растерянное, он не знает, что делать. Потом он начинает шарить по карманам, вынимает какую-то деревянную шутовинку, сует мне в руки и шепчет:

— Ну иди, прощай.

Я сбегая вниз по лестнице.

Мать берет меня за локоть и отводит в столовую.

— Сиди здесь, — говорит она. — Разве я позволила тебе ходить наверх?

Мать, конечно, относится к каторжнику очень хорошо. Но все же она не хочет, чтобы я виделся с ним. Он человек чужой и страшноватый.

В столовой я разжимаю кулак и разглядываю шутовинку, которую он сунул мне в руку.

Это деревянный человечек в цилиндре, в сюртуке с фалдочками, в ботинках, на которых есть даже бугорочки, изображающие пуговицы. На верхушке цилиндра круглая дырка. Если потянуть за голову, шея начинает удлиняться, вытягиваться и, наконец, совсем вылезает из туловища, отделившись от него. Теперь голова сидит на длинной узкой палочке, внутри которой проверчена насковзь дырка.

Отец выходит из кабинета. Он берет человечка и разглядывает его. Прищурившись, он смотрит в дырку.

— Самодельный мундштук, — говорит он. — Вырезан перочинным ножом из полена. Искусно сделано.

Человечек возвращается ко мне.

С тех пор прошло много лет, и в памяти слились одинаковые, ровные дни моего детства. Но этот день, выпавший из времени, я помню весь, целиком, до малейших подробностей, каждую его минуту.

Мне удалось еще один раз повидать каторжника.

Я проснулся ночью. Ночничок на столе едва мерцал. Между шкафом и печью — тьма. Мамина кровать, стоявшая рядом с моей, была пуста и прибрана: мама еще не ложилась.

Хлопали двери в разных концах дома, двигались приглушенные голоса, звенели половицы, ухали мужские шаги и постуки-

вали мелко мамины каблучки. И даже за окном на дворе был шум — я слышал, как скрипели подошвы по талому снегу, как фыркала лошадь. Я лежал не шевелясь, раскрыв глаза, и слушал, как звуки разгорались и потухали вокруг меня.

Щель под дверью вдруг вспыхнула, засияла. Сквозь замочную скважину в спальню ворвался желтый узкий луч и побежал, шатаясь, по кроватям, по стенкам. Это мать ходит в столовой, рядом, с керосиновой лампой в руках.

Я умел читать стук маминих каблучков, как телеграфист умеет читать стук телеграфа. По этому стуку я научился отгадывать каждое мамино движение. Вот сейчас она огibaет стол в столовой и подходит к двери. За ней что-то тяжелые, незнакомые шаги.

Дверь отворилась. Я зажмурился от света лампы.

— Войдите сюда, — сказала мать кому-то стоявшему за ней. — Подождите здесь. Я сейчас приведу его.

Мать остановилась на пороге, торжественно держа лампу в вытянутой руке. На потолке, как раз над ламповым стеклом, сиял желтый неподвижный кружок, ослепительно яркий.

В спальню вошел человек в тулупе и высоких сапогах. Он сел на стул возле ночничка, положив большие руки себе на колени. Мать вышла, закрыв дверь. По топоту каблучков прочитал я, что она прошла в сени и подымается по лестнице наверх.

Человек ожидал неподвижно. Он, вероятно, меня не видел — кровать моя стояла в темном углу. Мне были знакомы эти подстриженные бесцветные усики, эти светлые брови на круглом лице. Я узнал его — он приказник галантерейного магазина на станции, и зовут его Паркинен. Ему было года двадцать два. В магазине мать всегда здоровалась с ним за руку. Там, среди выдвинженных ящиков с кружевами и лентами, он был в пиджаке, в цветной рубашке, в полосатом галстуке. Пальцы его легчайшим движением раздвигали узкие ножницы длиной в пол-аршина. Мне странно было видеть на нем высокие сапоги и тулуп. Из-за голенища у него торчал кнут.

Опять вспыхнула щель под дверью. Опять я слышу, как мать обходит стол в столовой, опять за нею мужские шаги. Открывается дверь. Мать с лампой вновь на пороге. Вошел каторжник в расстегнутом осеннем пальто, держа узелок. Вошел отец.

Паркинен встал. Огромная черная тень

его поднялась по стене и уткнулась головой в потолок. У него было неподвижное, торжественное лицо. Он, видно, стеснялся.

— Вот, познакомьтесь, — сказал отец каторжнику. — Это Паркинен. Он вас доведет. Здесь сорок верст. Вы как раз поспеваете к утреннему поезду.

Каторжник казался совсем маленьким рядом с отцом и Паркиненом. Он был не больше матери. И тень его, маленькая, серюченнная, терялась рядом с исполинской тенью приказчика.

Он, улыбаясь, протянул Паркинену руку. — Мне рассказывал про вас Шилов, — сказал он на своем мягком наречье, заглядывая ему снизу в глаза. — Я знаю, вы ведете здесь работу. Он очень о вас тепло отзывался. Я рад, что с вами встретился. А мы не опоздаем к поезду? На ближайшей станции сесть нельзя? Мне непременно послезавтра нужно быть в Торнео. Там меня переправят в Швецию. Вы говорите — сорок верст? Не опоздаем?

Каторжник смотрел на Паркинена, ожидая ответа. Но Паркинен молчал. Он переступал с ноги на ногу в тяжелых сапогах. Он думал. Я знал, что он плохо говорит по-русски. Он обдумывал, как ответить каторжнику русскими словами. А может быть, он и совсем не понял, о чем его спрашивал каторжник.

— Я сосиаль-демократ, — проговорил он наконец.

— Он спрашивает, не опоздаете ли вы на поезд? — спросила мать громко.

Она всегда кричала, разговаривая с финнами. Ей казалось, что, если она будет кричать, ее лучше поймут.

Но отец зашипел на нее испуганно:

— Тихе! Что ты орешь?

Из невнятного ответа Паркинена поняли, что не опоздают.

— Ну, все? — спросил каторжник, обобщившись.

Он обнялся с отцом. Потом пожал матери руку, низко поклонившись.

— Почему вы не спали днем? — спросила она. — Ведь вам всю ночь не спать.

— Не могу спать, — отвечал он. — Не спится. Я уже несколько суток не спал.

И вышел, таща свой узелок. Все пошли за ним. Дверь осталась открытой. Лампа через столовую проплыла в сени, уведя за собой все желтые блики. Вот открылась

наружная дверь. Ветер коснулся моего лица. Шевельнулись занавески на окнах.

— Добрый путь! — услышал я издали мамин голос.

И отец повторил как эхо:

— Добрый путь!

Они возвращались уже одни. В столовой отец сказал тревожно:

— Как они доедут по таким дорогам. Все растаяло. Грязь выше колен.

И пошел в кабинет.

Мать вошла в спальню, наклонилась над столом и мотнула головой. На стол посыпались шпильки. Она раздевалась.

А за окном глухо гудело: «У! У!»

Это Паркинен кричал на лошадь. Стучали копыта по мягкому мокрому снегу, удаляясь.

Утром, едва проснулся, я вспомнил: «Уехал! Уехал!» В доме было все обыкновенно, как будто он никогда не приезжал. После чая я с тоской поднялся наверх по лестнице. Мне вдруг страстно захотелось побывать там, где я вчера говорил с ним.

Там было пусто, как третьего дня, как месяц назад. Простыня, уже ничего не скрывающая, все еще висела на окне. Складная деревянная кровать с парусиновым верхом стояла у стены. Крокетные шары лежали в ящике. Как он подбрасывал вчера их, эти шары!

Не зная, куда деть свою тоску, я вдруг вспомнил об окне. Ведь я собирался подарить его каторжнику! Мне захотелось сейчас же повидать окуня — последнее, что осталось от вчерашнего небывалого дня. Я вышел из дому.

Звенели, падая, сосульки. Глубокие, возникшие за ночь следы лошадиных копыт перед домом были доверху полны водой. Я побежал к калитке. Оттаявшие круги под соснами стали больше, сливались — весна шла стремительно. Я выбежал на дорогу и склонился над ямой.

Вода в яме прозрачна, как воздух, и полна солнцем. На белом дне торчат черные неподвижные травинки. Но где же окунь? Окуня нет. Я долго смотрю, надеясь, что он вдруг возникнет, что вдруг колыхнется его темная узкая спинка. Но его нет, он исчез, он похищен.

Я выпрямляюсь. Мелкие лужи сверкают, как блестящие, на талом весеннем льду. Вершины елей плывут в пустынном небе.

Мир потускнел для меня, выцвел.



Андре Моруа

## Современная биография

Мой предшественник, Э. М. Форстер<sup>1</sup>, начал свой курс с обращения к Кларку. Прежде всего он просил, чтобы дух Кларка, витающий над собранием, уделил ему хотя бы частичку своей честности и неподкупной эрудиции, а затем умолял, чтобы тот слушал оратора невнимательно, потому что, сказал Форстер: «Я выйду за пределы темы «Период или периоды английской литературы» и не буду придерживаться установленным рамкам».

<sup>1</sup> Эдуард Морган Форстер (р. 1879) — английский писатель. В 1927 году прочел в Кембридже цикл лекций под названием «Аспекты романа». В этих лекциях он отводил весьма скромное место художественной литературе.

Александр Гладков

## На полях книги Андре Моруа „Типы биографий“

Известный французский писатель Андре Моруа недавно умер в возрасте 83 лет. Он написал много книг разных жанров: критику, эссе, мемуары, психологические романы, исторические обзоры, путевые записки, стихи, но прославился своими биографическими работами. Советским читателям хорошо знакомы принадлежащие перу А. Моруа биографии английских поэтов Шелли и Байрона, английского премьер-министра Дизра-

И поэтому я хотел бы начать с обращения к Форстеру и поблагодарить его за то, что он указал мне путь и подал пример недисциплинированности. Не будь его, я сообщил бы вам, что около 690 года ирландский святой и историк Адамнан написал «Жизнь Святого Колумба», жизнеописание это, достойное всяческих похвал до сих пор считается наиболее полной биографией не только этого периода, но и всего средневековья. От нее я перешел бы к «Жизнеописанию Альфреда Великого» Ассера, который, насколько мне известно от его комментаторов, говорил охотно обо всем, за исключением своего героя, в чем предвосхитил большинство современных биографов. Я прочел бы лекцию об Уолтоне<sup>1</sup> и Джонсоне<sup>2</sup>. Потом я добрался бы до Бозвелла<sup>3</sup>, о котором мне пришлось бы сказать, что он создал современную биографию, что было бы, несомненно, ошибкой, но ошибкой, освященной древней традицией. В лекции о викторианской биографической литературе я похвалил бы Мура<sup>4</sup> и Локхардта<sup>5</sup>, поговорил бы о «Маколее» Тревельяна<sup>6</sup>, о «Диккенсе» Джона Форстера, о «Гёте» Льюиса, похода реабилитировал бы Фруда<sup>7</sup>. И наконец, посвя-

эли, шотландского ученого, открывшего пенциллин Флеминга, французской романистки Жюльетты Санд и трех Дюма: деда, отца и сына — революционного генерала, великого романиста и популярного драматурга. Последние две книги выдержали у нас повторные издания. Кроме этого, А. Моруа написал биографии В. Гюго, Тургенева, Вольтера, Шатобриана, Р. и Е. Вруннинга, Марселя Пруста и др. Они все отличаются серьезным и добросовестным изучением исторических источников, самостоятельной трактовкой темы, легкостью изложения и многими чисто литературными достоинствами.

В статье «Я против оргии отчаяния», написанной в 1962 году специально для нашей «Литературной газеты», Андре Моруа так сформулировал свою позицию как биографа: «Я хотел с помощью романов-биографий, а не с помощью нравоучительных лекций показать людям, что «другие люди», в которых мы так часто видим врагов, если приглядеться к ним с некоторой долей симпатии, могут превратиться в друзей. Жанр биографии казался мне особенно подходящим для того, чтобы помочь людям понять сложность человеческой природы. Прежде всего потому, что биография подлинна и поэтому читатель в нее верит, во вторых, потому, что биограф в большей степени, чем романист, обязан передать всю сложность человеческого характера. Многие поступки великих людей удивляют и возмущают нас, но биограф

<sup>1</sup> Айзек Уолтон (1593—1683) — английский писатель, написал ряд биографий, в том числе первую биографию Джона Донна (1640).

<sup>2</sup> Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — английский писатель и лексикограф, создатель знаменитого словаря английского языка (1755).

<sup>3</sup> Джеймс Бозвелл (1740—1795) — английский юрист и писатель, друг Джонсона, написал его биографию (1791), которая до сих пор считается лучшей и полнейшей из когда-либо написанных на английском языке биографий.

<sup>4</sup> Томас Мур (1779—1852) — английский поэт, очень популярный в свое время, друг Байрона. Написал двухтомную книгу «Жизнь, письма и дневники лорда Байрона».

<sup>5</sup> Джон Гибсон Локхардт (1794—1854) — английский писатель и критик. Написал ряд биографий (Наполеона, Роберта Бернса и др.). Самое известное его произведение — биография его тестя Вальтера Скотта. Непревзойденная по добросовестности и полноте, она считается классическим образцом викторианской биографии.

<sup>6</sup> Джордж Отто Тревельян (1838—1928) — английский историк, государственный деятель и биограф. Лучшим его произведением считается биография его дяди лорда Маколее «Жизнь и письма...» (1876).

<sup>7</sup> Джеймс Энтони Фруд (1818—1894) — английский историк, ученик Карлайля.

тил бы последнюю лекцию Стрэчи<sup>1</sup>, Николсону<sup>2</sup>, их подражателям и на том завершил бы этот взгляд с птичьего полета на английскую биографию. Я бы вас ничему не научил, потому что вы знаете все это куда лучше меня, но зато совесть моя была бы чиста, как у человека, выполнившего свой долг.

Да, я с легкостью пошел бы по этой проторенной дорожке, если б не прочел «Аспекты романа». Но, прочитав Форстера, и, в частности, тот блестящий отрывок, в котором он сравнивает эрудицию подлинную — а она была и есть гордость этого заведения — и псевдоэрудицию, которая всего лишь жалкая пародия на подлинную, я сказал себе: раз я не стал профессиональным эрудитом, нельзя выставлять себя на посмешище и выступать в роли псевдоэрудита.

И все же в январе этого года я, может, и поддался бы такому искушению, если бы в конце января ко мне не подоспело спасение в лице мистера Хэролда Николсона. Мистер Николсон — а он эрудит подлинный — опубликовал в этом году книжечку под названием «История биографии в Англии», в которой он изложил все, что я собирался изложить, и сделал это столь блестяще, что я не смог добавить к его книге ни слова; так что, хорошо ли, худо ли, но мне пришлось отказаться от легкого пути и искать другие способы, чтобы рассказать вам об историческом жанре.

Существует ли современная биография? Является ли она самостоятельным литературным жанром, совершенно отличным от традиционной биографии? Законны ли методы, которыми она пользуется, или, наоборот, от них следует отказаться? Что такое биография — наука или искусство? Может ли она, как и роман, быть средством самовыражения, чем-то вроде разрешения от бремени как для автора, так и для читателя? Вот круг проблем, которые мы будем рассматривать совокупно.

Прежде всего надо решить: существует ли тип биографии, которую можно назвать современной и которая отличалась бы вполне устойчивыми и четкими характери-

<sup>1</sup> Литтон Стрэчи (1880—1932) — писатель, создатель новой школы в английской биографии. Лучшими его работами считаются «Знаменитые викторианцы» (1918) и «Королева Виктория» (1921).

<sup>2</sup> Хэролд Николсон (1886) — английский биограф, ученик Литтона Стрэчи.

не имеет права отмахнуться от них: ему приходится брать героя, каким его рисуют документы и свидетельства современников, и такое изображение оказывается хорошим уроком человечеству.

Андре Моруа писал это в разгар работы над новой биографией — над жизнеописанием Бальзака. В прошлом году книга эта вышла в свет. Она называется «Прометей или Жизнь Бальзака». Во Франции существует не менее сотни биографий Бальзака разного типа, и для того чтобы приминаться на склоне лет еще за одну, надо быть уверенным, что можешь сказать что-то свое, новое. По отзывам французской критики, восьмидесятилетний А. Моруа не ограничился пересказом известного ранее об авторе «Человеческой комедии», одобряя это своей изящной, мягкой иронией. Он перерыл множество частных и государственных архивов и добыл немало неизвестных ранее документов, открыл связь между фактами хотя и известными, но не считавшимися значительными, подтвердил вероятность спорного, отмел сомнительное.

Андре Моруа — пример большого художника, сознательно и с интересом относящегося к проблемам писательского мастерства, к соблазнам и очарованиям избранного (и во многом созданного) им биографического жанра, неотступно размышляющего о собственном опыте и об опыте своих коллег. Об этом он рассказал в своей донине неизвестной у нас работе, названной им «Типы биографий». История этой книги такова: в 1928 году

стиками от биографий, написанных до нашего времени? Мнения литературной Англии по этому поводу в данный момент резко разделились. Движения литературные, подобно движениям политическим, подвержены колебаниям. И естественно, что после кризиса антивикторианства маятник снова вернулся в прежнее положение.

В 1918 году мистер Литтон Стрэчи мог писать: «Биографический жанр в Англии пережил тяжелый период... Кому не известны эти два толстенных тома, которыми мы имеем обыкновение воздавать почести умершим, с их массой плохо переваренных документов, небрежным стилем, тоном надоедливой панегирики; в них нет ни отбора материала, ни собственной точки зрения, ни общего замысла. Они так же привычны для нас, как траурные процессии. В них столько же тяжелого и мрачного варварства».

Тогда с этой оценкой согласились в Англии почти все, кто с ней ознакомился. Но так ли обстоит дело теперь, в 1928 году? Не думаю. Самые передовые из ваших критиков кокетничают своим преклонением перед великими викторианскими биографами, тревожат их таланты, научную дотошность, и в один голос утверждают, что их методы в конечном счете являются наиболее здоровыми.

Такая реакция, несомненно, была полезной. Современники королевы Виктории сошлись условности, на которых зиждилось устойчивое и, пожалуй, счастливое общество. Однако прежде всего именно устойчивость и счастье заставили усомниться в полезности этих условностей, и все следующее поколение привыкло относиться к ним, как к ненужным и чуточку смешным пережиткам. А на самом деле они, как и все человеческое, были и восхитительны и смешны одновременно. И можно только приветствовать, что наступила пора, когда к Моруа стало примешиваться восхищение.

Тем не менее, искренне восхищаясь биографиями одного типа, можно допустить право на существование и других биографий. Прочтите страничку викторианской биографии, а потом страничку из биографии Стрэчи. И вы тут же убедитесь, что перед вами совершенно непохожие книги. Книга Гревельяна или Локхардта, как бы хорошо она ни была написана, прежде всего исторический документ, книга же Стрэчи прежде всего произведение искусства. Стрэчи умел, соблюдая историческую достоверность, облекать свой материал в идеальную форму, и форма эта для него была превыше всего.

А. Моруа был приглашен Тринити Колледжем в Кембридже прочесть несколько лекций об искусстве биографа. Они-то и составили книгу. В ней 6 глав: «Современная биография», «Автобиография», «Биография как средство выражения», «Биография и роман», «Биография, рассматриваемая как наука» и «Биография как произведение искусства». И хотя большинство биографических работ Моруа (в том числе и самые знаменитые) были опубликованы уже после создания им этой книги, она все же очень интересна. Опыт писателя расширился и обогатился, но принципы его работы остались в основном прежними. Это легко проверить, так как у нас переведены биографические книги А. Моруа и первого, и среднего, и последнего периода его литературной деятельности. Зрелый и старый Моруа следовали за молодым Моруа, уже достаточно четко и определенно сформулировавшим главные принципы своей работы.

Конечно, и Моруа-теоретик остается все тем же Моруа, каким мы его знаем из его книг: он ясно мыслит, умело рассчитывает все стороны занимающей его проблемы, он начитан и широко эрудирован, в его суждениях нет импровизации и чувствуется, что он много над этим думал, он умело подбирает примеры и цитаты, он изящно и остроумно формулирует, не избегая и парадоксов (впрочем, Альберт Эйнштейн считал, что парадокс тоже может быть формой истины), он избегает догматических утвер-

То, что характерно для великих историков каждой из этих эпох, присуще и посредственным авторам, которые старались извлечь выгоду из чужой литературной удачи, считая, что стоит им лишь применить те же приемы, и они создадут шедевры. «Метод Маколея, — пишет мистер Десмонд Мак-Картти, — был вскоре дискредитирован подражателями: не обладая его познаниями, они не смогли удержаться на том же уровне. Литтону Стрэчи тоже не повезло в его литературном потомстве: большинство его поклонников слепо перенимают его методы, не имея его сдержанности и чувства меры. Форма, которую ввел в моду Стрэчи, требует величайшего литературного такта и достойной исследовательской работы».

Однако если у большинства эпитонов, к какой бы эпохе они ни принадлежали, кнашей или викторианской, есть одна общая черта — бездарность, по природе своей они резко отличны. Плохая викторианская биография — это куча непереваренных источников. Плохая же современная биография — это книга, написанная с поддельным блеском. Автор ее хочет казаться ироничным, а на деле оказывается злым и неглубоким. Но хороша она или плоха, а с временная биография все же существует.

Вполне правомерно задать себе вопрос: а когда же прекратила свое существование старая биография и родилась биография современная? Вирджиния Вульф<sup>1</sup> и Хэрролд Николсон называют примерно одну и ту же дату. Хэрролд Николсон указывает на 1907 год. Вирджиния Вульф утверждает, что изменения в человеческом характере произошли примерно в декабре 1910 года. «Я не утверждаю, — пишет она, — что эту перемену можно было увидеть, как если бы, спустившись утром в сад, я увидела, что распустилась роза или курица снесла яйцо. Перемена была не такой внезапной и не такой определенной. И все же это была перемена. Допустим, что она произошла примерно в 1910 году. Первые признаки ее мы находим в книгах Сэмюэла Батлера<sup>2</sup>, особенно в «The way of all flesh», заметны они и в пьесах Бернарда

<sup>1</sup> Вирджиния Вульф (1882—1941) — английская писательница и критик. Находилась под сильным влиянием Бергсона и Фрейда.

<sup>2</sup> Сэмюэл Батлер (1835—1902) — английский писатель-сатирик, автор ряда философских работ. Прославился своим психологическим романом «Таков путь всякой плоти» (1872—1884), написанном на биографическом материале.

ждений даже в тех случаях, где он очевидно прав и осторожно говорит: «я нахожу», или: «я лично предпочитаю». Это само по себе немалое дело — почти сорок лет идти в избранном направлении по стрелке старого компаса, не плутая по сторонам и не возвращаясь обратно. Моруа рассудителен и осторожен — черты для профессионального биографа полезные. Мне кажется, что анализ и критика автора «Типов биографий» весомы и верны. И не только во многом, но, пожалуй, и в главном. Он глубоко и точно определяет задачи излюбленного им жанра, четко обводит его границы, без чрезмерной узости, но и без расплывчатости и излишней свободы. Можно без опаски довериться его вкусу: тут его проницательный арбитраж почти бесспорен.

Это не значит, что у него нет спорных или чересчур личных вкусовых предпочтений. С ними можно и должно поспорить. Есть в искусстве биографического жанра особенности и стороны, которых Моруа не касается. В нашей стране написано много хороших биографических книг; чтение биографий у нас является излюбленным чтением самых различных кругов читателей, — и естественно, что у нас накопился и свой собственный опыт, иногда дополняющий Моруа, а иногда и полемизирующий с ним. В чем-то Моруа был нашим учителем, но мы уже вышли из ученического периода развития биографического жанра и, ценя умный и богатый опыт Моруа-мастера и Моруа-

Шоу. И в обыденной жизни тоже видна эта перемена. Возьмем для доказательства самый простой пример — наших кухарок. Кухарка викторианских времен обитала где-то глубоко под землей, как чудовище грозное, молчаливое и таинственное; кухарка нашего времени — эпохи Георга V — обитает в кухне, пронизанной солнцем и светом. Хотите, чтоб я привела вам более убедительные примеры этой способности рода человеческого к изменению? Все отношения стали другими: отношения между хозяевами и слугами, между мужьями и женами, между родителями и детьми, а когда меняются отношения между людьми, это влечет за собой изменения в области религии, нравов, в политике и в литературе. Допустим, что одна из перемен такого рода произошла примерно в 1910 году».

Утверждение одновременно соблазнительное и вызывающее. «Неужели вы не понимаете, — возражают многочисленные англичане, — что такая точность в датах лишь подтверждает нелепость этого парадокса. Нет, человеческая природа не изменилась и не может измениться. У людей остались те же страсти. Отношения между хозяевами и слугами, между родителями и детьми претерпевают внешние, временные изменения, но вскоре вступают в действие более глубокие причины, и нужные взаимоотношения восстанавливаются. Изменения носили самый поверхностный характер, но вы заметили лишь эту видимость перемен и не обращаете внимания на явления глубокие и вечные — вот почему вы пишете свои странные романы и злые, несправедливые, никчемные биографии».

Я же, горячий поклонник Вирджинии Вульф, охотно признаю, что ее позиция в процитированном мною отрывке намеренно парадоксальна. Но парадокс не всегда является ошибкой. Несомненно, человеческая природа изменяется крайне медленно, но так же верно и то, что в истории человечества бывают такие редкие периоды, когда за очень короткий срок происходили глубочайшие перевороты. Примером тому может служить переход от свободного мышления греческих философов к теологическому мышлению средневековья или переход от теологического мышления к зачаткам научного, позитивного мышления во времена Бэкона, а затем и Декарта. И мне кажется, что в начале XX века человечество, как в Англии, так и в других странах, пережило подобный бурный интеллектуальный переворот. Но какие же черты определяют период, который пережили мы?

теоретика, можем плодотворно размышлять и о своем опыте.

Когда А. Моруа говорит в главе «Современная биография», что главная черта современной биографии — «смелые поиски истины», или в главе «Биография как средство выражения» — «Биограф должен дать своему читателю прежде всего правду», или цитирует Уолта Уитмена, утверждающего, что «герой в конечном счете, несомненно, выше любой идеализации, точно так же как всякий человек лучше своего портрета» (в связи с биографиями Авраама Линкольна), — мы целиком согласны с ним, и мы хорошо знаем, так сказать, на собственной шкуре, что эти опорные тезисы отнюдь не общие места, а их приходится завоевывать и подтверждать каждый день заново.

Нам полезно и любопытно познакомиться и с тщательным и подробным описанием в книге А. Моруа всех опасностей, которые могут подстергать биографа; всех засад, ловушек, препятствий, возможных промахов, частых и почти неизбежных ошибок. В этом отношении работа А. Моруа почти энциклопедична.

Но вот А. Моруа утверждает, что всякий биограф сознательно или инстинктивно, как и лирический поэт или автор психологических романов, «выражает себя» в создаваемом им образе героя биографического повествования. Поначалу эта формулировка кажется чересчур субъективистской и вызывает внутреннее возражение.



Первая черта — это вторжение научных методов в области психологии и морали. Молодой человек в 1910 году и тем более в 1928 году никогда не задал бы себе вопроса: «А почему я должен верить?» Какова бы ни была проблема, он смело приступит к ее изучению и согласится с результатами опыта. Его не испугают никакие выводы, к которым могут привести исследования. И совершенно очевидно, что эта свобода и раскованность мышления молодого поколения оказала большое влияние на ваших писателей. Сравните например, раскованность таких писателей, как Форстер или Олдос Хаксли<sup>1</sup> и скованность во всех моральных вопросах, на которую намеренно обрекали себя Диккенс и Теккерей. Не меньшее воздействие оказала эта раскованность мышления на историю и в особенности на такую отрасль истории, как биография.

Современный биограф — если он честен — никогда не подумает: «Вот великий король, великий министр, великий писатель; вокруг его имени создана легенда; я хочу рассказать об этой легенде, и только о ней». Нет, он подумает так: «Вот человек. У меня есть определенное количество документов, есть свидетельства современников о нем. Я постараюсь нарисовать его подлинный портрет. Каким будет этот портрет — не знаю и не хочу знать до тех пор, пока не завершу его. Я готов создать его таким, каким я увидел его в результате длительного созерцания природы, и я готов вновь и вновь переделывать его всякий раз, когда мне удастся обнаружить новые факты». Возьмем, к примеру Байрона; сравните его портрет, нарисованный в «Last Journey» — «Последнем путешествии» Хэролдом Николсоном, и биографию Мура. Любому беспристрастному читателю совершенно ясно, что Николсон заботится об истине гораздо больше, нежели Мур.

У нашей эпохи довольно точное представление об истине, оно весьма схоже с тем описанием научной истины, которое дает Пирсон<sup>2</sup> в своей «Грамматике науки». Мы не желаем, чтобы биограф руководст-

Но, вчитавшись внимательней, видишь, что никакой опасной трясины тут нет. Моруа вовсе не рекомендует придавать, допустим, Байрону или Гюго личные черты и переживания биографа: он имеет в виду другое. Прежде всего это вопрос о выборе героя. Именно в этом решении (которое уже само по себе творческий акт) содержится то «выражение себя», о котором говорит Моруа. Остальное из него логически следует. Одному писателю близки и понятны характеры одного рода (как и профессия, разумеется), другому — иные. И, угадав «своего» героя, свою духовную модель, автор — по мысли А. Моруа — исследует его со свободой, которая отсутствует у него по отношению к самому себе (об этом очень интересно размышляет Моруа в главе «Автобиография»). Ведь в конце концов, если угодно, даже любой слушатель музыки тоже «выражает себя», взяв билет, допустим, на концерт из произведений Листа и не взяв на Хиндемита. Выбрав Листа, он тоже «выразил себя», и тем самым слушаемый им Лист — это и Лист и уже он сам. Здесь мы вплотную подходим к очень важному вопросу, хотя и вытекающему из размышлений Моруа, но не развитому им, к сожалению.

Это то, что иногда называют «конгенитальностью» героя и биографа. Мне это слово кажется слишком торжественным, и я предлагаю заменить его другим — скажем, соизбранностью. Дело в том,

<sup>1</sup> Олдос Хаксли (р. 1894) — английский писатель и биограф, очень известный в 20-х годах своими романами из жизни английского общества. Позже написал ряд мрачных, чело-веконенавистнических романов о будущем цивилизации — «Прекрасный новый мир» (1932), «Обезьяна и сущность» (1949).

<sup>2</sup> Карл Пирсон (1857—1936) — английский статистик, математик и естествовед. Автор биографий Галтона, Кромвеля и ряда научных трудов.

вовался предвзятыми идеями; мы хотим, чтобы он шел от собранных им фактов к общим выводам и чтобы выводы эти, в свою очередь, подвергал проверке новыми исследованиями, тщательными и беспристрастными. Мы хотим, чтобы использовались все документы, если они помогают по-новому взглянуть на тему, и чтобы ни робость, ни восхищение, ни враждебность никогда не побуждали биографа пренебречь или обойти молчанием хотя бы один из этих документов.

Я знаю, что и сами ученые не всегда бывают беспристрастны. Часто они любят ту или иную систему потому, что они ее изобрели; вспомните трагическую историю физика, наблюдавшего в течение десяти лет лучи, которых не существовало. Историк далеко не всегда может быть объективным, а биограф и того более. Он сам человек, и его герои могут внушать ему и любовь и ненависть, а это влияет на оценки. Иногда он руководствуется религиозными чувствами, иногда моральными. Глупо было бы думать, что современный биограф свободен от пристрастий. Но я полагаю, можно смело утверждать, что теперь биограф гораздо реже, чем прежде, берется за свой труд с желанием угодить семье или друзьям усопшего.

«Викторианским биографом, — пишет Вирджиния Вульф, — владели идеи добродетели. благородными, целомудренными и строгими представляют нам своих героев викторианцы. Статуя всегда более величава, чем модель; она облачена в сюртук и цилиндр, а способ лепки становится все более неумелым и трудоемким».

Традиции и семья объединились, чтоб навязать биографу такую условную трактовку. «В XIX веке в Америке, — рассказывает Уильям Роско Тейер, — когда умирал именитый гражданин — адвокат, судья, делец или писатель, — считалось само собой разумеющимся, что его пастор — если у него таковой был — напишет его биографию, в тех случаях, когда выбор не падал на жену, сестру или кузину». Люди осторожные перед смертью одновременно с душеприказчиком назначали себе и биографа. Но это иногда имело печальные последствия. Так, Карляйль<sup>1</sup> нашел опасного врага в лице своего близкого друга Фруда. А два биографа, имевшие самые добрые намерения, выставили в смешном свете

что не всякий добросовестный и талантливый писатель может одинаково удачно писать о любом герое. Здесь вопрос даже не в «симпатии» или «антипатии», о которых говорит А. Моруа, касаясь биографических работ высоко оцениваемого им английского писателя Литтона Стрэчи; проблема куда сложнее. И тут наиболее часто совершаются те основные, исходные ошибки, которые в дальнейшем достаточно закономерно определяют неудачу. Мне кажется, например, что замыслы биографий А. П. Чехова — В. Ермиловым или Льва Толстого — В. Б. Шкловским были обречены на успех в самом зародыше. В обоих этих случаях здесь не было созвучности, не было той глубины и интимности понимания, не было личного отзвука, которые необходимы. В самом деле, трудно себе представить более чуждые друг другу индивидуальности и складываема, чем А. П. Чехов и В. Ермилов. Здесь то, что Моруа называет «выражением себя» — биографа в герое, конечно, не могло состояться, ибо неверен был сам выбор. Тоже, хотя и по-иному, и у В. Б. Шкловского с Л. Толстым. В. Б. Шкловский — писатель очень яркой и индивидуальной личной манеры, давно уже определившейся и почти застывшей. Манера эта (а слог — отражение характера мысли) прямо противоположна всему толстовскому. Поэтому при всей остроте и талантливости отдельных наблюдений В. Б. Шкловского пере-

<sup>1</sup> Томас Карляйль (1795—1881) — английский историк, биограф и литературный критик.

принца-супруга и кардинала Мэннинга<sup>1</sup>. Впрочем, бывали случаи, когда такой выбор оказывался удачным; так, например, наследникам лорда Биконсфильда<sup>2</sup> повезло с Моннипени и Баклем, емей Джона Мэннерса с Чарльзом Уибли. «И все же во времена королевы Виктории семьи великих людей прежде всего требовали соблюдения приличий. Личную жизнь человека, его повседневные занятия, его слабости, его увлечения, его заблуждения следовало обходить молчанием. В тех же случаях, когда похождения были слишком скандальными, полагалось ограничиваться туманными намеками».

«По какому праву публика хочет знать обо всех увлечениях Байрона? — писал Теннисон. — Байрон подарил ей прекрасные стихи, и она должна довольствоваться этим».

Автор получал в свое распоряжение множество документов: письма, записные книжки, дневники; но такая щедрость обязывала к лояльности. Автор должен был блюсти тайны и воздавать хвалы. Когда в живых оставалась вдова, она следила за тем, чтобы не только мужа, но и ее представили потомству в желательном свете. Результаты этого слишком хорошо известны. «Эти книги так напичканы добродетелью, — говорил один писатель, — что после них я усомнился в существовании добродетели вообще».

И вдруг в это тихое аббатство, где громоздились монументы в парадных одеяниях, Стрэчи поместил сначала «Знаменитых викторианцев», а затем «Королеву Викторину». В соседстве с каменными изваяниями XIX века эти терракотовые фигурки, ироничные и изящные, изумляли и очаровывали. Они ничем не походили на традиционных героев викторианских биографов. Викторианцы рассказывали о жизни людей, которые безгранично восхищались своими героями, они и выбирали только тех людей, которые вызывали у них восхищение. И наоборот, Стрэчи, казалось, писал только о тех, кто не вызывал в нем восхище-

ход в тексте книги от многочисленных цитат к собственному тексту биографа производит странное и антимузыкальное впечатление, скажем определенной — впечатление дисгармоническое. Когда В. Б. Шкловский пишет о художнике Федотове — дело другое. Как писал и выражался Федотов, мы не знаем и даже, пожалуй, можем представить его себе таким армейским, чуть циничным остряком, и слог автора тут не помеха. В биографиях А. П. Чехова и Л. Толстого происходит как раз то, чего справедливо оговаривается А. Моруа: героям биографий невольно придавались черты биографов, что их искажило и мало украсило. Универсализм эрудиции и исторического кругозора, конечно, в принципе возможен: универсализм психологический почти неизбежен. Я не могу себе представить Ю. Тынянова автором биографии Чернышевского или А. Моруа, описывающим жизнь Магюмета. Смелость И. Стоуна, пишущего с равным рвением о Джоне Лондоне и Микеланджело, или Э. Людвиг — диапазон которого простирается от Гитлера до Христа, при внимательном рассмотрении граничит с поверхностностью и легкомыслием. И тут нужно отдать должное А. Моруа: у него всегда хватало духовной ответственности и серьезности, чувства меры и литературного вкуса: выбирая своих героев, он не гнался ни за сенсационностью, ни за популярностью. Ни Шелли, ни Тургенев, ни Жорж Санд, ни Флем-

<sup>1</sup> Генри Эдуард Мэннинг (1808—1892) — английский кардинал. В конце жизни доверил свои личные документы и дневники католическому журналисту Эдуарду Перселлу. Тот после смерти Мэннинга опубликовал его биографию, в которой использовал целый ряд материалов, явно не предназначенных для печати.

<sup>2</sup> Бенджамен Дизраэли, лорд Биконсфильд (1804—1881) — английский государственный деятель, писатель. У. Ф. Моннипени и Д. Бакль — авторы шеститомной биографии Дизраэли (1910—1920).

ния. «Симпатия несколько не нужна для выбора героя, — писал в одной из своих последних статей Литтон Стрэчи. — Можно даже сказать, что она противопоказана. Во всяком случае, любопытно отметить, что в большинстве случаев великие историки были на ножах со своими героями». И далее он отмечает, что Гиббон<sup>1</sup>, один из самых просвещенных людей всех времен, выбрал темой своих работ варварскую эпоху и что Мишле<sup>2</sup>, республиканец и романтик, был поистине велик в своих работах о веке Людовика XIV. То же можно сказать и о самом Стрэчи. Он выбрал викторианскую эпоху, потому что по духу своему он был совершенно чужд викторианству. Но когда речь идет о викторианцах, он уже не скульптор, воздвигающий кладбищенские монументы, а художник, создающий великолепные посмертные портреты (слегка! о, только слегка!) карикатурные.

Методу Стрэчи присуще изящество. Стрэчи не критикует и не судит — он показывает. Приемами он напоминает великих юмористов. Автор не появляется. Он прогуливается где-то позади королевы, кардинала Мэннинга и генерала Гордона; он точно передает их жесты, словечки и таким образом добивается блестящего комического эффекта.

Стрэчи подражает привычкам королевы, как и она, подчеркивает каждое слово в предложении; как и она, пишет «лорд М.» вместо «лорд Мельбурн» и «дорогой Альберт» вместо «принц Альберт». Но эти мелкие детали и создают очень естественный и человеческий образ. Официальный документ, процитированный к месту, тоже может произвести иногда убийственный комический эффект.

Например, рассказывая о сооружении Альберт-мемориала, Стрэчи не говорит, что памятник уродлив, он просто описывает его, цитируя при этом подлинные слова скульптора.

Когда подобный метод применяют Литтон Стрэчи, Николсон и некоторые другие, появляются великолепные книги — и все потому, что авторы этих книг настоящие художники и понимают, как важно, чтобы в художественном произведении соблюдались деликатность и чувство меры. Если

минг не были модными персонажами его эпохи. Он выбрал их по верному внутреннему влечению и, описав их, он вернул к ним интерес, а точнее сказать, создал его. Так и Юрий Тынянов вытащил из исторического забвения загадочную и неуклюжую фигуру Кюхельбекера.

Что же касается суждений А. Моруа о том, что биография, как и любое другое произведение искусства, результат настойчивого стремления художника «освободиться» от впечатлений и переживаний, обременяющих его душу, или «использовать скрытую и непроявленную страсть», то мне кажется, что эта терминология — это было сказано в 1928 году — несет на себе следы модного в ту пору фрейдизма. Может быть, теперь Моруа эти формулировки бы не повторил, и поэтому не станем к ним придираться. Следует удивляться не тому, что в книге, вышедшей почти сорок лет назад, что-то обветшало, а тому, что устаревшего в ней поразительно мало.

Чтобы покончить с темой «выражения себя» — биографа-автора в герое биографии, хочу привести то, что А. Моруа говорит о книгах Литтона Стрэчи: «Жизнь — это хитросплетение действий, мыслей и чувств, часто противоречащих друг другу. И все же в ней есть единое начало, напоминающее тональность в музыке» (глава «Биография как средство выражения»). «Тональность». Да. Удивительно удачно сказано. И, пользуясь этим термином, точным,

<sup>1</sup> Эдуард Гиббон (1737—1794) — английский историк, самый известный его труд — «История упадка и разрушения Римской империи».

<sup>2</sup> Жюль Мишле (1798—1874) — французский историк-демократ.

же, напротив, этим методом пользуются писатели, недоброжелательные к людям и не понимающие психологии, результатом являются лишь комические эффекты самого низкого свойства. Некоторые ученики Стрэчи, не обладавшие его глубоким знанием людей и пониманием их психологии, попросту воспользовались его рецептами. И вместо того чтобы выбрать героями своих произведений «великих людей, добродетели которых вызывали бы желание им подражать, они удовлетворялись людьми презренными, глупость которых вызывала только смех».

Некоторые из этих книг заставляют пожалеть о старой «Лайф энд леттерз» — двух объемистых томах, в которых, что ни говори, содержалась масса полезных сведений, да и потом читателя порою «справедливо раздражает наглая манера дергать за гривы мертвых львов».

Нередко приемы современных биографов, даже если они применяются с талантом и чувством меры, подвергаются осуждению, причем осуждают их люди весьма умные. Критики и профессиональные историки говорят: «Возможно, что традиционные герои, например Веллингтон<sup>1</sup> у англичан и Вашингтон у американцев, были не совсем такими, как их изображает легенда. Вполне возможно, ну и что из этого? Не всякую правду обязательно говорить. Мы нередко знаем ужасные вещи о наших живых друзьях, но мы никогда этого не рассказываем. Так почему бы нам не поступать так же лояльно по отношению к нашим мертвым друзьям или великим людям? Они, безусловно, были далеки от совершенства, и конечно же, в тех приукрашенных портретах, которые с них писали, многое привнесено легендой. Но разве эта легенда не подвигала людей на великие дела? Легенда служила примером людям слабым, она помогала им стать выше своего уровня.

Да и была ли она в конечном счете такой лживой? Часто дела человека значительнее его самого. Кто бывает великим человеком в глазах своего лакея? И однако, это не доказывает, что не бывает великих людей, это доказывает лишь, что не бывает великих лакеев.

О любом гениальном писателе или государственном деятеле можно раскопать и рассказать анекдоты, его принижающие; но был ли он действительно тем самым обыч-

как образ, а не как научная формулировка, разве нельзя признать, что вот как раз «тональность» А. П. Чехова и его биографа не совпадает?

Мне кажется, что не обязательно стараться определить, что представляет собой жанр биографии — относится он к науке или к искусству. Сама постановка вопроса у А. Моруа тут (в виде редкого исключения) слишком догматична. Попутно Моруа отчисляет и историю от науки и производит ее в искусство. Это уже совсем спорно. Проще всего сказать, что история — это история, и это не будет тавтологией, тем более что в мифологическом иконостае у истории испокон веку есть собственная муза — Клио. Да, в биографии тонкая и глубокая догадка писателя может быть существеннее, чем нахождение подлинного, но маловажного документа, но ведь уже давно признано, что интуиция и воображение свойственны и научному открытию и не являются только привилегией поэзии. В настоящее время самые важные научные открытия совершаются на границах наук, там, где одна отрасль научного знания переходит в другую, меняя старую классификацию. В XIX веке были химия и биология отдельно. XX век открыл биохимию, астроботанику и т. д. Видимо, и биография принадлежит к таким же «пограничным жанрам», как и некоторые другие бурно развивающиеся ныне полудокументальные — полуху-

<sup>1</sup> Артур Веллингтон (1769—1852) — английский государственный деятель и полководец, командовал союзными войсками в битве при Ватерлоо. Национальный герой Англии.

ным человеком, каким его пытаются представить «разоблачители», а не героем, каким он казался целому народу? Возможно, что геройство было лишь личиной, но разве личина не может стать подлинным лицом? Господин Макс Бирбом<sup>1</sup> рассказывал в «Счастливом лицемере» историю одного развратника; чтобы соблазнить девушку, он надел личину невинного юноши, и лицо его стало в конце концов походило на личину. «Плутарх лгал», — писал после войны один блестящий французский памфлетист. Возможно, это правда, но разве не прекрасно, что Плутарх так прекрасно лгал?

Чтобы ответить на вопрос о лояльности по отношению к своему герою, стоит процитировать доктора Джонсона: «Ценность любой истории зависит от ее правдивости. История — это картина, изображающая или личность, или человеческую натуру в целом. Если она неверна — это уже не картина, и она никуда не годится». Несомненно, бывают случаи, когда трудно говорить правду — из уважения к умершему другу, из боязни обидеть его жену или детей, которые еще живы. В таких случаях принять решение проще простого. Биографию этого человека не следует писать. Потому что писать можно только правду.

Стрэчи выигрывает и спор о том, как влияют легенды на формирование характера читателя. Конечно, очень полезно показывать людям, и в особенности людям молодым, великие образцы, но молодежь станет подражать этим образцам лишь в том случае, если они правдоподобны. Биографии, в которых восхваление возведено в систему, потеряли всякое воспитательное значение — им больше никто не верит. Поколение, воспитанное в уважении к научной истине, требует от биографа искренности, ибо вдохновить его может только правда. Да и потом величие характера трогает нас еще больше, если мы видим, что характер этот не был лишен человеческих слабостей, а следовательно, близок нам. Если человек, наделенный нашими недостатками, смог достичь славы или святости благодаря силе воли, это прибавляет нам храбрости, а быть может, и облагораживает нас. Но кто захочет подражать каменной статуе?

Поэтому нельзя сказать, что метод Стрэчи лишает его героев величия.

Генерал Гордон, каким его изображает Стрэчи, и даже его принц Альберт — это

дожественные жанры. Сам Моруа убедительно показывает, цитируя Л. Стрэчи, как строго документальный рассказ может достигать высоты поэзии. Есть подобные страницы и у самого Моруа. Ни Плутарх, ни Вазари подобного не знали. А. Моруа прав — жанр современной биографии во многом нов и оригинален, он существует и развивается. Аристотель его предвидеть не мог, и только время покажет, какое именно место он займет в литературоведческой «таблице Менделеева». В главе «Биография и роман» А. Моруа говорит: «Как бы формы ни приняла биография в будущем — это всегда будет трудным жанром. Мы требуем от нее скрупулезности науки, очарования правды романа и поучительных знаний истории». Это верно, но это вовсе не недостижимый идеал. Таковы лучшие биографические книги, в том числе многие книги Андре Моруа.

Научность, документальность... Я хочу привести малоизвестное высказывание Ю. Тынянова из одной его давней и забытой статьи: «Расходы истории производительные, хотя и тяжелые, интересовали меня. Как человек изменяется во времени, как он «случается»? Передо мною вставал вопрос о документах, о свидетельствах. Я не преклоняюсь слепо перед документом. Не вся жизнь продюментирована, да и теряются документы. А документы сохраняющиеся? Не есть ли они в трех четвертях случаев — отписки: суду, полку, даже жене и

<sup>1</sup> Макс Бирбом (р. 1872) — английский писатель, критик и карикатурист.

люди благородные, и они нам симпатичны. Что касается королевы Виктории, то вполне вероятно, что Стрэчи начинал книгу о ней с намерением поиронизировать, но кончил тем, что создал портрет, полный величия и наивной поэзии. Один из вас сказал мне на днях, что самое замечательное событие в современной биографии — это победа, которую одержала над Стрэчи королева Виктория. Стрэчи не стал нам доказывать избитую истину, что герои — самые обыкновенные люди, он вместо этого доказал, что обыкновенный мужчина или женщина могут стать героями. Мне кажется, что рядового читателя такая идея должна подбодрить. Если б я был героем Стрэчи, мне было б гораздо приятней, чтобы любили меня такого, каким я был, со всеми моими достоинствами и недостатками, а не то слишком идеальное существо, каким я никогда не был.

Уолт Уитмен очень хорошо сказал по этому поводу: «Возьмите к примеру Абрахама Линкольна... О нем рассказывают всевозможные истории — одни из них верны, другие апокрифичны... Написано несметное множество томов, наполненных всевозможными историями (приличными и неприличными), которые ему приписывают, истории подлинные соседствуют там с вымышленными, и таким образом Линкольн предстает перед нами в более или менее фальсифицированном виде. И все же я знаю, что герой в конечном счете, несомненно, выше любой идеализации... точно так же, как всякий человек лучше своего портрета, пейзаж лучше картины, его изображающей, и подлинные поступки лучше любого рассказа, о них повествующего. И я часто повторяю себе, что любой человек непременно отличается от того, каким его изображают легенды, — где об обстоятельствах, движущих силах или причинах создавшегося положения или забывают, или неверно их истолковывают. Очень трудно разглядеть подлинный характер человека — любого человека — под хаотической массой исторических руин».

Тробел<sup>1</sup>, который был для Уитмена тем же, чем Бозвел для Джонсона, записал: «Вчера Уитмен мне сказал, как, впрочем, говорил уже не раз до этого: «Когда-нибудь вы обо мне напишете; постарайтесь писать честно, и что бы вы ни делали, ни в коем случае не приукрашивайте меня. Не забудь-

другу?.. Проникнуть в самый характер документа, в способы и цели его писания необходимо, чтобы поверить ему, чтобы нащупать человека, время и место. Иной раз по черк и бумага больше говорят, чем слова, и счет гостиницы больше, чем стихи, написанные в ней, а иной раз враль-мемуарист правдивее, чем аттестат по службе»<sup>1</sup>. О критическом отношении к документу говорит и Моруа в главе «Биография, рассматриваемая как наука», рассказывая о неправдивости подлинных писем Бальзака к Ганской (документы! по сравнению с донесенными мемуаристами сбивчивыми слухами (о, мемуары, сомнительно!). Как оказалось, глали документы, а не слухи. Мнения Ю. Тынянова и А. Моруа совпадают. Но поколебленный в своем свидетельском достоинстве документ не уничтожается его опровержением: он продолжает свидетельствовать, но только о другом — об открывшейся нам неожиданной черте характера, поступке героя биографии. Письма Бальзака к Ганской оказались неправдивы, и легенда о романтической любви терпит серьезный урон, но биографа одолевает новая забота: нужно ответить на вопрос — зачем Бальзаку нужно было лгать? Вот здесь-то и требуется авторская догадка, интуиция, домысел, без способности к которым лучше к биографическому жанру и не подступать-

<sup>1</sup> Хорейс Тробел (1858—1919) — близкий друг Уолта Уитмена, которому тот завещал свое литературное наследство. Выпустил трехтомный труд «С Уолтом Уитменом в Кэмдене» (1906—1914).

<sup>1</sup> Ю. Тынянов, Не совсем повесть и совсем не роман. Газета «Читатель и писатель», 1928.

те упомянуть о том, как я ругался, расскажите о моих страданиях и моих грехах. — И добавил: — Я всегда ненавидел литературные биографии, потому что они фальшивы. Посмотрите на наших национальных героев: как их изуродовали луны, полагающие, что они могут улучшить работу всемогущего творца, которые кладут один небольшой мазок там, потом еще один тут, и так до тех пор, пока человек не станет неузнаваем».

Уitmen прав; биограф, который полагает, что он улучшает творение природы, исправляя смешные черты великих людей — там умалчивая о любовном письме, написанном в момент слабости, тут отрицая перемону лагеря или доктрины, — такой биограф уродует, увечит и в конечном счете принижает своего героя. Опаснее такого биографа лишь тот, который сознательно опускает или скрывает факты, говорящие о красоте и величии духа своего героя.

Мы пытались определить главную черту современной биографии как смелые поиски истины. Но одного стремления к истине недостаточно, чтобы охарактеризовать и современную биографию и наше время, ибо не впервые скептически настроенное человечество не хочет мириться с извращением истины. То же самое происходило и в античные времена и в эпоху Возрождения, и тем не менее тип биографии, который является предметом нашей беседы, в те времена не появился. Герои Плутарха, как и герои Вазари, великого биографа художников Возрождения, никогда не производили впечатления полнокровных и правдоподобных людей. А почему? Мне кажется, что писатели нашего времени гораздо лучше, нежели писатели прошлого, понимают сложность и переменчивость человеческой природы и гораздо хуже — ее цельность. Найти этому объяснение можно, с одной стороны, в возрождении старых философских учений о движении Бергсоном<sup>1</sup> и его учениками; с другой стороны — в достижениях современной физики и биологии, которые за относительно простыми построениями, возведенными в те времена, когда атом и клетка казались неделимым целым, составляющими тела, открыли новые миры, бесконечно малые, но столь же сложные, как и те, часть которого они составляют.

Психологи принялись подражать физикам. И в человеческом разуме, казалось,

Но и этого недостаточно: необходимо самое дотошное знание характера Бальзака, его положения не только в обществе вообще, но и в гостининых Сен-Жерменского квартала; его кредиторов и срока векселей.

А. Моруа справедливо и убедительно полемизирует с английским писателем Х. Николсоном, считающим, что будущее только за целиком научной и строго документальной биографией. Но как мы видели, документы не поют в унисон: они противоречат друг другу, спорят, опровергают, изобличают. Для их верной оценки требуются интуиция и догадка, авторское воображение и историческое чутье, а стало быть, все черты таланта, а где талант, там и искусство. Механическое сложение документов не может в сумме дать искомую величину, то есть историческую правду. Самая замечательная и совершенная кибернетическая машина, куда будет заложена самая полная документация, хорошую биографию не напишет.

В первом томе «Прометей» в содержательной и интересной статье А. Акимовой «История и биография» автор, как мне кажется, напрасно солидаризируется с утверждением И. Стоуна о том, что не каждая жизнь является благодарным материалом для биографии, и приводит малоубедительный пример, что-де однообразная жизнь И. А. Гончарова для биографического жанра непримемлема в отличие от полной приключений жизни народовольца

<sup>1</sup> Анри Бергсон (1859—1941) — французский философ. В своих философских работах опирался на историю, биологию и физику.



тоже обнаружили неделимые атомы. Дали определения характерам и страстям; одного человека признали добрым, другого злым; Диккенса объявили примерным семьянином, Байрона — Дон-Жуаном. Но за этой простой конструкцией — скелетом — современный историк ищет невидимое и тем не менее существующее переплетение сосудов, его питающее. Стоит взглянуться повнимательнее — и за этим фасадом оказывается таинственная жизнь, о существовании которой часто не знал и тот человек, который этой жизнью жил.

Теперь, несомненно, слишком носятся с системой Фрейда<sup>1</sup> и, быть может, слишком много значения придают бессознательному (термин этот, впрочем, еще не получил четкого определения), умаляя при этом значение свободной воли человека. Зато теперь понимают, что человек и человеческое существование — явления куда более сложные, чем думали раньше. И точно так же, как для того, чтобы объяснить физические явления, необходимо иметь представление об атомах как о системе электронов, движущихся вокруг центрального ядра, точно так же, чтобы понять личность, нужно видеть, что она состоит из ряда неоднородных личностей, которые временами сосуществуют в ней, а временами сменяют друг друга. Ведь мы имеем дело не только с подлинным человеком (а его и без того трудно определить, в чем мы убедимся, если попытаемся искренне разобраться в самих себе), но и с тем, что мы выше называли личиной. Ведь бывало, как, например, в случае с Дизраэли, что человек носил личину презрительного и равнодушного ко всему циника, а на самом деле был застенчив и робок. Персонаж произведения существует таким, каким его видят другие люди; он меняется в зависимости от свидетелей, потому что к каждому из наших друзей мы поворачиваемся другой стороной характера. Байрон в изображении Шелли<sup>2</sup> отличен от того, которого описывают Трелоуни<sup>3</sup>, леди Блессингтон<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Зигмунд Фрейд (1856—1939) — австрийский врач-невропатолог, открыл метод психоанализа.

<sup>2</sup> Перси Биши Шелли (1792—1822) — английский поэт, друг Байрона.

<sup>3</sup> Эдуард Джон Трелоуни (1792—1881) — английский моряк, писатель. Влиятельный друг Шелли и Байрона, написал книгу «Воспоминания о Шелли и Байроне» (1858).

<sup>4</sup> Маргерит Блессингтон (1789—1849) — графиня, автор известных мемуаров. Ее салон посещали литераторы и политические деятели того времени. Выпустила книгу «Разговоры лорда Байрона с графиней Блессингтон» (1834).

Германа Лопатина. Это более чем спорно: это большая ошибка. Во-первых, жизнь Гончарова была наполнена бурными, почти маниакальными страстями, уродливым, непомерным раздувшимся тщеславием и болезненной подозрительностью, которые в конце концов огрубили его бесспорный большой талант и обрекли на литературное и общественное одиночество. Одна его «Необыкновенная история» — приключение более драматичное, чем неудачливые эскапады Г. Лопатина. Жизнь Гончарова трагична, а то, что трагично, не может быть монотонным. Думаю, что правдивый рассказ о ней может потрясти, а повествование о смелом и решительном, но величайшем неудачнике во всех своих предприятнях Г. Лопатине может только заинтересовать. С точки зрения И. Стоуна и А. Акимовой, биография любого гангстера увлекательнее, чем рассказы о жизни Мечникова или Дарвина. С этой позиции А. Моруа не стоило браться за описание жизни А. Флемминга и избрать своим героем Скорцени. Но Моруа написал эту книгу, и ее огромный тираж начисто опровергает тезис Стоуна. Что же касается сравнения двух книг о Мольере: С. Мокульского и М. Булгакова, то при всем уважении к имени почтенного профессора и его научным заслугам следует признать, что его биография Мольера вяло компилятивна и попросту неталантлива и тут не стоит искать никакой закономерности — одна, мол, книга написана «научно»,

или Клер Клермонт<sup>1</sup> и при этом ни один из рассказчиков не погрешил против истины «Я противоречу себе? — спрашивал Уи.лен. — Ну что ж, значит, я себе противоречу, но во мне живет не один человек, а множество».

Современный человек считает, что невозможно понять человеческую психологию, не изучив ее всесторонне, вплоть до бесконечно малых величин. Во французской литературе таким детальным анализом занимался Пруст<sup>2</sup>; мне кажется, он оказал большое влияние и на ваших писателей. Теперь мы признаем, что те события, которые историческая наука прежде объясняла самой простой причиной или объявляла результатом деятельности какого-нибудь великого человека, в действительности являются суммой незначительных действий и желаний. Посмотрите, например, как за последние годы изменилась трактовка американской революции и войны за независимость. И в биографиях мы теперь признаем, что человек — это не сплошная глыба добродетелей или пороков; что задача биографа не в том, чтобы дать своему герою моральную оценку, и, наконец, что характер человека на протяжении жизни меняется. В романе Пруста у Сен-Лу вначале прекрасный характер, а в конце он становится как две капли воды похож на своего чудовищного дядю господин де Шарлю, и это вполне правдоподобно; ведь случилось же так, что Дизраэли, которому в начале жизни были присущи серьезные недостатки, к концу жизни достиг спокойствия и ясности, не лишенной величия и красоты.

Вряд ли нужно говорить, что во все времена знали, что человек — явление сложное. Конечно, такие писатели, как Монтень во Франции и Шекспир в Англии, не хуже Пруста понимали всю сложность человеческой природы, но потом появились, с одной стороны, Реформа с ее идеей о предопределении, которая отрицала возможность изменения людей; с другой стороны — французский классицизм, который создал характеры абстрактные и умозрительные, что неизбежно повело к упрощению. Сравните, например, какое

а другая «беллетризованно-свободно». Строго научные книги профессора А. К. Дживиллегова о Микеланджело и Данте — не менее серьезно ученого, чем С. Мокульский, — захватывающе интересны, глубоки и увлекательны. Настоящий талантливый биограф не нуждается в шатких подпорках сомнительной беллетризации и не ищет спасения в «приключениях». В театре есть выражение: «самоигральная роль», то есть роль, в которой может иметь успех и плохой актер. Хороших актеров умные режиссеры обычно берегут для более трудных и менее эффектных ролей. Мне кажется, что и для автора-биографа больше заслуги найти и показать скрытый драматизм внешне невыразительной жизни, чем живописать романтические похождения. Больше того, я уверен, что жизнь каждого значительного человека может быть интересно рассказана: дело не во внешней ее динамике, а в динамике внутренней, в «страстях человеческих». А. Моруа в главе «Биография как произведение искусства» говорит об этом так: «Жизнь каждого человеческого существа интересна».

Но в этой же главе А. Моруа делает и одно неверное замечание. Моруа считает в биографии закономерным только прямолинейно-хронологическое развитие жизни героя, только через «последовательно раскрывающиеся в душе героя события и одновременно с ними». То есть он советует автору притворяться и делать вид, что он не знает

<sup>1</sup> Клер Мери Джейн Клермонт (1798—1879) — подруга Байрона, мать его дочери Аллегры. Друг семьи Шелли.

<sup>2</sup> Марсель Пруст (1871—1922) — французский писатель. Основное его произведение — роман «В поисках утраченного времени», написанный преимущественно на автобиографическом материале. В этом романе Пруст проявляет себя блестящим психологом.

бесконечное количество нюансов в характере Гамлета и как просто по сравнению с ним герои Корнелия. Николсон совершенно справедливо отметил, что пагубное влияние на биографию оказали и французские моралисты XVII века и вообще мода, выдвигавшая идеалом тот или иной тип характера.

«Из-за популярности характеров, написанных в подражание Теофрасту<sup>1</sup>, в психологических исследованиях появились известное единообразие и метод; но со всех других точек зрения влияние этой моды было самое отрицательное. Она побудила биографов выбирать лишь определенные типы характеров, наделенных определенными качествами, и подгонять детали так, чтобы они уместились в выбранную рамку. Этот дедуктивный метод, противоположный методу индуктивному, присущему нашему национальному складу ума, замечен во многих исторических портретах этого периода, и именно этот метод помешал «Жизнеописаниям» Уолтона стать настоящими биографиями».

Влияние классицистской психологии, которая, руководствуясь моральными соображениями, утверждала, что характер человека не меняется, распространилось на весь XVII век и захватило даже часть XIX. Романтик в байроновском духе всецело отдавался во власть своего фатального характера. Такой человек, как Байрон, нас удивляет, потому что он почти совсем не осознает подлинных причин своих страстей. Он не предается самоанализу, не пытается, как Мередит, переделать свой характер: он приемлет его, но считает однородным — и тут-то он ошибается. Лишь гораздо позже, в произведениях великих русских писателей, в особенности Достоевского, вновь появляется мысль о том, что в душе одного человека существует бесконечное множество разных людей. А впоследствии прустовский анализ и вовсе разбил в дух и прах идею цельной личности. После Пруста кажется, что узнать человека можно лишь по имени, общию, одежде и кое-каким привычкам. А за этим скрывается реальное существо,

того, что на самом деле ему отлично известно. Моруа признает, что в этой уловке есть «искусственность», ведь большей частью читатель, начиная читать биографию, знает финал жизни героя — остров Святой Елены у Наполеона, дуэль с Дантесом у Пушкина. Разумеется, могут существовать отличные биографии, стилизованные под неторопливый ритм классического «романа воспитания», где автор не забегает вперед, не отвлекается в стороны и ведет героя от рождения до смерти, год за годом. Но стоит ли накладывать вето и на иные композиционные приемы? В глубокой и содержательной работе нашего покойного лингвиста, философа и историка литературы Г. О. Винокура «Биография и культура», изданной в Москве в 1927 году ничтожным тиражом и почти забытой (о ней стоило бы поговорить — это богатейшая россыпь мыслей, но в другой раз!), я нашел замечательную цитату из «Поэзии и правды» Гёте: «Хотя человеческие задатки и следуют в общем известному направлению, но даже величайшему и опытнейшему знатоку трудно заранее предсказать это направление с достоверностью, но впоследствии иногда можно заметить то, что указывало на будущее»<sup>1</sup>. Как и все книги, биографии обычно читаются с начала, но думается, что многие из них пишутся с конца. Лев Толстой свою великую историческую эпопею за-

<sup>1</sup> Теофраст (372—287 до н. э.) — греческий философ, ученик Платона и Аристотеля, автор 240 трудов, большинство из которых до нас не дошло. Более всего известен своим трактатом «Характеры» — серией портретов, написанных очень изящно и живо. Теофраст утверждал, что в природе существует всего 30 типов человеческих характеров, таких, например, как лицемер, льстец, циник, ревнивец и т. д. Он определял характер по одной, как ему казалось, главной черте. Оказал сильное влияние на Лабрюера и Гоцци.

<sup>1</sup> Г. О. Винокур, Биография и культура, стр. 37.

или, точнее сказать, последовательная смена чувств и состояний, сожительствующих вместе и в то же время совершенно не связанных между собой, — и, таким образом, человек становится похож на колонии обитателей морских глубин. Он превращается в колонию чувств, колонию полипов, где проживают совместно разные люди.

Верно ли подобное представление о человеке? Никакое представление о человеке не может быть верным абсолютно. Правильно одно: человек, как и все природные явления, повинуется определенным ритмам. Иногда он особенно остро ощущает свою сложность, иногда, наоборот, понимает, что, как животное общественное, он прежде всего должен стремиться к цельности. Сейчас верх взяло ощущение сложности, и поэтому мы можем назвать второй характерной чертой современности — стремление к изображению сложности и многообразия человеческой личности.

Остается рассказать о третьей черте. Я думаю, что современный человек ищет в биографии не совсем то, что человек XVII века. Человек эпохи классицизма, по рукам и ногам опутанный строжайшими религиозными и моральными доктринами, имел более прочную подпору, и поэтому в книгах, которые читал, искал прежде всего подтверждение своим взглядам. Этим объясняется его любовь к трактатам на моральные темы, размышлениям и биографиям в духе Плутарха. Современный человек одержим тревогой. В большинстве случаев он лишен сильной веры, которая помогала бы ему побороть инстинкты, его разъедает рефлексия, и поэтому какую бы книгу он ни читал — беллетристическую или историческую, — прежде всего он желает найти себе там столь же беспокойных собратьев по духу. Он хочет верить, что не только ему знакомы борения души и долгие, мучительные раздумья; поэтому он любит те биографии, где герой изображается человеком противоречивым. Платон<sup>1</sup> считал, что человека тянут в разные стороны два коня — черный и белый: один вздымает его ввысь, другой низвергает в глубины подлости. Человечество в течение нескольких веков старалось забыть о существовании черного скакуна. Наше время, наверно, слишком легко сбросило

думывал тоже с конца: начал с декабристов и от следствия перешел к причине — к наполеоновским войнам. Нет ли в обязательном соблюдении хронологической постепенности некоего стилистического жеманства? Думается, что в биографиях возможны и допустимы самые различные композиционные приемы, любые манеры изложения материала, локальные содержание жизни героя. Современная проза испытала и отточила в этом отношении много интересных приемов. А. Моруа приводит пример с историей Шехерезады, которая спаслась от своего страшного мужа только потому, что умело останавливалась под утро, заставляя его волноваться: что же будет дальше? А. Моруа считает, что этот прием: «Что же будет дальше?», обязателен и для развертывания биографии. Но в сказках Шехерезады слушатели действительно не знали, что же дальше, и пружина приема действовала энергично. В биографиях же читатель почти всегда знает, что дальше. Не вернее ли искать источника напряжения и занимательности биографического рассказа не в принципе «что дальше?», а в том: «вот как это было?!». Кому не известна развязка «Гамлета», однако все с новым удовольствием следят за тем, как это происходило. Томас Манн вспоминает, что когда его мюнхенская машинистка впервые перепечатывала рукопись романа «История об Иакове», то, вручая ему готовый машинописный экземпляр, она сказала с гротательной наивностью:

<sup>1</sup> Платон (428?—347 до н. э.) — греческий философ-идеалист.

со счетов белого. Мне же представляется хорошим тот биограф, который умеет увидеть и черного и белого коней и который показывает, как человек, которому приходится управлять этой трудной парой, хорошо ли, худо ли, но справляется со своей задачей.

«Биография, — говорит Николсон, — это и занятие и утешение, но не для людей уверенных в себе, а для колеблющихся». Высказывание это представляется мне глубоким и справедливым. И так как мы живем в эпоху колебаний, нам нравится выискивать в жизни великих людей доказательства тому, что им тоже были ведомы колебания, и тем не менее это не помешало им действовать.

Я полагаю, мы определили основные черты современной биографии. По причинам, которые мы пытались объяснить выше, мы требуем от историка истины, свободной от страстей, и верим, что истину эту мы обречем вечно изменяющихся обликах сложной человеческой личности. Давайте теперь определим, насколько возможно примирить эти два требования нашего ума. Забота о правдивости предполагает привлечение всего аппарата документов и источников; но тут же у нас возникает опасение — а не потонет ли личность в этой гряде бумаг? Поиски исторической правды — дело ученого, поиски средств изображения личности — скорее дело художника: возможно ли совместить эти две вещи? Хэрролд Николсон считает, что нет: по его мнению, биография не должна быть произведением искусства. Он считает, что противоречие между формой и содержанием вечно и что, если нужно пожертвовать одним из них, всегда лучше поступиться формой. Вирджиния Вульф тоже выражает по этому поводу беспокойство: «Целью биографии, — утверждал сэр Сидней Ли<sup>1</sup>, который прочел и написал больше жизнеописаний, чем любой другой человек в его время, — является правдивое изображение личности». Никому не удалось более точно сформулировать ту двойную проблему, которая стоит перед современной биографией. С одной стороны, нас интересует истина, с другой — личность. И если мы представим, что истина столь же прочна и несокрушима, как гранит, а личность столь же невесома и переменчива, как радуга; если мы задумаемся над тем, что в задачу биографа вхо-

«Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле!..» Томас Манн справедливо находит это самым лестным отзывом о романе. Не может быть лучшей похвалы и для биографа.

Знаменитый английский историк и биограф Р. Маколей в большом эссе «Об истории» пишет: «Совершенный историк — это тот, кто представляет нам модель характера и духа определенной эпохи. Он рассказывает только о тех фактах, которые достаточно засвидетельствованы. Но посредством умного отбора и искусной группировки их он сообщает истине всю привлекательность поэтического вымысла<sup>1</sup>. И хотя Р. Маколей принадлежит к «знаменитым викторианцам», о которых А. Морра говорит несколько свысока, право, эта «программа» сама по себе не кажется ни устаревшей, ни старомодной. Значит ли это, что Морра не прав, что биографический жанр, по существу, не меняется и что его методы и приемы остаются прежними?

Мне думается, что Морра прав, жанр меняется, и к превосходным и острым наблюдениям самого популярного автора биографа наших дней, доказывающим это компетентно и убедительно, хочется добавить немногое. Когда какой-либо литературный жанр по разным причинам становится особенно распространенным, он закономерно и неизбежно вбирает в себя стилевые элементы других жанров. Роман становится драматургичным

<sup>1</sup> Сидней Ли (1859—1926) — английский биограф и ученый, специалист по творчеству Шекспира.

<sup>1</sup> Лорд Р. Маколей Полн. собр. соч., т. I, Спб., 1860, стр. XXVI.

дит соединить эти два столь не схожих предмета да еще так, чтобы не были видны швы, нам придется признать, что в большинстве случаев биографам не удается ее решить. Ибо правда, о которой говорит сэр Сидней, та правда, без которой нет биографии, обладает жесткой и неподатливой формой; правду такого рода мы встречаем в Британском музее; это правда, из которой под прессом исследований дотла выжат дух фальши. Сэр Сидней соглашался воздвигать свои монументы лишь после того, как такая правда была установлена. Никто не станет отрицать, что та масса точнейших фактов, которые он собирал о Шекспире и о короле Эдуарде, не может не вызвать уважения, потому что правда сама по себе ценна. Она обладает почти мистической силой. Как и радий, она может бесконечно испускать элементы энергии и атомы света. Она стимулирует ум так, как ни один вымысел — как бы он ни был искусен и ярок — не может его стимулировать. Но если правда столь действительна и совершенна, то чем объяснить тот факт, что «Жизнь Шекспира» сэра Сиднея донельзя сера и тускла, а «Жизнь Эдуарда» попросту нечитабельна, как не тем, что, хотя обе эти биографии перегружены правдивыми сведениями, автор не сумел отобрать те правдивые факты, которые могли бы передать личность. Для того чтобы разглядеть личность за грудой фактов, необходимо их должным образом обработать. «Одни факты следует осветить лучше, другие — оставить в тени, но прежде всего во время работы нельзя терять представление о целом». Так писала Вирджиния Вульф.

А это чистая правда. Может показаться, что желание соблюсти истину и стремление к красоте противоречат друг другу. В следующих лекциях мы, с вашего позволения, возьмем такие темы: «Биография как произведение искусства» и «Биографии как наука», в этих главах я надеюсь вам доказать, что искусство и науку можно примирить. Хороший портрет — это одновременно не только портрет схожий, но и художественное преобразование действительности. Нельзя отрицать, что правда обладает прочностью гранита, а личность — весомостью и переменчивостью радуги, однако Родену, а до него греческим скульпторам, иногда удавалось придать мрамору неуловимые изгибы и переменчивые отсветы человеческого тела.

Перевод с французского  
Л. Беспаловой

(Достоевский) или эпичным (Толстой). Чеховская драма делается, наоборот, повествовательной, в нее вторгается проза. «Ведущий жанр» эпохи тяготеет к универсальной широте композиционных и стилистических приемов, он обогащается за счет соседних жанров, поглощает их. Чистота жанра — это всегда явление его упадка. Сейчас биографический жанр переживает пору своего расцвета, как и граничащие с ним документально-художественные жанры: мемуары, исторический репортаж и др. Не случайно под маркой серии «Жизнь замечательных людей» в последние годы стали выходить и чисто мемуарные книги, как «Современники» К. Чуковского, «Портреты» М. Горького, разнообразный по представленным в нем жанрам сборник о Ю. Н. Тынянове. И все более распространяющийся прием «беллетризации» биографии тоже выражает эту тенденцию, жаль только, что тут наиболее часто нарушается элементарный литературный вкус. Естественно и закономерно появление биографической книги, вобравшей в себя или философское эссе (книга А. Лебедева о Чаадаеве), или публицистическое исследование (книга А. Туркова о Салтыкове-Щедрине). «Чистая биография» — явление несуществующее, эта абстракция, литературоведческий призрак.

Но что же именно об этом думает сам Моруа?

Об этом читатель узнает из главы «Современная биография», открывающей его книгу «Типы биографий».

# О воспоминаниях адмирала Н. Г. Кузнецова



Н. Г. Кузнецов. Перед войной. „Октябрь“, 1966, № 8, 9, 11.

Когда на страницах журнала «Октябрь» начали одна за другой появляться главы воспоминаний Николая Герасимовича Кузнецова, человека, прошедшего большой, пожалуй, только в нашей стране возможный путь от краснофлотца до народного комиссара Военно-Морского Флота, эти главы сразу привлекли к себе внимание читателей и значительно с интересом и явно выраженным стремлением автора к исторически объективному изложению событий прошлых лет. Они воспринимались как правдивый человеческий документ, а правда у читателя в цене.

Наверное, так же как и другие читатели, я с нетерпением ждал выхода этой книги целиком и был рад увидеть ее выпущенной Военным издательством Министерства Обороны СССР, в полюбившейся читателю серии «Военные мемуары», которая уже породавала нас за последние годы целым рядом интересных и правдивых книг, принадлежавших перу участников гражданской и Великой Отечественной войн.

Особенность книги Н. Г. Кузнецова в том, что она охватывает период нашей жизни и военного строительства как раз между этими двумя войнами. Последовательное изложение событий кончается в ней 22 июня 1941 года.

Автору есть что рассказать и о дальнейшем, и,

судя по заключительным строкам его книги, он собирается написать ее продолжение, которого я лично буду с большим нетерпением ждать. Название книги «Накануне» отвечает ее содержанию. В самом деле, если вспомнить всю нашу жизнь в 20—30-е годы, всю цепь событий, тянущуюся от ультиматума Керзона к налету китайских милитаристов на КВЖД, от событий на КВЖД к событиям на Хасане и на Халхин-Голе, то можно без преувеличения сказать, что мы все эти годы действительно жили «накануне» того часа, когда нас вынудят вооруженной рукой защищать завоевания Октябрьской революции.

Именно этой атмосферой определялось наше отношение к Красной Армии и Флоту, наша неизменная готовность служить в их рядах и столь же неизменная решимость идти на лишения и жертвы во имя того, чтобы у Красной Армии было все, что необходимо для отпора врагу. Книга Кузнецова дает, на мой взгляд, очень убедительное представление о том, какое место занимали армия и флот в жизни всей страны, в умах и сердцах людей. Книга не просто летопись военной службы автора. Скорее это гражданская исповедь коммуниста, который пожизненно избрал для себя профессию моряка, а шире говоря — солдата революции.

Несколько глав книги Кузнецова посвящены событиям гражданской войны в Испании, тому, как советские люди понимали свой интернациональный долг по отношению к испанскому народу и как они выполняли этот долг не на словах, а на деле. На деле. Хотю особо подчеркнуть это сейчас, когда в Китае нашлись люди, имеющие бесстыдство обвинять нас, советских людей, в недостатке интернационализма.

Эти главы книги полны горячей и действенной любви к народу Испании, любви, которая не остыла и не притупилась за тридцать минувших с тех пор лет, переполненных событиями огромной важности.

О некоторых из этих событий повествует последняя часть книги Кузнецова, начинающаяся с рассказа о том, как автор книги на протяжении двух месяцев был назначен сначала заме-

стителем наркома, а затем наркомом Военно-Морского Флота. Меньше чем за три года до этого, перед поездкой в Испанию, он еще командовал крейсером. Теперь на его плечи ложилась огромная ответственность. И он рассказывает об этом в своей книге с большой прямоотой и откровенностью. «...Со смешанным чувством радости и тревоги читал я этот документ. Быстрый подъем опасен не только для водолазов. Столь быстрое повышение по служебной лестнице тоже таит в себе немало опасностей. Я это хорошо понимал еще в молодые годы, потому и просил после академии назначить меня на корабль старпомом, чтобы двигаться по службе последовательно. Мечтал, конечно, командовать кораблем. О большем не думал. Но за последние годы мое продвижение стало уж очень стремительным. Его можно было объяснить в то время лишь бурной волной вынужденных перемещений...

Однако время не ждало, следовало приступить к выполнению своих обязанностей и не рассчитывать на скидки. А что новые мои обязанности были нелегки, я понимал это хорошо».

Н. Г. Кузнецов был одним из военачальников, которых «бурная волна вынужденных перемещений» перед войной в очень короткие сроки подняла на очень высокие посты. Он принадлежал к тем из них — а их было немало, — которые, несмотря на трагическое для нас начало войны, в конечном итоге оправдали возложенные на них надежды и с честью вынесли ту безмерную тяжесть ответственности, которая легла на их плечи.

О том, что означала эта тяжесть ответственности не только в дни войны, но и накануне ее, повествуют самые сильные страницы книги Кузнецова.

Приведенная мною цитата дает представление о характере всей книги. Прямота, мужественное признание наших предвоенных ошибок, в том числе своих собственных, решимость, не подмалывая прошлое и не причесывая его то в ту, то в другую сторону, не уклоняясь, сказать свое слово о самых сложных проблемах — таков пафос этих воспоминаний.

«Говоря о пророчествах и ошибках И. В. Сталина в

предвоенный период и в начале войны, не следует забывать и ту положительную роль, которую сыграл его личный авторитет в критические для нашей страны дни», — пишет Кузнецов. И впоследствии развивает это высказывание следующими соображениями, которые мне хочется здесь привести: «Кто не знает, какое внимание партия и правительство уделяли нашим Вооруженным Силам, как занимался ими лично И. В. Сталин в течение многих лет?! Все это было. Многие, очень многое делалось. И все же нечто весьма важное было упущено: не хватало постоянной, повседневной готовности к войне... Огромный авторитет И. В. Сталина, как мне думается, сыграл двойную роль. С одной стороны, у всех была твердая уверенность. Сталину, мол, известно больше, и, когда требуется, он примет необходимые решения. В то же время эта уверенность мешала его ближайшему окружению иметь собственное мнение, прямо и решительно высказывать его. А на флотах люди были твердо убеждены: коль нет надлежащих указаний, значит война маловероятна».

Автор книги, резко отвергая злобное — по его выражению — утверждение, будто бы Сталин оценивал обстановку и принимал решения по глобусу, в то же время на богатом фактическом материале анализирует меру ответственности Сталина за неудачное для нас начало войны.

Стремление восстановить истину во всей ее сложности подкрепляется в книге готовностью автора сочетать критику с самокритикой.

Завершая свои воспоминания, Кузнецов говорит о том, что все описанное им всего лишь этап в невиданном вооруженном столкновении, которое было выиграно советским народом под руководством Коммунистической партии.

«Однако, — пишет он, — мне хочется, чтобы не забывали и другое: более серьезно, глубоко, со всей ответственностью должны быть разобраны причины неудач, ошибок в первые дни войны... Эти ошибки в значительной степени на нашей совести, на совести руководителей всех степеней. И чтобы они не повторились, их следует не замалчивать, не перекладывать

на души умерших, а мужественно, честно признаться в них. Ибо повторение прошлого будет называться уже преступлением».

Собственно говоря, этими словами самого Кузнецова, которые являются как бы душою всей его книги, можно было бы закончить мой отзыв на нее.

Мне хочется добавить лишь одно: книга Н. Г. Кузнецова «Накануне» — одна из тех книг, которые особенно нужны сейчас, в период международной напряженности, американской агрессии во Вьетнаме, роста реваншистских настроений в Западной Германии. Такие книги, как эта, заставляют нас лишний раз подумать о мере нашей общей ответственности, в том числе и личной ответственности каждого, за повышение боеспособности нашей страны, за нашу не только материальную, но и моральную готовность с честью и во всеоружии встретить любые испытания.

Константин Симонов

## Семья Ульяновых

Семья Ульяновых, Саратов, Приволжское книжное издательство, 1966, 132 стр., тираж 100 000 экз.

Число книг и воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине стремительно растет. Только в 1966 году в Библиотеку имени В. И. Ленина поступило более 80 книг о великом вожде, в том числе более 30 книг — воспоминания, работы библиографического характера. Одной из них является книга «Семья Ульяновых», написанная коллективом лекторов и научных работников при Доме-музее В. И. Ленина в Ульяновске. Это уже третье издание книги. Первые два издания (1960 г. и 1963 г.) общим тиражом в 45 тысяч экземпляров быстро разошлись.

В этой небольшой, написанной живым, образным языком, ярко иллюстрированной работе «сжато излагаются, — по словам автора, — все известные материалы о симбирском периоде (1869—1877 гг.) жизни семьи Ульяновых». Естественно, что в центре внимания авторского коллектива — воспоминания членов семьи и близких к ним людей, особенно воспоминания Анны Ильиничны, Марии Ильиничны и Дмитрия Ильича Ульяновых, Н. К. Крупской, Н. И. Веретенникова, В. В. Кашкадамовой, В. А. Калашникова, В. Д. Бонч-Бруевича, М. М. Эссен и др.

Однако важное место занимают в сборнике и другие, менее известные документы об Ульяновых. Так, широко представлены материалы Дома-музея имени В. И. Ленина в Ульяновске.



Отчет, составленный Ильей Николаевичем, «О состоянии начального народного образования (1869—1879 гг.)» и архивные материалы бывшей дирекции народных училищ Симбирской губернии показывают огромные труды и заботы Ильи Николаевича, стремившегося найти пути для улучшения жизни учителей. Нелегкие судьбы родителей В. И. Ленина, их благородный, честный труд легко воссоздаются по старинному свидетельству, выданному дирекцией самарских училищ «дочери надворного советника девице Марье Бланк» (Марии Александровне Ульяновой) на звание учительницы начальных школ, а также по паспорту, выданному Марии Александровне в 1896 году, где можно видеть более 40 прописок в разных местах России.

Читатели найдут в сборнике немало материалов, позволяющих более точно воссоздать образы детей Ульяновых: здесь и домашнее сочинение Ольги Ульяновой «Как я научилась грамоте», и гимназическое сочинение Александра Ульянова «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству», и страница классного журнала Симбирской мужской гимназии, где учился Владимир Ульянов, и характеристика, данная ему директором гимназии для поступления в университет.

Обилие фактического материала, лежащего в основе книги, не растворяет в отдельных, пусть очень интересных, подробностях основной замысел авторов и составителей.

«Семья Ульяновых» — книга о роли семьи в формировании мировоззрения Владимира Ильича, его братьев и сестер. Известно, что биографии великих деятелей значительно лучше изучены в их связи с крупными общественно-историческими процессами, с историей страны, историей классов; в то же время маленькая общественная ячейка — семья хотя и присутствует в биографических работах, но порой чисто описательно, в отрыве от сложнейшего реального процесса формирования взглядов, убеждений. Ценность данной книги в том и заключается, что на богатом конкретном материале авторы разных статей («Талантливый педагог и просветитель», «Воспитание в труде. Учение», «Сердеч-

ная привязанность, тесная дружба», «Литературные интересы», «Круг друзей и знакомых», «Юность вождя») изучают сложную и важную тему — роль детских и юношеских лет в дальнейшей судьбе Ульяновых.

Влияние на детей личного примера родителей было огромное. Анна Ильинична отмечает, что личный пример отца «было то самое большое, неизмеримое по воспитательному значению, что получили от него дети». Естественное, как дыхание, чувство любви к народу, пример скромного беззаветного служения ему оставил Илья Николаевич в наследство детям. Демократизм Ильи Николаевича в отношении к угнетенным национальностям, несомненно, сильно повлиял на формирование великих интернациональных воззрений Владимира Ильича.

Хочется подчеркнуть еще одно обстоятельство. Мы знаем множество фактов, свидетельствующих о гармонии, единстве взглядов в доме Ульяновых. Однако в тех случаях, когда возникало разномыслие, оно не разрушало взаимного уважения; Илью Николаевича и других членов семьи всегда отличали терпимость, умение встать на позиции «оппонента», даже если тому немного лет и его мнения не кажутся верными. Эта замечательная особенность семейных взаимоотношений проявилась при решении религиозных проблем. Илья Николаевич ходил в церковь, соблюдал религиозные обряды, но детей верить в бога не принуждал. Однажды между Ильей Николаевичем и старшим сыном Александром произошел такой разговор. Отец спросил: «Ты пойдешь нынче ко всенощной?» — «Нет!» — твердо и решительно ответил Александр. Больше такие вопросы не повторялись. Владимир Ильич оюночательно порвал с религией в возрасте 16 лет. Однажды у отца сидел какой-то большой чиновник из министерства. Илья Николаевич посоветовал при нем, что дети плохо посещают церковь. Когда гость, глядя на Володю Ульянова, сказал: «Сечь, сечь надо!», юноша с глубоким возмущением выбежал во двор, сорвал с шеи крест, который еще носил, и бросил на землю. Возможно, именно этот случай вспомнил В. И. Ленин,

когда в 1922 году, заполняя анкету для Всероссийской переписи членов РКПб, на вопрос: «Если вы не верующий, то с какого возраста?», записал: «С 16 лет».

Авторы статей подчеркивают также большое благотворное влияние на детей Марии Александровны Ульяновой. Дмитрий Ильич вспоминал «лучшие качества матери-педагога: безграничную любовь к детям, большой ум, организованность, жизнерадостность, чуткость и тактичность, твердость воли и силу характера». Н. К. Крупская писала, что «талант организатора, который был так присущ Ильичу, он в значительной мере унаследовал от матери». «Только узнав Марию Александровну, — говорила М. М. Эссен, — я поняла секрет обаяния Владимира Ильича».

С первых же страниц сборника воссоздается своеобразная, замечательная атмосфера, царившая в семье Ульяновых, атмосфера, выработавшая такие навыки и качества, за которые борются и будут бороться лучшие воспитатели. Труд — это в семье главное. Всех детей, не только девочек но и мальчиков, обучала Мария Александровна шитью, вязанию, вышиванию. А сколько нужно было изобретательности, чтобы заинтересовать детей работой: иногда, например, мать готовила клубки для вязания, в которых были заматаны различные маленькие игрушки и сласти, которые появлялись по мере вязания. Кажется, маленькая деталь. Но от нее идут незримые нити к проблемам равенства мужчин и женщин, которые горячо обсуждались в семье. Уважение к труду умственному и физическому стало характерной чертой всех Ульяновых. Дощечка для хлеба, шкатулка для ниток, выпленные Александром в подарок матери, до сих пор хранятся в музее. Володю Ульянова можно было часто застать за работой в каретном сарае. По чертежу, данному в журнале «Детское чтение», он мастерил ходули при помощи топора и пилы.

Особенно строго следили Ульяновы за учебной своих детей, которая, собственно, и являлась одной из главных форм трудового воспитания в семье. Читать дети

начинали с 4—5 лет «Мы учились по звуковому методу. — вспоминает Анна Ильинична. — Меня мать начала, играя, учить с 5 лет, — помню наклеенные на картон буквы, из которых я составляла слова, — брат выучился подле меня самостоятельно, и отец рассказывал потом, как он — четырехлетний — раскладывал на полу газету и читал, лежа на ней». В своем домашнем сочинении Ольга Ульянова писала: «Мне было 4 года, когда моего старшего брата (Владимира Ильича. — Н. Ч.) начали учить грамоте. Я была тогда очень дружна с братом и не хотела от него отставать; мои родители не учили меня, думая, что я еще мала и мне будет трудно, но у меня была большая охота учиться, и я выучилась сама с помощью старшей сестры и брата... Около 6 лет научилась я писать с мамой» (стр. 37).

Как только дети выучивались говорить, читать и писать по-русски, мать начала их обучать иностранным языкам. Она помогла им не только познакомиться с этими языками в раннем возрасте, но и привила никогда не проходившую любовь к их углубленному изучению. Учеба всех детей в гимназии создавала богатые возможности для трудовой взаимопомощи. Старших детей готовили домашние учителя, младших — братья и сестры. Так, первой учительницей Дмитрия была его старшая сестра Анна. Марию готовила для поступления в гимназию Ольга. «Моя Маня экзамен сдала весной во второй класс и, вероятно, поступит», — пишет Ольга Ильинична 3 августа 1889 года своей подруге А. Щербо (стр. 40).

Дети семьи Ульяновых резко выделялись по умственному развитию и широте своего кругозора среди своих сверстников. Каждый из них всегда шел впереди класса, в котором учился. Большой серебряной медалью награждена Анна. «Единственный из всего класса» Александр, «самый достойнейший по успехам, развитию и поведению» Владимир, «самая лучшая ученица в классе» Ольга награждены золотыми медалями.

Огромную роль в умственном развитии детей сыграло систематическое чтение в семье. Очень интересный материал об этом со-

бран и обобщен в статье Г. И. Калачевой «Литературные интересы». Она напоминает, что Ульяновы постоянно следили за прогрессивными журналами («Современник», «Отчужденные записки», «Искра», также «Вестник Европы», «Дело»). Очень увлекались романом И. А. Гончарова «Обрыв» и даже ходили смотреть описанные в романе места, коллективно читали «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя, роман Л. Н. Толстого «Война и мир». Илья Николаевич получал всю новую детскую литературу, в том числе журналы «Детское чтение», «Родник», «Семья и школа». В «Детском чтении» публиковались биографии замечательных людей — Ветхове-на, Гёте, Шевченко, Миклухо-Маклая, Кулибина и др. Здесь же печатались рассказы и очерки о жизни пахарей, ремесленников, бурлаков.

Большой любовью у ребят пользовался журнал «Родник». Его редакция привлекала к сотрудничеству лучших прозаиков, писавших для детей: Д. Григоровича, К. Станковича, В. Гаршина, Мамина-Сибиряка, В. Короленко, М. Пришвина. В журнале помещались произведения иностранных писателей: Марка Твена, Жюль Верна, Альфонса Доде и др. Настольной книгой семьи была составленная поэтом и революционером Н. В. Гербелем «Хрестоматия для всех» («Русские поэты в биографиях и образцах»).

Как известно, любимые книги Володи Ульянова в ранние годы были повесть Вичер-Стоу «Хижина дяди Тома», роман Джованноли «Спартак». В гимназические годы Владимир Ильич прочитал знаменитый роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Чернышевский стал одним из любимейших писателей Ленина. В семье Ульяновых очень высоко ценили творчество революционного демократа Н. А. Некрасова. У Ильи Николаевича Ульянова была тетрадь с запрещенными стихами поэта, и он давал детям читать их. Многие стихи дети знали наизусть. Одинадцатилетний Саша часто читал стихи Некрасова «Песнь Еремушки», «Размышления у парадного подъезда». «Мне их папа показывал, — говорил он, — и они мне очень понравились» (стр. 78).

Большой любовью юных Ульяновых пользовались произведения их современника М. Е. Салтыкова-Щедрина. Как известно Александр Ульянов видел в Петербурге великого писателя. Старшие дети увлеклись поэтами «Искры» — еженедельного сатирического журнала, выходявшего под редакцией поэта Василия Курочкина. Н. К. Крупская в своих воспоминаниях пишет: «Меня удивило, когда мы были с Ильичем в ссылке в Сибири, какое количество стихов поэтов «Искры» он знал!» (стр. 80).

«От доски до доски» прочли в последних классах гимназии Александр и Анна Д. И. Писарева. Владимир Ильич познакомился с его произведениями в возрасте 14—15 лет. В библиотеке таких авторов не было. Ульяновы брали Писарева у врача И. С. Покровского. «Это было первое из запрещенных сочинений, прочитанное нами», — пишет Анна Ильинична.

Вместе с демократическими освободительными идеями русской литературы семья Ульяновых впитывала литературные и общественные идеи итальянского, американского, французского, немецкого освободительных движений. Хорошее знание иностранных языков давало возможность знакомиться в подлинниках с шедеврами мировой литературы — произведениями Гёте, Шиллера, Гейне, Гюго и др.

Активная литературная жизнь семьи Ульяновых проявлялась и в том, что дети начали издавать собственный журнал «Субботник». Редактором был Александр, «литературным критиком» — Анна, неизменными и неутомимыми сотрудниками — Володя — «Кубышкин» и Ольга — «Обезьянкова».

«Умело руководя детьми в выборе литературы, — делает вывод Г. И. Калачева, — Илья Николаевич и Мария Александровна прививали детям высокие общественные идеалы, любовь к знаниям и творческому труду. Знакомство с лучшими образцами художественной литературы, в первую очередь революционно-демократической, пробуждало у молодых Ульяновых ненависть к царизму, ко всяким проявлениям социально-политического гнета, способствовало формированию у них революционных убеждений» (стр. 83).

## Новая работа о Герцене

Семейный уклад Ульяновых стимулировал у подрастающих детей все больший интерес к политике. В своих показаниях на судебном процессе по делу 1 марта 1887 года Александр Ульянов заявил: «Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае» (то есть в подготовке покушения на жизнь императора «Александра III»).

Подробно освещается в книге вопрос о влиянии, «может быть, решающем», на мировоззрение юного Ленина его старшего брата Александра Ильича. Это влияние концентрировалось, усиливало те настроения Володи Ульянова, которые уже определились семьей, воспитанием.

Большой интерес, польза рецензируемого сборника не может вызвать сомнений. Необходимо, однако, сделать отдельные критические замечания. В книге наблюдается некоторое повторение материала. Так, например, характеристика Г. Симбирска дается в трех статьях (на стр. 13—14, 84, 104), в двух статьях воспроизводится разговор Марии Александровны с Сашей в тюрьме (стр. 66, 125), дважды приводятся воспоминания о смерти Ильи Николаевича (стр. 26, 94—95), в двух статьях рассказывается о подарках детей родителям (стр. 60, 75).

Бряд ли книга выиграла от сосредоточения всего большого иллюстративного материала в одном месте, вместо расположения его по ходу изложения, как это было в первых двух изданиях.

В целом, однако, задача, поставленная перед авторским коллективом — «издать основанную на документах и воспоминаниях, небольшую по объему и общедоступную по изложению книгу», — выполнена. Книга эта ценна потому, что она напоминает об интересных и важных, порой еще малоизвестных обстоятельствах из жизни В. И. Ленина. Материал этой книги заставляет задуматься над многими проблемами современности, над тем, в частности, каким должно быть подлинно ленинское воспитание.

Н. Часовникова

Лидия Чуковская, „Былое и думы“ Герцена. М., „Художественная литература“, 1966, 183 стр., тираж 38 000 экз.

«Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди и далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их». Так 62 года тому назад сказал о Герцене Лев Толстой. С тех пор об издателе «Колокола» написаны горы книг. Определено его историческое место, тщательно исследованы и систематизированы его философские, политические, эстетические и другие идеи. Может показаться, что о Герцене уже все сказано и его наследие можно целиком передать если не в музей, то в учебники по истории и литературе. Но в действительности Герцен не может превратиться в музейную фигуру. Он и сейчас является активным участником нашей жизни, ее великим учителем. Недаром Луначарский сравнивал его произведение с Иخورом, мощным и целебным потоком, в который, по свидетельству легенд, бросались греческие боги, чтобы выйти оттуда освеженными и окрепшими. Поэтому идеи Герцена, его жизнь и борьба привлекают все новых и новых исследователей. Книга Лидии Чуковской о «Былом и думах» принадлежит к тем работам, в которых содержится новое, живое слово о Герцене.

Автор прежде всего подчеркивает, что в русской, да и в мировой литературе,

трудно найти произведение такой колоссальной емкости, как «Былое и думы». В них жизнь Герцена осмыслена, пережита и воспроизведена в органическом слиянии с жизнью общественной, так что мемуары эти превратились из личной его биографии в главу из биографии человечества. В них воссоздано множество исторических событий, жизнь разных стран, вереница образов, целая историческая эпоха. Все эти события и образы служат не только для воспоминаний о «былом», но и поводом для «дум», глубоких размышлений, разработки идей и теорий. Но Л. Чуковская не стремится разобрать все богатейшее содержание «Былого и дум», да это и невозможно сделать в одной небольшой книжечке. Она сосредоточивает свое внимание преимущественно на проблемах морального порядка, по существу выдвигающая вопрос о том, в каком направлении жизнь Герцена и его творчество воспитывают ум, чувства и волю человека. «Былое и думы» представляют собой как раз такое произведение, которое лучше всего отвечает на этот вопрос. Ведь мемуары Герцена, по его собственному свидетельству, являются его исповедью; они написаны с исключительной искренностью и откровенностью. В них нашли отражение, кроме внешнего мира, «внутренние события души», «заповедные тайны», поэтому-то они и «могут провести черту по сердцу читателя». Одновременно «Былое и думы» являются проповедью, в которой великий проповедник излагает и свои моральные принципы.

Для того чтобы охарактеризовать эти принципы, Л. Чуковская все время обращается к личности самого Герцена. Она видит в нем прежде всего крупнейшего мыслителя. «Могущество... мысли — главная сила его таланта», — так говорил о нем Белинский. И Чуковская пишет, что произведения Герцена, его дневники, письма отражают титаническую работу какой-то гигантской лаборатории — его могучего и смелого ума. Все события жизни, внешние и внутренние, прошлые и современные, служат ему материалом для неустрашимо работающей мысли, для поисков правильной революционной теории. Л. Чу-

ковская исходит из той характеристики идей Герцена, которая была дана В. И. Лениным. Свою задачу она видит в том, чтобы показать особенности герценовского мышления, его требования к человеческому сознанию. Одной из самых характерных черт Герцена как мыслителя она считает критическую направленность и «мужество» его ума. С ранних лет он приучил себя ничего не принимать на веру, подвергать глубокому анализу все учения, теории, системы, проверять их жизнью. И если эти теории и системы, а также его собственные идеи не подтверждались действительностью, то он беспощадно отбрасывал их. Страстно и мучительно ища истину, он никогда не отказывался ни от какой правды, как бы тяжела она ни была; смело говорил об ошибках своих собственных, других людей и целых народов. Это «мужество ума», которое великий мыслитель считал одной из высших доблестей, резко отличало его от таких деятелей, которые страшатся правды. «Отгонять сомнения, чтобы утешить себя, чтобы обрести покой, он не мог. Скрывать ошибку от себя и других, как бы эта ошибка ни была утешительна, — до этого он свой ум не унижал», — пишет Л. Чуковская и называет одну из глав своей книги — «Отвага знания», взяв эти слова у самого Герцена.

Пожалуй, одним из самых ярких примеров этой отваги являются выводы, которые сделал Герцен из поражения революции 1848 года. В отличие от мелкобуржуазных революционеров Европы, которым было жалко своих верований и удобнее признавать поражение случайным, временным, он увидел и сказал, что революция эта должна была быть побеждена. Он констатировал с горечью, что результатом неудавшейся революции было развитие мещанства, от прикосновения которого все накопленное человечеством — философия, искусство, гуманность, революционные идеалы — превратилось в пародию на самое себя. Это беспощадное заключение вело Герцена к духовной драме: разлучало с надеждой всей предыдущей жизни, с верой в дороге для него теории. Ведь его сомнения «перетряхивали не церковную ризницу, не академические ман-

тии, а революционные знамена». И все же он призвал «к смиренню перед истиной». В. И. Ленин объяснил суть этой духовной драмы, показав, что она была крахом буржуазных иллюзий в социализме. Вместе с тем В. И. Ленин отметил, что скептицизм Герцена был формой перехода к классовой борьбе пролетариата. Ведь никакие «мучительные ошибки» и «мертвящие разочарования» не заставили Герцена сложить оружие. «Многое умерло возле нас, — писал он, — но мы возвращаемся к кладбищу еще упорнее и неисправимее». Его поддерживала в борьбе вера в русский народ и в человеческую личность, говорит Л. Чуковская.

В произведениях Герцена мысль нерасторжима с чувством. Недаром Белинский называл его ум «осердеченным». Л. Чуковская пишет, что Герцен никогда не остается холодным регистратором событий. Не только свою личную жизнь, но и исторические факты он всегда передает в сопровождении бури чувств. На страницах «Былого и дум» мы видим Герцена, полного любви, негодования, скорби, насмешек. Его автобиография проникнута глубоким сочувствием к обездоленным и униженным: «Колокол» является их «криком протеста». А каким сарказмом, хохотом, гневом сопровождается великий гуманист угнетателей, палачей, циников, мещан. Он борется за уважение к человеческой личности, за ее достоинство, за уничтожение «материков рабства». Л. Чуковская делает справедливый вывод, что ключом к идейному содержанию всего герценовского творчества является воинствующая человечность.

С этим у Герцена связана слитность политики и этики. Для него создателем нового мира, революционером, социалистом может быть только человек высоких моральных качеств. Л. Чуковская подчеркивает, что Герцен понимал революционность как категорию не только политическую, но и этическую. Если человек не гнушается низменным, живым, корыстным, то тем самым лишается права называть себя революционером; он становится мещанином. Характерно, что этическую меру Герцен прилагал не только к отдельным революционерам, но и к рево-

люционным событиям. «Великие перевороты, — писал он, — не делаются разнудыванием дурных страстей... Бойцы за свободу в серьезных подвигих оружия всегда были святы... и оттого сильны».

Бойцом за свободу всю жизнь был и сам Герцен. Л. Чуковская говорит, что смолodu его жгла мечта об активном общественном действии. Считая, что будущее зависит от людей, «от нас с вами», он призывал активно вмешиваться в историю. Он преклонялся перед «историческими деятелями» в противоположность «историческим бездельникам». Требуя от людей высокой гражданственности, он уважал только тех, которые «имеют храбрость поступка и всех последствий его». Такой «храбростью поступка» в высшей степени обладал сам Герцен, не побоявшийся вступить в единоборство с самодержавием. Он считал, что в эпохи политического гнета свободное слово тоже есть дело, очень важное и рискованное, — «ведь без вольной речи нет вольного человека». Но в николаевские времена всеобщей немoty, с мяпом во рту ему не удавалось говорить во весь голос. Об этой эпохе Герцен писал: «Николай Павлович... держал тридцать лет кого-то за горло, чтобы тот не сказал чего-то; но как только Николай умер, кто-то закричал во все горло и на всю Россию: «Теперь basta!»

Л. Чуковская пишет, что отзывом этого воображаемого счастливого возгласа и явились «Полярная звезда» и «Колокол». Ими Герцен сам создал себе трибуну, с которой он первым обратился к народу с вольным русским словом, подняв знамя революции в России.

Вольная русская типография, заражая действием сотни и тысячи людей, имела колоссальный успех. Этот успех был неразрывно связан с тем, что Герцен является великим художником слова. В книге Л. Чуковской дается глубокая характеристика его литературного таланта, его сверхающего стиля. Она говорит, что многие произведения Герцена — настоящей праздник русской речи, ее красоты и мощества. Она указывает на те высокие требования, которые автор «Былого и дум» предъявлял к литера-

туре. Как бы подхватывая мысль Белинского, ждавшего от русских писателей «грозного слова правды», Герцен говорил: «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Такой трибуной литература стала для самого Герцена.

Заканчивая свою книгу, Л. Чуковская говорит, что «Былое и думы» волнуют и будут волновать не одно поколение. Она сравнивает их с письмом, посланным в будущее. Письмо это учит думать, понимать, чувствовать ответственность за свои поступки. «Невольно, — пишет Л. Чуковская, — замедляясь чтение и отрываясь от книги, примеривая паразитскую тебя мысль к себе, к своему собственному опыту, вовлекаясь в счастливую умственную работу совместно с гением».

Книга Л. Чуковской, говорящая о высоких моральных заветах Герцена, читается с большим интересом. Тем более что написана она ярко, страстно и как бы единым дыханием.

**Е. Филатова**

## «Гражданин должен знать положение вещей...»

**А. Г. Тартаковский.**  
Военная публицистика  
1812 года. Издательство  
«Мысль». М., 1967.

«Великая армия» стояла у границ России. Война была неизбежна. Противник победным маршем прошел через всю Европу, имел численное превосходство, богатый военный опыт. Над страной нависла страшная угроза. Наполеон хотел не просто военной победы, нового Тильзитского мира. Он ставил своей целью подчинить и поработить русский народ. Россия вступала не в обычную войну. Это была война Отечественная.

Понимали ли это ее русские современники? Да, понимали. Именно в 1812 году возник самый прогрессивный патриотический журнал того времени, названный «Сыном Отечества». Несмотря на все свое предубеждение к «черни», Александр I указывал в первые дни войны на необходимость «возбуждать народ» на истребление врага «всеми доступными средствами».

Отечественная война требовала от страны невиданного напряжения, стойкости, участия в ней огромного числа людей. Но она требовала также осознания народом, прежде всего армией, национальных целей войны. Осознание народом этих целей было одним из непременных условий победы. Задачу патриотической пропаганды в ту пору энергично выполняла русская публицистика.

Русская дореволюционная и советская историография не обошла молчанием роль

публицистики эпохи Отечественной войны 1812 года в общественной мысли России. Но до сих пор сказано еще недостаточно и совсем ничего не было сказано о военной публицистике того времени, непосредственно связанной с армией. А ведь армия была той силой, от которой зависела судьба Родины, в армии находились лучшие представители русской интеллигенции, в ее рядах маршировали будущие декабристы. Поэтому недавняя вышедшая книга А. Г. Тартаковского «Военная публицистика 1812 года» заслуживает самого пристального внимания.

Книга отвечает на ряд серьезных научных вопросов и при этом написана живо и занимательно. Занимательность эта, составляющая неоспоримое достоинство книги, идет не от забавных «исторических анекдотов», не от хлесткости языка. Она в силе фактов, новых документах, серьезности размышлений, хорошем литературном слове. Все это дополняется прекрасным полиграфическим оформлением книги, наличием в ней интересных, даже уникальных иллюстраций. Оставляет желать лучшего только бумага, на которой напечатана книга.

Но обратимся к содержанию. В вводной части автор пишет: «...В 1812 г. русское командование оказалось перед необходимостью поиска новых средств агитационного воздействия на гражданское население, войска и поработенные страны Европейского континента. В период Отечественной войны, как никогда до того в России, военная пропаганда была поставлена на службу армии, и именно здесь пролегла главная арена идеологической борьбы с наполеоновским «нашествием» (стр. 9). Отсюда необходимость исследовать «какими методами велась эта борьба, каким содержанием была наполнена, какие течения обнаруживались в ее ходе, наконец, что за люди стояли во главе этой борьбы и чем они в ней вдохновлялись» (там же).

Перед автором и читателем большая научная проблема. Но не только научная и не только историческая. И в этом еще один плюс книги: она говорит о силе патриотизма, о его социальном содержании, помогает понять, что такое «квасной» патриотизм — в

отличие от патриотизма истинно народное.

За несколько дней до перехода русской границы войсками Наполеона в канцелярию военного министра России пришло «прошение» от профессоров Дерптского университета Ф. Рамбаха и А. Кайсарова об учреждении при действующей армии походной типографии. Это отправной пункт в создании армейской публицистики периода Отечественной войны 1812 года. Авторы «прошения» писали: «Где ныне хотят победить, там стараются прежде разделять мнение народа...» (стр. 20).

Царь санкционировал осуществление представленно-го проекта. При Главной квартире была создана походная типография. Ее сотрудники вели активную пропагандистско агитационную работу, которая служила поднятию духа русской армии, информировала ее бойцов о ходе кампании.

Влияние А. Кайсарова, яркого представителя плеяды русских просветителей, человека антикрепостнических взглядов, относительная независимость Главной квартиры от придворных кругов при отсутствии в ней царя, необходимость для правительства добиться поддержки народа в борьбе с Наполеоном определили либеральный курс в области военной пропаганды, особенно в первый период войны.

После смерти Кутузова А. Кайсаров оставил пост директора походной типографии и ушел в партизанский отряд. Он, по свидетельству современника, «сражался с невероятной храбростью и истинным героизмом». Смерть настигла его 14 мая 1813 года, когда русская армия совершала уже свой заграничный поход.

Следя за мыслью автора, которая движется зачастую по впервые обнаруженным источникам и ими в значительной мере подкрепляется, читатель найдет в книге немало интересных подробностей и деталей, которые расширяют его представления о хорошо известных или незаслуженно забытых современниках и участниках Отечественной войны 1812 года, дадут повод задуматься о сложности человеческого пути, об ответственности каждого за судьбу родины. Из приводимого автором материала читатель найдет, что прибавить к уже известным ему биографиям Барк-

лая де Толли, Кутузова, поэта Жуковского, декабриста М. Ф. Орлова.

Книга возвращает нас к вечным сюжетам о «генерале Морозе» и пожаре Москвы и содержит убедительные доводы в пользу разделяемой автором концепции. Пожалуй, нет такого человека, который не знал бы о Бородинском сражении, не помнил бы слов о том, что «были все готовы завтра бой затеять новый и до конца стоять». Победа, но отступление и сдача Москвы. Нелегко это укладывалось в головах современников («Не будь на то господня воля, не отдали б Москвы!»), это давало повод к многочисленным фальсификациям, начало которым было положено Наполеоном и Александром I по прямо противоположным мотивам. А. Г. Тартаковский объясняет эти мотивы, приводит факты, которые сопутствовали первому известию о Бородинском сражении.

Если подвести общий итог, то следует сказать, что рецензируемая книга — книга о великой народной войне, а в частности о тех, кто содействовал пробуждению в нем истинного сознательного патриотизма, непоколебимого перед лицом самых суровых испытаний. Основатели походной типографии начали свои периодические сообщения о ходе военных действий словами: «Мы надеемся заслужить доверие наших соотечественников и заверяем их, что мы также не будем скрывать и горестных происшествий, если им суждено будет произойти. Война не может быть без потерь. Гражданин должен знать положение вещей, чтобы он мог предпринять необходимые действия и быть ко всему готовым. Он должен радоваться нашему продвижению, а в противном случае не малодушествовать, но действовать» (стр. 62). Походная типография сообщала народу «положение вещей», народ действовал и победил.

Книга А. Г. Тартаковского «Военная публицистика 1812 года» невелика по объему, но читатель почерпнет из нее много нового, она пробудит в нем много мыслей, мыслей о патриотизме, патриотических мыслей. Прочтите эту книгу. Еще лучше — приобретите эту книгу. Вы не раз достанете ее со своей книжной полки.

Л. Слезкин

## Канун грозыных лет

И. Г. Рознер, Яик перед бурей. М., „Мысль“, 1966, 207 стр., тираж 18 000 экз.

История восстания яицкого казачества 1772 года, явившегося прологом крестьянской войны 1773—1775 годов, долгое время оставалась малоисследованной. Причиной этого было почти полное отсутствие документов, непосредственно к нему относящихся. Считалось, что они, как и весь архив яицкого войска, вообще не сохранились. Основание для такого заключения давал рапорт гвардейского капитана Маврина, посланного Екатериной II на Яик в 1774 году для конфискации казачьей «войсковой избы» (канцелярии). Маврин сообщал, что «все дела, по причине мятежей бывших, растащены, а другие... огню преданы».

Поиски А. С. Пушкина, в свое время собиравшего материалы для «Истории Пугачевского бунта», а много позднее — и В. Г. Короленко, также интересовавшегося судьбой яицкого казачества, к успеху не привели. А. С. Пушкин, побывавшему в Оренбурге и других местах, не удалось обнаружить следов архива или хотя бы части его; В. Г. Короленко нашел в городе Уральске лишь несколько копий с документов 1772—1775 годов.

Однако, как недавно выяснилось, материалы «войсковой избы» все-таки сохранились. В фондах генерал-аудиторской экспедиции Военной коллегии советский историк И. Г. Рознер обнаружил значительную часть архива яицкой повстанческой войсковой канцелярии — подлинные приказы, постановления, донесения,

рапорты, прошения. Эти документы и легли в основу работы И. Г. Рознера «Яик перед бурей», выпущенной издательством «Мысль».

Написанная на строго документальной основе, книга И. Г. Рознера содержит множество интересных фактов о жизни и быте яицкого казачества.

Автор вводит читателей в знаменитый казацкий круг, решающий дела этой неумолимой вольницы, показывает казаков в повседневном труде. Основой их хозяйства было промысловое рыболовство на Яике, изобиловавшем рыбой, особенно красной. Казаки занимались этим почти весь год, устраивая совместные «главные рыболовства» (недаром на гербе яицкого войска был изображен вооруженный казак, стоящий на двух огромных рыбаках).

Из книги читатель узнает и интересные подробности о том, как были одеты, вооружены, в каких домах жили казаки, какой товар покупали на ярмарках у заезжих «купецких людей» и какой предлагали сами.

Каких бы сторон жизни казачества автор ни касался, его рассказ так или иначе основывается на сопоставлении цифр, фактов, свидетельств, вскрывающих истинный смысл вещей. Анализируя социально-экономическое отношение на Яике в 60—70-х годах XVIII века, он показывает острые классовые противоречия между основной, беднейшей массой казачества и его богатой прослойкой. Пишет автор и о том, что существование казачьих областей с их формами самобытного общественного устройства противоречило интересам царского самодержавия, стремившегося к искоренению там каких бы то ни было вольностей и прекращению бегства в казачьи районы крестьян и других «рабочих людей».

Добившись значительного ограничения прав донского, терского и запорожского казачества, самодержавие начиная с первых десятилетий XVIII века приступило к ущемлению самостоятельности казачества на Яике.

Эти меры вызвали отчаянное сопротивление беднейшего казачества. Создались две антагонистические «стороны», или «партии». Одна — старшинская, согласная с царизмом (невоиско-

вая), другая — войсковая, непослушная, несогласная.

Кульминацией недовольства казачьих масс царской политикой и их борьбы против «старшинской стороны» и явилось восстание, вспыхнувшее в январе 1772 года. Войсковые старшины были свергнуты, некоторые, как и находившийся в Яицком городке царский генерал Траубенберг, убиты. Власть перешла к казакам «непослушной стороны», избравшим из своей среды «поверенных», или «судей».

Екатерина II направила против повстанцев карательные войска под начальством генерала Фреймана. Восстание, продолжавшееся почти пять месяцев, было подавлено, но причины, породившие антифеодальную борьбу казачества, не были ликвидированы.

...Не пройдет и года, как восстание на Яике вспыхнет с новой силой, а сентябрьским ранним утром на хуторе, близ Яицкого городка, встретится со своими приверженцами — яицами «молодыми» казаками — бежавший из казанского острова Емельян Пугачев.

В книге Рознера исследованы, таким образом, истоки и причины зародившейся на Яике крестьянской войны под предводительством Ем. Пугачева, потрясшей основы крепостной России.

Н. В. Наумова

## Шекспир в России

Шекспир и русская культура. Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.—Л., «Наука», 1965, 823 стр., тираж 3000 экз.

На рубеже XVI и XVII столетий Россия тесно соприкоснулась с шекспировской Англией. Только случай помешал кому-нибудь из наших посланцев видеть представление в «Глобусе» или спектакль тех же «слуг Лорда Камергера» (так называлась тогда труппа Шекспира) при дворе. Как раз в ту пору расцвета Шекспира и наибольшего успеха его театра русские дипломаты и торговые люди чаще, чем когда-либо прежде, бывали в Лондоне.

Всякий шекспировед с особым волнением впервые читает дневник секретаря русского посольства Федора Писемского, ездившего в 1582—1583 годах ко двору Елизаветы сватать для Ивана Грозного племянницу королевы Марию Гастингс. Еще бы! Писемский ходил по шекспировским улицам, он встречал вельмож, с которыми Шекспир был связан. Тот самый круг. Вот-вот должен был Писемский, судя по всему, столкнуться с Шекспиром. Для этого, правда, русский дипломат был в Лондоне слишком рано. В ту пору Шекспир только, наверное, пришел из Стратфорда в столицу и не успел стать сколько-нибудь заметным.

Зато совсем близко к Шекспиру оказался в 1600 году русский посол Григорий Иванович Микулин, отправленный в Англию Борисом Годуновым. Он-то и был в Лондоне свидетелем неудавшегося дворцового

переворота под предводительством графа Эссекса (1601); среди заговорщиков был и граф Саутгемптон, покровитель Шекспира. Микулин видел суд над ними, казнь Эссекса и обо всем этом оставил записки. Наконец, Микулин присутствовал на рождественском празднике при дворе, для которого была специально написана Шекспиром комедия «Двенадцатая ночь».

В комедии «Бесплодные усилия любви» развращается знаменитый маскарад, когда на сцену выходят «москвиты». Так вырядились Король, Лонгвиль, Бирон, Дюмен — герои пьесы. Хотя это всего-навсего ряженные и неизвестно как ряженные, но по их адресу раздаются реплики, в которых слышны отзвуки молвы о русских вообще, тех самых русских, что стали все чаще бывать в Лондоне. Их костюмы, манера держаться, говорить, даже пить — обо всем этом живо толкуют между собой англичане.

«О связь времен! О токи просвещения!» — восклицал Михаил Вулгаков, приступая к жизнеописанию Мольера. Пусть самого Мольера видел на сцене наш соотечественник (П. Потемкин), а с Шекспиром так не случится, пусть по мнению исследователей первое знакомство России с английской ренессансной культурой не могло быть особенно плотным, — все же историческая связь с Шекспиром, шекспировские «токи» идут к нам очень издалека.

До последнего времени портрет «русского Шекспира» оставался в набросках. Были досконально изучены эпизоды из истории освоения шекспировского наследия в России. Отважные и добросовестные попытки последовательно и полно изложить эту историю обнаруживали нехватку материала, пробелы, все по-прежнему получалось отрывочно. И лишь сейчас, в коллективном труде советских исследователей, перед нами раскрылась панорама, исключительная по глубине и выразительности, — «Шекспир и русская культура».

Шекспир движется тут по мере развития нашей литературы, театра, нашей мысли — словом, культуры. Заслуга авторов и редактора книги в том и состоит, что они показали не только разные способы, отдельные стороны усвоения у нас шекспировского твор-

чества, а совокупность духовных возможностей народа, который приуныл Шекспира на свою почву. Обширная панорама охватывает более трехсот лет — от исхода XVI к началу XX века (до 1917 года). Конечно, в отношении того раннего периода и до половины XVIII столетия о знакомстве с Шекспиром в России можно говорить лишь с известным допущением, условно. Знакомство, если оно так рано и состоялось, было эпизодическим, косвенным. Собственно «русский Шекспир» берет свое определенное начало с середины XVIII века. И все же возможность отсчитывать историю отечественной шекспирианы с шекспировских времен принципиально важна.

Смысл труда «Шекспир и русская культура», а также фундаментальной библиографии, которая служит его естественным спутником<sup>1</sup>, не ограничен шекспироведением. Через Шекспира (на этот раз через Шекспира) мы видим наш национальный духовный мир, и само освоение Шекспира рассматривается авторами как «важное национальное дело». «Гамлет» Сумарокова, мнения Ломоносова и Тредиаковского в связи с ним, полемическое письмо «Англомана» — Н. И. Плещеева в «Опыте трудов Вольного Российского Общества», перевод «Юлия Цезаря» и предисловие к нему Карамзина, шекспировские заметки Пушкина, «Гамлет» Н. А. Полевого, Мочалова, Велинского, статьи Ап. Григорьева, Тургенева, «парадоксы» Толстого — все эти и другие наиболее сильные, значительные проявления интереса к Шекспиру в России выступают на фоне разносторонней и многоплановой общенациональной работы. Девианом ее могут служить высказывания двух Тургеньевых: «Чем больше вникаешь в него, — говорил в 1802 году о Шекспире Андрей Тургеньев, даровитый литератор, — тем он становится священнее». А затем, уже в 60-х годах прошлого века, сказанное И. С. Тургеневым: «Для нас Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются лишь изреда и издала; он сделался нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и кровь».

Приступая к капитальному труду, исследователи и взяли эти слова своим знаменем. Мысль, подсазанная

некогда автору очерка «Гамлет и Дон-Кихот» историческим чутьем, теперь на наших глазах разворачивается в строго научную и вместе с тем красочную летопись. Сложные историко-литературные, библиографические поиски, тонкий литературоведческий анализ, слог выдержанный, хотя у книги несколько авторов<sup>2</sup>, в органическом единстве и ясности, — все вместе создает сильную картину.

Картина эта необычайно насыщена. Насыщен не только главный текст, но содержательно и то, что служит ему подспорьем, окружением. Авторы этого труда отличаются удивительным умением уместить в сноске под строкой, в примечаниях, в приложении такой материал, какого достаточно бы на самостоятельное исследование. Так что «Шекспира и русскую культуру» можно посоветовать читать даже с конца — с приложений где собраны, систематизированы и обогащены новыми размышлениями самые ранние сведения о контактах драматурга с Россией его поры. Вот где начинается Шекспир свое движение во времени по отношению к нашей стране! Тут впервые встречаем мы Федора Писемского и Григория Микулина в шекспировском Лондоне, отсюда за теми же историческими лицами надо последовать к началу, и они будут нашими первыми проводниками в основном изложении.

Ни Писемский, ни Микулин не упоминают в своих

<sup>1</sup> «Шекспир. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1748—1962». Сост. И. М. Левидова. Отв. ред. М. П. Алексеев. М., «Книга», 1964.

<sup>2</sup> М. П. Алексеев, Предисловие; Первое знакомство с Шекспиром в России; А. С. Пушкин; Шекспир и русское государство в XVI—XVII вв. (приложение); П. Р. Заборов, От классицизма к романтизму; Э. П. Зиннер, На рубеже веков. Между двумя революциями; Ю. Д. Левин, Пушкинская пора, Русский романтизм. На путях к реалистическому истолкованию Шекспира; Шестидесятые годы; К. И. Ровда, Под знаком реализма; Годы реакции.



бумагах о Шекспире, они скорее всего и не слышали о нем. Но когда мы видим Микулина, готового с оружием в руках принять участие в суровых лондонских событиях 1601 года, мы невольно отмечаем этот жест как символическое начало нашей шекспирианы, ибо в нем уже сказываются полнота сердца, сила духа, которые у нас всегда с такой щедростью вкладывались в Шекспира. «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» — а вот он здесь, русский человек, способный в захвате чувств загубить свою жизнь.

В более позднее время нашей истории мы встречаем уже не стихийное, не косвенное, а прямое и глубоко осознанное сопереживание с великим драматургом. «Рассуждая о нынешнем происшествии, я часто вспоминаю Шекспира», — пишет И. М. Муравьев-Апостол на исходе Отечественной войны 1812 года. Шекспир заставляет вспоминать о себе вместе с мыслями о судьбах родины. «Он был, — поясняет Муравьев-Апостол, — одним из любимых моих собеседников во весь период, столь мрачно начавшийся и столь счастливо и славно для нас оконченный».

То же безраздельное сочувствие двигало нашими крупнейшими толкователями Шекспира от Сумарокова и Карамзина до Станиславского. Качалова, Александра Блока и — если выйти за пределы книги, но следовать ее пафосу — Михаила Чехова, А. А. Остужева.

От «Гамлета» до «Гамлета» — таковы веи замечательного исследования, то есть от сумароковской переделки до постановки в Московском Художественном театре, последней перед 1917 годом. Да, Сумароков переименовал шекспиловскую трагедию, как поступали тогда с Шекспиром всюду в Европе, в том числе и в Англии. Но, отдалившись от Шекспира, он с честным убеждением, что так и должно, передал «Гамлету» сколько мог от себя самого, и в итоге получилась значительная политическая трагедия.

Все участники сборника «Шекспир и русская культура» многое исследовали заново, проверили и пересмотрели многие характеристики, обратившись в сноску к автору, произносимую по инерции. Развернутая система фактов противостоит на

страницах книги даже таким определенным, казалось бы, представлениям, как «упадок», «кризис», распространяющимися на целые периоды нашей культурной истории. Это не значит, что там, где обычно числился «упадок», вдруг после книги «Шекспир и русская культура» сделались «подъем» и «расцвет». Однако после того, как мы увидели реальных деятелей, их творчество, гражданственность, патриотизм, для нас уже и само кризисное, переходное состояние умов выглядит не бледным прозябанием, но полно напряженных поисков, способных разрешиться в недалеком будущем значительными результатами. Ведь что-нибудь да значит впечатление Гордона Крэга от сотрудничества с Художественным театром в работе над «Гамлетом». «Все они, — писал Крэг о соратниках Станиславского и Немировича-Данченко, — до одного интеллигентны, восторженно относятся к делу, беспрерывно заняты каждый день новыми песнями, каждую минуту новыми мыслями. Если бы такая труппа могла согласиться жить в Англии, Шекспир снова сделался бы мощной силой, тогда как сейчас он лишь залежалый товар»<sup>1</sup>.

Если припомнить, что именно на это время падает творческая зрелость таких английских актеров, как Бирбом Три, Форбс Робертсон, Х. Гранвилль-Баркер, то едва ли можно будет вполне согласиться со знаменитым новатором, что у себя на родине Шекспир был в ту пору такой уж «залежалый товар». Важна, однако, суть впечатления Крэга от нашего театра, на подмостках которого Шекспир становится «мощной силой».

Читатель закрывает книгу на заключительных словах, с которых должен начаться новый том, новый этап исследования — Шекспир и советская культура. Наши шекспиловеды внесли очень ценный вклад в изучение этой богатейшей темы и, можно надеяться, их усилия получат со временем столь же значительное итоговое обобщение.

Д. Урнов

## От веры к религии

А. Каждан, От Христа к Константину. М., «Знание», 1965, 303 стр., тираж 50 000 экз.

Книга называется «От Христа к Константину». Но рассказ движется в обратном направлении — от Константина к Христу. Это разумно и оправдано, и мы еще к этому вернемся. Следуя примеру автора, мы тоже начнем с конца, с заключения, или, точнее, с «Вместо заключения».

«Принципы религии, — говорит А. П. Каждан, — не доказываются, а принимаются на веру» (стр. 301). А опровержение этих принципов человек искренне и истинно религиозный принимает с величайшим трудом даже при самых убедительных, самых неотразимых доказательствах. Вот одна из серьезнейших трудностей атеистической пропаганды. Силы противников слишком неравны. Ни ракеты и космические корабли, ни прекрасно прочитанная лекция о том, что конца света не будет и не было у него начала, ни разоблачительные очерки о циниках и стяжателях в рясе или об изуверах-сектантах в цитадель веры не проникают. Другое дело, если цитадель уже нет — стены рухнули и рвы осыпались — или никогда и не было и место веры занимают мода, привычка или в особенности интерес.

Когда газеты с должными оговорками и должной осторожностью сообщают о некотором росте религиозных предрассудков и необходимости борьбы с ними, надо, мне кажется, иметь в виду,

<sup>1</sup> Гордон Крэг, Искусство театра, Спб., 1912, стр. 174.

что повинны в этом росте не только и не столько уверовавшие, сколько заинтересовавшиеся. К такому интересу есть все основания: громадная и — на нынешний день неискоренимая сила религиозного мироощущения, атмосфера таинственности, которую окружена религия, связь религии с культурой прошлого и настоящего. Между тем книги этого интереса не утоляют. Молчание первых послевоенных лет, когда эта тема попала под действие негласного вето, сменилось по преимуществу либо пропагандой новейших достижений естественных наук, либо критикою пороков и злоупотреблений внутри религиозных общин. Но прав А. П. Каждан, утверждая, что такая «критика... скользит по поверхности» (там же). «Мы можем указывать, что диакон А. — прелюбодей, священник Б. — расхиитель имущества, епископ В — враг Советской власти. Если мы приведем убедительные факты, верующий согласится с нами. Но при этом он скажет: «Какое это имеет значение? Они только заблудшие овцы в пастве Христовой». И при этом укажет, что диакон Х. целомудрен, священник Ш. кристально чистен, а епископ Я. — участник партизанского движения» (там же).

Сотни книжек, брошюр и статей рассказывают, «почему я порвал с религией», и усердно чернят господа бога и его служителей. У верующих это вызывает только отвращение, а «интересующихся» оставляет неудовлетворенными. Для них куда важнее узнать, почему люди верят, а не почему перестают верить. «Христианство появилось не потому, что его придумали расчетливые священнослужители для обмана народных масс, — оно возникло закономерно, как результат определенного социально-экономического развития, под влиянием определенных идейных сдвигов» (стр. 303). Наши современники это хорошо понимают и хотят получить толковые, прямые и непредвзятые объяснения и по отношению к прошлому и по отношению к настоящему. Кстати, непредвзятость в гораздо большей мере свойственна подлинному атеизму — спокойному и бесстрашному, нежели пресловутая «боевитость», чрезмерная страстность, ме-

шающая ясности взгляда и мысли.

Каждан не проповедует, не призывает и не клянется. Он объясняет и показывает, очень сдержанно и очень основательно. Он не рассчитывает нанести невозможные потери «духовному стаду Христову» и пробить широкие бреши в церковных стенах. Он отвечает на вопросы и сомнения тех, кто с любопытством приближается к этим стенам и как гость входит внутрь.

Тема книги — зарождение христианства и ранняя его история, то есть та пора, которая еретиками и реформаторами противопоставлялась «торжествующей церкви», разваленной богатством и могуществом, пора мучеников, исповедников, святых, пора героизма и бескорыстия. На самом деле все было не так просто, не так свято и не так героично, как казалось средневековым бунтарям. Начавши с непримиримого и отчаянного бунта против «мира сего», христианство за три с половиною века проделало долгий и отнюдь не прямой путь — сперва к примирению с «миром», а потом и к началу борьбы за господство над ним.

Вера ничем не примечательной еврейской сенты, каких было много на земле древнего Израиля, сенты, родственной знаменитым ныне повсюду кумранским ассенам, — как смогла она возвыситься до мировой религии, чем привлекла сердца нищих и «мытарей», иудеев и эллинов, рабов и господ?

Она сложилась как религия трудящихся и обездоленных. Она сулила им вскорости царство абсолютной справедливости, где последние станут первыми, где усталые и обремененные отдохнут от трудов и забудут горести и заботы. Она сулила им ни с чем не сравнимую сладость мести врагам — скорую расправу над «вавилонской блудницею», Римом, унижавшим и угнетавшим еврейский народ, и над холоумиями и прислужниками Рима. Но «блудница» оказалась сильнее, чем упования энтузиастов. Когда иудейская война 66—72 годов была проиграна, а Иерусалим и храм разрушены, лозунг «Се, грядущи скоро!» мог сохраниться лишь как призыв к самоубийству. И он был задвигнут назад, перетолкован, бунтарский дух уступил место безмоль-

ной покорности властям, а «царство божие отодвинулось в далекую неизвестность» (стр. 214). На первый слой новой веры начал ложиться второй.

Покорность — лишь одна из составных частей этого нового слоя. Другая, еще более важная, — универсальность, национальная индифферентность. Проповедь новорожденного христианства была обращена только к евреям, к «заблудшим овцам дома Израилева». Теперь христианство ломает «племенную ограниченность, свойственную всем прежним религиям. Из религии одного народа оно превратилось в религию всего человечества» (стр. 222). Мало того, «стремясь к компромиссу с властями империи, христианство отрезлось от своих предков» (стр. 227), потому что эти предки, «евреи, были одним из самых бунтарских народов Римской империи» (там же). Отрекаясь от них, приверженцы новой религии как бы очищали себя от возможных обвинений в связях с повстанцами 66 и 132 года, снимали с себя ответственность за их свободолобие и отчаянную смелость.

«Проповедь терпения и смирения, которую в середине II века несло христианство, не была лицемерным обращением богачей и рабовладельцев к малым мира сего. Не хитрые жрецы, сговорившись с римскими аристократами, выдумали основные принципы Павловых посланий. Терпение и смирение стали принципом поведения разбитых в боях рабов, разгромленной и униженной бедноты» (стр. 246). Просвещенных образованных и обеспеченных приводила к христианству тирания императоров, сделавшая государственную службу и официальную идеологию омерзительною для честного человека, тогда как новая религия всячески подчеркивала свою независимость и отъединенность от государства. Но чтобы принять богатых в свое лоно — а в этом тоже не было хитрого расчета, этого с полною необходимостью требовал дух универсализма, — религия бедняков должна была снова изменить самым первым и ранним своим принципам. Проклятия богатству сменились рассуждениями о разумном пользовании собственностью, совершенно недвусмысленные

слова Иисуса о богаче, которому труднее войти в царство небесное, чем верблюду (а в правильном переводе — канату) в игольное ушко, были перетолкованы с тою же решительностью, с какою некогда: «Се, гряди скоро!»

Но по мере того как общины бедняков превращались в богатую церковь, они все больше нуждались в защите сильного государства — защите от тех, кто посягал на их благополучие изнутри, и от внешних врагов, грозивших стереть с лица земли Римскую империю. Иными словами, у укрепившего христианства и у слабеющего рабовладельческого государства были общие противники. Возникла почва для соглашения и союза. И каким бы долгим, неровным и кровавым ни был путь к союзу, он все-таки был пройден. Государство признало церковь не благодаря божественному просветлению, осенившему правителей, а потому, что возникла необходимость «сплотить все силы господствующего класса; терпимость к новой религии оказывалась одним из элементов создания новых форм государства — откровенной диктатуры класса рабовладельцев» (стр. 26). Христианство успело сделать мощнейшей силой, и чтобы объединить все группировки господствующего класса, его следовало привлечь на свою сторону.

Союз был взаимовыгоден. Церковь IV века истово защищала социальные и политические основы империи — рабство, богатство, деспотию. А когда в конце века христианство стало господствующей религией, то гонимыми на язычников и инакомыслящих в собственной среде быстро превзошло бывших своих гонителей.

История идеи раскрывается перед нами в двух аспектах. Мы видим, как идея овладевает людьми, все более широкими и разнообразными кругами общества. Залог успеха — ее многослойность. Христианство не отменяло и не снимало старых своих лозунгов, оно только замалчивало их или пересмыслило. Но осмысление — вещь зыбкая, ненадежная, и бедный по-прежнему мог утешаться притчей о Лазаре, бунтарь — грозным посулом «Не мир пришел я принести, но меч», а кроткий — заповедями любви. Видим мы и другое — как

люди подминают идею, вывертывают ее наизнанку да при этом еще клянутся в непоколебимой верности божественному своему учителю. Едва ли, однако же, можно, например, возложить на Христа или евангелиста Иоанна ответственность за костры испанской инквизиции, выискавшей себе оправдание и девиз в двух стихах из «Евангелия от Иоанна»:

«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.

Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».

Пример взят из времен значительно более поздних, но сути дела это не меняет.

Каждан пишет честно и достойно, и потому следовать его изложению — одно удовольствие. Он отдает должное ранним христианам, их личным качествам, их нравственной высоте. В поступках и решениях их лидеров он старается обнаружить не злокозненность и не коварство, а проявления объективной необходимости, которой подчинено развитие религии. Но и у Каждана видны следы разоблачительства, обезличивающего и компрометирующего множество сочинений на эту тему.

Говоря о сложном и внутренне противоречивом составе христианской доктрины, автор саркастически заключает: «Здесь был товар на все вкусы... Христианская церковь обладала свое учение в доходчивую форму тривиальных истин. Они были совсем не оригинальны, зато просты» (стр. 262).

Напрасный сарказм. Простота и тривиальность — совсем не одно и то же. Скорее следует говорить о необыкновенной емкости этих простых истин и удивительной их комбинации. Иначе как могли бы они с таким успехом «улавливать души» на протяжении без малого двух тысяч лет, и какие души!

Напрасно и противоположение абстрактных, неисполнимых истин христианства конкретным требованиям Спартака (стр. 263). Во-первых, мы слишком мало знаем о Спартаке и его требованиях, а если быть откровенным — не знаем почти ничего. А затем, и в

основном, слишком уж далекие друг от друга явления становление новой религии и восстание рабов, чтобы их сопоставлять.

И вообще, мне кажется, Каждан не вполне чужок к специфике религии. Зачем настойчивые, неоднократные оговорки о недостаточной революционности христианства, о том, что в речах Тертуллиана «не гремит набат революции» (стр. 173), о том, что «пророки единого бога не звали к активной борьбе» (стр. 169) и т. п.? Создается ощущение, будто автор все время внутренне оглядывается на какой-то эталон активности и революционности. На какой же именно? Неужели опять-таки на социально-политические выступления рабов?

Чрезмерную заземленность отличает и рассуждение о царстве божием. Первоначально царство божие «представлялось христианам счастливой порой, которая должна вскоре наступить и которая принесет изобилие и покой страдающим и угнетенным» (стр. 123). И еще: «Даже на самом раннем этапе истории христианства, когда царство божие рисовалось перед верующими еще в земных, а не в небесных образах, утверждение этого царства оказывалось таинственным долгом бога... Не социальный переворот, а смерть и воскресение Христа призваны обеспечить спасение человечества от грехов» (стр. 191).

Тут представление о различии между религиозной и нерелигиозной формами сознания утрачено на чисто. Никакой социальный переворот не дарит людям упование на бессмертие, а именно бессмертие — основное в содержании понятия «царство божие», бессмертие есть главный результат «спасения человечества от грехов», именно бессмертие, а не «изобилие и покой». Укоры и упреки автора оказываются несостоятельными.

Так же точно несостоятельно определение христианства как «религии отчаяния и безнадежности» (стр. 235, 237). Все верно: она «утешала», «отвлекала от борьбы», «оправдывала терпение и покорность» (там же), но она несла великую, хотя и неисполнимую, надежду и великую радость. В этом как раз и была ее соблазнительная сила.

Каждан признает возможность историчности Христа (стр. 163, 192). Это очень

правильно и очень важно. Он констатирует крайнюю смутность и ненадежность сведений о жизни и учении исторического Христа. Это долг историка, и автор исполняет его, на мой взгляд, безупречно. Но когда он утверждает: «К тому Иисусу Христу, жизнь которого описана в евангелиях, основатель христианства не имел никакого отношения» (стр. 192—193), это так же категорично, бездоказательно и зыбно, как утверждение, что каждое слово евангелий — чистейшая историческая правда.

За первым шагом должен был последовать второй. Признавая, что образ страдающего богочеловека обладал громадною притягательною силою (стр. 252—253), что в нем основа христианской религии (стр. 290), следует анализировать именно образ Христа в его эмоциональной цельности — ведь воссоздан же в книге образ Павла, и страницы эти из числа наиболее удачных. Но этого автор не делает. Мало того, он путает образ и понятие и высказывает мысль, что «образ богочеловека нелеп» (стр. 290). Действительно, как логическая категория ипостась сына в троице, возможно, легко сводится к нелепости. Но образ, написанный евангелистами, отнюдь не нелеп. Это один из самых великих и самых впечатляющих образов, какие знает мировая литература. И Христу-образу противоречия в его высказываниях не страшны, они не способны умалить ни веры в него, ни любви к нему.

Раннее христианство — главный, но не единственный герой книги. Прекрасно написана эволюция Римской империи, образы — снова образы! — Тертуллиана, Оригена, императора Юлиана, интересны вкрапленные в разных местах размышления о судьбах историографии в руках благочестивых историков, о безнадёжной борьбе истины против благочестия, о благочестивом обмане.

Вообще хозяин книги — историк. Ход исторического исследования, ход мысли ученого лежит в основе своеобразной композиции. Читатель словно приобретается к работе, садится рядом с исследователем за его стол и собственными глазами видит, с какой неожиданной стороны и какими хитрыми приемами может иной раз разламываться клубок слож-

ной проблемы. Вместе с тем избранная Кажданом композиция оправдана дидактическим законом «от простого к сложному». Ведь самыми сложными оказываются истоки, скрытые под позднейшими наслоениями, которые автор и удаляет одно за другим, чтобы затем, в главе VIII, еще раз показать развитие событий уже в прямом, хронологическом порядке. И наконец, эта композиция создает занимательность, держит читателя в напряжении.

Да, эта книга занимательна в высшей степени и в самом лучшем, самом высоком смысле слова. История идеи, сыгравшей и все еще играющей такую необыкновенную роль в судьбе человечества, история ее превращений и злоключений, падений и взлетов, героической борьбы и зловещего триумфа, написанная ученым и публицистом, захватывает куда сильнее, чем лихие похождения авантюристов или путешествия по экзотическим странам. Это и есть подлинная научно-художественная литература, жанр, счастливо совмещивший то, что, казалось бы, не может соединиться.

Некоторые историки религии различают термины «мера» и «религия», определяют первую, как живое, творческое, способное к развитию начало, второе — как жесткие, омертвевшие, раз и навсегда заданные рамки, в которые мысль и чувства втиснуты внешнею силой; выход за пределы этих рамок опасен и для них самих, и нарушителям грозит бедою, карою. Превращение веры в религию и борьба между ними занимает важное место в истории любой из великих религиозных систем. Христианство в этом смысле — не только не исключение, но, напротив, чрезвычайно убедительный и яркий образец, почти что модель. Первые шаги на пути от веры к религии, от свободы — к подчинению и рабству, от творчества — к покорному вытверживанию нерушимых принципов, от бунтарства, от мысли — к догме превосходно очерчены Кажданом в книге «От Христа к Константину».

С. Маркиш

## Итальянское издание русских народных песен

Vladimir Ja. Propp, J. canti popolari russi. Torino, Einaudi, 1966

Антология «Русские народные песни», только что вышедшая в свет в Италии, свидетельствует о возрастающем интересе передовой итальянской научной и литературной общественности к памятникам русского народного творчества. Строгого библиографа эта книга несколько озадачит: русско-го оригинала ее, несмотря на определенное итальянское заглавие, не существует. Однако если нет оригинала, то есть, так сказать, прототип. В основе новой антологии лежит сборник русских песен, изданный в 1961 году профессором Ленинградского университета В. Я. Проппом в известной серии «Библиотека поэта»<sup>1</sup>.

Что же представляет собою новая антология русской песни, впервые в таких масштабах подготовленная к печати молодой итальянской фольклористкой Дж. Вентури?

Перепечатав в своем переводе статью В. Я. Проппа, составительница книги и в

<sup>1</sup> Как отмечают итальянские издатели, работа этого советского ученого пользуется широкой известностью в западноевропейских научных кругах: «Многочисленные исследователи признали за ним приоритет в разработке и применении структурального метода в этнологии (исследование «Морфология сказки»)».

отборе текстов и в комментариях к ним пошла по самостоятельному пути. Укажем хотя бы на то, что из 642 текстов, вошедших в сборник «Библиотеки поэта», в итальянское издание перешло лишь 122, причем если советский исследователь стремился по возможности представить все виды народных лирических песен, то в итальянском издании явное предпочтение отдано песням, которыми молодежь сопровождала свои «посиделки», «беседы», игры, танцы (например, «Под дубравою лен, лен», «Ой, мы просо сеяли, сеяли», «Мимо саду-винограду»). Познакомится итальянский читатель и с лучшими образцами песен о крепостной неволе, такими, как «Во лесу, лесу дремучем тут поет, поет соловьюшка», «Калинушку с малинушкой водой залило», «Вы, кудри ль, мои кудри», «Как во городе во Устюжине», «Государь ты наш Сидор Карпович» и др. Разумеется, составительница не могла представить всех видов русской песни, но все же досадно, что в антологию не вошли хотя бы некоторые из так называемых «протяжных», или «голосовых», песен о любви, о семейной жизни, календарно-обрядовой лирики, свадебных песен.

Книге предпослано предисловие Дж. Вентури. В нем дается беглый обзор основных этапов и форм эдичноно-сборительской работы в России, начиная со сборников П. А. Кашина и М. Д. Чулкова и кончая современными смотрами художественной самостоятельности и олимпиадами. Особо отмечается значение деятельности П. В. Киреевского, П. И. Рыбникова, а также советских ученых, значительно расширивших, по признанию автора, прежний «сборительский кругозор». Учитывая, что книга предназначена для итальянского читателя, Вентури дает некоторые сведения о характере старинных русских праздников, о самой обстановке, в которой исполнялись обрядовые и игровые песни. А комментарий к отдельным песням она не забывает снабдить пояснениями непереводаемых на итальянский язык слов, таких, как лапти, сарафан, хорова, бурлаки, санные девушки. Отмечая высокие художественные достоинства русской народной песни, автор подчеркивает ее исключи-

тельную роль в творчестве великих русских поэтов и композиторов, равно как и ее большое научное значение.

Дж. Вентури совершенно справедливо подчеркивает в своем предисловии, что статья В. Я. Проппа представляет значительный теоретический интерес как один из наиболее удачных в современной науке опытов классификации народных лирических песен.

Все существующие опыты классификации народной лирики страдают в той или иной мере одним общим недостатком: признак, по которому производится деление, не является, как правило, ни достаточно существенным, ни даже единым. Так, по темпу исполнения песни можно делить на протяжные, полупротяжные и частые. По бытовому применению можно говорить о песнях трудовых, посиделочных, свадебных, святочных и т. д. Но, как правильно устанавливает В. Я. Пропп, «нам нужно не такое распределение, которое было бы только логически правильным, но такое, которое выражало бы сущность песни и показало бы существенные отличия ее видов».

Вот эти «существенные отличия видов песни» и лежат в основе классификации, предложенной В. Я. Проппом. Характерной ее чертой является то, что, сохраняя логическую стройность, она в то же самое время позволяет выделить в песне не один, а сразу несколько существенных признаков. Это достигается тем, что каждая песня рассматривается последовательно в нескольких аспектах, строго выдерживается в каждом отдельном случае избранный признак деления.

Так, например, основываясь на наиболее общем признаке народной лирики — признаке социальной принадлежности, В. Я. Пропп делит песни на две основные группы — песни крестьян и песни рабочих. Первые, в свою очередь, подразделяются на песни крестьян, «своим трудом непосредственно связанных с землей», и песни других слоев крестьянства.

Распределив таким образом свой материал, В. Я. Пропп анализирует затем каждую из выделенных групп с точки зрения уже другого признака — отно-

шения к обряду. Так, собственно, крестьянская лирика делится им на два раздела: лирику обрядовую и необрядовую, первый из которых, в свою очередь, делится на два вида: календарно-обрядовую и семейную, а второй может быть изучаем по своему содержанию и формам своего исполнения.

Систематизировав огромный фактический материал, В. Я. Пропп дает затем ряд весьма четких очерков, в которых каждая из выделенных песенных групп получает всестороннюю историко-художественную характеристику. Привлекая массу самых разнообразных данных (исторических, этнографических, литературных и т. п.), он воссоздает широкую картину исторического развития народной лирики, картину движения и взаимодействия различных ее форм — от ранних видов календарно-обрядовой лирики до революционной рабочей поэзии.

Значительное место в статье отводится вопросам поэтики лирических песен. Свои вполне определенные «отложения» в поэтике песен дают, по мнению исследователя, и социальная принадлежность, и жанровая природа, и идейно-тематическая направленность, и наконец, внутренняя фольклорная традиция.

Это своеобразное сочетание широкого историзма с тонким ощущением поэтической природы текста (сочетание, заметим в скобках вообще отличающее аналитический почерк В. Я. Проппа) позволяет исследователю очень наглядно раскрыть эстетическую сущность народной лирики и вместе с тем как бы датировать различные «пласты» ее поэтики.

Принципы, примененные В. Я. Проппом в изучении народной лирики, имеют большое научное значение. В советской фольклористике они уже давно получили полное признание. И можно только порадоваться тому, что и мировая наука начинает сейчас оценивать их по достоинству — в качестве нового слова в изучении фольклора. Это признание не только заслуг замечательного советского ученого, но и признание все возрастающего международного авторитета советской науки.

Т. Орнатская  
(Ленинград)

## Пилот первого вертолета



Д. М. Черемухин.

Всю жизнь этот человек решал разные, удивительно не похожие друг на друга задачи. И в какое бы трудное положение ни попадал ученый, он выходил из него с редкой энергией и изобретательностью. В любом деле слову «хочу» он предпочитал куда менее привлекательное слово «надо». Он любил искать главное, самое нужное, чтобы, отыскав, заняться именно им — наиболее необходимым.

Первая мировая война превратила студента в военного летчика, а затем в летчика-инструктора. После революции Алексей Михайлович получает диплом инженера, проектирует и строит аэродинамические трубы в ЦАГИ, руководит работой над первым советским вертолетом и испытывает его в воздухе. Много лет доктор технических наук, профессор Черемухин гарантирует своей подписью прочность прославленных «ТУ», учит студентов законам прочности.

Среди учеников Черемухина — люди с мировыми именами. Конструкторы истребителей Лавочкин и Яковлев, конструктор

вертолетов Братухин. Профессора Шишкин, Макаревский, Ромашевский...

Прочнист — суровая профессия. Тому, кто посвящает ей жизнь, надо взять на себя большой груз ответственности. Самолет должен быть одновременно прочным и легким. Но... чем легче конструкция, тем меньше запас прочности, тем тщательнее должен быть труд прочниста. Прочнист не имеет права на ошибку, и, избрав этот путь, молодой инженер проявил незаурядное мужество.

Первая большая статья Черемухина «К расчету фермы крыла типа «юнкерс», опубликованная в 1923 году в «Вестнике воздушного флота» отрекомендовала его как человека, способного найти выход там, где теория, казалось бы, бессильна.

Суть этой статьи четко сформулирована в ее последних строках — «представляется наиболее рациональным при конструировании такого типа крыльев пользоваться упрощенными методами расчета, а потом готовую продукцию подвергать непосредственным испытаниям».



Первый вертолет в полете.

Даже не раскрывая журнала, видно, сколь своевременной оказалась статья молодого инженера. Обложку украшал популярный в ту пору рисунок — самолет с надписью «Ультиматум» на борту и внушительным кулаком вместо пропеллера. Под рисунком пояснение: «Английское правительство предъявило СССР наглый ультиматум. Во имя сохранения мира СССР вынужден идти на серьезные уступки. Крепите вооруженную силу республики, тогда покончим с уступками империалистам. Стройте Красный воздушный флот — сильнейшее оружие будущих войн...» Этому делу и посвятил свою жизнь Алексей Михайлович Черемухин.

Черемухин не был бы учеником Жуковского, если бы не отдался становлению нашей авиационной науки со всей страстью, со всей своей незаурядной энергией. В начале 20-х годов он конструирует и сооружает в молодом еще ЦАГИ самую

большую по тому времени аэродинамическую трубу. А вскоре он в центре другого дела — специальное задание правительства, полученное ЦАГИ, привело Черемухина к необходимости рисковать жизнью во имя истины. В 1927 году в ЦАГИ создается секция особых конструкций. Одним из ее руководителей и стал Алексей Михайлович Черемухин. Ему было тогда 32 года.

Время заставляет людей переосмыслить свое отношение к вещам. Сегодня, когда в центре Москвы работает вертолетная станция и стрекочущие воздушные извозчики перевозят пассажиров из одного столичного аэропорта в другой, трудно называть вертолет особой конструкцией и отыскать в его полетах романтику. Сорок лет назад мировой рекорд для вертолетов составлял... 18 метров. Мировой рекордсмен был не в силах взлететь выше шестого этажа.

Работа коллектива цаговцев началась буквально от нуля. И хотя до этого Черемухин вовсе не собирался заниматься вертолетами, на какое-то время эта задача — главная в его жизни.

Летчик-инженер — характерная фигура авиации наших дней. Десять-пятнадцать лет назад он властно утвердился в авиации. Черемухин значительно опередил этот процесс, став по ходу работы над вертолетом одним из первых в нашей стране — ЛЕТЧИКОВ-ИНЖЕНЕРОВ-УЧЕНЫХ.

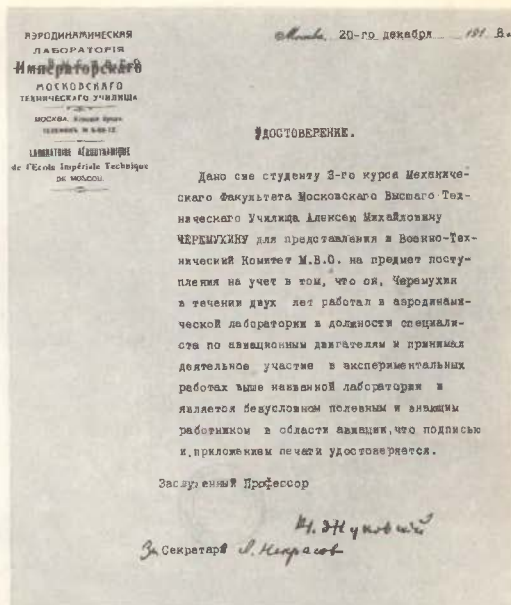
Да, Черемухин подошел к новому делу как ученый, как исследователь. Он понимал рискованность предстоящего эксперимента, действовал очень методично, взвешивая каждый шаг, тщательно изучая труды предшественников.

Сохранилась фотография, сделанная в 1912 году. Вероятно, ее не раз разглядывали Черемухин и его коллеги. Группа молодых людей окружила странное сооружение, которое с полным основанием можно причислить к «летающим этажеркам». Мотор и летчик располагались на открытом лишенном обшивки каркасе, опиравшемся на тонкие, снятые с какого-то велосипеда колеса. Система расчалок крепила располагавшийся над конструкцией большой обшитый полотном винт.

Этот вертолет в 1912 году построила группа студентов Московского высшего технического училища во главе с Б. Н. Юрьевым. Несмотря на убогий вид, в том же 1912 году аппарат получил на Международной воздухоплавательной выставке в Москве золотую медаль. В несовершенные формы была вложена большая мысль. Юрьев установил на эту машину свой знаменитый автомат перекоса — устройство, позволяющее летчику менять направление силы тяги, которую создает несущий винт вертолета. Исследовал Б. Н. Юрьев и явление авторотации (самовращения) лопастей. Это в значительной степени способствовало повышению безопасности приземления.

Вертолет Юрьева обещал летать устойчиво, не опрокидываясь и без поломки лопастей винта. Его без преувеличения можно считать непосредственным предшественником и аппарата ЦАГИ ЭА-1 и первых американских вертолетов, сконструированных Сикорским.

Два десятилетия, разделявшие вертолет Юрьева и первый вертолет ЦАГИ, — срок не малый. Заманчивая мысль создать аппарат, способный взлетать по вертикали и парить в воздухе не оставляла изобрета-



телей. Опыты велись во всем мире, но... по мере того как мысль развивалась, обростала, наполнялась подробностями, тем больше трудностей встречало ее воплощение. Вот почему, как подчеркивал Черемухин, в работе над первым советским вертолетом «каждый старался отдать все, что имел лучшего в своих возможностях».

Исследуя воздушные винты, ученые провели опыты на моделях. Они убедились, что маленький масштаб моделей не гарантирует высокой точности, и сделали «большую модель», испытанную на специальной установке во дворе ЦАГИ.

Затем наступил черед двигателя, а с ним пришли новые неприятности. Любому двигателю надо охлаждать. На самолете охлаждение происходит за счет движения. Но вертолет — тихход. Надеяться на скорость не приходится. Вот почему решили воспользоваться ротативным мотором Рон, применявшимся еще на заре авиации. У ротативного двигателя (пусть не удивляется читатель, незнакомый с историей авиации) вращался не коленчатый вал, а цилиндры с картером. Мотор мог охлаждать сам себя, даже если вертолет неподвижно висел в воздухе.

Очень заманчиво! Но... моторы Рон были сняты с производства задолго до того, как в ЦАГИ началась постройка первого





Черемухин с группой сотрудников.

вертолета. Из пяти старых, давно пришедших в негодность двигателей, механик Иван Данилович Иванов с трудом собрал два. Один из них и поставили на экспериментальную машину.

«Все время он что-то регулировал, перебирал, притирал и подбирал, — вспоминал о работе Иванова А. М. Черемухин, — и как-то умел сделать так, что на многочисленных испытаниях, проводившихся в течение нескольких лет, не было ни одного отказа по моторной части. Когда он занимался «переборками» и мы спрашивали, откуда же он взял запасные части, он с великой сердечной болью, но бодро отвечал: все от тех же моторов...»

Построенную машину последовательно и осторожно проверили на земле, а затем на аэродроме. Смонтировали испытательное оборудование и начали проводить первый летный цикл исследований. Вертолет поднимался на привязи. Его потолок не превышал... 40 сантиметров.

Сохранилась фотография, сделанная в ноябре 1930 года. Первый снег припудрил

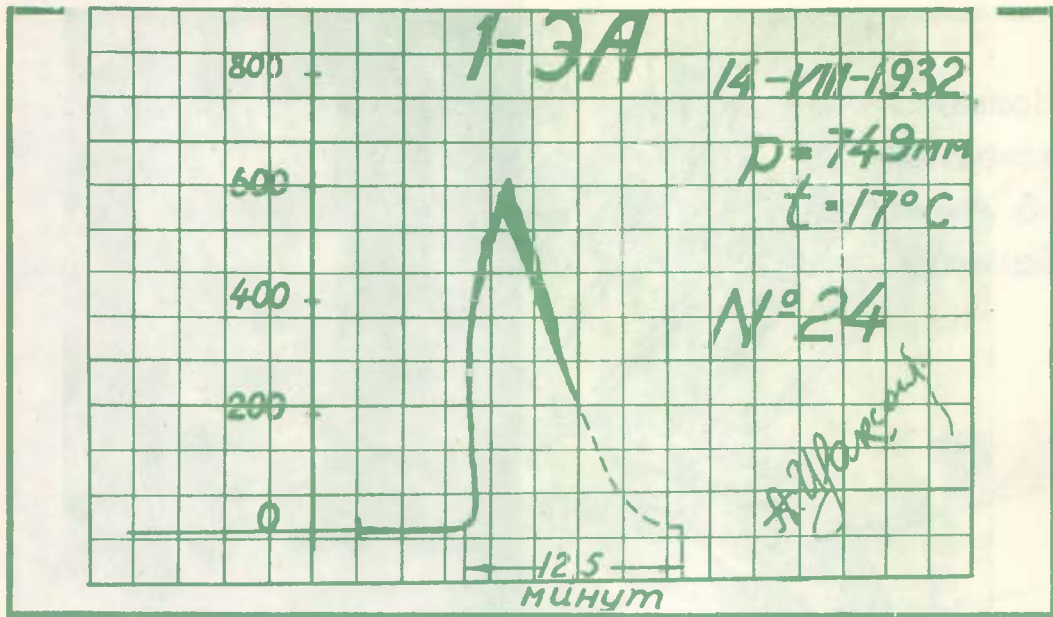
схваченную морозом почву. Сквозь его тонкий слой чернеет земля, на которой стоит вертолет. Нет, чистотой аэродинамических форм он никак не блистал. Однако неказистая конструкция сделала большое дело.

Проверив способности аппарата держаться в воздухе, отработав управление (в первое время оно капризничало), испытатели сняли жестокое ограничение высоты.

Переход от испытаний «на привязи» к первому свободному полету был большим событием. Как оторвется машина от земли? Как будет слушать управление? Удастся ли удержать ее в горизонтальном положении? Получится ли плавная посадка?

На все эти вопросы мог ответить только опыт.

Рано утром, когда в воздухе царил свежий и еще не прогретая солнцем атмосфера была спокойной, аппарат вывели на летное поле. Черемухин распорядился запустить двигатели. Винты завертелись все быстрее и быстрее. Геликоптер поднял-



Графическая запись полета.

ся на 3—4 метра и завис, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Несколько напряженных минут, затем плавный, спокойный спуск.

Нельзя сказать, что голубое и розовое сопутствовали испытаниям от начала до конца. Аппарат бы неустойчив. Чермухин чувствовал себя в полете «как на острие иглы».

Но вскоре испытательные полеты на высоте 100—150 метров стали обыденным делом. И хотя каждый из них в 5—10 раз перекрывал официальный мировой рекорд, хотелось большего.

14 августа 1932 года Чермухин поднялся на 600 метров. Машина шла хорошо. До потолка было далеко, но испытатель знал, как опасен спуск, и решил ограничиться достигнутым. Разумная осторожность была вознаграждена без промедлений. Вот как рассказывает об этом сам Чермухин:

«Все шло хорошо, высота постепенно уменьшалась по мере того, как я шел по кругу вокруг аэродрома. Аппарат все

время покачивался, но мне удалось удерживать его управлением. Высота была уже около 15 метров, и я шел как раз над лесом и подходил к опушке. Вдруг с аппаратом что-то случилось: он как бы несколько провалился. Выправить аппарат и прекратить это беспорядочное снижение не удалось, земля приближалась... я приземлился довольно благополучно — поломалось только одно шасси, а весь аппарат оказался цел».

Этот полет готовился три года и продолжался 12 минут. Он превысил мировое достижение в 33,5 раза.

Долгое время замечательный полет профессора Чермухина составлял военную тайну. Его обнародовали лишь много лет спустя. Потом происходили другие полеты. И вертолеты испытывались другие. Но главное было сделано. И проложил первую тропу Чермухин. «Ему, — писал академик А. Н. Туполев, — несомненно, принадлежит мировой приоритет в отношении действительного полета человека на геликоптере».

Томас Пейн

## Новые известия об Александре Великом



Томас Пейн.  
Портрет работы Уэсли Джервиса.

«Борьба за дело Америки сделала меня писателем», — говорил Томас Пейн (1731—1809). Англичанин по рождению, он эмигрировал за океан. Его памфлет «Здравый смысл» стал колоколом американской революционной демократии. Памфлет разошелся невиданным для той поры тиражом — 300 тысяч экземпляров. Его листовки вдохновляли бойцов американских повстанческих армий, зачитывались перед строем, как приказы. Это Пейн придумал название нового государства — Соединенные Штаты Америки, он был одним из авторов «Декларации независимости».

Во время французской революции он был в Париже и его избрали в Национальный конвент. Сражаясь против врагов революции, Пейн пишет книгу «Права человека», в которой аргументы просветителей переводит на язык революционной улицы. Во всех книгах Пейн — яростный противник монархии (как и в печатаемом памфлете «Новые известия об Александре Македонском»). Во время террора его посадили в тюрьму. Там он дописывал философский труд «Век разума». В работе «Аграрная справедливость» он резко выступил против частной собственности.

В 1802 году, больной, непризнанный, он вернулся в США. Ему, борцу за новую Америку, не дали избирательный бюллетень как «не рожденному в США».

За его гробом шли семь человек, из них два негра. На квакерском кладбище Пейну отказались дать могилу как атеисту. Газета «Нью-Йорк пост» поместила двухстрочный некролог: «Он жил долго, сделал кое-что хорошее и много плохого».

Если значение человека измерять ненавистью врагов, Пейн занял бы одно из первых мест в мире: его чучело сжигали на площадях Англии, выпустили ботинки с его инициалами на подошве, издали клеветническую биографию. Он был предан анафеме со всех церковных амвонов.

Первое доброе слово о нем было произнесено лишь в 1860 году, уже в разгар борьбы за освобождение негров.

Судьба Пейна — трагическая судьба великого просветителя, участника двух буржуазных революций, увидевшего и испытавшего результаты этих революций.

Р. Орлова





В один из тех пасмурных и тихих дней, кои производят странное действие на душу, располагая ее к задумчивости, я покинул шумный город и удалился в сельские места. Когда я приблизился к Скулкилле, мысль моя вырвалась на простор и запорхала с предмета на предмет с быстротою, не знающей равных себе в натуре. Даже глаз покажется медлителен в сравнении с проворством мысли. Прежде чем добраться до переправы, я уж облетел все мироздание, посетил едва ли не каждую страну под солнцем, а переправляясь через реку, пересек Стикс и наведался в царство теней; но здесь моя мысль сошла на берег вместе с моею персоной и вновь устремилась в полет, исследуя состояние вещей, еще не рожденных. Эта счастливая дерзновенность воображения делает человека господином вселенной и раскрывает для него истинную и мнимую ценность всего, что та содержит.

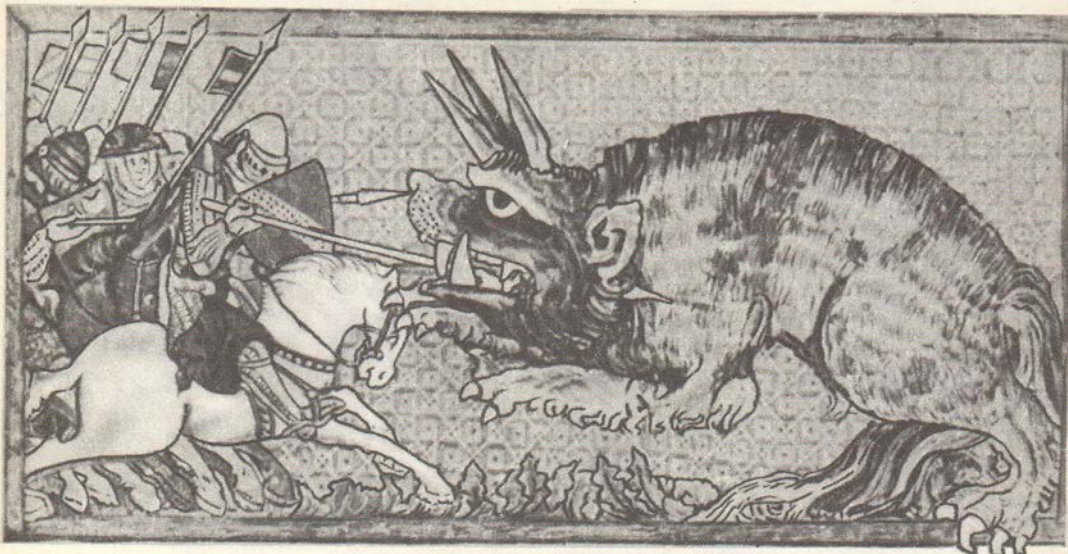
Отпустив двух земных Харонов, перевезших меня через Скулкилл, я взял свой посох и направился в рощу. Все согласно навело на меня приятную меланхолию: деревья словно погружены были в дрему,



а воздух навис вокруг меня в нерушимом молчании, как если бы прислушиваясь к сокровенным моим помыслам. В совершенном отрешении от дел и забот, я позволил моим думам свободно следовать их прихотливым путем, и, раньше чем я успел бы поведать об этом, они вновь переправились через Стикс и на многие мили углубились в неизведанную страну.

Подобно тому как слуги великих мужей вне стен барского дома постоянно подражают своим господам, так и мысли мои, приняв мое обличье, со всею важностью изображали собою то лицо, коему принадлежали, именуя себя в совокупности словом «я» всюду, где бы ни побывали, а воротившись, принесли мне с собою нижеследующие известия об Александре Великом.

Вознамерясь поглядеть, какую жизнь ведет Александр в царстве Плутона, я переправился через Стикс (без помощи Харона, ибо он — перевозчик одних лишь усопших) и спросил меланхолического вида тень, сидевшую на брегах реки, не может ли она сообщить мне какие известия о нем.



— Вот он приближается, — ответствовала тень. — Сойди с дороги, иначе тебя могут сбить с ног.

Поворотившись, увидел я, что ко мне, заняв собою всю дорогу, катит роскошный экипаж. «Как! — подумал я. — Боги и здесь окружают этого человека надменной пышностью!»

Колесницу везла восьмерка лошадей в золотой сбруе, а вся сцена изображала триумфальное возвращение Александра после того, как он покорил весь мир. Он промчался мимо меня, блистая великолепием, какого я никогда доселе не видел, и столь ярко озарил окрестность, что взору моему открылись бесчисленные тени, сидевшие под сенью деревьев и прежде невидимые.

В колеснице были два человека, одинаково блистательные, и потому я не мог определить, который из них Александр, и спросил об этом у тени, все еще стоявшей подле меня. Тень отвечала:

— Александра там нет.

— Не ты ли, — продолжал я, — сказал мне, что приближается Александр и наставлял меня сойти с дороги?



— Да, — ответствовала тень. — Ведь он — коренная лошадь в упряжке с той стороны, что ближе к нам.

— Лошадь? Я говорил о царе Александре.

— И я о нем же, — возразила тень. — Кто бы он ни был по ту сторону Стикса, сейчас все едино; здесь он лошадь, да и то не всегда, ибо когда он предвидит, что его ждет хорошая трепка, то норовит улучшить случай и выкатиться из конюшни под видом комочка навоза, либо ускользает под какой другой личиной.

Услышав это, я, как ни мерзостен мне был этот человек, тотчас отворотился, не в силах снести мысль о подобном неслыханном унижении. Однако любопытство взяло верх над состраданием, и, желая узнать, каков властитель мира в конюшне, я направил свои стопы туда; он только воротился с другими лошадьми, и конюх вытирал его толстым пучком вереска, но тут внесли новый пук, еще более толстый и колючий, и едва лишь служитель протянул за ним руку, как Александр, улучив минуту, тотчас исчез, а я покинул конюшню, опасаясь, как бы не заподозрили, что





я его украл. Достигнув реки и готовясь переправиться на тот берег, я заметил, что подделил клопа в высшем обществе потустороннего мира и, почитая излишним способствовать увеличению клопного племени по эту сторону Стикса, собирался расправиться с ним, как вдруг злополучная тварь пропизчала:

— Пощади Александра Великого!

Я отвел смертоубийственный ноготь. Зажатый меж моим большим и указательным пальцами, царь являл жалким видом своим все ничтожество павшего тирана. Движимый смешанным чувством участия и сострадания (коего сам он всегда был чужд), я позволил ему укусить прыщ, незадолго до того вскочивший у меня на руке, и тем подкрепить свои силы, а после посадил его на дерево, подалее от взоров, но тут подлетевшая синица склевала его с тою же бесцеремонностью, с коей он предавал мечу целые царства.

Засим я обратился в бегство, не без приятности размышляя о том, что я не Александр Великий.



М. С. Альтман

## Этюды о романе Достоевского «Бесы»

### 1. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ РОМАНА «БЕСЫ»

В начале 1871 года, когда у Достоевского уже определился сюжет его романа «Бесы», он в письме к А. Н. Майкову с одобрением отмечает типичность некоторых образов романа Лескова «На ножах», но в то же время порицает, что все действие романа как бы вне пространства, а отсюда «много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит»<sup>1</sup>.

В отличие от Лескова Достоевский стремился, чтобы его роман был при всем художественном обобщении строго локален, то есть связан с определенным географическим местом. Поэтому он даже предполагал снабдить «Бесы» специальным предведомлением читателю, где указывалось бы, что он «хотя себя считает хроникером частного любопытного события», но «само собою, так как дело происходит не на небе, а все-таки у нас, то нельзя же, чтоб я не коснулся, иногда чисто картинно, бытовой стороны нашей губернской жизни»<sup>2</sup>.

«Дело происходит не на небе» — это прямое противопоставление своего антинигилистического романа роману, тоже антинигилистическому, Лескова, в котором все «точно на луне происходит».

Да, действие «Бесов» происходит «не на небе», а на земле, мы можем даже сказать точно, на какой земле: в городе Твери конца

50-х — начала 60-х годов XIX века. И это место действия своего романа (город Тверь) Достоевский не только не скрывает, но всеми доступными романисту средствами обнажает. Эти средства следующие:

- 1) точная и обстоятельная топография города «Бесов»,
- 2) действующие в романе лица связаны с Тверью,
- 3) дополнительные указания и намеки.

#### Топография.

Город в «Бесах» разделен большой рекой на две части, соединяющиеся пласкоутным (понтонным) мостом; Тверь также разделяется Волгой на две части, соединявшиеся в бытность там Достоевского пласкоутным мостом. Часть города Заречье, где жили Лебядкины, напоминает часть Твери — Заволжье. Местонахождению фабрики Шпигулина соответствует тверская окраина с текстильной фабрикой Каулина<sup>3</sup>, основанной в 1854 году.

Приводя эти и многие другие топографические подробности города «Бесов», К. Емельянов правильно заключает, что они «могли быть подсказаны писателю тверскими наблюдениями»<sup>4</sup>.

К этому же выводу приходит и Л. П. Гроссман: «Анализ «Бесов» показывает, что Достоевский очень верными чертами описал последний город своей ссылки — Тверь, где он провел осень 1859 года»<sup>5</sup>.

#### Действующие лица романа, связанные с Тверью.

Если не единственным, то, во всяком случае, одним из прототипов Николая Ставрогина является уроженец Твери, знаменитый анархист М. А. Бакунин. Но если об этом прототипе можно спорить, как спорили В. П. Полонский и Л. П. Гроссман<sup>6</sup>, то

<sup>1</sup> См. «Письма Достоевского». П., 320, № 367.

<sup>2</sup> «Записные тетради» Ф. Достоевского. М.—Л., 1935, стр. 249.

<sup>3</sup> Возможно, что и фамилии владельца фабрики в Твери — Каулин и фабрики в «Бесах» — Шпигулин не случайно созвучны.

<sup>4</sup> К. Емельянов, Достоевский в Твери. «Писатели в Тверской губернии». Калинин, 1941, стр. 76.

<sup>5</sup> Л. Гроссман, Достоевский. Изд-во «Молодая гвардия», М., 1962, стр. 454.

<sup>6</sup> См. их книгу «Спор о Бакунине и Достоевском». Л., ГИЗ, 1926.

уже вне всякого спора, что Тихон, которому Ставрогин передает свою «Исповедь» — Тихон Задонский, живший в монастыре на берегах Тверцы и Тьмаки. Добавляю, что прототипами губернатора Лембке и его жены Юлии Михайловны являются тогдашний тверской губернатор П. Т. Баранов и его жена. Также и чиновник особых поручений Н. Г. Левенталь является прототипом чиновника особых поручений при Лембке — А. А. Блюма.

### Дополнительные указания и намеки.

«Известно было, — пишет хроникер «Бесов», — что на земство нашей губернии смотрят в столице с некоторым особым вниманием» (VII, 223)<sup>1</sup>. Это явный намек на нашумевшее на всю Россию выступление тринадцати мировых посредников Тверской губернии, подписавших 5 февраля 1862 года «журнал» Тверского губернского присутствия по крестьянским делам о неудовлетворительности манифеста 19 февраля 1861 года. В этом документе указывалось на выяснившуюся «несостоятельность правительства удовлетворить общественные потребности» и о необходимости скорейшего созыва «представителей от всего народа, без различий сословий», для выработки новых основных законов. В связи с этим «адресом» тверских дворян были арестованы, между прочим, Алексей и Николай Александровичи Бакунины, братья анархиста<sup>2</sup>. Из-за всего этого и стали смотреть в правительственных кругах («в столице») с «особым вниманием» на тверское земство.

Еще более прозрачный намек на Тверь в словах хроникера «Бесов», что некоторые «шалуны» уж очень разгулялись и «город наш третировали как какой-нибудь город Глупов» (VII, 336). Как известно, под названием «Глупов» фигурирует Тверь у Салтыкова-Щедрина неоднократно<sup>3</sup>. Разумеется, «Глупов» у Салтыкова — наименование обобщенное, и он сам указывает, что есть уездный Глупов и есть губернский Глупов. Но некоторые конкретные черты Твери мы все же находим во всех «Глуповых» Салтыкова-Щедрина. И уже без всякого обобщения, а просто как Тверь фигурирует Глупов у «искровцев» Стопановского, Круглова и др.<sup>4</sup>. Таким образом, упоминание о Глупове у Достоевского — почти прямое указание на Тверь.

В связи с этим С. Борщевский правомерно ставит вопрос, «не являлась ли Достоевскому в процессе работы над «Бесами»... идея противопоставить щедринскому изображению Глупова свою «историю одного города»<sup>5</sup>. Предположение С. Борщевско-

го не лишено соблазнительности. Все же нам кажется, что в реплике хроникера о Глупове мы имеем не полемику с Щедриным (и даже не с «искровцами»), а просто сигнализацию, одну из многих в романе, о прообразе города «Бесов» — Твери.

Напомним также, что в тех же «Бесах», при беглом упоминании о некоем Припухлове, указывается, что он «т-ской купец» (VII, 653). «Т-ской» конечно, значит здесь тверской, тем более что Достоевский в своих произведениях нередко обозначал собственные имена, среди них и топонимические, их инициалами.

Весьма вероятно, что и город Т., многократно упоминаемый в «Вечном муже» (IV, 451, 460—466, 471, 480, 486, 502), также Тверь. Убеждает в этом, помимо прочего, и то, что в «Вечном муже» дважды (IV, 451 и 486) указывается, что со времени отъезда героя романа Вельчанинова из Т. прошло девять лет. Над «Вечным мужем» Достоевский работал в 1869 году, следовательно, немногим больше девяти лет после отъезда его из Твери: совпадение, полагаю, неслучайное и весьма знаменательное. Укажу еще, что и в романе «Идиот», непосредственно предшествовавшем «Бесам», также упоминается Тверь (VI, 277, 278): там семья Епанчиных и генерал Иволгин жили лет за десять до времени действия романа, то есть тоже примерно тогда, когда в Твери жил и Достоевский.

## 2. ЖИВЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОТОТИПЫ ЧЕТЫ ЛЕМБКЕ В «БЕСАХ»

Поскольку местом действия романа Достоевского «Бесы» является Тверь, в романе, конечно, должны были в большей или меньшей степени найти свое отражение и лица, связанные с тогдашней Тверью. Это уже выше бегло упомянутые М. А. Бакунин, один из прототипов Николая Ставро-

<sup>1</sup> Здесь и ниже все ссылки на Достоевского даются по 10-томному изданию его сочинений. М., 1956—1958. Римские цифры в скобках обозначают тома, арабские — страницы.

<sup>2</sup> См. прим. М. К. Лемке к Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена, т. XV, стр. 71—78.

<sup>3</sup> Глупов фигурирует в произведениях Салтыкова-Щедрина: «История одного города», «Паши глуповские дела», «Глупов и глуповцы», «Литераторы-обыватели», «Клевета» и др.

<sup>4</sup> См. «Искра», 1863, № 9, стр. 131; 1864, № 44, стр. 574; 1871, № 1, стр. 15—21 и др.

<sup>5</sup> С. Борщевский, Щедрин и Достоевский. М., 1956, стр. 225—226.

гина, Тихон Задонский, которому Ставрогин передал свою «Исповедь», тверской губернатор П. Т. Баранов и его жена, прототипы четы Лембке. О первых двух, Бакуanine и Тихоне, мы теперь распространяться не будем, так как о них исследователями творчества Достоевского сказано уже достаточно, но мы остановимся на чете Лембке, которая в литературе о Достоевском еще недостаточно освещена.

Из тверских писем Достоевского и свидетельств людей ему близких и осведомленных известно, что чета Барановых, а в особенности жена Баранова, очень энергично содействовали тому, чтобы Достоевскому было разрешено выехать из Твери в Петербург. Вот как об этом рассказывает дочь Достоевского Любовь Федоровна:

«Жена тверского губернатора Баранова, урожденная Васильчикова, была двоюродной сестрой графа Сологуба, писателя, имевшего литературный салон в Петербурге. Мой отец, часто посещавший в молодости этот салон, был... представлен Васильчиковой. Она не могла забыть его и по прибытии Достоевского в Тверь поспешила возобновить отношения... и побуждала мужа взять на себя хлопоты о Достоевском»<sup>1</sup>.

Баранов ходатайствовал не за одного только Достоевского, но также и за других «политических» (Ф. Г. Толя, В. А. Головинского), проживавших тогда в Твери. Делал он это, видимо, под влиянием своей супруги. Очень правдоподобно поэтому предположение К. Емельянова, что, рисуя образы губернатора фон Лембке, выходца из остзейских дворян, и его честолюбивой и тщеславной супруги, Достоевский мог воспользоваться некоторыми чертами графа фон Баранова и его жены... Не стремилась ли Баранова, как и Юлия Михайловна в романе «Бесы», «приручить» политических?»<sup>2</sup>

Это предположение К. Емельянова, хотя, как мы увидим, и правильное, но недостаточно аргументированное, остается, однако, как он и сам говорит, лишь догадкой. Между тем в самом романе Достоевского имеются очень веские аргументы, в литературе о Достоевском еще не использованные, которые свидетельствуют с совершенной убедительностью о том, что чета Барановых действительно является прототипом четы Лембке.

Варвара Петровна Ставрогина, говоря о Лембке, указывает, что «у него бараньи глаза» (VII, 61). И эту же примету Лембке подтверждает и хроникер «Бесов»: «Лембке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, что

у него был несколько бараний взгляд, иногда особенно» (VII, 372).

К чему эта дважды приведенная примета о «бараньих» глазах и «бараньем» взгляде Лембке? Полагаю, что мы здесь имеем очень оригинальное указание на прототип Лембке Баранова.

Тем, кому подобного рода связь, казалось бы, чисто вербальная, между физической приметой Лембке и фамилией его прототипа может показаться сомнительной, я могу напомнить, что этот прием совершенно в стиле ономастической поэтики Достоевского, который в тех же «Бесах» дает нам еще один пример соответствия внешней физической приметы литературного персонажа фамилии его прототипа. Мы разумею Шигалева.

Прототип Шигалева, как известно, Варфоломей Александрович Зайцев. В «Записных тетрадях» Ф. Достоевского (стр. 348) будущий Шигалев так прямо и называется Зайцевым, с постоянным эпитетом «вислоухий». Напомним, что в полемике с «Русским словом» Салтыков-Щедрин также называл Зайцева вислоухим. В окончательной редакции «Бесов» у Шигалева, как бы в виде рудимента, сохранен намек на его прототип (Зайцев), и он неоднократно называется то человеком с длинными ушами (VII, 237), то длинноухим (VII, 409, 420), то вислоухим (VII, 692). И что особенно примечательно, в тех же «Записных тетрадях» (стр. 137, 138, 424) Зайцев именуется не только вислоухим (стр. 233, 266, 335), но и (опять намек на заячьи уши) Ушаковым.

Таким образом мы видим, что увязывать физическую примету литературного персонажа с фамилией его прототипа — в стиле Достоевского. В случае с Шигалевым мы узнаем его прототип по ушам, в случае с Лембке — по глазам.

Возможно, что и сама фамилия «Лембке» также связана с фамилией его прототипа — Баранова: *Lämb* по-немецки, *lamb* по-английски — «барашек» (ср. фамилии «Баранников» в «Белых ночах» и «Барашкова» в «Идиоте»).

Имеется в «Бесах» еще одна интересная «улика», разоблачающая прототип Лембке. Чиновником особых поручений при губернаторе Лембке состоял некий Блюм. Это им был произведен обыск у Степана Тро-

<sup>1</sup> Достоевский в изображении его дочери. П., 1922, стр. 31.

<sup>2</sup> К. Емельянов. Достоевский в Твери. «Писатели в Тверской губернии». Калинин, 1941, стр. 76.

фимовича Верховенского, после которого тот был так надуган и растерян, что не был в состоянии вспомнить фамилию чиновника, произведшего обыск: «Pardon, j'ai oublié son nom. Il n'est pas du pays... Il s'appelle Rosenthal»<sup>1</sup>.

— Не Блюм ли?

— Блюм. Именно он так и назвался (VII, 443).

«Блюм» по-немецки — цветок, «Розенталь» — долина роз. Обмолвка Верховенского вполне естественна: она — по ассоциации «цветы» — «розы». Но эта обмолвка одновременно сигнализирует и о прототипе Блюма, так как в то время, когда Достоевский был в Твери, чиновником особых поручений при губернаторе Баранове был губернский секретарь Николай Густавович Левенталь<sup>2</sup>. И вот об этом-то Левентале и напоминает «обмолвка» Верховенского — «Розенталь». Ход ассоциаций Достоевского, следовательно, если идти от прототипа, был таков: Левенталь (фамилия прототипа) → Розенталь (обмолвка Верховенского) → Блюм (литературный персонаж), или, если идти обратно, от литературного персонажа: Блюм → Розенталь → Левенталь<sup>3</sup>.

Но если чиновник особых поручений при Баранове — прототип чиновника особых поручений при Лембке, то это еще одно косвенное подтверждение того, что и сам Баранов прототип Лембке.

Небезынтересно, что имя жены фон Лембке — Юлия, тоже из арсенала имен семьи графа Баранова, мать которого звали Юлией.

Все приведенные аргументы в совокупности, характер и поведение четы Лембке в целом приводят к несомненному выводу, что прототипами губернаторской четы в «Бесах» являются тогдашний тверской губернатор П. Т. Баранов и его жена А. А. Баранова, урожденная Васильчикова.

Указывая на Баранова, как на прототип Лембке, я, однако, этим не хочу сказать, что тверской губернатор — единственный прототип губернатора из «Бесов». Нет, некоторые, и весьма характерные, черты образа Лембке имеют совершенно другую реальную и литературную генеалогию. Так, артистка А. И. Шуберт в своих воспоминаниях рассказывает, что ее первый муж, тоже артист, Михаил Шуберт очень робел на сцене и театра не любил, но... «он прекрасно работал на столлярном станке... Помню, он по всем правилам математического расчета сделал в миниатюре большой театр и фигуры, которые очень натурально ходили по сцене»<sup>4</sup>.

Это весьма напоминает рассказ Достоевского о том, что губернатор Лембке также был большим мастером на подобные художества.

«Андрей Антонович склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками; в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками по скрилкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши» (VII, 327).

Достоевский, как известно, с А. И. Шуберт состоял в длительной дружбе и переписке и поэтому вполне возможно, что, осведомленный о «таланте» ее первого мужа, он наделил немца губернатора Лембке мастерством немца Шуберта.

Но если Лембке своим «рукоделием» (только этим) и близок Шуберту, то куда перспективнее сближение между губернатором Достоевского и градоначальниками Щедрина. В своей работе «Щедрин и Достоевский» С. Борщевский противопоставляет делателю детских игрушек, «мягкому губернатору Лембке из «Бесов», свирепого градоначальника Брудастого из «Истории одного города», в голове которого был «органчик», наигрывавший лишь «две нетрудные музыкальные пьесы: «раз-зорю!» и «не потерплю!»<sup>5</sup>.

Для такого противопоставления имеется известное основание. Но еще больше оснований, полагаю, губернатора Лембке не противопоставить, а сопоставить, и не с градоначальником Брудастым, а с Быстрицким из очерка «Зиждитель» в цикле «Помпадур и помпадурши».

Градоначальник Сергей Быстрицын, сообщает нам Щедрин, не отличался ни блеском, ни дипломатической ловкостью, но карьере я сделал своим рукодельным мастер-

<sup>1</sup> «Винovat, я забыл его имя. Он нездешний... Его зовут Розенталь».

<sup>2</sup> См. «Памятная книжка» Тверской губернии за 1859 год.

<sup>3</sup> Это не единственный случай сигнализирующей «обмолвки» у Достоевского, см. мой очерк «Софья Семеновна и Софья Ивановна» (Учен. записки Тульск. пединститута, вып. VIII, стр. 148—150. Тула, 1958). И Лев Толстой пользуется обмолвкой для сигнализации о прототипе, см. мою статью «Имена и прототипы литературных героев Л. Н. Толстого». Учен. записки Орловского пединститута, 1959, т. XV, стр. 87—90.

<sup>4</sup> А. И. Шуберт, Моя жизнь, Л., 1929, стр. 13.

<sup>5</sup> С. Борщевский, Щедрин и Достоевский. М., ГИХЛ, 1957, стр. 227.

ством: «еще на школьной скамье он... сидит, бывало, на своем месте и все над чем-то копается. Или кораблик из бумаги делает, или домик вырезывает, или строгают что-нибудь... Мы, легкомысленные дети, даже подшучивали над ним, что это он новый флот на место черноморского строит. Но воспитатели наши уже тогда угадывали в нем будущего хозяина и администратора...»<sup>1</sup>.

Быстрицын Щедрина и Лембке Достоевского не совсем одинаковые натуры: в то время как Лембке вырезывает из бумаги театр и еще пописывает стихи, Быстрицын, более «положительный», вырезывает бумажные кораблики. Впрочем, и Лембке после построения театра склеил целый поезд железной дороги. Но оба они, Лембке и Быстрицын, игрушечных дел мастера. И это мастерство, а не официальные занятия, является их задушевным делом, только к этому одному они способны. И оба они, и Лембке и Быстрицын, сродни гоголевскому губернатору (из «Мертвых душ»), вышивающему по тюлю. Именно в этих образах градоправителей Достоевский и Щедрин продолжают и углубляют на новой социальной базе гоголевскую литературную традицию.

Здесь необходимо, однако, добавить, что литературная традиция и наличие живого прототипа взаимно друг друга не исключают. Ведь и для гоголевского губернатора, вышивающего по тюлю, был прообразом псковский губернатор Корсаков, о котором Александра Осиповна Смирнова-Россет рассказывает, что он вышел по кисее подушку и поднес ее Екатерине II<sup>2</sup>. Об этом губернаторе Корсакове, отце тетки Смирновой-Россет, Гоголь, друживший с Александрой Осиповной и делившийся с ней своими литературными замыслами, не мог не знать.

Кстати, о Смирновой-Россет. Во время работы Достоевского над «Бесами» в его сознании, видимо, мелькал и ее образ. В «Записных тетрадях» (стр. 113 и 401) фамилией Смирнова обозначена Варвара Петровна Ставрогина. И действительно, некоторыми чертами своего характера Варвара Петровна, о которой говорили, что при губернаторе Иване Осиповиче (предшественнике Лембке) она «управляла губернией» (VII, 62), обязана калужской губернаторше Смирновой. Но больше, пожалуй, чем Ставрогина, напоминает Смирнову губернаторша Лембке. Подобно Смирновой, хозяйке литературного салона, и Юлиа Михайловна намерена устраивать в «своем» губернском городе «литературные собрания» (VII, 64). Когда мы в «Бесах» читаем

о захлебывающейся «деятельности» губернаторши Лембке, нам невольно вспоминается письмо Гоголя к А. О. Смирновой «Что такое губернаторша» (из «Выбранных мест из переписки с друзьями»). И вероятно, ухаживая за Кармазиновым-Тургеневым и организуя его литературное выступление на «празднике в пользу гувернанток», губернаторша Лембке воображала, что она новая Смирнова-Россет, покровительница русских литераторов. Во всяком случае, и у губернаторши Достоевского, как и у губернатора, родственная генеалогия: хоть и разного полета, они птицы из одного гнезда Гоголя...

Да, из гнезда Гоголя, но... сопоставляя себя с Гоголем, Достоевский писал: «Я действую анализом, а не синтезом... разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я»<sup>3</sup>.

Эта самооценка Достоевского, к тому же сделанная в самом начале его литературной деятельности, может показаться нескромной, но ее подтверждает весь его дальнейший творческий путь. Подтверждают ее, в частности, и образы четы Лембке в «Бесах», образы, которые хотя в некоторой степени связаны с гоголевскими, но Достоевским чрезвычайно углубленные и на фоне событий русской действительности 60-х годов получившие совершенно новое художественное освещение и социальное осмысление.

### 3. ФЛИБУСТЬЕРЫ И ФЛИБУСТЬЕРОВ

В очерке «Петербургские сновидения в стихах и прозе» Достоевский рассказывает об одном ему «приснившемся» беднейшем и смиреннейшем чиновнике, который, прочитав в газете о Гарибальди, возмнил себя итальянским революционером и кончил сумасшествием. «Никогда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, спрашивать все о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об испанских... И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей». Очерк Достоевского относит-

<sup>1</sup> Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши, очерк «Зияждитель».

<sup>2</sup> А. О. Смирнова-Россет, Автобиография, гл. III. «Ранние воспоминания». Изд. «Мир», 1931, стр. 31.

<sup>3</sup> Письма Достоевского, т. 1, стр. 37, № 32.

ся к 1861 году. Проходит десять лет, и старое «петербургское сновидение» Достоевского, хотя совершенно переоформленное и по-новому аргументированное, опять художественно оживает в его романе «Бесы» в главе «Флибустьеры».

Пункт безумия губернатора Лембке тот же, что и у запуганного чиновника, но маленький чиновник возмнил лишь себя флибустьером, крупный же бюрократ Лембке в соответствии с занимаемым им административным постом подозревает флибустьеров во всех окружающих. А началось безумие Лембке с того, что расстроенный семейными неприятностями и служебными тревогами, он уезжает за город, куда к нему срочно прибывает пристав с сообщением, что в городе бунтуют рабочие Шпигулинской фабрики. К беде Лембке, фамилия пристава была Флибустьеров. Подойдя к губернатору, пристав ему залпом отпартовал:

«— Пристав первой части Флибустьеров, ваше превосходительство. В городе бунт.

— Флибустьеры? — переспросил Андрей Антонович в задумчивости.

— Точно так, ваше превосходительство. Бунтуют шпигулинские.

— Шпигулинские!..

Что-то как бы напомнилось ему имени «шпигулинские». Он даже вздрогнул и поднял палец ко лбу: «Шпигулинские!» (VII, 463).

С этого момента и началось безумие Лембке. Флибустьерами первоначально называли морских контрабандистов, борющихся с испанским господством в Вест-Индии, затем вообще «вольных мореплавателей», не подчинявшихся установленным законам мореплавания. В 60—70-х годах XIX века это прозвище стали прилагать к моряку и сыну моряка, борцу за независимость Италии, Гарибальди. Так, флибустьером называется Гарибальди и Герцен<sup>1</sup>. И в этом же значении это слово осмыслено и в произведениях Достоевского: «Петербургские сновидения» и «Бесы».

Вот почему, когда Лембке видит перед своим домом толпу «бунтующих» рабочих, его первый на них окрик: «Флибустьеры!» (VII, 464). Этим же окриком встречает он

и подвернувшегося ему Степана Трофимовича Верховенского: «Это все прокламации. Это наскок на общество... Морской наскок, флибустьерство» (VII, 467). И вторично — ему же: «Довольно, флибустьеры нашего времени определены... Меры приняты» (VII, 476—477). И дело доходит, наконец, до того, что на губернском балу этим словом дразнят уже самого Лембке, выкрикивая: «Флибустьеры!» (VII, 533).

Психопатолог В. Чиж, обследовавший героев Достоевского, диагностирует: «Не будучи фамилия частного пристава Флибустьеров, вероятно, и не было бы такого трагического конца»<sup>2</sup>. Это утверждение, конечно, преувеличение, но что безумие Лембке роковым образом связано с именем «Флибустьеров» несомненно. И как же обезуметь (тут и более сильный ум, чем Лембке, мог бы пошатнуться), когда тот, кто призван охранять общество от флибустьеров, сам Флибустьеров! И безумие усугубляется еще тем, что близкий флибустьерству «морской наскок» тесно связан с этим же приставом, только уже не с его фамилией, а с его повадками: хроникер «Бесов» отмечает, что Флибустьеров отличался «каким-то наскоком во всех приемах по исполнительной части» (VII, 463). Так на фоне бунта шпигулинских рабочих в уме Лембке, уже до этого расстроенном, образовалась бредовая ассоциация: Флибустьеров превратился в флибустьерство, его «наскок» — в «морской наскок», и... Лембке сходит с ума.

Бунт маленького человека и следующие за этим его безумие — тема в русской литературе, восходящая к Пушкину, и «бедному Евгению» из «Медного всадника». Но безумие не самого бунтовщика, а того, против кого этот бунт направлен, и увязка этого безумия с нарицательным осмыслением собственного имени — оригинальное осложнение пушкинской темы и идея — вклад в русскую литературу уже самого Достоевского.

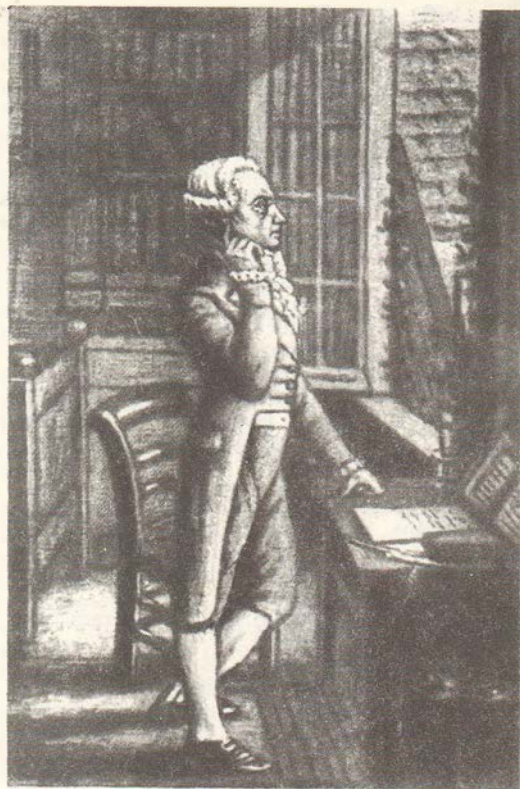
<sup>1</sup> Собр. соч. А. И. Герцена под редакцией Лемке, т. XIV, стр. 534.

<sup>2</sup> В. Чиж, Достоевский как психопатолог. М., 1885, стр. 37.



А. Левандовский

## Там, где жил Неподкупный...



Максимилиан Робеспьер в своей комнате в доме на улице Сент-Оноре.

Жилище великого человека... Комнаты, в которых провел он какую-то часть своей жизни, предметы, окружавшие его в повседневном быту... Кто из любящих историю может остаться к этому равнодушным? В особенности если речь идет о деятеле, для которого дом в широком смысле слова значил очень много?..

Именно таким был Максимилиан Робеспьер, замечательный революционер Франции конца XVIII века. Всю свою жизнь делил он между ораторской трибуной и углом, где работал над текстами речей, а маленькие досуги дарил близким у себя же дома. В этом он весь, без остатка.

И именно с местами обитания Робеспьера связан ряд курьезов, оставивших след в литературе о великом якобинце.

Туристу, приезжающему в Аррас, охотно показывают отчий дом Робеспьера. Дом этот неизменно фигурирует во всех больших монографиях о Неподкупном; главный биограф Максимилиана, Э. Амель, дал его подробное описание, неоднократно повторенное популяризаторами и беллетристами.

Вот он, этот мрачный двухэтажный особняк на улице Рапортер, с одиннадцатью окнами по фасаду и мансардой, приютившей якобы Максимилиана со дня его сиротства. Сколько же всего прожил он здесь? Да по меньшей мере лет девятнадцать: десять от рождения и девять адвокатской практики по возвращении из Парижа. Это не считая месяцев каникул и отдыха после Учредительного собрания.

Девятнадцать-двадцать лет! Больше по-

ловины жизни человека, умершего тридцатипятилетним!

Легко представить себе, что значил этот дом для будущего трибуна. Каждая стена его, каждая ставня, дверная ручка знали Робеспьера в долгие годы детства, отрочества, формирования, годы страданий и раздумий. Эти потемневшие камни провожали еще отца Максимилиана в Совет Артуа, а затем прослеживали тот же маршрут сына. Эти деревья, едва достигавшие окон мансарды, слышали взволнованный шепот юного адвоката, репетировавшего здесь свои первые речи...

Воистину драгоценная, неоценимая реликвия!..

Так полагали поколения историков. Пока один из них вдруг не обратил внимания на некие документы. Документы, на первый взгляд не имеющие ни малейшего отношения к дому на улице Рапортер. Просматривая свидетельства о крещении четверых детей г-на Франсуа Деробеспьера, отца трибуна, историк установил, что все они были оформлены в разных церковных округах города.

Ну и что же?

А то, что подобные акты оформлялись по месту жительства.

Значит, в 1758 году (год рождения Максимилиана) семья проживала в округе Маделен — им помечена метрика; в 1762 году (год рождения брата Максимилиана) — в округе Сент-Этьен; в годы рождения их сестер — в округах Сен-Жери и Сент-Обер!

Оказывается, г-н Деробеспьер-старший был весьма непоседлив и часто менял квартиру, разъезжая по разным концам Арраса!

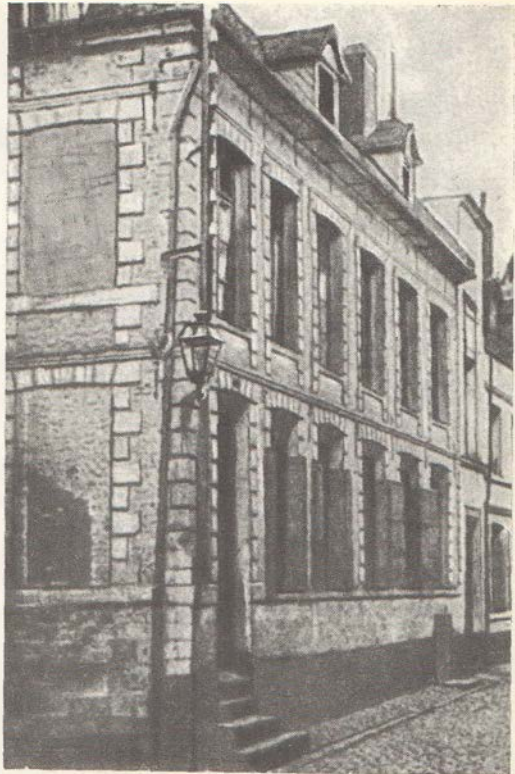
Но это далеко не все.

Сам Максимилиан после окончания учебы и по возвращении из Парижа был не более постоянен в отношении жилища, чем его отец. Выяснилось, что сразу по приезде в Аррас, в 1781 году, он снял комнату на улице Сомон; в 1783 году переехал к тетке, на улице Тринитер; в 1787 году квартировал на улице Коллеж; и только в этом же 1787 году поселился, наконец, со своей сестрой Шарлоттой на улице Рапортер.

Значит, всего провел он здесь лишь около полутора последних лет своего пребывания в Аррасе!..

Вот вам и «отчий дом»!..

Совсем по-иному выглядит история «дома Робеспьера» в Париже. Издавна было известно, что с середины 1791 года Максимилиан жил в одном месте. Были установлены многие подробности, связанные



Дом Робеспьера в Аррасе на улице Рапортер.

с его бытом, с жизнью его квартирных хозяев. И лишь долгое время оставалось неясным, где находился дом. Вокруг вопроса о точном местоположении и облике «дома Робеспьера» между историками и археологами более полустолетия шли горячие споры.

Вечером 17 июля 1791 года, после бойни на Марсовом поле, Робеспьера пригласил под свою кровлю якобинец Морис Дюпле<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Дюпле был мелким предпринимателем-столаром; он имел мастерскую и три доходных дома. Однако дом, о котором идет речь, в то время не был его собственностью: столар снимал его под жилище у местной церковной общины и купил лишь много позднее, 22 февраля IV года республики (10 июня 1796 года).



Дом Дюпле (с гравюры конца XVIII в.).

Он жил на улице Сент-Оноре, недалеко от Тюильри, рядом с Якобинским клубом, который усердно посещал. Приглашая к себе Неподкупного, Морис Дюпле хотел лишь укрыть его на время репрессий. Но получилось иначе. Робеспьеру понравились образ мыслей и жизненный уклад его новых знакомых. Супруги Дюпле, со своей стороны, отнеслись к Максимилиану как к родному и стали уговаривать его остаться у них совсем. Неподкупный согласился. Он прожил в доме Дюпле почти безвыездно до дня падения якобинской диктатуры.

Современники и документы оставили довольно подробное описание этого дома.

Он имел форму опрокинутой буквы «Г»,

причем меньшее крыло фасадом выходило на улицу неподалеку от церкви Вознесения. Номер его в то время был 366. Широкий проем в фасаде открывал вид на двор. К внутренней длинной стене примыкала пристройка, в которой жили рабочие. Другая, меньшая пристройка, расположенная на противоположной стороне двора, служила складом для досок.

Дом имел два этажа.

Первый занимали мастерская, столовая, кухня и два салона. Второй этаж обладал большей площадью, ибо часть его располагалась над проемом фасада. Здесь были помещения, часть которых одно время занимали сестра и брат Робеспьера. Перпендикулярно им, за лестничной клеткой, находились комнаты племянника и сына Дюп-



Дом № 398 по улице Сент-Оноре  
(фотография конца XIX в.).

ле, а также небольшая комнатка, служившая кабинетом и спальней Максимилиану. Затем шли прихожая, вторая лестничная клетка, спальня супругов Дюпле и комната их дочерей.

Местом, где собирались все обитатели дома, был большой салон. Его украшали мебель, обитая бордовым утрехтским велюром, клавесин и большой портрет Неподкупного работы Жерара, изображавший трибуна во весь рост. Здесь гражданка Дюпле каждую неделю устраивала приемы, на которых встречались друзья и единомышленники Робеспьера. Время проводили в разговорах на литературные темы, пели, играли, читали стихи. Сам Максимилиан зачастую декламировал здесь отрывки из

своих любимых трагедий Корнеля и Расина.

Малый салон когда-то был школьным залом детей, а теперь превратился в приемную Робеспьера. Благодаря заботам гражданки Дюпле салон этот стал своего рода молельней, причем богом был, разумеется, Максимилиан. Очевидцы рассказывают, что тут повсюду пестрели изображения Неподкупного — картины, гравюры, бронзовые и гипсовые барельефы.

Совершенно иначе выглядел кабинет Максимилиана на втором этаже. Это было жилище мыслителя-аскета. Узкое окно, выходившее на кровлю пристройки, напротив — камин, маленький грубо сколоченный стол, стул, кровать, покрытая одеялом в цветочки, — и все. «Убогая келья», «ка-

морка», «конура» — так называли современники эту обитель борца за народные права. По-видимому, он чувствовал себя здесь прекрасно. Эта обстановка отвечала его взглядам на жизнь, его принципам. Здесь, в тишине ночей, при тусклом свете чадающей лампы, рождались лучшие из его произведений, бессмертные речи, которые потрясли мир.

...Здесь провел он и ночь на 27 июля 1794 года — свою последнюю ночь в доме Дюпле. За письменным столом, в лихорадочных поисках выхода — полагают одни из историков; в постели, безмятежно спящим — утверждают другие.

А на следующий день грянуло девятое термидора...

И еще раз увидел Неподкупный так хорошо знакомый фасад дома день спустя, когда раненый, в изодранном платье, со связанными за спиной руками проезжал он в тюремной телеге, чтобы подняться на эшафот.

У дома Дюпле процессия остановилась. Принесли ведро бычьей крови, окрасили дверь и стену. Толпа плясала карманьолу. Сыпались насмешки. Проститутки плевали в лицо полумертвому трибуну.

А он упрямо смотрел все в одном направлении. Смотрел на пустой двор. На окна, закрытые ставнями. На дом, словно вдруг вымерший с падением его знаменитого жильца...

Дом и правда вымер. Рабочие и прислуга разбежались. Старшие Дюпле, их сын, племянник были арестованы одновременно с Неподкупным, дочери — через несколько суток.

Начался разгул термидорианской реакции.

Гражданка Дюпле никогда уже больше не вернулась в свой дом: она погибла в тюрьме. Остальные члены семьи малопомалу вновь водворились на улице Сент-Оноре. Но дела Дюпле пошли под уклон. В особенности после того, как он принял участие в революционном заговоре Вабефа и вновь угодил в тюрьму. Всей его собственностью завладели кредиторы.

Дом № 366 перешел во владение ювелира Руйи и в 1811—1816 годах был радикально перестроен. О его прошлом вскоре забыли.

В середине XIX века уже не находилось знавших о точном местоположении «дома Робеспьера», тем более что в связи с прокладкой новых улиц нумерация зданий на

улице Сент-Оноре сильно изменилась. Помнили, что дом стоял где-то возле церкви Вознесения. Но где же именно?

Одни называли современный дом № 404.

Другие — № 406.

Третьи — № 396.

Четвертые заверяли, что дом был вообще разрушен при проведении улицы Дюфо.

Нашелся даже «очевидец», утверждавший, что Робеспьер жил между номерами 382 и 384. Иначе говоря, прямо на панели!..

Первым по-серьезному занялся вопросом о «доме Робеспьера» в 60-е годы XIX века главный биограф Неподкупного, Эрнест Амель. Он копался в архивных документах, опрашивал немногих, еще живших, свидетелей революции, изучал старые планы Парижа. На основании всех этих материалов Амель составил примерный план дома Дюпле. Наконец он доказал, что этот дом стоял на месте, позднее занятом домом № 398.

Но Амель был уверен, что от прежнего здания ничего не осталось. По его словам, дом Дюпле был разрушен и перестроен «от фундамента до крыши», причем даже в планах старой и новой построек не было ничего общего.

В 90-е годы эта гипотеза была пересмотрена благодаря работам известного писателя и любителя старины Викториена Сарду. В исходном пункте Сарду был согласен с Амелем. Он также считал, что дом Дюпле был расположен на месте нового дома № 398. Однако Сарду категорически возражал против версии Амеля о полном разрушении первоначальной постройки. Согласно его наблюдениям новые застройщики лишь внешне коснулись дома Дюпле, сохранив и прежнюю планировку и прежний массив здания. При этом писатель сумел четко выделить ту его часть, которая в почти нетронутым виде осталась со времени революции.

В 1895 году Сарду опубликовал книгу «Дом Робеспьера», в которой изложил свои тезисы и доказательства. Они были настолько убедительны, что желающих спорить не обнаружилось.

Дискуссия закончилась. «Дом Робеспьера» был, наконец, найден.

Он стоит на своем месте и поныне.

Нет ничего удивительного, что Амель был введен в заблуждение. Достаточно сравнить гравюру конца XVIII века, изображающую дом Дюпле с фотографией фа-

сада дома № 398 тех времен, когда Амель и Сарду совершали к нему свои частые прогулки.

Как будто ничего общего.

Действительно, фасад дома изменился до полной неузнаваемости. Широкий проем был заделан. Его место занял узкий туннелеобразный проход, совершенно скрывающий вид на двор с улицы. По бокам прохода расположились магазины. Три новых этажа окончательно разрушили сходство. Все это и привело Амеля к убеждению в том, что здание было перестроено «от фундамента до крыши».

Но достаточно войти во двор, чтобы это впечатление было поколеблено. Правда, и во дворе произошли перемены. Старые пристройки ликвидированы. На правой стороне двора возникло новое узкое здание. Те же три достроенных этажа. И однако...

Однако здесь вполне различима старая основа. Старый дом периода, когда в нем обитал Неподкупный. Даже окно комнаты Максимилиана осталось на прежнем месте.

И внутри дома повсюду проступают следы прежнего. Особенно хорошо сохранились спальня Дюпле и комната дочерей. Те же массивные двери, те же обои, тот же паркет.

Хуже обстояло с той частью второго этажа, где находилась комната Робеспьера. Строители сместили стены, перестлали полы, убрали деревянную лестницу, некогда подходившую к двери кабинета. Но и здесь можно различить черты прежнего, вплоть до концов лестничных креплений, до остатков камина, некогда обогревавшего Неподкупного.

Все это Сарду описал в своей книге. Впрочем, его книга, изданная ограниченными тиражом с нумерными экземплярами, не получила широкой известности. Равно как и «дом Робеспьера» не был превращен в дом-музей. Мало того: существование дома осталось столь же неприметным, каким было до открытия Сарду.

Новейший биограф Неподкупного, Жан Массен, сетует на то, что нигде ни в Париже, ни в целой Франции нет улицы Робеспьера; нигде не поставлено памятника великому трибуну великой революции.

Нигде... Массену можно было бы заметить, что в нашей стране Неподкупного чтят так же, как и других выдающихся борцов за счастье человечества. В Ленинграде есть набережная Робеспьера. А в Москве в первые годы Советской власти был воздвигнут временный памятник великому якобинцу.

Но в отношении Франции биограф совершенно прав. На родине Великой буржуазной революции не создано памятников Робеспьеру или Марату. Следы их жизни, их славной борьбы стирает время.

Давно стал неузнаваем дом Дюпле. Нет на нем мемориальной доски. Зажатый рекламами, потонул он на шумной улице Сент-Оноре. Ничего не расскажут о нем и современные бедекеры, как, впрочем, ничего не говорили их почтенные предки.

Мало кто обратит сейчас внимание на этот дом.

На дом, где жил один из самых выдающихся революционеров и политических деятелей прошлого.

Е. С. Смирнова-Чикина

## Гоголь и студенты

Поэтическое изображение «племени пляшущего и поющего», очаровательные картины жизни украинской молодежи, прелестные образы парубков и дивчин, овеянные дымкой романтики, веселья, поэзии, первой любви, пленили русскую молодежь. «Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую славу о новом великом таланте», — отметил С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях. Так, с появления «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1832) Гоголь сделался любимцем студенческой молодежи. Любовь была взаимная. «Вообще к молодежи Гоголь относился с горячей симпатией», — вспоминал А. П. Толченев. Вот несколько фрагментов из удивительной постоянством истории любви студентов и Гоголя.

В 1844 году, после того как проф. М. П. Погодин опубликовал без разрешения Гоголя его портрет в «Москвитянине» и Гоголь вознегодовал на него за этот поступок, С. П. Шевырев писал ему из Москвы: «Один студент... просил меня подарить ему твой портрет особо, потому что он желал украсить им свою комнату. Другие студенты вырвали портрет из того экз<емпляра> «М<осквитянин>а», который они читают. Вот все, что мне об этом известно, и из этого ты видишь толь-

ко, что портрету твоему, даже и не так удачному, радо молодое поколение, тебе вполне сочувствующее».

Особенно ярко выразилась любовь студентов к Гоголю во время его жизни в Одессе. Так, бывший тогда студентом Ришельевского лицея А. Л. Деминитру рассказывал, что студенты буквально зачитывались произведениями Гоголя, «с благоговением, смешанным с удивлением и любопытством оглядывали» встретившегося им Гоголя, и «те, кто посмелее, даже следовали за ним, правда, в довольно почтительном отдалении...». Гоголь стеснялся, и, завидя студентов, шедших к нему навстречу, он иной раз бегством в первые попавшиеся ворота спасался от «внешнего и внутреннего внимания молодежи». А сам с любопытством «допрашивал о жите-бытье одесских лицеистов, между которыми у меня было много знакомых», — рассказал молоденький режиссер Одесского драматического театра А. П. Толченев, указывая дальше, что горячая симпатия Гоголя к молодежи «сказалась и в расспросах меня о моей собственной жизни, о моих наклонностях и стремлениях и в тех советах, которыми он меня подарил».

Интересен рассказ об отношении к Гоголю студентов Московской духовной академии, об «особенной любви», с которой они «читали и перечитывали сочинения Гоголя; многие выдержки из его повестей, особенно из «Мертвых душ», учили наизусть; а «Ревизора» и «Женитьбу» несколько раз даже играли в своих комнатах, хотя без всякой почти сценической обстановки, но зато без помощи суфлера...». Мемуарист обобщает факты увлечения молодежи Гоголем: «Произведения Гоголя были тогда почти постоянным предметом суждений и занятий воспитанников». Они мечтали увидеть Гоголя, и, наконец, «настал и для студентов счастливый день. Это было 1 октября 1851 года». Профессор Ф. вошел в общежитие вместе с неизвестным посетителем. Студенты узнали его: «Это Гоголь!» «О. Ф., подходя к группе студентов, сказал: «Вы, г<оспода>, просили меня... представить вас Н. В. Гоголю, я исполняю ваше желание». И, обращаясь к писателю, прибавил: «Они любят вас и ваши произведения». Не берусь, да и трудно слишком передать, что чувствовали тогда воспитанники, смотревшие прямо в лицо Гоголю, о котором грезил каждый из них, как грезят пансионерки черными усами и эполетами... Молчал и Николай Васильевич... Это обоюдное молчание продолжалось несколько минут. Наконец один из студентов... сказал за

всех: «Нам очень приятно видеть вас, Николай Васильевич. Мы очень любим и глубоко уважаем ваши произведения». Николай Васильевич отвечал: «Благодарю, вас, г<оспода>, за расположение ваше. Мы с вами делаем общее дело, имеем одну цель, служим одному хозяину...», и навсегда раскланялся со студентами, произнося последнее: «Прощайте!» и он вышел... при дружном, но отрывистом рукоплескании студентов».

Чтобы понять отношение Гоголя к студентам, надо вспомнить, что он «всегда стоял за просвещение народное». Одному студенту Московского университета Гоголь, узнав, что он учится на первом курсе, сказал: «Значит, встали на первую ступень умственного развития». Вот это стремление к умственному развитию и приветствовал Гоголь в молодежи. Недаром последние его слова молодому фельдшеру Зайцеву, ходившему за ним в последние дни его жизни, были: «Читай больше, дру мой». По-видимому, это были его последние слова. И слуга Гоголя, юноша Семен, оказался хорошо грамотным, возможно, что сам Гоголь выучил его читать. В 1847 году, узнав, что будущий критик А. А. Григорьев «находится в большой нужде и занимает или, может быть, уже занял у Погодина деньги», Гоголь просил Шевырева заказать Григорьеву статью и заплатить вперед, чтобы дать возможность расплатиться с долгом. Его же и Д. К. Малиновского, тоже студента Московского университета, Гоголь рекомендовал, как людей «способных и талантливых» в сотрудники знакомому журналисту. В 1849 году он хлопотал за Малиновского и его друга М. И. Орлова, теперь уже поступивших на службу. Гоголь не ограничивался помощью лично ему знакомым молодым образованным людям: он хотел «наблюдать за теми из юношей, которые уже выступили на литературное поприще. В их

положение стоит, право, войти, — писал он С. П. Шевыреву. — Они принуждены бьются весьма часто из-за дневного пропитания брать работы не по силам и не по здоровью. Цена 5 руб. за печатный лист просто бесчеловечна. Сколько ночей он должен просидеть, чтобы выработать себе нужные деньги, особенно если он при этом сколько-нибудь совестлив и думает о своем добром имени! Придумай, как бы прибавлять им от имени журналистов (то есть владельцев журналов) плату, которые буд-то бы не хотят сделать этого гласно, словом, как ловче и лучше, придумай. Это твое дело». И как всегда, Гоголь хочет остаться в стороне, чтобы никто не знал, что средства для помощи идут от него. «Твоя добрая душа, — продолжает он письмо к Шевыреву, — найдет как это сделать, отклоняя всякую догадку и подозрение о нашем с тобою теплом личном участии в этих делах...»

Широко, и также скрывая свое участие, помогал Гоголь многим студентам Московского и Петербургского университетов. Известно, что в Москве и Петербурге у профессоров С. П. Шевырева и П. А. Плетнева находилось по две-три тысячи рублей для помощи недостаточным студентам. Гоголь был очень небогат, по смерти в его вещах оказалось всего 57 рублей, а для студентов было отложено свыше 5 тысяч.

Хоронил Гоголя Московский университет, почетным членом которого он был с 1845 года. До самого кладбища Даниловского монастыря гроб несли профессора и студенты. А. А. Харитонов, участник похорон, вспоминал: «Кого это хоронят? — спросил прохожий, встретивший погребальное шествие. — Неужели это все родные покойника?» — «Хоронят Гоголя, — отвечал один из молодых студентов, педших за гробом, — и все мы его кровные родные, да еще с нами вся Россия».





Ю. Погосов

## Атуэй

Все жители тех земель, которые мы захватили в Индиях, имеют законное право пойти на нас справедливой войной, чтобы стеречь нас с лица Земли.

И это право останется за ними до самого судного дня.

Бартоломе-де-Лас-Касас

Глухо стучали барабаны, пронзительно гудели большие спиральные раковины, сухо трещали погремушки. В калейдоскопических отсветах костров метался хоровод темных человеческих тел, и неслась над черным морем и черным лесом бесконечная песня.

Уже ночь была на исходе, но арейто, устроенное касиком Гуахабы Атузем, не кончалось. И для этого были основания. Люди хотели услышать голоса богов, но боги молчали. Арейто — ритуальные пляски индейцев тайно, на них собирались по особым случаям. При этом обычно воспевались подвиги народа или его вождей — касиков, но нередко их устраивали в честь богов. В ту ночь тайно островка Гуахаба обратились к Йокоху и его прародительнице Атабей. Однако как ни старался бехике (колдун), боги молчали. А может, они и сами были в растерянности.

И когда первые лучи солнца позолотили

маушки палым, обессиленные люди упали на прибрежный песок.

И тогда Атуэй обратился к приглашенным на арейто соседним касикам. Несмотря на свою молодость, он уже прославился среди своих подданных как смелый и умный вождь. Наделенный недюжинным умом и физической силой, он выделялся также и своим талантом руководителя. Поэтому уважали его и вожди других племен. Атуэй волновал один вопрос: на Кискейе появились странные чужеземцы, говорят, они закрывают свое тело с головы до пят и что в руках у них огонь, убивающий все живое. Говорят также, что они с радостью берут у таино желтые камешки, которыми островитяне украшают себя и своих идолов — семи. Говорят, что таино с Кискейи покоряются этим чужеземцам, или магуакокио (одетые люди), — так назывались они в одном прорицании, предсказавшем их появление.

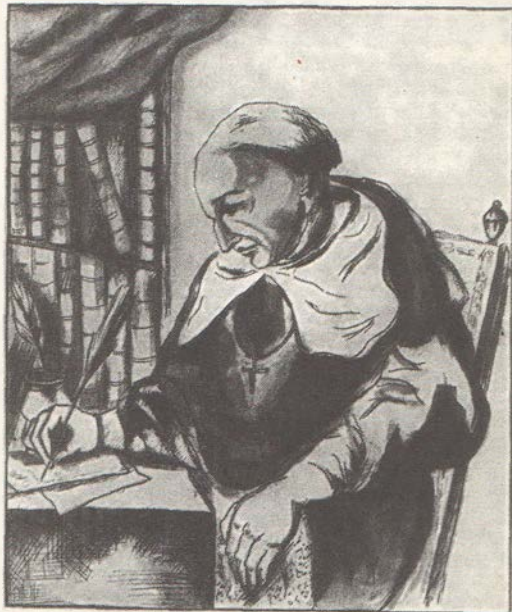
Гуахабу отделяла от Кискейи узкая полоска воды, и чужеземцы на своих огромных каное могли появиться в любой момент во владениях Атуэя. Но он не хотел покоряться им. Он не боялся свирепых карибов, совершавших время от времени набеги на таино, но эти магуакокио совершенно незнакомы ему. Касики молчали, тогда Атуэй сам принял решение: Гуахаба не покорится пришельцам.

Остров Эспаньола, который индейцы таино называли четырьмя разными именами — Кискейя, Ханти (Гаити), Бохио, Бабек, к началу XVI века был почти весь во власти испанских конкистадоров. Непорабощенным осталось западное побережье и расположенный против него остров Гуахаба (сейчас Гонав). Индейцы таино, населявшие остров, отличались мягким нравом и миролюбием. Правда, однажды таино восстали, но мятеж был быстро подавлен. Он известен в истории как первое в Америке проявление свободолюбия. К сожалению, никаких деталей этого события ученые не знают. Кроме, пожалуй, вот этого краткого сообщения, дошедшего до наших дней.

В свое первое путешествие Христофор Колумб основал на юго-западном берегу Кискейи небольшой форт «Нативидад», в котором оставил гарнизон в 39 человек, а сам вернулся в Испанию. В его отсутствие солдаты частенько затевали между собой драки из-за золота, мародерствовали, гонялись за индеанками. Возмущенный касик Каонабо разгромил гарнизон и разрушил форт. Разумеется, позже испанцы отомстили, залив морем крови земли Каонабо.

В 1502 году на тридцати кораблях с многочисленной свитой прибыл на Кискейю Николас-де-Овандо, новый губернатор острова, комендантор ордена Алькантары. Остров становился центром испанской колониальной администрации в Вест-Индии. Овандо, человек крутой и жестокий, что не мешало ему быть крайне набожным, взялся, по словам испанского монаха-доминиканца, свидетеля конкисты, Бартоломе-де-Лас-Касаса, «с крестом в руке и ненасытной жадной золотом в сердце» насаждать «порядок». Кровавым побойщем в Харагуа Овандо вписал одну из самых грязных страниц в историю конкисты. В те времена на землях Харагуа правила касик Анакаона, женщина, почитаемая не только ее подданными, но и некоторыми испанцами. Правительница решила в честь Овандо устроить праздник. Это было грандиозное арейто, в котором участвовали сотни индейцев всех родов Харагуа. В самый разгар празднества на индейцев, по приказу Овандо, бросились испанцы. Все таино были перебиты, а Анакаона — повешена.

Бартоломе-де-Лас-Касас.





Смутные слухи об этих событиях дошли до Гуахабы. Поэтому так был обеспокоен Атуэй. Он приказал женщинам и детям уйти в леса, а мужчинам взяться за оружие. Испанцы не заставили долго себя ждать: на Гуахабе появился небольшой отряд, и его офицер потребовал, чтобы таино выделили людей для работы на золотых приисках. В ответ он услышал, что во владениях Атуэя все повинуются только Атуэю. Поняв, что переговоры бесполезны, и не решившись прибегнуть к силе, испанцы ретировались. Простодушные таино несказанно обрадовались, но их дальновидный касик понял, что надо готовиться к войне. Так оно и получилось. Не прошло и месяца, как большой и хорошо вооруженный отряд конкистадоров появился во владениях Атуэя. Силы были не равными. Луки и каменные палицы таино (несмотря на их численное превосходство) не могли соперничать с тяжелым холодным и огнестрельным оружием испанцев, и, понеся большие потери, все оставшиеся в живых индейцы ушли в леса.

На следующий день после поражения Атуэй решил всем племенем оставить землю своих отцов и перебраться на Кубу. Не теряя времени, он велел приступить к постройке больших каноэ, способных вместить по нескольку десятков человек. Когда все было готово, около четырехсот таино вместе со своим нехитрым скарбом пустились в опасный путь.

Тихая, безветренная погода сопутствовала им, и это всех успокоило, но вождь все время был начеку: магуакио ничего не стоило на своих огромных каноэ догнать и потопить всех беглецов. Однако на этот раз боги покровительствовали им, и они без всяких помех высадились на берегу Кубы, недалеко от ее самой восточной оконечности (сейчас — мыс Майси). Местные жители, напуганные, бежали в леса, приняв их за разбойников-карибов. Пришлось послать за ними гонцов, которые убедили хозяев в мирных намерениях пришельцев.

Земли Баракоа, подвластные касику Бонао, стали прибежищем для таино с Гуахабы. Бонао разрешил людям Атуэя построить себе поселок, хотя и сделал это без особой радости: кто его знает, что в голове у этого молодого касика с Гуахабы? Через несколько недель Атуэй возвел поселок, назвав его именем родного острова. Он понимал, что недалек день, когда испанцы доберутся и до Кубы, и пытался убедить местных вождей в необходимости совместного сопротивления. Однако косяность и недоверие местных правителей губили все дело. Правда, были причины не верить касику-пришельцу: когда-то магуакио уже посетили Кубу, но тогда ничего дурного они кубинским таино не сделали.

Видя, что его усилия пропадают даром, Атуэй созвал арейто, на которое пригласил окрестных касиков. Некоторые песни этого арейто дошли до наших дней. На этот раз боги не молчали. Они предупредили таино о возможном появлении магуакио и призвали их взяться за оружие. Однако вновь не удалось объединить недоверчивых вождей. Выразив на словах согласие поддержать Атуэя, касики разъехались по домам.

Случилось так, что пророчество богов свершилось довольно скоро. Это было осенью 1511 года. По приказу Диего Колумба (сына Христофора Колумба), губернатора Кискейи, Диего Веласкес, разорившийся дворянин, приехавший в Вест-Индию в надежде разбогатеть, набрал триста авантюристов рангом пониже и, посадив их на четыре корабля, отправился на покорение Кубы. Одним из офицеров в его

отряде был Эрнан Кортес, который вскоре прославился своими кровавыми деяниями при завоевании Мексики. Испанцы долго крейсировали у берегов Кубы, прежде чем нашли удобную бухту. И вот магуакоки бросили якоря недалеко от поселка Атуэй.

Дозорные, дежурившие на берегу днём и ночью, сразу же сообщили новость своему вождю. Атуэй приказал собрать все золото, что было у индейцев, сложил его в большую корзину, не забыв положить туда и золото, принадлежавшее ему самому, а затем на глазах у всех бросил его в море. Пусть теперь эти магуакоки ищут любимые желтые камни на дне моря... Женщин и детей он распорядился отправить в горы, а остальным заявил, что если они не будут сражаться, то погибнут, а оставшихся в живых прикончат магуакоки.

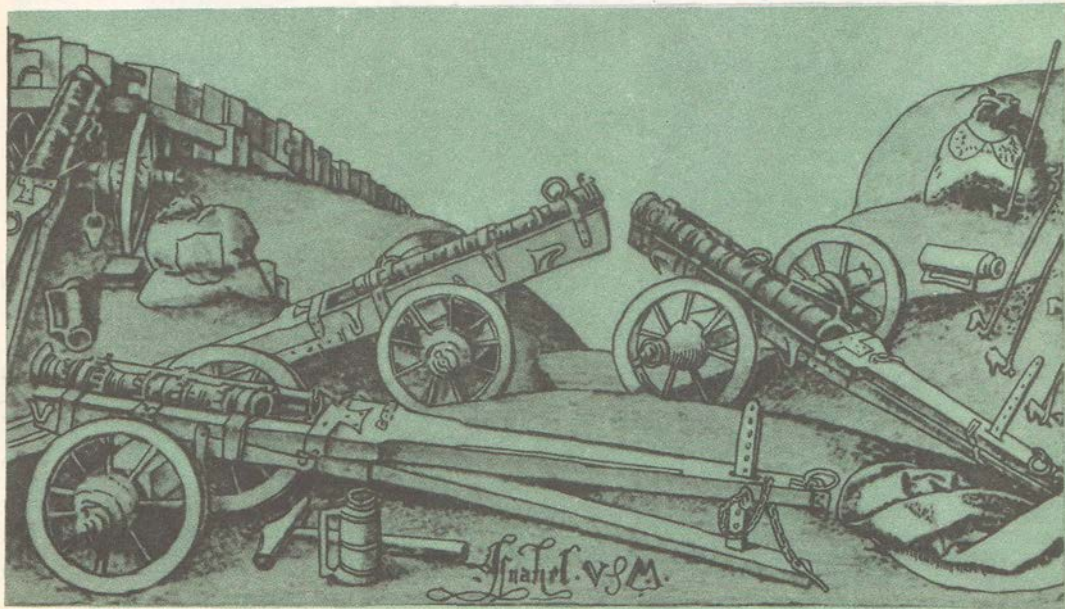
Выйдя на берег, испанцы не ожидали сопротивления индейцев. Но все же Веласкес по совету своего помощника Моралеса выслал разведку. Не успели посланные углубиться в лес, как были встречены тучей стрел и камней. Это Атуэй и его люди, укрывшись среди скал и деревьев, покрывавших горный склон, встретили своих врагов. Но, облаченные в тяжелые кольчуги, испанцы почти не понесли урона и, оправившись от первоначального испуга, открыли огонь по таино. Схватка была не-

долгой, и Атуэй, оставив на поле боя половину своего отряда, ушел в горы.

Между тем его гонцы, отправленные ко всем касикам — участникам арейто, возвращались ни с чем. Касики отказывались поддерживать своих соратьев с Гуахабы. Что ж, Атуэю оставалось полагаться только на свои собственные силы. Он ушел еще выше в горы, где для него и его людей началась жизнь, полная лишений. Наступило затишье, во время которого испанцы, обеспокоенные непокорностью индейцев, начинают возводить форт в районе своей высадки в Баракоа (форт послужил началом первого испанского города на Кубе — Баракоа). Но наступил день, когда спокойной жизни завоевателей пришел конец: неожиданно на них напал небольшой отряд таино. И моментально исчез. За этим нападением последовало другое, также внезапное. Так возобновилась война.

Легко вооруженным таино ничего не стоило скрыться от закованных в латы испанских пехотинцев. Правда, испанская неповоротливость компенсировалась в какой-то степени собаками, которых они пускали по следу. Таино боялись этих страшных, никогда не виданных животных больше, чем испанцев, думая, что в эти четвероногие существа вселился злой дух Мабуйя.

На исходе третьего месяца войны в лагере Веласкеса (к этому времени он про-





двинулся к подножиям гор, которые сейчас называются Сьерра-Маэстра) вспыхнуло недовольство. Измученные партизанской тактикой тайно, солдаты взорптали. Веласкесу стоило большого труда навести порядок среди своего воинства. Он заверил солдат, что с непокорными будет сразу же покончено, как только Атуэй попадет в плен, и что для этого надо найти предателя, который проведет бы испанцев в убежище касика.

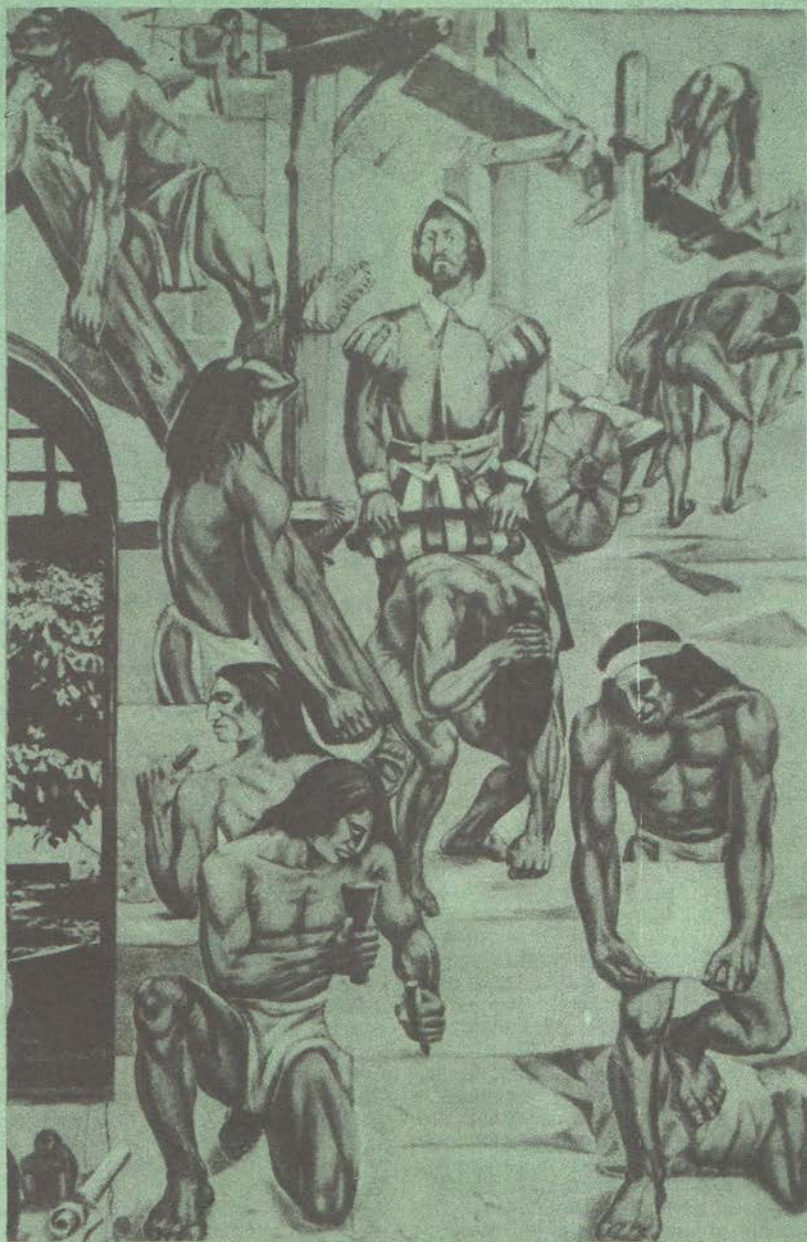
С той поры испанцы перестали убивать пленных, прежде чем те не проходили через пытки. Они хотели развязать языки индейцам, но долго их поиски не приносили успеха, пока в плен не попал воин, который жаждал отомстить великому касику за обиду, нанесенную ему еще на родине. Предатель согласился провести испанцев в горы. Однажды в темную ненастную ночь он выполнил слово и привел их к пещере, где скрывался Атуэй.

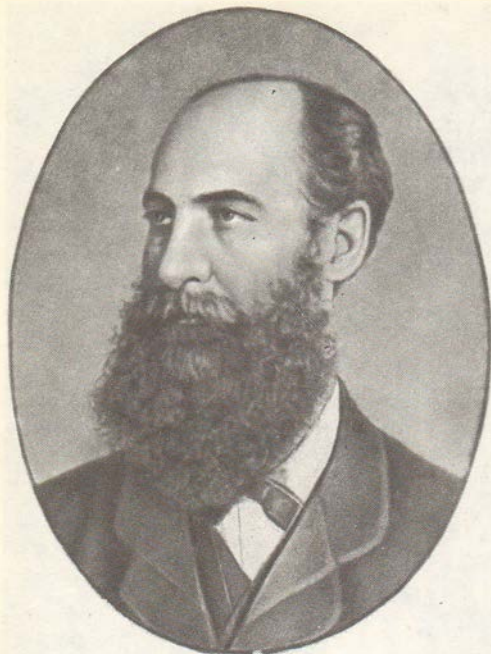
2 февраля 1512 года в лагере испанцев царило оживление — готовили казнь Атуэя. По свидетельству Бартоломе-де-Лас-

Касаса, которому, в свою очередь, рассказали свидетели этого события, Веласкес перед казнью пытался выпытать у Атуэя, где тот спрятал золото. Касик презрительно усмехнулся и ответил, что в таком месте, где испанцам вовек его не найти. Рассвирепевший испанец приказал бросить пленного в костер. Атуэя приволокли к столбу, под которым были сложены поленья для костра. Наконец к нему подошел монах-францисканец с предложением принять христианскую веру, покаяться в грехах, суля ему райское блаженство. Атуэй спросил его, правду ли говорят, что испанцы тоже попадают в рай; услышав утвердительный ответ, он заявил, что не хочет быть в раю вместе с такими жестокими и свирепыми людьми.

Веласкес подал знак, и через несколько минут пламя костра взметнулось высоко в небо.

После гибели вождя индейцы не сумели продолжать борьбу, и скоро последние из них, загнанные в горное ущелье, все до единого погибли в бою.





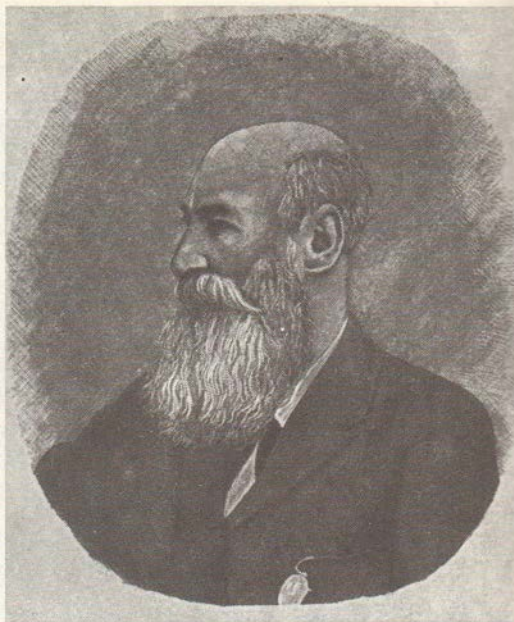
И. Халифман

## Г. Кондратьев и Г. Кандратьев

### I

В Петербурге «Богема» Пуччини впервые была поставлена в феврале 1900 года. Этой премьерой Мариинский театр отмечал прощание со своим главным режиссером Г. П. Кондратьевым. Ему шел тогда 67-й год, и за плечами у него было 35 лет служения опере, 45 лет, отданных музыке.

Кондратьев рос в семье одного из тех конногвардейцев, которым в свое время Павел командовал на учебном плацу: «Налево кругом в Сибирь!» Фельдъегерь с уведомлением о всемилостивейшей отмене приказа догнал часть уже в Твери... Тем не менее отец хотел видеть военным и сына. И хотя у мальчика с пяти лет обна-



ружились редкостный слух и поразительная музыкальная память, его отдали в Александровский кадетский корпус, а затем перевели в Павловский. Правда, Геннадий больше интересовался музыкой, чем военными науками, пел в хоре, даже дирижировал сводным оркестром училища. Но курс благополучно окончил и был произведен в офицеры.

Молодой кирасир скитается с полком вдоль австрийской границы, а в свободные от службы и манежа часы поет, приводя товарищей в изумление чистой и выразительностью сильного голоса.

Крымская война... Кондратьев добровольцем-охотником отправляется в Севастополь. Но едва окончилась Крымская кампания, двадцатидвухлетний штаб-ротмистр, прискакав домой, бросается в ноги матери и просит разрешить ему выйти в отставку, покончить с военной карьерой: он хочет учиться петь. Какой конфуз!.. Что сказал бы недавно скончавшийся отец: сын предводителя кинешемского дворянства — и вдруг собирается стать певцом, актером! Но мать останавливает и другое: чтоб обучиться пению, нужно много денег. Только за заграничный паспорт требовалось выплатить 500 рублей. Тут пошлину неожиданно отменили, и «отъезд был облегчен до крайности», как вспоминал позднее об этом Кондратьев.

Он тотчас отправился в Петербург выправлять документы. В Петербурге навещал друга семьи — Аполлона Николаевича Майкова, который был близко знаком со знаменитым певцом Лаблашем. Майков повез Кондратьева к Лаблашу, тот попросил молодого человека спеть несколько вещей и тут же написал письмо в Милан.

— Поезжайте, вам надо учиться! — сказал он на прощание.

Рекомендательное письмо Лаблаша открыло молодому человеку все двери музыкального Милана. Ему давали уроки примадонна Джудитта Паста, ушедший уже на покой Тамбурины. Сейчас эти имена известны только специалистам, тогда это были европейские знаменитости, звезды первой величины.

После четырех лет занятий — первая роль в «Семирамиде» Россини на маленькой сцене в Новаре. Кондратьев поет Ассура и затем с успехом выступает в Верчелли, Турине, Триесте, Ливорно, Флоренции.

В 1861 году он выступает в Ницце. Здесь его слушает петербургская знать, отдыхающая на Лазурном берегу. Он поет два дуэта с Кривелли и исполняет их так, что достаивается приглашения на русскую сцену.

6 сентября 1864 года Кондратьев впервые выступил в Мариинском театре в роли Руслана. Он пел — мы цитируем дальше отзыв одного из знатоков — «с замечательным искусством. Голос его чистый, звучный бас, доходящий от октавы до высоких баритонных нот, выработан прекрасно. На сцене ловок. Фразирует отлично... Со стороны публики имел полный успех».

После Руслана Кондратьев пел Родольфа в «Вильгельме Телле», Тихона в «Грозе» Кашперова, Тельрамунда в «Лознгрине», Мефистофеля в «Фаусте», Оберталья в «Пророке», пел в «Лючии», в «Пуританах», в «Гальке», во «Вражьей силе»... Есть основание полагать, что А. Н. Осеровский — автор либретто этой оперы А. Н. Серова — писал роль Петра специально для Кондратьева, с которым был смолоду дружен.

Когда в Мариинском театре встал вопрос о главном режиссере, от которого требовалось, чтобы он был «человек, тонко знающий дело, человек с тактом, могущий водворить мир в труппе, любимый товарищами, хороший администратор и человек железной воли», выбор пал на Кондратьева.

Первым успехом нового режиссера было возобновление постановки «Руслана и



Людмилы», в которой он когда-то дебютировал и которую считал одним из драгоценнейших сокровищ искусства. Следом за «Русланом и Людмилой» был поставлен «Борис Годунов». По поводу этой инициативы обозреватели впоследствии писали: «Не следует забывать, что новая русская школа в то время зло преследовалась, и принять на себя почин постановки «отверженного» произведения было делом истинно прекрасным». Популярность Кондратьева растет. Его спектакли пользуются неизменным успехом. О них постоянно пишет пресса. В. В. Стасов высоко оценивает его постановки, отмечая тонкий вкус, верность исторической правде, считая, что «постановка «Бориса Годунова» превосходит все бывшие до сих пор у нас постановки русских исторических пьес». Рецензенты отмечают, что, несмотря на размах и щедрость, постановки Кондратьева обходятся театру на редкость дешево.

Об этом хозяйственном таланте старого художественного руководителя театра доброе слово сказали и авторы ста-



тей, посвященных его прощальному бенедикции и юбилею.

Рисуя фигуру поднимавшегося, чтоб раскляняться с публикой, коренастого старика с неизменной шапочкой на голове, театральные репортеры и рецензенты справедливо писали, что будущее сможет оценить «крупную роль в механизме оперы этого уходящего со сцены деятеля». Каждый по-своему вспоминал путь, пройденный Маринским театром под его руководством, и не упускал случая напомнить, что при нем доходы театра утроились. Было сказано и о том, сколько дала театру душевная дружба режиссера с многочисленными деятелями искусства, литературы, науки.

Действительно, Кондратьев был близок не только с Ап. Майковым и братьями Островскими, не только с автором популярных обличительных пьес Алексеем Потехиным, но и с А. Ф. Писемским, И. С. Тургеневым, П. В. Анненковым. В наброске своей «Автобиографии» Кондратьев пишет о встречах со многими музыкантами, дирижерами, художниками, скульпторами и, конечно, с композиторами — Даргомыжским, Серовым, Мусоргским, Римским-Корсаковым, Чайковским, братьями Рубинштейн, Бородиным, Кюи, Кашперовым...

Казалось, деловое и дружеское общение с таким обширным кругом выдающихся деятелей культуры, многолетняя творческая работа певца и преподавателя музыки, режиссера и постановщика опер — все это могло до краев наполнить самую большую и емкую жизнь. Между тем величавый седобородый старик жил не только музыкой, пением, оперой, искусством, литературой.

## II

В начале 80-х годов врачи, обеспокоенные состоянием здоровья одного из руководителей Мариинского театра, обязали его не менее четырех месяцев в году проводить, лучше всего летом, на открытом воздухе, на солнце.

Вняв совету знаменитого химика и не менее знаменитого в то время знатока пчел — академика А. М. Бутлерова, Кондратьев (именно Кондратьев — здесь нет опечатки!) заводит у себя на даче под Петербургом первые три колоды пчел. Работая с ними, он начинает вникать в удивительные законы жизни пчелиной семьи, загорается не угасшим до последнего дня жизни интересом к науке о пчелах, к прак-

тике их содержания и разведения. С тех пор, писал он много лет спустя, «для меня жизнь без пчел является жизнью без цели и интересов».

Вскоре Кондратьев с Бутлеровым получили на кавказском берегу Черного моря, недалеко от Сухуми, участок и основали большую пасеку. Вряд ли была в мире еще одна такая, где в течение ряда лет бок о бок с профессионалом-пчеляком работали всесветно известный химик и режиссер столичной оперы. Работа на пасеке помогла Кондратьеву глубоко освоить секреты ремесла, проблематику отрасли, разобраться в задачах, стоящих перед теорией и практикой дела.

Неожиданно скончался А. М. Бутлеров, а Кондратьев, незадолго до того похоронивший единственного сына, потерял также и единственную дочь. Нервы сдали, Кондратьев совсем перестал спать.

Чтоб чем-нибудь заполнить долгие ночные часы, он стал переводить на русский книгу Лангстрота «Пчела и улей». Работа подвигалась быстро, но еще быстрее созрело решение приступить к выпуску специального пчеловодного журнала, такого еще нигде не было. Это должно было быть издание, регулярно публикующее отрывки из печатаемых во всех странах наиболее важных и полезных книг и статей о пчелах и пчеловодстве.

Кондратьев — так он подписывал свои труды по пчеловодству — не раз посещал в Милане на Пьяцца Кавур, № 4 редакцию «Апикольторе», которая в течение многих лет служила местом встречи итальянских и зарубежных пчеловодов. Здесь бывали Дзержон, Берлепш, Кован, Бертран, Дадан, Дубини, Висконти, Барбьери, Бамбертени и другие ученые и мастера пасечного дела.

— И русским пчеловодам нужно окно в Европу, в мир, — говорил Кондратьев.

В сентябре 1892 года появился первый номер издания, посвященного памяти учителя — А. М. Бутлерова. Объявляющая об этом надпись выравнена была на обложке и печаталась из номера в номер.

Успех «Вестника иностранной литературы пчеловодства» — так назывался журнал — превзошел все ожидания. Комплект восьми номеров первого года (в летние месяцы, когда пчеловоды заняты на пасеке, «Вестник» не выходил) выдержал три издания, номера второго года тоже пришлось переиздавать.

Расставив с театром, Кондратьев еще больше энергии и сил стал уделять «пчеловодной проповеди». Редактор и издатель

журнала вел обширную переписку с пчеловодами всей страны, сам посещал пасеки, собирал у себя для занятий любителей и практиков, молодежь и стариков, особое внимание уделяя пчеловодам — крестьянам и крестьянкам, что было по тому времени довольно необычно.

Со страниц журнала встают портреты энтузиастов — пчеляков-крестьян, чьи успехи особенно убедительны для собратьев, которые «всегда с предубеждением смотрят на барские затеи и считают их совершенно неподходящими для себя».

И как же гордился, как радовался редактор «Вестника», когда среди его читателей нашелся один, решивший своими глазами повидать то, о чем он узнал из журнала, «проверить все на деле, поработать там своими руками и принести это к нам на родину, в свою деревню», «не стерпел, оставил родную семью, жену и детей» и «при поддержке добрых людей кинулся в Новый Свет». Журнал и в последующем информировал читателей о заокеанском путешествии вятского крестьянина Абрама Евлампиевича Титова, о его работе на пасеке пчеловодной фирмы Рутв. В «Вестнике» был напечатан и опубликованный в американском журнале «Gleanings in bee culture» отчет о встрече старого Рута с «мистером Титовым», заявившим своему собеседнику, что «нет на свете страны, где бы сбыт меда и воска мог быть так велик и где бы развитие пчеловодства могло достичь таких размеров, как у него на родине».

(Отклоняясь от темы, сообщим, что А. Е. Титов после шести лет работы в США вернулся в Россию, стал губернским инструктором пчеловодства, в советское время руководил Измайловской показательной пасекой, редактировал пчеловодные журналы, участвовал в организации крупнейшего в стране пчеловодного совхоза на Дальнем Востоке. Умер в 1942 году.)

Параллельно с выпуском «Вестника» Кандратьев предпринял перевод на русский целый серии классических иностранных руководств и пособий. Вслед за книгой Лангстротта русским пасечникам стали доступны (они выходили в недорогих изданиях) такие книги, как «Заметки пчеловода» Дубини, его же «Мед как пища и лекарство», «Уход за пасекой» Эд. Бертрана, переработавшего свое сочинение специально для русского читателя, «Улей Дадана» и множество других работ. Эти книги и

десятки статей, переведенных с немецкого, французского, итальянского, английского, польского, множество пересказов работ, увидевших свет в Швейцарии, Бельгии, Америке и пр., знакомили русских пчеловодов со всем заслуживающим внимания на пасеках обоих полушарий.

Подобно своему современнику — профессору химии А. Н. Энгельгардту, который мечтал о том, чтобы «в массе земледельцев были работающие лично интеллигентные люди, научно развитые, которые прилагали бы науку к практике, истрекивали способы увеличить производительность земли», Кандратьев добивался приращения науки к практике пчеловодства, распространял добытые наукой и проверенные практикой способы и методы производства, управления жизнью пчелиных семей. Словом разъяснял и делом подтверждал о верность своего девиза: «В сильных семьях — все спасение!»

Уже неизлечимо больного Кандратьева по его настоянию вывозили в кресле на пасеку, где он, окруженный учениками-крестьянами проводил, как теперь говорят, консультации.

Скончался Кандратьев 23 июля 1905 года на 72-м году. «В ясный солнечный день, под звуки гармонического пения любителей-соседей его опустили в могилу на скромном деревенском кладбище села Модницы (Лужский уезд Петербургской губернии), а его родные пчелы стали летать на его могилу, украшенную цветами», — писал автор одного из некрологов. Кончина Кандратьева была отмечена посвященными его памяти статьями в пчеловодных журналах всей Европы и за океаном.

### III

Перед нами две жизни.

Первая — певца и режиссера, прошедшая в общении с самыми яркими звездами искусства и литературы, при свете театральных огней, сверкании декораций и нарядов, под гром оркестров, под ежевечерний прибой рукоплесканий и вызовов. И вторая — естествоиспытателя, прикованного мыслью к тайнам улья, к заботам людей, безмолвно работающих за пасечной оградой под открытым небом один на один с природой.

Две жизни, вместившиеся в одну, когда, не мешая друг другу, переплелись театр и агрономия, музыка и биология, сцена и пасека.

А. Леонидов, С. Тюляев

## Храм Кайласа-Натха в Элуре

Индийские художники планировали как гиганты и отделивали как ювелиры.

Дж. Фергэссон

Кайласа — одна из высочайших вершин Гималаев, обитель Шивы — великого божества индийского пантеона. В Индии громадное количество посвященных ему храмов, многие из которых действуют и поныне. У него более тысячи имен, одно из которых — Кайласа-Натха (Владыка Кайласа) — носит храм в Элуре, построенный в VIII веке н. э., о котором санскритская надпись, сохранившаяся в одной из пещер Элуры, гласит: «Кришнараджа повелел создать на горе Элапура храм чудесного облика. Божества, проносящиеся в воздушных колесницах, увидя его, были поражены изумлением и, непрестанно размышляя о нем, говорили себе: эта обитель Шивы нерукотворна, ибо подобная красота никогда не встречалась в произведении человеческого. Даже художник, ее создавший, сам невольно удивился и, зная, что он уже никогда не создаст ничего подобного, воскликнул: «О, чудо! Я сам не понимал, что творю подобное!»

Элура была священной столицей империи династии Раштракутов, правившей в Южной Индии в VII—IX веках н. э. Город стоял у подножия гор. Рядом с ним утес, место паломничества, издревле священное для всех религий Индии. Здесь же

в горном склоне на полторакилометровом пространстве были вырублены 33 пещеры. В начале VII века на середине склона скалистого холма был создан небольшой пещерный храм Шивы, включавший его лингам. Кришнараджа I решил расширить этот храм. Мастера врубились в склон базальтовой скалы траншеей глубиной в 33 метра и протяженностью в 87 метров. Для этого они сверлили камень и загоняли в отверстие деревянные пробки. Пробки эти поливали водой. Дерево, разбухая, откалывало глыбы. Их оттаскивали в сторону. Так был создан ров в форме буквы «П». Образовавшийся при этом массивный базальтовый островок был обработан искусными мастерами сверху донизу. Нигде камень не отсекался от монолита, нигде не присоединялся к нему; каждая деталь храма монолитна.

Храм достигает высоты 29 метров, 61 метра в длину и 33 метров в ширину. Все его внутренние и внешние поверхно-

---

Храм Кайласа-Натха в Элуре.  
Скальный монолит. VIII век,

---

сти покрыты рельефами, скульптурой и росписями, изображающими Шиву и его спутников.

Пропорции храма подчинены строжайшим канонам. Архитектурные трактаты требовали с математической точностью рассчитывать малейшие детали. Имея заданную высоту храма, мастера делили ее на 120 частей, определяя таким образом, чему равняется одна часть. Имея эти пропорции и вычислив практические размеры единицы измерения, мастера безошибочно исполняли традиционные формы храма.

Искусствоведы говорят о синтезе архитектуры и скульптуры в индийском зодчестве. Это особенно относится к храму Кайласа-Натха, о котором смело можно сказать, что здесь «архитектура — инструмент скульптора». Но с таким же успехом можно утверждать, что скульптура — инструмент архитектора. Неповторимые по замыслу и воплощению индийские храмы требуют совершенно новой терминологии.

Если европейскую архитектуру сравнивают с «застывшей музыкой», то индийскую можно назвать эпической поэмой в камне.

Храм Кайласа-Натха не приспособлен для осмотра его целиком — вырубленный



из массива скалы, он как бы остался в ее недрах. Паломник, приближавшийся к храму, не мог охватить его одним взглядом. Только постепенно, переходя от одной части комплекса к другой, как бы листая страницы священной книги, можно было постичь замысел создателя храма.

Паломник проходил через массивные ворота — сложное двухэтажное сооружение с плоской крышей и бочкообразным навершием посередине, мимо помещения храмовой охраны и попадал на «помост» — цоколь высотой почти в 8 метров. Скала как бы замыкалась за ним. Вокруг темные стены, в которых зияют входы пещер. Перед ним храм быка Нанди. Это перевозчик Шивы, бык молочно-белого цвета, который символизирует творческие силы и праведность Шивы. На нем подвозят дрова для жертвоприношений, а часто и самого приносят в жертву. Бык лежит посреди павильона, головой к главному храму, как бы глядя вслед прошедшему Шиве.

Из павильона Нанди по тому же цоколю паломник попадал в мантапам — главное помещение для молящихся. Низкий свод квадратного в плане помещения всей своей тяжестью лежит на 16 приземистых колоннах, расположенных по углам зала. Пропорции их полны мощи и достоинства. Свет проходит только через двери, и потому здесь полумрак. На стенах — барельефы. На потолке — росписи: Шива, танцующий священный танец.

Шиву называют Натараджей — Владыкой танца. Для каждого танца у него свои атрибуты, свои одежды. Его изображают трехглазым и четырехруким, с разметавшимися прядями волос. В верхней правой руке Шива держит дамару — маленький двусторонний барабанчик, вторая правая рука, сильно согнутая в локте, обращена ладонью вперед; она как бы говорит: «подойди без страха». В верхней левой руке у Натараджи пылающее пламя — агни, вторая левая вытянута наискось поперек груди, наподобие застывшего хобота слона. Это положение называется «данда-хаста» и обозначает власть и силу.

В священных шивантских гимнах на тамильском языке поется: «О мой Владыка, твоя рука, держащая священный барабан, сотворила и привела в порядок небо и землю, и другие миры, и бесчисленные души. Твоя поднятая рука сохраняет сознательный и бессознательный порядок творения. Все эти миры претворяются твоей рукой, несущей огонь. Твоя священная нога, утвержденная на земле, дает убеждение усталой душе, борющейся в сетях причин-

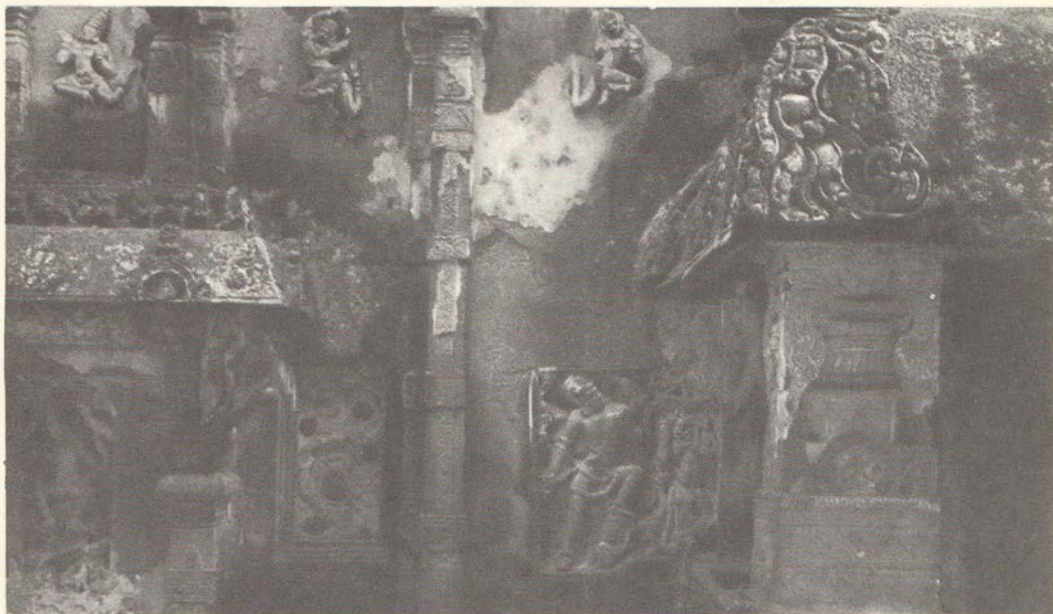
ности. Твоя приподнятая нога дарует вечное блаженство тем, кто к тебе приближается».

Из мантапам через вестибюль путь ведет в святилище — «лоно храма». Это камера размерами 4 × 4 метра, с необычайно толстыми стенами. Внутри высечен лигам в виде низенькой колонны.

Из вестибюля имеются выходы на платформу, окружающую святилище. Здесь к нему примыкают еще пять монолитных храмиков. Все эти храмы и храмики стоят на цоколе, поддерживаемом слонами. Высечены только головы, хоботы и передние ноги, выступающие из массива стены. Только теперь замысел архитектора становится понятным. Подобно миру, утвержденному на слонах, храм Владыки Кайласа — символ мира — стоит на слонах. Одновременно слоны — символы дождевых облаков — как бы отделяют храм от земли, возносят его в небо.

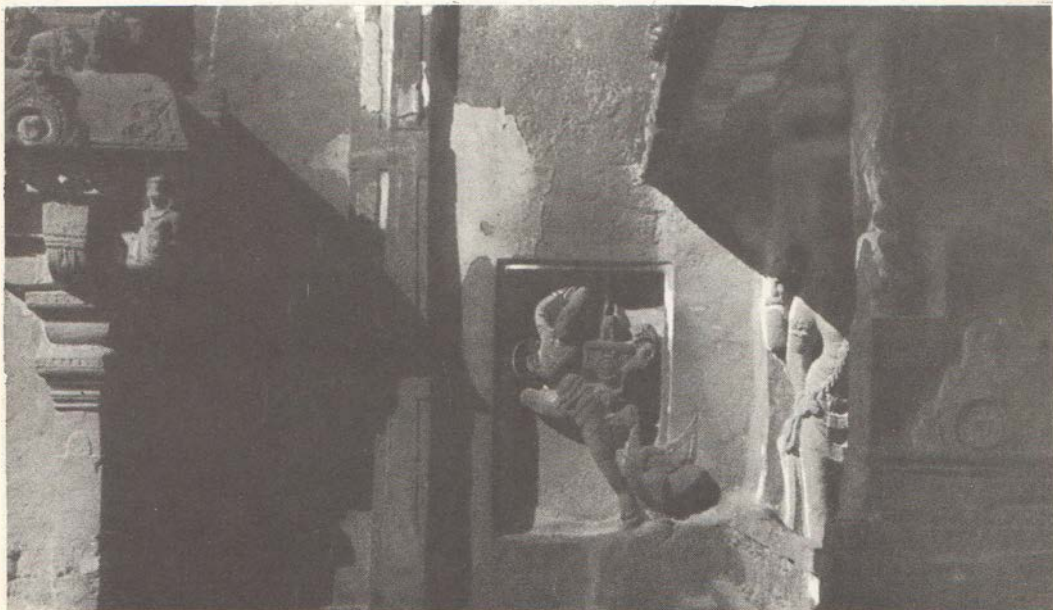
Храм с трех сторон окружен рвом, в стенах которого вырублены монастырские помещения, маленькие храмики. Невозможно описать все разнообразие скульптурных украшений храма. Гигантские фигуры Стражей Врат, изображение других низших божеств, герои Рамааны и Махабхараты, юноши и девушки, демоны, птицы, звери; главные боги: Брахма, Вишну и Шива. Преобладают изображения Шивы: на левой стене вестибюля — барельеф показывает Шиву, едущего на быке; на правой — играющего в кости со своей женой. В южной стене храма, в глубокой нише, высечена скульптурная группа, по своей сложности напоминающая театральную сцену. Шива изображен на горе Кайласа. Многоглавый и многорукий демон Равана, проникнув в подземную толщу горы, пытается низвергнуть Шиву. В нижней части ниши изображен этот демон; упершись множеством своих рук в стену он пытается поколебать гору. Это круглая скульптура. Выше, в горельефе, изображен Шива, сидящий с Парвати, которая в испуге прижалась к своему супругу. Но невозмутимый Шива, топнув ногой, на тысячелетия приковал Равану в подземной темнице. Рядом с Парвати изображена фигура убегающей служанки. Наличие вертикальных планов, сочетание круглой скульптуры, горельефа и барельефа, сложное композиционное решение — все это создает иллюзию глубокого пространства, показывая исключительное мастерство ваятеля.

Покидая Элтуру, паломник, уже отойдя от города, мог в последний раз увидеть храм. Покрытый белой полированной штукатуркой, он выделялся на темном фоне



Рельефы храма.

Южная стена. Мантапам.





Летающий гений — девата.

базальтовых скал. С высоты горного склона виднелось его пластическое убранство, подобные коронам купола, сложно профилированные и декорированные столбы — все это сливалось в сплошное море пластических форм, волны которых всплескиваются все выше и выше, поднимаясь постепенно от павильона быка Нанди до башни главного святилища, сплошь покрытой скульптурой.

Английский искусствовед Перси Браун, автор большого труда по истории индийской архитектуры, пишет о храме Кайласа-Натха, что это «не только уникальное произведение искусства Индии, это непревзойденный образец скальной архитектуры. Стоящему в окружении храма с его серыми, точно седыми, сооружениями вокруг чудится, что он проникает взором в иной мир, вне времени и пространства, где напряженное благоговение воплощено с поразительным искусством... Лишь постепенно становится понятным, как замечателен творческий замысел и как безмерен труд,

позволивший воплотить его; ...пластическое убранство — это венец его славы, нечто большее, чем просто художественные формы; это великое духовное достижение...»

Однако со стороны широкой общественности этот шедевр индийской монолитной архитектуры не получил столько же восторженных похвал, как, например, всемирно известный мавзолей Тадж-Махал в Агре, представляющий так называемую индомульманскую архитектуру, лишенную скульптуры и резко отличающуюся от того коренного древнейшего течения в индийском зодчестве, которое представляет собой замечательный синтез со скульптурой. Тадж ближе к европейскому пониманию архитектурных достоинств. Кроме того, он находится под Агрой — в месте, вообще часто посещаемом туристами ради и самого города, широко известного замечательной архитектурой форта. Популярности Таджа у нас способствовала и прекрасная картина Верещагина, посвященная этому памятнику.

Храм Кайласа-Натха много сложнее, труднее для восприятия и может рассматриваться только вместе со скульптурой,

---

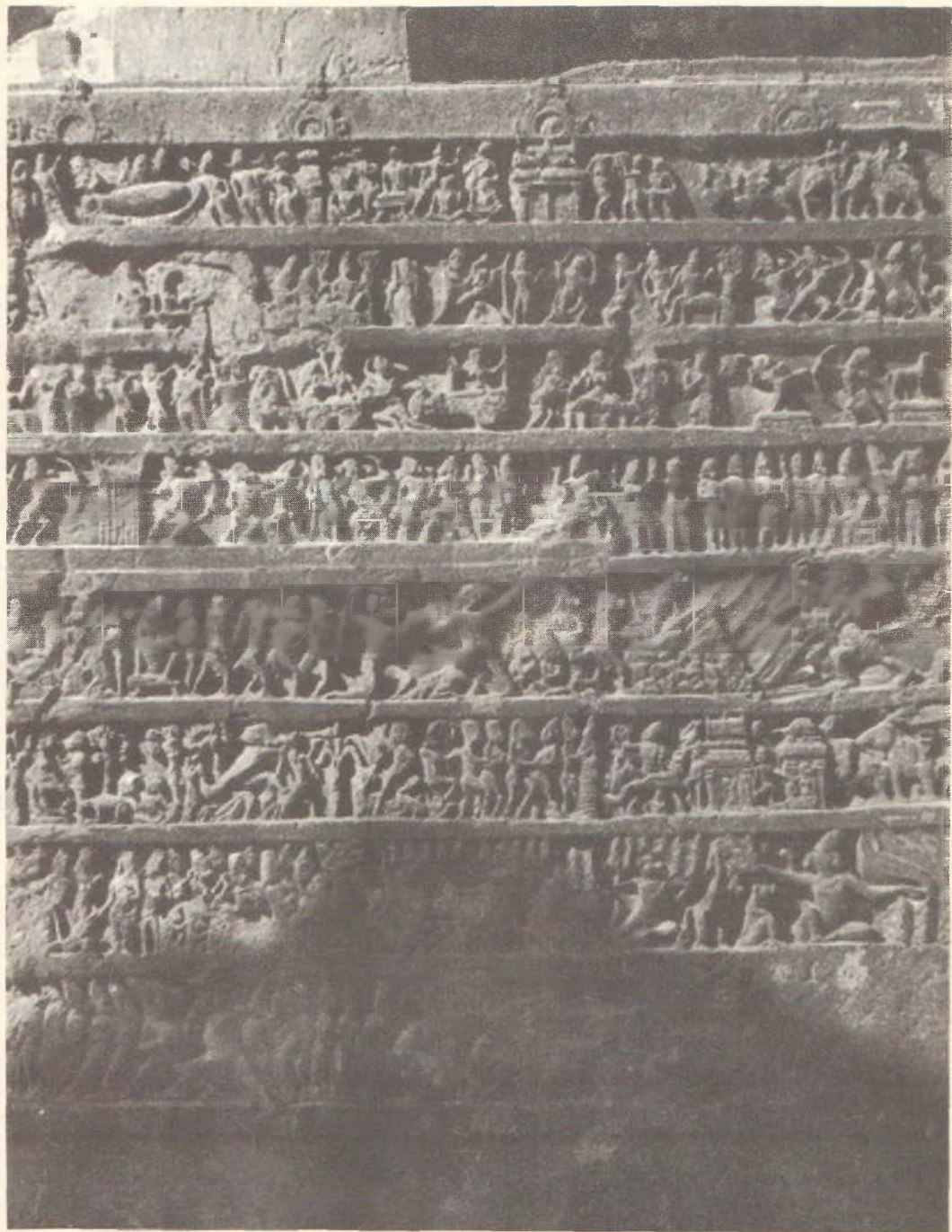
Фриз из Рамаяны.

---

которая чужда зрителю, воспитанному на идеалах классической Греции. Она слишком своеобразна и требует знания индийской мифологии и широкого эстетического восприятия.

Зато такой знаток, как Герман Гетц, около тридцати лет изучавший индийское искусство на месте, глубоко проник в художественные качества Кайласа-Натхи: «Скульптура Раштракутов представляет зенит индусского искусства, ибо она явилась результатом сильных религиозных и общечеловеческих переживаний. Самые ранние, довольно простые творения времен Дантидурги обладают дикой свирепостью выражения и потрясающей жизненностью, например, пещера Дас-Аватар и рельефы с изображением Бхайравы на Кайласа-Натхе...»

Джеймс Фергэссон, первым создавший солидный труд по пещерному зодчеству Индии, пишет про храм Кайласа-Натха: «Работа превышает вероятие, и ум смущается от изумления!»





Б. Челышев

Рояль

Антон

Рубинштейна

Когда мы попадаем в музей, то взгляд наш часто с благоговением останавливается на личных вещах великих людей. Мы подолгу стоим, рассматривая стол, за которым работал выдающийся деятель науки или культуры, предметы его быта, книги, рукописи, перо писателя, кисти художника, резец скульптора. Ведь все это связано с творческой судьбою их владельцев. Но, пожалуй, более всех слит со своим рабочим инструментом, неотделим от него музыкант или композитор.

Мне хочется рассказать о любопытной судьбе первоклассного концертного рояля, принадлежавшего не обычному, а выдающемуся пианисту и замечательному русскому композитору.

Редко кому из музыкантов выпадала на долю такая популярность при жизни, как Антону Григорьевичу Рубинштейну. Во всем мире никто, за исключением Франца Листа, не мог сравниться с ним в мастерстве игры на фортепьяно. Пианист так захватывал слушателей своей игрою, что каждый забывался, поддаваясь чарующему гипнозу, и начинал жить в его звуках: радовался, печалился, негодовал, задумывался. И музыкант, и инструмент, и слушатель сливались в единый организм.

В одной из газет писали: «В этом артисте пульсирует такая жизнь, что немисливо оставаться равнодушным, слушая его, и, подобно тому, как самого его увлекает страсть и неистовый дух, он увлекает за собой своих слушателей»<sup>1</sup>.

Рубинштейн достиг таких вершин мастерства, что многие не верили, будто он играет на обычном инструменте. Газетные хро-

никеры выдумывали небывлицы о «боге клавиатуры», вроде того, что пианист, мол, играет не на обычном рояле, а на каком-то новом, никому не ведомом инструменте.

А ведь один из личных роялей Рубинштейна был действительно не совсем обычен.

В его доме-усадебке в Петергофе стояли два рояля — один белый, другой — бежевый, черный. Видимо, Антон Григорьевич предпочитал больше второй, почему и поместил его в свой кабинет — восьмиугольную застекленную башенку над крышей, или, как он называл ее, «вышку».

Уединившись в своей башенке, композитор присаживался к черному роялю, откидывал назад львиную гриву волос. С минуты он смотрел перед собою, задумчиво созерцая туманную даль моря, открывавшегося за окном вышки. Потом вдруг наклонялся вперед и пробегал пальцами по блестящим клавишам. И тогда расширялись стены комнаты. То мягкие и мелодичные, то неистово-бравурные звуки, словно огромные стаи птиц, бились о стены: все пело, металось в неистовой пляске. Пальцы пианиста стремительно носились по клавишам: то прыгали, то скользили, то ударяли с силой, словно высекая искры пламени из черного инструмента. Прядь непослушных волос сползала на лоб, зрачки расширялись, губы сжимались в тугой, упорной складке. Пианист сам в этот момент был подобен рассерженно-мятущемуся демону, мечущему свой гнев на простертую внизу землю.

Рубинштейн мог играть без усталости несколько часов подряд, и домашние, знакомые, друзья — слушатели его импровизаций и концертов — удивлялись одному: откуда такая нечеловеческая сила у этого одержимого музыкой богочеловека!

Проходил год за годом. Композитор старел. Он почти совсем потерял зрение и не мог уже видеть нотных знаков. «Я выступал публично до тех пор, пока чувствовал, что перед публикою играю лучше, чем для себя дома, но отрекся от публичных выступлений с тех пор, как заметил, что я дома для себя играю лучше, чем перед публикою», — писал Рубинштейн<sup>2</sup>.

Но он, как и прежде, продолжал часами просиживать за своим черным роялем, погружаясь в волны звуков.

<sup>1</sup> А. Баренбойм, А. Г. Рубинштейн. Л., Гослитиздат, 1962, т. 2, стр. 24.

<sup>2</sup> И. Глебов, А. Г. Рубинштейн. М., «Музыкальный сектор», 1929, стр. 175.

Так что же за черный рояль стоял в кабинете Антона Рубинштейна, вызывая почтение у знатоков музыкальных инструментов, благоговение у слушателей, зависть у других пианистов?

Широко известная фирма музыкальных инструментов «Беккер» отмечала знаменательный юбилей — выпуск десятилетия рояля. Фабрикант в целях рекламы продукции решил подарить десятилетний рояль самому выдающемуся пианисту своего времени. Выбор пал на Антона Рубинштейна.

Наилучшие сорта драгоценных пород дерева были поставлены для этого рояля, самые опытные мастера фирмы принялись за работу. И вскоре музыкальный шедевр был торжественно преподнесен пианисту-виртуозу. Этот черный беккеровский рояль украшали богатые инкрустации; на крышке изображен лавровый венок, перевитый лентами с надписью «Antoine Rubinstein». Под крышкой клавиатуры была вделана серебряная пальмовая ветвь. Внутри инструмента стояла марка фирмы: «Я. Беккер в С.-Петербурге», и номер — 10 000.

В 1894 году великий пианист скончался. После его смерти богатая мебель из петергофского дома была распродана; кое-что забрали взрослые дети. И вот тогда один из фабрикантов-компаньонов фирмы «Беккер» выкупил за большую цену у вдовы Веры Рубинштейн черный именной рояль. Этим покупателем был Буске, живший в Петербурге. Разумеется, ни фабрикант, ни его дети не думали затмить славу Антона Рубинштейна игрою на его рояле. Им лестно было иметь у себя инструмент «царя пианистов», показывать его друзьям и знакомым, вызывая удивление и зависть.

Но грянул Октябрь, за ним гражданская война. Буске скончался, памятный рояль перешел к его жене, жившей на Торговой улице, недалеко от театра оперы и балета. Той ни к чему были те несколько комнат, которые занимали они когда-то. И старушка решила переселиться в более скромную квартиру. Но что же делать с роялем? Ведь он такой громоздкий, массивный, для него одного нужна чуть ли не целая комната. И вот в то трудное время нашлось для «могикана» самое скромное место — под лестницей!

Долгое время стоял без надзора ветеран музыкальной культуры. Игравшие на лестницах ребятишки, часто, открывая крышку, ударяли по клавишам; кто-то отвинтил серебряную пальмовую ветвь; отбили часть планки черного дерева. Но ни время, ни люди не тронули богатой клавиатуры, молоточков, струн. И струны печально звенели, стоило лишь прикоснуться к черному или белому клавишу.

Этот рояль, сирогливо стоявший под лестницей, заметил библиофил Владимир Александрович Кенигсон. Любитель старинных редких и уникальных вещей, он купил в рассрочку музыкальный инструмент у старушки Буске, привел его в порядок и перевез на новую квартиру. А в 1951 году черный беккеровский рояль Антона Рубинштейна «переехал» вместе с семьей дочери Кенигсона Тамары Владимировны на новое местожительство — в Молдавию.

Сейчас рояль вместе с другими редкими предметами старины занимает почетное место в квартире доцента Тамары Владимировны и профессора Александра Анатольевича Коровиных — научных работников Кишиневского медицинского института.



Постылю я, друзья, телеграм,  
 поскольку рисовал не Ретин

5/VIII 53

М. Светлов

И. Игнн

## Мой Светлов

Эти стихи и рисунки создавались на протяжении многих лет и не предназначались для печати. Большинство из них возникало неожиданно — в дружеских разговорах, беседах, а иногда и спорах. Они (рисунки и стихи) тоже беседа.



Хоть я и не могу верить,  
 но, все ж, худою без конца,  
 и уловил художник Игнн  
 последние черты лица

21/I 60г

М. Светлов



жизни косматное движение,  
 случилось что-то, стало кады.  
 Жить бы мне в  
 таблице умножения,  
 Ну, а я вот в алгебре  
 живу.

О жизни, о дружбе, о не легкой нашей  
 профессии.

Сейчас мне трудно вспомнить, что рож-  
 далось раньше — стихотворение или ри-  
 сунок.

Бывало по-разному.

Случалось, что я рисовал Светлова и он  
 брал у меня из рук набросок и делал к  
 нему стихотворную подпись. А иногда я  
 находил в записной книжке или на от-  
 дельном листке светловские строки.  
 Они как бы продолжали один из наших



Он выпьет с радостью в лице,  
 И он еще захочет —  
 В нем много витаминов Ц  
 И витаминов прочих



Поэт! мы живем в  
миру идей,  
Бичуем зло! Но вот вода  
не сладка,  
Казниш мы недостатки всех  
могут  
но любви собственное  
недостатки.

разговоров. Я делал к этим строчкам рисунок.

Мы оба не отличались бережливостью и аккуратностью. Потому многое, что было написано и нарисовано во время наших встреч, не сохранилось.

Особенно расточительным был Михаил Светлов. Он в буквальном смысле разбрасывал строфы, строчки, афоризмы. Это были шутки, иногда грустные, ироничные, но всегда окрашенные любовью к людям. И всегда это происходило естественно,



Ну не смежно ли, — сама Жанноконда  
Стала сегодня членом Литфонда СССР



Я не срываю в горах Кавказских  
 Язык, <sup>руки,</sup> ~~ноги~~ не срываю коня,  
 троллейбус, где отсутствует  
 кондуктор  
 Вот самый лучший транспорт  
 для меня.

без усилия. Экспромты сами срывались у него с языка или с пера.

Люди запоминали их, уносили с собой, передавали друг другу. Но как многое забывалось и терялось! Как трудно сейчас собирать по крупицам то, что поэт легко

и щедро раздаривал при жизни. И как это необходимо...

Недавно, разбирая бумаги, я нашел множество различного формата листков, исписанных светловским почерком. Я обнаружил также и свои шаржи на Светлова.



Нас научили прекрасные годы  
 И мужества учило истинное,  
 что отступенье временно всегда,  
 и, что должно быть вечным наступление!  
 М. Светлов



Сколько лет в путешествии будем?  
 Паровоз кулиганы и стихи  
 И отнесёт носильщики к людям  
 Чемоданов жеманной мочк

Под многими — светловские стихи.

Передо мной одна за другой проходили наши встречи, вспоминались разговоры. Может быть, ни разу со времени смерти Михаила Светлова не ощущал я так явно его живое присутствие.

Это была встреча с живым поэтом, с живым другом. Казалось, возобновился тот прерываемый расставаниями, но никогда не прекращающийся разговор, который мы вели с ним столько лет. Ведь мне кажется, что со Светловым я был знаком и



Косицу Чинну

Я, в искусстве правду любя,  
 Убедился сегодня снова —  
 Как приятно после тебя  
 Видеть Рерина и Васнецова!

М. Свитц



Знакомой несли  
 Запахом ногу,  
 Я пишу о судьбе хороших  
 русских слов,  
 Я пишу романы,  
 чистых слез хочу я,  
 Я - Михаил  
 Аркадьевич  
 Светлов.

дружен всю жизнь. Даже сейчас, когда его уже нет в живых, приходя в Центральный дом литераторов, я ловлю себя на том, что жду: вот-вот он войдет и скажет: «Привет, старик, ты уже здесь?»

Светлов любил, чтобы за дружеским

столом, где ведется интересная беседа, присутствовало много хороших людей. Вот потому я и решил опубликовать эти стихи и рисунки и таким образом пригласить на нашу беседу тех, кому дорога поэзия Михаила Светлова.



И. Игину  
 Твоего кистью я отмерен -  
 Спасибо, рыцарь красоты  
 За то, что изувекочены  
 мои небесные версты!

17/VI-63. М. Светлов



С  
Л  
С

**ПРОМЕТЕЙ.**

Ист.-биогр. альманах серии  
«Жизнь замечательных людей». Т. 5.  
М., «Молодая гвардия», 1968.  
480 с., с илл.

9.  
Сдано в набор 29/IV 1967 г. Подписано и пе-  
чати 30/VII 1968 г. А04244. Формат 70×90<sup>1/16</sup>.

Бумага офсетная № 1. Печ. л. 30 (усл. 30).  
Уч.-изд. л. 48,3. Тираж 100 000 экз.  
1 р. 79 к. Т. П. 1968 г., № 452. Заказ 690.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия». Москва, А-30,  
Суцневская, 21

